

И. И. ЛАЖЕЧНИКОВ

Н. Водяников

И. И. ЛАЖЕЧНИКОВ

**СОБРАНИЕ
СОЧИНЕНИЙ**

ТОМ ПЕРВЫЙ

**КРИТИКО-БИОГРАФИЧЕСКИЙ ОЧЕРК
ПОВЕСТИ, СТАТЬИ**

ВНУЧКА ПАНЦИРНОГО БОЯРИНА

РОМАН



«Можайск — Терра»
1994

ББК 84Р1
Л16



*Текст печатается по изданию:
Лажечников И. И. Полное собрание сочинений.
С.-Петербург — Москва, товарищество М. О. Вольф, 1913*

Лажечников И. И.

Л16 Собрание сочинений. В 6 томах. Том 1, М.: Можайск — Терра, 1994.— 672 с.

ISBN 5-7542-0002-1 (т. 1)

ISBN 5-7542-0001-3

Лажечников Иван Иванович (1792—1869) — мастер русского исторического романа.

Первый том собрания сочинений писателя включает критико-биографический очерк С. А. Венгерова, повести (первый опыт в литературе), статьи и последний роман «Внучка панцирного боярина».

Л $\frac{4702010106-001}{47E(03)-94}$ Подписное

ББК 84Р1

ISBN 5-7542-0002-1 (т. 1)
ISBN 5-7542-0001-3

© ТОО «Можайск — Терра», 1994

КРИТИКО-БИОГРАФИЧЕСКИЙ ОЧЕРК

С. А. ВЕНГЕРОВА

Ни одно столетие европейской истории не начиналось таким страстным и всеобщим подъемом национального чувства, как наше *. В полную противоположность XVIII веку, всецело направленному на выработку общечеловеческих формул социальной и политической жизни, в полную противоположность его желанию отрешиться от всяких условий места и времени и только на основании требований сухой и абстрактной теории устроить государственный и общественный быт, наконец, в полную противоположность тому пренебрежению, с которым европейские народы XVIII века относились ко всему родному,— XIX столетие, наученное горьким опытом событий, выдвигает идею национального индивидуализма, требование национальной независимости, как в области политической, так и в области духовной, в сфере литературы и искусства.

Одним из главных факторов этого резкого пробуждения патриотического духа европейских народов нельзя, конечно, не считать Наполеона. Своим необузданным стремлением превратить все страны Европы в французские провинции он пробудил чувство патриотизма даже у тех народов, у которых оно до того дремало. Те же самые немцы, которые еще двадцать лет тому назад старались по возможности меньше походить на немцев, те же самые русские бары, которые не умели порядочно говорить на родном языке,— теперь горят пламенным воодушевлением сбросить с себя иноземное иго во всех его проявлениях. Нарождается грандиознейшее поли-

* Настоящий очерк был написан С. А. Венгеровым к собранию сочинений И. И. Лажечникова, изданному Товариществом Вольфа в 1913 г.

тическое и умственное движение, которое делает XIX столетие, и в особенности первые три десятилетия его, веком пробуждения национального чувства *par excellence*. И оттого-то ни одно столетие не видало такого длинного и успешного ряда попыток национального освобождения, как наше, попыток, не всегда приводивших к самостоятельности политической, но зато всегда уже приводивших к самостоятельности духа, к самобытности литературной и художественной.

Нетрудно, однако же, понять, что условия, при которых возникло патриотическое движение начала нынешнего столетия, были такого рода, что идея национальности не могла сразу проявиться во всей своей чистоте. Сила вещей заставила ее иметь таких союзников, которые весьма мало соответствуют какому бы то ни было идейному движению. Если всецело, со всей глубиной гениального ума, со всем пылом благородного сердца, отдал себя патриотическому движению такой человек, как Фихте, то зато к нему же в огромном количестве пристали разные ловители рыбы в мутной воде, которые и не замедлили впоследствии обратить в свою пользу результаты патриотического возбуждения. Но не столько, впрочем, в этих ловителях, без которых не обходится ни одно массовое движение, сколько в том характере, который должен был вскоре принять патриотизм первых пятнадцати лет нынешнего столетия, лежит главная причина того, что патриотизм народов, ополчившихся на Наполеона, уклонился от пути, который вполне соответствовал бы высоте идеи. Дело именно в военном характере патриотического движения начала нынешнего столетия, характере, без сомнения, стихийно ему навязанном событиями, но тем не менее весьма невыгодно на него повлиявшем.

Огромна разница между побежденным народом и победившим. Как и всякий человек в несчастье более симпатичен, чем в счастье, когда он задирает голову и все готов принести в жертву своему тщеславию, так и целые народы в години народных бедствий несравненно более проявляют нравственных сил, чем в период удач, когда бахвальство и всякие дурные страсти выступают на первый план. Речь, конечно, идет об удачах военных. Удачи в области наук и искусств еще никогда ни одного человека и ни один народ не портили. Но военные удачи фатально ведут к понижению нравственному,

и всегда почти период счастливых внешних войн ведет за собой период реакции внутри страны.

Все это имело место и в начале нынешнего столетия. Одна из сильнейших реакций европейской истории наступила вслед за тем, когда патриотизм соединенных народов Европы сломил могущество «корсиканского злодея». Патриотизм, носивший такой резко-прогрессивный характер, когда дело шло об организации национального освобождения, быстро утратил его, когда побежденные превратились в победителей. Быстро взяли верх мутные элементы движения, нанесенные неразборчивым руслom исторической жизни, в своем стихийном течении так часто захватывающим людей и явления, крайне разнородные и друг с другом, в сущности, ничего общего не имеющие. Патриотизм, соединенный с желанием свободы, становится предметом гонений и преследований, а господство получает патриотизм, приспособленный к целям людей, живущих на счет всеобщего отупения, к целям Меттернихов, Аракчеевых, Руничей, Магницких.

Основная черта этого нового патриотизма заключается в славословии всего существующего и тех явлений прошлого, из которых возникли любезные сердцу Меттернихов явления настоящего. Смирение, смирение и еще раз смирение, подавление в себе всякой самостоятельной мысли становятся обязательным для всякого, кто не хочет прослыть карбонарием, кто не хочет рискнуть быть причисленным к тем «беспокойным» людям, которые полагали, что можно и даже должно с одинаковым жаром любить и родину, и свободу.

Так было в Европе, так же, в общих чертах, было у нас. Устанавливается особый, официальный патриотизм, основанный на полной покорности всему исходящему от мудрого начальства, на внешнем благочестии, на восхищении доблестями предков, тоже главным образом состоящими из смирения же. Разница между нашим ретроградным патриотизмом и европейским заключается только в том, что число «беспокойных» было у нас не особенно велико, с ними легче было справиться и потому озлобления было меньше, чем в других странах Европы. Огромное большинство русского «общества» десятых, двадцатых и тридцатых годов состояло из чиновников, прочно перенявших традиции московского «кормления», из помещиков, мало ушедших от идеалов и понятий г-жи Простаковой, из Фамусовых, Скалозубов, Молчалиных.

Для всего этого люда патриотизм Грибоедова и Белинского был не только ненавистен, но даже просто-напросто непонятен. Даже отвлекшись от каких бы то ни было корыстных целей угождения Аракчеевым и Магницким, они все-таки никак не могли бы себе представить благо родины помимо ратного счастья, приумножении территориальных владений, влияния в международных делах и вообще блеска во всех его проявлениях. Общий уровень веса не поднялся еще до понимания блага родины в виде освобождения крестьян, ослабления бюрократизма, уменьшения народных тягостей. Но эти люди затеяли дворцовый переворот, не имевший корней в народе и eo ipso осужденный на неудачу. Они быстро сходят с арены русской общественной жизни, и в ней устанавливается еще большая тишь да гладь да Божья благодать, чем прежде. Казенный патриотизм, благодаря катастрофе 14 декабря, еще более усиливается, а мутные элементы общественной жизни совсем уже входят в роль спасителей отечества и задают тон, идти против которого даже опасно. Достаточно вспомнить, что критика Полевого на драму Кукольника («Рука Всевышнего отечество спасла»), понравившуюся в «сферах», повела за собой закрытие журнала, издававшегося Полевым; что Чаадаев пострадал за напечатание своих философско-исторических воззрений, ничего противозаконного в себе не заключавших, но не согласных с официальными понятиями о характере русской истории.

Сделанный только что краткий очерк превращения национально-освободительного движения начала нынешнего столетия в казенно-патриотическое необходим нам для понимания деятельности того писателя, биографией которого мы намерены здесь заняться. Дело в том, что основной чертой литературной деятельности Лажечникова на первый взгляд нельзя не признать этот внешний патриотизм, который нам, выросшим на патриотизме Белинского, Некрасова, Щедрина, не может быть особенно симпатичен. То же самое узкое представление о любви к родине, которое нам так не по сердцу в патриотизме славянофильства аксаковской школы, как будто есть подкладка наиболее прошумевших романов Лажечникова.

И тем не менее великий подвижник правды, яростный гонитель казенного патриотизма и вообще страстный враг всего

фальшивого и показного,— Белинский принадлежал к числу самых пламенных поклонников Лажечникова.

Как же это согласовать?

Разгадка лежит в необыкновенной нравственной чистоте и искренности натуры Лажечникова, которая не дала ему погрузиться в тину греко-булгаринского патриотизма, а, напротив того, придала страсть и обаятельность даже тем тенденциям его, с которыми не можешь вполне согласиться. Выросши в эпоху наиболее пышного расцвета внешнего патриотизма, вращаясь в продолжение наиболее впечатлительного периода жизни в том кругу, который, уже по роду своих занятий, только внешним образом мог понимать любовь к родине,— именно в среде военной; наконец, горячий участник борьбы 12-го года, когда действительно от всякого хорошего сына отечества только и требовалась одна примитивная, чисто внешняя оборона родной страны; выросши при таких условиях, крайне впечатлительный Лажечников не мог не поддаться в значительной степени внешне-патриотическому направлению своей эпохи. Что касается периода, когда возбуждение отечественной войны улеглось, то будь у Лажечникова натура почерствее, покорыстнее, почестолюбивее, он, нет сомнения, был бы нам столь же несимпатичен в своей деятельности, как и все остальные паладины казенного патриотизма, которые, утративши пыл, создаваемый опьянением военного времени, продолжали все-таки ратоборствовать все в том же направлении, но уже, конечно, из-за мотивов, всего менее имеющих связь с любовью к родине. У Лажечникова никогда таких мотивов не было. Если патриотизм его отчасти внешний, то источник его все-таки искренняя и глубокая любовь к родине, не имеющая ввиду никакого одобрения, никакого поощрения, никакого креста и местечка. И оттого-то он так неотразимо действовал на чуткого ко всему искреннему Белинского, оттого-то он производит впечатление и теперь. Читая многие страницы «Последнего Новика», «Ледяного дома», вы не соглашаетесь с автором, находите неестественным, преувеличенным патриотизм некоторых героев, но вы все-таки ясно чувствуете, что автор сам страстно верит во все то, что он изображает и проповедует, и вы вполне примиряетесь с ним. Чудесная натура Лажечникова спасла его от всех несимпатичных сторон казенно-патриотического направления, скрасила его огнем веры и убеждения.

Но что всего важнее — искренность и честность природы не дали Лажечникову застыть раз навсегда в тех взглядах и убеждениях, которые он себе усвоил в молодости, благодаря сложившимся известным образом обстоятельствам. Так как прежде всего Лажечникову дорога была правда, то среда никогда не могла заесть его до того, чтобы в угоду каким бы то ни было тенденциям закрывать глаза на истину. Если в программу казенного патриотизма входило довольство крепостным правом, то искренность и прямота природы Лажечникова были все-таки настолько в нем сильны, чтобы заставить его возненавидеть рабство; насколько он мог по своему служебному положению и цензурным условиям того времени, Лажечников всегда восставал в своих произведениях против крепостного права. Если в программу казенного патриотизма входило полное повиновение и содействие предначертаниям мудрого начальства, то Лажечникову, однако же, это не помешало значительно уклоняться от такого правила, когда он находил это нужным. Служа под начальством Магницкого, Лажечников не унился, однако же, до содействия этому всеильному человеку; поступив, для прокормления семьи, в цензора, Лажечников страшно страдал от всякой сделанной им поправки, хотя был он цензором тотчас же после крымской войны, когда правительство ничуть не стесняло печать и не вменяло цензорам в обязанность усиленно чиркать и марать; пробыв в этой должности года два, он благословлял тот день, когда ему можно было ее оставить. Благодаря всему этому, и преуспел так мало Лажечников на службе, несмотря на свою всероссийскую славу и на то, что он лично был известен царствующим особам. Оттого же он, в период аренд и пенсий, завещал своему семейству 2 выигрышных билета. Наконец, если в программу казенного патриотизма входило полное презрение к беспокойным людям, то это ничуть, однако же, не мешало Лажечникову от души уважать всякое честное слово, от кого бы оно ни исходило, и даже в значительной степени поддаваться действию его. Отсюда близкие отношения, которые существовали между Лажечниковым и Белинским, и глубокое уважение, которое Лажечников до конца дней своих питал к Белинскому, хотя, собственно говоря, они находились в разных лагерях. Отсюда чуткость Лажечникова ко всему молодому, свежему и честному. На пятидесятилетнем юбилее литературной деятельности Лажечникова со-

общалось, что маститый старец с живейшим интересом и благоволением посвящает все свое время на чтение новейших журналов. Факт этот очень характерен для восьмидесятилетнего старика, сформировавшего свое мирозерцание во времена Аракчеева. Много ли вы найдете между деятелями прошлого таких, которые считали бы нужным следить за ходом новейшей мысли, которые не брюзжали бы на новое поколение, на новые времена, причем это брюзжание всегда имеет источником чисто личное раздражение, вызванное сменой старых богов новыми. Лажечников никогда не брюзжал на новые времена, *хотя сам же жаловался, что его забыли*. Напротив того, прежде всего любя истину, Лажечников всегда преклонялся перед ростом русской гражданственности, привившим русской жизни множество гуманитарных идей; чуткая к добру душа его не могла не видеть великих преимуществ новой русской жизни перед старой, и никакие личные чувства не в состоянии были удержать его от признания этого. Таким образом чрезвычайная порядочность природы явилась коррективом той несимпатичной узости, к которой привел бы Лажечникова всякий другой нравственный склад.

Вот те две отправные точки, с которых следует приступить к рассмотрению деятельности Лажечникова. Искренний, пламенный, хотя и внешний патриотизм и чрезвычайная мягкость, поэтичность и искренность природы — вот те две основные черты умственной и душевной физиономии Лажечникова, которые вполне нам выясняют творческую личность автора «Ледяного дома».

I

Иван Иванович Лажечников родился 14 сентября 1792 г. (а не в 1794 г., как полагали до сих пор библиографы) в городе Коломне Московской губернии. Отец его был коммерции советник и один из богатейших коломенских купцов, ведший обширную торговлю хлебом и солью. Последний промысел был наследственный в семье Лажечниковых, им занимался род Лажечниковых с давних времен. Знаменитый романист, следовательно, был происхождения чисто купеческого — явление довольно редкое среди писателей того времени, в огромном большинстве случаев имевших более

или менее длинный ряд «благородных» предков. И если принять во внимание, что «благородство» всегда сопровождалось рабовладельчеством, то будет ли с нашей стороны очень смелой гипотезой предположить, что именно купеческое происхождение, т. е. отсутствие в доме крепостных слуг, которых можно было бы дуть и таскать за волосы за всякую провинность, в значительной степени повлияло на молодого Лажечникова, и без того одаренного от природы редкой мягкостью характера.

Несомненно, однако же, что, представляя собой семейство Лажечниковых обычный тип купеческих семейств, это едва ли можно было бы назвать более благоприятными условиями для развития характера будущего писателя, нежели происхождение дворянское, хотя бы и обставленное всеми гнусностями крепостного права. Если еще в наше время купечество представляет собой поистине «темное царство», то можно себе вообразить, что являло собой какое-нибудь коломенское купечество в конце прошлого столетия. В «Беленьких, черненьких и сереньких» и в романе «Немного лет назад» — двух произведениях Лажечникова, главным образом представляющих собой воспоминания автора о своем детстве, мы видим, что такое была коломенская купеческая среда: обман самого примитивного свойства, душевная и телесная грубость, чисто животное препровождение времени и мрак самого непроходимого невежества — картина знакомая.

Но семья Лажечникова, главным образом отец его, составляла резкое исключение как с внешней стороны, так и с внутренней. Самые богатые коломенские купцы, как и внешнее провинциальное купечество, жили скаредно, одевались по-мещански, в полдень «ели редьку, хлебали деревянными или оловянными ложками щи, на которых плавало по вершку сала, и уписывали гречневую кашу пополам с маслом» («Беленькие, черненькие и серенькие»). Единственная роскошь, которую себе позволяли коломенские коммерсанты, было спать до одурения. «После обеда, вместо кейфа, они беседовали немного с высшими силами, то есть пускали к небу из воронки рта струи воздуха, потом погружались в сон праведных. Выбравшись из-под тулупа и с лона трехэтажных перин, а иногда с войлока на огненной лежанке, будто из банного пара, в несколько приемов осушали по жбану пива, только что принесенного со льда; опять кейфова-

ли, немного погодя принимались за самовар в бочонок, потом за ужин с редькой, щами и кашей и опять утопали в лоне трехэтажных перин». «Как видите, жизнь патриархальная! — резюмирует Лажечников. — Немногие избранные отступали от нее. Книжки в доме ни одной, разве какой-нибудь отщепенец-сын, от которого родители не ожидали проку, тайком от них, где-нибудь на сеннике, теребил по складам песенник или сказки про Илью Муромца и Бову Королевича».

Отец Лажечникова был один из «немногих», решительно отступивших от этой «патриархальной» жизни.

Получив после смерти отца своего богатое наследство, он построил себе превосходный дом, поражающий своим внутренним и внешним великолепием. «Дом этот славился роскошью своего убранства, — пишет Лажечников в одном месте своих воспоминаний о двенадцатом годе («Новобранец 12-го года»), — везде паркет из красного, черного, пальмового дерева, мрамор, штоф... В нем отец мой угощал великолепных сынов кончавшегося века

...из стаи славной
Екатерининских орлов.

И угощал великолепно, не ударял лицом в грязь перед важными господами, не брезгавшими водить хлеб-соль с купцом. Он жил вообще как богатые дворяне того времени. И чтобы совсем походить на них, он купил себе даже поместье в 23 верстах от Коломны — Красное Сельцо. Поместье это было куплено на имя хорошего приятеля Лажечникова, московского губернатора Обрезкова; на чужое имя, как мы полагаем, потому, что купцам в то время было воспрещено покупать населенные имения. «Во время цветущего положения дел» отца Ивана Ивановича Лажечникова, сообщается в автобиографии, читанной Ф. Ливановым на пятидесятилетнем юбилее нашего романиста, «Красное Сельцо было настоящим Эльдorado того времени. Туда стекались дворяне уезда на приманку вкусных обедов с аршинными стерлядями, пойманными в собственных прудах, и двухфунтовыми грушами, только что сорванными в своих оранжереях. Все это приправляли радушие, ум, любезность хозяина и красота хозяйки, истовой красавицы своего времени. Офицеры Екатеринбургского кирасирского полка, стоявшего в окрестно-

сти, толпились каждый день у гостеприимного амфитриона. Трехэтажный дом и такой же флигель не могли вместить на сон грядущий посетителей. Губернаторы, ездившие ревизовать губернию, делали несколько верст крюку по проселочной дороге, чтобы откусать хлеба-соли у радушного помещика-купца. Порядочный оркестр домашних музыкантов во время обедов услаждал слух гостей увертюрами из тогдашних модных опер».

Вот какова внешняя обстановка детства Лажечникова. Влияние ее было бы, конечно, весьма мало благотворно для Лажечникова, если бы только одним этим внешним блеском и житьем на широкую, барскую ногу отец его выделялся из коломенской купеческой среды. Нельзя, впрочем, отрицать и того, что отсутствие материальных забот, отсутствие нужды, вид довольных, веселых гостей, наполнявших отцовский дом, не мог укрепить природной незлобивости будущего творца идеально-добрых фигур «Новика», «Ледяного дома», «Басурмана» и др.

Но, помимо этой стороны роскошной жизни отца Лажечникова, он, как уже сказано только что, не одним пристрастием к дворянской жизни выделялся из круга людей своего сословия. Еще в большей степени он выделялся из них своим горячим стремлением к образованию. Выводя своего отца в «Беленьких, черненьких и сереньких» под именем Максима Ильича Пшеницына, Лажечников об нем сообщает следующее: «Максим Ильич имел врожденное стремление к образованию себя. Случай развил еще более эту склонность. В одну из частых поездок своих в разные пределы России, которые он всякий год совершал по торговым делам, познакомился он где-то с Новиковым. Новиков полюбил молодого человека, беседовал с ним часто о благах, доставляемых просвещением, и снабдил его списком всех книг и журналов, какие только были изданы на русском языке. Максим Ильич не замедлил купить эти книги и читал их с жадностью».

В другом наполовину автобиографическом романе Лажечникова, «Немного лет назад», в котором отдельные черты жизни родительского дома переданы недословно точно, но в котором, однако, верно передан общий дух той обстановки, среди которой вырос Лажечников, отец его, выведенный под именем Патокина, опять-таки изображается страстным приверженцем образования.

Все это вполне подтверждается тем тщательным воспитанием, которое было дано молодому Ване. Вещь неслыханная в купеческой среде — ему был нанят гувернер-француз, и притом не какой-нибудь, — для того чтобы сравниться с дворянами и научить сынка болтать по-французски, чтобы в грязь не ударял он перед барчуками, — а прекрасный воспитатель, взятый по надежной рекомендации такого человека, как Новиков. Выбор знаменитого деятеля оказался прекрасным.

«Я учился, — сообщает Лажечников в той автобиографии, о которой уже сказано выше, — сначала русской грамоте у священника. Когда мне минуло 6 лет, взяли к нам в дом гувернера *Monsieur Beaulieu*, французского эмигранта, не походившего на своих собратьев-проходимцев. Он получил образование в Страсбургском университете, знал основательно французский и немецкий языки, на русском изъяснялся чисто, но ученым нельзя было его назвать. К нам в дом поступил он, кончив воспитание детей в доме князей Оболенских, по рекомендации знаменитого подвижника русского просвещения в России — Новикова, которому, сколько могу сообразить, был брат по масонству. Всегда неукоризненно одетый во французский кафтан коричневого цвета, с косой и бантом за плечами, являлся он к общему столу и учению. Манеры его были просты, но изобличали в нем дворянина дореспубликанских времен, доброту, не доходившую, однако ж, до слабости. Старший брат мой, учившись у него, любил его, как второго отца. Память о нем до сих пор с глубокой благодарностью сохраняется в сердце моем. Никогда не видал я над собой розог, и все наказание учебное ограничивалось у нас ставлением за обедом в угол, каковое наказание огорчало меня до обильных слез».

К этой характеристике Болье можно прибавить еще несколько слов из другой автобиографии Лажечникова (составленной им в 1858 г. для «Художественного листка» Тимма), из собрания рукописей Публичной библиотеки. В автобиографии, читанной Ливановым, Лажечников несколько критически говорит про Болье: «...но ученым нельзя было его назвать». В автобиографии же Публичной библиотеки Лажечников, говоря о себе в третьем лице, пишет: «...с 6-ти лет имел он наставником француза, очень образованного, у которого учился французскому и немецкому языкам, разным наукам

и рисованию». Последняя характеристика, несомненно, вернее, и потому, что сделана Лажечниковым раньше, когда память была у него свежее, и потому, что вполне соответствует тому раннему развитию и сравнительно очень большому образованию, которое проявляет Лажечников уже на 15-м году своей жизни.

Мягкость Болье не можем, конечно, не считать тоже одним из факторов, укрепивших природную доброту Лажечникова. Таким же фактором следует считать дядьку Ларивона из «Беленьких, черненьких и сереньких» — лицо, несомненно, живое, что доказывается тем, что он же неоднократно фигурирует и в воспоминаниях Лажечникова о своем детстве. Ларивон, судя по «Беленьким, черненьким и сереньким», был человек большой душевной чистоты и мягкости, никогда не позволявший себе грубого слова. Воспитанник «не видал от него сердитого толчка, не только розги (которая, правда, ни от кого никогда не была на малютке); никогда бранное слово не вырывалось из уст воспитателя, а если нужно было сделать выговор, так это делалось во имя стыда. «Эх! как вам не стыдно, Иван Максимович! — говаривал он в минуты необходимости, когда видел непростительную шалость своего питомца, — этого и бурлак не сделает».

Наконец, что касается родителей его, Лажечников как в своих воспоминаниях, так и в автобиографических романах всегда отзывался о них, как о людях очень добрых.

Таким образом, все сошлось для того, чтобы укрепить в Лажечникове его природную доброту и мягкость: материальная обеспеченность, добрые родители, добрые учителя, незнание над собой розги — в веке, когда на розге была основана вся система воспитания.

Неудивительно поэтому, что детство произвело на крайне восприимчивого Лажечникова огромнейшее впечатление. Много испытал любопытного на своем долгом веку Лажечников и, однако же, ни на чем с такой любовью и интересом не останавливался он, как на своем детстве. У всякого детство рисуется в более или менее радужных воспоминаниях, всякий готов его идеализировать, но у Лажечникова эта любовь настолько сильна, что как только он переступал область исторического романа, он уже непременно касался жизни в родительском доме, которая действительно и заслуживала такой продолжительной памяти о себе.

Светлые воспоминания детства (именно *детства*: в отрочестве Лажечникову пришлось узнать жизнь не только с одной радостной стороны ее нашего романиста омрачены одним эпизодом, на котором стоит остановиться, потому что трудно представить себе что-нибудь более характерное для того времени.

В глухую ночь одного из «последних годов царствования императора Павла I» дом Лажечниковых был внезапно разбужен страшным стуком, шумом и звоном колокольчиков на дворе. Поднялась суматоха и в доме, и «вслед за тем я, — пишет Лажечников в юбилейной автобиографии, — увидел рыдающую мать мою, прощание ее с отцом, благословение его дрожащей рукой надо мной и братом моим. На дворе стояли три таинственные тройки, запряженные в рогожные кибитки. При них были какие-то солдаты. В одну кибитку посадили моего отца, в другую гувернера Monsieur Beaulieu, в третью священника, нашего русского учителя; казалось, их увезли в вечность. Вслед за тем слышны были только перешептывания, рыдание матери и причитание женской прислуги. В этом происшествии никто ничего не мог понять. Дядька мой Ларивон угрюмо молчал, нянька Домна усердно молилась и приказывала мне молиться».

Через несколько дней все разъяснилось.

Дело в том, что, при всей доброте и мягкости, отец Лажечникова был весьма остер на язык. А так как, кроме того, он был человек правдивый, честный и умный, то остроты его попадали не в бровь, а прямо в глаз и создавали ему множество врагов среди людей, от правды не очень выигрывающих. Пшеницын из «Беленьких, черненьких и сереньких», то есть отец Лажечникова, отпускает колкости на счет городских властей, которые, понятно, немало злятся за это на дерзкого купца. Городничего, например, который состоял в амурах с одной отцветающей графиней, жившей в окрестностях города, и потому вечно пропадал в имении ее и весьма мало заботился о городских делах, Пшеницын прозвал уездным городничим, и кличка эта так и осталась за ним. Патокин из «Немного лет назад», то есть опять-таки отец Лажечникова, «иной раз так смело выражался о разных важных предметах и лицах, что у трусливого человека, слушавшего его, волосы дыбом становились».

Но как в обоих романах, так и в действительности все

сходило Лажечникову, благодаря богатству его и связям. Однако же, ходит кувшин по воду, пока не сломится. Довел язык Лажечникова-отца до большой беды, которая тяжелым камнем легла на всю дальнейшую жизнь его. Сострил он раз над одним высокопоставленным коломенским духовным лицом. Священник, обучавший детей Лажечникова русскому языку, в чайнии грядущих наград передал остроу по назначению. Высокопоставленное лицо разъярилось и решило отомстить зазнавшемуся купчишке. Сказано — сделано. В Петербург отправляется обстоятельное донесение о разрушителе основ и якобинце, дальнейшее пребывание которого в Коломне грозит отечеству неотразимыми несчастьями. Как уже сказано выше, происходило это все в последние годы царствования Павла. А известно, что это было за время такое. «Слово и дело», на бумаге отмененное, в действительности свирепствовало неудержимо и поражало всех, попавших в зачумленный район действия его.

До Петербурга связи Лажечникова не достигали. Там поверили высокопоставленному иерарху, не поспевавшему на выразительные краски. За Лажечниковым была послана казенная тройка, которая первоначально отвезла его в Москву. Собрав по возможности больше денег и взяв обоих сыновей своих, жена схваченного на следующий же день отправилась по следам мужа, в сопровождении уже известного нам верного и преданного Ларивона. «По приезде в Москву, — сообщает Лажечников в юбилейной автобиографии, — мы отправились в Тайную канцелярию, находившуюся на углу Мясницкой и Лубянской площади, что ныне дом Московской духовной консистории. Здесь какой-то генерал дозволил нам свидание с пленником. Мы простились с ним, не зная, увидим ли его когда-нибудь... По дальнейшим сведениям известно нам стало, что узника посадили в Петропавловскую петербургскую крепость и отобрали у него ножи и вилки!»

Недолго пробыл коломенский якобинец в крепости. Энергические старания привлекли на сторону его некоторых сильных людей того времени, которые сумели вовремя сказать словечко и этим высвободить узника. В день Михаила Архангела, что в сентябре, Павел Петрович был в очень хорошем расположении духа. Умевшие воспользоваться этим расположением тут же получали за свою ловкость сотни и тысячи душ, чи-

ны, кресты русские и кресты мальтийского ордена, гросмейстерство которого недавно взял на себя любивший всякие чудачества Павел. Сумели также воспользоваться хорошим расположением духа императора два приближенных к нему лица — Куракин и Лобанов-Ростовский для спасения Лажечникова. Они доложили, что на коломенского коммерсанта взвели напраслину, что его оклеветали. Им поверили, и Лажечников был освобожден. А доносчика-священника перевели в Тульскую губернию на низшее место. Угрызения совети, а может быть, и злоба на скверный исход своих надежд вылезть в люди, довели неудачного доносчика до расстройств умственных способностей.

День Михаила Архангела стал священным в семействе Лажечниковых. Каждый год он праздновался самым торжественным образом, как день освобождения от неожиданной напасти.

Но дорого однако же, обошлось Лажечниковым, в конце концов, это освобождение. Хлопоты и приобретение связей не даром доставались в то время. А главное, торговые дела Лажечникова были сильно запущены им за время вынужденного отсутствия. Прежнее богатство было значительно подорвано. Правда, оно было настолько велико, что можно еще было продолжать несколько лет, по-прежнему, жить на широкую ногу. Но все-таки нанесенный удар был настолько силен, что благосостояние Лажечниковых с каждым годом все падало и падало, пока, наконец, в 1811 году ему не был нанесен удар окончательный. В этом году зима была ранняя, и Ока стала тоже раньше обыкновенного. А между тем Лажечникову нужно было поздней осенью провести по Оке караван соли для целой Московской губернии. Для того чтобы выполнить взятый подряд по снабжению солью, ему пришлось возить ее несколько сот верст гужем. Конечно, это обошлось бесконечно дороже. В прежнее время Лажечников свободно покрыл бы даже такой громадный дефицит. Но теперь условия были совсем иные, и для спасения себя от банкротства почти все недвижимое имущество пришлось распродать. Немного уцелело от крушения. К счастью для нашего писателя, это окончательное крушение произошло тогда, когда ему было 19 лет и он уже успел воспользоваться богатством своих родителей для того, чтобы получить отличное образование и накопить для будущего запас светлых воспоминаний

о детстве. Что же касается того события, которое послужило первоначальной причиной разорения, то все значение его Лажечников мог понять только возмужав. Мрачная сторона этого происшествия не могла быть воспринята детской душой Лажечникова во всей своей силе и если повлияла на нее, то разве тем, что своей внезапностью и таинственностью усилила и без того сильную в нем склонность к романтическому и чудесному.

II

Возвратимся теперь к воспитанию Лажечникова и отметим первые шаги его на литературном поприще. «Выучившись читать по-русски,— сообщает он в юбилейной автобиографии,— я с жадностью бросился на книги и перебрал всю библиотеку отца моего, в которой, сколько припомнить могу, нашел „Всемирный путешественник“, сочинения Ломоносова и все, что издано было по русской литературе до того времени. Когда я хорошо ознакомился с французским языком и порядочно с немецким, моя литературная жатва была обильнее, мало-помалу, с физическим и умственным ростом моим, я стал читать на французском языке сочинения аббата де Сен Пьера, Эмиля Руссо, трагедии Вольтера и Расина, Тацита, Тита Ливия во французском переводе, кажется, Лерминье, Шиллера на немецком языке и др.; говорю только о любимых мною писателях. В это время, еще будучи четырнадцать лет, я возымел сильную охоту к сочинительству и сделал на французском языке описание Мячнова Кургана, что по дороге из Москвы в Коломну; пятнадцати лет сочинил на том же языке стихотворение, а шестнадцати лет написал „Мысли в подражание Лабрюйера“ и послал статью эту в „Вестник Европы“, издававшийся тогда Каченовским. Редактор, не подозревая в авторе мальчика, напечатал статью в своем журнале, и так как я громил в одной фразе тиранов, то он сделал на нее собственноручное замечание».

Однако же, на самом деле мальчик-автор был еще моложе: «Мысли» напечатаны в «Вестнике Европы» за 1807 год, следовательно, когда Лажечникову было всего только пятнадцать лет. Ему просто изменила память, когда он утверждал, что дебютировал в 16 лет.

Нельзя не подчеркнуть этот факт как явление, резко ха-

рактизирующее даровитость Лажечникова и раннее развитие, которым наш писатель, несомненно, обязан благотворному влиянию Болье. Очень может быть, что ближайшее знакомление с «Мыслями» и разочарует современного читателя, они могут показаться и не особенно важными. Но дело-то в том, что нельзя относиться к литературным явлениям прошлого иначе как с исторической точки зрения. В данном случае нужно исключительно руководствоваться тем, что «Вестник Европы» Каченовского принадлежал к лучшим журналам своего времени. Если нас чрезвычайно изумило бы появление статьи пятнадцатилетнего мальчика на страницах «Вестника Европы» Стасюлевича, то совершенно такое же изумление должно быть вызвано напечатанием «Мыслей» еще не вышедшего из детства Лажечникова на страницах «Вестника Европы» Каченовского.

Ввиду того, что «Мысли» ни в одно собрание сочинений Лажечникова не вошли и не только «читающей публике», но даже и специалистам совершенно неизвестны, мы позволим себе привести их целиком, благо они крайне незначительного размера: «статьи» в журналах начала нашего столетия большей частью очень крошечные, не чета современным, так и норовящим раздуться в книгу.

МОИ МЫСЛИ

«Гордость — разумею, благородная — должна быть видна и в монархе, и в народе, для того, чтобы заставить себя уважать и страшиться, — в бедном и несчастном человеке, для того, чтобы заставить почитать добродетель и в рубище...»

«Кто не был несчастлив, не знает, что есть истинно наслаждаться счастьем; кто не видел ужасов бури, не ощущает живого удовольствия в ясную погоду; кто не был палим солнечным зноем, не знает, что есть прохлада тенистой рощицы и свежие струи ручейка кристального!..»

«Когда бессмысленные мальчишки бросают в меня камнями, что должен я делать? — Бежать от них и спрятаться за высоким забором».

«Женщины любят страстно, ненавидят страстно (умеют они и мстить дерзким — прощая. Примечание Каченовского), чувствительны до страсти; мужчины любят с хладнокровием, отвергают руку помощи с хладнокровием, убивают друг друга с хладнокровием...»

«Я шел по улице; израненная собака лежала в углу; на жалостные стоны пришла туда другая собака, и в ту же минуту начала лизать раны больной; не отошла до тех пор, пока не увидала, что ей стало легче. — Зверь чувствует сострадание, а человек просвещенный, с разумом, с сердцем?!!»

Последняя «мысль» вызвала такое примечание Каченовского: «Не спорим, что есть люди жестокие, незнающие сострадания, однако же, не унижая достоинства чувствительных собак, можно сказать наверное, что в обществе человеческом более найдем примеров, нежели между животными».

«Бедные и несчастные не могут найти себе друзей в знатных вельможах: ибо сии последние оказывают вспомоществование не из любви к ним, но из одного тщеславия — станет ли слабый цветок искать себе защиты от сильных порывов ветра подле величественного, гордого дуба? — Нет, он прижмется к такому же слабому цветку — и они крепко обовьются один около другого...»

«Какое различие между женщиной и царем персидским? Деспотическое правление первой основано на законах природы — то есть красоты, добродетели; а второго — на законах, установленных, с одной стороны, жестокостью, с другой — страхом. Как приятна и сладостна неограниченная власть первой, ибо она связывает смертных узами любви! Как несносно беспредельное могущество второго, ибо оно оковывает подданных тяжкими цепями тиранства!..»

И эта «мысль» вызвала примечание Каченовского: «Неограниченная, во зло употребляемая власть женщины столь же несносна, как и беспредельное могущество персидского царя, во зло им употребляемое (все курсивы Каченовского). Люди уже наслаждались счастьем; живучи под властью отеческой, на взаимной доверенности и правителя и управляемых основан-

ной, прежде нежели пришло им на мысль писать общественные договоры».

«Великий человек, прославившийся умом своим или мужеством, не может равнодушно взирать на людей, стремящихся на равную степень высоты; он старается заградить им путь к славе; он страшится разделить ее с соперниками своими; он желает, чтобы вселенная удивлялась ему одному, чтобы ему одному курила фимиам хвалы бесконечной... Таков ли великий муж? Нет, имя сие тому принадлежит, кто не знает зависти и самолюбия, кто приносит должную дань превосходным дарованиям и радуется от всего сердца, видя общие успехи, кто снисходительностью торжествует над своими соперниками. Он подносит каждому из них по венку — и в то самое время тысячи венков летят к ногам его» («Вест. Евр.», 1807 г., т. 36, стр. 188—191).

Повторяем опять: очень может быть, что современному читателю «Мысли» покажутся не особенно важными, и мы вполне согласны с тем, что их и не следовало вносить в полное собрание, но в то же время нельзя их не признать крайне замечательными для пятнадцатилетнего мальчика. Ничто в них не изобличает мальчика: язык, сюжет, философская форма — все это под стать любому литератору того времени.

Для нашей специальной задачи выяснения условий, под влиянием которых сформировался душевный мир Лажечникова, «Мысли» очень любопытны: они служат лучшей характеристикой того направления, которое дал своему воспитаннику Болье. Так и чувствуется в них дыхание французской философии прошлого века: протесты против деспотов, сетования на людскую испорченность, преклонение перед жизнью согласно природе, так что даже животные оказываются нравственнее людей, уважение человека как человека и так далее. Очевидно, что Болье действительно не походил на своих «собратов-эмигрантов». Злоба на переворот, изгнавший его из отечества, не помешала ему быть искренним приверженцем лучших идей, которые легли в основу этого переворота, и внушить своему воспитаннику уважение к ним. Болье принадлежал к тому небольшому числу французских эмигрантов, которые глубоко верили в живительность философского движения прошлого века и только жалели, что об-

стоятельства направили практическое применение идей Вольтера, Монтескье и Руссо не так, как им бы того хотелось.

Очень характерно, что, издав в 1817 году свои «Первые опыты в прозе и стихах», Лажечников внес в них «Мысли», но место о деспотах исключил. Адъютантская среда, в которой Лажечников в 1817 году исключительно вращался, так и наложила на него свою печать.

Но, как и в продолжение всей его жизни, хорошего сердца Лажечникова среда не могла заесть. Все другие «мысли»: об уважении к человеку как к человеку, о чувстве собственного достоинства, выражающемся в благородной гордости, Лажечников оставил. Относительно этого внушения и уроки Боле слишком глубоко засели в душу его, от природы подготовленную для восприятия всего доброго и честного. Голова Лажечникова иногда ошибалась под влиянием «политики», но сердце — никогда.

III

Литературный успех сына — наглядное доказательство пользы, извлекаемой им из учения, еще более укрепил в родителях Лажечникова желание дать ему хорошее образование. В данном случае коломенская купеческая семья оказалась выше дворян того времени. Госпожа Сталь, посетившая Россию перед двенадцатым годом, с удивлением замечала, что у русских дворян «образование кончается в 15 лет». Карамзин вставал против Сперанского, желавшего поднять уровень образования служилого дворянства, и находил, что «ученое сословие» всего лучше комплектовать из мещан. А вот коломенский купец, даже определив сына на службу, следовательно более или менее «устроивши» его судьбу, все-таки продолжал нанимать ему учителей. Переселившись в Москву и неся службу, Лажечников брал уроки риторики у адъюнкт-профессора Победоносцева (отца столь известного К. П. Победоносцева) и слушал приватные лекции у Мерзлякова (Автобиография Публичной библиотеки).

Одновременно шла и служба. «Ученик Победоносцева и Мерзлякова в то же время, по тогдашнему обычаю, числился и в службе». Опять-таки по обычаю того времени, зачислен был Лажечников на службу еще малолетним. Именно еще

в 1802 году, то есть когда ему было 10 лет, он был «записан студентом в московский архив иностранной коллегии, начальником которого был тогда Н. Н. Бантыш-Каменский» (Автобиография Публичной библиотеки). В 1806 году юный Лажечников уже получил повышение: был произведен в архивариусы. С этого времени он и стал заниматься в архиве, приводить в порядок документы, хранящиеся там. Нет сомнения, что, помимо разных других причин, занятие в архиве немало содействовало развитию в Лажечникове любви к истории, хотя нельзя сказать, чтобы только заботы о преуспевании русской историографии стояли в архиве на первом плане. Сам начальник архива, например, знаменитый историк своего времени Бантыш-Каменский тщательно смотрел за тем, чтобы архивные чиновники непременно писали так называемым английским почерком...

В 1810 году Лажечников меняет службу. По совету хорошего приятеля своего, московского губернатора Обрезкова, отец Лажечникова переводит сына в канцелярию генерал-губернатора. По мнению Обрезкова, здесь можно было приготовить себя к «более дельной службе». Молодой литератор не столько, однако же, предается этому приготовлению, сколько усиленному чтению и совершенствованию своего образования.

Продолжает он также заниматься литературой, но нельзя сказать, чтобы слишком блистательно. Помещенное им в «Вестнике Европы» 1811 года рассуждение «О беспечности» гораздо ниже «Моих мыслей» и ничего, кроме самых банальных поучений на тему «не отлагай до будущего дня того, что можешь сделать в нынешний», в себе не заключает.

Рассуждение «О беспечности» не было вторым произведением Лажечникова, как это кажется библиографам. Гораздо раньше, именно в 1808 году, помещена им «Военная песнь» на страницах «Русского вестника», издававшегося тогда Сергеем Глинкой.

Кроме того, роясь в журналах начала нынешнего столетия, нам удалось раскопать, что юный Лажечников был одним из деятельных сотрудников сентиментальнейшей «Аглаи», издававшейся известным чувствительным поэтом — князем Шаликовым. В «Аглае» Лажечников поместил целый ряд повестей, рассуждений и стихов, которые впоследствии составили большую часть «Первых опытов в прозе и стихах». От-

лагая оценку этих первых произведений музыки Лажечникова до разбора «Первых опытов», скажем только, что Шаликов настолько ценил своего юного сотрудника что даже поместил вот какой экспромт:

Аглая в цветнике своем
 Дары твоей прелестной Флоры
 Сажает с Радостью вдвоем
 И восхищает ими взоры
 Не мнимых знатоков
 В достоинстве цветов.

«Аглая», 1812 г., № 14

Участие мальчика Лажечникова в журнале Глинки нельзя не отметить. Оно показывает, как рано примыкает наш писатель к «патриотическому» направлению и какого чистого, искреннего происхождения, следовательно, оно у него было. «Бескорыстный патриот, немного взбалмошный, но смелый «гражданин»,— как вполне верно определяет господин Пыпин в своих «Очерках общественного движения при Александре I»,— Глинка стал во главе «русского» движения того времени. С этой целью основал он «Русский вестник», одним уже названием своим являвшийся протестом против господствовавшей тогда мании ко всему иностранному. Весь журнал был посвящен прославлению русского духа. Корреспонденции, статьи, романы, драмы, стихи, смесь, анекдоты, виньетки— все это возвеличивало доблести русских. В своем патриотизме и желании прославить все отечественное Глинка доходил до того, что систему воспитателя Петра, дьяка Зотова, ставил на одну доску с системами Руссо, Кондильяка и Локка, а Симеона Полоцкого приравнивал Сократу, Платону, Декарту, Вольтеру. Этот необузданный патриотизм находил себе приверженцев, но в то же время встречал и крайне резкую оппозицию. Поэтому очень характерно для отрока Лажечникова, что он примыкает к направлению Глинки. Факт посылки стихотворения в «Русский вестник» показывает, что юный поэт следил с любовью за этим журналом и сочувствовал его тенденциям. Понятно, что напечатание стихотворения еще более укрепило в юном писателе любовь к Глинке. «С каким благоговением смотрел я на него,— пишет он в «Новобранце 12-го года». — Он известен мне был заочно, как издатель «Русского вестника», поощривший мой первый литературный лепет: поместив в своем журнале мою

«военную песнь» и напечатав под ней мое имя, он сделал меня на несколько дней счастливым».

«Военная песнь», имеющая еще дополнительное заглавие: «Славяно-россиянка отпускает на войну единственного своего сына», — заглавием и содержанием вполне подходит под «славяно-российское направление» Глинки. «Славяно-россиянке» сначала жаль отпустить сына. Но вот раздается голос России:

«Сыны, готовьтесь на брань!
Творец от высоты святых
Всесильную прострет к вам длань.
О мать! сына ты жалеешь;
Но вспомни дух славянских жен,—
Иль Ольге подражать не смеешь?
С ней Святослав был разлучен.
Она сама вооружала
На брань питомца своего,
В нем жизнь, в нем душу полагала
И провожала в бой его».
Мать нежная словам сим внемлет,
Вздохнув, трепещущей рукой
Она упавший меч подымлет:
«Мать, царь, отечество с тобой!
Мой сын! иди на бой для славы,
Иди Россию защищать.
Последуй стран родных уставу
Не дважды с честью умирать».

«Р. вест.», ч. 3

Если еще в 1808 году, когда большинство общества стояло в стороне иноземного, Лажечников уже был решительным приверженцем крайнего патриотизма, то можно себе представить, как велико в нем должно было быть патриотическое возбуждение в великую эпоху 12-го года, когда вся Россия, как один человек, восстала для защиты родины. И действительно, Лажечников принимает в отечественной войне весьма деятельное участие.

Большие препятствия должен был преодолеть он раньше, чем стать в ряды защитников отечества. В начале войны Лажечников продолжал нести гражданскую службу. Весть о Бородинском сражении, о решении Кутузова сдать первопрестольную столицу без боя застала еще Лажечникова в Москве. Служебных занятий у него, само собой разумеется, никаких не было, потому что саму канцелярию, где служил Лажечни-

ков, перевели для безопасности на владимирскую дорогу. «В Москве же задерживало меня ожидание письма от моего отца, который жил в деревне, за восемьдесят верст от Москвы, к стороне Коломны. Я рвался в ряды военные и ждал на это разрешения. Сердце мое радостно билось при одной мысли, что я скоро опояшусь мечом и крупно поговорю с неприятелем за обиду моему отечеству. В войну 12-го года, истинно народную, патриотизм воспламенял и старцев и юношей. Порой рисовалось моему юношескому воображению зарево биваков, опасное участие в ночном пикете, к которому ветерок доносит жуткий говор неприятеля, жаркая схватка». «Не скрою,— прибавляет откровенный Лажечников,— что порой прельщали меня и красный ментик с золотым украшением, и лихой конь, на котором буду гарцевать перед окнами девушки, любимой мною страстно... до первой новой любви» («Новобр. 12-го года»).

Родители, однако же, совсем не разделяли патриотического увлечения молодого героя. Отец велел ему немедленно выехать к нему в деревню. «Я плакал, как ребенок, но скоро одумался. Что бы ни стоило,— сказал я сам себе,— а буду военным, хоть бы солдатом». Но первоначально юный патриот решил еще раз переговорить с родителями и потому оставил Москву. В течение нескольких недель все убеждал он родителей, но напрасно.

«Тогда я дал себе клятву исполнить мое намерение во что бы ни стало: бежать из дому родительского. Намерению моему нашел я скоро живое поощрение. В городе (Коломне) остановился отставной кавалерист Беклемишев, поседельный в боях, который, записав сына в гусары, собирался отправить его в армию. С этим молодым человеком ехал туда же один гусарский юнкер, сын богатого армянина. Я открыл им свое намерение, старик благословил меня на святое дело, как он говорил, и обещался доставить в главную квартиру рекомендательное письмо, а молодые люди дали мне слово взять меня с собой. За душой не было у меня ни копейки. Коломенский торговец-аферист купил у меня шубу, стоящую рублей 300, за 50 рублей, подозревая, что я продаю ее тайно... С этим богатством и дедовской меховой курткой, покрытой зеленым рытым бархатом, шел я на службу боевую. Назначен был день отъезда. Все приготовления хранились в глубочайшей тайне. Роковой день наступал — сердце было не на месте. В одиннадцатом

часу вечера простился я с матерью, расточая ей самые нежные ласки; с трудом удерживал я слезы, готовые упасть на ее руки, я сказал ей, что хочу ранее лечь спать, потому что у меня очень разболелась голова. И она, будто по предчувствию, необыкновенно ласкала меня и раза два принималась меня благословлять. В своей спальне я усердно молился, прося Господа простить мне мой самовольный поступок и облегчить горесть и страх моих родных, когда они узнают, что я их ослушался и бежал от них. Меньшему брату, который спал со мной в одной комнате, сказал я, что пойду прогуляться по саду, и чтобы он не беспокоился, если я долго не приду. Помолвившись еще раз, я вышел в сени. Условный колокольчик зазвенел за воротами; я видел, как ямщик на лихой тройке промчался мимо них, давая мне знать, что все готово к отъезду. Еще несколько шагов — и я на свободе. Но в сенях встретил меня дядька мой Ларивон. «Худое, барин, затеяли вы,— сказал он мне с неудовольствием,— я знаю все ваши проделки. Оставайтесь-ка дома да ложитесь спать, не то я сейчас доложу папеньке, и вам будет нехорошо». Точно громовым ударом ошибли меня эти слова. Я обидно стал упрекать дядьку, что он выдумывает на меня небылицу, заверяя его, что я только хочу пройтись по городу. Но Ларивон был неумолим. «Воля ваша,— продолжал он,— задние сени в саду у меня заперты на замок; я стану на карауле в нижних сенях, что на дворе, и не пропущу вас, а если вздумаете бежать силой, так я тотчас подниму тревогу по всему дому. У ворот поставил я караульного, и он тоже сделает в случае удачи вашей вырваться от меня». Тут я переменял упрек на моления; я слезно просил его выпустить меня и нежно целовал его. Но дядька был неумолим. Делать было нечего: надо было оставаться в заключении. Отчаяние мое было ужасно; можно сравнить это положение только с состоянием узника, который подпилит свои цепи и решетку тюрьмы, готов был бежать и вдруг пойман... Дядька мой преспокойно сошел вниз. Проклинаю его и судьбу свою, я зарыдал, как ребенок. Вся эта сцена происходила в верхнем этаже очень высокого дома. Из дверей сеней виден был сквозь пролом древнего кремля огонь в квартире старого гусара, который собирался посвятить меня в рыцари. Я вышел на балкон, чтобы взглянуть в последний раз на этот заветный огонек и проститься навсегда с прекрасными мечтами, которые так долго тешили меня. Вдруг,

с правой стороны балкона, на столетней ели, растущей подле него, зашевелилась птица. Какая-то неведомая сила толкнула меня в эту сторону. Вижу, довольно крепкий сук от ели будто предлагает мне руку спасения. Не рассуждая об опасности, перелезаю через перила балкона, бросаюсь вниз, цепляюсь проворно за сучок, висну на нем и упираюсь ногами в другой, более твердый сучок. Тут, как векша, сползаю проворно с дерева, обдираю себе до крови руки и колена, становлюсь на земле и пробегаю минуты в три довольно обширный сад, бывший за домом, на углу двух переулков. От переулка, ближайшего к моей цели, был забор сажени в полторы вышины: никакая преграда меня не останавливает. Перелезаю через него, как искусный волтижер. Если бы заставили меня это сделать в другое время, у меня недостало бы на это ни довольно искусства, ни довольно силы. Но таково могущество воли, что оно удесятерит все способности душевные и телесные. Перебежать переулок и площадь, разделявшую дом наш от кремля, и влететь в дом, где ожидали меня, было тоже делом нескольких минут. Я пробежал задыхаясь, готовый упасть на пол; на голове у меня ничего не было, волосы от поту липли к разгоревшимся щекам. Мои друзья уже давно ждали меня, сильно опасаясь, не случилось ли со мной какой невзгоды. Старый гусар благословил меня образом, перед которым только что отслужили напутственный молебен; на меня нахлобучили первый попавшийся на глаза картуз. Мы сели в повозки и помчались, как вихорь, через город».

Таким образом, пламенное желание послужить родине заставило кроткого и благотворного Лажечникова даже послушаться родителей. Последние, впрочем, скоро простили его и, нагнавши беглеца в подмосковном селе Троицком, обошлись с ним ласково.

Собственно Москву Лажечников нашел уже освобожденной от неприятелей. Но война еще далеко не была окончена. Нельзя было тогда еще предвидеть той решительной перемены военного счастья, которая повалила гениального Корсиканца. Опасность от него была еще настолько велика, что требовалось напряжение всех военных сил. Деятельно поэтому шел сбор ополчения, куда и поступил наш писатель. Благодаря хлопотам отца Лажечникова, приятель его — губернатор московский Обрезков, сначала публично пожурив слушника, потом дал ему рекомендательные письма к разным началь-

ствующим лицам, что и доставило ему место офицера, а не простого ратника.

До сих пор мы черпали сведения из «Новобранца 12-го года» — небольшой статейки, написанной замечательно тепло, искренне и интересно. О дальнейшем же участии Лажечникова в войне народов дает нам сведения автобиография Публичной библиотеки и «Походные записки русского офицера», которые Лажечников помещал в журналах десятых годов, а в 1820 году издал отдельной книжкой. В собрание сочинений они не были включены автором и потому совершенно неизвестны публике и критикам.

Лажечников сначала определился прапорщиком в московское ополчение, а затем его перевели в московский гренадерский полк. В Вильне нагнал их штаб своей 2-й гренадерской дивизии и здесь же начальник этой дивизии, принц Мекленбург-Шверинский, прикомандировал его к своему штабу и потом взял к себе в адъютанты. Рекомендательные письма, значит, сослужили-таки свою службу.

Благодаря своему адъютантскому положению, Лажечников сразу попал в «сферы», и нет сомнения, что и это обстоятельство укрепило его незлобивость и искреннюю преданность «сферам». Человек, которому везет, всегда почти привязан к тому порядку вещей, который доставляет ему благоденствие.

Веселой жизнью зажил юный адъютант. Штабным всегда хорошо живется. А тут еще подвернулось особое обстоятельство. Из Калиша в 1813 году Лажечников вместе с шефом своим отправился в герцогство Мекленбург-Шверинское, где положительно завертелся в вихре придворной жизни. Торжественно встречали мекленбургцы своего герцога: патриотическое возбуждение немцев было тогда в полном разгаре. Первые успехи в борьбе с Наполеоном возбуждали надежду на полное свержение французского ига. Все были в чаду упоения этими успехами и с энтузиазмом относились к виновникам их. Восторженнейшими овациями встречали повсюду герцога, участника первых побед над тираном Европы. Торжественные процессии, триумфальные арки, молодые девушки в белых платьях и гирляндах из цветов с венками для героев, приветственные речи, иллюминации, праздничные толпы ликующего народа, восторженные крики — весь этот блеск и треск выпал на долю герцога и его свиты.

Один из немногих членов этой свиты, Лажечников наслаждался торжественностью встречи в полном ее объеме. Помимо того, что он был адъютантом герцога, он был еще русским, то есть представителем самого популярного тогда в Европе народа. Поэтому, где бы Лажечников и его немногие русские сотоварищи ни были, их всюду восторженно принимали, ласкали, угощали, баловали. Вместе с герцогом объездил он многие германские дворы, в том числе прусский, и всюду он встречал самый блестящий прием. Лажечников то и дело обедал вместе с великими герцогами и королями, участвовал в самых интимных придворных собраниях, танцевал с принцессами и королевскими дочерьми.

Всякий другой на месте Лажечникова сумел бы воспользоваться столь благоприятно сложившимися обстоятельствами и вернуться из кампании в немалом чине. Но не таков был восторженный юноша. Если первые два-три месяца его и ослепил блеск придворной жизни, то он, однако же, очень скоро вспомнил, что не для того он с такими препятствиями определился в военные, чтобы стать паркетным шаркуном, хотя бы даже королевских палат. Карьеризм во всю его жизнь был чужд Лажечникову, и как мы уже раз сообщили, он умер в весьма среднем чине и завещал своему семейству 2 выигрышных билета. Не прельстила его карьера и в 1813 году. «Между поездками то под Бауцен, где находился более зрителем, чем участником данного под этим городом сражения, то в Силезию во время перемирия, то в Богемию, когда раздавались в ней громы Кульмской битвы, то в армию кронпринца шведского (Бернадота) при Гросс-Берене; грустя и стыдясь, что по обстоятельствам, не зависевшим от него, не окурился, как должно, порохом и не разделял с товарищами опасностей военной жизни, он решительно просил шефа своего уволить его от должности адъютанта» (Автобиография Публичной библиотеки).

Ввиду такой настоятельности непрактичного адъютанта, увольнение ему было дано. В декабре 1813 года Лажечников нагнал свой полк в то время, как он переправлялся через Рейн. Близость с шефом дивизии и здесь послужила протекцией Лажечникову. Он был назначен адъютантом к генералу Полуектову, но теперь уже адъютантом боевым. Уже не зрителем, а деятельным участником встречаем мы его в деле под Бриеном и в величайшем событии кампании 14-го года —

взятии Парижа. За участие в последнем Лажечников получил орден за храбрость. Участвовал он, конечно, и в торжественном вступлении наших войск в Париж.

По возвращении армии в Россию Лажечников зиму 1814—1815 годов провел в Дерпте. Здесь он познакомился с Жуковским, гостившим у Воейкова. Эти литераторы, послушавши отрывки из «Походных записок» молодого офицера, очень благосклонно к ним отнеслись и поощрили его к дальнейшей литературной деятельности. Но раньше, чем предаться этим мирным занятиям, ему пришлось еще раз побывать на поле брани. Наполеону не сиделось на Эльбе, и вскоре Европа была потрясена известием о Канской высадке. Снова закипела война; дивизия Лажечникова получила приказ отправиться «за границу». Второй раз пришлось ему побывать во Франции.

В 1818 году Лажечников поступил адъютантом к знаменитому начальнику гренадерского корпуса, победителю при Кульме — графу Остерману-Толстому и «вскоре после того отправился с ним в Варшаву, где (в свите Государя Императора) был ежедневно в кругу тогдашних знаменитостей и близким зрителем достопамятных событий того времени». (Автобиография Публичной библиотеки). В этом же году Лажечников, продолжая состоять адъютантом при Остермане-Толстом, очень его любившем, с чином поручика лейб-гвардии, был переведен в Павловский полк, а в декабре 1819 года вышел в отставку и, заручившись рекомендациями своего генерала, на родственнице которого женился вскоре, поступил на службу по министерству народного просвещения, о чем всегда мечтал.

Вот как неблистательно завершилась военная карьера Лажечникова. Все время был он адъютантом, в начале и конце при весьма высокопоставленных лицах, и все-таки ни капитала не нажил, ни до степеней особенных не дошел. Не умел ловить момент, да и не хотел.

IV

Последние годы своей офицерской службы Лажечников усердно занялся литературой. С 1817 года он начинает помещать в «Вестнике Европы», «Сыне Отечества» и «Соревнователе просвещения и благотворения» отрывки из своих «По-

ходных записок». В этом же году он издает «Первые опыты в прозе и стихах» — собрание пьес, большей частью уже напечатанных им в разных журналах («Вест. Европы», «Русск. вест.», «Аглая») и отчасти уже нам известных. В словаре русских книг Геннади мы против «Первых опытов» читаем: «Редкая книжка, потому что была уничтожена самим автором». В Публичной библиотеке, где ex officio сохраняется всякий хлам, есть и эта редкая книжка, не рассмотренная еще ни одним критиком. Конечно, вообще говоря, не стоит на ней останавливаться, потому что большая часть книжки дребедень страшная, но есть в ней вещи, вызывающие некоторые безынтересные параллели.

Сам Лажечников о «Первых опытах» следующим образом отзывается в своей автобиографии, хранящейся в Публичной библиотеке: «...к сожалению, увлеченный сантиментальным направлением тогдашней литературы, которой заманчивые образцы видел в «Бедной Лизе» и «Наталье — боярской дочери», он стал писать в этом роде повести, стишки и рассуждения. Впоследствии времени он издал эти незрелые произведения в одной книжке, под названием «Первые опыты в прозе и стихах»; но, увидав их в печати и устыдясь их, вскоре поспешил истребить все экземпляры этого издания».

«Первые опыты» состоят из трех отделов: «Повести», «Рассуждения» и «Стихи». «Рассуждения» — лучшая часть книжки и довольно удовлетворительны. Они обнимают самые разнообразные сюжеты: тут есть и знакомые нам «Мысли», значительно дополненные, и статья «О беспечности», и «Разговор о любви», и «Мысли славнейших писателей о женщинах», и трактатцы «О прекрасном и милом», «О воображении», «О надежде», из которых «О воображении» заключает в себе несколько дельных мыслей. Так, например, к чести критического понимания молодого писателя, он восстает против нравившихся в то время «бредней Радклифа, ищущих грозных происшествий по мрачным подземельям». Любопытен, как отражение эпохи, взгляд молодого литератора на «истину» в литературных произведениях: «Всякая истина в наготе своей заключает в себе пользу; но не принесет никогда желаемого успеха, если передаваема будет без особенной привлекательности. Не всегда смертный требует одной важной и строгой правды; не один разум занимает его; есть, наконец, воображение, и кто будет столь-

ко жесток, что разлучит его с нежными, лучшими друзьями? Вы, которые называете себя учителями нравов, угрюмые писатели нашего времени! Оденьте истину вашу прозрачным покрывалом воображения, и вы будете нравиться, подобно любезному Карамзину; подобно ему, найдете поклонников дарованиям своим; раскиньте с бережливостью цветы приятного по сухому полю философии, и любезные ученицы природы и вместе наставницы, рода человеческого полюбят душой ваши творения; соедините ум и сердце, будьте чувствительны без займа чужой чувствительности, и слезы друзей-читателей почтят память вашу искренней похвалой».

Было бы странно винить Лажечникова за такую боязнь «истины», если вспомнить, что целых двадцать лет спустя гениальнейший представитель литературы своего времени точно так же находил, что

Тьмы низких истин нам дороже
Нас возвышающий обман.

Почти весь стихотворный отдел, как оно и приличествует юному поэту, посвящен любви. Он объясняется в любви целому сонму дам, которые по правилам поэзии того времени называются не Марьей, Анной, Варварой, а непременно Мальвиной, Хлоей, Лилой, Дельфирой.

Но самая любопытная и поучительная часть книжки — это помещенные в ней повести: «Спасская лужайка» и «Малиновка». «Спасская лужайка» повествует о «несчастном Леонсе», который, потерявши мать и «оставшись верен своей горести» в течение целого года, вдруг познакомившись с прекрасной дочерью «г-жи Теановой» — Агатой, почувствовал цену жизни и узнал вторично, что существо наше красится только «существом другого». Агата тоже полюбила Леонса. Леонс «сделал обет в сердце своем любить Агату единственно — до гроба!.. Увидим, не изменил ли он клятве своей!». Обстоятельства слагались самым ужасным для любовников образом. Мать Агаты, несмотря на то, что уже «семь люстров сочла в жизни своей (семь пятилетий), была еще привязана к шумным удовольствиям» и вышла замуж за овдовевшего отца Леонса. Несчастливые любовники оказались таким образом братом и сестрой и не могли соединиться «вечными узами». Правда, как человек эпохи, воспитанной

на Руссо и его *homme selon la nature*, Леонс не покорился «определенью судьбы» и в сочиненных им стихах резко заявляет:

Что мнения людские,
Что света нам слова?
Природа нам святыя
Свои дала права,
Природа нам велела
Друг друга век любить,
Ужель она хотела
Преступников творить?

Но на самом деле ничего нельзя было сделать. А тут еще подвернулся помещик Беатусов, который, поощряемый родителями Агаты, захотел жениться на ней. Бедная, из чувства повиновения, согласилась. «Даю руку, но не сердце!» — сказала она матери и почти решилась жертвовать всем жестокому долгу. Но раньше чем окончательно согласиться, она отправилась на свидание с Леонсом. «Можно ли отказать в последнем свидании тому, для кого жили и хотели умереть? и где ж, в какое время назначено видеться? Боже, что делает твое создание в иступлении страсти!.. Глухая полночь, осенняя непогода, волнующаяся река должны быть свидетелями последних клятв, последнего вздоха любви!.. Челнок и верный друг Агаты приняли ее у берега. «Любишь ли ты еще меня?» — спросил несчастный дрожащим голосом. «Боже мой! ты видишь, люблю ли Леонса!» — отвечала она и крепко прижалась к груди его. Он трепетал; лихорадка струилась по его жилам. «Милый друг! боишься ли ты смерти?» — сказал он голосом иступления. «Смерть с тобою?.. Нет! До гроба — клятва наших сердец! Умрем вместе, когда мы вместе не могли жить!.. Готова, мой друг!.. Навеки твоя!..» Чуть услышал он роковое «навек», чуть слышал, как она молилась в его объятьях, и имел еще силу оттолкнуть утлую ладью от берега, имел еще дух стать на один край ее... с этим движением челнок опрокинулся... Легкий шорох... еще шорох... все утихло... один гений преступления летал тогда над зыблущимся гробом несчастных любовников. Говорят, что он и по днесь на том же самом месте виден в слезах, умоляющим небо простить двум жертвам любви. На другой день нашли тела злополучных друзей, вместе плавущие поверх воды. Руки бедной Агаты оплелись вокруг Леонсова стана, черты

лица на обоих выражали одну горесть и, казалось, упрекали людей в их жестокости. Лесок Спасской лужайки осенил их могилу. Дрожащие осины стонут и теперь над прахом их и напоминают бедному страннику о непостоянстве жизни, в которой судьба почти всегда смешивает терны с цветущей розой, и там, где мы надеялись улыбаться, велит проливать горькие слезы».

Мрачное настроение, навеваемое «Спасской лужайкой», рассеивается исторической повестью «Малиновка, или Лес под Тулой», посвященной описанию любви счастливой.

Малиновка — это некая сирота из рода Нагих, которая вместе с дядей своим *Мирославом* скрывалась «близ Тулы, в густоте березового леса» от преследования «честолюбия Годунова». Сначала хорошо ей жилось. Весело просыпалась она с красным солнышком, весело встречала первую вечернюю звезду. Прекрасная с веселостью топтала зеленые луга, с беспечностью терялась по извилистым тропам березового леса, в сладком забвении засыпала на коленях почтенного родственника. Но вот прошел таким образом год, и Малиновка «почувствовала одиночество. Скука встречала ее на муравах, тоска следовала за нею во всех прогулках; вздохи ее слышны были даже и в те минуты, когда старик разными играми и ласками старался вызвать улыбку на полное ее лицо». Малиновка все ждала «сама не зная кого». *Он* не замедлил явиться в образе *Миловида*. Миловид был «цвет юношей, краса витязей, любовь дев престольного града». Внезапно дано ему было Годуновым приказание отыскать в тульском лесу Мирослава и, «отягченного цепями, привезть в столицу». Напрасно отклонял от себя добрый Миловид злое поручение. «Грозный тиран» был неумолим. В товарищи ему дан был злой *Скрытосерд*. Долго они рыскали и ничего не находили. Но вот однажды «при закате румяного солнышка, пробираясь через лес», они услышали чудную песнь. То пела Малиновка, славившаяся своим умением «слагать песни и петь их. Когда она пела радости беспечной юности, резвую беззаботность, быстрые часы удовольствия, тогда старцы почитали себя моложе, мечтали с улыбкою о днях прошедших и порхали воображением по душистым розам любви». Миловид, внимая звукам песни еще невидимой покамест певички, «чувствовал что-то необыкновенное, чего не мог изъяснить». Но вот показалась и сама певичка «во всей свежести, со

всеми прелестями лет весенних». Миловид был поражен. В свою очередь, и Малиновка, «сравнивая его с крылатым юношей, так часто посещавшим ее в мечтах сновидения, подумала: точно *он!*» Тотчас последовала между ними «мена сердец и перелив душ». Вслед за тем «молодые рыцари проводили красавицу до жилища ее. У ворот тесовых пожелали они ей доброго дня, не смея следовать за нею в терем, потому что дядя ее *Боголюб* был не совсем здоров (как рассказала она им дорогой, не открывая им настоящего его имени)». Хитрый Скрытосерд сразу, однако, сообразил, что тут что-то неладно, и через несколько дней «хитрыми допросами окруженных поселян, обманами, увещаниями и даже угрозами» узнает, кто в действительности мнимый *Боголюб*. Миловид же, «в сладостных мечтах любви, забывает грозное поручение тирана» и ищет свидания с Малиновкой. В первую же встречу они объяснились в любви; «души любовников порхали на пламенных устах их... они соединились навеки с первым невинным поцелуем. Высоко поднималась грудь красавицы, томно тлелся огонь в глазах ее! Как преступница, стояла она перед другом своим и не смела заглянуть в глубину души, боясь найти что-нибудь противное правилам, внушенным ей почтенным родственником». На следующий день она открыла Миросладу свою тайну и привела к нему Миловида. Свидание было ужасное. «Они встречались некогда в палатах и узнали друг друга... Что делалось тогда в душе несчастного юноши? Сколько страстей стекалось в нее для борьбы между собой! Долг, сострадание, верность к престолу, родство и любовь... Но последняя превозмогает». Миловид, открывши Миросладу свое поручение, решается не исполнить его и вместо того отправиться в Москву и выпросить у Годунова прощение старцу. Но его предупредил Скрытосерд, известивший обо всем царя. Годунов в страшном гневе. «И Мирослад, и Миловид в разное время отягчены цепями, разными дорогами приведены в Москву и ввергнуты во мрак темниц; обоих ожидает смерть — и смерть постыдная!..» Уже назначена на завтра казнь. «Только последней, единственной милости перед казнью требуют два несчастливца: свидание с Малиновкой». «Я слышал, что она мастерица петь и играть на гуслях, и хочу узнать опытом, так ли велико искусство ее, как мне об этом сказали», — сказал властелин — и отдал повеление привести Малиновку в престольный град.

Царский посланник нашел ее при дверях гроба; но весть о свидании с другом, который был ей всегда верен, оживила ее. «Так не забыл меня Творец! Я могу еще умереть с ним!» — сказала она и с твердостью в душе последовала за посланным. Какое явление ожидает ее в Москве, в палатах царских! Годунов на престоле, окруженный всею пышностью двора своего. С одной стороны бояре, подпора царства русского, с другой — супруги их, цвет Москвы белокаменной, вдали... грозная стража, и между ею... отгадало ли сердце твое, несчастная Малиновка?... туманится образ старца и образ юноши... оба в цепях!.. Сердце ее бьется сильнее, глаза ее покрываются мрачным облаком, ноги ее готовы подломиться! — Так это они!.. один — второй отец, другой — милый друг души ее! Она хочет броситься к ним, но Годунов дает знак — и Малиновка с трепетом к нему приближается.

Никогда двор царев не украшался такими прелестями, никогда царство русское не производило подобной красоты!.. Старики желали бы иметь ее своею дочерью, молодые — супругою, а жены боярские, завидуя ей, удивлялись! Самое сердце властелина чувствует к ней сожаление. Он повелевает ей подойти к приготовленным для нее гусям и рассказать в песнях повествование любви ее. Какое повеление! Исполнить его трудно, не исполнить — значило бы нанести сильнейшую грозу на чету несчастливцев!.. Она садится за гусли, еще раз взглядывает на грозную стражу, на злополучного старца, на милого друга, еще раз на него... и поет... сперва побег родственника, невинность его, любовь свою и свои несчастья — и потом умолкает! На лице тирана заметно смущение; бояре и жены их закрывают платками слезы, текущие по лицу их. Малиновка видит торжество свое. Какое-то неизъяснимое предчувствие говорит ей, что в славе песней ее заключается спасение двух ближайших сердцу ее существ. Она снова поет... и надежда на великодушие царя изливается в ее песнях. Никогда чувство и природа не соединялись с большим искусством, чтобы пленять слух и сердце; никогда дарования не давали красоте столько властей, как теперь! Еще усилия любви и искусства — и Малиновка читает *милость* в глазах Годунова. «Песни твои меня тронули! — сказал

властелин, побежденный в первый раз природою.— Дарования твои должны получить награду. Вот она! — прибавил он, указывая на чету несчастливцев,— тебе представляю снять с них цепи».

V

Не для этого привели мы довольно значительные выдержки из «Спасской лужайки» и главным образом из «Малиновки», чтобы дать читателю понятие о том, какую дребедень писал Лажечников в начале своей литературной деятельности. Мало ли всяким писателем дребедени пишется, раньше, чем он выбьется на настоящий путь, и есть ли надобность на этом останавливаться. Но в том-то и дело, что «Спасская лужайка», а в особенности «Малиновка» — дребедень крайне характерная. Если есть у вас под рукою «Бедная Лиза» или «Наталья — боярская дочь», перечитайте их. Тогда наш пересказ повестей из «Первых опытов» приобретает большую поучительность. Вы убедитесь, что «Спасская лужайка», например, ни слогом, ни концепцией, ни основной мыслью, вообще решительно ничем не ниже «Бедной Лизы». А между тем в то время, когда Карамзин вызывал своими повестями неистовый восторг, Лажечников столь же неистово истреблял свою «Спасскую лужайку», однородную с карамзинской повестью. А промежуток каких-нибудь 20 лет. Как тут, с одной стороны, не признать решающего значения исторической критики при оценке литературных произведений прошлого и, с другой стороны, как не усмотреть тут частного проявления необыкновенно быстрого роста русской гражданственности, благодаря которому вот уже почти столетие стадии умственного развития нашего измеряются не веками и полувеками, как на Западе, а двадцатилетиями и подчас даже десятилетиями. Правда, это отчасти характеризует не одну быстроту, но и поверхность: все наши «направления» заимствуются, не вытекают органически из потребностей жизни и потому столь же быстро отцветают, как и расцветают...

Что же касается «Малиновки», то при всей своей ничтожности она представляет собой весьма важный материал для установления исторически правильного взгляда на литературную ценность сочинений Лажечникова. Сопоставимте, в самом деле, «Малиновку» с «Мыслями», писанными *де-*

стью годами раньше, когда Лажечников еще не вышел из детского возраста. «Мысли» — вещь, может быть, и весьма незначительная, согласен. Но они все-таки *литературно благообразны*, не режут вас вопиющим диссонансом. Вы назовете их не особенно глубокими, может быть, банальными, но они ни в каком случае не оскорбляют элементарных литературных требований. «Малиновка» же — это какая-то совершенно непроходимая чушь, буквально какие-то сапоги всмятку. Дикое игнорирование самых примитивных сведений о русской истории просто непонятно. Знали ведь в то время настолько русскую историю, чтобы не представлять себе двор Годунова средневековым турниром, знал, конечно, ученик Победоносцева и Мерзлякова, что женщины древней Руси были затворницы и в состав «двора» не входили и что картина импровизации Малиновки совершенно несообразна с жизнью древней Руси, с жизнью даже той лубочной древней Руси, которая рисуется в «Наташе — боярской дочери». Не мог же, наконец, не знать Лажечников, что во времена Годунова предки наши назывались какими-нибудь христианскими именами, а не Миросладами, Боголюбями, Миловидами, Скрытосердами. Да, все это, несомненно, знал Лажечников, но если тем не менее написал такую нелепицу, как «Малиновка», то, очевидно, потому, что *не было хороших образов исторической повести*. Когда пятнадцатилетний юноша подражал хорошему писателю Лабрюйеру, — в результате получилось нечто более или менее сносное, а когда этот же юноша, десять лет спустя, значительно развившись интеллектуально, взялся за литературный род, не имевший хороших представителей, он создал нечто крайне безобразное. Не только «Мысли», но и все остальные рассуждения, помещенные в «Первых опытах», довольно удовлетворительны. Даже стихотворения «Первых опытов» не более как посредственные или слабы в худшем случае, но ни в каком случае не безобразны. Все это, очевидно, оттого, что, воспитанный на философах, Лажечников, при своей восприимчивости, с легкостью усвоил себе способ составления небольших рассуждений. Что же касается стихов, то и тут Лажечников шел по проторенной дорожке. Русская поэзия имела уже в то время такого первоклассного представителя, как Державин, наконец, уже раздались первые звуки лиры Жуковского. Но в области русской исторической повести Лажечников, кроме таких

скверных образцов, как «Наталья — боярская дочь», ничего не имел. Если оставить в стороне Вальтера Скотта, который, правда, в десятых годах уже выпустил некоторые из своих исторических романов, но к нам в Россию проник только в двадцатых годах, то молодому Лажечникову некому было подражать и из представителей европейской литературы. Напротив того, нарождающийся романтизм только мог спутать его своим выдвиганием на первый план фантазии писателя.

Да, *Лажечникову, когда он писал «Малиновку», некому было подражать*, — это обстоятельство весьма важное. Не только тем, конечно, что объясняет нам нелепость какой-нибудь «Малиновки», а тем, что дает руководящую нить и для оценки всей литературной деятельности Лажечникова. В той области, разработке которой посвятил свой созревший талант Лажечников, именно в области *русского исторического романа, он был одним из первых пионеров*, которому приходилось пролагать себе путь сквозь густую чащу прошлого, еле освещенную чуть брезжащим светом младенческой историографии конца двадцатых и начала тридцатых годов.

Это непременно нужно иметь в виду, и вот почему мы должны быть крайне благосклонны ко всем недостаткам и ошибкам Лажечникова, и если выдвигать что-либо, так исключительно достоинства его романов. Даже романы такого огромного художественного дарования, как Вальтера Скотта, местами кажутся современному читателю и вялыми, и скучными, и неестественными. Нам, привыкшим к тонкому анализу и реализму новейшей литературы, характеры Вальтера Скотта кажутся слишком схематичными, а «романтический реализм» его, как выражается Брандес в своих «Hauptströmungen», слишком внешним и поверхностным. Понятно, что в еще более грубую ошибку впадем мы, если станем с новейшей меркой подходить к Лажечникову, — таланту, сравнительно с Вальтером Скоттом, второстепенному. К нему нужно подойти совсем с другой стороны. Шотландский Вальтер Скотт имел перед собой прекраснейшие образцы прозаического романа — Дефо, Филдинг, Ричардсон, Смоллетт, Голдсмит, Стерн, — все люди не только не уступающие ему талантом, но некоторые даже и превосходящие. Вальтеру Скотту приходилось, следовательно, только изменить сюжет романа, из нравоописательного сделать исторический — задача сравнительно легкая, требующая только знания истории. Но русско-

му Вальтеру Скотту, как справедливо называют Лажечникова, такого знания было мало. Ему не только приходилось создавать русский *исторический* роман, ему почти приходилось создавать русский *роман вообще*, который до него находился в совершенно младенческом состоянии. Шотландскому Вальтеру Скотту предшествовал Голдсмит, которого и теперь с наслаждением читаешь, а русскому — такая дребедень, как романы Эмины и Измайлова и «Бедная Лиза». Правда, первый роман Лажечникова появился в 1831 г., следовательно, два года спустя после выхода в свет «Юрия Милославского» и несколько лет спустя после появления повестей Николая Полевого, в том числе его исторического романа «Клятва на гробе Господнем», а также и других более или менее сносных повестей второй половины двадцатых годов, но дело-то в том, что «Новик» был задуман и писался в середине двадцатых годов. Таким образом, Лажечников является не только качественно, но почти и хронологически «первым русским романистом», как его прозвали, по свидетельству Белинского, тотчас после того, как «Последний Новик» превзошел общее ожидание («Литературные мечтания»). Этого пионерства Лажечникова в области прозаического романа нашего никогда не следует упускать из вида. Вот почему мы в разборе произведений Лажечникова постараемся по возможности приводить отзывы о них современников и по возможности удерживаться от критики с точки зрения современных требований искусства. Если вообще говорится, что *la critique est aisée, mais l'art est difficile*, то еще более легкой вещью является критика задним числом. Но насколько такая критика легка, настолько же она и бессмысленна, потому что от всякого писателя можно требовать только то, что вытекает из условий того или другого фазиса литературного развития. Если на всю всемирную литературу можно насчитать какой-нибудь десяток имен, к которым не нужно применять никакой исторической критики, то незначительность этого исключения только оправдывает верность общего правила. Кроме того, специально по отношению к русской литературе, не нужно забывать уже отмеченной нами кратковременности литературных периодов и быстроту умственного роста нашего. За пятьдесят лет, отделяющих нас от центральной поры литературной деятельности Лажечникова, мы сделали такие гигантские шаги в сфере духовной производительности; робкими учениками вступали мы

в тридцатых годах в тот самый храм европейской литературы, в котором мы теперь такие же полноправные хозяева, как и все остальные заматерелые в цивилизации народы. Ясно, что при таких условиях историческая критика делается вдвое обязательнее.

VI

Установивши единственно верную, исторически правильную, точку зрения на Лажечникова, устраняющую всякий дешевый критицизм задним числом, возвратимся к событиям его жизни с 1820 г. В этом году он собрал свои путевые письма, разбросанные по разным томам «Вестника Европы» и «Соревнователя просвещения и благотворения», и издал их под названием «Походные записки русского офицера», с посвящением императрице Елизавете Алексеевне. Императрица милостиво приняла посвящение и в знак своего благоволения подарила автору золотые часы.

Выпуская «Походные записки», Лажечников был уже правым литератором. На заглавном листе книги мы читаем: «Походные записки русского офицера, изданные И. Лажечниковым, действительным членом общества любителей русской словесности при московском университете и с.-петербургского вольного общества любителей словесности». В оба общества Лажечников попал благодаря этим же «Походным запискам», когда они печатались в журналах, «Записки» очень нравились современникам. Так, например, известный основатель харьковского университета — Василий Каразин в своем докладе, читанном с.-петербургскому обществу любителей словесности, констатируя успехи, сделанные органом этого общества — «Соревнователем просвещения и благотворения», в доказательство приводит помещение в этом журнале одного из путевых писем Лажечникова, «очень занимательного для воображения» («Рус. стар.», 1871 г.) и все рецензии на «Последнего Новика» начинались констатированием большого успеха, который имели когда-то «Походные записки». 16 лет спустя, в 1836 г., потребовалось даже второе издание их. И действительно, они написаны легко и занимательно, без утомительных и ненужных военных подробностей, а почти исключительно налегая на бытовую сторону. В статье «Знакомство с Пушкиным» Ла-

жечников пишет: «В это время готовил я к печати свои «Походные записки», в которых столько юношеской восторженности и столько риторики. Признаюсь, писавши их, я еще боялся отступить от кодексов Рижского (автор весьма известный в начале нынешнего столетия риторики) и братии его, столь твердо выученных мне профессором Победоносцевым. Счастлив, кто забыл свою риторiku! — сказал кто-то весьма справедливо. — Увы, я еще не забыл ее тогда...» Отзыв этот, однако же, несправедлив. В «Записках» относительно мало риторики и они даже теперь читаются не без интереса. Если чего действительно слишком много в «Записках», так это морализации. По примеру Карамзина, Лажечников, по поводу всего виденного, пускается в философские размышления. Но к чести доброго сердца его нужно сказать, что размышления эти хотя и скучноваты и элементарны, но очень симпатичны. Молодой автор не находит слов, чтобы достаточно восхвалить заботы прусского правительства о народном благосостоянии, о народном образовании и т. д. А некоторые размышления Лажечникова крайне замечательны для адъютанта, завертевшегося в вихре придворной жизни. Описывает он, например, как, благодаря радушию немцев, приветливо встречавших русских, ему и его спутнику удалось счастливо пропутешествовать в 1813 г. по Северной Германии, когда они вместе с герцогом Мекленбургским отправлялись на родину герцога.

«Среди солдатского похода мы совершаем самое приятное путешествие, и бедные, как Иры, наслаждаемся, подобно Крезам. Пользуйся настоящим! — говорят любезные учителя счастья, — и мы в строгой точности повинемся их учению. Следуя со станции на другую в покойной коляске на четырех быстрых конях, покаясь на хороших постелях, сидя за блюдом форелей или фазана, любясь ключом шампанского, бьющего со дна прадедовского бокала, или слушая, как сок гренадских апельсинов с песком американского тростника бунтует в портере, обогащаясь каждый час новыми дарами природы и искусства, — спрашиваем, улыбаясь, друг у друга: *«Не охает ли какая-нибудь тысяча душ от роскошного нашего путешествия? Не имеем ли нужды послать приказ к бурмистрам и старостам нашим о накладке на крестьян оброка?.. Слава Богу! Удовольствия наши не покупаются ценою кровавого пота подобных нам».*

Судя по этим словам, совершенно идущим вразрез с крепостнически-реакционным направлением аракчеевской эпохи, можно предположить, что не вращаясь Лажечников почти исключительно в кругу адъютантов и писателей ультра-благонравного направления: Воейкова, Вяземского, Жуковского, Греча (см. «Мое знакомство с Пушкиным»), он, очень может быть, окончил бы жизнь где-нибудь на Кавказе вместе с Одоевским или Марлинским. И в самом деле, кроме только что приведенного места, в «Походных записках» встречается множество таких шпилек современным порядкам, которые ясно показывают, что Лажечников, при сравнении наших порядков с заграничными, весьма часто выносил именно те же самые впечатления, как и друзья Марлинского и Одоевского, в которых заграничный поход заронил первые семена оппозиции и неудовольствия. Сплошь да рядом мыслящий молодой офицер, наблюдая иностранную жизнь, задает себе вопрос: отчего же у нас совсем иначе, отчего у нас все так плохо и неустроенно?

Но мягкая и незлобивая натура удерживала Лажечникова от каких бы то ни было резких выводов. Поэтому, рядом с легким вольнодумством, «Походные записки» полны наиказеннейшего патриотизма, а кое-где попадаетея и сервильность. Эта сервильность во всяком другом была бы противна. Но мы знаем, как мало извлек пользы себе Лажечников из близости к высокопоставленным лицам и «сферам». Поэтому и мнимая сервильность его превращается для нас в симпатичную преданность и энтузиазм.

Что же касается совмещения в «Походных записках» одновременно и оппозиции и благонравия, то это противоречие очень легко будет устранено, если читатель вспомнит про те две отправные точки, с которых, по нашему мнению, следует рассматривать деятельность Лажечникова. Среда и время приобщили его к официальному благонравию и казенному патриотизму, но чистота природы никогда не пускала его закрывать глаза на правду, как бы она ни противоречила официально установленным шаблонам.

Эта же чистота природы спасала Лажечникова от опасности замараться в грязи, как бы близко к ней судьба ни поставила его. Чтобы, например, подумали мы о всяком другом, прочитавши следующее: «Обстоятельства поставили меня в близкие отношения к М. Л. Магницкому, когда он стоял на

вершине своего служебного поприща и во время его падения; я пользовался его горячим, порывистым благорасположением, слыл даже лет пять его любимцем! («Как я знал М. Л. Магницкого». «Русский вестник», 66 г., № 1). Мы бы несомненно подумали, что такой человек был одним из приспешников того знаменитого мракобесия, которым Магницкий обессмертил себя в летописях ретроградства. На самом же деле Лажечников своею близостью к Магницкому воспользовался исключительно для хорошего. Исследования гг. Попова и Феоктистова вывели на свет Божий всякие делишки не только главных, но и самых незначительных приспешников Магницкого. Ясно, значит, если «любимец» Магницкого чем-нибудь захотел бы подслужиться своему патрону, это бы, конечно, оставило след в бумагах университетского и министерского архивов, где на позор прислужников сохранились все проявления угодничества их. Лажечников полгода исправлял должность инспектора студентов казанского университета — должность важную и доверенную, состоя на которой всякий другой, более ловкий, чем Лажечников, человек уж непременно «заявил» бы себя и, eo ipso, попал бы, конечно, и в разоблачении гг. Феоктистова и Попова, в которых, однако, ничего нет о нашем романисте, занимавшем кроме должности инспектора еще такое важное место, как директора казанской гимназии.

Все эти соображения мы приводим, так сказать, на всякий случай. Собственно говоря, они совершенно излишни, потому что испытанная *всеми, кто когда-либо сталкивался с Лажечниковым, засвидетельствованная прямота натуры его*, должна нам служить достаточной гарантией для того, чтобы безбоязненно судить об отношении Лажечникова к Магницкому, по воспоминаниям об этом самого же Лажечникова. Вполне можем поверить Лажечникову, когда из его воспоминаний видим, что, состоя инспектором университета, он не гнул студентов в угоду Магницкому, не следил инквизиторски за их «духом», как полагалось бы. Можем вполне поверить Лажечникову, когда он сообщает, что ни разу ни одного студента не сажал в карцер, — факт, вполне гармонирующий со всем известной добротой его.

Нужно и то сказать, что Лажечникову не должно было быть особенно трудно ладить с Магницким. Прежде всего, конечно, Магницкий имел достаточный «решпект» перед таким лицом, как Остерман-Толстой, по рекомендации кото-

рого он принял Лажечникова на службу, и перед пожалованием ему часов от императрицы, что избавляло Магницкого от ответственности за политическую благонамеренность Лажечникова. Но и помимо всего этого известно, что больше всего Магницкий налегал на религиозность. Первым делом при свидании Лажечникова с Магницким у них зашла речь о религиозных убеждениях. Лажечникову не было никакой надобности лицемерить; он всю свою жизнь был человеком глубоко религиозным, даже ортодоксально религиозным. Главное, значит, было улажено. Но, с другой стороны, искренность этой же самой религиозности, которая первоначально свела Лажечникова с Магницким, удержала его от каких бы то ни было действий в духе мниморелигиозного ханжества попечителя Казанского округа. Истинная, искренняя религиозность никогда не унижается до нелепого религиозного формализма и внешнего благочестия, которым ознаменовалась «христианская» деятельность Магницкого. И тут, как и в продолжение всей его жизни, чистота, глубина и искренность натуры предохранили Лажечникова от всего того, что сделало ненавистным других представителей ортодоксально-патриотического направления.

Своей близостью к Магницкому Лажечников, как мы уже сказали, воспользовался только для хорошего. Ему народное образование Казанского учебного округа обязано весьма многим. Определенный, тотчас по поступлении на службу по министерству народного просвещения, директором училищ Пензенской губернии и вскоре затем посланный визитатором саратовских училищ, он крайне добросовестно отнесся к порученному ему делу, что доказывается усиленной благодарностью Магницкого, который, при всем своем ханжестве, был человек очень деятельный и любил, чтобы его подчиненные добросовестно, а не только формально, исполняли свое дело. И так как по отношению к низшим и среднеучебным заведениям «политика» могла играть только очень второстепенную роль, то нам нет никакого основания не вменять Лажечникову в заслугу благодарности Магницкого: она действительно доказывает, что Лажечников как следует отнесся к своей обязанности — привести в порядок крайне запущенную учебно-педагогическую часть пензенской гимназии и других училищ Пензенской и Саратовской губерний. «Отдавая полную справедливость трудам вашим, усердию к службе и основа-

тельным сведениям по управлению учебными заведениями в христианском духе»,— писал Магницкий Лажечникову. «Заметьте слова: *«в христианском духе»*,— обижается Лажечников.— Уж, конечно, в этом духе, потому что я исполнял свои обязанности по долгу совести». Подтвердим и мы, что «по долгу совести», потому что кроме благодарности Магницкого, для многих, может быть, неисправимо подозрительной, у нас есть еще одно блистательное доказательство: во время визитации училищ завязалась та тесная дружба Лажечникова с Белинским, которая составляет одну из самых светлых страниц в биографии нашего романиста. Уж, конечно, Белинский не отдал бы своих симпатий человеку, который «христианский дух» понял бы в смысле Магницкого. Уж, конечно, если бы ревизия Лажечникова и управление им пензенской гимназией оставили по себе неприятные воспоминания, Белинский и его товарищи не обратились бы первым делом, по приезде в Москву, к Лажечникову за протекцией и не писал бы Белинский своему учителю М. М. Попову тотчас после первого визита у Лажечникова в Москве: «Вы доставили мне случай видеть человека, которого я всегда любил, уважал, любил видеть и говорить с ним».

Нам нет надобности много останавливаться на характерной дружбе «великого мученика правды» и «любимца» Магницкого. От этого нас освобождают вошедшие в настоящее издание «Заметки для биографии Белинского», впервые, так сказать, вытщенные на свет Божий (помещенная первоначально в крайне малораспространенной еженедельной газете «Московский вестник» за 1859 год, эта в высшей степени интересная статья почти неизвестна и самым записным любителям литературы). По свойственной Лажечникову скромности, он в «Заметках» весьма много говорит о своих чувствах к Белинскому и весьма мало о чувствах Белинского к нему. Но и этого малого достаточно, чтобы видеть, что Белинский, не только тотчас по приезде своем в Москву (в 1830 году), «всегда любил и уважал Лажечникова, любил видеть и говорить с ним». Белинский до конца дней своих всегда прекрасно относился к Лажечникову и своими восторженными рецензиями о его романах немало укрепил славу их. Личные отношения их были самые душевные. «Пока я жил в Москве, он нередко посещал меня; мы сблизились, несмотря на расстояние лет; не было заботы и надежды, не было юношеского

увлечения, которых он не поверял бы мне; случалось мне и отечески пожуричь его». Последнее подтверждается и материалами биографии Белинского, помещенными кн. Енгальчевым в «Русс. старине» 1876 года. Из них мы видим, что Белинский читал Лажечникову своего «Владимира» — это пламенный протест против крепостного права, и как Лажечников, сам возмущавшийся крепостным правом, сам при своем служебном положении решившийся заявить некоторый протест против крепостного права и в «Походных записках», и в «Последнем Новике», тем не менее действительно «отечески» советовал своему пылкому молодому другу оставить у себя в портфеле злополучную драму, которая-таки и вышвырнула Белинского из университета. Узнаем мы также из «Материалов» кн. Енгальчева, как и из «Заметок», впрочем, как Лажечников хлопотал за Белинского при поступлении им в университет.

Когда же Белинский оставил университет, Лажечников помогал ему в приискании занятий.

С течением времени, по мере того как Белинский все больше и больше уклонялся *влево*, взаимные отношения пламенного представителя нарождавшегося поколения и приближавшегося к пятидесятому году романиста оставались, однако, все в той же степени дружественные. Значение этого факта всего лучше будет установить свидетельством современника — «Литературными воспоминаниями» Панаева: «По мере того, как Белинский возбуждал к себе все большую любовь и уважение нового поколения литературного и нелитературного, старое литературное поколение смотрело на него все с большим ожесточением и бессильной злобой. Один из всех старых литературных авторитетов — И. И. Лажечников искренно дорожил его мнением и в каждый приезд свой в Петербург посещал его».

«И. И. Лажечников, — продолжает Панаев, — принадлежит * к тем живым, избранным и редким натурам, которые никогда не стареются духовно и потому чувствуют всегда большую склонность к молодым поколениям. За это их не очень жалуют их сверстники и вообще все отсталые люди, идеал которых не в будущем, а в прошедшем. Лажечников едва ли не единственный из литераторов своего времени, за исключением князя Одоевского, искренно и без всякой

* «Воспоминания» печатались еще при жизни Лажечникова.

задней мысли, с полным сочувствием всегда протягивавший руку всем замечательным деятелям последующих литературных поколений».

После смерти Белинского Лажечников, все более и более приближаясь к старости и даже дряхлости, тем не менее оставался страстным почитателем его памяти. «Заметки», писанные Лажечниковым в 1859 году, следовательно, на 67-м году жизни, дышат таким лирическим восторгом, такой пламенной любовью к великому критику и его деятельности, что сделали бы честь и сердцу юноши.

Восемь лет спустя, значит семидесятипятилетним стариком, Лажечников выпустил отдельным изданием своего «Опричника». Оно посвящено «памяти В. Г. Белинского». Это простенькое посвящение, однако, не лишено значения, потому что в 1867-м уже настолько сильно подули разные обратные зephyры, что многие прежние друзья Белинского поспешили забыть о своей дружбе с «неистовым Виссарионом» и уж во всяком случае не выставляли ее напоказ. Лажечников в это время как раз возвращался в среде отрекшихся от Белинского прежних друзей его, самая книжка с посвящением напечатана в типографии такого бывшего друга Белинского; в его журнале Лажечников в это время печатал свои произведения, в его лицей он определил своего сына. Не без влияния осталась эта среда — под давлением ее была написана «Внучка панцирного боярина», где запаха Страстного бульвара немало. Но уважение к Белинскому сидело слишком глубоко в Лажечникове. Этот талисман прежних дней он сохранял свято.

VII

Служба Лажечникова в Казанском округе, или, как он сам называет ее, «казанское пленение», — так ему было противно видеть мракобесие и дикое ханжество Магницкого, — продолжалась шесть лет. В конце 1820 года, он, как уже сказано, был назначен директором училищ Пензенской губернии и вскоре затем послан визитатором саратовских училищ. В декабре 1823 года Магницкий, в благодарность за успешную визитацию, назначил Лажечникова директором Императорской казанской гимназии и директором училищ Казанской губернии.

Состоя в должности директора казанской гимназии, в которой учился Державин, Лажечников воспользовался своей близостью к Магницкому, чтобы выдвинуть идею о постройке памятника певцу «Водопада». Опять-таки, значит, воспользовался своим положением «любимца» для хорошего дела, по крайней мере, по мнению Лажечникова. Да и кто тогда не поклонялся величию Державина, кто не считал полезным для отечества делом увековечение памяти столь великого песнопевца? «На торжественном акте гимназии, в конце 1825 года, в речи, им произнесенной, Лажечников в первый раз горячо выразил обязанность соорудить в Казани памятник Державину, ученику казанской гимназии. Смело можно сказать, что речь эта была первым краеугольным камнем, поставленным в основание памятника» (Автобиография Публичной библиотеки). Речь Лажечникова через два года была напечатана в издававшемся Воейковым «Славянине», откуда узнаем, что тотчас после речи присутствовавший на акте «господин управляющий Казанской губернией, статский советник А. Я. Жмакин, всегда готовый содействовать благонамеренным видам, клонящимся к пользе и славе отечества, изъявил ревностное желание собранием пожертвований осуществить предложение г. директора, в случае соизволения на это высшего начальства» («Славянин», 1827 г., стр. 438). Соизволение последовало, так что Лажечников по праву мог сказать: «последствия (поддержки Жмакина) известны: памятник Державину стоит на площади против университета. Горжусь, что я положил первый камень в основание этого памятника» («Как я знал Магницкого»).

В конце 1825 и начале 1826 года Лажечников несколько месяцев исправлял должность инспектора студентов и вскоре затем, вырвавшись «из плена казанского», вышел в отставку и поселился в Москве.

«В это время,— пишет Лажечников в Автобиографии Публичной библиотеки,— задумал он своего „Последнего Новика“, собирал для него исторические материалы и, чтобы вернее изобразить места, где происходили события избранной им эпохи, сделал путешествие в Лифляндию, которую исколесил вдоль и поперек, большей частью проселочными дорогами».

Итак, только тридцати лет от роду Лажечников ступил, наконец, на настоящую дорогу, и только через пять лет, т. е.

имея уже целых сорок лет за собой, он выступил перед публикой в качестве исторического романиста. Так что вполне прав был Белинский, когда, говоря о «Новике» в «Литературных мечтаниях» и перечисляя разные качества Лажечникова: «талант, образованность, пламенное чувство», прибавлял к ним, на основании своих частных сведений, «опыт лет и жизни». Но имел ли, однако, этот опыт какое-нибудь существенное влияние на творчество нашего романиста? «Умудрил ли» его этот опыт в том смысле, как он умудряет крупнейшее большинство людей, то есть показал ли ему тщету стремления к правде и идеалу? Ничуть. Мы уже несколько знаем из истории его отношений к Белинскому и еще больше убедимся в этом из дальнейших свидетельств разных лиц, знавших Лажечникова, как он до самой глубокой старости оставался чистым и увлекающимся юношей. Только в том отношении опыт лет повлиял на Лажечникова, что уничтожил в нем чрезмерную сантиментальность на карамзинский образец. Но преклонение перед добром и благородством, уверенность, что ими должна направляться жизнь наша, глубина чувства и поэзия,— все это свято и нерушимо хранил в себе Лажечников в продолжение всей своей жизни, и все это придает еще до сих пор неотразимую прелесть всем его произведениям, несмотря на все их недостатки с точки зрения современных требований искусства. Даже в шестидесятих годах, когда ни о какой исторической критике и слышать не хотели, когда валили Пушкина, чистота души Лажечникова, так ясно сквозящая через все его произведения, не оставалась без влияния на суровых рецензентов того времени и заставляла их мягко относиться даже к слабым произведениям последних лет его жизни,— произведениям, в которых было меньше таланта, чем в «Новике», «Ледяном доме» и «Басурмане», но столько же пламенной любви к добру и красоте.

Но если такое обаяние производил ансамбль творческой личности Лажечникова еще в шестидесятих годах, то нетрудно представить себе, какой восторг должны были возбудить романы его,— эти страстные апологии благородства и возвышенности,— в тридцатых и сороковых годах, в эпоху чувства и экспансивности по преимуществу. И действительно, с появления первых же частей «Новика» начинается жгучая популярность Лажечникова, быстро затмившая популяр-

ность всех других прозаиков той эпохи и поставившая его в ряд первоклассных литературных деятелей своего времени.

Что же такое представлял собой этот роман, который, по отзыву Белинского, «есть произведение необыкновенное, озаменованное печатью высокого таланта»?

«Чувство, господствующее в моем романе, есть любовь к отчизне»,— прямо заявляет Лажечников в 1-й главе «Последнего Новика».

Этими немногими словами определена вся сущность романа, все его достоинства и недостатки. «Последний Новик» в полном смысле слова — апофеоз любви к родине, правда, любви, современного человека не особенно-то удовлетворяющей, но тем не менее искренней и горячей. Немного найдется в русской литературе произведений, которые в такой степени были бы проникнуты восторженной привязанностью к родной стране, как «Последний Новик». Даже среди романов самого Лажечникова, всегда и неизменно клонящихся к прославлению родины, «Новик» выделяется своим горячим патриотизмом. В «Ледяном доме», например, патриотизм Вольнского если и составляет один из главных узлов романа, то все-таки не единственный. Не меньшую роль играет в романе и страстность его, а также действия Бирона и его приверженцев. Но в «Последнем Новике» все творческое внимание автора сосредоточено на лицах, посвятивших себя служению родине. Не только главные лица романа, Паткуль и Новик, отдали всю свою жизнь благу отчизны, но даже второстепенные — капитан Вульф, геройски себя взрывающий, дабы не посрамить чести шведского знамени, князь Вадбольский, карла Шереметева, Голиаф Самсоныч, сам Шереметев, Траутфеттеры, изнывающий от тоски по родине швейцарец, отец Розы, целая многочисленная галерея патриотов-солдат, наконец, Петр, Меньшиков,— все они постоянно думают о благе родины, отодвигая на задний план все другие свои интересы. Самый выбор сюжета, именно завоевание русскими Лифляндии, обусловлен патриотизмом автора. «На случай вопроса: почему избрал я сценой для русского исторического романа Лифляндию», автор поясняет, что остальные места России или не имеют исторических воспоминаний, следовательно, не возбуждают народной гордости, или же достаточно для последней цели эксплуатированы разными писателями. Лифляндия же — «Эрастфер, Гуммельсгоф, Мариен-

бург, Канцы, Луст-Эйланд — ныне имена мест, едва известные русским, между тем как в них происходили великие явления», очень почетные для России: «езде родное имя торжествует; нигде не унижено оно».

Если такое страстное и искреннее желание прославить родину, усилить любовь к ней сынов ее воспоминаниями о славном прошлом не может не расположить к себе читателя и составляет, следовательно, одну из сильных сторон романа, то, с другой стороны, этот же пламенный патриотизм значительно повредил «Последнему Новичку». Даже оставляя на время без внимания то обстоятельство, что патриотизм действующих лиц «Новика» весьма внешнего свойства, нельзя не видеть, что желание Лажечникова создать лицо, которое являлось бы апофеозом любви к родине, завлекло его в непролазные дебри неправдоподобности и искусственности. Главный герой романа, давший ему название, Новик Владимир — фигура крайне неудачная, безжизненная, состоящая из одной только любви к родине, без всякой примеси каких бы то ни было других чувств и страстей. А между тем сам же автор, рассказывая жизнь Новика до того, как начался роман, представляет его человеком крайне необузданного нрава и честолюбия. Эта же необузданность проявляется с ужасной силой в конце романа, точно Новик хотел сразу освободить весь запас страсти, накопившейся у него в течение долгого мыкания за пределами России. Очевидно, значит, у Лажечникова была мысль рельефно показать, до какой степени любовь к родине облагораживает человека. Вышло, однако, не рельефно, а лубочно.

Такого же невысокого калибра обрисовка патриотизма остальных действующих лиц. Он не идет дальше обычных двух пунктов казенного патриотизма того времени: желания «славы» своему отечеству и покорности. «Слава», конечно, ратная, по преимуществу «русская удаль», «русское молодечество», «голову свою сложим», «не посрамям земли русской», «верные слуги» и т. д., все в том же ортодоксально-благонамеренном роде, — вот элементы этой «славы», распространяться о которых нет надобности, потому что мы по горло достаточно знакомы с ними по малиновому звону передовиц «Руси» и грому статей «Московских ведомостей». Но, понятно, что мы не можем относиться к Лажечникову за его внешний и казенный патриотизм с такой же ненавистью, с ка-

кой относимся к Каткову и Аксакову. Это люди, которые имеют возможность быть истинными патриотами, но не желают, а Лажечников был не более как сын своего века. Помните, что и Белинский написал «Бородинскую годовщину». Перечтите, наконец, произведения самого Рылеева, его «Ивана Сусанина» и др., и вы увидите, в какую страшную ошибку впадете, если вмените Лажечникову в вину то, что было достоянием почти всей тогдашней интеллигенции, за самыми ничтожными исключениями. Притом же, как уже намечено нами в начале настоящего очерка, внешний патриотизм с такой искренностью и страстностью исповедуется Лажечниковым, что в этом следует видеть исключительно заблуждение ума, и притом не индивидуальное. Когда мысль века получила другое направление, Лажечников с пламенным восторгом примкнул к периоду реформ, наступившему после Крымской войны. Все это оттого, что в чистоте и искренности патриотизма Лажечникова, хотя бы и внешнего, таился источник чуткости ко всему хорошему. Вот почему вы и в настоящее время смело можете рекомендовать всякому юноше романы Лажечникова, между тем как вы его всеми силами постараетесь отговорить от «Руси» и «Московских ведомостей». В «Руси» и «Московских ведомостях» фальшь преднамеренная и корыстная, будящая самые отвратительные инстинкты, а у Лажечникова если и заблуждение, то не преднамеренное, но зато столько искреннего чувства и увлечения, которое в восприимчивой душе вызовет непременно такой же отзыв. А уж дать ему другое направление, раз добывши золотую руду, сделать из него надлежащее употребление — это уже дело нетрудное.

Но есть, впрочем, в патриотизме Лажечникова, и именно в патриотизме, которым он наделил Владимира, одна черта, по нашему мнению, крайне замечательная и с современной точки зрения. Мы говорим о той готовности, с которой Новик исполнял роль шпиона. Один из позднейших критиков Лажечникова — господин Нелюбов, автор в общем не лишенной достоинств статьи о нашем романисте («Русский вестник» 1869 г., № 10), об этом факте вот какого мнения: «В главной личности романа, в характере Новика, есть сторона, с которой нравственное чувство читателя не может примириться. Средства, к которым прибегает Владимир для того, чтобы загладить свои преступления перед Петром Великим, в глазах

Петра могли уменьшить вину Новика, но в глазах читателя могут только ее увеличить. Читателю бывший преступник не делается милее от того только, что он превратился в шпиона и лицемера; напротив, он только падает в глазах читателя, и нужна вся теплота и вся поэзия автора, чтобы картиной страдающей и неутолимой любви Новика к России заставить забыть тот способ действий, к которому эта любовь привела героя». Думаем, совсем наоборот. Именно современному читателю образ действий Владимира может показаться крайне симпатичным. Именно современный читатель, отставший от формалистики в нравственных вопросах, может увидеть в шпионстве Новика факт высокого героизма и необыкновенную глубину патриотизма. Не особенно трудно любить родину под звуки торжественных труб и литавр, когда вас ждет за это и почет, и слава, и всяческие блага земные; не особенно трудно любить родину в парадной одежде дипломата, в почетной роли патриотического журналиста, романиста и т. д.; естественно также быть патриотом, когда защищаешь неприкосновенность своего жилища, своего домашнего очага, но громаднейший запас истинного, глубокого и бескорыстнейшего патриотизма нужно иметь в себе, чтобы приносить пользу родине, взявши на себя весь позор так называемых «нечистых средств»!.. Ведь нелегко прибегать к ним. Не раз, конечно, у Владимира, поставившего суть выше формалистики, обливалось сердце кровью, когда приходилось накликать гибель на людей, лиц, в сущности не виноватых же тем, что судьба поставила их по пути осуществления известного идеала; не раз, конечно, целый ад кипел в груди, когда он решался на ту или другую меру, по существу своему глубоко омерзительную и, однако же, единственно действительную при известным образом сложившихся обстоятельствах. Положение нечеловечески мучительное, безысходный трагизм которого один только и дает возможность вынести душу свою из этой грязи столь же чистой, какой и окунаешь ее туда...

Некоторые критики тридцатых годов находили, что Лажечников заставил своего героя быть шпионом под влиянием Куперова «Шпиона». Едва ли это верно. Весьма вероятно, может быть, безусловно верно, что, когда Лажечников создавал фигуру Новика, ему был известен куперовский «Шпион». Но, не говоря уже о том, что и простое подража-

ние делало бы в данном случае честь глубине понимания Лажечниковым истинного патриотического чувства, мы в «Новике» же находим доказательства того, что Лажечников настолько хорошо понимал всякое истинное чувство, что пренебрежение Владимиром так называемых «нечистых средств» ни в каком случае не может быть названо чертой наносной, продуктом простого подражания. Приглядитесь, в самом деле, к одной из прелестнейших, истинно поэтических фигур «Новика» — швейцарке Розе. Если отделаться от впечатления некоторых чисто технических, в сущности внешних неуклюжестей, обусловленных литературными вкусами того времени, и если обращать внимание исключительно на *правду психологическую*, то фигура Розы, по справедливости, должна быть названа прекрасным изображением истинной и глубокой страсти. Твердо устоял Лажечников против искушения дать читателям своим картину прилизанной, чопорной и жеманной любви, во вкусе тогдашнего благонравия. Его Роза любит действительно беззаветно и потому не рассуждает, где нужно действовать, не стесняется сухим формализмом там, где чувство подсказывает ей образ действия, диаметрально противоположный правилам бездушной и ложной морали. Что может быть трогательнее и поэтичнее того момента, когда Роза, для спасения друга сердца — Паткуля, окунается на самое дно так называемых «нечистых средств», когда она, для возможности проникнуть, не возбуждая подозрения, в темницу к Паткулю, сначала «голосом, в котором выражались смущение и боязнь подпасть гневу караульного офицера, сторожащего тюрьму, старается уговорить его такими словами: «позвольте мне к заключенному... вам известно... я, презренная тварь, люблю... связи давнишни», а потом, когда это не подействовало, добывает себе пропуск тем, что исполнила волю пьяного солдата — дала себя поцеловать и сама «называла своего мучителя милым, добрым господином, целовала его поганые руки». Такова истинная любовь, истинная глубина и чистота души, которую никакая грязь не может осквернить. Вы ясно видите, что, понадобись, Роза и не только поцеловать себя позволит ради спасения избранника души. Отчего ей не называть себя «презренной тварью», отчего ей даже не стать, формально, конечно, такой «презренной тварью», когда на самом деле она чище голуubi-

цы, когда при других обстоятельствах она с презрением отвергнет целые сокровища.

Чтобы еще резче подчеркнуть глубину чувства Розы, Лажечников оттенил ее любовью к Паткулю фрейлины Ейндель. Эта кисло-сладкая немка любила по всем правилам строгой морали и оттого-то она не сделала ни одного шага для спасения любимого человека, в то время, когда Роза жертвовала ему честью и жизнью. «Да, любезнейший друг,— говорит Лажечников устами Траутфеттера,— теперь только узнал я, что может женщина, которая любит!.. Роза — это дивное создание, перед которым все возвышенное, все благородное должно пасть на колена».

Это говорится о *любовнице!* Укажите-ка другие произведения тридцатых годов, где было бы столько отсутствия формализма, столько демонстративного преклонения перед явлением, идущим вразрез с требованиями апробованных шаблонов.

Столь же большую честь приносят Лажечникову те немногие места романа, где он робко выражает протест против крепостного права. Конечно, нам эта робость кажется архаичной. Но вспомните, время-то какое тогда было — 1832 год, эпоха военных поселений и строжайших мер против крестьянских бунтов. Пропустила бы что-нибудь более резкое тогдашняя цензура? Белинского, за *писанную* драму, протестующую против крепостного права, выгнали из университета.

Вспомнивши время, когда писался «Новик», отдадим также дань уважения той добросовестности, с которой Лажечников отнесся к своей задаче *исторического* романиста. «Чего не перечитал я для своего „Новика“! — пишет он в любопытной статейке своей «Мое знакомство с Пушкиным». — Все, что сказано мной о Глике, воспитаннице его, Паткуле, даже Бире и Розе и многих других лицах моего романа, взято мной из Вебера, Манштейна, жизни графа А. Остермана на немецком языке, 1743 года, *Essai critique sur la Livonie par le comte Bray*, Бергмана *Denkmäler aus der Vorzeit*, старинных немецких исторических словарей, открытых мной в библиотеке сенатора графа Ф. А. Остермана, драгоценных рукописей канцлера графа И. А. Остермана, которыми я имел случай пользоваться, и, наконец, из устных преданий мариенбургского пастора Рюля и многих других, на самых местах, где происходили главные действия моего романа».

В приведенной нами выписке из автобиографии Публичной библиотеки говорится, что изучение Лажечниковым источников началось в 1826 г. Мы имеем, однако же, документальное доказательство, что это изучение началось несравненно раньше. В самом деле, в «Походных записках» под 1815 годом мы находим целый отрывок: «История города Дерпта», читанный Лажечниковым Воейкову и Жуковскому, когда он, в промежуток между кампанией 1814 и 1815 гг., вместе со своим полком находился в Дерпте. Вот когда еще, следовательно, наш романист заинтересовался Лифляндией и вот когда началось изучение ее. Подобное тщательное изучение делает величайшую честь Лажечникову, потому что в то время в русской литературе об этом еще не имели понятия. Мы знаем, что еще в 1817 году Лажечников выпустил свою «Малиновку», представляющую собой совершенно невероятное игнорирование самых элементарных исторических фактов. Надо полагать, что романы Вальтера Скотта с их замечательной эрудицией выяснили Лажечникову задачи истинно исторического романиста. Но, во всяком случае, в русской литературе Лажечников был пионером подобной тщательной подготовки. Появившийся в 1829 году «Юрий Милославский», правда, тоже носил отпечаток порядочной эрудиции. Но тем не менее у Лажечникова не может быть отнято право пионерства, потому что в 1829 году он был уже в разгаре подготовительной работы.

Но что делает еще большую честь Лажечникову — это путешествие в Лифляндию для ознакомления с местностью. До такой тщательности и до такого стремления к реализму доходит не всякий исторический романист даже и в наше время, когда реализм при рисовке внешней обстановки стал непременным требованием. Что же касается тридцатых годов, то достаточно вспомнить рассказ Панаева о том, как Загоскин описывал Испанию и Италию по лакутинским табакеркам.

Таковы разнообразны достоинства «Новика». Что же касается не менее многочисленных недостатков его, то, верные принципу исторической критики, мы не станем останавливаться на тех из них, которые обусловлены общим характером тогдашнего времени, тогдашних литературных понятий и вкусов. Если мы позволили себе неодобрительно отнестись к Владимиру, то исключительно потому, что и современникам он казался «образом без лица» («Литературные мечта-

ния»); но мы не станем пускаться в дешевый критицизм по поводу того, что злоба какого-нибудь кучера Франца и чухонки Ильзы на барона Фюренгофа играет решительнейшую роль в завоевании русскими Лифляндии, что целый ряд *dei ex machina* является для распутывания узлов, завязанных романистом; что в бароне Фюренгофе и Никласоне мы видим полное олицетворение злодейства, не смягченное ни одним светлым штрихом. Все это совершенно в духе тридцатых годов, все это в такой же степени встречается у величайших представителей тогдашней литературы, у Вальтера Скотта, Виктора Гюго и т. д. Можно ли, например, нападать на крайнюю запутанность интриги, утомляющую современного читателя, когда в журнале, издававшемся одним из проницательнейших критиков своего времени, предшественником и непосредственным учителем Белинского, — именно в «Телескопе» Надеждина, мы находим следующее объяснение: «...почему роман Лажечникова читается с истинным удовольствием. Это происходит оттого, что он умел опутать все выведенные им лица волшебной сетью, коей не в силах распутать беспрестанно раздражающееся любопытство. Умение сие неоспоримо составляет одно из важнейших начал романической занимательности, и посему-то «Последний Новик», несмотря на разные свои недостатки (идет перечисление их), возбуждает искреннее к себе участие» («Телескоп», 1831 г., ч. 4, стр. 513). Как видите, то самое, что нас утомляет, в свое время составляло *pièce de resistance* романа. Можем ли мы нападать на искусственность фигуры хитрого чертенка — сына Ильзы, когда современные рецензенты, вполне одобряя самый тип, находили только, что он сбивается на вальтер-скоттовского Флибертижибета из «Кенильворта»? Могут ли нас шокировать необузданные страсти Ильзы, когда необузданность и «титаничность» составляют одну из характерных особенностей эпохи появления «Последнего Новика»? Прочтите «Воспоминания» Панаева, и вы увидите, что даже такие мирные чиновники, как Кукольник, напускали на себя титаничность и дикость страстей, взятую, конечно, напрокат у героев «*Notre dame De Paris*» и других произведений только что народившегося романтизма. Можем ли мы, наконец, нападать на Лажечникова за слишком идеальное изображение Петра, Екатерины или за крайне одностороннее отношение к раскольникам, когда этот недостаток исключительно зави-

сел от младенческого состояния русской историографии того времени? Этот же самый Лажечников лифляндцев и Лифляндию описал несравненно вернее. А отчего? Оттого, что у него для Лифляндии и лифляндцев было много источников — с перечислением их мы знакомы, — а для ознакомления с Россией и русскими того же времени почти ничего не имелось. В тридцатых годах Петра знали только по апологии Голикова и по анекдотам Штелина. И так как затем у всех перед глазами были плоды петровского насаждения цивилизации, то удивительно ли, что личность великого преобразователя была окружена совершенно мифическим ореолом. Одним из пунктов западнической «веры» являлось боготворение Петра. Если же славянофилы нападали на него, то не касаясь полубожественного величия его личности, а только не одобряя направления этого величия в сторону гнилого Запада. Лажечников не имел никаких данных держаться иного взгляда на Петра и отступить от общего всей тогдашней интеллигенции героического представления о нем. Что же касается Екатерины, то и ее идеализация, весьма просто и вполне извинительно для автора, объясняется пиететностью к памяти ее великого супруга.

Но если нельзя ставить в вину Лажечникову слишком пристрастное отношение к Петру, если его вполне можно извинить тогдашним младенческим состоянием исторического материала, касающегося Петра, то еще менее можно обвинить Лажечникова за узкоортодоксальный взгляд на раскольников и неверное изображение личности Андрея Денисова. Давно ли стали у нас мало-мальски правильно смотреть на раскол, да и стали ли? Мало ли еще и теперь найдется людей между самыми выдающимися представителями передовой интеллигенции нашей, которые крайне враждебно относятся к расколу и видят в нем исключительно дикое невежество и фанатическую заскорузлость?

А теперь, высказавши относительно «Новика» несколько соображений «от себя», перейдем к тому, что всего важнее при оценке всякого деятеля прошлого, — к отзывам современников. Для исторической критики, желающей выяснить действительное значение того или другого литературного деятеля прошлого, нет ничего драгоценнее современных рецензий. Конечно, для всемирных гениев, стоящих, так сказать, вне времени и пространства, современные рецензии — вещь вто-

ростепенная; гении велики, с какой стороны к ним ни подойдешь. Иной раз современники даже не в состоянии понять всего величия того или другого гения, иной раз оно только потомкам и становится ясно. Но для писателя не первоклассного, в свое время имевшего успех и пришедшего вполне под общий уровень, современный отзыв — вещь решающая. То, что позднейшему читателю кажется банальностью, в свое время нередко бывало новым открытием, то, что позднейшему критику кажется приторным, в свое время было благоуханнейшим цветком поэзии и так далее.

«Последний Новик» не сразу приобрел себе ту популярность, которой он пользовался впоследствии. Это объясняется тем, что роман выходил по частям. Сначала появилась в альманахе «Сиротка» 1831 г. первая глава первой части, именно «Долина мертвецов», а затем, в том же 1831 г., но не одновременно, — первые две части целиком. Публика и критика, хотя и страшно интересовались в то время всяким историческим романом, все-таки очень осторожно отнеслись к первой части, откладывая свое окончательное суждение до окончания романа. «Северная пчела», например, ограничилась только кратким пересказом и прямо заявила, что «по вышедшей первой части нельзя еще судить о целом романе» (№ 109, 1831 г.), и затем упрекнула автора за растягивание времени выхода. «Весь роман будет в четырех частях. К чему выдавать по одной части? Неужели мы должны будем ждать каждой части через год, как ждем продолжения «Монастырки» (Погорельского)»? Еще сердитее отнесся к новому роману «Северный Меркурий». Напомнивши публике, как «денежки» ее пропали за Полевым, так и не окончившим своей «Истории русского народа», рецензент сердито кончил тем, что «до выхода остальных частей романа г. Лажечникова ничего не можем сказать о нем: ни доброго, ни худого» (№ 62 за 1831 г.). Но уже появление второй части значительно подняло успех романа. Надеждинский «Телескоп» дал о нем чрезвычайно благосклонный отзыв, с некоторыми местами которого мы уже знакомы. Обе части романа «душевно порадовали» критика «за русскую литературу». Действующие лица романа, по его мнению, «одушевлены истинной жизнью и соединены между собой тесными узами. Все у г. Лажечникова вплетено в одну общую ткань, все прицеплено к одному общему интересу. Каждому лицу дана своя удель-

ная тяжесть, по силе которой оно производит большее или меньшее давление на ход всего романа. Коротко сказать — роман г. Лажечникова своей художественной организацией напоминает лучшие современные европейские романы». По мере выхода остальных частей успех «Новика» все больше и больше рос, а когда он вышел окончательно, в 1833 г., Лажечников отодвинул на второй план всех до него выступивших исторических романистов, в том числе и гремевшего в то время Загоскина. Лажечников был признан первым русским романистом. Та же самая «Северная пчела», которая прежде так осторожно отзывалась о «Новике», теперь писала: «Наконец, роман сей, нетерпеливо ожидаемый многими, явился вполне. Кто вникал в способ изложения и приемы известных писателей, тот, конечно, согласится с нами, что г. Лажечников в романе своем не подражал ни Вальтеру Скотту, ни кому-либо другому из славнейших современных романистов. Видны следствия хорошей начитанности и долговременного изучения, но видно также, что автор измерял только по ним свои силы, творил собственными средствами и, так сказать, без справок с тем или другим из своих предшественников: как произвести то или кончить это? Повсюду заметна у него благоразумная отчетливость в создании, не стесняющая свободы воображения, но и не дающая излишней воли своенравным скачкам его». Переходя к действующим лицам романа, критик находит, что «главное достоинство романа, сочиненного г. Лажечниковым, то, что почти все лица его действуют каждое в своем кругу, каждое сообразно своему положению и назначению и что действия их удачно связаны с событиями главными, дающими жизнь и занимательность роману». «Занимательность целого и подробностей счастливо поддерживается с начала до конца, и, несмотря на вышесказанную многосложность завязок, роман везде идет своим порядком, везде герой одного привязывает к себе внимание читателя. Тон рассказа вообще хорош и заманчив. Повесть последнего Новика и изображение Паткуля в темнице и на эшафоте написаны мастерским пером. Многие картины и сцены романа имеют неотъемлемое достоинство новости вымысла и смелости воображения». В заключение критик пишет: «...многие любители чтения и люди со вкусом признали «Последнего Новика» за лучший из русских исторических романов, донныне появившихся. Рецен-

зент, после приведенных им доказательств, вменяет себе в обязанность объявить, что он совершенно разделяет сие мнение» («Северная пчела», 1833 г., № 13—15, статья О. Сомова).

Несколько сдержаннее отнесся «Московский телеграф» Полевого. Рецензент (судя по тонкости и меткости замечаний, должно быть, сам Полевой) кое за что пожурил автора, но, «беспристрастно указывая на недостатки сочинения г. Лажечникова, скажем с таким же беспристрастием, что оно отличается и великими достоинствами своего рода. Главное: в нем есть жизнь, есть поэтическое одушевление» (ч. 51, за 1833 г., стр. 328). Не останавливаясь на других похвалах рецензента, с особенным удовольствием приведем следующую, касающуюся личности автора: «Скажем, наконец, что немалое достоинство видим мы в каком-то особенном простодушии описаний автора. Читая сго, видите прекрасную душу, на которой, как на безоблачном небе, рисуются чуждые ему облака страстей человеческих. Он понимает все оттенки их, но смотрит на них по-своему, и оттого изображает оригинально». Характеристика замечательно верная, вполне совпадающая с тем, что нам и из других источников известно о прекрасном, кротком характере Лажечникова, которому, однако же, ничто человеческое не чуждо. Ничто хорошее человеческое, впрочем. Зло он понимал плохо, и оттого его злодеи так мрачны с головы до пяток: незнакомый с психологией зла, Лажечников создавал своих злодеев схематически.

Но самый лестный и наиболее для нас любопытный и авторитетный отзыв о «Новике» дал Белинский в своих «Литературных мечтаниях»:

«Г. Лажечников не из новых писателей: он давно уже был известен своими «Походными записками офицера». Это произведение доставило ему литературную известность. Но, как оно было написано под карамзинским влиянием, то, несмотря на некоторые свои достоинства, теперь забыто, да и сам автор называет его грехом своей юности. Но как бы то ни было, а г. Лажечников пользовался по нем славой литератора, и потому все ожидали его «Новика». Г. Лажечников не только не обманул сих надежд, но даже превзошел общее ожидание и по справедливости признан первым русским романистом. В самом деле, «Новик» есть произведение необыкновенное, озаменованное печатью высокого та-

ланта. Г. Лажечников обладает всеми средствами романиста: талантом, образованностью, пламенным чувством и опытом лет и жизни. Главный недостаток его «Новика» состоит в том, что он был первым, в своем роде, произведением автора; отсюда двойственность интереса, местами излишняя говорливость и слишком заметная зависимость от влияния иностранных образцов. Зато какое смелое и обильное воображение, какая верная живопись лиц и характеров, какое разнообразие картин, какая жизнь и движение в рассказе!»

Вслед за тем Белинский кое за что упрекает Лажечникова (за Владимира), многое хвалит и, наконец, резюмирует: «...заключаю: «Новик» обнаруживает в авторе высокий талант, удерживает за ним почетное место первого русского романиста».

В публике «Новик» имел громаднейший успех. В течение первого же года после выхода всех частей романа потребовалось новое издание, а через несколько лет и третье. А между тем стоил «Новик» ужасно дорого: 20 руб. на ассигнации, что, принимая в соображение тогдашнюю, сравнительно с нынешней дороговизной, дешевизну, ни в каком случае не есть меньше 20 руб. серебром.

Заговоривши о материальном успехе Лажечникова, приведем кстати еще несколько данных об этом, извлеченных из имевшихся в нашем распоряжении подлинных договоров Лажечникова с разными книгопродавцами. В 1836 году Лажечников задумывал оставшийся неоконченным роман «Колдун на Сухаревой башне». Роман был еще только задуман, и уже книгопродавец Глазунов нотариальной бумагой обязывался уплатить за него 19 000 руб. ассигнациями. В этом же году Лажечников заключил договор с книгопродавцом Ширяевым, по которому получал за предстоящее издание «Басурмана» — 20 000 руб. ас. Цифра громадная, свидетельствующая о гигантском успехе. Едва ли наши современные литературные корифеи получают столько. Недавно сообщалось в газетах, что Гончаров продал право на *все* свои сочинения за 25 000 руб., а тут 20 000 р. за один только роман, правда, ассигнациями, но, как мы уже сказали только что и что может быть доказано сравнительным сопоставлением цен, тогдашний рубль ассигнациями и теперешний quasi-серебряный положительно равноценны.

Но этот же самый Лажечников в 1857 году за полное со-

брание своих сочинений получил уже только 2750 руб. серебром, что и на ассигнации-то выйдет только около 10 000 руб.

Ehen! fugaces labuntur anni! — как говорит старик Гораций.

VIII

В 1831 году Лажечников снова поступил на службу и был назначен директором училищ Тверской губернии. Когда вышли все части «Последнего Новика», Лажечников через министра народного просвещения поднес Их Величествам экземпляр своего романа, за что Его Величество Государь Император и Ее Величество Государыня Императрица Всемилостивейше пожаловали автору по бриллиантовому перстню. В марте 1834 года Лажечников, за ревностную службу, награжден всемилостивейше 1000 руб. ассигнациями. В 1837 году, за «благоразумные распоряжения и деятельность в приведении учебных заведений Тверской губернии в должный порядок и устройство», ему изъявлена благодарность от попечителя Московского округа графа Строгонова. В 1837 году Лажечников снова вышел в отставку, награжденный полной пенсией и правом ношения директорского мундира.

Таковы рамки формулярного списка за период вторичной службы нашего романиста, в продолжение которой он успел окончить «Новика» и написать «Ледяной дом».

Более интимные сведения о тверском периоде жизни Лажечникова находим мы в «Воспоминаниях» известной Татьяны Пассек. Страницы, посвященные г-жей Пассек воспоминаниям о близком знакомстве ее и мужа ее — даровитого Вадима Пассека — с Лажечниковым, крайне характерно обрисовывают симпатичную личность нашего романиста, и потому приводим их целиком:

«Зимой (1834 г.) мы (г-жа Пассек и ее муж) поехали погостить к отцу в Тверь. Однажды, посетив бал в благородном собрании, в толпе я заметила человека невысокого роста, с игривыми чертами лица, выразившими детское простосердечие и яркий юмор. Небольшие глаза его, смотревшие наблюдательно, как бы улыбались шутливо; над высоким лбом был высоко приподнят вверх целый лес волос с проседью. Движения его были торопливы и робки.

— Кто это такой? — спросила я одну даму, указывая на него.

— Иван Иванович *Лажечников*, — отвечала она, — директор гимназии, писатель.

— Автор «Последнего Новика»? — поспешно прервала я ее. — Это наш первоклассный романист! Что за прелесть его «Новик»! Если вы знакомы с ним, сделайте одолжение, представьте ему нас.

Спустя несколько минут Лажечников уже сидел между мной и Вадимом, и у нас шел такой оживленный разговор, что мы не замечали, как мимо нас мелькали танцующие пары, и не слышали, как гремел оркестр музыки.

С первого дня нашего знакомства с Иваном Ивановичем мы так сблизились, что в продолжение почти трех месяцев, проведенных нами в Твери, редкий день с ним не видались. В этот-то период времени Иван Иванович писал свой роман «Ледяной дом» и постоянно читал нам из него отрывки в рукописи, входя так глубоко в роли героев и в события, что чувства, мысли их отражались в чертах его лица, в его голосе, и картины оживали. Лажечникова чрезвычайно забавляли наши рассказы о странностях, оригинальных капризах и выходках Ивана Алексеевича *Яковлева* (отца Герцена). Его уединенный образ жизни, три польские собачки, постоянно находившиеся при нем и, с того времени, как Александр (Герцен) поступил в университет, а я вышла замуж, заменявшие нас; его поношенный халат на мерлушках, красная шапочка с лиловой кисточкой, мешанина в печи дров, — все это так нравилось Лажечникову, что он принарядил этими странностями добродушного чудака советника и при нас же вместил в свой «Ледяной дом».

Рассказавши затем о разных своих тверских знакомых, г-жа Пассек продолжает: «Никто так искренно и глубоко не привязался к нам, как Лажечников».

Почувствовавши к кому-нибудь симпатию, он отдавался весь, пылко, искренно, как юноша. Он и был юноша, несмотря на свои сорок лет. По живости чувств и впечатлительности — казался ровесником Вадима.

Он был юноша из числа той фаланги юношей, которые названы Александром (Герценом) героическими детьми, выросшими на мрачной поэзии Жан-Жака, к которым он причисляет всех детей революции и которые в наш настоящий

деловой век встречаются так редко, так редко, как *южная птица у полюсов*. Быть молодым еще не значит быть юным. Можно встретить старика лет двадцати и юношу лет в пятьдесят. Для одного юность — эпоха, для другого — целая жизнь. В юности есть нечто, долженствующее проводить до гроба, но, конечно, не все. Юношеские грезы смешны и жалки в человеке старом. До гроба должна сохраниться юношеская энергия, непрерывно обновляющаяся, развивающаяся, почти не имеющая способности стариться, она по преимуществу душа живая. Такова натура реальная, — сказано в «*Капризах и раздумьи*». Таков был Иван Иванович *Лажечников*.

Он женился на первой жене своей, будучи еще очень молодым, находясь адъютантом при генерале, не помню каком. Он увез ее из девичьей, из-за пялец, как-то через окно. Это была женщина рассудительная, хладнокровная, которая любила и берегла его, как нянька ребенка, но постоянным наблюдением и замечаниями стесняла до того, что он робел перед ней, был покорен и, выкинув какую-нибудь неосторожную штуку или нарушивши программу порядка образа жизни, терялся и таился, как напроказившее дитя. Мы нередко проводили у них целые дни, еще чаще он проводил у нас во флигеле вечера, засиживаясь далеко за полночь. Вдали от сдерживающего взора жены он весь отдавался многосторонним интересам разговора и так свежо, сердечно хохотал, иногда безделье, что заражал своей жизненностью все его окружавшее, и самый воздух, казалось, проникался молодой жизнью его души.

Иногда, слишком поздно засидевшись, он вдруг схватывался, как бы опомнясь от угара, улыбался улыбкой виноватого, предчувствующего наказание, и торопливо начинал собираться домой, часто говоря: «беда, как это всегда с вами заговориться, Вадим Васильевич», и, точно теперь вижу, как он, уже закутавшись в шубу, лукаво выглядывая из-за мехового воротника, поднятого выше ушей, иногда добавлял: «вы точно светлая звездочка взошли на нашем тверском горизонте, так и тянет любоваться вами; не закатывайтесь от нас подальше» *.

* Г-жа Пассек едва ли сообщает верные сведения о первой жене Лажечникова. Прежде всего, не думаем, чтобы была верна история с похищением ее. Первая жена Лажечникова, по словам г. Нелюбова, имевшего в своем распоряжении некоторые автобиогра-

Когда в ноябре 1834 г. супруги Пассек поселились в Харькове, они получили от Лажечникова следующее любопытное письмо, сквозь которое так и видна чистая душа Лажечникова:

«Знаю, что добрый, милый Вадим Васильевич не причтет мое молчание к забвению: сойдясь раз душой с человеком, не могу его разлюбить. К такому человеку хотелось бы писать в часы, когда грудь не отягчена заботой ежедневной прозы, мысли не сжались от формальных бумаг и приличий света, сердце просит беседы с другим сердцем. Улучая такие минуты, пишу к вам.

Читал я ваши «Записки» и сколько в них поэзии, души юной, кипящей любовью к родине и благу человечества! Много в них и свежих, зорких наблюдений, светлых идей! Видно только, что все это высыпано в беспорядке из груди, которая не могла долее носить их в себе, что это эскиз великолепного здания — части, отрывки прекрасные, но нет целого. Между тем любуешься и подмечаешь пыл творчества; оно обещает истинного художника.

Плюньте на суд Брамбеуса и его шайки, нападающей на все прекрасное, старающейся вырвать или истоптать цвет, обещающий пленять нас. Я наперед скажу: буду гордиться, если барон побранит мой «Ледяной дом». Пишите смело, но давайте вашим творениям, как говорят французы, *plus de consistance*, сплавивайте их в нечто великое, целое. Более всего — не спешите издавать. Я сам боюсь за «Ледяной дом», который, сверх того, что пишется за деньги, — и это уж отрывает крылья у вдохновения, — будет скороспелка. Знаю, что идея хороша, но вряд ли исполнение ей будет соответствовать.

Как жаль, что вас здесь нет!.. хотел бы беседы вашей,

фические материалы, была «бедная, но замечательно красивая девушка, воспитанница графа Остермана-Толстого». Если бы Лажечников действительно похитил ее, едва ли Остерман продолжал бы с ним дружеские отношения, а между тем мы знаем, что через год после свадьбы (она произошла в 1819 г.) Лажечникова Остерман рекомендовал его Магницкому.

Может быть, не совсем точно и остальное, сообщаемое о первой жене Лажечникова. По крайней мере, г. Нелюбов сообщает, что «брак этот был вполне счастливый и омрачался только смертью детей, которые все умирали в самом раннем возрасте» (Русск. вест. 1869 г., № 10, стр. 579).

чистой, первородной — в ней черпал бы я новое вдохновение и силы жить в *свете*...

Люблю вас, знаю, что и вы меня любите; продолжайте меня любить по-прежнему; пишите ко мне, когда можно, обо всем, что около вас делается, о вашей природе, но более всего о себе; в вас обоих прекрасный храм ее, не оскверненный ни одним из тех позлащенных идолов, которые большой свет называет умением жить и которые мы называем пороками» («Русская старина», 1876 год, июль, стр. 540—544).

Коснувшись личного характера Лажечникова, приведем тут же, для большей рельефности, и другие имеющиеся у нас сведения относительно душевной физиономии автора «Ледяного дома». Сконцентрированные вместе, все эти сведения, относящиеся к разным годам жизни Лажечникова, в удивительно симпатичном свете рисуют нам ансамбль прекрасной личности его.

«Лажечников располагает к себе с первого взгляда своей кротостью, мягкостью, благодушием, — пишет Панаев в своих «Литературных воспоминаниях». — Он настоящий поэт, увлекающийся, беспечный, исполненный фантазией, чуждый всякого практического такта, не уживающийся с действительностью и не входящий с ней ни в какие сделки. Он занимал довольно значительную административную должность, но служба никогда не везет таким людям, и Лажечников вышел в отставку, расстроив свои дела и нажив себе бездну неприятностей и хлопот. Для того, чтобы увеличить свой пенсион, он принужден был в последнее время (1856—58 г.) принять на себя должность цензора; но в этой должности, в беспрестанной борьбе между своей обязанностью и своими убеждениями, он был истинным страдальцем. Дослужившись до пенсионера, он тотчас же оставил цензорство и говорил, что это счастливый день в его жизни...

Благодушие Лажечникова часто доходило до детской доверчивости, до трогательной наивности.

Когда умер Загоскин, Лажечникова, который искал в это время места, один из его знакомых, человек очень серьезный, но с некоторым расположением к юмору, уверил, что вакантное место директора московских театров принадлежит ему по праву, что Загоскин был сделан директором именно за то, что написал «Юрия Милославского» и «Рославлева».

Кому же, — прибавил юморист, — как не вам, автору

«Последнего Новика» и «Ледяного дома», принадлежит это место?..

— Да к кому же мне адресоваться? — спросил его Лажечников.

— Отправляйтесь к директору канцелярии министра Двора... Вы не знакомы с ним лично, но это ничего: вас знает вся Россия, к тому же директор был сам литератором, он любит литературу, и я уверен, что он примет вас отлично и все устроит вам с радостью... Ему только стоит сказать слово министру Двора...

Я слышал этот рассказ из уст самого Лажечникова.

— Я по наивности принял это серьезно,— говорил мне Лажечников,— и отправился к директору.

Меня ввели в комнату, где уже было несколько просителей, заметив, что надо обождать, что генерал занят. Мы ждали директора с полчаса... наконец, его превосходительство входит; переговорив с несколькими просителями, он обратился, наконец, ко мне.

— Ваша фамилия? — спросил он меня.

— Лажечников.

— Вы автор «Ледяного дома»?

— Точно так, ваше превосходительство.

— Не угодно ли пожаловать ко мне в кабинет?

Мы вошли туда... «Милости прошу,— сказал директор,— не угодно ли вам сесть?» И сам сел к своему столу. «Что вам угодно?» — спросил он. Сухой, вежливый тон свысока несколько смутил меня. «Кажется, я сделал величайшую глупость», — подумал я; однако ретироваться было уже поздно, и я не без смущения объявил ему, что желал бы получить место Загоскина. Когда я произнес это, я видел, что лицо его превосходительства подернулось иронией; я пришел от этого еще в большее смущение и, если бы можно было, убежал бы от него без оглядки, не дождавшись никакого ответа...

— Как... я не дослышал... Что такое? Какое место? — произнес директор, устремляя на меня резкий взгляд. Я, проклиная внутренно свою доверчивость, повторил глухо:

— Место директора московских театров.

Его превосходительство так улыбнулся, что я не знаю, чего бы я не дал в эту минуту, только бы не видать этой улыбки.

— Какое же вы имеете право претендовать на это место?

Я не совсем связно отвечал ему, что так как Загоскин, ве-

роятно, получил это место вследствие своей литературной известности, то я полагал, что, пользуясь также некоторой литературной известностью, могу надеяться... Но директор прервал меня с явной досадой...

— Напрасно вы думаете, что Загоскин имел это место вследствие того, что сочинял романы... Покойный Михайло Николаевич был лично известен Государю Императору, — вот почему он был директором. На таком месте самое важное — это *счетная часть*, тут литература совсем не нужна, она даже может вредить, потому что господа литераторы вообще плохие счетчики. На это место, вероятно, прочт человека опытного, знающего хорошо администрацию, притом человека заслуженного и в чинах...

Я сидел как на иголках. При этих словах я вскочил со своего стула и начал несловко извиняться и оправдываться в том, что обеспокоил его превосходительство.

— Ничего, ничего, — проговорил он, — я сожалею, что не могу быть вам полезным, но я вам должен сказать откровенно, что вам никак нельзя было претендовать на такое место...

Я не знаю, как я вышел от директора...

— Ну, нечего сказать, славную штуку сыграли вы со мной, — сказал я моему знакомому, пососоветовавшему мне отправиться к директору, и передал ему, какой присем был сделан мне.

— Скажите! — отвечал он добродушно, — а я ведь, право, думал, что он, как литератор, примет вас, нашего первого романиста, с распростертыми объятиями и готов будет все сделать для вас. Вот как иногда ошибаешься в людях! Ну, кто бы мог это предвидеть? Ах, как жаль, как жаль! Да я и представить себе не могу, кого же они назначат на это место? Я все-таки убежден, что оно, по всем правилам, принадлежит вам.

Лажечников не столько досадовал на директора канцелярии и на господина, пососоветовавшего ему идти к нему, сколько на самого себя: сам подсмеивался над своей доверчивостью и наивностью...

«Немногие даже из замечательных людей, — резюмирует Панаев, — берегают до старости то живое начало, ту смелость духа, те благородные стремления, которые одушевляли их и давали им силу в молодости. На таких старичков, благословляющих, а не клянущих новые поколения, смотреть легко

и отрадно. Они одушевляют юность на подвиги и вселяют в нее ту веру, без которой мертвы дела».

Чтобы оценить значение отзыва Панаева, нужно вспомнить, что он писан при жизни Лажечникова. По какому-то непонятному логическому капризу у нас принято сколько угодно ругать живого человека, нисколько не щадя личных качеств его, но хвалить живого человека за хорошие стороны характера -- не принято: конфузимся. Вот почему лестный отзыв Панаева и знаменателен чрезвычайно.

Не менее лестен отзыв о личных качествах Лажечникова, который находим в речи А. Н. Островского, сказанной им на пятидесятилетнем юбилее литературной деятельности нашего писателя:

«Я позволю себе упомянуть об отношениях Ивана Ивановича к русской жизни и к литераторам, вступавшим на литературное поприще спустя много лет после него, об отношениях, которые могут быть не совсем известны читающей публике. Он всегда шел за веком, радовался всякому движению вперед на пути цивилизации и до глубокой старости юношески сочувствовал всем благим реформам. В отношении к литературе и литераторам он один, из весьма немногих, не старел душой: он не ставил начинающим талантам в вину их молодость, никогда высокомерной, покровительственной речью не оскорбил он начинающего писателя. В продолжении 50-ти лет все художественные деятели были ему современники и товарищи. С первых слов, с первым пожатием руки, он становился с молодым талантом, который мог бы ему быть сыном или внуком, в отношения самые простые и дружественные, в такие отношения, как будто они оба начали писать в одно время. Этой черты нам, молодым относительно его литераторам, забыть невозможно. Мальчишек в искусстве для него не было. Оттого и юбилейный праздник Ивана Ивановича богат теплым чувством и простым, истинно родственным приветом, а не той холодной, натянутой почтительностью, которой отличаются другие юбилейные торжества».

Итак, вот сколько свидетельств! Белинский, который всегда «любил и уважал» Лажечникова, Полевой (с Полевым, как видно из статьи «Как я знал Магницкого», Лажечников познакомился в 1829 г.; следовательно, известный нам отзыв о «Последнем Новике» с намеками на характер автора --- есть результат прямого знакомства с прекрасной личностью

Лажечникова), Панаев, Татьяна Пассек, Островский. К этому можно присоединить крайне симпатичные отзывы, которые нам устно приходилось слышать от некоторых литераторов, знавших Лажечникова в последние годы его жизни. Взгляните, наконец, сами, читатель, на приложенный к настоящему очерку портрет, и несомненно, что, даже не обладая талантами Лафатера, вы в этом симпатичном и добром лице увидите отражение души прекрасной и чуткой ко всему хорошему и благородному.

Но и помимо разных свидетельств и физиономистики — есть ли хоть один писатель, произведения которого не были бы тесно переплетены с личностью его и не служили бы выражением душевных качеств его. Не служат ли нам поэтому лучшим и рельефнейшим свидетельством о свойствах души Лажечникова его романы, драмы и воспоминания, где столько наивной, но тем не менее столько чистой веры в добро, столько отвращения к лести, пресмыкательству и чванству. Всего любопытнее и характеристичнее те места многочисленных воспоминаний Лажечникова, где он пробует сердиться. Бурлит, бурлит добродушный старичок, ворчит и даже иной раз бранится. И хоть бы единая капля действительной злости во всем этом!

IX

В Твери, как мы уже знаем, Лажечников написал второе крупное произведение свое — «Ледяной дом», прямо вышедшее отдельным изданием в 1835 году. «Ледяной дом», несомненно, лучшее произведение Лажечникова. Выражаясь по-старинному, это наиболее яркий алмаз в поэтической короне нашего романиста, блеск которого не потускнел и до нашего времени. Время только в том отношении повлияло на него, что блеск этот виден не со всякой точки зрения: нужно подойти известным образом.

Прежде всего нужно отбросить научно-историческую точку зрения, т. е. не нужно искать в «Ледяном доме» строгого, буквального соответствия с действительными историческими событиями. Новейшая ученая критика доказала, что главный герой романа — Вольнский в действительности был весьма невозвышенный честолюбец, наделенный всеми гру-

быми недостатками своего времени, запятнавший себя не одной мерзостью. Манштейн в своих записках говорит о Во-лынском, как о человеке хотя и умном, но тщеславном, напыщенном, сварливом, а где нужно — лстивом. Из следственного дела Во-лынского видно, что он и взятки брал превосходно, и вымогательства всевозможные повзвоял себе, и людей до смерти заколачивал. Во время своего губернаторства в Казани и потом, ставши министром, Во-лынский, под видом займа, вымогал у разных лиц огромнейшие суммы. Полицейского служителя за то, что, проходя мимо его дома, он не снял шапки, Во-лынский велел отодрать кошками. Одного из ко-нюхов своих, за какую-то провинность, заставил в продолжение нескольких часов ходить по деревянным спицам вокруг столба; мичмана кн. Мещерского Во-лынский посадил на деревянную кобылу, предварительно вымазав ему лицо сажей, и затем привязал к его ногам гири и живых собак. Словом, личность не особенно красивая и, во всяком случае, несколько не выдававшаяся душевными качествами среди современников, как это выходит по «Ледяному дому». Вся его «патриотическая» оппозиция была, в сущности, подкопом под Остермана и желанием сесть на его место. Бирона он вовсе и не задевал, а когда Остерман, для своей безопасности, восстановил герцога против Во-лынского, последний тотчас же поскакал умоливать гнев Бирона, но не был принят им.

Вот что выяснено новейшей историографией, обнародованием следственного дела Во-лынского, статьями Иакинфа Шишкина, Афанасьева и др. Но и Пушкин еще, со свойственной ему гениальной прозорливостью, основываясь на факте избиения Во-лынским Тредьяковского, чувствовал, что Лажечников идеализировал своего героя. «Истина историческая не соблюдена в «Ледяном доме», — писал он Лажечникову, — и это со временем, конечно, повредит вашему созданию». Кроме Во-лынского в неверном свете выставлен Тредьяковский, по отношению к которому Лажечников поступил как раз наоборот: одной только черной краской пользовался. В такой же степени, в какой Во-лынский — излюбленное дитя фантазии автора, Тредьяковский — пасынок ее.

Несправедливое отношение Лажечникова к Тредьяковскому было подчеркнуто и современной появлению «Ледяного дома» критикой, а всего сильнее Пушкиным, кото-

рый в цитированном уже письме к Лажечникову (помещено в статье «Как я познакомился с Пушкиным») горячо взял под свою защиту бедного автора «Телемахида» от незаслуженного глумления над ним Лажечникова и искажения его действительного характера.

Да, все это несомненно. Хотя также несомненно, однако же, что весьма многое уловлено Лажечниковым вполне верно. Те главы, где не действуют Вольтер и Тредьяковский, верны и с точки зрения ученой критики. Характер Анны, шуты, «язык», ледяной дом, все это обрисовано ярко, типично, выразительно не только с художественной точки зрения, но и с строго исторической. Заслуживает большого внимания та простота, с которой Лажечников отнесся к Анне. Булгарин, Греч и другие представители внешнепатриотического лагеря не позволили бы себе такой простоты, почли бы ее дерзостью.

Но предположим даже полную историческую неверность «Ледяного дома»,— потеряет ли он от этого свое значение? Едва ли. Прежде чем быть *историческим* романом, «Ледяной дом» есть просто роман, т. е. художественное произведение, посвященное анализу и характеристике человеческих страстей. А «в произведении искусства», скажем мы словами Белинского, «должно искать соблюдения художественной, а не исторической истины. Что за важность, что Шиллер из Карлоса, непокорного сына и дурного человека, сделал идеал возвышенного, благородного человека? Что нам за нужда, что Гете из восьмидесятилетнего старика Эгмонта, отца многочисленного семейства, сделал молодого, кипящего избытком жизни юношу? Он хотел изобразить не Эгмонта, а кипящего избытком духовных сил юношу в положении Эгмонта. История услужила ему только «поэтическим» положением, а главное дело в том, что его драма — великое произведение великого художника. Кто хочет знать историю, тот учись ее не по романам и драмам».

И вот, если отнестись к «Ледяному дому» просто как к роману, он становится явлением заметным, а если еще принять во внимание время его появления, то и очень заметным. Но, конечно, для того, чтобы уяснить себе это значение, нужно подойти исключительно с психологической точки зрения. Нужно забыть, что Вольтер —

пожилой царедворец начала нынешнего столетия, да еще представитель старых «русских» идеалов, который на любовные отношения к молодой девушке мог смотреть исключительно как на распутство; нужно забыть, что Мариорица воспитанница гарема, в которой едва ли может развиться любовь на европейский образец. Да, нужно отвлечь фигуры Волинского и Мариорицы от современной им эпохи, и вы тогда получите глубоко правдивую и трогательную повесть о любви двух сердец, которым условия жизни не дают насладиться всей полнотой заслуженного ими счастья. В этом отношении «Ледяной дом», может быть, первая в русской литературе проповедь *свободы чувства*. Правда, сам же Лажечников несколько морализирует по адресу Волинского и слегка подчеркивает «незаконность» любви от живой жены, но именно только несколько и только слегка, как ворчит всякий добродушный человек, которому и душевно жаль видеть ваши терзания, но которому все-таки зазорно потворствовать «греху». Непосредственно после ворчания, пожуривши Волинского, Лажечников пламенно распространяется о неотразимости любви, о том, что она всецело охватывает человека, туманит мозг и сердце и т. д. Мариорицу же он во все продолжение романа отстаивает грудью. Даже узнавши про то, что Волинский женат, она, с полного, так сказать, благословения автора, продолжает его любить и пишет ему письмо, полное такого пренебрежения ко всем установленным регламентациям чувства, что с первого раза удивительно, как современные блюстители благонравия не растерзали за него Лажечникова. Но это объясняется очень просто. Не обративши внимания на те места письма, где Мариорица с логикой здравого и искреннего чувства говорит, что известие о женитьбе Волинского пришло слишком поздно, что она не может же переменить себя, не может покинуть любви своей, потому что «она сильнее ее», — критика того времени все сводила к фатализму, который, действительно, играет большую роль в истории любви Мариорицы к Волинскому. Действительно, желая придать любви Мариорицы то, что называется *couleur locale*, Лажечников сначала заставляет старого пашу, воспитывавшего Мариорицу, говорить ей в шутку, что он отдаст ее в подарок русскому послу Волинскому, затем этот же Во-

лынский попадается Мариорице на первых же порах ее пребывания в Петербурге и, наконец, на святочном гадании дело опять устраивается так, что на вопрос о суженом Мариорицы получается в ответ — «Артемий» — имя Волинского, так что формально прав был Белинский, когда, наравне с другими критиками того времени, резюмировал весь ход событий, приведших Мариорицу к тому, чтобы влюбиться в Волинского, словами: «фатализм чудесит». Вслед за тем Белинский задает себе вопрос, как же любила Мариорица Волинского, и отвечает: «она любила его как восточная женщина». В доказательство он приводит отрывок из письма Мариорицы к Волинскому: «Я вся твоя! Имей сто жен, сто любовниц — я твоя, ближе, чем кора при дереве, растение при земле. Делай из меня, что хочешь, как из вещи, которая тебя утешает и которую, измявши, можешь покинуть, как из плода, который ты волен высосать и бросить!.. Я создана на это; мне это определено при рождении моем». Но стоит, однако же, внимательнее отнестись к окончанию письма, и мы увидим, что Белинский был не прав, что Мариорица любила не как восточная женщина, а как европейская, и именно того фазиса европейской мысли, когда было создано, что только сама же любовь может устанавливать для себя законы. «Говори мне, что хочешь, против себя, — пишет Волинскому Мариорица, — пускай целый мир видит в тебе дурное: я ничего не слышу, ничего не вижу, кроме тебя — прекрасного, возвышенного, обожаемого мной! Ты виноват передо мной!.. Никогда! Ты преступник из любви же ко мне: могу ли тебя наказывать? Скажи мне только, милый, бесценный друг, что ты не любишь жены; повтори мне это несколько раз: мне будет легче». В этих немногих словах целая теория любви, идущая совершенно в разрезе с установленными шаблонами и не имеющая даже отдаленного сходства с примитивными восточными понятиями о любви. «Целый мир» ничто для решения сердца — оно само для себя единственный судья и законодатель. Неужели же тут хоть крупинка восточного? Разве не этот принцип сделал всемирно известным имя Жоржа Занда? «Скажи мне только, что ты не любишь жены» — разве эти слова не дают фразе «имей сто жен, сто любовниц — я твоя» освещение диаметрально противоположное тому, какое мы находим у Белинского?

Не значит ли оно вот что: будь ты связан каким угодно *формальностями*, но раз ты *не любишь* тех, или, вернее, *ту* (потому что «сто жен, сто любовниц» есть, конечно, только *façon de parler*), с которыми судьба тебя связала, ты волен полюбить другую, ты волен располагать сердцем своим по собственному усмотрению.

Что это наше толкование правильнее объяснения образа действий Мариорицы восточным фатализмом и восточными понятиями о любви, можно, как нам кажется, безусловно решающе доказать *общим характером всех излюбленных женских фигур Лажечникова*. Основная черта лучших женских характеров Лажечникова та, что, пренебрегая мнениями и правилами «целого мира», они поступают так, как им диктует сердце. Уже в юношеской повести Лажечникова «Спасская лужайка» Агата вместе с Леонсом находит, что природа дала им «святые права», столь важные, как и «законы света». Роза из «Новика» — это апогей пренебрежения шаблонами, а коленипреклонение перед нею Лажечникова показывает, как глубоко было развито в нем сознание того, что в деле чувства все прощительно, что искренно и цельно. Наконец, Анастасия из «Басурмана» опять представляет собой протест против пут и преград, которые людская тупость и ограниченность ставят на каждом шагу всякому чувству, родившемуся без принорования к установленным нормам. Да и, наконец, в истории любви Мариорицы можно ли себе представить более резкое пренебрежение всеми шаблонными схемами любви, чем «Ночное свидание» в Ледяном доме. Целых двадцать пять лет спустя, Тургенев поднял против себя бурю негодования всех матушек и тетушек той главой из «Накануне», где Елена приходит к Инсарову и говорит ему: «возьми меня». Сколько же моральной инициативы нужно было Лажечникову, чтобы дойти до такой смелости. В этом отношении Лажечников настолько перерос своих современников, что огромное большинство их даже не поняло всей новизны и значения «Ночного свидания». По крайней мере, ни в одной из рецензий мы не нашли обсуждения ее. Даже враждебно отнесшийся к «Ледяному дому» «Сын Отечества» Греча, выискавший множество прегрешений Лажечникова, ни одним словом не упомянул о «Ночном свидании». А несомненно, пойми благонравный Греч значение этой главы, он бы, конечно, не преминул разразиться громом и молнией.

Один только Белинский, со свойственной ему чуткостью, понял жгучую поэзию высшего момента любви Мариорицы и охарактеризовал его следующими прекрасными словами: «Мариорица сходит со сцены, как вошла на нее: как звезда любви, которая ярче и прекраснее всех небесных светил и вечером, когда является, и утром, когда скрывается. Последнее ее свидание с Вольтером было апофеозом всей ее жизни, и мы решительно отрицаем всякое человеческое, не только эстетическое, чувство в том, кто бы, увлеченный сухим, как арифметика, морализмом, увидел в последнем мгновении ее жизни падение, а не просветление, не торжественное просветление, не торжественное свершение подвига жизни...».

Мариорица представляет собой кульминационный пункт романа. Поэтическая прелесть ее не потеряла своего обаяния и на современного читателя и яснее всего показывает, на что был способен талант Лажечникова в тех случаях, когда творчество его не было сковано узкими шаблонами официальных доктрин.

Сопоставьте в самом деле полет духа нашего писателя, когда он, следуя указаниям истинного чувства, создавал фигуру Мариорицы и тогда, когда он, довольствуясь рамками ходячего в то время понятия о «патриотизме», рисовал «патриотическую» деятельность Вольтера и его друзей из «русской партии». Основным догмат казенного патриотизма состоял в том, чтобы обелять все свое и унижать все чужое. И вот, в угоду этому суздальскому методу, во всем романе, за исключением Эйхлера, нет ни одного хорошего немца. Эйхлер, впрочем, не представляет собой исключения, потому что примыкает к русской партии. Русские же лица романа, за исключением Подачкиных, все прекрасны, чисты и не имеют ни одного пятнышка на себе. Перокин, Сумин-Купшин, Щурков, Зуда — все это воплощения и сосуды всевозможных добродетелей. В своем «патриотическом» рвении Лажечников доходит до того, что даже шута русского — Балакирева и то берет под свое покровительство и дает ему нравственное первенство перед Педрилло и другими иностранными шутами. А уже, казалось бы, занятие шута нравственно уравнивает и иностранца и туземца.

В разбор самого «патриотизма» Вольтера нам нет надобности вдаваться, ибо это все тот же самый старый знако-

мец, достаточно нажужжавший нам в уши про свои два главных принципа: «славу» и покорность. Но автор сам так пламенно уверен в том, что патриотизм этого сорта и есть настоящий, что опять-таки, как и при чтении «Последнего Новика», вы можете только не соглашаться, но не сердиться и негодовать; и опять-таки приходится припомнить наши две отправные точки: патриотизм, составляющий один из центральных пунктов почти всех произведений Лажечникова, по своим принципам тот же, как и у других представителей внешнепатриотической школы, но Лажечников вкладывает в него столько искренности и глубокого убеждения, что вам становится понятным, почему ложный путь, избранный им, не завел его, однако, в те дебри, в которые зашел какой-нибудь Греч и Булгарин, почему вам противно читать разные измышления патриотов одного с Лажечниковым направления, а самого Лажечникова — ничуть.

«Ледяной дом» имел громаднейший успех, превзошедший успех «Последнего Новика» и окончательно укрепивший литературное положение Лажечникова.

«Вот, наконец, этот долго и с нетерпением ожидаемый роман г. Лажечникова, — писала «Северная пчела», всегда шедшая в хвосте общественного мнения, за исключением тех случаев, когда у Булгарина являлся специальный интерес разойтись с ним. Да, с нетерпением: оно началось с той самой минуты, когда публика прочла первое объявление о «Бироновских праздниках», и усилилось при вторичном извещении об этом романе и перемсне его заглавия в «Ледяной дом». Нетерпение наше удовлетворено: новая, свежая книга у нас в руках. Все с жадностью бросились на новость. Беда, если автор «Последнего Новика» не удовлетворит новым своим произведением долгому ожиданию, если второй роман ниже первого. Мы только что кончили чтение «Ледяного дома» и пишем эти строки, еще наслаждаясь прочитанным: это лучшее время для выражения всего пристрастия, внушенного нам книгой, по крайней мере, для фельстонной рецензии, если не для подробной и строгой критики, которой это произведение вполне достойно, потому что выйдет из нее в новом блеске, с победой и славой.

Кончив книгу, пройдя эту занимательную эпоху борьбы аристократической, блещущей всем разнообразием характеров и изображенной с поразительной истиной действитель-

ности, вы еще долго чувствуете сладостное впечатление, оставленное в вас романом.

«Ледяной дом»,— заканчивает рецензент, г. Н. Д.,— доставил нам много приятных часов, и мы уверены, что всякий русский прочтет его с таким же наслаждением. Господа! Приезжайте с дач— (№ «Пчелы» от 24 августа) — хоть для этого романа: «Ледяной дом» вас разогреет» («Сев. пчела», 1835 г., № 190).

«Еще не успели мы забыть удовольствия, которым насладились при чтении «Ледяного дома», вышедшего в 1835 году,— пишет Белинский в «Московском наблюдателе» 1839 года,— как взялись, кажется, за третье, если не за четвертое чтение этого романа по случаю второго его издания в конце прошлого (1838) года и прочли его еще с бóльшим удовольствием, нежели в первый раз: лица, которые начали уже от времени представляться нашим глазам под какими-то туманными дымками, снова ожили перед нами и мы радушно и весело встретились со старыми знакомцами и нашли их так же интересными, милыми и любезными, как и в пору первого знакомства; прекрасные ощущения, которые от времени уже начинали терять свою предметность и повторялись в душе нашей, напевы какой-то забытой, но прекрасной песни вновь воскресли в ней, живые, свежие, могучие, и снова взволновали ее своими очаровательными потрясениями...»

В некоторых главах Белинский видел «львиное могущество».

«Библиотека для чтения» дала чрезвычайно странный отзыв, своим ехидством несколько похожий на речь Антония в «Юлии Цезаре»: «Ледяной дом» такая книга, о которой совершенно нечего сказать, кроме того, что она прелестна. Надо ограничиться одним словом — прелестна! И даже невозможно с точностью определить смысла, в каком вы принимаете это слово. Разбор его уничтожил бы приятность общего впечатления, которому оно служит верным выражением. Это не *chef d'oeuvre*, не верх искусства, не произведение мысли сильной и глубокой; сверх того, это роман исторический, род реставрации старых картин, где художник только обновляет поблекшие краски и дополняет места, истертые временем, одним словом — это простой рассказ приятного рассказчика: рассуждения его поверхностны и обыкновенны; тон и прием их не самый изящный; остроты не блистательны; весе-

лость не всегда ловкая; игривость немножко школьническая; но эта книга прелестная, — чрезвычайно милая и занимательная, которая с самого начала увлекает вас своим интересом и быстро мчит по мелким столбцам своим и некрасивой печати до последней странички, не давая вам отдохнуть, ни подумать, в чем состоят недостатки, что такое поражает вас иногда неприятно. Только прочитавши и воскликнув — прелесть! — вы можете заметить, что из этого чтения не осталось в вас ни одной идеи, даже ни одного счастливого выражения для ваших всегдашних мыслей. Два раза невозможно читать этого романа, но если бы мы сегодня забыли его содержание, в первый досужный час опять принялись бы за него же, с уверенностью найдя полное удовольствие» («Библиотека для чтения», 1835 г., т. 12).

Происхождение этой ехидной рецензии можно легко себе объяснить, если предположить, что ее автор — Сенковский. А судя по тяжеловесному остроумничанью, она именно ему принадлежит. Сенковский был из породы тех надутых людей, которые считают ниже своего достоинства чем-нибудь сильно восторгаться, и потому, ежели даже хвалят что-либо, то все-таки с высоты своего величия и так, чтобы унижительно вышло для того, кого они хвалят.

В заключение приведем ругательную рецензию греческого «Сына Отечества», которая, однако же, именно своей бранью свидетельствует о том, что «Ледяной дом» имел сильный успех.

«Роман этот — страшнее романов Евгения Сю, замысловатее (!) романов Бальзака, и разве только с романами Сулье можно сравнить его. Чего вы хотите? *Страстей*? Каких же вам страстей сильнее страстей Вольнского, Мариорицы, цыганки — матери ее, Бирона? *Происшествий*? Чего вам еще, начиная с «Ледяной статуи» до последней сцены в «Ледяном доме» и с погребения замороженного малороссиянина до пытки Вольнского! *А характеры*? Этот Вольнский, который на шестом десятке лет шалит, как юноша; этот Бирон, который только что не ест людей; этот Тредьяковский, и заметьте, что все это лица *исторически*. Вы скажете, что они такими *никогда не бывали*, что сочинитель жертвовал желанию блистать эффектами истиной событий и правдой сердца человеческого — но кто же поверит вам? Не расхвалили ли все журналы «Ледяной дом»? Не достиг ли он теперь второго издания, а это не дока-

зывает ли, что он понравился очень многим» («Сын Отечества», 1838 г., т. 5).

Объяснение этой злобной рецензии Греча, автора многих повестей, имевших не более как средний успех, мы находим у Белинского. Отзыв его о «Ледяном доме» начинается с того, что он не станет относиться к Лажечникову так, как относятся к последнему некоторые рецензенты; от этого «г. Лажечникова защищает его огромная известность и громкий авторитет у публики, а еще более одно, по-видимому маленькое, но в самом-то деле очень важное обстоятельство, а именно: мы сами не пишем романов, и г. Лажечников не перебивает у нас дороги. Вот если бы мы вздумали написать или (все равно) дописать какой-нибудь роман, что-нибудь вроде Евгения Сю, примиренного с Августом Лафонтеном, о, тогда плохо бы пришлось от нас господину Лажечникову; мы умели бы отделать его в коротенькой «библиографической статейке».

Следовательно, и крайне враждебный отзыв «Сына Отечества» свидетельствует о сильном успехе «Ледяного дома». Что, в самом деле, доказательнее говорит о чьем-нибудь успехе, как не зависть!

Х

Вышедши в отставку в 1837 году, Лажечников поселился в деревне под Старицей, на берегу Волги. Здесь им написан «Басурман», появившийся в 1838 году.

В ряду трех романов, доставивших Лажечникову громкую известность, «Басурман» считается менее удачным, чем «Последний Новик» и «Ледяной дом». Публикой «Басурман» тоже был принят несколько холоднее других романов Лажечникова. Правда, до выхода в 1858 году полного собрания было раскуплено два издания «Басурмана», что для русской книжной торговли, да еще того времени, немало, но для двух других романов Лажечникова за это же время потребовалось три издания.

Тем не менее мы не можем согласиться с тем, чтобы в общем «Басурман» был действительно ниже «Новика» и «Ледяного дома», хотя этого мнения держится Белинский. В частности, в «Басурмане» действительно есть большие не-

достатки, но есть зато в нем и такие сильные стороны, что ансамбль получается весьма удачный. И если еще можно согласиться с тем, что «Басурман» хуже «Ледяного дома», с его прекрасным образом Мариорицы, то «Последнему Новичку» он не уступает ни в каком случае.

Основной недостаток «Басурмана» такой же, как и в «Новичке»: главный герой его, лекарь Антон,— фигура крайне бесцветная, образ без лица, на котором, однако, вертится вся интрига романа. В обрисовке его нет решительно ничего типичного, почти ни одной черты, которая бы говорила нам о XV веке. Антон воспитывался в Италии, в самом начале эпохи Возрождения, когда смешение замирающих средних веков с воскресающим духом античной свободы и античной широты взгляда создавало такой дикий разгул страстей, хороших и дурных, когда выступали на сцену Савонаролы и Борджии. И хоть бы капельку этой страстности дал автор своему герою. Антон представляет собой полный образец сентиментального немецкого юноши начала нынешнего столетия, скромного, целомудренного, безмятежного, не знающего пороков даже по названию. Лажечников создавал его совершенно схематически, по тому рецепту, по которому создавались «идеальные» юноши в немецких сентиментальных романах; а то, может быть, он даже списан с какого-нибудь живого немецкого аптекарского ученика, которому «злой свет» мешал соединиться узами добродетельнейшей любви с какой-нибудь голубоокой и светловолосой Лотхен — дочерью самого содержателя аптеки.

Схематичны и некоторые другие лица романа. Доктор Фиоравенти — образец оперного героя, всю жизнь помнящего обиду и «дьявольски» мстящего за нее. Русалка и Мамон — такие же образцы оперных злодеев, черных, без единого белого пятнышка.

Если к ним присоединить еще сына Аристотеля Фиоравенти — Андриюшу, лицо совершенно неудачное и сочиненное, то все главные недостатки «Басурмана» будут перечислены. В рисовке же остальных действующих лиц романа Лажечников проявил много художественного чутья, а главное, проявил столько *реализма и жизненной правды*, что, принимая во внимание время его появления, «Басурман» становится явлением в высшей степени замечательным.

Приглядитесь, в самом деле, с какой удивительной для

тридцатых годов художественной смелостью обрисован Иоанн III. В обрисовке этой Лажечников почти исключительно руководствовался своим художественным инстинктом, потому что ни современная ему историография, ни современные ему исторические романисты, драматурги и поэты не позволили бы себе так просто и естественно отнестись к личности великого объединителя Руси. Карамзинская история и остальная историография того времени, большей частью примыкавшая к народившемуся тогда славянофильству, на старину смотрела исключительно сквозь призму самого розового оптимизма. Старая жизнь рисовалась тогдашнему воображению непременно в величавых очертаниях; казалось святотатством представлять себе предков наших людьми, обураваемыми такими же страстями и наделенными такими же грехами и грешками, как и хилые дети девятнадцатого века. А уж что говорить о таких выдающихся лицах, как Иоанн III. О них вменялось в обязанность говорить только молитвенными словами и коленопреклоненно. Величайший художник того времени — Пушкин в своем «Борисе Годунове» не позволил себе наделить своих героев ни одной вульгарной чертой; за исключением Варлаама, язык всех действующих лиц величав, как величавы и поступки их, все равно, будь эти поступки хороши или дурны. Ни у одного из героев пушкинской великой драмы нет той мелкой суетливости, которая характеризует живых людей, нет той житейской пошлости, которая в известной дозе присуща в действительности даже величайшим героям. Но тот же самый Пушкин в «Арапе Петра Великого», по крайней мере, в три раза реальнее отнесся к эпохе и людям, а в «Капитанской дочке» уже прямо рисовал живых людей, без всяких попыток идеализировать и ставить на ходули. Выходило, значит, так, что чем отдаленнее от нас эпоха, тем величавее и торжественнее нужно ее изображать. Другой великий гений тридцатых годов — Лермонтов в своей «Песне о купце Калашникове» окутал древнюю русскую жизнь поэтическим туманом, сквозь который действительные очертания ее почти не видны. Эпическое величие Кирбеевича и всей остальной обстановки, несомненно, вполне соответствует тому величию, которым народный эпос наделяет своих героев, — в усвоении этого народного эпического колорита и заключается, в сущности, художественное значение «Песни», но несомненно, однако же, и то, что вот уже ко-

торое поколение по «Песне о купце Калашникове» рисует себе древнюю Русь такой, на какую она в действительности весьма мало похожа была, несомненно и то, что и сам Лермонтов признавал за своей «Песнью» историческую верность.

Мы взяли двух величайших представителей всей русской литературы, а тем паче того времени, когда выходил «Басурман». Что же сказать о других тогдашних писателях, трогавших русскую историю? Все это без исключения была грубая и приторная идеализация, паточное умиление и лубочная рисовка наших предков трехсаженными «богатырями». Гоголь с его «Бульбой», при всем гениальном реализме этой превосходнейшей повести, не опровергает нашего утверждения, потому что в одном намерении выставить запорожцев, по крайней мере наполовину состоявших из простых разбойников, обыкновенными людьми уже заключается сильнейшая идеализация. И затем все-таки Бульба и его товарищи — люди простые, а не цари и бояре. Их все-таки смелее можно было заставить говорить и действовать в обыкновенном «штиле».

Не станем утверждать, что Лажечников, рисуя Иоанна, совсем освободился от условности своего времени, что его Иоанн действительно выведен со всей той реальностью, с какой только можно его вывести. Несомненно, что и у Лажечникова он местами действует и говорит так высокопарно и ходульно, как действительный Иоанн не мог говорить и действовать. Но общий метод, с которым наш романист приступил к обрисовке объединителя Руси, все-таки в высшей степени замечателен своей простотой и реальностью.

Вместо того чтобы указывать или приводить в доказательство места романа, которые нам нравятся своим стремлением к реализму, приведем лучше выдержки из яростной рецензии, которой разразился по поводу «Басурмана» наиболее бдительный страж общественного и литературного благонравия в то время — Фаддей Булгарин. Эта рецензия тем пригоднее для нашей цели, что все-таки далеко не всякий читатель в состоянии проникнуться духом исторической критики, чтобы отделить суть от одежды времени, и очень может быть, что, приступивши к «Басурману» с меркой современного высокого развития реализма, он в Иоанне увидит только идеализацию и ходульность. Но вот послушаем свидетельство современника, пришедшего в ужас от той дерзости, с какой Лажечников

занес святотатственную руку на величие древней Руси и великого государя.

«Г. Лажечников изобразил не тогдашнюю Русь, а какую-то дикую орду. Автор «Басурмана» думал, что, изобразив дикость и невежество, свирепость и бесчеловечье, подлость и гнусную интригу, он изображает тогдашнее время».

Но больше всего, понятно, ожесточило Булгарина изображение Иоанна:

«Иоанн III изображен каким-то неистовым, который от каждого слова приходит в бешенство, хватает за горло своих вельмож, ругает их последними словами, велит их бить, ловить по городу, запирает в темницы, хочет воевать, а сам трусит, боится войны, действует одной изменой, посредством низких своих придворных. Срам и стыд! Это великий Иоанн!» («Сев. пчела», 1839 г., № 47).

Чтобы усилить эффект своей критики и совсем поразить дерзкого романиста, Булгарин прибегнул к приему, небезызвестному и в наше время:

«Законодатель, зиждитель Москвы, основатель самодержавия на Руси, не мог быть эгоистом» (№ 98).

Видите ли, на что пошло: в художественном приеме найдена политическая неблагонадежность: «Мы не постигаем,— говорит затем Катков тридцатых годов,— с какой стати автор романа пустился в исторические рассуждения, в спор с господином Полевым, чтобы доказать, что Иоанн III трус!»

Больше всего возмущен Булгарин тем превосходным по реализму местом романа, в котором Иоанн, как истый сын грубого, хвастливого и мстительного века своего, как истый сын эпохи, еще полной татарского духа и варварства, показывает Антону смрадную тюрьму, где содержатся его пленники — татарские цари и Марфа Борецкая. «Чуланы, где содержались пленники,— цитирует Булгарин Лажечникова,— походили на нечистые клетки».

«Этих нечистых клеток,— прибавляет он вслед за тем от себя,— мы не показываем нашим читателям. Бррррр! бррррр!»

До самой глубины души возмущается также Булгарин ответом Борецкой: «Спроси об этом, собачий сын, у моего детища». Вообще вся сцена между Иоанном и Борецкой «не натуральная и отвратительная; не таков был Иоанн, не такова была и Борецкая! Они не хвастали и не болтали по-пустому, а делали свое дело геройски».

Таково мнение Булгарина. Но на самом деле как правдива эта сцена, как смело обрисованы здесь Иоанн и Марфа. Чего стоит одна фраза «собачий сын», вложенная в уста той самой Марфы Посадницы, которая в тридцатых годах говорила почти исключительно александрийскими стихами? Одной этой фразой Лажечников показал, как просто и вместе с тем вполне *правдиво* он отнесся к изображенной им эпохе. Читайте, в самом деле, полемические сочинения *духовных* лиц не только XV, но и конца XVII века и, Боже мой, сколько там отборнейших ругательств при обсуждении самых божественных и высоких сюжетов. Но Лажечникову, тем не менее, нужна была громадная смелость, чтобы ввести в исторический роман такое вульгарное ругательство. Лучше всего об этой смелости можно судить по тому, что в полном собрании, вышедшем целых двадцать лет спустя, «собачьего сына» нет. Сам Лажечников, значит, поразмысливши, испугался своей смелости, внушенной ему, так согласно с исторической действительностью, инстинктом правды, присущей всякому истинному таланту.

Рецензия Булгарина, как мы уже сказали, избавляет нас от необходимости доказывать, сколько новизны и смелости проявил Лажечников в своем романе. Есть отзывы и мнения, предназначенные для «позора и поношения» того или другого лица, но которые на самом деле служат лучшей похвалой. Булгаринская рецензия принадлежит к ним. Это уверение, что Иоанн не мог хвастать, не мог драться собственноручно, не мог трусить и делать мерзостей, наконец, это прелестное «бrrrrr! бrrrrr!» — представляют собой лучшую аттестацию той оригинальности художественных приемов, с которой Лажечников приступил к «Басурману».

Из других действующих лиц романа нельзя не остановиться с похвалой на Аристотеле Фиоравенти. Правда, он нарисован по тому шаблону, по которому в тридцатых годах рисовали гениальных артистов. Но все-таки в его положении много истинного трагизма. Замысел нарисовать человека, страстно преданного идеалу, стремящегося к небу, но, благодаря тупоумию окружающей обстановки, обязанного весь век копошиться в грязи и чувствовать, что без компромиса с этой грязью не достигнешь осуществления и той ничтожнейшей части своего идеала, которое возможно в действительности, — замысел этот показывает, что в самом Лажечникове

было живое сознание истинно возвышенного, истинно человеческого.

Героиня романа — Анастасия имела несчастье понравиться Булгарину. Это единственное, что ему во всем романе понравилось.

«Но зато любовь Анастасии изображена прекрасно. Это точно русская девушка времен татарского ига (?). Мы не только не желаем лишить автора его достоинства, но рады бы прибавить ему всякого добра, а потому с удовольствием сознаемся, что любовь Анастасии и вообще русской девицы XVI и XVII века начертана превосходно и заставляет сожалеть о том только, что русская девица и русская любовь описаны басурманским языком».

На этот раз мы отчасти должны согласиться с Булгаринным. Любовь Анастасии, конечно, отбросивши некоторую ходульность, без которой что же в тридцатых годах и обходилось, а взяв психологическую сущность ее, обрисована очень удачно. Анастасия если и не совсем русская девушка «времен татарского ига», то, во всяком случае, жизненно правдивый образ девушки вообще. Не спрашивает ни у кого сердце девушки, кого полюбить, и бессильны все предрассудки там, где заговорило чувство.

Не станем останавливаться на второстепенных лицах. Некоторые из них удачны, как, например, Бартоломей, деспот Морейский, Хабар-Симский и другие. Есть и неудачные: жид Схария, например. Но мы не войдем в такой детальный анализ. Наша задача состояла в том, чтобы выяснить общий дух романа, художественный метод его. Нам хотелось подчеркнуть крайне замечательный для тридцатых годов реализм «Басурмана», делающий его выдающимся явлением литературы того времени.

Этот реализм в значительной степени ослабил черту, которая так не по нутру современному читателю в романах Лажечникова, — казенный патриотизм его. Правда, немало его и в «Басурмане». Ортодоксальный взгляд, например, на жиновскую ересь в достаточной степени узок. Но зато какое широкое представление о «славе» в обрисовке Иоанна. Нет уже той малодушной боязни сказать слово осуждения, «патриотизм» не заключается в употреблении исключительно светлых красок, «преданность» не состоит из одной сервильности.

«Басурман» вызвал большое оживление в критике. Обсуждению его было уделено весьма много места, и, за исключением «Северной пчелы», это обсуждение было весьма лестно для автора. «Северная пчела», как мы знаем, с пенной у рта набросилась на Лажечникова. В целых трех статьях она, что называется, в клочки разносила роман. Булгарин был страшно задет отзывом «Отечественных записок» и «Библиотекой для чтения», которые называли Лажечникова первым русским романистом. Булгарину самому хотелось быть первым русским романистом. Критика начиналась со страшной брани за слог, который, по мнению Булгарина, в «Басурмане» отвратителен.

«Как же можно быть великим и первым писателем, каким провозгласили г. Лажечникова «Библиотека для чтения» и «Отечественные записки», без языка и слога! Как же можно быть великим писателем, не умея писать, то есть не зная грамматики и не владея слогом? Ведь мы не в киргизской степи и не можем довольствоваться бессвязным рассказом дикаря о подвигах какого-нибудь удальца, рассказом, от которого в киргизской степи требуется только, чтоб он сократил время, пока изжарится конское мясо! Мы народ образованный, требуем искусства, а нет искусства без первоначального механизма» (№ 46).

Нужно заметить, что слог Лажечникова, именно вычурность и затем своеобразная орфография составляли предмет нападков даже дружелюбно относившихся к нашему автору критиков. Нам нельзя об этом судить, потому что если слог Лажечникова и кажется нам вычурным, но ведь спрашивается, слог какого другого писателя тридцатых годов не кажется нам вычурным? Слог этого же самого Лажечникова в позднейших его произведениях старческого возраста гораздо менее вычурен. И если старик проявил такую восприимчивость, если под влиянием упрощения слога всей литературы сороковых и пятидесятых годов шестидесятилетний старик меняет и свой слог, то не ясно ли, что вычурность слога первых его произведений главным образом есть вина времени. Что же касается правописания Лажечникова, то оно действительно было странное. Он писал: этех, этово, ево, моево, твоево, своево, какбудто, можетстаться, кактеперь, полагая, что такая орфография ближе подходит к разговорной речи.

Но, конечно, один только Булгарин мог строить на этом свою «критику».

Ровно две трети болгаринской критики уделены нападкам на слог и орфографию. Затем идут известные уже нам нападки на святотатственное отношение Лажечникова к Иоанну и древней Руси и, наконец, оканчивается разбор «Басурмана» решительным заявлением, что «этот роман есть просто карикатура на избранную автором эпоху, написанная карикатурным языком и слогом».

В «Современнике» некий г. Д. Пр. посвятил «Басурману» большую статью, разбирающую роман почти исключительно с исторической точки зрения. Рецензент указывал разные, по его мнению, промахи автора, но в общем закончил все-таки следующим:

«Господин Лажечников новым сочинением своим еще раз доказал, как он ясно понимает существенные достоинства исторического романа. Избрав эпоху и лица, обозначенные в истории только главными чертами; он предался изучению их во всех подробностях. Едва ли остался какой-нибудь источник, из которого бы он не почерпнул материалов. Летописи, сказания, песни, пословицы, поверья, предания, древности — все употреблено им в пользу его сочинения. Таким образом, роман его, между русскими сочинениями того же разряда, представляет что-то странное, не сходственное с тем, к чему мы привыкли» («Совр.», 1839 г., т. XIV, стр. 131).

«Библиотека для чтения» на этот раз без всякого ехидства отнеслась к «Басурману» восторженно.

Рецензент начинает речь с «литературных медведей» (очевидно, под этим подразумевается известная нам злобная рецензия Греча в «Сыне Отечества»), которые «хотели пожрать, между прочим, господина Лажечникова. Но толпа — мы поставляем себе в честь принадлежать к этой толпе — толпа его оценила, толпа его поняла и увенчала своей любовью; и между тем как толпа торжественно несла на плечах своих это прекрасное дарование, медведи карабкались с ревом на него, запуская в него свои лапы и старались стащить наземь, чтобы высосать кровь. Толпа спасла его своей любовью. Не бойтесь этих лесных хищников, даровитый русский романист.

«Басурман» роман исторический, быть может, слишком

исторический, но эпоха, сюжет и примечательное искусство в группировке лиц и подробностей делают его крайне занимательным и любопытным. Первый том читается довольно трудно, что, вероятно, зависит несколько от орфографии автора, к которой нужно привыкнуть, как ко всякому нововведению, но с самого начала второго тома любопытство воспламеняется и погасает только на последней странице книги. Местами встречаются длинноты, которые немножко мешают свободному и быстрому ходу повести, но, за исключением этих немногих страниц, все остальное одушевлено высочайшей занимательностью. Положение главного действующего лица, столь странное, столь опасное, содержит участие читателя к нему в непрерывном напряжении; вам трудно расстаться с ним на одно мгновение; вам хотелось бы следовать за ним повсюду. Многие удачно введенные обстоятельства запечатлены той могущественной увлекательностью, которую только высокий талант может и умеет придать вымыслу. Можно было бы заметить, что первая часть действия, помещенная в Германии и Италии, не довольно тесно связана с той, которая происходит в России; но этот ничтожный недостаток легко может быть исправлен при втором издании. Более важное возражение относится к слогу: многие будут сожалеть, что в нем недостает той отделки, того изящества, которые составляют душу всякого произведения изящной словесности, но это уже дело решенное: на слог господина Лажечникова надо согласиться, чтобы получить от него один из тех романов, которые украшают литературу. Не будем говорить о слоге: «Басурман» во всех других отношениях вполне удовлетворяет требованиям превосходного романа, и мы поздравляем русскую словесность с превосходным историческим романом, одним из замечательнейших, какой только случилось нам встретить в новейшей литературе» («Библиография для чтения», т. XXXII, отд. 6, стр. 10--11).

Еще более восторженный отзыв дали «Отечественные записки», безымянный критик которых посвятил «Басурману» целых 3 листа. По мнению критика:

«Басурман» — явление, которому подобного не было ничего в произведениях других русских романистов. Бóльшая часть из того, что до сих пор выдавалось нам под именем русского исторического романа, было или перефразированные выписки из «Истории» Карамзина и других исторических

книг, или черты из «Опыта о русских древностях» господина Успенского; все это было вяло, сухо, бессвязно или сшито грубой рукой, так что по швам видны были белые нитки. Один Лажечников понял совершенно поэзию русской истории и, воссоздавая дивные образы нашего XV века, успел остаться верным и поэзии и истории. Лица, им выведенные, — лица типические, стоящие вровень со своим веком и поэтически прекрасные; весь роман его — художественное целое, проникнутое одной идеей и романтически занимательное. Вот почему мы причисляем его «Басурмана» к разряду первоклассных творений русской литературы и представляем его нашим читателям как явление отрадное, какого не было у нас со времени появления на Руси «Бориса Годунова» Пушкина» («Отеч. зап.», 1839 г., т. 2, отд. VI, стр. 46).

XI

Нам остается теперь *досказать* жизнь Лажечникова. Мы подробно останавливались на детстве его, заронившем в душу мальчика первые семена добра, подробно останавливались на отрочестве и первой молодости, воспитавших в нем горячую любовь к родине, говорили более или менее подробно о его первых произведениях, потому что интересно следить за первым полетом орленка, даже раньше, чем он научится надлежащим образом расправлять крылья; наконец, столь же подробно обсуждали три романа, составляющих фундамент славы их автора. Но жизнь Лажечникова после появления «Басурмана», хотя она продолжалась еще целых тридцать лет, достаточно обозреть самым кратким образом; достаточно бегло *досказать* эти последние тридцать лет жизни его, потому что и не жизнь это была, а только доживание, доживание жизни и таланта. Десятилетие с 1830 года по сороковой представляет собой кульминационный пункт жизни Лажечникова. «Последним Новиком» Лажечников сделал решительный шаг к своей славе. «Ледяной дом» был апогеем этой славы, «Басурман» тоже очень много симпатий привлек на сторону своего автора, но все-таки он, хотя и не отделен большим расстоянием от вершины, чем «Последний Новик», находится уже по ту сторону перевала. А после «Басурмана» уже начинается жизнь под гору.

В служебном отношении, впрочем, Лажечников слегка преуспевал, но именно только слегка. В третий раз (в 1842 г.) поступив на службу, он вскоре был назначен тверским вице-губернатором. Человек, знающий, где раки зимуют, конечно, сумел бы «отличиться». Но Лажечников, несмотря на знакомства и связи, которые он имел, благодаря своей литературной славе, не только не «отличился», но, прослужив несколько лет в Твери, а затем через некоторое время назначенный в Витебск тоже вице-губернатором, в 1854 году вышел снова в отставку. Скоро, однако же, нужда опять погнала его на службу — он хотел дослужиться до полной пенсии. В новой своей должности — цензора петербургского цензурного комитета — Лажечников пробыл всего два года, с 1856 по 1858 г., и в чине статского советника (не важный результат 35 летней службы) вышел окончательно в отставку. Рассказ Панаева, — редактора «Современника», следовательно, человека мало склонного к идеализации цензоров, свидетельствует нам, как тяжела была для Лажечникова новая его служба, хотя не следует забывать, что 1856, 1857 и 1858 годы — это медовый месяц новой эры, наступившей после крымской кампании, когда цензуре ни в коем случае не вменялось в обязанность давить литературу. Напротив того, желая по возможности прогрессивно обставить цензурное дело, правительство пригласило многих известных писателей. В это время поступил в цензора и Гончаров. И тем не менее, как мы знаем из рассказа Панаева, Лажечников сильно терзался своей должностью.

Относительно цензурской деятельности Лажечникова существует следующее сведение, сообщенное покойным Ливановым в «Современных известиях» 1869 года, по поводу предстоящего тогда пятидесятилетнего юбилея писательской деятельности Лажечникова:

«В последнее время, бывши цензором в Санкт-Петербурге, Иван Иванович Лажечников должен был читать роман Чернышевского «Что делать?». Как честный человек, он не мог посягать без собственной душевной боли на чужую мысль, и в то же время требования службы (как единственное средство жизни) налагали на него известные обязанности. И скольких мучений стоил этот роман И. И. Лажечникову! Он плакал, прося Чернышевского согласиться выпустить нецензурное (тогдашнего времени). Чернышевский плакал, за-

щищая свое детище. Обоим было больно до слез. Оба они собирались, плакали всегда досыта и расходились до следующего раза. И это во все время цензурования романа. В каком первоначальном виде написан был роман Чернышевского «Что делать?», знает только маститый старик И. И. Лажечников» («Совр. изв.», 1869 г., № 119).

В том виде, как факт этот передан Ливановым, он, безусловно, неверен. Стоит только сопоставить цифры, чтобы увидеть, что Ливанов напутал. «Что делать?» печаталось в 1863 году, то есть пять лет спустя после того, как Лажечников оставил цензорскую службу, и писался в тюрьме, где Чернышевский сидел тогда по обвинению в государственном преступлении. Но если мы тем не менее привели этот факт, то потому, что Ливанов был довольно близок с Лажечниковым в последние годы его жизни, следовательно, в известной степени рассказ его все-таки имеет значение, именно он, как нам кажется, характеризует, как неловко было другу Белинского в роли «умерителя». Весьма вероятно, что Лажечников как-нибудь рассказывал Ливанову о своих цензорских терзаниях, а Ливанов, схвативши общий колорит, конкретные случаи перепутал. Предполагать же, что Ливанов взял весь рассказ из своей фантазии, было бы слишком жестоко для памяти покойника, который, правда, привирал, но не мог же ни с того ни с сего сочинить целую историю без всякой фактической подкладки.

Что касается литературной деятельности, то после «Басурмана» Лажечников в течение целых восемнадцати лет дал себя знать только двумя драмами: «Христиерн II и Густав Ваза» и «Дочь еврея», комедией «Окопировался» да крошечным отрывком из «Колдуна на Сухаревой башне». Неправильно было бы объяснить такую скудную деятельность одним утомлением таланта. Одна из главных причин этой скудости, несомненно, служба, не дававшая каких-либо живых впечатлений, не оставлявшая достаточно досуга. В доказательство: даже то небольшое, что написано Лажечниковым с 1838 по 1856 год, когда Лажечников опять деятельно берется за перо, написано им, когда он был в отставке, а за время вице-губернаторства написана только крайне примитивная «Дочь еврея». Если сухой формализм тогдашней службы не повлиял на Лажечникова, когда он писал «Ледяной дом», то это была зато пора полного расцвета его таланта. Но период

утомления таланта требовал более тщательного и подходящего подбора обстоятельств.

Нужно, впрочем и то, сказать, что начиная с конца тридцатых годов биографический материал о Лажечникове крайне скуден, так что, может быть, какие-нибудь другие причины дурно повлияли на талант нашего писателя.

Очень может быть, что его сильно обескуражила передряга с «Опричником». Дело в том, что в 1842 году Лажечников написал белыми стихами драму «Опричник». Белинскому она очень нравилась, а Сенковский ее взял у автора для помещения в «Библиотеке для чтения»; но когда он отправил ее к цензору, тот ее решительно запретил. И только в 1859 году «Опричник» мог быть напечатан. Читая в настоящее время «Опричника», совершенно недоумеваешь, что в ней нецензурного. Нам, привыкшим к совершенно свободному обсуждению царственных особ, живших до Петра I, непонятна такая строгость тогдашней цензуры.

Строгость эта служит лучшим доказательством новизны приемов, употребленных Лажечниковым при обрисовке Иоанна Грозного, и следовательно, одним из «смягчающих обстоятельств» для больших недостатков этой драмы. Убедительнее всего оправдал слабость «Опричника» сам Лажечников в предисловии к отдельному изданию драмы, появившемуся в 1867 г. «Никто оспаривать не будет, что я первый замыслил вывести гигантскую фигуру Иоанна на сцену». Литературное пионерство, как и всякое другое, всегда задача чрезвычайно трудная, а главное — чрезвычайно неблагодарная. На сцене, впрочем, «Опричник» давался в 1867 году с успехом.

С другой исторической драмой Лажечникова, именно «Христиерном II и Густавом Вазой», вышла курьезная история, до сих пор ставившая в тупик библиографов. В 1841 году в «Отечественных записках» появились первые три явления трагедии «Густав Ваза», под которыми было подписано: Лажечников. Вслед за тем в 1842, сначала в сборнике «Дагерротип», а потом и отдельно, появилась вся драма под заглавием «Христиерн II и Густав Ваза, драматический опыт в 4 актах, соч. А. Лажечникова». «Трудно было предполагать, — писал известный библиограф М. П. Лонгинов в «Атенее» 1858 г., — чтоб на заглавном листе этой книжки была пропущена опечатка в самом имени автора. Страннее всего, что журнал, поместивший за год до того отрывок из этой трагедии, не раз-

решил вопроса: Иван ли Иванович Лажечников написал ее или какой-нибудь его однофамилец? Причем журнал этот сказал, что «и то и другое, может быть, весьма вероятно» («Отечественные записки», 1842, № 9). Мы, с своей стороны, не беремся разрешить это обстоятельство». Еще страннее, прибавим мы от себя, что в тех же «Отечественных записках» Белинский, разбирая «Дагерротип», говорил о «Христиерна», нимало не сомневаясь в том, что он принадлежит автору «Ледяного дома». Когда же Лажечников не включил «Христиерна» в «полное собрание», то вопрос, действительно, был запутан окончательно, так что недоумение Лонгинова было вполне законное. Есть, однако же, данные распутать «это обстоятельство». Во-первых, драма посвящена «Александру Михайловичу Бакунину». Из воспоминаний Лажечникова о Белинском мы знаем, что Лажечников был очень дружен с семейством Бакуниных. А затем, мы в «Воспоминаниях» Пассек прямо находим, в одном из писем Лажечникова к обоим супругам, следующее место: «знаете ли что? Я пишу теперь трагедию, и удивитесь — стихами. Густав Ваза герой моей пьесы» («Русская старина», т. 19, стр. 436). «Обстоятельство», значит, решается окончательно.

«Скажем только, — говорит Лонгинов в той же статье, — что трагедия не много прибавляет к репутации Лажечникова, если и написана им». Скажем и мы то же самое. Но несомненно, однако же, что «Христиерна» несравненно лучше драм его: «Вся беда от стыда» (или «Дочь еврея»), «Горбун» и комедии «Окопировался», которые тем не менее Лажечников счел нужным поместить в полное собрание своих сочинений, между тем как «Христиерна» выбросил.

О «Дочери еврея» и «Горбуне» мы лучше ничего не скажем. Что же касается «Окопировался», то, как от водевиля, от него и требовать нечего. Поставленный в 1854 г. на сцену (см. Вольф, «Хроника Петербургских театров»), он имел успех.

«Колдуна на Сухаревой башне» появилось только 4 главы или письма, по которым ничего нельзя было предсказать относительно целого. Личность Ивана Долгорукова обрисована неверно, но Остермана весьма недурно.

Долгое молчание свое Лажечников прервал в 1856 г. напечатанием «Беленьких, черненьких и сереньких» в только что народившемся «Русском вестнике» Каткова, который

тогда еще был очень беленьким и не метил еще в предводители черненьких.

«Беленькими, черненькими и серенькими» Лажечников начал целый ряд воспоминаний, которые все читаются с большим интересом. Вслед за «Беленькими, черненькими и серенькими», написанными в беллетристической форме — как бы история какого-то Пшеницына, — но тем не менее, безусловно, автобиографического характера, последовало «Мос знакомство с Пушкиным», затем «Новобранец 12-го года», описывающий перипетии вступления нашего героя в ряды деятелей отечественной войны; затем в «Московском вестнике» 1859 г. «Заметки для биографии Белинского», которые местами полны захватывающего интереса. Через пять лет Лажечников в «Российском вестнике» 1864 г. поместил «Воспоминания о Ермолове», или, вернее, об Остермане-Толстом, и, наконец, в 1866 г. «Как я знал Магницкого». Последние две статьи написаны несколько запутано, старик автор постоянно сбивается с нити рассказа, начинает одно, не кончивши другого, повторяется и так далее. Но все-таки они читаются с интересом, и самая разбросанность их и отсутствие системы придают им особенно добродушный характер. В общем весь этот цикл воспоминаний составляет лучшее, что писал Лажечников за вторую половину своей литературной деятельности. Так и отражается в них ясная, чистая и незлобивая душа добродушного старичка-автора, без тени какого-либо брюзжания, столь свойственного людям, разговорившимся о времени, когда и они были солью земли. Написанным же чисто-беллетристически «Беленьким, черненьким и сереньким» еще большую прелесть и привлекательность придает эпическая простота и спокойствие, с которыми разработан сюжет.

Хорошо бы было, если бы Лажечников только и ограничился воспоминаниями, то есть вращался бы в сфере явлений, ему вполне знакомых. Но человек живой и впечатлительный, юноша у порога гроба, Лажечников не захотел возиться только со старьем и, снова усиленно взявшись с 1856 г. за перо, во что бы то ни стало захотел сказать свое слово и о злобе дня. Результатом этого явились два больших романа, один — «Немного лет назад», начатый в 1858 г. и выпущенный в свет в 1862 г., а другой — «Внучка панцирного боярина», напечатанный во «Всемирном труде» 1868 г.

Лажечников имел полное право вмешаться в злобу дня, потому что едва ли было много молодых юношей, которые так близко принимали бы ее к сердцу, как 64-летний автор «Ледяного дома», когда он садился писать «Немного лет назад».

С чисто молитвенным восторгом относился он к новой эре, наступившей после крымской войны. Свидетельства Панаева, Пассек и Островского, общий дух его произведений достаточно выяснили нам Лажечникова со стороны его восприимчивости и чуткости ко всему хорошему и благородному. Как же должно было радоваться его доброе сердце при виде торжества гуманности и света над мраком и грубостью прежней эпохи, каким искренним благоговением должна была наполниться чистая душа его, всю жизнь жаждавшая правды и справедливости, при виде грядущей победы новых начал, выступавших именно под знаменем правды и справедливости для борьбы с армией зла..

Понятно вместе с тем, почему Лажечников, по летам человек старого поколения, должен был относиться восторженнее к новой эре, чем представители поколения молодого, хотя они и были дети этой эры. Человек все познает и ценит через сравнение. Вот почему молодое поколение, не знавшее старых безобразий, не могло так восторженно относиться к новому порядку, как старик Лажечников, помнивший не только николаевские, но и павловские времена. И мог ли разделять Лажечников тот скептицизм, который, в силу общего закона человеческой души желать всего лучшего и лучшего, вскоре заставил молодое поколение насмешливо относиться к российскому «прогрессу»? Мог ли понимать Лажечников недовольство Пироговым, он, который помнил Магницкого, мог ли Лажечников понимать недовольство той свободой, которой пользовалось русское слово в конце пятидесятых годов, он, которому наложили veto на невиннейшего «Опричника», мог ли, наконец, Лажечников понимать, что не всякий согласится быть владельцем фабрики даже с «вольнонаемными» рабочими, он, который семьдесят лет прожил при крепостном праве и видел военные поселения.

Нет, ничего такого не в состоянии был понимать восторженный старик. Новая эра могла ему казаться только золотым веком, идеалом человеческих желаний и стремлений.

Сердце его через край было наполнено безграничным благоговением и благодарностью.

И вот этот-то восторг и благоговейное отношение к началам русского «прогресса» и составляет основу романа «Немного лет назад». В нем столько наивной веры в то, что эти начала насадят рай земной, с такой серьезностью автор вам доказывает на многих страницах вред сословных предрассудков, с таким жаром обличает взяточников, с таким восторгом проповедует, что следует быть добрым, а не злым, и, наконец, так глубоко убежден, что порок всегда наказывается, а добродетель всегда торжествует, что в общем именно эта азбучность вас трогает и умиляет. Разве несумилительно видеть человека, сквозь семьдесят лет жизни пронесшего веру, хотя бы и очень примитивного свойства, в добро и справедливость на земле.

Но понятно, что эта же самая наивность, которая так симпатично обрисовывает душу Лажечникова, не могла не отозваться самым неблагоприятным образом на романе, который вышел образцом прописной морали, паточного взгляда на жизнь и чисто маниловской прогрессивности.

Критика того времени не только не осталась довольна романом как литературным произведением, но даже далеко не вся прониклась верой в искренность прогрессивности автора. Было высказано даже такое несправедливое и неосновательное предположение, что Лажечников хотел *подладиться* к молодому поколению. Конечно, это говорили люди, плохо знавшие жизнь и литературную деятельность Лажечникова. Но зато авторитетнейший из тогдашних журналов — «Современник», вполне правильно оценивши самый роман, с большой симпатией отнесся к добрым намерениям автора.

«Несмотря на многолетний период своей литературной деятельности, — говорилось в рецензии, — несмотря на то, что в течение этого периода много воды утекло, г. Лажечников всегда оставался верен тем чистым и честным убеждениям, которые проходят сквозь всю его литературную деятельность. Пылкий и восприимчивый юноша (?) двадцатых годов, восторженными красками изображавший любовь пламенного старца Волинского к цыганке Мариорице, он сделался пылким и восприимчивым старцем, восторженными красками изображающим радость, по поводу разных предпринимаемых правительством мер для блага отечества.

Добро и зло, проходившие мимо его, не оставляли его равнодушным: первое встречало все его симпатии, второе волновало его. С этой стороны г. Лажечников самая сочувственная молодому поколению личность из всей фаланги старых литераторов».

Вслед за тем рецензент восхищается той «драгоценной искренностью», которой «в замечательной степени обладает г. Лажечников. Он весь виден в своих произведениях; читая его, можно не соглашаться с его образом мыслей, можно даже находить его несколько наивным и отсталым, но нельзя не сказать: это писал честный человек; это писал человек, которому нечего скрывать и не для кого рядиться в шутовские одежды притворных радостей и своекорыстного, скоро удовлетворяющегося либеральничанья» («Современник», 1863 г., № 1—2, стр. 111).

Что сказать о другом романе Лажечникова, — «Внучка панцирного боярина», в котором он старался задеть один из вопросов дня — именно вопрос польский? Лучше всего ничего не сказать. У каждого писателя есть свой *lapsus calami*. У Белинского была «Бородинская годовщина». Простим же и Лажечникову его «Внучку панцирного боярина», писанную притом, однако же, в простоте душевной. В середине шестидесятых годов, под влиянием только что кончившегося польского восстания, почти во всем русском обществе господствовала узкая ненависть к полякам. Лажечников поддался ей, следовательно, забыл обязанность писателя стать выше предрассудков и слепых страстей — в этом его вина.

Последним произведением Лажечникова была выкроенная из «Басурмана» драма «Матери-соперницы», писанная за год до смерти. Так же как и все почти драматические произведения Лажечникова, она менее всего усиливает его славу.

ХП

В заключение нашего очерка расскажем про юбилей пятидесятилетней литературной деятельности Лажечникова, который праздновался в Москве 3 мая 1869 г. Собственно говоря, это был только пятидесятилетний юбилей со времени вступления Лажечникова в члены Общества любителей сло-

весности. Писать же он начал, как мы знаем, в 1807 году. Устройство празднования взял на себя Артистический кружок. Празднование вышло очень характерное. В чем заключалась эта характерность — объясним дальше, а пока изложим ход юбилея, на котором сам юбиляр, вследствие болезни, не мог присутствовать, а присутствовала его жена и дети. Скажем кстати, что, лишившись в 1852 г. первой жены своей, Лажечников в следующем (1853) году женился вторично на Марье Ивановне Озеровой. Несмотря на значительную разницу лет (Лажечникову было при женитьбе 61 год, а госпожа Озерова была совсем молодая девушка), Лажечников, по словам г. Нелюбова, «нашел в своей второй жене нежную и безгранично преданную подругу, которая сделалась самой благодетельной и самоотверженной опорой состарившегося писателя. От этого брака родились у Лажечникова один сын и две дочери, оставшиеся наследниками его славного имени».

Празднование происходило в городской думе.

Когда прибыло семейство юбиляра — жена его и дети, — оркестр исполнил торжественный марш, и вслед за тем А. Н. Островский открыл заседание речью, главное содержание которой уже известно нам; после чего попечитель Московского округа, князь Ширинский-Шихматов, сказавши от себя несколько приветственных слов, прочитал письмо министра народного просвещения графа Д. А. Толстого, извещавшее юбиляра о пожаловании ему «во внимание к почетной известности в литературе» бриллиантового перстня. Затем попечитель же прочитал рескрипт, данный на имя Ивана Ивановича Его Императорским Высочеством Наследником Цесаревичем — ныне царствующим императором Александром III:

«Иван Иванович!

Узнав о совершившемся пятидесятилетию вашей литературной деятельности, вмещаю себе в удовольствие приветствовать вас в день, предназначенный к празднованию этого события. Мне приятно заявить вам при этом случае, что *Последний Новик*, *Ледяной дом* и *Басурман*, вместе с романами покойного Загоскина, были, в первые годы молодости, любимым моим чтением и возбуждали во мне ощущения, о которых и теперь с удовольствием вспоминаю. Я всегда был того

мнения, что писатель, оживляющий историю своего народа поэтическим представлением ее событий и деятелей, в духе любви к родному краю, способствует к оживлению народного самосознания и оказывает немаловажную услугу не только литературе, но и целому обществу. Не сомневаюсь, что и ваши произведения, по духу, которым они проникнуты, всегда согласовались со свойственными каждому русскому человеку чувствами преданности Государю и Отечеству и ревности о благе, о правде и чести народной.

Препровождаемый при сем портрет мой да послужит вам во свидетельство моего уважения к заслугам многолетней вашей деятельности».

По прочтении рескрипта, выслушанного стоя, оркестр заиграл гимн «Боже, Царя храни». Затем началось чтение профессором Московского университета Н. А. Поповым адресов, письменных и телеграфических поздравлений. Приведем наиболее характерные. Первыми приветствовали юбиляра соотечественники городское общество города Коломны:

«Что звезды красят небо, то заслуженные таланты и с высокими достоинствами граждане красят всякое отечество. Мы, жители Коломны, твои однокорожане, гордились доселе тем, что среди нас родилось светило науки — покойный Филарет московский; ныне будем гордиться и тем еще, что из нашего города, и притом из среды купеческого сословия, вышел заметный представитель литературы русской и достойный слуга Царя нашего на всех государственных должностях, ему поручаемых. Мы чтим в твоём лице лучшего гражданина города Коломны и подносим тебе, вместе с кубком, русские хлеб-соль из колыбели твоей родины. Прими их от нас как знак того глубокого уважения, с каким имя твоё будет навсегда сохранено в летописях города Коломны».

Затем было прочитано замечательное письмо — приветствие от Писемского.

«Иван Иванович! Вы принадлежите еще к писателям пушкинского времени и посреди их вы являетесь лучшим русским историческим романистом: за вами тогда еще было усвоено название, что вы наш «Вальтер Скотт». Успех ваших романов был всеобщий: вся тогдашняя грамотная Россия прочла их и восхищалась ими. Такую общую симпатию, я пола-

гаю, они возбудили не столько новостью этого рода произведений и не тем, что в них описывались исторические происшествия и исторические лица, сколько другим, гораздо более прочным качеством — это всюду проникающими в них вашим поэтическим мировоззрением и тем добрым и мягким колоритом, который разлит во всех изображаемых вами картинах и присущ даже всем выводимым вами лицам. Кто не помнит этой кроткой племянницы пастора, едущей в жаркий день по пустыням Лифляндии и которой потом слепец предсказывает высокую будущность русской императрицы! Кто не знает наизусть вашей песенки:

Сладко пел душа-соловушка
В зеленом моем саду.

Я до сих пор не могу забыть того поэтического впечатления, которое произвела на меня глава *Тельник* в вашем романе *Ледяной дом*, где пылкая Мариорица посылает с груди своей крест предмету своей преступной страсти. (Писемский тут перепутал Анастасию из «Басурмана» с Мариорицей.) Даже сам Волынский, не говоря уже об его пятидесятилетнем возрасте, как бы очищен вами и от всех других, гораздо более существенных недостатков человеческих: он является у вас молодым, благородным и влюбленным!

Но, при всей вашей склонности изображать добрую и хорошую сторону души человеческой, вы, в лучших ваших произведениях, совершенно избавились от несвойственной русскому человеку мечтательности Жуковского. Перед вашими товарищами-романистами вы имели огромное преимущество: добродушного Загоскина вы превосходили своим образом и уж, разумеется, как светоч ничем не запятнанной честности, горели над темной деятельностью газетчика Булгарина; в ваших произведениях никогда не было бесстрастных страстей Марлинского и его фосфорического блеска, который только светил, но не грел; ваша теплота была сообщающаяся и согревающая! Вы ни разу не прозвучали тем притворным и фабрикованным патриотизмом, которым запятнал свое имя Полевой, и никогда не рисовали, подобно Кукольнику, риторически ходульно-величавых фигур. Всех их, смею думать, вы были истиннее, искреннее и ближе стояли к вашему великому современнику Пушкину, будя вместе

с ним в душе русских читателей настоящую и неподдельную поэзию».

Престарелый Федор Глинка в своем приветствии вспоминал, «как возникла, росла, крепла и мужала заслуженная известность» Лажечникова, свидетельствовал, что «Новик» был, действительно, явлением новым и скоро стал другом стариков и юношей, а в «*Ледяном доме*» как-то тепло было многочисленным читателям».

Погодин старался убедить юбиляра, что «признательность соотечественников» должна служить ему «утешением в перенесенных скорбях, неразлучных с ней и вообще с человеческой жизнью». Вместе с тем маститый историк, очевидно знакомый с финансовым положением Лажечникова, утешал его, что «касательно судьбы семейства, детей» своих он «может быть совершенно спокоен, так как они остаются на попечении не только семейства, но и всего русского общества».

Тверитяне, «полные воспоминаний о литературной, общественной и административной деятельности» Ивана Ивановича, слали ему «свой привет и поздравление». Петербургский клуб художников приносил «свой сердечный привет старейшему из русских литераторов». Поздравлял затем юбиляра, через князя Черкасского, петербургский отдел Славянского комитета. «Проживающие в Кронштадте почитатели таланта» Ивана Ивановича «и честного гражданского направления его» поздравляли его с полувековым юбилеем и «с живейшей благодарностью» вспоминали «о покровительстве, оказанном незабвенному Белинскому на первых порах его литературной деятельности». Члены педагогического совета владимирской гимназии просили А. Н. Островского передать юбиляру, что «все они живо помнят благотворное на себе влияние прекрасных его творений, и все в этот многозначительный для него день приносят ему искреннее благодарение за благородные чувства, которые не бесследно рождались в их душе при чтении прекрасных его произведений». Воронежская гимназия просила старшин артистического кружка «выразить достойнейшему юбиляру от лица наставников и воспитанников гимназии искреннее поздравление, глубочайшую благодарность за воспитание многих поколений в чувствах любви и преданности ко всему русскому и за пример собственной, строго-честной и поучительной жи-

зни». Поздравляли 5-я петербургская гимназия, тамбовская, смоленская. Особенно тепло приветствовала юбиляра тверская гимназия:

«Учащие и учащиеся тверской гимназии, в которой живо сохраняется память о вас, как о бывшем ее директоре, шлют вам искренние благожелания и приветствия. В памяти каждого из нас и более взрослых наших воспитанников, как у каждого образованного русского человека, хранятся ваши литературные произведения, дышащие чувством любви к родине. Все в Твери постоянно живо напоминает о вас: гимназическая библиотека, многие книги которой хранят ваши заметки, сделанные, может быть, во время самого создания некоторых ваших произведений; кроме гимназии — сам город Тверь, в котором вы долго были главным помощником начальника губернии, даже самые окрестности Твери, описанные вами в ваших прекрасных, поэтических созданиях. Некоторые из гимназической семьи и вообще жителей города, имевшие счастье пользоваться вашей беседой, с удовольствием вспоминают литературные вечера, на которых слышали чтение *Опричников* и других ваших произведений, в то время, когда ваш голос из первых начал обличительно раздаваться в нашей литературе, с поэтической верностью воспроизводя наши исторические эпохи и их деятелей».

Редакция «Сына Отечества» поздравляла юбиляра с пятидесятилетием «литературной деятельности, которая навсегда останется в истории русского образования и в памяти всех, кому оно дорого». Редакция «Всемирного труда» констатировала, что юбиляр «долго и честно служил родному слову и русской мысли и на этом поприще приобрел себе искреннее сочувствие русской публики и русской литературы».

После поздравительных писем и телеграмм г. Ливанов прочел довольно обстоятельный очерк жизни юбиляра, любопытный тем, что состоит, главным образом, из автобиографической записки самого Лажечникова. Затем, после небольшого антракта, была исполнена увертюра, сочиненная в честь юбиляра старшиной артистического кружка г. Гербером, и читались отрывки из сочинений Лажечникова гг. Чаевым, кн. Кугушевым и артистами гг. Вильде, Самариным и Васильевой.

Закончился вечер речами редактора «Современных известий» Гилярова-Платонова и поднесением подарков юбиляру. Подарки (все серебряные) были следующие: от города Коломны кубок; от него же блюдо с надписью: «Честному мужу честен и поклон от гор. Коломны»; от него же солонка; от Московского артистического кружка большой, почти в аршин величиной серебряный, вызолоченный ковчег, в котором положены были сделанные из серебра XI томов сочинений Лажечникова. На ковчеге сделана между другими следующая надпись: на одной стороне Московский артистический кружок «чувствует дарование, честное служение отечеству и патриотизм»; от издателей «Русского вестника», гг. Каткова и Леонтьева, — большая массивная стопа из серебра; кубок от «Всемирного труда»; кубок от газеты «Новое время»; кубок от «Современных известий» и кубок, кружка и поднос от города Твери.

От читателя, конечно, не ускользнул основной колорит юбилея, на подробностях которого мы нарочно останавливались, потому что они характерны. Если мы, при разборе произведений Лажечникова, дорожили отзывами и находили, что они устанавливают действительное значение и положение нашего романиста в русской литературе, то еще более драгоценный материал в этом отношении дает нам юбилей, который является собранием множества рецензий, одновременно высказанных. Правда, высказался на юбилее, за двумя-тремя исключениями, почти один только из литературных лагерей. Но именно это-то и характерно, что не все литературные лагеря захотели принять участие в чествовании автора «Ледяного дома». Кто, в самом деле, чествовал Лажечникова? Большей частью лица официальные, гимназии, журналисты «охранительного» лагеря. Что они говорили в похвалу Лажечникову? Почти все выдвигали на первый план его «патриотическое» направление.

Передовая петербургская журналистика и публика, представляемая ею, в юбилее Лажечникова участия почти не принимала. Такой факт с первого раза поражает и как бы ослабляет ту симпатичную обрисовку, которую мы старались придать ансамблю творческой деятельности Лажечникова. Но на самом деле тут никакого противоречия нет. Нужно припомнить время, когда праздновался юбилей, и дело выяснится нам в надлежащем свете. Юбилей происходил в конце

шестидесятых годов, когда шла отчаяннейшая ломка прошлых идеалов и сбрасывание с пьедесталов прежних кумиров. Не только Лажечников, писатель сравнительно второстепенный, но и Пушкин, и Лермонтов, наконец, вся блистательная плеяда сороковых годов, все это подвергалось жестокому отрицанию. Если бы открытие памятника Пушкину происходило не в 1880 г., а в 1869 г., то нет сомнения, что он не был бы таким всеобщим праздником русской интеллигенции и привлек бы как раз именно те же самые элементы, которые чествовали Лажечникова, как раз те же элементы, которым в Пушкине, по преимуществу, нравится «Чернь», «О чем шумите вы, народные витии» и другие стихотворения в этом роде. В свою очередь, и петербургская журналистика именно из-за этих стихотворений, забывая все остальное, созданное Пушкиным, и не приняла бы участия в чествовании Пушкина, если бы оно происходило в шестидесятых годах. Что мы не высказываем одни только ничем фактическим не подтверждаемые предположения, можно доказать юбилеем Писемского. Даже в 1875 г. вражда к людям, не совсем в унисон поющим с нами, была еще настолько сильна, что чествование такого крупного и первоклассного писателя, как автор «Тысячи душ», вышло очень односторонним.

Одностороннее празднование юбилея Лажечникова обязывает нас закончить наш очерк так же, как мы его начали, — подчеркиванием внешнепатриотического направления автора «Новика». По-видимому, правильно выдвигали на первый план директора гимназий и редакции изданий вроде «Современных известий» «патриотизм» Лажечникова. Они имели известное право видеть в «Новике» и «Ледяном доме» отражение своего духа и своих мыслей.

Но право только внешнее. Если действительно мы у Лажечникова находим полный букет идей шаблонного патриотизма, то все-таки, как это уже развито более подробно в нашем вступлении, они согреты таким страстным огнем убеждения и исповедуются с такой искренностью, что только с большой натяжкой г. Катков, поднося кубок, зачислял юбиляра в ряды «своих». Ведь если Белинский в 1842 году, следовательно уже во второй период своей жизни, когда он с краской на лице вспоминал статейку о «Бородинской годовщине», если Белинский этого периода, то есть человек, под направлением которого с радостью подпишется всякий

передовой человек и нашего времени, писал про Лажечникова: «...он принадлежит к числу тех писателей, которых влияние особенно сильно на нравственное развитие современного им общества»; да, если таково мнение Белинского об ансамбле творческой личности Лажечникова, то неужели же можно серьезно зачислить автора «Новика» в ряды так называемых «патриотов своего отечества». Нет. Лажечников патриот искренний и пламенный и если современному человеку нельзя у него заимствовать содержание его понятий о патриотизме, то можно зато научиться у него глубине и полноте самого чувства любви к родине.

В заключение приведем слова Пушкина из письма его к Лажечникову: «...*поэзия всегда останется поэзией, и многие страницы вашего романа („Ледяной дом“)* будут жить, доколе не забудется русский язык». Приводя эти слова, мы не желаем задавить читателя авторитетом Пушкина. Мы только этим еще раз хотим напомнить ему об обязательности исторической критики при знакомстве с писателями прошлого, той самой исторической критики, без которой не будет вполне понятен и сам Пушкин. Читая Лажечникова, пусть читатель не вменяет ему внешних недостатков, обусловленных вкусами того времени. Пусть отделяет *суть*, пусть ищет правды не внешней, а психологической, и, несомненно, он и в «Новике», и в «Басурмане», уже не говоря о «Ледяном доме», найдет много весьма замечательного.

Недолго жил Лажечников после своего юбилея. 26 июня 1869 г. он тихо умер. В завещании своем он написал: «...состояния жене и детям моим не оставляю никакого, кроме честного имени, каковое завещаю и им самим блюсти и сохранить в своей чистоте».

С. Венгеров

БЕЛЕНЬКИЕ, ЧЕРНЕНЬКИЕ И СЕРЕНЬКИЕ

Под этим заглавием выдаю историю одного семейства и портреты некоторых его современников. Семейство это знал я с первых годов моей юности. Последний представитель его, Иван Максимович Пшеницын (вымышленная фамилия, как и все прочие, упоминаемые в этом временнике), умер в конце прошедшего года, назначив меня своим душеприказчиком. Разбирая его бумаги, я нашел в них несколько рукописных тетрадей, хранившихся вместе под одной обложкой, на которой была затейливая надпись: «*Беленькие, Черненькие и Серенькие — списаны на поучение и удовольствие моих потомков*». Каждая тетрадь носит свое собственное заглавие и имеет свое содержание. Так, в первой идет рассказ о жизни семейства Пшеницыных в *Старом доме*; во второй — помещены портреты *Замечательных городских личностей*; третья, под заглавием: *Соляной пристав*; в четвертой опять описание жизни семейства Пшеницыных в *Новом доме*; затем описание их жизни в *деревне*, со включением портретов *Замечательных деревенских личностей*, и так далее. Все тетради составлены из разных лоскутков, беспорядочно сшитых.

Списаны на поучение и удовольствие потомков? — думал я; следственно, автор желал, чтобы по смерти его рукопись была издана. Воля покойника священна для душеприказчика его. Исполняю эту волю, как полагаю, лучше.

Кажется, сочинитель временника желал, но, вероятно, не успел или поленился соединить свой рассказ в более стройное целое. Это заметно из того, что он дал всем тетрадам одно общее заглавие; сверх того, в опи-

саниях современников его нередко упоминается о том или другом из членов семейства Пшеницыных, имевших с самими оригиналами портретов сношения и связи. В подлинной рукописи оказывались пробелы, возбуждавшие некоторые занимательные вопросы о характере и жизни Пшеницыных. Для разрешения этих вопросов обращался к собственным своим воспоминаниям, так как многие события, касающиеся этого семейства, проходили перед моими глазами. Все это, где нужно и возможно было, связал я и дополнил собственными заметками и дорисовкой, как живописец склеивает и подправляет старые картины, в разных местах прорванные. Таким образом составил я нечто целое, сколько позволила мне форма, в которую автор облек свои произведения. При сочинении оставил я название, данное ему самим завещателем, по пословице: «всякий барон имеет свою фантазию». Об Иване Максимовиче говорю в третьем лице, как и он говорил о себе. Может быть, в труде моем и видны белые нитки: что ж делать? я выполнил его по разумению моему и по возможности.

Представляю этот сборник суду читателей, как издатель и отчасти автор его. Прошу помнить, это не роман, требующий более единства и связи в изображении событий и лиц, а временник, не подчиняющийся строгим законам художественных произведений.

Необходимо еще оговорить, что он начинается с последних годов XVIII столетия и доходит до двадцатых годов XIX. Как видите,

дела давно минувших лет!

ТЕТРАДЬ I

В СТАРОМ ДОМЕ

Иван Максимович Пшеницын родился в уездном городке Холодне. Вы не найдете этого города на карте. Однако ж, для удобства рассказа, я поместил его верстах в ста от Москвы. Хоть эта уловка похожа на хитрость, кажется, страуса, который, чтоб укрыть себя от преследований охотников, прячет свою голову и туловище в дупло, а оставляет хвост наружу, но, несмотря на то, что в вымышленном названии месторождения Пшеницына виден хвост, я все-таки, по некоторым уважительным причинам, прячу лицо в это дупло.

Иван Максимович помнил из первых годов своего детства жизнь в этом городке, на Запрудье, в каменном одноэтажном домике, с деревянной ветхой крышей, из трещин которой, на зло общему разрушению, пробиваются кое-где молодые березы. Она испещрена наростшим на нее мхом разных цветов. Верхи стен окаймлены зеленью плесени в виде неровной бахромы. В окнах железные решетки. Когда мальчик впоследствии перешел на новое жилище, ему долго еще чудились жалобные стоны от железных ставней, которые так часто, наяву в темные вечера и сквозь сон, заставляли жутко биться его детское сердце. Памятен ему был даже сиплый лай старой цепной собаки и домик ее у ворот, такой же ветхий, как и господский. Увидав мальчика, она с визгом бросалась к ногам его и лизала ему ручки, забывая сытную подачку, которую он приносил ей от своего стола. В комнатах темно, пахнет затхлым; мебель старая, неуклюжая, обитая черной кожей; все принадле-

жности к дому разрушаются, заборы кругом если не совсем прилегли к земле, так потому, что подперты во многих местах толстыми кольями. Дом стоит на огромном пустыре. Сзади, на несколько десятков сажен, ямы и рытвины, из которых, вероятно, много лет добывалась глина. Зато далее какой чудный вид из двух калиток, обращенных на запад и полдень! На возвышении кругом в два ряда высятся к нему столетние липы: они с воем ведут иногда спор с бурями, и, несмотря на свою старость, еще не сломили головы своей. «Это стонет змей Горыныч, который провалился тут сквозь землю»,— говорила няня, употребляя орудия страха, в числе прочих своих убеждений, чтобы неугомонное дитяtko перестало возиться и заснуло. Отец же сказывал, что тут был просто-напросто пруд, давно высохший и давший целому кварталу города название Запрудья.

Далее видно поле. В иную пору года подернуто оно зеленым бархатом, в другую — появляется на нем роскошная жатва в рост человеческий. Малютка любит, как ветер по ней то бежит длинной струей, то, играя, вьет завитки, то гонит волны перекатные или облако цветной пыли, обдающей его какой-то благоуханной свежестью. О! как весело мальчику броситься и утонуть в густой ржи! как он нежится в этом лесу колосьев! Но вот зарделась вечерняя заря. Будто на небе где-то распахнулись настежь ворота и понесло через них холодком; роса пала на землю, жаворонки замолкли; зато закудахтали перепела, загорелся неугомонный крик дергачей. Таинственно выходили из калитки дядька Ларивон и барчонок, как он называл своего питомца, хотя Ваня только сынок купеческий. Будто крадутся они от людей для какого-нибудь худого дела, ныряя в глиняных ямах и рытвинах, помимо протоптанных дорожек. Вот показалась темная полоса, и над ней переливается золотистая поверхность; еще далее, и для Вани закрылся румяный горизонт — он ничего не видит, кроме стены высокой жатвы. Дядька дает ему знак, чтобы он присел, а сам заботливо устраивает западню. Ваня садится на корточки, притаив дыхание. Засвистала дудочка тихо, нежно, будто замирает голос

птички. Крик перепела встрепенулся где-то вдали, потом бьет ближе, живее; дудочка ему отвечает, и вот повели они промеж себя любовный разговор. Еще минута,— и какой-то клубочек упал в рожь, что-то стукнуло... Попал!— кричит дядька, и мальчик опрометью бежит на этот крик, путается и падает во ржи. Наконец пойманная птичка в его руках. Как будто в лад бьется сердце у нее и у того, кто ее держит. Он целует ее, называет ее самыми нежными именами, утешает, говорит, что ей будет хорошо жить у него. Восторгам малютки нет конца.

Подле полуденной садовой калитки, у наружной стены забора, лицом к городу, Ваня, с помощью дядьки, устроил себе скамеечку. Тут он, иногда с матерью, иногда на коленях пригожей соседки, купеческой дочери, которая очень ласкает его, и даже один, засиживается по целым часам. От ножек скамейки начинается зеленый скат к реке Холодянке. Вот спешит и все спешит она унести свои воды в реку, которая издали будто манит ее к себе. На пустынной Холодянке ни одного челнока, берега тесно сжимают ее; а там какое раздолье! Полногрудая красавица кокетливо выказывает только край своей голубой ферязи, только мелькают разноцветные ленты, развевающиеся на бесчисленных мачтах ее караванов. И вот почему речка так суетливо торопится все вперед и вперед! Казалось бы, немного добежать и броситься в широкое раздолье, а тут, назло ей, загорддила дорогу колдунья-мельница. Брюзжит старушка, и стучит костылями, и поднимает пыль столбом. Смирные до сих пор воды сердито бросаются на нее; начинается схватка— вопль, тревога на всю окрестность... Но вот вырвались они из плена. Вспененные, весело, игриво, как бы радуясь своей свободе, они бросаются в широкие объятия М—ы реки, которая сама спешит отнести свою добычу ожидающей ее неподалеку О—е. Влево, между мельницей и кожевенным заводом, стоящим в Запрудье, виден вдали Ба—ев монастырь. Туда Ваня ездит иногда на богомолье со своей матерью. Там лик Спасителя так приветливо на него смотрит, а добрый старец-архимандрит, благословляя его и давая ему свою ручку

поцеловать, всегда жалуется его просвирой. За монастырем тянется мрачный лес, которому конца не видно. Вправо, против мельницы, на отвесной высоте, одиноко стоит полуразвалившаяся башня, которая, как старей, изувеченный инвалид, не хочет еще сойти со своего сторожевого поста. Кругом все развалины. В нескольких саженьях от нее начинается гряда камней, все идет возвышаясь, сливается потом в сплошную стену и, наконец, замыкается высокой угловой башней. Это отрывок кремля, построенного в давние времена от нашествия татар. Широкая стена, которая поворачивает влево от этого угла, более уцелела, несмотря на то, что она беспрестанно расхищалась на разные постройки, казенные и из-за них частные.

Со скамеечки Ваня видит почти всю панораму города с золотой главой старинного собора и многими церквями. Насупротив стелются по берегу Холодянки густые сады. Весной они затканы цветом черемухи и яблонь. В эту пору года, в вечерний час, когда садится солнце, мещанские девушки водят хороводы. Там и тут оглашается воздух их голосистыми песнями. Ваня заслушивается этих песен, засматривается на румяное солнышко, которое будто кивает ему на прощанье, колеблясь упасть за темную черту земли; засматривается на развалины крепости, облитые будто заревом пожара, на крест Господень, сияющий высоко над домами, окутанными уже вечерней тенью. Только нежный голос матери сквозь калитку или приказание дядьки могут оторвать его от этого зрелища. Странный был мальчик!

Ларивон водит часто его в ближайшую березовую рощу, раскинутую по двум скатам оврага. Будто для Вани расчищена она, будто для него устроены в ней концерты разноголосых птичек, для него по дну зеленого оврага проведена целая дорожка незабудок и везде рассыпано столько разнородных цветов, красивых, пахучих. И куда только пестун не водил своего питомца по окрестностям, по каким рощам они не бродили! Но «умысел другой тут был». Ларивон был страстный соловьиный охотник. Он ловил, покупал, брал в учение и продавал соловьев. Не только что в комнате его

все стены обвешаны клетками едва не до полу, но и в зале, в гостиной, висят их по две, по три. Как скоро Ларивону было свободно (он в доме исполнял должности дядьки, слуги иногда и приказчика), сейчас принимался он за свои лекции. Начинались они тем, что профессор брал вилку и ножик и шурканьем одной на другом поднимал пернатых к пению. Потом высвистывал колена на разный лад, так что вы не могли разобрать, губы ли его пели или соловей. Это был настоящий орган. Иногда, забывшись на самых нежных или горячих перебивках, он закрывал глаза, как настоящий соловей, когда восходит до пафоса своего пения,— и с замирающим свистом, изнеможенный, опускался на стул. Не подумайте, чтобы одна корысть питала в нем эти занятия; нет, это была истинная страсть — он был охотник. И вот ради каких побуждений таскал он своего питомца по всем кустарникам и рощам, которые были в окрестностях. Случалось им увлечься так далеко, что малютка приходил домой без ног, или пестун на руках своих приносил его спящего, иногда в венке из ландышей, перевитых кукушкиными слезками и васильками. Поэтому-то Ваня рано стал любить *природу*, рано стал сочувствовать красотам ее. Никогда не отговаривался он от этих прогулок, как бы ни утомительны они были для него.

В доме все любили и уважали Ларивона, не выключая и самих родителей Вани, которого отдали, казалось, на безотчетное его попечение. Надо сказать, что и дядька не употреблял во зло доверия своих господ — как называл и почитал их, потому что был приписан к заводу, принадлежащему Пшеницыным. Воспитанник не видал от него сердитого толчка, не только розги (которая, правда, ни от кого никогда не была на малютке); никогда бранное слово не вырывалось из уст воспитателя, а если нужно было сделать выговор, так это делалось во имя *стыда*. «Эх! Как вам не стыдно, Иван Максимович,— говаривал он в минуты крайней необходимости, когда видел непростительную шалость своего питомца,— этого и бурлак не сделает». За резвость и не думали взыскивать; дядька находил ее приятной мальчику. «Любо смотреть,— говаривал тот

же природный наставник,— любо смотреть на молодого коня, когда его выпустят погулять. Шея его словно лебединая, грива встала крылом, ноздри огнем горят, из-под ног мечет он искры и землю — вольный конь летит с вольным ветром взапуски. А свинья только что роется в своей поганой луже, да спит в ней, зарывшись в грязи; за то свиньей и прозвали». Слово *стыдно* так запечатлелось на душе малютки, что он и во всех возрастах, во всех случаях жизни чтил его свято, как одну из заповедей Господних. Первому лепету молитвы няня выучила ребенка, но молиться с благоговением — Создателю Господу Богу — внушал ему дядька, который сам всегда так молился, иногда со слезами на глазах. Ларивон любил очень странников-богомольцев и слушал с упоением простосердечной души беседы их о житии святых и мучеников.

Все это любил он горячо; за господ своих готов был *положить живот*. В честности его были так уверены, что не раз поручали ему большие суммы. Усердию его, нежной заботливости о них не было границ. Когда они бывали по дорогам, он первый усматривал опасный косяк, мигом слетал с козел и, как новый Атлас, принимал на себя всю тяжесть склонявшегося экипажа. В топких местах, а их было тогда много и по большим дорогам, он первый возился с колом, чтобы вырвать из грязи захваченное ею колесо. Ларивон не рассуждал, надорвется ли от этого усилия или изломает свои кости, он думал только о безопасности своих господ. Заботливый до бесконечности, он просыпался в три часа, если ему велено было встать в четыре. Не полагайте, чтобы это был старик: ему считали с небольшим тридцать лет. Сложенный как богатырь, он имел и силу исполинскую. Лицо у него было очень мало по росту и детски-добродушно. Говорят, что в физиономии каждого человека есть какой-то отпечаток звериного или птичьего первообраза; можно сказать, что в его физиономии было что-то соловьиное.

Нянька Домна, имевшая в это время ключи от всех кладовых и амбаров, была тоже редкий человеческий экземпляр. Вся жизнь ее прошла в нянчении и хозяйстве; в этих только занятиях сосредоточены были все ее

помыслы и чувства. Она выняньчила мать Вани и успела выдать ее замуж; выняньчила Ваню и сдала его дядьке, румяного, разумного. Сколько бессонных ночей напролет провела она над кроватями своих питомцев, когда они бывали больны! Сколько гнула она спину — и почаще деревенских жниц — чтобы выучить их ходить! Зато сама ходила крюком. А чего стоили ей заботы и опасения, не сглазили бы ребенка, не выучили бы его соседние ребятишки худым словам! Взгляд его, движение, намек, тревожное слово или улыбка во сне — все это умела она перевести на свой сердечный язык. Бывало, удастся ей двумя иссохшими руками поймать Ваню, вертлявого, как вьюн, за кудрявую голову, и целует, целует ее, — вот единственное наслаждение, которое вознаграждало старушку за тяжкие труды многих лет!

В числе прислуги была еще старая кухарка Акулина, мать Ларивона. Ее считали первой особой в домашнем штате. Чрезвычайно дородная, с зобом в три этажа, смотревшая на всех с высоты, она походила на важную купчиху. Никого не удостоивала она низким поклоном, даже господ своих, а только едва заметным киванием головы. Если нужно было господам о чем посоветоваться, приглашали Акулину, как женщину старшую в доме, бывалую и разумную. На этом совете обыкновенно решал ее голос, которому покорялась и сама Прасковья Михайловна (так звали Ванину мать). Акулина превосходно готовила кулебяки, всякие похлебки, холодные и жаркие, квасы, меды, мочила отличным образом яблоки и умела сохранять свежие до новых. Она же с таким складом и прибаутками рассказывала сказки, что ее не только Ваня, но и большие заслушивались. Дар этот перешел и к сыну ее Ларивону.

Да еще в доме был кривой кучер Кузьма, горький пьяница, который на старой сивой лошади возил и воду, и воеводу.

В доме не очень любили его: хозяйка за то, что был груб и запрягал лошадь по два часа; Ваня за то, что бранил и бивал больно железную лошадку, как называл он ее по цвету масти; ключница за то, что воровал овес, и краденые деньги пропивал; Ларивон — вообще

за беспорядочную жизнь; кухарка — за то, что был нечистоплотен и даже подле *Божьего милосердия* нюхал проклятое зелье. Под носом у него всегда оставалось гнездышко табаку. Серые, налитые кровью глаза его смотрели недоброжелательно. Он сам не любил никакой твари. Если б не Ваня и Ларивон, старый пес, оберегавший дом, давно помер бы с голоду. А чего не доставалось от Кузьмы его жертве, сивой лошадке? Кузьму терпели, потому что некем было заменить его.

— Что вы лааетесь: кривой да кривой? — говаривал он, отделяваясь от брани дворовых. — Не своей охотой, Божья воля! Был хмелен, да наткнулся на какой-то сук. Слепнуть бы вам всем!

Вздумалось однажды этому грубияну отплатить своей госпоже за какой-то сердитый выговор. «Купчиха! больно спесива! — говорил он вслух сам с собой, запрягая лошадь и коленкой посылая ей в бок удар за ударом. — Вишь какая знать! Давай мне денег, и я буду купцом не хуже вас. Были мы прежде генеральские — не таких возили».

И вот едет Прасковья Михайловна куда-то в гости, в четвероугольной линеечке, с порыжелыми кожаными фартуками. Вдруг лошадь останавливается против *красных рядов*, на самом бойком месте в городе. Возничий опускает вожжи, преспокойно достает тавлинку из-за голенища сапога, запускает в нее концы своих пальцев и готовится вложить заряд в свою широкую ноздрю... Послышался смех лавочников; но вслед за тем мелькнула белая ручка в шелковых перчатках, что-то горячее стегнуло Кузьму по щеке; щепоть табаку и тавлинка, вместе с кусками перламутрового веера и играющими на нем амурами, далеко полетели в сторону. «Пошел! я научу, как со мной шутить!» — раздался тонкий, но повелительный голос Прасковьи Михайловны. Возничий, невольно повинувшись этому голосу, взялся за вожжи. Линеечка тронулась, провожаемая одобрительными возгласами лавочников, ставших, по обыкновению людскому, тотчас на стороне победителя. Никогда еще сивка так прытко не бежала, будто из благодарности, что отплатили за многие ее страдания. С той поры Кузьма держал месть за пазухой.

Ване в то время, с которого начинается наш рассказ, едва минуло семь лет. Матери его Прасковье Михайловне было только двадцать четыре года. Максим Ильич взял ее из купеческого дома, который хотя был прежде очень богат, но расстроился вследствие разных торговых неудач. Она слыла первой красавицей в городе и хорошо это знала. Отец и мать баловали ее, единственное свое дитя, как ненаглядное сокровище. Всякая прихоть, каприз ее исполнялись как закон. С детского возраста она привыкла повелевать. Вырваться из смиренного круга, в который обстоятельства ее бросили, и стать на высшую, блестящую степень — было одним из самых горячих ее мечтаний. Властолюбивая дома, где все ходило по ее ниточке, она хотела и судьбу поставить на свою ногу. Девочка твердила, что выйдет за генерала. Увез же соседку, красивую попову дочку, помещик, у которого тысяча душ, и женился на ней. Но генералов в кругу ее не оказывалось, да и не было ни перед ней, ни за ней богатой придачи, за которой превосходительные женихи гонятся более, чем за умом и красотой. Купеческих претендентов на ее руку, которых предлагали ей родители, иногда на коленях, было множество. «Вспомни, Парашенька,— говорили они,— ведь тебе шестнадцать лет. Твои погодки уж два года замужем, да и детей породили. Сраму, сраму-то не оберешься, как засидишься в девках». Прасковья Михайловна, утомленная этими мольбами, а еще более убежденная доводами няни своей, которая выведывала для нее все качества и недостатки женихов, решила осчастливить купеческого сына, Максима Ильича Пшеницына. Неужели его домик, смиренный, ветхий, мог прельстить гордую красавицу? Нет, она видела далее, она шла за богатые, блестящие надежды... Этот бедный домик должен был, рано или поздно, превратиться в роскошные палаты.

Грамоте Прасковья Михайловна плохо знала; она едва разбирала по складам песенки и ужасными каракулями подписывала свое имя; однако ж, цифры знала до ста тысяч. Она слыхала, что одна барыня, также безграмотная, имевшая дела с отцом ее, проводила за нос самых крючковатых законников, могла рассказать,

как лучший адвокат, содержание каждой деловой бумаги, и от небольшого наследственного состояния оставила своим детям несколько тысяч душ, да построила десяток каменных церквей. И у нашей купеческой дочери грамота была в голове, или она, по крайней мере, так думала. Муж ее, страстно влюбленный в нее, смотрел ей в глаза; свекор ласкал ее и называл своей любимой невесткой. К тому ж, всегда живя в Москве, он не мешал ее домашнему владычеству. Перешагнув из жилища от своего в жилище мужа, она только расширjala свое господство.

Максиму Ильичу было не более двадцати двух лет, когда он на ней женился. Он имел приятную наружность, сердце доброе, светлый ум и стремление к дворянской жизни, чему способствовали немало связи его отца, Бог знает как и когда сделанные, со многими знатными лицами того времени. При выборе его Прасковей Михайловной склонило также весы на его сторону и то, что он и весь род его, со времени Петра Великого, ходили в немецком платье, что Пшеницыны ели серебряными, а не деревянными ложками, каждый со своего оловянного прибора, а не из общей семейной деревянной чаши, что они имели прислугу и кое-какой экипаж. Говорили, что этот род шел от новгородских именитых людей, которые, избежав казней во времена Иоанна Грозного, переселены им были в Холодную. Поэтому в фамилии Пшеницыных сохранилась какая-то наследственная, кровная гордость, которой не замечали в прочих смиренных обитателях Холодни. Во всех городских собраниях видали их всегда передовыми.

Надо прибавить, что Максим Ильич имел врожденное стремление к образованию себя. Случай развил еще более эту склонность. В одну из частых поездок своих в разные пределы России, которые он всякий год совершал по торговым делам, познакомился он где-то с *каким-то господином Новиковым**: Новиков полюбил

* В *Семейной Хронике* Аксакова упомянуто, что переписка Новикова с Софьей Николаевной имела большое влияние на ее образование. Мудрено ли, что молодой Пшеницын, живя ближе к Москве, имел случай столкнуться с этим замечательным человеком,

молодого человека, беседовал с ним часто о благах, доставляемых просвещением, и снабдил его списком всех книг и журналов, какие только были изданы на русском языке. Максим Ильич не замедлил купить эти книги и читал их с жадностью. К сожалению, в число их попала и нравственная контрабанда, которую умел искусно навязать ему книгопродавец: это был «Фоблаз» и несколько других подобных сочинений.

Когда красавица Пшеницына ехала в своей колеснице — покуда скромной, четвероугольной линейке, наподобие ящика, с порыжелыми кожаными фартуками, на сивой старой лошадке, с кривым кучером, и подле нее сидел ее миловидный сынок, — прохожие, мещане, купцы и даже городские власти низко кланялись ей. Приветливо, но свысока отвечала она на их поклоны. В приходской церкви ей отведено было почетное место; священник подавал ей первой просвиру; все с уважением сторонилось, когда она выходила из храма.

Опять спросим, отчего ж такой смиренный, ветхий домик, мрачно глядевший на пустыре, такой бедный экипаж и прислуга, и вместе такое общее уважение жителей Холодни к Пшеницыным? Загадка была легка; ее давно разгадала Прасковья Михайловна: отец мужа ее был — миллионер. Миллионер того времени!.. Максим Ильич имел еще брата, который жил в Москве. Старик богач здравствовал. Он давал сыновьям на содержание только то, что ему вздумается, да и в том требовал отчета. Итак, жители кланялись богатым надеждам.

Ванин дедушка, Илья Максимович, широко торговал хлебом, производил значительные поставки в казну, которые едва ли не с начала XVIII столетия удерживались в роде Пшеницыных, имел серный завод в N губернии, фабрики парчовые и штофные в Холодне, несколько лавок для отдачи внаймы в этом городе и дома в нем и в Москве. Дела свои вел он деятельно,

который своими беседами внушил ему любовь к просвещению? Нашлась бы, конечно, не одна сотня подобных фактов, если бы их вовремя собирать. Мы увидели бы тогда, как он обильно сеял Божие семя на русскую ниву. Почему в подлинном рассказе Ивана Максимовича Пшеницына назван Новиков *каким-то господином* — мне неизвестно.

с точностью и честно; слову его верили более чем акту. Лет через двадцать после того, как начинается наш рассказ, случилось Ивану Максимовичу в одном обществе быть представленным сенатору и чрезвычайно богатому человеку, князю Д* (умершему едва ли не столетним стариком). «Очень рад, очень рад с вами познакомиться, молодой человек,— сказал сенатор, положив руку на плечо Пшеницына.— Мы с твоим дедушкой были большие приятели, делали и дела немалые. Времена были не те, что ныне. Теперь дашь деньги и на актец, глядишь — пропадают, или получишь их с великими хлопотами да с помощью подьячих. Высок у тебя мошенники не только деньги, но и кровь. С дедушкой твоим вели мы дела иные. Бывало, понадобится тысяч десяток, двадцать — и шлешь к нему цидулку: пришли-де, приятель, на такой-то срок. Или ему понадобится. Давали друг другу без расписки, на слово, и день в день получали обратно свои денежки. Все это стоило только одного спасибо. Да, да,— прибавил князь, вздыхая,— ныне времена другие».

Смутно помнил Иван Максимович, как пришла в Холодную весть, что скончалась «матушка Екатерина Алексеевна», как отец его побледнел и прослезился при этой весте, как в городе все ходили, повеся нос. Сначала думал Ваня, что умерла родная мать отца его. Но Максим Ильич сказал, что той давно уж нет на свете, а скончалась государыня, благодетельница русского народа. «Люби и уважай память ее во всю жизнь свою, да и детей своих, коли будут, учи тому ж,— сказал он и поставил Ваню пред иконой Спасителя и велел положить три земных поклона, со крестом, да приговаривать: «Спаси, Господи, и упокой душу рабы твоей императрицы Екатерины».

Между тем мечты Прасковьи Михайловны начинали осуществляться. Свекор писал ей, что он очень хворает, не встает с постели, и просил навестить его, так как муж ее в дальней отлучке. Хотя наступил февраль, на дворе были сильные морозы,— наскоро собралась она и поехала с сынком. Тогдашние холодненские ямщики дельвали в зимний путь сто верст, не кормя,

в девять часов. Для скорости, чтобы поспеть в Москву в семь часов, она переменяла лошадей на половине дороги, в Б...х. В первом селе отсюда осаждали кибитку рой девочек с криком: «Булавочку, барыня, приговая!» — и едва ли не с версту бежали, запыхавшись, за булавочкой. В Островцах дали лошадям перехватить по ковшу воды. Пока ямщик занимался этим делом, кибитку обступила толпа, большей частью женщин и ребятшек. В числе молодых баб много было пригожих. Золотые кички крепко, как в тисках, стягивали их лбы, а сзади шеи, почти до плеч, упала блестящая стеклярусная сетка. У всех в ушах пестрели стеклярусные подвески и на шее такие же ожерелья; зачерствелые от работ пальцы унижены были медными перстнями и кольцами. Поступь их была важная и даже грациозная. Стан держался прямо, но юпочка, *понева*, из шерстяной клетчатой материи, похожей на шотландку, и подвязанная очень низко, с каждым шагом колебалась из стороны в сторону. Замечено, что на этот шаг из крестьянских кокеток есть особенные мастерицы. Много безобразила их обувь. Шерстяные толстые чулки в бесчисленных сборах спускались к котам, а у беднейших — к лаптям. Сапоги по колено означали особенное внимание к ним мужей. Спусти с плеча левый рукав овчинного полушубка, обшитого у иных котиком, молодые бабы, большей частью, опирались на плечо своих подруг и лукаво пускали на проезжих стрелы своих карих или серых глаз. Похвалы их или критические замечки сопровождалась рассыпным хохотом, иные мурлыкали про себя отрывки песен. Дети, несмотря на мороз, были в одной рубашонке (заметить надо, очень чистой). Издали многие из них казались ходячей огромной шапкой, клочком рубашки и двумя огромными сапогами. По сторонам каждого из этих движущихся чучелок мотались рукава рубашки, потому что руки у всех спрятаны были под пазухой. Праксovia Михайловна заметила, что в толпе женщин две молодки держали перед собой по одному мальчику в рубашонке, защищая их от холоду полами своих шуб.

— Что, это ваши братишки? — спросила Прасковья Михайловна.

При этом вопросе в толпе послышался смех.

— Так неужели детки?

Тут уж разразился заливной хохот.

— Это мужья их! — закричало несколько голосов.

— Да сколько же им лет?

— Мужьям-то?

— Да.

— С Николы вешнего пошел четырнадцатый.

— А молодцам?

— А молодцам-то?

— Да.

— Одной без годика два десятка, а другой ровнехонько два.

Надо заметить, что этих молодых бабенок очень баловали свекры, налегая всей тяжестью черных работ на старых жен своих, которые также имели некогда свое счастливое время. Молодой невестке пряник или калачик из города, и кусочек зеркала, купленный у гуляки дворового человека, и, что считалось большой драгоценностью, — кусочек белого мыла. Старушкам был почет только для вида, при народе на улицах, а дома ставили их ни во что. Эта безнравственная очередь сменялась тогда с каждым новым поколением, пока не вышло благодетельное постановление, чтобы не венчать мужчин прежде восемнадцати, а женщин прежде шестнадцати.

По случаю счета годов молодым бабам начались у них споры, потом причитания разных достопамятных эпох, ознаменовавших историю деревни. Тогда-то был пожар, Аксюшка родила уродца с собачьей головой, Сидорка ошпарился в бане, Емелька напился до того, что вороны клевали у него глаза, волки ходили по улице среди белого дня. Пошли упреки, брань, к молодцам присоединились старушки, к старушкам мужики. Война разгоралась... Но ямщик тронул лошадей... Колокольчик зазвенел, полозья засипели, оставляя за собой два пушистые, блестящие искрами, хвоста... Замелькали верстовые столбы, напудренные рощи, поля,

покрытые саваном снегов, длинные деревни, бабы, достающие воду из колодцев, наподобие журавлей на одной ноге, мохнатые лошаденки и полинялые коровенки, утоляющие жажду из оледенелых колод, опять и опять ходячие чучелки в огромных шапках с заломом и в сапогах по брюхо или в лаптенках. Но не все это скоро затушевалось. Завечерело на дворе; все предметы начали рябить в глазах и наконец потонули во мраке. Верстах в десяти от Москвы полный месяц затеплился на матовом небе и вскрыл прежнюю панораму, только при ночном освещении. Немного походя, разноцветная дуга обогнула месяц. «К добру!» — сказал Ларивон. «К морозу!» — прибавил ямщик и захопал рукавичками. Прасковья Михайловна и Ваня не спали; мать потешала сына, указывая ему на живые картины зимы. То блеснет перед ними верста под хрусталем ледяной коры, то засверкает поле миллионами дрожащих искр, то сучья в роще, покрытые густым инеем, протянут над путешественниками или страусовое перо, или пушистое марабу, или освеженное гроздь; иногда словно шаловливый леший осыплет кибитку горстями снегу. Среди глубокой тишины распевает один колокольчик, да разве ямщик, для отдыха лошадей — а может статься, непонятное ему чувство попросилось у него в груди наружу — затянет свою грустную, замирающую песнь, которая так тешит и щемит душу. Бьет колокольчик реже; кажется, все слушает: и поля, и рощи, и самый месяц на небе. Но вот рассыпался крик и гам ребятишек по деревне, ямщик молодецки окликнул своих коней-судариков, мелькнул ряд моргающих в окнах огоньков, и опять среди глубокой тишины распевает один колокольчик. Забелели две пирамиды, поперек их лег шлагбаум. Кибитка остановилась. Ларивон побежал в караульню, ямщик слез, чтобы подвязать болтливый язык у колокольчика; лошади отряхнулись, подняв от себя блестящую снежную пыль, фыркнули, причем ямщик каждый раз приговаривал: «Будь здоров!» — и стали чистить морды, запущенные снегом, то об оглобли, то о тулуп своего хозяина.

Тогда на заставах было очень строго. Прасковья Михайловна забыла запастись видом, который в прежние ее поездки в Москву никогда от нее не требовали, и ей приходилось поворотить оглобли назад или ночевать в съезжем доме. Но целковый все уладил. «Подвысь!» — закричал целковый в виде засаленного сюртука с клюковым носом. «Подвысь!» — повторил бравый *ундер* архаровского полка, и Пшеницына с трепетом сердечным въехала в Москву, сотворив широкое крестное знамение. Подвязанный колокольчик молчал; ямщик, озираясь робко, возвышал голос на лошадей; на улицах было пусто и жутко. Будто ехали по вымерзшему городу. Только изредка будочник постукивал в окно, чтобы гасили огни, хотя был только девятый час. На этот стук отзывался со дворов басистый лай собаки, и протяжно гремела ее тяжелая цепь.

Кибитка остановилась в Таганке, у каменного двухэтажного дома, белевшего среди длинных заборов. Нигде в нем не видать огонька. Доступ в старинные купеческие дома, особенно ночью, не менее труден, как в древние баронские замки, хотя нет около них ни рвов, ни мостов подъемных, ни рогатин. Ларивон нырнул в облаке пара, валившего от лошадей, и исчез. Тихо, сквозь железную решетку, застучал он в окно флигеля; тихо, сквозь форточку, опросил его голос. Вскоре без шума отворились ворота; будто из земли выступил маленький человечек, остриженный в кружок, в крашенном халате, и впился в ручку Прасковьи Михайловны. Осторожно въехала тройка на двор. Тут пошли опять постукиванья и переговоры на заднем крыльце. Наконец отворились двери в сени. Чернобровая девка с длинной косой до пят, с помощью фонаря осмотрев сонными глазами приезжих в лицо, повела их вверх по каменной, изрытой лестнице. И на лестнице, и в сенях чистота необыкновенная, какой и ныне с заднего хода не бывает во многих купеческих и даже дворянских домах. Посмотришь с улицы — палаты; с парадного входа все, как и быть должно, по регламенту палат: комнаты великолепно убранные; мебель, обитая бархатом, стоит чинно, по ранжиру; полы блестят, хоть глядись

в них. Зайдите-ка с заднего крыльца — вам бросятся в глаза кучи сора, в которых и завитки огуречной кожи, и разбитая посуда, и пучки волос; тут же обледенелые потоки помоев, клочки рогожек на дверях и художнические эскизы мелом национальной школы живописи; вас обдаст удушливый запах, который пропитает в один миг вашу одежду. Зоркий глаз Ильи Максимовича, казалось, проникал и в самые потаенные углы; дом содержался в величайшем порядке и опрятности, как и все дела его. В верхних сенях встретили приезжих: малый лет двадцати с небольшим и мальчик лет шестнадцати, прилично одетые, и немолодая женщина в платке на голове, которого одно крыло было на отлете, как у птицы, когда она ото сна только что выправляется из гнезда. Все приложились к ручкам Прасковьи Михайловны и Вани, а женщина, сверх того, осыпала их разными олимпийскими эпитетами. В одной из проходных комнат стояла кровать с двумя или тремя перинами под ситцевым балдахинном. Она была пуста. Тут же от лежанки, за несколько шагов, пышал африканский жар, и на ней возлежала на заячьей шубке какая-то великолепная особа. Тяжело волновалась белая, пышная грудь, торчали две огромные ноги в синих шерстяных чулках с красными стрелками. Это было лицо без названия должности. В наше время назвали бы ее фавориткой. Она проснулась, но не удостоила приезжих словом. Сама Прасковья Михайловна прошла около нее на цыпочках с подобающим уважением, зная, что такие именно особы обладают волшебным жезлом покровительства.

Не хотели тревожить Илью Максимовича, но чуткое ухо его слышало прибытие гостей. Накрывшись малиновым штофным одеялом, он велел позвать к себе Прасковью Михайловну. Это был старик лет семидесяти пяти, мощно построенный. Только недавно стал он поддаваться немочам и вдруг свалился в постель. Как дитя, обрадовался он приезду любимой невестки, не дал он руки своей, к которой она хотела было приложиться, нежно обнял ее и осыпал ласками мать и сына.

Прасковья Михайловна поместилась в ближайшей от него комнате, сделалась постоянною сиделкою у постели его, вставала по ночам, чтобы дать ему пить — лекарства он не хотел принимать, — утешала его своими рассказами и ласками. Ваня помогал матери развеселить старика. Фаворитке сделано было от Пшеницыной два-три приятные ей подарка и приобретено ее любезное внимание.

Раз, когда старик был в особенно приятном расположении духа и тела, он подозвал к себе Прасковью Михайловну. Время было вечернее; несколько серебряных лампад теплились перед иконами в золотых ризах, украшенных жемчугом и драгоценными камнями.

— Поди сюда, Параша, — сказал он и, когда та подошла к нему, ласково потрепал ее по розовой щечке. — Спасибо тебе, что старика не обездолила. Но спасибом сыт не будешь... Вот ключ — отопри-ка и выдвинь верхний ящик.

Тут вынул он из-под подушки ключ, передал его невестке и указал на комод, стоявший у кровати.

Прасковья Михайловна дрожа спешила исполнить это приказание. И что ж она увидела? Одна сторона ящика была набита кипами ассигнаций, синеньких, красненьких и беленьких, перевязанных тонкими бечевками, а на другой стороне лежали холстинные пузатые мешочки; сквозь редину их и дырочки кое-где вспыхивал жар золота. Молодая женщина никогда не видала такого наличного богатства; она то краснела, то бледнела и растеряла глаза свои.

Улыбка самодовольствия пробежала по губам старика: он радовался смущению невестки, которую, как дитя, взманил дороною игрушкой.

— Все мое, Параша! — сказал он торжественным голосом и привстал с постели. Огромная тень от него покрыла молодую женщину и легла на стену. Старик был высокого роста, но ей показалось, что он еще вырос в эту минуту и занял собою всю комнату. Свет от лампад засиял на голом черепе его, окаймленном венцом серебряных волос. — Все мое! — повторил он, — да

еще столько же в верхнем и нижнем ящиках. А меди в кладовой едва ль не до потолка. Все это будет *ваше...* (тут он остановился немного и перекрестился), когда Богу угодно будет позвать меня в другую сторону. Там ничего этого не нужно. Честно, трудами нажито, благодарение Богу! Не с неба, как у иных, упало на меня богатство: отец и дед наживали, я приумножил. Не из Гуслицких лесов пришли ко мне капиталы; не топил я пустых барок — будто с казенною кладью, не удерживал у рабочих трудовых денег, не шильничал... но и не мотал. И вам завещаю то же. Ты знаешь, в чести ли я у своей братии; знаешь, что и господа знатные водят со мною хлеб-соль и жалуют меня своим приятством. А?..

— Знаю, батюшка.

— Думаешь, это мне так кланяются, мне так усердствуют? Нет, вот этим бумажкам, вот этому серебру и золоту, что в мешочках дрянных лежат. Сберегите это без жадности... Почему ж человеку и не потешиться Божьими дарами без вреда себе и людям? На то и дарами Божьими называются. Но, говорю вам, не мотайте. Сберегите мое наследство с добрым смыслом, с умным хозяйством, собственным глазом, и вам от малых и больших будет также почет. Не послушаетесь меня, вам же будет худо. Расточите добро, так все ваши други и лизоблюды побегут от вас, да над вами же будут насмехаться. Кругом вас останется мерзость запустения. Слышишь, Прасковья Михайловна?

— Слышу, батюшка.

— Ванюшку учите добру, порядку и хозяйству; пожалуй, учите и наукам, да только таким, какие пригодны купцу. По мне, довольно бы грамоте русской и арифметике, да не моя воля!.. А воля-то, словно Божья, нагрянула на меня от матушки Екатерины Алексеевны. Премудрая была, дай ей Господи царствие небесное! Она это дело знала лучше меня. Сама из уст своих приказала.

— Разве вы с государыней говорили? — спросила Прасковья Михайловна.

— Осчастливлен был-таки, сударыня моя.

Старик сделал особенное ударение на этих словах и продолжал:

— Вот как было дело. В запрошлом лете ездил я с депутацией нашей братии купцов в Питер. Позваны были во дворец и допущены к ручке императрицы. Сначала струсил было я, да как повела она на нас своими ласковыми очами, так откуда взялась речь, помолодел десятками двумя годов и стал с ней говорить, будто с матерью родной. Завела она с нами речь о разных торговых делах, со мной особь о парчовой и штофной фабрике, о серном заводе. Такая дотошная, все знала, будто сама при всяком деле была. Потом изволила спросить меня: «Есть у тебя дети, Пшеницын?» — (Тут старик опять сделал ударение на своей фамилии). «Есть, говорю я, два сынка, матушка ваше императорское величество». — «А учил ты их?» — изволила опять спросить. — «Грамоте-де русской знают да счеты бойко, а меньший больно любит книги: не мешаю». — «Хорошо, а внуки есть?» — «И внуками двумя благословил Господь; еще малые». — «Так их учи. Учение свет, а неучение тьма, а свет, знаешь сам, всему миру на добро. Не все иностранным купцам ездить к нам за нашим же товаром на своих кораблях. Пора и нам в широкое море, на русских суденышках; пора и нам стать с ними по плечо не только силою оружия, да и разумом, да и наукой. Учи своих внуков, старик; этим докажешь, что вы истинные дети мои и недаром называете меня своею матерью». — Вот что говорила мне матушка-царица. И я скажу тебе по завету ее: учите Ванюшку, да только чтоб было впрок, не на ветер... Пускай учится кораблики строить, пожалуй, и сам кораблик свой снарядит, да назовет его *дедушка Пшеницын*, ха, хе-хе! Пускай гуляет наше имя по широким морям и чужим берегам!.. (Глаза у старика загорелись необычайным блеском; он протянул перед собою руку, на которой выпукло изваяны были мускулы, и раздвинутыми пальцами широкой руки тянулся будто схватить сокровище в неведомых морях.) Но смотрите... не вздумайте его в офицеры. Чтобы он у меня оставался купцом! Слышишь, купцом! Я этого хочу, — довершил старик

грозным, властительным голосом, и огромная тень его заколебалась на стене.

— Слушаю, батюшка,— отвечала Прасковья Михайловна дрожащим голосом, стоя все у открытого комода, и робко потупила глаза.

Старик, как бы утомленный, прилег на подушку, но вскоре спросил тихо и ласково:

— А хоромины, чай, у вас плохи, Параша?

— Стареньки, батюшка, в большой дождик сквозь потолок течет.

— Нечего скважины затыкать. Вот хоть мою старую хламиду как ни чини, а все развалится скоро. Вы с мужем люди молодые, вам и житье надо новое. Отодвинь-ка еще ящик... Впереди не тронь. Не смотри, что смазливы цветом, все ребятишки, дрянь, хе, хе, хе!.. Запусти-ка ручку подальше, в темный уголок... там все сотенные бояре!.. Даром что старички, можно около них погреться... Возьми стопочки две. Да, знаешь, чтобы не дразнить дорогой недоброго человека, зашей под поясом. Бери же, дурочка.

Дрожащими руками взяла молодая женщина две кипы ассигнаций там, где указывал свекор; на ярлыках каждой написано было: десять тысяч. Она взглянула на надписи и, показав Илье Максимовичу, промолвила: — Не много ли, батюшка?

— Что взято, то взято,— сказал старик ухмыляясь,— слушай: как приедешь домой, пошли от мужа Ларьку к хозяевам пустыря, что на Московской большой улице, против Иоанна Богослова... дескать, твой муж накидывает за места со старою рухлядью сто рублей против того, что я давал. Люди в нужде, обижать не надо. Максим приедет, купчую совершите. Простору много — целый квартал, стройте, что вздумается, да чтоб было все каменное, вековое. Знай, что дома Пшеницыных!.. А как заложите хоромы, так я новорожденному пришлю на зубок еще стопочки три седеньких старичков... чтобы рос скорее.

Невестка хотела поцеловать руку у свекра, но тот не дал руки, а поцеловал ее в малиновые губки, как сам их называл.

— Да куда Ванюшка запропастился? Позовите его ко мне.

Позвали Ваню, которого также очень любил старик. Он указал ему на выдвинутый ящик комода.

— Помнишь, поросенок,— сказал он,— считал ты со мною все шиши да шиши? (Ваня в первые годы своего детства называл так тысячи, которые перебирал с дедом на счетах.) Возьми, что полюбится; ведь ты также ухаживал за стариком.

Ваня заглянул в ящик и с неудовольствием сказал:

— Вишь какой деда, бумажками потчует; мне давай золотых арабчиков.

— Нечего делать с дурачком; развяжи, Параша, первый мешочек-то налево, с краю.. *все супротивни**. Пускай хватает горсткой и сыплет себе в карманы, что наберется. Слышь, на эти деньги ему особую горенку, да чтоб штофом вся была обита — не покупать статься, с своей фабрики.

Прасковья Михайловна развязала мешочек, указанный свекром; из него полился блестящий поток империалов. Ваня захватил горстью, что могло в ней набраться, и сказал:

— Довольно.

— Не жаден будет,— заметил старик.

Мать сочла деньги, прибавив:

— Чтоб не растерял! — Это действие видимо понравилось старику. Он сказал ей спасибо, да кстати приказал ей заштопать дырочки, оказавшиеся в мешочках.

Долго не могла заснуть молодая женщина, строя в мечтах своих палаты на пустыре. В Холодне было много каменных двухэтажных домов, но она хотела поставить дом на удивление всем. И во сне снились ей волшебные замки из литого золота, с такими причудливыми затеями, какие только рассказываются в сказках или из воска выливаются на святочных вечерах;

* Так звали империалы времен Елизаветы и Екатерины, которых грудные изображения чеканились на монетах с правой и с левой стороны, как бы одно против другого.

снился ей также какой-то сказочный царевич у ног ее.

Прасковья Михайловна прожила с лишком три недели у свекра, в том числе и масленицу, и стала скучать. Она горела нетерпением отвезть домой начатки своего богатства; казалось ей, в доме свекра они еще не принадлежали ей. Между тем Илья Максимович старался сделать как можно приятнее ее пребывание у него: давал ей своих рысаков для катания к ледяным горам и к бегу, которые тогда на Москве-реке кипели народом; заставлял молодого слугу и мальчика играть камедь — чьего сочинения, неизвестно. Старшее лицо представляло мельника-колдуна, обсыпанного мукой, в седом парике и с бородой из конских волос; младшее исполняло роль дурачка-угольщика. В этом игрище было много народного юмору, пересыпанного, однако ж, такими непристойными остротами, что Прасковья Михайловна просила скорее прекратить эту мужицкую забаву, как она назвала ее. Это очень удивило всю дворню, и немудрено. В то время, и даже до десятых годов XIX столетия, в Москве без «мельника и угольщика» не обходилась почти ни одна богатая купеческая свадьба или пирушка. Наштукатуренные и чернозубые купчихи, подгулявши (заметьте, они считали за величайший стыд и порок пить вино при мужчинах, но удалялись в особенную потасенную горенку вкушать его под именем меда), заливали остроты скоморохов простодушным хохотом, а иногда, за перегородкой, награждали ловкого колдуна и тайным поцелуем. За комедией выступал обыкновенно доморощенный трубадур с бандурой, с песнями и пляской. Дивные штуки выделывал он ногами, да и каждая косточка в нем говорила. А как подскочит под самый нос пригожей купчихи, поведет плечом, на которое вскинет клетчатый платок, и обдаст ее, как кипятком, молодецким спросом: «аль не любишь?» — так восторгу не было конца. Но венцом его искусства был какой-то *сальтомортале*: на всем скаку раздвинет ноги вперед и назад и упадет на них так страшно, что, казалось, должен был бы разодраться пополам, а он понемногу, как стрела, станет опять на ноги. Зато, когда артисты, окончив представ-

ление, обходили зрителей с тарелкой в руках, со всех сторон сыпались на нее щедрые дары мелкою и крупной серебряною монетой, между которою попадалась иногда и золотая.

Любил Илья Максимович тешить себя и честолюбивую невестку рассказами о связях своих с тогдашними знатными господами, о том, как они живут, да как убраны у них палаты, как он обращался с ними уважительно, да и себя не ронял, а тех, которые вышли из подъячих, да зазнались, дразнил игрою своего миллиончика или намеком на нечистое дельце. Гордился он очень знакомством своим с графом Алексеем Григорьевичем Орловым. «Вот русский боярин! алмаз-боярин! — говаривал он. — Посыпьте перед ним дорожку золотом, да по грязи, не захочет замарать рук своих, чтобы подбирать их. Не то что какой-нибудь шематон, изроет целую навозную кучу, чтоб достать червончик, да еще подумает, нельзя ли из навозу сделать золота. И осанкою, и мощью, и духом, всем взял! Стоит на кулачном бою промеж черного народа, а тотчас видно, что боярин! Кажись, ласков и с малым ребенком, а глазами поведет, так поневоле хватаешься за шапку».

— А знаешь ли, Прасковья Михайловна! — прибавил Илья Максимович, — в прошедшем лете не погнушался в гости к моему Гаврюшке. (Тут указал он на Ларивонова старшего брата, остриженного в кружок, в чуйке из зеленого порыжелого бархата с цветочными дорожками, в галстукe, затянутом наподобие ошейника.) Проведал как-то граф, что у него диковинный голубь — турман, что ли, пес их знает — да и приехал с приятелями посмотреть. «Я, — говорит, — не к Илье Максимовичу, а к Гавриле его». Уж и потешил Гаврюшка мой важного гостя! Пенесся голубь воронкой все выше и выше, забил крыльшками, словно двумя серебряными листиками, потом стал в небе пятнышком не более гроша, да и пропал... Навели трубу, и в нее не видать! Думал я, уж не ястреб ли скушал. А голубь вдруг замелькал в высоте поднебесной и стал словно клубочек, разматываться, разматываться, да как падет сверху кувыркoм, примером сажень пятьдесят, и бряк

оземь, прямо к ногам его сиятельства. Все диву дались и захлопали в ладоши. Граф вынул из кошелька штук пять золотых, отдал их этому дураку, да погладил его по голове. Да вот и возгордился Гаврюшка,—прибавил Илья Максимович,—надел ныне бархатную чуйку. Подарил ведь с плеч своих. Кажись, будни.

— Дядя Прасковьи Михайловны, батюшка, Илья Максимович,—сказал человек, остриженный в кружок.

— Чай, своя! Смотри, брат, не заламывайся; знаешь, не люблю мотовства. У меня, Параша, вот какой обычай. Припадет кому из них охота до чего—возьми у меня, сколько угодно, на развод; да только, чтоб впрок шло, и назад долг отдай. Гаврюшка к голубям пристрастился: на, купи, брат, голубей, да чтоб не были дряннь, отборных. Вот и купил, и богат стал от голубей, и долг отдал. Так и мельнику-бандуристу дал на струмент и дурацкую одежду: впрок пошло—молчу и по головке поглаживаю. А зашалит да замолчит, так у меня разом полетит на завод нюхать серу. А кстати, Гаврюшка, из какой заморской стороны добывают много серы?

— Цыцыла,—отвечал Гаврила.

— Ха-ха-ха! Цецилия, говорил я тебе; Цецилия, дурак! Ведь я сам, Параша, учился, неравно спросит по серному заводу матушка-императрица.

И Прасковья Михайловна, чтобы угодить на случай старику, твердила про себя имя заморской страны Цецилии, откуда добывают много серы.

На конце первой недели великого поста Илья Максимович, чувствуя себя гораздо лучше, так что мог бродить по комнатам, и заметив по лицу Прасковьи Михайловны, что в гостях хорошо, а дома лучше, благословил ее на возвратный путь. Собрались уже после обеда. «Смотри, душа моя, ночуй в Люберцах,—говорил он, провожая невестку,—а то в Волчьих Воротах шалят.

Кто ездил по холоденской дороге, тот не мог не заметить на возвышенной равнине, за двадцать верст

с небольшим от Москвы, несколько вправо от дороги, одинокую сосну, вероятно, пережившую целый век. Так как окрестные жители искони хранят к этому дереву особенное благоговение и не запахивают корней его, то оно свободно раздвинуло кругом на несколько саженей свои жилистые сучья, из которых образовалась мохнатая шапка. В тени ее могут укрыться несколько десятков человек. Видно, она стала тяжела старому богатырю, и он кверху несколько согнул под нею свой стан. Это дерево подало Мерзлякову мысль написать известную песню:

Среди долины ровняя на гладкой высоте
Стоит, растет высокий дуб в могучей красоте.

Она была во времена оны в таком же ходу по всей Руси, как «Черная шаль» Пушкина. Только по самоуправству поэтическому сосна превращена в дуб.

Когда с сосной поравнялась кибитка, в которой ехала Прасковья Михайловна с двумя сокровищами — сыном и богатым подарком свекра, уж начинало темнеть. Предметы стали сливаться; только одинокое дерево в своей черной, мохнатой шапке господствовало над снежною равниной. Ветер наигрывал в его сучьях какую-то заунывную мелодию и взметал около него снежный круг. Показалась деревня *Теряевка*. Вся она из четырех, пяти дворов, без улицы. Избы наподобие свиных клетухов, солома на крышах взъерошенная, как волосы у пьяного мужика, кругом поваленные и прорванные плетни, дворы без крыши — все это худо говорило о довольстве и нравственности жителей. Сквозь маленькие окна, заткнутые кое-где грязными тряпицами, заморгали подслеповатые огоньки. Ветер колотил по крышам не утвержденные на них жерди. Одно имя Теряевки звучит недобрый смыслом, и недаром: сюда переселены были из каких-то дальних поместий избранные негодяи; ввиду — деревня Волчьи Ворота, где не один прохожий и проезжий потерял свое добро и свою голову. Сделалась темь, только что чертям за волосы драться. У крайней избы, вросшей в землю, послышался какой-то зловеющий свист. Этому свисту отвечали далеко впереди. Сердце дрогнуло

и сильнее забилося у ямщика, Ларивона и молодой купчихи. Ямщик толкнул слугу и стал с ним перешептываться, слуга взглянул на госпожу свою. Ваня спал крепким сном возле матери. Тут вспомнила Прасковья Михайловна слова свекра и поздно раскаялась, что не послушалась его совета ночевать в Люберцах. Лишиться такой важной суммы, какую она везла, может быть, видеть, как зарежут сына ее, и умереть самой во цвете лет, с такими блестящими надеждами, под ножом разбойника...— подумала она, и вся кровь ее прилила к сердцу.

— Голубчик, Ларивон, худо? — спросила она, — не воротиться ли назад?

— Что назад! — перехватил ямщик. — До Островцов рукой подать, а назад до первой деревни добрых пять верст. Не ночевать же в разбойничьей Теряевке!

— Сотворите крестное знамение, барыня, — сказал Ларивон, — Бог милостив. У меня мушкетон, а в случае нужды на подмогу топор.

— Дай мне топор, — сказала она.

— Пожалуй, да что вы с ним сделаете?

— Что смогу.

Она приняла тяжелое орудие, но не могла сдержать его и положила возле себя. Ларивон, осмотрев мушкетон, посыпал пороху на полку из патрона, который вынул из-за пазухи.

Ямщик поехал шагом... Как будто в лад общему настроению, и колокольчик робко зазвенел.

— Пошел! — закричала молодая женщина, — ты уж с ними не заодно ль? Первому тебе этот топор.

— Не мешай, барыня, — отвечал сердито ямщик, выхватил из кибитки топор и положил его в свое сиденье, — не твое дело. Разбуди-ка лучше дитя, чтобы не испугался.

Потом снял шапку, перекрестился и промолвил:

— С крестом худых дел не делают.

Мать, невольно повинувшись ямщику, разбудила ребенка.

— А что, приехали? — спросил Ваня, встрепенувшись и протирая глаза.

— Нет еще, а близко... услышишь, может, крик... не пугайся... это ямщик хочет вперегонку с знакомым ямщиком.

— Где ж, мама?

— Впереди, голубчик, тебе не видать за лошадьми.

Продолжали ехать шагом... колокольчик нет-нет звякнет, да и застонет... Уж чернел мост в овраге; на конце его что-то шевелилось... За мостом — горка, далее мрачный лес; в него надо было въезжать через какие-то ворота: их образовали встретившиеся с двух сторон ветви нескольких вековых сосен. Мать левою рукою прижала к себе сына, правую сотворила опять крестное знамение.

— Теперь держитесь крепко,— сказал ямщик и гаркнул изо всей мочи: — Эй! соколики! выручайте, грабят!..

В голосе его было что-то дикое, отчаянное; казалось, лес вздрогнул от этого крика и повторил его в бесчисленных перекатах. Лошади, и без принуждения привыкшие выносить в гору так, что не было еще человека, который мог бы удержать их на подобных выносах, рванулись и помчались, будто бешеные. Что-то крякнуло на мосту, полетели куски жерди, которою он был загорожен, кто-то застонал... порвалась бранная речь, перехваченная ветром... Все эти звуки следовали один за другим по мгновениям ока так, что чуткое ухо сидевших в кибитке, ловившее малейший признак опасности, могло смутно различить их. Кибитка взлетела на горку и понеслась будто по воздуху. Между тем что-то ударило в волчок кибитки и раздробило его верхушку, послышался ружейный выстрел... Ваня закричал и прижался к матери. Разъяренных коней не могли удержать ближе Островцов.

В деревне отрадно забежали со всех сторон огоньки в фонарях и обступили кибитку; послышались ласковые голоса, приглашавшие проезжих переночевать и обольщавшие ямщика и дешевым кормом, и крупчатыми папушниками с липовым медом. Он угрюмо молчал и въехал в знакомый постоялый двор. Пар от лошадей застлал двор.

Кибитка подъехала к чистому крылечку, устланному соломой. На нем старушка с добродушным лицом встретила приезжих и осветила им дорогу фонарем. Горенка, в которую они вошли, налитая смоляным запахом от стен только перелетовавших, была чистая и теплая; свет от лампы, теплившейся перед иконами, обдал их каким-то благодатным чувством. Первым делом Прасковьи Михайловны было броситься на колени и со слезами благодарить Господа за спасение ее с сыном; Ваня сделал то же по ее приказанию. Она была бледна, наскоро оправилась и за самоваром почти забыла только что минувшую беду.

Вошел ямщик, сердитый, угрюмый, почесал голову и с досадой бросил свою шапку на залавок.

— Ну, барыня,— сказал он,— крепко обидела ты меня... поусумнилась во мне...

— Прости мне, голубчик мой,— перебила Прасковья Михайловна,— не в своем разуме была... сам посуди, возле меня дитя... один только и есть... ведь и у тебя, чай, дети.

И слезы помutilи глаза молодой женщины.

— Кабы не этот мальчуган, не бессудь — закаялся бы во веки веков возить тебя по дорогам. Ну, да ты добрая барыня (тут ямщик махнул рукой); на тебя и зла нет!.. А все-таки лошадок полечить надо, да и мне не худо отвезть душу.

Прасковья Михайловна вынула из кошелька, висевшего у ней на груди, два империала из Ваниных денег и отдала ямщику. Мальчик знал, что эти деньги ему подарены, и весело смотрел, как отдавали их.

— А что лошадки, не больно ли ушиблись? — спросила она.

— Благо разбойничья жердь пришла в упор хомутам... царяпины есть на всех, одна похрамывает, да Бог не без милости!.. А коли зачехнут, знаю, не обидишь меня. Пшеницыны по Холодне первые люди, а ты краля холодненская.

— Вот тебе Господь свидетель (и она указала на образ), если случится беда какая, приходи ко мне прямо... я поставлю тебе тройку таких же лихих лоша-

дей. А для чего вырвал ты у меня топор? — прибавила Прасковья Михайловна.

— Неравно померещилась бы тебе невесть какая напасть... у страха глаза велики, бес лукав... да пришла бы тебе блажь хватить меня топором. Убить бы не убила... где тебе!.. а шкуру бы попортила. Вот тут уж разбойнички сделали бы свое дело.

Расхохоталась молодая женщина, и мир был заключен.

В Островцах она давала как-то в долг богатому мужику на свадьбу двадцать пять рублей. Обещался отдать через неделю; божился всеми угодниками, клялся и детьми и утробой своей. Прошло месяца два. Теперь был случай получить деньги. Но много труда и ходьбы взад и вперед стоило Ларивону, чтобы вытянуть эти деньги. Да и тут должник, отдавая их Прасковье Михайловне, вместо благодарности, почесал себе голову и примолвил: «А что ж, барыня? надо бы на водку».

Приехали в Холодную, в старый, бедный домик. Казалось, после поездки в Москву он сделался еще древнее и сумрачнее, еще более наросло на него моху, который выступил из-под снега, уже много сбежавшего. Но вскоре возвратился из своих странствований Максим Ильич. Свидание молодых супругов было самое нежное. Прасковья Михайловна рассказала мужу, с каким успехом съездила она в Москву и какому страху подвергалась на возвратном пути в Волчьих Воротах. В свою очередь, муж рассказал ей, как за несколько лет тому назад, в плавание его с караваном судов по Волге, в Кос — ой губернии, напала на него шайка разбойников, а атаманом у них был князь К — ий. Этот князь имел дом, в виде замка с башнями, на берегу реки, и занимался с своею дворнею грабежом проходящих судов. Молодой Пшеницын отделался от него страхом и несколькими сотнями рублей*.

Место под новый дом тотчас было куплено, спешно началась заготовка под него материалов. Оно занима-

* Сам внук князя К — аго, молодой человек, очень образованный, подтвердил мне все это в 1836 году.

ло почти целый квартал и выходило на три улицы. Было где разгуляться капиталам Ильи Максимовича! Зажигала работа, и в марте потянулись к пустырю целые обозы с лесом, камнем и кирпичом; застучали сотни топоров, ломы начали шевелить остов одряхлевшего, давно не обитаемого дома; с писком и криком высыпали из него стаи встревоженных нетопырей и галок. Эта постройка составила важную эпоху в городе, едва ли не равную с построением кремля. Толпы народа ходили глазеть на нее, как на необыкновенное зрелище. Каждый толковал о ней по-своему; домостроительным фантазиям этих прожектеров не было конца. Иной возводил здание едва ли не с Ивана Великого, другой вытягивал его сплошь на все три улица. С этого времени жители еще ниже кланялись семейству Пшеницыных. Но добрый Максим Ильич не переменялся к своим согражданам: был так же ласков и общителен с ними, как и прежде всегда. Только, не знаю почему, стал на *ты* с властями, которые с ним были на *ты*, хотя и прежде не унижался перед ними, но не выходил из церемониального *вы*. Странно, и власти не обижались этой переменной, водворявшею равенство между дворянином и купцом.

Между тем родители Вани вспомнили, что пора ему приняться за учение. Приходский священник взялся за это дело, и вскоре обрадовал отца и мать, что ученик прошел без наказания букварь в один месяц, когда он сам в детстве употреблял на это целый год с неоднократными побуждениями лозы.

В Холодне, кроме тревожной постройки дома Пшеницыных, ничто не изменяло мертвой тишины города. По-прежнему нарушалась эта тишина мерными ударами валька по мокрому белью и гоготанием гусей на речке; по-прежнему били на бойнях тысячи длиннорогих волов, солили мясо, топили сало, выделявали кожи и отправляли все это в Англию; по-прежнему, в базарные дни, среди атмосферы, пропитанной сильным запахом дегтя, скрипели на рынках сотни возов с сельскими продуктами и изделиями, и меж ними сновали, обнимались и дрались пьяные мужики. По воскресным

дням толпы отчаливали к городскому кладбищу, чтобы полюбоваться на земле покойников очень живыми кулачными боями. Пузатые купцы, как и прежде, после чаепития упражнялись в своих торговых делах, в полдень ели редьку, хлебали деревянными или оловянными ложками щи, на которых плавало по вершку сала, и уписывали гречневую кашу пополам с маслом. После обеда, вместо кейфа, беседовали немного с высшими силами, т. е. пускали к небу из воронки рта струи воздуха, потом погружались в сон праведных. Выбравшись из-под тулупа и с лона трехэтажных перин, а иногда с войлока на огненной лежанке, будто из банного пара, в несколько приемов осушали по жбану пива, только что принесенного со льду; опять кейфовали, немного погодя принимались за самовар в бочонок, потом за ужин с редькой, щами и кашей, и опять утопали в лоне трехэтажных перин. Как видите, жизнь патриархальная! Немногие избранники отступали от нее. Книжки в доме ни одной, разве какой-нибудь отщепенец-сынок, от которого родители не ожидали проку, тайком от них, где-нибудь на сеннике, теребил по складам замасленный песенник или сказки про Илью Муромца и Бову Королевича. Ныне уж не то: мотишка-сынок, тайком от отца, читает «Вечного жиды», курит дорогие сигары и пьет напропалую шампанское.

Прекрасный пол в Холодне имел тоже свои умиленные забавы. Купчихи езжали друг к другу в гости. Посещения эти начинались киванием головы, как у глиняных кошечек, когда их раскачивают, и прикладыванием уст к устам. Затем усаживались чинно, словно немые гости на наших театральных подмостках; следовали угощения на двадцати очередных тарелках с вареньями, пастилою и орехами разных пород. При этом неминуемо соблюдалась китайская церемония бесчисленных отказов и неотступного потчивания с поклонами и просьбою *понудиться*. Кукольная беседа нарушалась только пощелкиванием орешков и оканчивалась такими же китайскими церемониями, с прошением впредь жаловать и не *бессудить* на угощение.

И возвращались гости домой, довольные, что видели новые лица, подышали на улице свежим воздухом и свободой!

Надо оговорить, к чести граждан, что чистота нравов, несмотря на грубую оболочку, крепко соблюдалась между ними. Хлебосольством искони славился город. Когда стояли в нем полки, мундиры у солдат, через несколько месяцев, делались узки, и считалось обидой для зажиточного хозяина, если постоялец его офицер держал свой чай и свой стол.

В городе ни одного трактира. Они появились только незадолго до двенадцатого года. Да и то купеческие детки, даже сначала мещанские, ходили в них тайком, перелезая через заборы и пробираясь задними лестницами, под страхом телесного наказания или проклятия отцовского. С того времени ни одна отрасль промышленности не сделала у нас такого шибкого успеха, и вы теперь не только в Холодне, но и по дороге к ней от Москвы, почти в каждой деревне, найдете дом под вывескою елки, трактир и харчевню.

Случались, однако ж, в городе важные происшествия, возмущавшие спокойствие целого населения. То появлялся оборотень, который по ночам бегал в виде огромной свиньи, ранил и обдирал клыками прохожих; то судья в нетрезвом виде въезжал верхом на лошади и без приключений съезжал по лесам строившегося двухэтажного дома; то зарезывался казначей, обворовавший казначейство. Полицейские личности в городе были то смирные, то сердитые; большей частью их отличали не по уму и честности, а по степени огня в крови; но, во всяком случае, они приходились по городу, как домовый, по народному поверью, всегда люб во всяком жилье, хотя бы и проказничал над своими жильцами. Администрация и суд творились в духе патриархальном, без большого поощрения бумажной фабрикации. Дела, по обыкновению, делались через секретарей. Подьячие довольствовались малым и брали больше за исполнение, нежели за обещания, жили умеренно, экипажей и лошадей не знавали, жен и любимиц своих не одевали, как богатых барынь, и не прикаса-

лись устами к струям шипучей ипокрены, хотя и можно было дешево черпать из нее на Арбате под вывеской: *здесь делают самое лучшее шампанское*. В Холодне не сказали бы того, что я слышал лет десять тому назад в одном уездном городе от продавца вин, у которого спрашивал шампанского: «А что, батюшка, будем мы делать, когда вдова Клико помрет?» Пили, правда, много, очень много, но с патриотизмом— все свое доморощенное: целебные настойки под именами великих россиян, обессмертивших себя сочинением этих напитков наравне с изобретателями железных дорог и электрических телеграфов, и наливки разных цветов по теням ягод, начиная от янтарного до темно-фиолетового.

Были однако ж в городе замечательные личности, и мы обязаны посвятить им особенную тетрадь.

Весна дохнула на землю своим теплом и благоуханием, накинута зеленую сетку на рощи, ковры на луга, заговорила лепетом своих ручьев и шумною речью своих водопадов, запела песнями любви и свободы своих крылатых гостей. Пришло и лето. Ваня, в сопровождении Ларивона, посетил прежние любимые места свои; по-прежнему отзывалось в его сердце сердечное биение природы. Но не так часто уж гулял он: Ваня любил *книгу*.

Между тем дом Пшеницына рос не по дням, а по часам. Из ветхого каменного здания между тем сколотили домик, на который надстроили деревянный этаж Верхний должен был служить для временного жития самих владельцев, нижний назначался для служб. Флигель этот с выведенным уже вчерне большим каменным двухэтажным домом, соединили галереей на арке. В нижнем этаже этого дома устроили с одной стороны две огромные кладовые, а с другой— две большие комнаты: одну для залы, а другую для Вани. Пшеницыны хотели переезжать на новое жилище, когда получили с нарочным известие, что Илья Максимович умирает.

Застали еще старика при последних минутах. Он успел только благословить сыновей своих, невесток

и внучек. Похороны были великолепные; два дня таскали из кладовой мешки с медной монетой, которую раздавали нищим, запрудившим улицу. Раздел между сыновьями совершился полюбовно, как сделали бы его промеж себя Орест и Пилад. Что хотелось одному, того не желал другой. Женщину, бывшую при старике и не носившую названия своей должности, выпроводили со двора без уважения, но и без обиды, со всем ее скарбом.

Потянулся в Холодную обоз с сундуками, из которых несколько было с «Божьим милосердием», как называет русский человек иконы — самое дорогое свое достояние; другие — с разным движимым имуществом. Все это едва могло уместиться в двух кладовых. И сами владельцы этого богатства, тотчас по приезде в Холодную, переселились на новое жилище.

ТЕТРАДЬ II

ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЕ ГОРОДСКИЕ ЛИЧНОСТИ

Характеристику лиц, современных Пшеницыным, Максиму Ильичу и его сыну, начнем с генерации городничих. Не знаю почему, их типы скорее схватываются.

Ее открывает Язон, или, как его называли в городе, Насон Моисеевич Моисеенко, поручик в отставке. Ему близ шестидесяти. Маленький, худенький, с лицом наподобие высушенного яблока, с острым носиком, в рыжем паричке, завитом, как руно крымского б́арашка. Букли и коса, все это маленькое, дорисовывают его портрет. Голос тоненький, пискливый. С характером уступчивым, робким, он боялся граждан, а не граждане его боялись. Принесут ему сахару полголовки, чайку четвертку, нанки на исподнее, полотенчико с крестьянскими кружевами, сапожную щетку — ничем не гнушается, все принимает с благодарностью. Сам ни на что не напрашивается. Разве придет в лавку, да полюбуется иной вещицей, повертит ее не раз в руках своих и скажет: «Хорошая вещица!.. Чай, дорога?..» (А вещь стоит всего два гривенника.) — «Для вас, Насон Моисеич (его уж и не величали благородием), для вас плевое дело. Позвольте завернуть и уложить на ваши дрожки» (так граждане для приличия называли *войлочки*, род роспусков, с войлоком на них)*. И принимает он эти приношения и подобные, рассыпаясь в благодарениях и оговорках: «Да зачем это? да к чему

* Такие *войлочки* были в употреблении у московских извозчиков, если не ошибаюсь, до 12-го года. Их заменили *калиберные* дрожки.

это?.. я и на грош вам не заслужил. Неравно узнает начальство... лишусь места... отдадут под суд».

Иногда, в крайности, очертя голову, отважится на сильнейший куш. Была не была! А после и трусит. Ночь не спит, мучительно ворочается на постели, отмахивается от ужасной мысли, как будто от неотвязчивых мух, да не раз спрашивает кухарку, не слышать ли ревизорского колокольчика, словно у ревизора колокольчик с особенным звоном. Готов с передачей отдать, что получил. Не дождется утреннего солнышка. Вот и солнце заглянуло к нему в окно. Посылает рассыльного за таким-то, дескать крайняя нужда. Приходит такой-то, и умоляет он его взять назад. «Батюшка, будь благодетель, ради Бога, развяжи душу. Всю ночь не спал». И возьмет приноситель, посмеется да плюнет в сених и отнесет куш письмоводителю. А потом, видит Насон Моисеич, ревизор не едет, и жалко ему станет приношения. Чего бы, думает, не сделал на него! Куш был экстренный — не дождешься скоро такого.

И крепко призадумается Насон Моисеич, и грустно ему станет, что не взял хорошего куша.

По части порядка и чистоты в городе не требует, не грозит, а умоляет. Посреди улицы валяется по нескольку дней лошадиная падаль и заражает целый квартал, пока воронья плотоядные не истребят ее и ветры буйные не иссушат. Грязь на торгу по колена, дети-нищие тонут в ней (говорят, были две жертвы). Придут благодатные летние деньки с припеком солнечным, когда изжаренная трава хрустит под ногами и на торгу сухохонько. «Вот видите,— умиленно говорит он лавочникам,— сам Бог высушил, инда пыль глаза ест!» — «Простой, богобоязливый человек!» — отзывались об нем граждане, и, верно, соорудили бы ему памятник, если б на памятник не потребовалось денег, а можно было бы соорудить его из грязи и костей лошадиных.

Суд творил он коротко и ясно. «Ты, братенько, прав,— говорил он одному,— потому что тебя обидели, а ты прав,— говорил он другому,— потому что он тебя выбрал. Следовательно, вы оба неправы. Помиритесь-ка лучше, да поцелуйтесь». Помиряются, поцелуются тяжущиеся, да выйдут за ворота на широту под-

небесную, выбранят городничего на чем свет стоит, затеют опять ссору, вцепятся друг другу в волосы, клочка два-три полетят у каждого; кто кого сможет, тот и прав останется. А иногда и в самом деле помиряются, да и запьют мир добрым крючком пенного под веткой оливы, в виде ельника, прославляя городничего.

Случалось иногда, что Насон Моисеич не на шутку расхочется, только не сам собой: на подвиги раскачивал его письмоводитель. Раз как-то ссора двух граждан оканчивалась подобною мировою сделкой. Но вот письмоводитель по секрету зовет Насона Моисеича в ближнюю комнату. «Что это вы, ваше благородие, настоящая мокрая курица? И так вами в городе, словно тряпичей, потирают. Этак с вами и служить нельзя». И вот Насон Моисеич, прищипленный такой речью, встает на дыбы, входит в азарт и, сдернув на одно ухо свой рыжий паричок в завитках, бросает гром и молнию в камере судилища. Прикажет ответчика наказать за то, что виноват, а правого, чтобы вперед не ходил жаловаться. «У меня в городе все тихо, и муха не смеет ворчать. Ни гу-гу! Настоящее благословение Божие! — говорил он, гневно ходя вокруг стола. — А тут какой-нибудь вольнодумец, беспардонный, вздумает мутить да ябедничать, да в доносы ходить! Пожалуй себе, и прав, и очень прав, да зачем нарушать спокойствие граждан? Не тобой город начало имеет, не тобою и стоит. Пускай стоит, как стоял!» Почтальон, с упоением сердечным подслушивая у дверей, ждет своего сыра. Позовет к себе тяжущихся и накажет только того, который не смог заплатить выкупные. Вследствие такого премудрого суда и дел за нумерами в полиции очень мало оказывалось: все делалось больше на словах и на палках. К чести Насона Моисеича надо оговорить, что последнее делопроизводство он употреблял очень редко, и то когда письмоводитель раскачает желчь со дна этого чистого сосуда.

Наконец приехал в город, десять лет с таким страхом ожидаемый, начальник-ревизор. Ужасные дни! они отняли у городничего несколько лет жизни. Ревизор был человек добрый, приятный; в бумагах много нерылся, за очисткой нумеров не гонялся. Узнал, что

городничий человек непритязательный, с живого и мертвого не драл, жалоб на него не имелось, и остался всем доволен и благодарил. А все-таки, пока его особа пребывала в городе, Насон Моисеич чувствовал себя неловко, как будто и чужой мундир надел, и рыжий паричок скоблит его череп. То словно его крапивой посекут, то в ледяную ванну опустят. Надо было видеть, с какой дипломатической тонкостью ехал он с начальником на дрожках, которые выпросил у предводителя! Балансер, да и только!.. Угораздило его сидеть на корточках, в таком виде, как громовая стрела изображается на картинках, зигзагом, одной рукой держится за ободок козел, другой, как заяц подстреленную лапку, покачивает в воздухе, а носками сапогов упирается в подножки, не смея ни одной частью своей персоны прикоснуться к подушке. Еще бы! на этой подушке восседит важная особа, которой одно мание бровей, как у громовержца Юпитера, может смять его в прах и оставить без куска хлеба. «Видно, Господь умудрил его сидеть на дрожках не сидя за его добрую душу!» — говорил голова, ехавший за ними в своей линеечке.

Все, казалось, шло хорошо. Но ревизор пожелал видеть временную арестантскую при полиции. Вот ведет Насон Моисеич, немного окурженный, великую персону к сенцам и останавливается у дверей. «Извольте головку наклонить, — говорит он, — не стукнуться бы лобиком о косяк». — Преддверие тюрьмы не представляет ничего страшного. Вместо орудий казни в глаза бросаются одни любезные идилические предметы: ненакрытое ведро с водой и плавающий на ней ковшик с изумрудными букашками, стопочки две-три дров, небрежно развалившиеся, онучки сторожа, растянутые для просушки против сквозного ветра, жиденькая метла, которую, как видно, очень обижали, вытаскивая из нее прутья для чистки платья или на другое употребление. Ключ к месту заключения у самого Насона Моисеича; он держит его в мундире, у сердца своего, как и подобает. Вот прикладывается ключом к огромному замку, но еще раз умильно оборачивается на своего начальника и предостерегает его, чтоб он

был невзыскателен, арестанты-де грубый и невоспитанный народ. «Сколько у вас здесь арестантов?» — спрашивает ревизор. «Только три человека, ваше (и прочее), — отвечает градоначальник, — здесь не только злодеяния, и моральные проступки очень редки. Мораль между жителями примерная!» Надо заметить, что на французских словечках он очень упирал: дескать, знай наших.

Входят в арестантскую. Это большая изба; половине ее занимает русская печь, сколоченная из глины. Ревизора обдает атмосфера, от которой он напрасно старается освободиться, то отдуваясь, то отплеываясь, то зажимая нос. В избе никого не видно. Насон Моисеич со страхом осматривает все кругом и тоненьким, пискливым голосом окликает арестантов: «Арестанты! арестанты! где вы?» — Нет ответа. Он ищет глазами, носом, всем своим существом, заглядывает во все углы, под нарами, на печке, в подпечи, в печурках; взывает опять жалобным, отчаянным голосом, как будто зовет свою Эвридику: «Арестанты! где вы?» — Нет арестантов. Ревизор помирает со смеху. В это время появляется письмоводитель, чтобы развязать узел этой ужасной драмы. На носу его, толстом и красном, торчат нахально два стеклышка в медной заржавленной оправе; голова его, прилично наклоненная, дрожит, руки также трясутся, но не от страха... Нет, это чувство еще никогда не колебало такой души, привыкшей к ежедневным подвигам. С приходом его вносится густая струя воздуха, напитанного вином и луком. Отрывистым, но твердым голосом, как человек самостоятельный, знающий свое дело, он объявляет, что еще рано поутру выпустил арестантов, потому что на деле они оказывались невинными. Как сделал этот фокус ловкий письмоводитель, когда ключи были у городничего, это осталось покрыто густой завесой тайны. Снисходительный к слабостям человеческим, ревизор и не взял на себя труда ее исследовать. Кончилась вся история одним смехом главной персоны. Но на городничего она так подействовала, что он, по отъезде ревизора, слег в постель и не вставал с нее боле.

Во время болезни все бредил арестантами и взывал

жалобным голосом: «Арестанты! где вы?» Перед смертью пришел в рассудок, исполнил свои христианские обязанности, попросил у всех прощения, в чем кого обидел, не намекнул даже письмоводителю, что умирает от его руки, и завещал похоронить себя в рыжем парике, чтобы в гробу ему не было стыдно.

За гробом шло много народу. За ним следовал письмоводитель, держа шпагу в руках, печальный понуря голову, как бывало в рыцарские времена верный конь, носивший своего господина в боях и на турнирах, следовал за носилками его, чтобы положить свои кости в одной с ним могиле. Купечество сделало богатые поминки, стоившие больших денег; ели и пили много в память своего бывшего благодетеля. Но когда (по приглашению Максима Ильича) приступили было к подписке на уплату его долгов, которых оказалось рублей на шестьдесят по счетам (может, и с некоторой добросовестной приписочкой на умершего), все отозвались, что и так много потратились на вина и прочее угощение для покойника. Вследствие чего Пшеницын один взял уплатить долги и содержать старушку кухарку, крепостную его женщину, оставшуюся без крова и куска хлеба. Кухарка, как увидим, наделала много хлопот своему благодетелю.

Сделали верную опись оказавшемуся после покойника имению; присяжные ценовщики оценили его в 36 рублей 27 и $\frac{3}{4}$ копеек. Но как наследников налицо не оказалось, то и приступили к вызову посредством публикации, не означая цены имению. Между тем нанята каморка для хранения вещей и отдана лошадь в полицию, чтобы содержать ее. Войлочки взял себе на память письмоводитель. Через год наследники отыскались. Но когда они потребовали имение или деньги по выручке за него с аукционного торга, то оказалось, что с них следует довыискать, сверх вырученной суммы, еще рублей двадцать пять и столько-то копеек с дробями за наем комнаты для хранения вещей и за содержание лошади. Дело об этом тянулось лет десять и на него извещено бумаги на сумму, которая превышала самое взыскание. Кухарку, попавшую тоже в опись, за старостью лет никто не согласился взять.

На безыменной земляной насыпи, под которой на-

согда почил Насон Моисеич, поставлен деревянный крест усердием кухарки, и ею же творились по нем поминки. Но и те скоро замолкли. Только неизменные с веками солнышко и месяц попеременно, да звезды рассыпные приходят и поныне голубить своими лучами могилку его, как и прочих братьев, почивших на общей усыпальне; только ветры непогодные прилетают на нее с своими заунывными песнями и гуляют покойников в их смертной колыбели. Еще чадолюбивая церковь не перестает ежегодно поминать всех их в общей своей молитве. Бог знает, и могилка-то Насона Моисеича *его* ли нынче?.. Может быть, два-три новые вечные жильца пришли занять ее и потеснить в ней кости бывшего начальника целого города.

Не знаю, какой дурной человек выучил Ваню разыгрывать роль городничего, отыскивающего своих арестантов. Все помирали со смеху, когда мальчик, щуря глаза и ныряя по сторонам, взывал тоненьким, пискливым голосом: «Арестанты! арестанты! где вы?» Но Ларивон скоро прекратил эту комедию, сказав Ване, что стыдно и грешно передразнивать покойника.

После Насона Моисеича принял бразды правления какой-то коллежский секретарь. Он был из числа тех господ, которые носят романическое имя и половину фамилии своего отца. Назовем его просто Модестом Эразмовичем. Это был человек порядочно образованный по-тогдашнему, писал отличным почерком по-французски и даже сочинял русские стихи. Презентабельная наружность говорила в его пользу. Он всегда был одет щегольски. Так и сияло от него перстнями, золотом массивных цепей с разными побрякушками и дорогими булавками в виде пылающего сердца, колчана со стрелами и голубя, несущего во рту письмо. Особенно имел он искусство, даруемое только некоторым избранникам, поражать взоры ослепительным блеском солитера на указательном пальце.

Разница в управлении городом между начальниками была неизмеримая. Предшественник никогда ни на шаг не отлучался из города под опасением, что его расстреляют, если он нарушит это правило; а преемник почти никогда не бывал в городе. Первый трясся на

войлочках, окутав ноги тряпицей, а второй спокойно ездил на дрожках, ничем не покрывая глянцевиных своих сапог. Один имел письмоводителем низенького старичка, с носом в виде кровяной колбасы, на котором нахально торчали два стеклышка вроде очков, а другой привез своего письмоводителя, высокого, средних лет, с орлиным носом, у которого кончик был очень бел, как бы отмороженный, но заметьте — с носом, не терпящим никакого ига. У одного письмоводитель пил горькую и закусывал луком, у другого пил сладкую и замаривал водочный запах гвоздикой и амбре. Секретарь Насона Моисеевича делал только *свои* дела, а секретарь Модеста Эразмовича — домашние и служебные дела свои и своего начальника с неутомимым рвением и преданностью, отчего расходы просителей и вообще граждан получили быстрое развитие и преуспеяние. Сначала жители ощутили эту разницу, немного втайне пороптали, но, едва прошло несколько недель, попривыкли к новому ходу дел, как привыкает ко всему человек, сумевший ужиться и между льдами полярными, и под зноем тропиков. Впрочем, как скоро новый письмоводитель ознакомился с жителями, а еще более вник глубоко в статистику их состояний, он очень уравниательно, по правилу товарищества, *обложил* каждого, не обходя и суммы нищего, а купцы *наложили* маленькие проценты на товары и съестные припасы. Вскоре граждане обучились считать городничего и его штат какой-то законной повинностью. Нового письмоводителя начали также провозглашать благодетелем человечества и говорили при этом: «Вот и Насон Моисеич, дай Бог ему царствие небесное! уж не добрая ли была душа... а все-таки, бывало, гнет на закон. Все упрашивал, чтобы купцы не скупали ничего за заставами. Это, говорит, какое-то манноболе! Видно, по-малороссийски или по-чухонски, прости Господи! Не равно, говорит, приедет ревизор, меня и вас всех упечет под суд. Толку что в нем, что честный, — ни себе, ни людям! А этот — молодец, никого не боится, любит взять, да и нашему брату любит дать поживу.

Новый благовоспитанный городничий был очень далек от всех этих проделок. Попробуй принести, тур-

нет, что и своих не узнаешь. Он сердито на словах гнал взяточничество и даже написал оду на лихоимство, где представил его во образе какого-то ужасного чудовища, пожирающего собственных детей. А вздумай кто жаловаться на письмоводителя, погнет так, что ступеньки все на лестнице его пересчитаешь. Не пожалеет и солитера!

Так жители забыли добрейшего Насона Моисеича и обращались к Модесту Эразмовичу только с высокопоздравительными поздравлениями, в том числе и в день его ангела.

Как выше сказано, новый городничий большую часть дня, иногда и ночи, проводил вне города. Почти каждый день ездил он к какой-то графине, жившей врознь с мужем, в богатом поместье, за несколько верст от Холодни. Ее протекции обязан он был своим новым местом, и зато в благодарность исполнял при ней должность домашнего секретаря. А так как графиня занималась сочинением французских романов, довольно многотомных, которых рукописи любила иметь в нескольких экземплярах, то и записывался он до изнеможения сил. В нынешнее время графиня взяла бы в секретари француза, но тогда в России иностранцы были редки, особенно трудно было их найти для должности домашнего секретаря. Все были старые роялисты!.. Собираясь к графине, чтобы явиться к ней в приятном виде, он часа два тщательно занимался туалетом своим: чистил себе ногти, артистически обдeldывал свои булки, помадил губы, пудрил лицо, надев свой солитер, долго любовался им и т. п.

Сверх того, Модест Эразмович страстно любил охоту с ружьем. Стрелял он так метко, что попадал в серебряный пяточок. Письмоводитель, которого он определил в эту должность за то, что несколько лет таскался с ним по болотам и носил застреленную дичь, хотя и славился своей мастерской стрельбой, попадал только в медный пятак. Может быть, как политическое лицо, он немного кривил ружьем и душой, чтобы не помрачить славы своего начальника. Новый городничий посвящал также несколько часов сочинению стихов. Эти стихи, большей частью эротические или любовные, как их называли, ходили между властями по городу и даже губер-

нии. Немудрено, что многие из песен дошли до нас в песенниках того времени и те, которые считаются лучшими в этих сборниках, принадлежат, конечно, тогдашнему городничему. С дамами мог бы, но боялся быть очень любезным, потому что люди, при нем в услужении находившиеся, принадлежали графине.

Так как он обретался более в уезде, чем в городе, то и прозвали его уездным городничим. В этом названии, как и во многих других, довольно метких, был виновен добрейший Максим Ильич Пшеницын, который, несмотря на свой кроткий, миротворный характер, любил почесать язычок на счет других. Это была врожденная слабость, за которую он не раз дорого платился и однажды едва не подпал большой беде.

Уездный городничий ласкал Ваню и имел отчасти влияние на его воспитание. Модест Эразмович научил его первым правилам стихотворства и декламации. Ваня с одушевлением и верно читал его стихи перед многочисленной публикой и даже раз произнес русский акrostих, заранее переведенный на французский язык, перед поэтической графиней, которой городничий представил его как ранний талант. Ваня декламировал стихи «с толком, с чувством, с расстановкой», и графиня наградила ранний талант поцелуем и французским молитвенником в роскошном переплете. *«Будь добродетел, имей нрав чист и благочест»**,— сказала Ване русская графиня и дала городничему поцеловать свою ручку в знак благодарности, что привез такого милого цитатора стихов. Надо сказать, что эта высоконравственная женщина, покинувшая своего мужа за его беспутную жизнь, когда ей было гораздо за сорок лет, одевалась иногда в подражание островитянкам Тихого океана — в каком-то легком, полувоздушном пеньюаре, обрисовывавшем очень хорошо ее роскошные формы.

Раз зашла откуда-то в Холодную цыганка-гадаль-

* В десятых годах знал я одну русскую графиню, которая так худо по-русски говорила, что даже и другие аристократки над ней смеялись.

щица и предсказала, что городничие тамошние не будут долго сидеть на месте. Как сказала, так и сделалось. Через два, три года Модест Эразмович очень захирел, вышел в отставку и отправился с графиней поправлять свое здоровье на какие-то воды, изумительно восстанавлившие силы.

Преемником его был титулярный советник Герасим Сазоныч Поскребкин, собою молодец, и ростом и здоровьем взял. Грудь широкая, вымя хоть сейчас под ярмо, глаза как у рыси, спокойствие и твердость невозмутимые во всех трудных обстоятельствах жизни. Он был женат на приемыше какой-то знатной особы, под покровительством которой и состоял. О! этот далеко обогнал своих предшественников. Надо сказать, что он, сколько известно было, служил прежде каким-то полицейским чиновником по пожарной части и потерял это место за неблагоприятные дела, потом проходил служение в каком-то месте вроде экзекуторского.

Здесь обнаружил он широкие способности к экономии. Так, отпуская на канцелярию свечи, сберегал из них некоторое количество не только для своего домашнего обихода, на что начальство посмотрело бы сквозь пальцы, но и для дешевого распространения сального света по городу. Это бы еще ничего. Слабость к сальным свечам!.. Вот, например, что может быть гаже зеленого фонарного масла? Что ж делать, я имею слабость к зеленому фонарному маслу. Зеленое масло, особенно когда оно горит *à petit jour*, производит на меня какое-то магическое действие. Вы не поверите? Право, не шушу. Впрочем, не я один с таким странным вкусом: в каждом порядочном городе вы найдете мне товарища гебра, поклонника фонарного огня, горящего от зеленого масла. Затем Поскребкин имел слабость к бумаге. Отпуская бумагу канцелярским служителям, удерживал он утонченным хозяйственным образом из каждой дести по несколько листов, а из каждой стопы по несколько дестей. Таким образом, в известный период времени накапливалось достаточное количество стоп, которые, заведомо краденые, покупали у него мелкие торговцы. Для избежания чего начальство вынуждено было накладывать на бумагу штемпель того места, ко-

тому принадлежала бумага. С дровами опять экономия! Из каждой двух покупаемых сажень выводил он три, а когда недоставало дров, рубил на отопление и заборы.

Поскребкин был человек ловкий, умел угодить. То на паперти выхватит коверчик из рук выездного за женой своего начальника: она к церкви, а уж под ноги ее Герасим Сазоныч стелет коверчик, и награжден улыбкой; то при выходе ее из театра он первый прокричит: карета ваша подана! Тут приветливое кивание, а он успеет хоть подол салопа ее посадить в карету, да еще дружески раскланяться с выездным, которого когда-то употчивал в трактире. «Какой прекрасный, услужливый человек этот Поскребкин!» — говорила жена начальника своему мужу. И швейцар первой особы в городе жмет «со своим почтением» щедрю руку ловкого человека. Случится ли пожар, он тут, хотя и не его дело, и первый в глазах начальника зажмет мощной рукой то место пожарной кишки, которое прорвалось. На другой день начальник видит его с обожженным ухом или с подвязанной рукой. Он хвастался, что, когда был на службе в какой-то глухой губернии, никто лучше его не умел управлять кишкой пожарной трубы. Особенно мастер был на это дело, в угождение какого-то главного начальника, который, катаясь с ледяных гор, приказывал опрыскивать из трубы каждого, кто осмеливался смотреть на его забавы.

Но, увы! несмотря на все эти угождения, начальник, увидав, что хозяйственные таланты Поскребкина все более и более совершенствуются и принимают ужасающие размеры, сначала говорил, что постыдно так воровать. Потом, видя, что эти учтивые намеки не помогают, сказал ему наедине, в кабинете, что он плут, вор, мошенник и что нельзя с ним служить. Поскребкин, с благородным достоинством ударяя себя в грудь, отвечал: «Ваше!.. (и прочее: надо заметить, что он своих начальников величал всегда одной степенью выше, нежели какую они имели) изволите обижать меня понапрасну. Ей-богу, понапрасну! Я вором и мошенником никогда не был. И на что мне? Я сам имею состояние — деревушку в Расторгуевой губернии; довольствуюсь

малым». Начальник, высчитав все хозяйственные его проделки, очень вежливо опять повторял прежние деликатные имена и просил сделать ему одолжение избавить его от служения с ним. Тут Поскребкин, показывая на угол комнаты, восклицал ярким, басистым голосом, вылетавшим из широкой груди его: «Чтоб мне салым огарком подавиться! Утроба моя разорвалась бы от одного листа бумаги! Детей моих перебило бы поленом дров! Вы изволили видеть, жена моя беременна... чтоб она родила бревно вместо живого ребенка, если я посягну на разорение хоть одного столба в заборе!.. А я еще уповал (тут он говорил более жалостным голосом, фистулой), что ваше (и прочее), как всегдашний мой благодетель и отец, удостоите быть у меня крестным отцом! Помилуйте! Каким-нибудь куском сала или ветошным отребьем захочу ли марать свою честь!» Потом начинал кулаком утирать слезы, упрекал в клевете своих недоброжелателей, которые будто требовали от него *акциденции*, да он, помня присягу и долг благородного человека и верного сына отечества, не посягну на такие гнусные дела. «Чтоб им так сладко было, как мне теперь, перед лицом великодушнейшего, благороднейшего из начальников! Ежедневно молю Господа за здоровье ваше и вашей супруги... Божественная женщина!.. Чтоб Господь даровал вам хоть одно детище на порадование ваше! Помилосердуйте, ваше (и пр.). Жена, куча детей, мал-малым меньше... пить, есть надо...» Говоря это, Поскребкин думал, как искусный оратор, какую мимику употребить в пособие своему красноречию. Поцеловать у начальника ручку? — неравно ткнет его в глаз огнем сигары. Броситься в ноги? — оттолкнет, как гадину, концом своего сапога. И не решился ни на то, ни на другое. А начальник думал: настоящий разбойник! как бы еще не задушил!.. Однако ж порешил это дело тем, на чем его начал: Поскребкин должен был выйти в отставку.

Не долго, только полгодика, томился он в ней. Жена бросилась к своей покровительнице, расплакалась, жаловалась на несправедливость начальства, на коварство и недоброжелательство клеветников и наушников и успела до того разжалобить сильную особу, что та

обещала ей свою протекцию и даже назвала бывшего главного начальника Поскребкина человеком без сердца, злодеем. *Un homme sans foi, ni loi* — прибавила она, обратясь к сидевшему у нее генералу. Даже, говорят, попрекнула гонителя бездетностью.

И вот Поскребкин городничим в Холодне. Здесь представился широкий кругозор его наклонностям; начальства для него в городе не было. «Гуляй, мой меч!» — сказал бы он, если б знал стихи из новейших трагедий. Тут начались у него — ведь голодал шесть месяцев — ненасытные припадки каких-то appetitов. То появятся appetиты на сахар, осетрину, стерлядь, лиссабонские и прочие съестные и питейные припасы, то на сукно или материю для жены. Давай то и другое, пятое и десятое. Беда, коль не заморить этих прихотей. Берегись тогда первый купец, попавшийся ему на глаза: сейчас оборвет, да еще хуже чтоб не наделал. «Пожалуй, чего доброго, подлец и впрямь обесчестит, наплюет в глаза!» — говорит торговец, который успел ему подвернуться. И несет с низким поклоном от усердия своего. Наконец вкусы Поскребкина до того стали разнообразиться, что слюнки у него потекли на все, что жадным глазам его только полюбится, даже на коров, на лошадей. Может быть, со временем пришел бы appetit и на домик; но, как увидим далее, Максим Ильич умел разом пересечь припадки его бешеного обжорства.

Ездил Поскребкин, развалясь в крытых дрожках, на чубаром иноходце с такой же пристяжной, которая завивалась кольцом и ела землю. Вот увидел он у Максима Ильича кровного серого рысака; спит и видит — достать рысака. Вихрем прокатит на нем хозяин: кажется, так и топчет им городничего.

— Воля твоя, — говорит Поскребкин Максиму Ильичу, — уступи, брат, серого коня. И во сне меня мордой пихает. Appetit на него такой припал... слышь (тут он взял руку своего собеседника и приложил ладонь к желудку), так и ворчит: по-дай ры-са-ка! Не дашь, свалюсь в постель, будешь Богу отвечать. Я ли тебе не слуга?

— Поворчит, — отвечал Пшеницын, — да и пере-

станет, а я тебе по этой части не лекарь. Серого коня любит жена, не отдам ни за какие деньги.

— Ой ли?

— Сказал.

— Последнее слово?

— Решительное.

— Ну, смотри, брат Максим, доеду.

— Доезжай, а я покуда поеду на рысаке. Еще будь раз навсегда сказано: бесчестных и незаконных дел не делаю и не только тебя, *никого* не боюсь.

— Помни ты у меня эти слова! — сказал Поскребкин и погрозил своим пальцем, как жезлом.

— Никогда не забываю, готов повторить и повыше кому.

С того времени городничий и рвет и мечет и кипит гневом на Пшеницыных. Еще более разожгли его следующие случаи. На другой день в церкви у обедни Прасковья Михайловна стала впереди городничихи, а после обеда проехала мимо окон ее на лихом сером рысаке, в новых щегольских дрожках. Мелькнула молнией, и сердита и блистательна; да еще обдала городничиху, будто в насмешку, облаком пыли.

— Купчиха лезет вперед! Я все-таки начальница города, — говорила жена городничего. — Воля твоя, это афронт. Я этого не потерплю, я напишу к моей благодетельнице. Как хочешь, Герасим Сазоныч, ты у меня упеки ее в тюрьму, чтобы не хвалилась; не то разведусь с тобой.

Выжидая случая подкосить Максима Ильича, как говорил Поскребкин, он продолжал безбоязненно свои подвиги. Так забывают этого рода люди свои прежние невзгоды, иногда нужду, холод, голод, страдания целого семейства, лишь только на новом месте удаются им новые незаконные приобретения. Так-то бывает... Придет беда — люди охают, стонут, обещают исправиться, обновиться и просветиться добром; пройдет невзгода — забывают все, и опять принимаются за старое, и опять погрязают в тине невежества, в неге взяточничества.

Приведут в полицию краденую лошадь с вором — конокрада выпустят, а похищение рано или поздно де-

лается достоянием Поскребкина, словно он всеобщий наследник. Является за лошадью хозяин крестьянин. Он обегал более ста верст по разным уездам, упустив дома важные полевые работы, от которых живет целый год, растряс на мошенников и колдунов последние свои деньжонки, чтобы указали ему только на след *живота* его. Услужливо ему выводят лошадь из полицейской конюшни. Скотина его, по всем приметам, описанным в явочном объявлении! И масть та же, и конец уха также обрублен, и грива лежит на ту же сторону, как у пропавшей лошади. Его, да не его. Жена притащилась с ним и дочерью выручать своего доброго воронка. И они также признают ее. «Вот,— говорит старушка,— и сама признала нас: заржала, кормилица, и мордочку к нам протянула, только нас завидела. В какой стороне была ты, моя голубушка? По каким мытарствам не водили тебя! Чай, не вовремя попоили, не всласть накормили, а, может, и вовсе целый денек была не евши. Легче б нам самим без хлебушка оставаться». И начнет старушка причитать разные нежности своему животу и выть над ним. Дочь подставляет руку свою под морду лошади, и та лижет руку, которая привыкла ее лакомить краяхами хлеба, посыпанного солью. «Наша, да и только, матушка»,— говорит девка и от радости целует воронка. Действительно, их лошадь, а выходит не их. У их лошади на одной ноге белое пятнышко, а у этой вся нога словно в черный чулок обута. Опытный глаз увидел бы, что пятно закрашено черной краской. В явочном объявлении стоит белое пятнышко на ноге. «Так ли, мужик?»— спрашивает беспристрастный письмоводитель. «Так, батюшка, грешить нече»,— отвечает горюн. Где ж мужику признать косметическую подделку?.. Приходится отступить. Почешет старик голову, почешет грудь, горько вздохнет да поохает с старушкой, а делать нечего— знать, лукавый подшутил над ними. Но девке не так легко расстаться с воронком; видно, натура молодая и неопытная! Обвила шею его своими мощными, загорелыми руками и замерла на ней, несмотря на брань полицейских служителей! Рыдая, говорит она: «Наш, свято слово, наш! Не расстанусь с тобой, род-

ной мой, кормилец ты наш!» — И пуше прежнего сжимает шею коня в своих объятиях. Позвали городничего. Мигнул он двум бравым молодцам... Разом оторвались от лошади две девичьи руки, как две гибкие ветви молодой березы, дружно сплетшиеся: хотели было молодцы куда-то потащить девку, да... взглянули на городничего. Тот махнул рукой, плюнул и скрылся, чтоб, неравно, не случилось при нем какого несчастья. Девка лежала полумертвая на земле, пена клубом била у ней изо рта...

Таким образом и другими фокусами краденые забеглые лошади поступали в собственность Поскребкина. Также и краденые самовары, кастрюли, оловянная посуда, якоря, рогожи, бечевки — все ценное поглощалось ненасытной утробой его. В известный, благоприятный период времени, под укрывательством волчьей ночи, все эти вещи укладывались в краденую телегу, в которую запрягали лошадь неотыскайного хозяина, и отправлялись с верным служителем в деревушку Герасима Сазоновича, род закутки, укрытой лесами и охраняемой болотами. Так понемногу из песчинок невидимо слепиваются дома и большие состояния!

Случилось однажды богатому купцу, по неведению ли законов, по намеренности ли, сделать какой-то проступок. Виноват, да и только. Приходило ему худо, и добрые люди присоветовали ему отнести сотнягу рублей Герасиму Сазонычу. Так и сделал купец. Главный советник его по этому делу дал знать Поскребкину о куше, который ему готовится, и о часе, в который сделано будет приношение. В это время остановилось в городе, по болезни или по домашнему делу, значительное лицо. Вот приходит *по секрету* к городничему виновный купец. Ласково принимают его. Он осторожно затворяет за собой дверь и, объяснив, что у него есть такое и такое-то дельце, просит пощады; вместе с этим осторожно, с низкими поклонами, кладет на стол куверт, немного отдувшийся. Для вящего эффекта положены в него все синенькие. Надо было видеть, как гневно привстал Поскребкин во всю громадную высоту свою, как он вскипел гневом, швырнул на пол куверт так, что бумажки разлетелись, и закричал громовым го-

лосом, потрясшим стены: «Что это?.. Подкупать?.. Меня?.. Разве я взяточник?.. Поклянись ли, что я брал от тебя когда-нибудь?.. Под колоколами спросят. Разве я не присягал служить, как подобает верным подданным? Господа, прошу засвидетельствовать». А тут как тут выросли из земли три свидетеля. Впереди сам страж законов, богобоязненный старичок, с постным лицом, выплывает мерно и, ныряя головой, точно утка со своими утенятами скользит по зеркалу пруда, где рыболовы закинули невод. Он смиренно делает какие-то знаки рукой на груди, словно готовится на какое-нибудь благочестивое дело. За ним невозмутимо выступает своим брюшком купец, тоже должностное лицо. Он держит пальцы правой руки, налитые брагой, между петлями сюртука. Сзади, господствуя над всеми взъерошенной головой, выказывает свой острый, бекасиный носик надзиратель, испитой, длинный и прямой как верстовой столб. В его глазах видны одно холодное бесстрашие и строгое исполнение своего долга. Он знает, что от сладкого пирога ему достанутся только корки.

Улика налицо. Купец помертвел и бросается в ноги городничему. «Не погубите, ваше благородие,— вопиет он отчаянным голосом.— Не сам собой, помутили худые люди». Нет пощады! Записать в журнал, да и только; отослать деньги в пользу богоугодного заведения!

В ту же минуту, с быстротой электрического телеграфа, сказал бы я, если б электричество было тогда изобретено, и потому скажу — с быстротой стоустой молвы, честный, благородный, примерный поступок Герасима Сазоныча разносится по городу и доходит до ушей значительного человека, который, по болезни или по домашним обстоятельствам, остановился в городе Значительный человек в неопisanном восторге от этого неслыханного подвига, желает видеть в лицо городничего, чтобы удержать благородные черты его в своей памяти, рассыпается в похвалах ему, говорит, что расскажет об этом по всему пути своему, в Петербурге, когда туда приедет, везде, где живут люди. Мало — надо непременно в газетах напечатать об этом во

всеобщее сведение, на поучение всем городничим и прочим правителям. С такими высокими мнениями о Поскребкине и чувствами удивления к его душевным качествам значительный человек уезжает из Холодни. Чем же все это оканчивается? Чтобы замять и потушить дело, купец вносит уже, по секрету, не сто, а пятьсот рублей, да еще задает на славу обед. Никакое богоугодное заведение не записывало у себя на приход ни одной копейки из этих денег. Надо прибавить к чести Герасима Сазоныча, он на этот обед не явился, но угостил всех ехать, говоря, что купец человек прекрасный, только опростоволосился по наущению недобрых людей, желавших его погубить.

Раз как-то на двор к Максиму Ильичу въехала лихая тройка одной масти. Под дугой гудел заливым звоном валдайский колокол; бубенчики лепетали разными звуками, мастерски подобранными от самого тоненького до самого густого. В звуках этих был какой-то музыкальный строй. Покромка красного сукна обвивала сбрую на лошадях; медь в бляхах, звездах и полумесяцах, казалось, должна была сдавить коней. Пестрый, с азиатскими узорами ярких цветов, ковер упал с кресел пошевень почти до земли. Всю ширину пошевень занимала огромная медвежья шуба и поверх ее торчала, похожая фигурой на башню с куполом, высокая шапка из серых мерлушек с бархатным верхом зеленого цвета. Кучер был в нагольном тулупе, выдавшем разные виды и непогоды на своем веку, и потому носившем какой-то неопределенный цвет, не то желтый, не то красный, не то буро-пегий. Рядом, свесив с кучерского места ноги в холодных сапожках, которыми изредка постукивал один об другой, сидел мальчик лет тринадцати, стриженный в кружок. Он также был в овчинном тулупчике, только совершенно новеньком, что можно было не только видеть по мучистой белизне его, но и слышать по запаху. Нарядом своим он очень занимался; это заметно было из движений его рукавов, которые поднимал попеременно, смотря на них с особенным удовольствием. Казалось, он любовался в них сам собой, как в зеркале. На голове у него нахлобучена была высокая шапка из порыжелых мерлушек, беспре-

станно наезжавшая ему на лоб. Вероятно, ее сняли с большой головы, взявши, однако ж, предосторожность удержать ее по возможности на мальчишке, о чем можно было также догадаться по нескольким веткам сена, упорно выползавшим из-под шапки. Тройка лихо завернула к крыльцу. Ваня играл в это время на дворе в снежки.

— Что, дома тятенька? — спросила медвежья шуба.

Это был исправник Трехвостов.

— Дома, — сказал Ваня и побежал к отцу повестить о приезде госте. После того он уж не показывался в гостиной, потому что всегда чувствовал какой-то страх к Трехвостову.

И немудрено. Трехвостов был мужик ражий, широкоплечий, но сутуловатый. Оспа так обезобразила его лицо, как будто первоученик портной вывел на нем суровыми нитками грубые швы и рубцы и выковырял толстой иглой брови и веки. Слеза всегда была у него из глаз, как у старой болонки. Голос его, казалось, выходил не из груди, а из желудка. Правда, он считал этот орган едва ли не лишним. Вся беседа его обыкновенно происходила в нескольких словах, произношение которых иногда сбивалось на сдержанное мычанье коровы. До смысла их слушатели доходили с трудом, да и не гонялись за смыслом, зная, что его не оказалось бы много, если б он изъяснялся и в более обширных размерах. В уезде называли его прекрасным человеком, а он считал себя честнейшим, потому что не брал от дворян взяток деньгами, а разве некупленными съестными припасами для себя и лошадей. Пощечиться, где можно, от казны и купцов, дело другое. «Что им? богаты!» — говорил он. От крестьян любил только угощение. «Добрейшая душа! — говорил в одной деревне староста, у которого торчала одна половина бороды (русский человек незлопамятен), — только больно сердцем горяч». Бывало, разъяренный, заскрежешет зубами, казалось, съест тебя, даст волю кулакам, того и гляди убьет, а за клочком бороды, как староста, уж и не гоняйся. Зато сердце скоро и сбежит, словно с гуся вода. Опомнится, снимет перед битым шапку, да еще поделует его. «Не взыщи, брат, — молвит он, —

больно горяч! Так матушка уродила». Надо сказать, что у русского мужика голова вылита будто из чугуна. Лежит себе на печке, а серо-зеленая мгла угара стоит с потолка по пояс избы. Ему ничего, тогда как у вас в этой избе в две, три минуты затрещит череп. Посмотришь на сельских праздниках, — пьяный мужик за углом клетки замертво валяется в ужасном виде: голова проломлена, кровь бьет из носу и ушей. Пьяный ли, падая, ударился об угол клетки или подвизался в рукопашном бою? кто его знает. Только и думаешь, послать бы за лекарем да за попом. «Э, батюшка, не тревожьтесь напрасно, — говорит брат или сын родной, — бывалое дело!» И подлинно, не для чего было тревожиться. Окают холодной водой, а иногда дело и без того обойдется: сделает богатырскую высыпку на полсутки без движения, потом встанет как ни в чем не бывало, да только попросит опохмелиться.

Любил-таки покушать Трехвостов. Еда для него была все равно, что жвачка для коровы. Чего и в какое время дня и ночи не был он в состоянии проглотить! Не раз случалось, что он бывал на двух закусках и двух обедах, через час на каждом. Он ел и пил за вторым так же аппетитно, как и за первым. По окончании последнего говорил иногда: «Много ли надо человеку, чтобы сыту быть!» Последствий от таких пресыщений никогда не случалось, кроме двух, трех лишних часочков сна — хоть на кочке болотной или в полдень на солнечном припеке. Зато мог, как верблюд, оставаться по целым суткам без еды. Разве заморит червяка коркой хлеба, посыпанного солью едва ли не в толщину самой корки. Делавшим ему в этом случае замечание, почему он своей провизии никогда не возит, отвечал: «А на что ж я и исправник?» Но испытать эту диету случалось ему очень редко, и то разве в дремучих лесах, на ловле разбойников. Когда он приезжал на следствие, головы, старосты и приказчики угощали его отборными сельскими яствами на убой и питиями до положения.

Велел Пшеницын принять гостя.

Пыхтя, ввалился он в гостиную, молча обнял Максима Ильича, также молча подошел к руке Прасковьи

Михайловны, которая только наклонилась к щеке его и, в осторожном расстоянии, послала ей поцелуй.

— Не за делом ли? — спросил Пшеницын (а случались у них дела по караванам, проходившим в уезде).

— Нет, братец.

Помолчали.

— А закусить... будет?

Подали закуску: икры, пирог, ветчины окорок, холодного поросенка, холодной телятины, копченого гуся и графин ерофеичу. Будто голодный боа, глотал гость куски полного блюда в ужасающих размерах; к концу закуски графин был пуст. Это упражнение продолжалось с полчаса; изредка только кряхтел и пыхтел он, как иногда мужик, когда рубит очень твердое дерево, кряхтит, чтобы придать себе силы. Наконец, Трехвостов встал, молча обнял Максима Ильича, опять с той же процедурой подошел к ручке Прасковьи Михайловны, взял свою шапку, в виде башни, и вывалился в переднюю. Влез было он в своего медведя, да вдруг ударил себя широкой ладонью по лбу, сбросил медведя и воротился.

— Забыл.

— Что такое? — спросил Максим Ильич.

— Прошу... завтра... на свадьбу, Прасковью Михайловну... посаженной матерью. Удостойте. Му!..

— К кому же? — спросила она.

— Вестимо, ко мне... к моей невесте, гм!

— По нашему обычаю, должен об этом просить ближний родственник невесты.

— Какие родственники!.. (Тут он махнул рукой.) Знаете Палашку?

Максим Ильич знал под этим именем у Трехвостова довольно красивую девку или женщину средних лет. Она являлась для прислуги приезжих гостей босиком, но в черевиках, с ситцевым платком на голове и такой же материи шалью, которой крест-накрест покрывала грудь и опоясывала себя так, что назад торчал горбом огромный узел с длинными концами. Иногда Пшеницын видал ее с подбитым глазом и волосами, причесанными в подозрительном беспорядке. Вследствие этих соображений, он видимо смутился и не знал, что отве-

чать. Но Трехвостов и не дал ему этого труда и опять спросил: «Видал ребятишек? (тут указал он на переднюю). Один здесь... Накормили ли его?»

— Накормили,— сказал Ларивон, прибиравший опорожненную после закуски посуду.

— Ладно.

Максим Ильич не отвечал. Он также видал у Трехвостова двух дворовых мальчиков, лет тринадцати и одиннадцати, которые за столом бойко подавали и принимали тарелки. Трехвостов опять не дождался ответа и продолжал. На этот раз он разлился таким потоком слов, какого Пшеницын не слыхивал с первого знакомства с ним. «Проворные ребята!.. Третий пищит еще в люльке. Три девки... две уж славно шьют в пальцах. И баба служила мне верой и правдой. Сколько побоев от меня приняла! Признаюсь, братец, больно горяч, таким матушка уродила!.. жаль их! Хочу все венцом прикрыть. Неравно карачун... отнимет деревню мерзавец брат, му!.. останутся без куска хлеба, да еще, чего доброго! в крепость возьмет...»

— Доброе дело,— сказала жалостливо Прасковья Михайловна, у которой навернулись слезы при этом рассказе.— А свадьба неужели завтра?

— Завтра, спешу. Вот видите, шея коротка (тут он щелкнул себя по шее пальцами); подчас бьет в голову, будто молотом кто тебя ударит... наклонен к пострелу.

— Как же,— спросила Прасковья Михайловна,— чай, и приданого не успели приготовить?

— Есть праздничное тряпье.

— Как же это можно? Все-таки съедутся у вас дворяне на свадьбу... Жена исправника... И в церкви от прихожан будет стыдно. Позвольте мне самой снарядить невесту. У меня есть платья два, три — новехоньки... надевала только по разу... Кое-что из уборок еще привезу.

Трехвостов, вместо благодарного ответа, молча поцеловал у Прасковьи Михайловны руку, на которую упала слеза, как она всегда падала — из больных глаз его. И опять влез он в своего медведя, и опять занял им пошевни во всю ширину их, и опять мальчик в новом

нагольном тулупчике бойко вскочил на сиденье, рядом с кучером.

Проводив гостя, долго еще сидел Максим Ильич на одном месте в раздумье о семействе Треххвостова и его свадьбе. Чтoб освободиться от гнета этих мыслей, он принялся читать «Жизнеописания великих мужей Плутарха» (чьего перевода, теперь не припомню). С своей стороны, Прасковья Михайловна думала только о той роли, которую будет играть посаженной матерью, и о том, чтобы одеть завтра невесту в лучшие свои наряды. Началась выборка их из сундуков и раскладка по стульям, диванам и кроватям. Часто отрывала она Максима Ильича от чтения расспросами, какого цвета волосы и глаза у невесты, какого роста, худа или дородна. Эти занятия наполнили весь день и захватили половину ночи. Об еде она забыла; только перехватила кое-что на лету.

Мы было забыли сказать о том, что случилось с Ваней в то время, когда сидел гость у отца его. Он приходил в переднюю посмотреть на мальчика в новом тулупчике. Мальчик был очень хорошенький и с такой заманчивой, грустной улыбкой смотрел на барчонка, что тот поддался этой привлекательной наружности и посягнул было на приглашение играть с ним в снежки на дворе. Но Ларивон, вышедший в это время в переднюю, пресек разом это желание, покачав очень серьезно головой. Ваня догадался, что ему неприлично связываться с дворовым мальчишкой. Услышав, что стучат в гостиной тарелками, попросил он дядьку накормить маленького слугу. «Господа едят, и слуга, чай, хочет тоже кушать», — говорил он. Между тем, пользуясь новым отсутствием своего ментора, стал любоваться черным пушистым волосом медведя, ласкал его своей ручонкой и называл хорошеньким, добрым Мишей. Мальчик в тулупчике сделался смелее, выворотил рукав шубы, накрыл им лицо свое и осторожно, на приличном расстоянии, подходил к Ване, приговаривая: «У! у! медведь — съест». Но, видя, что тот не боится медведя, а только смеется, схватил его с недетской силой в охапку, посадил на скамейку и закутал в огромную шубу так, что из нее было видно только го-

рящее лицо малютки, окаймленное черной, густой шерстью ужасного зверя. В этих новых забавах накрыл их опять Ларивон, но на этот раз отвел своего питомца в другую комнату, велел ему смиренно сидеть на стуле и сказал с педагогической важностью: «В этакую шубу зарылись! Бог знает, где валялась, да и грехом воняет...»

Тут Ларивон, для вящего подкрепления своих наставлений, не преминул плюнуть.

Отчего грехом воняет,— рассказал после дядька. Богатая эта шуба была подарена Трехвостову купцом, чтобы он показал, что у него потонула барка с казенным провиантом, а провиант был заранее продан в соседние прибрежные деревни. Понятые, как водится, получили ведерка два вина, и прочее, и прочее. «Грех великий! — говорит Ларивон, — не скоро отмолить его этому богопротивному человеку».

Свадьба действительно состоялась на другой день. Невеста, по милости Прасковьи Михайловны, была разряжена впух и блаженствовала. Казалось, она помолодела десятью годами. И как не радоваться ей было? Она делалась свободной, дворянкой; существование ее и семьи было навсегда обеспечено. За свадебным обедом сидело человек двадцать дворян. Сам предводитель Подсохин был приглашен, но не удостоился приехать. Это обстоятельство нагнало легкую тучу на пирующих; задумался и Трехвостов. На другой день, когда подали ему медвежью шубу, он, неизвестно почему, оттолкнул было ее от себя и надел с сердцем. Несколько дней медведь тяготил его могучие плечи, как будто живой зверь сжимал его в своих лапах. Взглянул он на своих детей, погладил одного и другую по голове, поцеловал малютку в люльке, сквозь слезы улыбнулся жене, махнул рукой, — и снова медведь сделался для него легок, как и прежде. С того времени бывшая Палашка, ныне Палагея Софроновна, никогда не была бита.

По поводу ли медвежьей шубы, под которой скрывалось нечистое дело, не приехал щекотливый в деле чести предводитель, или по другой причине,—

неизвестно. Но как мы о нем заговорили, то и остановимся несколько на его замечательной личности.

Это был один из достойно уважаемых дворян того времени, человек беленький, с которых сторон ни посмотреть на него. Редко в ком можно было найти соединение такой чистоты нравов с таким прямодушием, честностью и твердостью. Он всегда думал не только о том, что скажут о нем при его жизни, но и после смерти. Молодость провел он в морской службе, делал несколько кампаний, был офицер ретивый и исполнительный, и так же требовал строгого исполнения своих обязанностей, как и сам исполнял их. Хозяйство, порученное ему на корабле, шло как нельзя успешнее — не для него, но для всей команды. Он не имел привычки извлекать свои выгоды из общественных или казенных сумм и приобрел для себя только имя прекрасного *эконома* — разумеется, в хорошем смысле. Обстоятельства потребовали, чтоб он вышел в отставку. Его призвали к домашнему очагу мать, молодая жена, трое детей и сестра, которых обязан он был содержать от небольших деревушек в Холоденском уезде, а имение это под слабым, может быть бестолковым, женским управлением начинало расстраиваться. Взяв в твердые и искусные руки руль хозяйства, он в несколько лет успел привести свое и женино имения в цветущее положение и удвоил доходы без отягощения крестьян.

Вскоре дворянство уезда потребовало от него жертвы. Прежний судья не выполнил надежд своих избирателей и, как мы видели, въезжал верхом на лошади по лесам строившегося, вместо того, чтобы твердо сидеть на своих курульских креслах. К тому же, замечено было, высшим ли начальством или дворянством, что он очень *однообразен* в приискании и приложении законов к судебным определениям, между тем слишком *разнообразен* в решениях своих помимо законов. Так, в уголовных делах ни одного определения не обходилось без того, чтобы он не включил следующих речений: «Лучше простить десять виновных, нежели наказать одного невинного. Судья должен помнить, что он человек есть». И эти решения выставлял даже тогда, когда определялись кнут или каторжная работа. В суд посту-

пило однажды дело о *зарезании на смерть* медведем мужика. И тут судья не преминул поставить свой любимый текст: «Лучше простить десять виновных, чем одного невинного наказать»; виновного же в определении своем предоставил суду Божьему. Зато как любил он разыгрываться в решениях своих! Когда подносили ему в одно время два журнала по преступлениям, хотя совершенным двумя разными лицами и в разных местах, но одинаковым по обстоятельствам и степени вины, даже по летам преступников, он определял одного наказывать кнутом, а другого плетью. Если же секретарь замечал ему, что законы в обоих журналах подведены одни и те же, он с неудовольствием отвечал: «Что ты, братец, толкуешь мне о законах? Законы сами по себе; пусть и остаются на своем месте. Забор стоит, что ль, или ров вырыт между ними и постановлением? Или, потвоему, запряжены они вместе, как парные лошади в дышло? Видишь, тут два человека разные: один из Перекусихиной — там народ все разбойничий, а другой из Белендряевки — когда проезжаешь, так все миром встают, будто единый человек, и все в пояс, будто единое лицо. Один убит в густом лесу, а другой в кустарниках. Понимаешь ли, умная голова? В лесу никто не видит, а в кустах — сам посуди — бывает редочь, там этак вербочка или жиденский олешиник, ну как бы, например сказать, будто сквозь стеклянную бутылку видно, какая там себе ягода плавает. Следственно, понимаешь, душегубство одного совершено в отчаянном азарте, другого — осторожно, с наклоном головы и прочее... понимаешь? Да и там у начальства, ты сам, умная голова, там увидят разнообразие; оно и читать приятнее. Видно, дескать, тонкий судья, даром, что хмельным зашибается! все по косточкам разобрал. Эх! братец, нужна везде политика, т. е. букет поднеси только к носу, узнаешь сейчас по одному духу, какого поля ягода, вишневка или смородиновка. Помни ты, крыса архивная, магазин ты этаким законов, везде нужен букет!» — При этом судья дружески потрепал секретаря по плечу, а секретарь поклонился и крикнул. Вся канцелярия поняла, что в этом звуке отзывалось больше смысла и значения, нежели в произнесенной речи.

Хотя судья и сам походил с лица на букет разнообразных ягод по теням наливок, какие он вкушал, однако ж дворянство и судилище раскланялись с ним навсегда. На новых выборах Подсохин был единодушно избран в судьи. Знаком он был с девятым валом грозной стихии, как с движением пуховика, когда он в бессонницу переминался на нем с боку на бок свою тучную особу. Но его ожидал девятый вал еще более грозной стихии — подьяческой. Здесь собственная его неопытность и гениальная сноровка приказных, перед которой бледнеют величайшие умы и таланты промышленного мира, готовили ему мели и скалы, гибельнее всех, какие только случалось ему встретить на своем веку. «Однако ж, — подумал он, — одарил же меня Господь кой-каким рассудком, правил я успешно хозяйством на корабле, вынес и собственное хозяйство от крушения, к тому ж, грех таить, *писать охотник*, да и отказываться от чести, мне сделанной, *постыдно* — и решился принять должность, на которую вызвал его голос дворянства целого уезда. Отслужив молебен в своей сельской церкви, он поднялся со всем семейством, большими и малыми, и переехал на житье в Холодную. Перед входом в судейскую он, как простой работник, начинающий свой поденный труд, перекрестился на все четыре стороны. Здесь первым его делом было изучить добросовестно свои новые обязанности, и, изучив их, он принялся за исполнение с редким усердием и твердостью.

Не очень уважаю я судью, у которого секретарь, известный каждому в уезде и даже в губернии не только по фамилии, но и по имени и отчеству, как-то: Семен Макарыч, Антон Сидорыч (ох уж эти Макарычи!), приобрел себе громкую известность великого дельца, закрывающего своей важной, иногда неприступной, персоной ничтожность президента и его товарищей. Секретарь у Подсохина ничего не значил или значил то, чем ему велено быть законами. Просители без всяких предварительных сношений, посредничества и остановок обращались прямо к судье. Он заранее ничего не обещал, но, вникнув в дело, обняв его хорошо со всех сторон, сообразив с законами, говорил твердо, наотрез одному: «ваше дело право», другому — «не мо-

гу для вас ничего». Слова эти были неизменны. Иногда удавалось ему помирить тяжущихся и без поощрения бумажной фабрики.

И прошло его шестилетнее служение в судейской камере, как для трудолюбивого пахаря дни летней *страда*. Отер он честный пот с чела своего и отслужил в той же сельской церкви благодарственный молебен за то, что сподобил его Милосердый Отец исполнить свято долг свой. С той поры мог он ежедневно засыпать с невозмутимой совестью младенца и так же спокойно готов был навсегда закрыть глаза на лоне своего Господа. Никогда не промышлял он ничего для себя из своей должности, никогда не продавал ни за какие выгоды чужих интересов. Трудился много и трудился особенно, когда предстояло в суде решение дела, в котором замешано было благосостояние незащитных сирот или женщины, не сведущей в законах. Горячо, до испуга, гнал лихоимство, но закрывал глаза, когда благодарили его бедных подчиненных за усиленные труды по делу, которое было уже решено присутствующими. Уважал он высшие губернские власти, но никогда не унижался перед ними и никогда не был их угодником из надежды на награды или на милостивое *высказание*: не знаю почему, а может быть, потому, что резко говорил правду в глаза, и губернские власти заискивали в нем. То назовут дружочком, то посадят за стол рядом с женой, то велят слуге, помимо более значительных лиц, подать ему трубку табаку. Но он никогда не обольщался этими приманками и для них не переменил своих правил. Были даже случаи, когда он вел с дружочками борьбу упорную и часто выходил из нее победителем. А если торжествовала иногда неправда сильного, утешался, по крайней мере, мыслью, что исполнил долг свой. Скорее, готов он был претерпеть гонение, чем согласиться на несправедливую потачку богатству и сильным связям.

Да это феномен! — скажут многие. И я то же скажу, да еще переведу это иноземное слово по-русски: чудак! диво-дивное! Иной, пожалуй, в насмешку прибавит: урод!.. И опять с этим соглашусь. Что ж делать? высказывают во все времена из толпы румяных, пригожих че-

ловечков такие уроды. Вот, например, знавал я в одной губернии подобного возвышенного урода; знаю и теперь в той же губернии такой же экземпляр. Это молодой человек, лет двадцати шести, кончивший свое образование в московском университете. Дворянство убедило его принять должность судьи. Он принял ее и, принеся в жертву долгу лучшие годы своей жизни, любовь к искусствам, светские удовольствия, которыми состояние его позволяло ему пользоваться в столицах, постригся на служение правде и добру в скучном городе. Честь ему и месту, где он воспитывался! Не сомневаюсь, что и во многих губерниях найдутся подобные прекрасные личности, в душе которых неугасимо горит искра Божия. Поболее таких сынов отечеству, и, я уверен, что правда и милость утвердятся в судах по слову помазанника Божия!

Подсохину не дали отдохнуть в деревне. Так, ретивого коня почаше и запрягают. На этот раз, к чести холоденского дворянства, выбрали его в предводители, несмотря на то, что этого места домогались соперники несравненно его богаче, выше чинами и с сильнейшими связями. Эта почетная должность была как бы наградой за его прошедшее трудное служение и польстила его благородному самолюбию. При этом тешила его еще одна затаенная мысль, о которой будем сейчас говорить. Здесь, в круге своих обязанностей, действовал он, как и прежде, обращая главные свои попечения на опеки. До него они отдавались, как воеводства в древние времена, на прокормление и поправку оборванных судьбой или собственной виной бедняков. Кончались эти опеки тем, что ошипанные до последнего пера имения продавались с молотка. Наследники вступали в свои права, получая только право входить в тяжбу с опекунами. Подсохин противился подобным назначениям и наблюдал за имениями сирот и других лиц, подпавших опекам, более, нежели за своим собственным.

Но, увы! и у него была ахиллесова пята, и он имел слабости. Кто же из адамовых детей не имеет их? Его слабость никому не вредила, а была только смешна. Подсохин любил — *писать*.

Еще в морской службе посягал он в официальных бумагах на кудреватость и обилие слов. Хотя они не шли вовсе к делу, он думал, однако ж, щегольнуть, блеснуть ими. Иногда и сам, в душе своей признаваясь, что они лишние, долго колебался, выкинуть ли их или оставить; наконец решался выкинуть. Но лишь только исполнит это, как набегало на душу его сожаление, неотступное, грызущее, что этими перлами никто уже не полюбуется, и они останутся зарытыми в его собственной персоне. И вот опять нанизывает их в своих *репортах*. Доставалось же ему за эти перлы от начальства, которое их не понимало или не умело оценить. Капитан говорил ему: «Сделайте одолжение, Владимир Петрович, избавьте меня от вашего красноречия. Оно, может, и хорошо в другом месте, но в служебных бумагах никуда не годно. Скажите мне сущность дела в нескольких словах, хотя в одном, если можно, да чтоб я знал, в чем дело. Дайте мне ядро, сударь, а мне вашей красивой скорлупы или шелухи не нужно. В другой раз, извините, я выброшу ее за борт». Не унялся было Подсохин, увлекаемый своим демоном; но капитан не любил дважды повторять своих приказаний, даже в виде поучений, и арестовал витию. В сердцах Подсохин мысленно назвал капитана человеком черствым, не одаренным от природы чувством высокого и прекрасного; но, крепко сохраняя субординацию, перестал с того времени писать служебные бумаги пространно и кудревато. Зато по секрету писал, уж по-своему, дубликаты этих бумаг и наслаждался чтением их про себя по нескольку раз. Иногда на вопрос своих сослуживцев: не написали ли вы чего новенького, Владимир Петрович? — таинственно посвящал какого-нибудь неопытного юношу в красоты своих созданий. Иногда товарищ, плохо владеющий пером, просил его сочинить письмо к родителям своим или к далекой красавице, вздыхающей в каком-нибудь русском порте по юном мореходце. Нельзя было сделать ему лучшего подарка.

Порывался было он на красноречие в судейских определениях. Но тут являлся перед ним, как тень Гамлету, грозный голос его капитана и стучали ему в уши роковые поучения. Казалось ему, вот сейчас арестует

его капитан, всегда добрый для него, кроме одного случая, и даже раз оказавший ему кровную братскую услугу. И определение писалось Подсохиным, сколько возможно ему было преодолеть натуру, простым, понятным языком, без авторского пошиба. Но как скоро попал он в предводители, искуситель шепнул ему, что именно тут, на этом месте, красноречие необходимо, в адресах, воззваниях и тому подобных бумагах. Вдохнул он свободно, будто свалился камень с груди и развязались руки. С того времени принялся по поводу или без повода писать. Цветы красноречия сыпались из его головы, как из рога изобилия, даже по случаю приглашения к обеду или присылки ему индейского петуха хорошей породы. Бог мой! страшно сказать, как он писал!

Владимир Петрович не скрывал своей слабости, или, вернее, таланта, ниспосланного ему свыше, считая грехом зарывать его в землю. «*Люблю писать!*» — говорил он с гордостью, уверенный, что каждое произведение его пера возбудит восторг в его современниках. И находились действительно в то время люди, которые приходили в восторг от его творений, хотя их не понимали, и провозглашали его великим писателем. Списывали их друг для друга и заставляли детей своих выучивать наизусть.

— Каково пишет наш предводитель! — говорил сосед соседу почти со слезами на глазах.

— Откуда это у него берется? — говорил другой, растопырив руки и пожимая плечами в виде фигуры недоумения (заметьте, новая риторическая фигура!). — Из какого родника бьет такой талант? Вот, братец, попробовал и я было. Сядешь чинно, как и следует, за письменный стол, возьмешь порядком перо в руки, подумаешь, как следует, а что-то не пишется. Поворочаешь пером, как будто прутком железным, даже поковыряешь им в голове, еще раз поковыряешь — не лезет ничего. Инда постучишься в ней с сердцем — что ж ты, голова?.. Настоящий выдолбленный арбуз или тыква; пустотой какой-то и отдается. Плюнешь на бумагу, с тем и отъедешь от нее.

— Видно, дар ему такой от Бога! — говорил третий

сосед.— По-моему, братец, я думаю, голова у него устроена, как бы орган какой. Завел, и пошла, пошла писать музыка... симфония, лакосез, концерты... Вот как река бурная льется, или бьет бутылка с пивом, когда ее раскупоришь.

— Сильно пишет! — молвит новый собеседник, вздыхая и возводя глаза к небу.— Инда подчас волос дыбом поднимается. Иной раз махнет так, что кровь в голову ударит, зарябит в глазах и свет Божий помутится.

— Сладко пишет,— прибавил один господин.— Захочет за сердце схватить, так уж не пеняй схватить, а слезы и кулаком не удержишь.

— Уж не бес ли пишет за него,— вмешалась тут старушка, занятая в своих креслах вязаньем чулка и слышавшая весь разговор (она не любила предводителя за то, что, когда был судьей, решил ее неправо дело в пользу противника).— Тьфу, пропасть! прости мне, Господи, с этим... вот и петлю распустила. А вы думаете, скажу, Парфен Михайлович,— прибавила она, относясь к собеседнику, большому волтерианцу, который смотрел на нее с иронической улыбкой, как будто поймал ее в преступлении,— нет-таки, не скажу, опять не скажу...

— Какой, матушка, бес,— перебил ее обиженным тоном один из панегиристов Подсохина.— Станут ли Владимир Петрович с этим якшаться; они человек богобоязненный.

И долго еще собеседники рассуждали о том, откуда это у него берется, что он так хорошо и мудро пишет.

Действительно, Подсохин писал так мудро, что и самый борзый ум не добрался бы в десять лет до смысла его бумаг. Никакой гидравлический пресс, никакая молотильная машина, если бы они были изобретены для литературных произведений, не выдавили бы, не вымолотили бы этого смысла. Чего не было в его сочинениях! И кочующие номады, и высоты бездны, и почиющая на крыльях бури тишина, все это переплетенное, свитое в какой-то пестрый, нескончаемый жгут, ударяющий по воздуху! Сожалею очень, что не сохра-

нил самых замечательных его произведений. Для примера даю здесь один слабейший из них отрывок, уцелевший в бумагах Пшеницына. Это воззвание к дворянам уезда о пожертвовании в пользу пострадавших от пожара или наводнения (не могу верно сказать) жителей Петербурга.

«Мал мыслью и способностью найтись в убеждениях красноречия, ибо холоденское благородное общество превышает всякое красноречие имеющих дар на оное. Вспомните, мм. гг., что место сие (Петербург) дало нам начало и науки и возвело нас на степень, ныне при нас имеющуюся, и что дети и младые родственники наши последуют под тот же покров нашего начала, или, так сказать, во вторую природу, и наконец обратимся духом к слову Божию: «Блаженни милостивии, яко тии помилованы будут». С истинным почтением» и проч.

Когда Подсохин имел только малейший повод писать или чувствовал в себе позыв на вдохновение, он, как жрец, готовящийся служить своему божеству, уединялся в особую комнату. Тихи, важны, размеренны были его шаги в это время, словно он боялся вытряхнуть из головы великие идеи, в ней нагруженные, как драгоценный, но хрупкий фарфор; лицо его осеялось даже какой-то мрачной таинственностью. При этом случае он сам не отворял двери, чтобы не было какого потрясения в его персоне; капище открывалось перед ним и закрывалось за ним любимым его слугой, который исполнял эту обязанность с особенной важностью и глубокими поклонами. В особенной комнате Подсохин облакался в долгополый, испещренный чернильными пятнами сюртук горохового цвета, прозванный им *писчим*, запирался крепко-накрепко, писал и переписывал до тех пор, пока уже мурашки бегали у него в глазах и он сам не понимал, что пишет. Слуга, лет сорока с лишком, низенький, с лысиной на голове (хотя и не терял названия *мальчика*), облечен был в высокую должность хранителя писчих снарядов и в особенности писчего сюртука. Когда невидимо производилась великая работа в кабинете, он сидел у дверей его на стуле, не двигаясь и затаив дыхание. Боже сохрани —

кашлянуть! Он скорее лопнул бы от натуги, чем решился бы посягнуть на нарушение узаконенной тишины. Если какой-нибудь отчаянный сорванец проходил мимо, хотя и неспешными шагами, слуга махал рукой, чтобы ходил еще осторожнее, еще тише, если б можно — пролетал. Такое высокое понятие имел он о занятиях своего барина, полагая, что в кабинете творится что-то чудесное, вроде литья золота или делания алмазов! В это время и вся многочисленная семья Подсохина ходила на цыпочках, даже и в отдаленных комнатах, боясь малейшим шумом прервать нить красноречия.

И вдруг, в глубокую, бездонную тишину канул какой-то звук. Чуткое, приложенное к двери ухо хранителя писчего сюртука послышало в кабинете движение кресел; затем великий писатель крикнул. Это был знак, что работа кончена. Капище отворялось. Тогда скидался писчий сюртук, принимаемый слугой с подобострастием, доходившим едва ли не до благоговения, и укладывался в комод. Барин облакался в обыкновенный сюртук. И вот он с исписанным листом бумаги в руке, с лицом, сияющим важным спокойствием и самодовольством, вступает в комнату, где ожидает его семья. Она первая должна выслушать произведение, родившееся в этот час, хотя и не может постигать его высокое значение. Что ж делать? Не первый раз нет более достойных слушателей, а новорожденного необходимо заявить свету, как принца крови, родившегося в хижине, должно показать хоть крестьянам. После процесса чтения дитя передается протоколисту, который принимает его с достождным уважением. Наконец, творение переписывается в несколько рук возможно лучшим почерком и развозится по уезду в сотнях экземпляров, если это циркулярное воззвание к дворянству или тому подобное.

Надо было видеть величавую и самодовольную фигуру охотника писать, когда он вступал в среду своего семейства для предъявления ему великого творения. Старушка-мать слушала, по временам творила про себя молитву и возводила глаза к небу, как будто благодарила Господа, что даровал ей такого умного сынка. Жена,

добрая, любящая женщина, жившая в муже, в детях и хозяйстве, не находила нужным вмешиваться в литературные дела своего мужа и даже простодушно утверждалась на том, что она глупенькая, потому что ничего не понимает из его сочинений. Она слушала, а может быть, и не слушала, потому что молчала во время и после чтения. Как понимали произведения отца две дочери, довольно взрослые, и сын лет пятнадцати, это неизвестно. Только и они по привычке владеть своей физиономией, зная по опыту, что малейшая улыбка или знак рассеяния навлечет на них родительское негодование. А сын помнил, что ему выдрали уши за то, что задремал в один из подобных литературных сеансов. Случалось, что и дети после чтения изъявляли свой восторг... У Владимира Петровича была сестра, девица немолодых лет, которую он называл обыкновенно *esprit-fort*, хотя все знали ее за женщину богобоязненную. Имя это заслужила она своим здравым умом и прямодушием. Выслушивая новое творение брата, решалась она иногда, призвав на помощь все небесные силы, именем их умолять его писать *проще и понятнее*.

Что за улыбка, что за взгляд бывали ответом на смиренные мольбы ее! Слов тут никогда не употреблялось. Но в этом безмолвном ответе было более красноречия, нежели во всех сочинениях Подсохина. В нем заключались и высокое сознание собственного достоинства, и жалость к слабой женщине, не умеющей понимать литературных красот, и великодушие могущества, которое может задавить червяка, но шагает через него. Сам Юпитер не улыбнулся бы другой улыбкой, не взглянул бы другим взглядом, смотря на высоте своего Олимпа на ребяческую суету человеческого муравейника, который копошится под громовыми тучами. На эту улыбку и взгляд можно бы ходить, как на представление великого артиста. Если бы Барнум жил в то время, он откупил бы их.

Как моряк, Подсохин любил рассказывать о корабельных снастях и эволюциях тем, которые этого не понимали. Побывал он некогда в Лондоне, и потому, когда ему случалось играть в бостон, при объявлении пришедшей игры, иначе не произносил ее, как английским

выговором: *бостон*. Если ж другие, не бывшие в Лондоне, подражали ему в интонации и в произношении этого слова, то взгляд и улыбка его были *отчасти* такие, какими он награждал сестру свою за простодушные замечания ее при слушании его сочинений.

Можно сказать, что в Подсохине были два человека: один — хороший отец семейства, домовитый хозяин, исправный офицер, примерный судья; другой — чудака, в арлекинском, писчем сюртуке, воображающий его цидероновской тогой, всегда на ходулях, самолюбивый до безрассудства. Когда он в обществе рассуждал о чем-нибудь, он говорил просто, ясно и умно, шутил, не оскорбляя никого, умнейшему собеседнику всегда уступал первенство. Как он писал, мы уж видели.

Подсохин любил Максима Ильича. Зная, что тот имел хорошую русскую библиотеку, и потому, полагаясь на вкус обладателя ее, не обошел его чтением своих произведений. Действительно, Максим Ильич, одаренный от природы чувством добра и красоты, изощрив его беседами с Новиковым и чтением книг, мог понимать, что такое сочинение Подсохина. Но, уважая в охотнике писать высокие душевные качества и столь же прекрасную жизнь, служебную и частную, не желал нарушать его самодовольства, так приятного для него и ни для кого не обидного. Он знал по опыту, что Подсохин не станет мстить, если б сделали ему неприятные замечания — добрая душа предводителя была выше мщенья, — но желал лучше пожертвовать часом скуки, нежели огорчить его этими замечаниями. И потому, искренно преданный человеку, хвалил творения писателя. Надо сказать еще, что в отношениях к людям, которых Максим Ильич любил, он был особенно мягок и податлив.

Имел еще друга предводитель, холоденского соляного пристава. Этот был философ, как и прозвали его, и напрямик сказал Подсохину, что по книжной части не далек, а до письменной и подавно не охотник. Такая разница вкусов не мешала им, однако ж, быть душевными приятелями. Соляной пристав и его дочка стоят, чтобы им посвятить особенную тетрадь.

СОЛЯНОЙ ПРИСТАВ И ЕГО ДОЧЬ

I

На самом высоком месте берега Холодянки, там, где она уходит в М—у-реку, в нескольких саженях от одинокой, полуразвалившейся башни, стоял деревянный домик. Три окна, глядевшие на клочок улицы, упирившейся в берег плетеною изгородью, четыре — на другую улицу, которая вела к соборной площади, и вышка в одно окно, называемая ныне мезонином, предупреждали, что и внутри этого смиренного здания не найти большого простора. В самом деле, на нижнем этаже были только три комнатки, да в верхнем одна светелка. Избушка на курьих ножках для кухни, прибавьте навес для дров, — вот все строение, которое увидели бы на дворе. Даже не было собачьей конуры, неминуемой при каждом доме в Холодне. Хозяин не любил звука цепей и сиплого, иногда бестолкового лая и потому держал на воле собачонку, исполнявшую зато свои обязанности получше цепного сторожа. Домик был однако ж внутри и снаружи опрятен. Не видать в нем было, как это случается в жилище бедного чиновника, разбитых стекол, заменяемых бумагой, на которой прохожие могут читать многозначщие глаголы Фемиды: репорт, вследствие просимости, учинить следующее, об утонутии крестьянина, городничий и кавалер и т. п. Можно даже сказать, что домик глядел весело. Петушась на самом высоком месте города, он будто говорил: «Видите, куда взлетел! Мал, да удал!» К тому ж мысль, что тут живут добрые, беленькие люди, придавала ему и ту привлекательность, которой он

сам по себе не имел. Заметьте, сколько бы дурной человек ни украшал своего жилища, оно все-таки пасмурно смотрит. В нем часы под богатой бронзой бьют как-то уныло, фарфоровые пастухи и пастушки невесело смеются, мрамор давит; кажется, из-за шелковых занавесок выглядывают рожки злого гения дома.

Ко двору примыкает садик. У входа в него можно сосчитать число его яблонь, кусты сирени, пионов и желтого шиповника. Беседка из акаций единственное его украшение. Но стоит только подойти к скамейке на берегу реки, и вам трудно оторваться от картины, которая с этого места перед вами разворачивается. Прямо из лугов выбегает широкая река, идет распахнувшись на город и вдруг, остановленная берегом, на котором держится старый Кремль, поворачивает углом под плавающий мост, через нее перекинутый. Как эти воды иногда оживлены! Огромный караван судов гуськом тянется по ним, пустив по ветру разноцветные ленты своих мачт. Берега осыпаны роями лошадей, ползущих на высоты или сбиваемых с высот натянутою как струна бичевой. Слышны повелительный голос рулевого, повист коноводов, всплеск бичевы, отрясающей с себя зеленые пряди скошенной ею водяной травы, торопливые крики испуганных куликов. Вдали, на темной глади реки, мелькает белое, едва заметное пятнышко; вот уж словно лебедь широкою грудью разрезывает струи, сцепляется с другим товарищем, опрокинутым в воде, поднимает крылья... Нет, это летит, надувшись, парус — все ближе и ближе; упал, и перед вами является бедный остов рыбацкой лодки; на кривой мачте ее мотается кусок полотна с заплатами. Лодка причалила к берегу; перекинутая с нее доска установила между ними сообщение. Вот взбирается осторожно по этому мостику дорожная горожанка в блестящем кокошнике, с кулечком в руках. Рыбак сеточкой вытащил из садка рыбу, будто груду серебра. Избран в жертву огромный пестрый налим. Захваченный мощными руками, он открыл пасть свою и, как змей, вьется в них. Между тем жена рыбака достала из-под кормы спеленатого ребенка и, присев на первую доску, стала кормить его своею грудью, на которую из-под клочка паруса упал солнечный луч.

Целая идиллия!.. Живой мост гремит и катит клубы пыли. За лугами, к сосновому лесу прижалась белая ограда монастыря, и среди нее высится разноцветная купа церквей; золотые звездочки крестов искрятся на темном фоне леса. Кое-где по сторонам выползает из-за горки деревушка или цепляется по берегу оврага. Дорого бы дал богатый человек, чтобы перенести в свой парк великолепные руины башни, которыми владелец домика пользовался даром. Камни этих развалин, упавшие на межу садика, служат его хозяину скамейками; время покрыло их густым, разноцветным мхом, как барсовую кожу. Внизу под башней шумит мельница. Ее-то Ваня видел из дома на Запрудье и воображал жилищем сердитой колдуньи, которая беспрестанно стучит своими костылями и ведет схватку с любимой его Холодянкой. Речка несколькими каскадами бросается на колеса, упадает в омут, закипает белую кипенью и потом бесчисленными нитями убегает в изгиб М—ы-реки, как будто испуганная стая рыбок бросается в одну сторону, сверкая серебром и золотом своей чешуи. Мимо башни влево спускается широкая дорога к низменному берегу Холодянки и провожает ее до самого моста, переброшенного через речку. Здесь идет почтовый губернский тракт, со всеми живыми и мертвыми сценами, происходящими на подобных дорогах, в уездном городке. Через реку, еще левее, видны, как на блюдечке, Запрудье, деревни и те живописные поля, рощи, овраги, которые Ваня любил посещать со своим дядькой. И ночью как хороша картина с межи садика! На М—е-реке тихо, будто она отдыхает после дневной работы под грузом судов. По ней скользят двойники рыбацких лодок, иные с огненным лучом, отражающимся в воде; на берегах пылают костры, ярко освещая группы, теснящиеся около них в разных положениях. Месяц заглянул в амбразуру башни и дает живописный свет и тень развалинам. То едва слышен однострунный, как маятник, плеск волны, бьющейся о берег, то сдержанная мельница лениво шумит, будто в просонье. И вот, где-то в саду или клетке, зажурчал соловей, застонал, замер в неге своей песни и вдруг об-

дал окрестность огненной трелью, от которой встрепенется ваша душа.

Кто ж был хозяин этого уголка? Подайте нам его имя, отчество, фамилию, должность или звание! — скажете вы. Признаюсь, я всегда запутываюсь в этих названиях. Одна русская школьная память, которая затверживает тридцать страниц, без пропуска единого слова, из вступления во «Всеобщую историю» Шрека, в состоянии удержать в своем мозговом хранилище имена и отчества целой фаланги лиц, о которых вам в жизни приходилось слышать и с которыми случалось вам говорить или переписываться. Что ж делать? Пусть будет, как принято обычаем, а то, пожалуй, назовут меня отщепенцем от всего родного.

И потому скажу, что хозяин домика и сада был соляной пристав Александр Иванович Горлицын. Отец его, майор времен Екатерины, при ней начал, при ней и кончил службу вместе со своим земным поприщем. Александр Иванович едва помнил добродушный, приветливый образ матери, которую потерял, имея пять лет, но глубоко врезались в его памяти и сердце предсмертный поцелуй ее ледяных губ и ее последнее благословение. Суров с вида был отец, но и на пасмурном его лице мальчик угадывал иногда грусть нежной, любящей природы; среди редких его ласк замечал на глазах его невольную слезу, которую старый воин тотчас старался скрыть от сына. Отпуская Сашку, как называл его, в кадетский корпус, отец сказал мальчику: «Будь честен, что бы с тобою не случилось, какую бы ты службу не нес. Честь — все равно, что девичья слава: не возвратишь, потеряв ее однажды. Помни, мать смотрит за тобою с того света. Забудешь мое приказание, не будет тебе моего благословения ни в здешней, ни в будущей жизни». Узнав впоследствии, что кадет унес у своего товарища какую-то малоценную вещицу, выпросил его к себе на дом и наказал так, что мальчик слег в постель. Когда ему попеняли за слишком жестокое взыскание, он отвечал: «Лучше хочу видеть сына мертвым, чем негодяем». Старик умер, успев однако ж обнять своего сына офицером. Доброе имя, домик в Холодне, пятьсот рублей и семья людей, состоящая из

жены и мужа средних лет с двумя малолетними детьми, мальчиком и девочкой — вот все наследство, которое осталось после отца. Александр Иванович был исправный офицер, делал несколько походов и уже в штабс-капитанском чине, в турецкую войну, получил в ногу рану, от которой стал прихрамывать и вынужден был выйти в отставку.

Оставленным наследством нечем было жить, тем более что он, во время квартирования его роты в Нежине, женился на дочери одного тамошнего грека, за которую приданого было только красота и доброе сердце. Она полюбила в нем привлекательную наружность, открытый характер и любовь его. Плодом этого брака была одна дочь. Несмотря на различные лишения и недостатки, Горлицын прожил двенадцать лет с женою, как один счастливый день. Кате было десять лет, когда она потеряла мать; но одаренная от природы нежною и привязчивою натурой, несмотря на свой детский возраст, сохранила в душе своей грустные впечатления этой потери, оставившей надолго следы на задумчивом ее лице. Горлицын был убит потерей жены и мыслью, что он, часто затрудняясь в приискании себе насущного пропитания, не может ничего для довольства и воспитания дочери, которая сделалась для него еще дороже после ужасной его утраты. Испытав напрасно разные хождения по лестницам сильных особ, он вспомнил, что один из его корпусных товарищей, с которым был в дружбе до того, что поменялись крестами, имел родственные связи с людьми знатными и сильными и шел быстро в чинах по гвардии. Мысль, что через него приютит дочь в институт под покров самой императрицы и, может быть, добудет себе местечко с порядочным жалованьем, заставила Горлицына обратиться к прежнему своему товарищу. Ответ был в четырех словах: «Приезжай поскорее, мой друг!» Вот направил он с дочерью свой путь в Петербург. Нельзя сказать, что он совершил это путешествие на долгих, потому только, что ехал на одной лошадке, которою управлял слуга, готовый, как и всякий русский человек, на все должности и мастерства. Ныне он тачает сапоги, завтра играет на скрипке или списывает Брюллова карти-

ну. Надежды не обманули Горлицына. Крестовый брат, несмотря на то, что стоял уже высоко, принял его с открытыми объятиями, но не остановился, как часто бывает, на одних изъяснениях дружбы, а спешил доказать ее на деле. Дочь вскоре была принята в казенное воспитательное заведение, а отец получил где-то место смотрителя значительной больницы, весьма выгодное по понятиям благодетеля. «Человек в такой нужде, как Горлицын, — думал он, — поневоле воспользуется благовидными доходами, которые обещает это место». Ничуть не бывало. Этот честный чудаков пользовался только своим жалованьем и квартирой с отоплением и освещением и думал единственно о том, как лучше успокоить и призреть страждущих, вверенных правительством его заботам. Он почитал страшным преступлением урезать что-нибудь от содержания больных или дать им худую пищу. Но этот странный образ управления больницей сначала изумил некоторые лица, потом породил в них намерение столкнуть глупца с места, которое было не по нему. У них был отнят кусок хлеба, а этот кусок доходил у некоторых до хорошего золотого прииска. Такого рода люди удивительно ловки, даже гениальны в искусстве подшибать людей, которые не по ним. Горлицын через два-три года потерял свое место — каким образом, было бы грустно рассказывать. И вот решился он, скрепя сердце и ни на кого не жалуясь, прибегнуть опять к своему другу и благодетелю; и опять этот друг, пожурив его за аркадскую простоту (он хотел сказать, глупую честность, но язык не повернулся на это выражение), выхлопотал ему место соляного пристава в Холодне. Чего ж лучше для Горлицына? Здесь была его родина, здесь он имел и собственный домик. Приехав на место, он принялся за исполнение своих скромных обязанностей, при скромном жалованье, так же усердно и честно, как он делал и прежде. Предместник его, прослужив на этом месте десять лет, свил своим птенцам теплое гнездышко. И немудрено: в Холодне, как я уже сказал, солили большое количество мяса на Англию. На это намекали не раз Горлицыну люди, желавшие ему добра, навязывали ему *благодарность*; но намеки и благодарность скоро

перестали его беспокоить, когда увидели, с кем имеют дело. В маленьких городах, в которых, кажется, и сами дома насквозь видны, где узнают, что у вас каждый день готовится в горшке или кастрюле, также скоро узнается и нравственность человека. Спросите, приехав в любой из этих городков, первого лавочника, первого трактирного слугу, каков такой-то, и, если вы не ревизор, против которого заранее подведены все подступы и приготовлены все камуфлеты, лавочник и трактирный слуга верно опишут вам человека с ног до головы. Вскоре граждане прозвали Горлицына честным и, что для них значило одно и то же, простым человеком.

Но сыскались и недоброжелатели, хотя Горлицын никого не оскорбил, ни о ком дурно не отзывался, ни в какие дразги и сплетни не входил. Пуще всех закопошился приказный люд. Пошли толкования о том, как это и зачем такой странный человек появился в их городе. Кто говорил, что он с придурью, другие — что по виду не замутит воды, а исподтишка готов всякого укусить, что имеет замыслы не только на свою родную сторону, но и на весь род человеческий: хочет, дескать, перевернуть весь шар земной. Находили его улыбку подозрительной: иезуит, надо быть, или фискал. Были даже люди, которые сомневались, подлинно ли он русский: такие-де чудаки у нас и не рождаются. Должно быть, какой-нибудь самозванец под фамилией Горлицына.

— Русский-то он русский,— порешил стряпчий с бельмом на глазу.— Действительно он родом из Холодни. Мы с Сашкой и в бабки игравали. Такой азартный был: того и гляди, норовит гнездо стащить.

— Что ж он такое? — спрашивали его.

— А вот извольте видеть, вольтерьянец, философ, прости мне Господи! (Тут решитель уездных судеб сделал рукой какие-то таинственные знаки на груди.) Нахватав фармазонской науки, да и пустился в вольнодумство.

На том и кончилось по приговору стряпчего, что Горлицын философ, хотя многие и не понимали этого слова: с того времени и пошел он слыть в городе под этим названием.

По приезде Александра Иваныча в Холодную явился к нему Пшеницын. Так как соляная поставка на всю губернию производилась через Максима Ильича с товарищем, то он, верный установленному порядку, почел долгом принести новому приставу свою *акциденцию*.

— За что даете мне эти деньги? — спросил Горлицын. — Не смею думать, чтобы вы, сударь мой, хотели меня подкупить на бесчестные сделки: вы не таковы — я слышал о вас от предводителя дворянства. За исполнение моих обязанностей? Мне за них государь дает жалованье. Служба — не торговля. По крайнему моему разумению, я понимаю ее так: не знаю, как понимают другие.

— Это так водится, — отвечал, краснея, Пшеницын, смущенный неожиданными суждениями философа.

— Не обижаюсь вашим приношением, если оно было сделано по заведенному порядку. Но, сударь мой, вы меня извините: я не брал до сих пор взяток и не хочу теперь начинать, даже под самыми благовидными предложениями. Может быть, оно и глупо, но что ж делать? Это в моей натуре. Бывают разные странности. Вот я слышал, ваша супруга... Прасковья Михайловна — кажется, так имеют честь ее называть?

— Точно так. Вы хотите сказать, она боится птиц, когда летают по комнате. Кажется, медведя в лесу не более бы испугалась. Что ни делал, ничем нельзя было отучить ее от этой странной боязни.

— Вот видите, кажись, птичка — маленькое, хорошешенькое Божье создание, может статься, и певунья, утешала в клетке вашу супругу... Говорят, бойкая, бесстрашная барынька, а изволите видеть, пташка боится. Еще доложу вам, у меня малый — принимал сейчас с вас шубу — поверите ли, не может есть садовых ягод. Думал сначала, блажь на себя напустил для проказ, да и накорми его смородиной. Что же, сударь ты мой, сделался нездоров, инда я сам испугался. Понимаете меня, Максим Ильич?.. Теперь об этом на веки веков ни словечка, я ни гу-гу, вы тоже... Обнимемся, да будем вешать с вами соль, как стрелка на весах и на совести

указывает, ни на мою, ни на вашу сторону, и останемся навсегда друзьями.

Пшеницын горячо обнял соляного пристава, даже с уважением поцеловал его в плечо и вышел от него, как ошеломленный. С того времени согласие между ними не нарушалось.

Действительно, Горлицын был философ, мудрец в своем роде. На одном жалованье, которое получал, не мог он жить в довольстве. Да о довольстве Александр Иваныч и не думал, лишь бы к истечению года концы с концами свести, да ложась спать, благодарить Бога, что услышал молитву его: «Хлеб наш насущный даждь нам днесь... и не введи нас во искушение». И доходил он до исполнения своих умеренных желаний, сжимаясь, тесняясь, отказывая себе во многом, что другим было обыденною потребностью, а для него роскошью. Занимая верхний этаж, как он называл светелку с перегородкой на вышке, он отдавал в наймы за небольшую плату нижний этаж одной барыне — правда, скрепя сердце, потому что она была большая сутяжница, имевшая у себя притон подъячих. Впрочем, эти деньги откладывал для Кати в особенный секретный ящик. Одного из членов семейства, доставшегося ему по наследству, малого лет двадцати, отдал он в услужение кому-то за очень скромную плату. Девушка из этого семейства находилась в учении у портнихи. Оставались при нем старик и старуха, которых называл он Филемоном и Бавкидой. Женская половина исполняла должность кухарки и прачки, а мужская, как я уже сказал, — все должности. Из любви к своему барину, Филемон сделался портным и сапожником, чтобы не отдавать на сторону шить платье и сапоги, а когда Александр Иваныч намекнул ему, что не худо бы к приезду барышни выучиться и дамские башмаки шить, — выучился препорядочно и этому мастерству. Платье Горлицын носил из толстого сукна, да и то, приходя домой, снимал, а на место его облакался в какой-то инвалидный ситцевый халат, давно отслуживший свой законный срок. Правда, была у него пара из щегольского английского сукна, которую не без труда и уловок подарил ему бывший корпусный товарищ, но

ее надевал он только в двенадцатые праздники. Он берег это платье как драгоценность, чтобы показаться в нем во всем блеске перед дочерью. Крепко наказывал он своему слуге почаще перебирать его, чтобы не забралась в него моль, приговаривая: «Ведь институтка, сударь ты мой, Ричард ты мой возлюбленный, петербургская барышня, не то что здешние уездные девицы какие-нибудь, орешки себе грызут. Надо при ней и поприличнее себя показать, не удариться в грязь лицом. Красавица она у меня: разумница, ангелочек!» При этом от восторга, что имел такое сокровище, пощелкивал пальцами, трепал своего старого слугу по щеке, потом охорашивался, смотря в зеркало, и подпирал руку в бок. Как будто молодец собирался на любовное свидание! А верный Ричард хотя и улыбался на радостные выходки своего господина, однако ж думал про себя: «Чем-то, голубчик, будешь содержать петербургскую барышню? Чай, неженка, не по нутру ей будут наши щи да каша». — Действительно, Александр Иваныч не был прихотлив на кушанье: ел то, что ели его люди; только дозволял себе чай вместо лакомства. Мог бы он обойтись и без своего стола, потому что его беспрестанно приглашали: то предводитель Подсохин, то Пшеницын откусать у них хлеба-соли. Первый жил от него в нескольких сажнях, нередко захаживал за ним и, провозглашая ему, что наступил адмиральский час, почти силой увлекал его к себе. И на этот счет Александр Иваныч был очень деликатен, если не горд; хаживал обедать к тому и другому, но чаще к предводителю, с которым не имел служебных отношений, а иногда решительно отказывался от трапезы того или другого за делами или нездоровьем. «Разве нет у меня своего куска хлеба? — говорил он Филемону. — Не в нахлебники же идти! Хоть щей горшок, да сам большой». Провизию Горлицын ходил сам покупать. Зато с этого простого, совестливого господина лавочки, в уважение этих достоинств, брали, без зазрения совести, лишнего по копейке с фунта. Видали иногда, как он, прихрамывая, плетется поутру с кулечком в руках, из которого выглядывала то нога баранья, то рыбий хвост или огородная зелень. Если в это время

встречалась с ним знакомая дама, он останавливался и, закинув левою рукою кулечек за спину, подходил к ручке прекрасной особы. Пожелает ей доброго здравия, тут же успеет сказать несколько приветствий насчет ее красоты и любезности. Кулечек с мясом или рыбой не очень нравился некоторым прихотливым особам, которые, однако ж, дома не стыдились белыми ручками таскать своих девок за волосы, напомаженные коровьим маслом; но потом попривыкли они к кулечку, в уважение того, что Александр Иваныч все-таки прережливый и приятный кавалер.

Покончив свои служебные обязанности, он уходил в свой садик, сажал плодовые деревья, цветущие кусты, сам ухаживал за ними в поте лица, как исправный садовник. «Вот,— говорил он сам с собою,— приедет Катя, сорвет румяное яблочко с дерева, скушает его и подумает: ведь папаша приготовил ей эти яблочки. И цветочками полюбуется, да приколет к груди или в черные свои волосы,— как хороша будет голубушка в этом наряде!» Выпросит иногда книжечку у Пшеницына, только с уговором, чтоб не сказывал охотнику писать, да почитает иное хорошенькое сочинение, раз и два, а как приедет к нему Подсохин, поспешит спрятать под подушку, будто запрещенный товар. «Очень понравилась мне эта книжечка,— скажет Пшеницыну,— как приедет Катя, попрошу у вас опять». Подчас заглянет в секретную шкатулку и сосчитает в ней крупную и мелкую монету. Вот уж накопилось в Катин банк пятьдесят рублей; авось к приезду ее накопится еще столько же. И радуется он, как дитя, этому богатству дочери. А получать ее письма, перечитывать их по несколько раз, перебирать нежность и силу каждого словечка, будто разные лады музыкального инструмента, было для него высочайшим наслаждением. Для этого занятия запирался он на ключ, чтобы кто-нибудь не помешал его восторгам. Он целовал эти письма втайне, как нежный любовник, клал их, засыпая, под подушку, авось приснится ему Катя. Радовался он, что милое дитя его здорово, делает успехи в учении и переходит все в высшие классы. «Вот,— думал он,— осталось ей годик побыть в институте; вот

уж и несколько месяцев». Ждет и не дожидается времени, когда обрадует его своим приездом. В этих сладких надеждах он забывал, что этот прекрасный цветок может поникнуть головкой под непогодами тяжелых нужд, которые он, привыкший к ним, так безропотно переносит. Всегда довольный, всегда улыбающийся, Горлицын, кажется, и горестей никаких не знал. Разве сядет один-одинехонек под сводом ночного неба на садовую скамейку и раздумается о своей покойнице. Глядит на небо и ищет между звездочками, в которой-то из них живет душа ее. Кажется, ждет он, не взглянет ли оттуда она, не подаст ли голоса или хоть знака. Вспомнит про нежную ее любовь: целая, прекрасная жизнь с нею пройдет перед ним; остановится на некоторых драгоценных часах и даже минутах. Грустно и сладко ему станет, и горячие слезы потекут из глаз его. После того легче ему бывает возвращаться домой, как будто он в самом деле видел свою бывшую подругу, будто беседовал с ней и с веселым лицом встретит своих домочадцев.

Так прошли три-четыре года его пребывания в Холодне. Здесь никто из его недоброжелателей не смел посягнуть на его место, потому что сам губернатор, наслышавшись об его бескорыстной службе, приказал своему чиновнику, ехавшему в Холодную, поклониться соляному приставу. Воздаяние чести только одному честному сильно действует на нравственность должностного общества. И потому этот необыкновенный знак внимания такой высокой особы к такому мелкому чиновнику заставил прикусить языки, изощренные против Горлицына, и забил тревогу в нечистых душах. Многие из прежних его противников стали заискивать его доброго расположения.

Был день летний. Александр Иваныч работал в своем саду, когда Филемон принес ему письмо с почты. Слуга к этому прибавил: «От Катерины Александровны». Он не знал грамоты, но так уж привык к почерку своей барышни, что мог его сейчас угадать. «От Кати!» — сказал радостно Горлицын, бросив свою лейку, облив себя порядком водой, и, как делал обыкновенно в важных случаях, перекрестился.

Дрожащими руками разворачивает он письмо, сердце его необыкновенно бьется; читая, он несколько раз переводит дух. Катя пишет, что здорова, что кончила курс своего воспитания. Государыня при выпуске сделала ей денежный подарок, и, что для нее дороже всего, наградила ее такими приветливыми словами, которые на всю жизнь залягут в ее сердце. Выпущенная из золотой клетки, птичка прилетит через три недели на родное холодненское гнездышко и припадет к груди отца. Она будет ехать до Москвы с подругой и матерью ее, а в Москву надо уж будет послать *своих* лошадей и прислугу, именно в такой-то день... Александр Иваныч, вне себя от радости, велит позвать Матрену Бавкиду, читает своим домочадцам письмо во всеуслышание, толкуя им силу каждого выражения. Немного запнулся было на словах: «*своих* лошадей»; легкая тень набежала на его лицо и сейчас исчезла. Он махнул рукой, промолвил: «Не беда, найдем славную тройку!» При этом случае Филемон спросил барина: «Где ж, по приезде, изволит проживать Катерина Александровна: не в одной же комнате с ним». «Отказ Четкиной, сейчас отказ», — закричал Горлицын так, что едва ли не слышала эти слова барыня, нанимавшая у него покои. Слуга покачал головой и скорчил жалкую мину в знак того, что этот подвиг не скоро можно будет совершить. И в самом деле нелегко было выкурить со двора барыню-сутяжницу.

Перезрелая дева, майорская дочь Четкина, была сама по себе на подъем тяжела. Тучная, обремененная несколькими уродливыми выступами, она не иначе вставала со своего сиденья, как с помощью двух дюжих девок. Ноги ее отекали, и потому, чтобы не стеснять их, носила башмаки с приплюснутыми задками. Когда же майорская дочка покоилась на своем седалище, при ней находилась неотлучно на полу живая машинка, лет десяти девочка, непрерывным трением возбуждавшая в них обращение крови. Если же машинка от усталости останавливалась, госпожа, со своей стороны, возбуждала в ней движение добрым пинком ноги, а иногда пугала ее, что татарам продаст. Калмыцкий облик, совиный взгляд, черные с проседью усы, которые щети-

нились, потому что нередко подвергались острию ножиц, голос резкий, ударявший в уши, как свист паровика, возбуждали в созерцателе этих красот не очень приятное чувство. Приемная комната ее походила на канцелярию: в ней вечное сонмище подъячих, вечное совещание об исках, пропажах, проторях и убытках, беспрестанный шелест от переворачивания листов и неумолкаемый скрип перьев. То оттягивала она несколько сот душ за крестьянина, который от предков ее, во времена Петра I, бежал к одному помещику; то требовала пол-уезда, на основании малейшего сходства названий пустошей или угодий, которыми владела ее прапрабабушка; то заложит в двое рук землю свою и старается отделаться от кредиторов, будто за несоблюдение законных форм. Во всех актах, которые она совершала, оставляла всегда лазейку для процесса. Придет к ней родственник или знакомый, для того только, чтобы, при будущей встрече с ней, отделаться наперед от какого-нибудь дерзкого приветствия, и начнет она душить посетителя своими делами.

Вообрази, батюшка, — говорит, — какой клад послал мне Господь на днях. Еду я из своей пригородной деревни. Вот, видишь, переезжаю речку Перекусиху, что за деревней Бабий Нос. А тут, видишь, в горку ужасенные сыпучие пески. Вечно умаешь на них лошадок... как приедешь домой, уж все велишь лишний гарничик засыпать, а овес, знаешь сам, в прошлое лето не уродился у меня. Скажешь, Божья воля, батюшка. Что за Божья воля? Мошенник староста Сидорка поморил господских коровенок, земли истощали. Уж и проучила же его порядком — с новотела корову под красную шапку; тьфу ты пропасть! корову... сынка его под красную шапку, а корову-таки привели за рога на господский двор. Вору вперед наука!.. Скотина славная — немудрено, господским добром разбойник откормил — по ведру молока дает... За то велю каждый раз при мошеннике Сидорке доить ее...

— Что ж, матушка, клад-то ваш? — перебил ее посетитель, боясь, чтобы она в увлечении своего рассказа не довела его до колыбельных пеленок своих.

— Так вот, батюшка, едем по пустоше Семенихи-

не. А тут, знаешь сам, наколесил нечистый дорожек промеж кочек, словно гнездо змеиное расплозлось, куда попало. Проклятое место! В недобрый час лесовик закружит тут прохожего или проезжего, так что столбняк нападет... Вот едем мы. Стала меня дрема томить — от жару, что ли, аль блинками нагрузилась. Хочу, хочу перемочь себя, а глаза так и липнут, будто медом кто их намазал. Осунулась, да и окулись в мертвый сон. И вижу во сне, вот словно тебя, батюшка,— стоит передо мною старец, седенький, худенький, немудреный такой, шапка облизанная, да и говорит мне: «Сестра Олимпиада, слышь, сестра Олимпиада, восстань с одра. Много лет ищешь ты урочища «стыдно сказать», что отнял у твоего прадедушки незаконными путями сенатский курьер Лизоблюдкин, много денег потратили межевым, а все попусту. Жаль мне тебя стало, бедную, сизую голубицу; хлопчешь, многострадалица, за грехи отцов твоих, и в девичестве из того пребываешь. Вот и привел я тебя к урочищу «стыдно сказать», клад у тебя под ногами, а ты спишь, неразумная?» Испужалась я и обрадовалась; хочу, хочу встать, не могу, словно меня веревками связали по рукам и ногам. Рассердился старик, да и толкни меня посошком в зубы. Встрепенулась я. Смотрю, овод так и снует перед глазами, а губу всю раздуло в грецкий орех. Кучер-мошенник спит, подлец-холоп спит, вот этот постреленок спит (тут указала Четкина на живую машинку, у ног своих), лошади стоят у какой-то ямы, понуря голову, и спят. Места незнакомые, на веку моем видом невиданные! Грех таить, пощипала я-таки порядком девчонку, зачем спала, да пуще всего, зачем не доложила барыне, что кучер спит, а кучера своей владычной рукой потузила по загорбине. Сама люблю, батюшка, управляться — дело хозяйское! Уходила на нем сердце, протерла себе глаза, знать от сна заплыли, и вижу у ямы прижался к межевому столбу мужичок — седенький, худенький, шапка общипанная. А за столбом целая палестина с рожью — частая, густая, словно кудель, колос-то, а колос-то, поверишь ли, батюшка? С добрую четверть, инда матушке бедной тяжело головкой покачивать. Меня дрожь

так и проняла, говорю мужичку: «Скажи-ка, добрый человек, куда это мы заехали?» А он и брякни мне с сердцем: «Урочище «стыдно сказать». Я так и обомлела. «Правду ли говоришь, добрый человек? — спросила я его. — А то, может статься, и наглубить хотел нехорошею речью». — «Баю тебе, так и зовут», — сказал он, махнул рукой и поплелся по меже. Вот, батюшка, десять лет искала, искала, сколько в межевых книгах порылись, а тут благодать какая, за мою добрую душу и сиротство... (Чечеткина хотела было ткнуть ногой живую машинку, да воздержалась.) Старичок пожаловал мне справочку, уж подлинно сон в руку... Землицато, батюшка, десятков тысяч стоит, да и деревеньку, что на ней поселена, оттягаем. Зато и не дремлю, не таковская голова! Уж и межевщика наняла, и поколенную роспись написали. Приятель мой, что был секретарь уездного суда, знаешь, Сопелкин, клянется и божится, что не миновать моих рук...

И начала Чечеткина описывать посетителю права свои на пустошь «стыдно сказать», и как сутяга, сенатский курьер, оттягал ее несправедливыми путями у дедушки ее. Посетитель осовел, начали чертики плясать перед его глазами, а в ушах будто били в набат. Отуманенный, оглушенный, он извинялся недосугом по служебным делам (хоть на службе нигде не состоял), и утек от майорской дочери, дав себе клятву впредь к ней не заглядывать. Чечеткина, получив в наследство от отца и брата в разных губерниях прекрасные имения, из трех сот душ состоявшая, в том числе холодненскую, довела эти имения до совершенного расстройств беспорядочным управлением и разорила себя в конце сутяжничества. Лес рубила на продажу, как попало, хлеб продавала на корню. В одной оброчной деревне крестьяне были так истощены и вследствие того так изленились, так нравственно испортились, что продали большую часть своего скота и оставляли истощенные поля свои незасеянными. С июня отправлялись они целым обозом, будто цыганский табор, в одну из степных губерний для сбора на годовое прокормление свое. Из таких периодических путешествий они сделали даже род промышленности. Надевали опаленные кафта-

ны, намазывали себе лицо сажей, и с женами и малолетними оборванными детьми бродили врассыпную по деревням, возбуждая жалость хлебных степных мужичков историю своих пожаров. Обильные подаяния сыпались в их телеги. В одной из деревень или в лесах имели они свой притон, где делили, без обиды один другому, плоды своего промысла. А на возвратном пути собирали в городах и денежное подаяние. В таких случаях останавливались днем за городом и проезжали его ночью. Прибыв же в свои дома с возами, нагруженными всяким хлебом, и с туго набитыми кошельми, пропитывались до будущего подобного путешествия, а из денежного подаяния уплачивали кое-как оброк и пропивали остальное в кабаках. Майорская дочь знала все это очень хорошо, но смотрела сквозь пальцы на бродяжничество своих крестьян. В подгородной деревне состояние мужичков, довольно работающих, держалось еще, как подгнившее дерево, которое скрипит от малейшего ветра, но еще дает зелень и плоды. Однако ж, и там собственное хозяйство Чететкиной было запущено. Скота приходилось у нее на три десятины по одной штуке, да и тот был заморенный. В полях она никогда сама не бывала. Луга ее травили чужие крестьяне, между тем любила, чтобы ее скот пользовался кормом на соседних паствах, а иногда и в чужом хлебе. Дом был у нее каменный, двухэтажный, но обгорелый. Слышно было, что его подожгли в ее отсутствие пьяные дворовые люди. Сама она проживала в бане. Зато уцелело от огня деревянное здание, сколоченное из досок, в виде башни, в котором собирала Чететкина помадные банки, пузырьки, бутылки, обломки железа, половинки изразцов, заржавленные гвозди и всякую подобную рухлядь. Тяжелый замок оберегал это сокровище от хищения, да при здании этом, денно и ночью, неотлучно находился переменный сторож. Жестокая кара пала бы на этого сторожа, если б он в урочное время не постукал в чугунную доску, висевшую у башни. Обо всем, что делалось в ее отсутствие, знала Чететкина от своих шпионов в юбке, которые, с приездом ее в имение, тотчас рапортовали ей со всею подробностью; разумеется, ей докладывали об одних мелочах, а важные хищения

и злоупотребления начальствующих лиц, бывших в кумовстве, сватовстве с этими женскими соглядатаями, закрывались очень осторожно. Птичница украла несколько яиц и прибила почти до смерти любимого барышнина индюка; дворовая девка выдрала за волосы так называемого крестника майорши, а может быть, и более близкого ее родственника; пьяный мужик выбранил барыню мотовкою и колотыркой,— таковы были, большею частию, доносы преданных ей лиц. Особенно любила Четечкина слушать скандальные истории соседей и даже дворовых людей и крестьян. Наконец, Четечкина дошла до того, что все мнение ее было заложено и перезаложено. От кредиторов бегала она из одной деревни в другую или в Холодную. Когда она жила в деревне, ее писали в такой-то губернии; когда пребывала в такой-то губернии, объявляли, что обретается в Холодне. Даже раз отозвались, что уехала в Томск. Все состояние ее висело на ниточке, которую порвать мог первый аукцион. Между тем Четечкина отыскивала земель с пол-уезда и деньгами сотни тысяч.

Вот эту-то особу нужно было Горлицыну выжить из своего дома. Нелегка была задача.

— Беспокоит меня, дочь заслуженного майора, для какой-нибудь девчонки, дочери соляного пристава! — кричала она в окно, когда мимо ее по двору проходил хозяин дома: — это ни на что не похоже; это одна бестыжая харя может сделать! Да я не позволю над собой насмехаться. Я поеду к самому губернатору. Он троюродный брат моей двоюродной тетки. Какой ни есть хромой Иваныч должен бы, из уважения ко мне, загодя, хоть за несколько месяцев, объявить. Нет, батюшка, со мной шутить нельзя, не таковская досталась тебе. Заплатишь мне за протори и убытки.

Горлицын не расслышал и половины этой филиппики, потому что в самом приступе заткнул себе уши. Так и после делал, проходя мимо окон Четечкиной.

Созвала майорская дочка на совещание синклит подъячих и начала было диктовать прошение в городническое правление с жалобой на Александра Иваныча. Но только что приказный дописывал: «А о чем мое прошение, тому следуют пункты», как явился к самой

Чечеткиной сам предводитель дворянства. Он убеждал ее оставить хоть этот процесс, грозя, в противном случае, присоединить некоторые новые нечистые дела ее, дошедшие до его слуха, к тем, которые были уже в ходу. Надо было видеть, как засверкали ее совиные глаза, как зашевелились ее усы и разразился крик ее паровика. Подсохин не вынес и бежал из дому. Но вслед за ним девица Чечеткина, зная свои грешки, одумалась и, убежденная одним из задушевных вождей ее процессов, переехала на другой же день на новую квартиру, поближе к присутственным местам. Только оставила Горлицыну письмо. В нем вывела по пунктам, что, вследствие варварских и неслыханных гонений ее со двора, лишения ее несколько дней пищи и несколько ночей сна, не смотря ни на пол, ни на девическое, сиротское состояние и высокое звание ее, и вследствие неминуемых через то расходов на переезд, в том числе и за гербовую бумагу на прошение, которое собиралась писать, она, нижеименованная Чечеткина, отказывается платить хозяину деньги за двадцать два дня, пять часов и тридцать две минуты.

Александр Иванович вздохнул свободно, когда потерял ее из виду со всем скарбом ее и челядинцами. Однако ж озадачило его одно обстоятельство. В ящике стола и на полу найдены были какие-то бумаги, иные с гербовым штампом. Опасаясь, чтобы Чечеткина не затеяла процесса о похищении этих бумаг во время переезда, он позвал к себе полицейского чиновника и просил его, освидетельствовав их и опечатав, передать майорской дочери.

— Уф! точно гора с плеч свалилась, — сказал Горлицын, отирая пот с лица, и приказал комнаты хорошенько вымыть, прибрать и выкурить можжевельником, чтобы духу майорского не пахло. После того потребовал свою дворовую девку из учения и принялся нанимать ямщиков для посылки за Катей. Уговор был, чтобы лошади были смиренные и добрые, чтобы кибитка была покойна, с просторным волчком и двойным рогожным навесом. Тройка была нанята исправная с желанным экипажем и дешево. Мудрено ли? Максим Ильич заплатил ямщику более половины денег, за которые был

этот подряжен, но умел так искусно скрыть свою услугу, что Горлицын и не подозревал обмана. Горничная засела в кибитке на почетном месте, в праздничном своем наряде, как пава на гнезде, боясь пошевелиться. Филемон, забравшись на облучек, гордо глядел с высоты на всю холоденскую мелочь, как будто ехал за принцессой крови. Сколько наказов было, чтобы берегли барышню, как зеницу ока, с гор потише спускались, по ночам не ездили, на надежных дворах останавливались! Наконец, кибитка тронулась со двора. Долго провожал ее глазами Александр Иваныч, крестя вслед ей. Затем он, вместе с молодым слугой, которого также вытребовал ради торжественного случая, принялся холить садик, проводить по нему новые дорожки, усыпать их песком, обрезать и подвязывать кусты и давать всему, сколько возможно, лучший вид. То зайдет с одной стороны, то с другой, как бы все это сделать приятнее для глаз. Портрет жены его, исполненный художнической кистью и очень схожий, был поставлен в комнату, назначенную для Катиной спальни. Этот портрет писал живописец грек, не из денег, а из любви к искусству. В проезд свой через Нежин, увидав жену Горлицына вскоре после их свадьбы, он был поражен ее типической южною красотой до того, что пожелал сохранить ее черты на полотне и написал два портрета, один для мужа, а другой для себя. К встрече Кати придумано даже было, вместе с Максимом Ильичем, чтобы Ваня сказал приезжей стихи, которые недавно читал так хорошо графине и которые общим советанием найдены приличными для произнесения на этот торжественный случай. Подсохин, узнав об этом, порывался было написать своего рода приветствие, но отделались от этого сочинения по той причине, что мальчик не любит учить на память прозу.

С трепетом сердечным стал Горлицын дожидаться прибытия молодой хозяйки, как он называл свою Катю. То выбегал по нескольку раз в день на высокий берег Холодянки и смотрел, не видать ли на мосту кибитки с известной тройкой и людьми. То доходил до самого моста и караулил тут проезжих. Везде являлся он щеголем, в нарядной паре из английского сукна, да и мало-

му своему строго наказывал, чтобы одевался как можно опрятнее и поменьше сопел, этого барышня не любит. Даже по ночам вставал с постели и, отворив окно, прислушивался, не усиливается ли звук колокольчика, временами едва отзывавшийся вдали.

Между тем вот что происходило с Катей, ожидаемой так нетерпеливо в Холодне. Во-первых, надо сказать, что отец ее не преувеличил нимало, назвав ее красавицей. Перед ней становились подружки на колени с знаками обожания. Посетители института, не смея вслух восторгаться ее наружностью, нередко останавливались перед ней, как будто изумленные собранием стольких наружных совершенств в одном лице. Даже сами женщины, увидав ее, невольно говорили: «Как она хороша!» «А что моя красавица?» — спрашивала о ней нередко государыня.

Тонкие правильные черты, возвышенный лоб, густые, черные волосы, очертание губ, едва оттененных нежным пухом, стан, рост, формы,— все в ней было изящно, роскошно. Разве прибавим, что в черных глазах ее, осененных длинными ресницами, под черными дугами бровей, почти сходящихся вместе и придававших ей несколько гневный вид, не было игривого блеска, не было неги. В них — как бы сказать сравнительно? — отражался зной летнего дня с его грозowymi тучами. Взгляд их, глубокий, вдумчивый, чарующий, налегал на вас тяжело, томительно, мог возбуждать только страсть в страстной душе, а не привлекать к себе легкие натуры. Смуглыжй отлив ее кожи, с весьма слабым румянцем на щеках, напоминал в ней кровную расу южной страны. Смотри на портрет ее матери, гречанки, которую художник с такою любовью передал полотну, можно бы подумать, что он списал его с дочери. И в характере Кати было что-то южное. Со всеми подружками своими она была хороша; но, избрав раз одну из них в друзья себе, предавалась ей совершенно и ни с кем уж более не делила своих задушевных мыслей и чувств, какие могут быть только у институтки. Для нее готова она была на всякие жертвы. Сколько раз Катя принимала на себя вину своего друга! Учению предавалась она горячо. Вне классов, когда она не за-

нималась уроками, видали ее занятою горячею беседой с ее другом, или одну, погруженную в глубокую, не по летам, задумчивость. Если ж и разыгрывалась Катя, что случалось очень редко, то это была мгновенная, бурная вспышка, которая в несколько минут пробежала электрическим током по всей веренице ее подруг и расстраивала чинный порядок заведения. Она была так добра, что готова была отдать лучшую свою вещь той, которой эта вещица понравилась. Зато глубоко принимала обиду и не скоро прощала ее. Когда она вышла из института, ей было восемнадцать лет.

В самый Петров день Катя приехала в Москву. Она застала уж там посланных отцом ее. Катя очень им обрадовалась, поцеловала старого слугу и свою новую горничную, расспрашивала их долго об отце, об их житье-бытье, о Холодне. Посланные со всею дипломатическою тонкостью старались представить все холоденское в благоприятном виде. Несмотря на убеждения своей подруги и матери ее, Катя, простившись с ними не без слез и обещав другу своему переписываться с нею до гроба, отправилась в путь с первым просветом зари.

Дорогой все ее восхищало: и живописные места, увенчанные Мячковским курганом, и крики девочек, просивших булабочки, и длинные ряды косцов в красных рубашках, рассыпанных по широким, привольным москворецким лугам, и пестрые вереницы крестьянок, раскидывавших для просушки скошенную за два дня траву. Она рукою навевала на себя воздух, напитанный ароматическим запахом трав, и с наслаждением дышала им.

Накануне лил целые сутки дождик, и ямщик, боясь вязкого пути в крутую гору у Мячковского кургана и за нею по глинистой дороге, по которой надо было плестись шагом до самых Б—ц, решил ехать окольною дорогой. Здесь (немного пониже того места, где ныне устроен плавучий судовой мост на шоссеиной дороге) был переезд вброд через Москву-реку. Ямщик ручался головой, что перевезет барышню без опаски. «Сто раз переезжал»,— говорил он. К тому ж люди Горлицына только за два дня ехали тут же без приключений. Поколебался однако ж старый слуга, снял в раздумье раз

и другой фуражку и опять надел, не преминув почесать голову. Но в то же время зазвенел чужой колокольчик. Какой-то барин, в щегольской бричке, на тройке прекрасных лошадей, догнал кибитку и смело поворотил с большой дороги на луговую. Тут слуге Горлицына нечего было раздумывать. Он приказал ямщику следовать за бричкой и не отставать от нее. Подъехали оба экипажа к берегу реки. Широко расстились по нему песчаные, голые отмели, на которых волны оставили свои следы грядями; слышен был грустный, однообразный плеск речного прибоя; по реке не ходили валы, но как-то порывисто, страшно бежали густые, как массы растопленного стекла, воды, мутные от вчерашнего дождя, и, казалось, готовы были захлебнуть все, что преграждало им ход. Вид этот немного смутил молодую девушку. Передовой экипаж, на котором откинут был верх, чтобы он не парусил, спустился в реку. Надо было искусно пробираться извилинами по гребню, образовавшемуся на дне реки, чтобы не попасть в глубокие омуты, находившиеся близ самого гребня. Правивший лошадьми должен был, как опытный кормчий, знать здесь все удобные и опасные места. Через несколько сажень господский кучер стал забирать влево, но ямщик не последовал за ним и взял крутым поворотом вправо, сказав только: «Щеголь! неладно едет; не потонуть бы им». — «Так закричи же им», — сказала испуганная Катя. Только что успела она это выговорить, а ямщик закричал: «Бери вправо, олух, дурак ты этакой, осел вислоухий, утопишь ни за что барина!» — как вся господская тройка разом погрузилась в воду, так что стали видны только головы лошадей. Бричку начало покачивать и вскоре заливать. Господин и слуга, сидевший подле него, поджали под себя ноги; ноги у кучера и сидевшего с ним рядом другого слуги болтались в воде. Казалось, эти люди плыли на каких-то обломках экипажа. Лошади боролись с сильным потоком, увлекавшим их вниз по течению реки, навострили уши и храпели, подняв свои морды. Видно было, что они потеряли под собою землю и начали плыть. Кучер, доселе молодцоватый и самонадеянный, растерялся: то ухватится одною рукой за железный ободок козел, что-

бы не свалиться с них, то дернет без толку лошадей. Голос его замер. Колокольчики уныло переговаривали по водам. «Господи, спаси их! Милосердный Боже, спаси!» — закричала вне себя Катя, высунувшись из кибитки и подняв руки. Барин, сидевший до того в каком-то угрюмом спокойствии, слышал эти слова. Он взглянул на ту, которая их произнесла, привстал разом с своего места, несмотря на то, что должен был погрузить ноги в воду, наполнявшую уже экипаж, вырвал у кучера вожжи и с окликом, огласившим оба берега, круто и сильно повернул лошадей в правую сторону. Животные, возбужденные этим повелительным голосом, казалось, получили новые силы, рванулись, куда были направлены, и грудью пошли против напора стремнины, валившей на них. Борьба была отчаянная, на жизнь и смерть! Вскоре однако ж лошади ухватились передними ногами за гребень, по которому ехала кибитка. Сначала вынырнула из воды холка их, потом показалась и спина; наконец, приподнялся и экипаж. Тут уж не было более опасности. Лицо Кати просияло: она перекрестилась. В это время бричка начинала сближаться с кибиткой. Господин, не сделав никакого замечания кучеру, спокойно передал ему вожжи. Садясь на свое место, он скинул картуз и глубоко поклонился Кате. Он слышал, как молилась спутница его, посланная в эти роковые минуты самим Провидением для его спасения, успел только мельком увидеть ее лицо, испуганное, но прекрасное, черные и выразительные глаза, обращенные к небу; потом, когда он выбрался из опасности, видел, какое радостное было ее лицо, как она крестилась, — и глубоко сохранил в душе своей эти мимолетные видения. Не могла также не оставить сильного впечатления в душе Кати ужасная картина, которой она была зрительницей. Навсегда врезались в ее памяти и сердце бегущие мутные воды, готовые разом поглотить четырех человек, и вставший из среды их статный мужчина, который, как бы могучий кормчий, схватил руль погибавшего в волнах судна и разом вынес его из опасности. Как хорош, величав был незнакомец, с распущенными по ветру волосами, среди грозной стихии, над которою, казалось, господ-

ствовал! Этот вид должен был сильно поразить девушку, воспитанную в стенах института-монастыря, где все так тихо и правильно, где все дни так похожи один на другой. Подобное зрелище могла она видеть разве на гравюре, изображающей Петра Великого на ладье, с изломанною мачтою, во время морской бури. Оба экипажа благополучно переехали на другой берег, но с этого времени щегольская бричка следовала уж за смиренною кибиткой.

Приехали в Б—цы. Тогда там не было гостиницы. Лучший постоялый двор находился на главной улице. В него въехали, одна за другою, кибитка и бричка. Из кибитки выползла сначала горничная, за нею только что успела Катя ступить на подножку, ее принял не один старый слуга, а еще незнакомое лицо. Это был спутник ее, в котором она принимала такое живое участие. Лицо его было выразительно и привлекательно. Ему могло быть лет тридцать с небольшим, но серебряные нити изредка пробирались уже в густых каштановых волосах. Катя могла это заметить, потому что незнакомец скинул свой картуз. Катя без жеманства подала ему руку свою и, сходя с подножки, вынуждена была опереться на его руку.

— Благодарю вас,—сказал он с чувством:—вам обязан я спасением своей жизни, и этого никогда не забуду.

— Помилуйте, что ж я могла сделать?—отвечала Катя краснея,—это мой ямщик... А как я перепугалась за вас!

— С тех пор могу дорожить жизнью,—сказал незнакомец, но, увидев, что спутница его еще более краснела от его слов, промолвил:—позвольте вас спросить, кому обязан я так много?

Катя сказала свою фамилию, прибавила, что едет из института в Холодную к отцу своему, тамошнему соляному приставу, поклонилась приветливо незнакомцу и быстро поднялась на лестницу. Несколько минут простоял он на одном месте, изумленный красотой своей спутницы, простотой ее манер и речи, и смотрел ей долго вслед, хотя она уже исчезла.

Он остановился в комнате рядом с той, которую за-

няла Катя, и имевшей особенный вход. Чувствуя озноб от сырости, так долго державшейся в его обуви, он желал бы выпить чего-нибудь горячего; но не велел людям своим требовать самовар, единственный на постоялом дворе, пока не напьется соседка. Как же удивился он, когда старый слуга ее принес к нему самовар. «Барышня велела отнести к вам,— сказал Филемон,— вам нужнее; небось порядком намокли. Извольте-ка поскорее горяченького испить: это больно пользительно». Разумеется, сосед, тронутый таким вниманием хорошенькой соседки, рассыпался в благодарностях. Она слышала их за перегородкой.

Филемон был любопытен. Он скоро узнал от людей этого господина, что его зовут Иван Сергеевич Волгин, что он очень богат, имеет поместья в разных губерниях и едет в Холодную хлопотать о вводе во владение прекрасным именем, которое недавно досталось ему в Холоденском уезде. Ему было только тридцать четыре года, да рано седина в голове засела, и немудрено — много горя в жизни видел: женился очень рано, а с женой радостей не знал. Была больно зла, оттого вскоре после брака и с ума рехнулась, с тем года два тому назад и в землю пошла. Детей у них не было. Барин же душа предобрая; житье у них такое, что и на волю не захочешь. Только часто одолевает его тоска, иногда подчас жалко на него смотреть.

«Славный женишок был бы для барышни, даром что седина в волосах пробивает», — подумал Филемон, но не сказал вследствие дипломатической осторожности. Это рассуждение про себя закончил верный ричард глубоким вздохом, который можно бы перевести следующим образом: да где ж нашей бедной холоденской пташке залетать в такие высокие хоромы!

Камердинер Волгина спросил Филемона, не знает ли он хорошенькой квартиры для его барина.

— Цену дадим хорошую — промолвил он.

— Как не знать! Словно нарочно к этой оказии, напротив дома Горлицына отдавались четыре комнаты в доме бессемейного купца, который хоть и в нужде, а ищет смирного, хорошего постояльца. Не хотел отдать барыне Четечкикой оттого, что большая сутяжни-

ца и девок больно бьет. Снимет с себя башмачище, в пору доброму мужику, да и начнет шлепать по щелкам; а каков час, и скалкой отвалает. Чего ж лучше этой квартиры для Волгина!

На обоюдных любезностях слуги соседа и соседки выпили несколько пар чайку, с пожеланиями оставаться соседями и в Холодне.

Через несколько часов лошади наших путешественников были выкормлены и отдохнули. Кибитку подали к крыльцу, но бричка стояла на дворе незапряженная. Катя, прежде чем сесть в свой бедный экипаж, осмотрелась, как будто искала и надеялась встретить своего временного соседа. Ее начал сильно занимать незнакомец. Уж и она стала думать, не само ли Провидение назначило им первое роковое свидание на переправе. Не проезжай она вовремя с надежным ямщиком вброд, немудрено, что незнакомец мог бы утонуть. То представлялся он ей сидящим спокойно, во время опасности, то видела, как он, будто по слову ее, разом вышел из своей апатии и энергически вывел экипаж из омута, который готов был поглотить его. Не укрылись от взгляда Кати и ранние его седины, и грусть, оттенявшая его бледное лицо. Мудрено ль, что интерес происшествия, вместе с чувствами удивления к его отваге, и сострадание к нему сильно зашевелили ее пылкое воображение и доброе сердце. Невольно вспомнила она слова его: «С этих пор могу дорожить жизнью». Непростое, приличное только к случаю, приветствие заключалось в них: слышалось в голосе его глубокое, душевное чувство.

Волгин не вышел в сени проводить Горлицыну, чтобы из этого не сделали какого-нибудь заключения дворовые их люди и хозяева постоянного двора, охотники, как и вся братия их, выводить из всякой безделицы догадки своего рода. Для этой же причины он не хотел ехать вслед за ней. Между тем сильно затронула и его сердце интересная Катя Горлицына со всею романтической обстановкой настоящего дня.

Наконец Катя в Холодне. Отец в парадном платье сторожил на берегу Холодянки. Она выпрыгнула из кибитки и упала в его объятия. Ласкам с обеих сторон не было конца. Александр Иванович не посмотрится

на нее, не налюбуется ею. Любовь его к дочери была какая-то благоговейная, как будто не к земному существу. Так дивно хороша она ему кажется, так напоминает мать свою! Пошли в гору. Горлицын задыхался от усталости и радости. Катя хотела вести его под руку; он долго спорил, наконец победа осталась за ней. В несколько минут осмотрела она свое новое жилище, находила его слишком обширным, просила отца обменяться комнатами: на этот раз он восторжествовал. Увидав портрет матери в своей спальне, она со слезами пала перед ним на колени. Ей казалось, мать улыбалась ей, посылая ей свой привет и благословение. Не знала Катя, как благодарить отца за то, что поместил с ней в спальне такую дорогую подругу. Отныне будет она ежедневно отдавать ей отчет в каждом тайном помысле, в каждом необыкновенном движении души. Птичкой облетела она сад; полюбовалась цветами, подышала их запахом, приколола розы к груди, в волосы, с межи садика успела налюбоваться живописными видами.

— Боже мой! как это хорошо! да это рай земной! — твердила она.

— Это все твое, душа моя,— говорил Александр Иванович.

— Все мое!— восклицала она и целовала руки у отца, как будто принимала от него в дар дом, сад, окрестность, все, что глазами могла только окинуть.

С этого времени он называл ее молодой хозяйкой.

На третий день Горлицын, счастливый, гордый, выпросив экипаж у Пшеницына, повез свою молодую хозяйку с визитами по городу. Везде, куда приезжал, казалось, говорил: «Смотрите, какова моя Катя! полюбуйтеся ею!» И как было ему не гордиться таким сокровищем? Везде показала она себя скромной, любезной, приветливой; нигде не выставляла превосходства своего воспитания и ума над девицами, мало образованными, с которыми познакомилась; со всеми из них охотно делилась новостями о покроях платья и разных петербургских нарядах, которые составляют важный предмет любопытства даже не одних провинциалок. Все хвалили ее, некоторые с завистью, большая часть от искреннего сердца. Во всех домах, где она была с от-

цом, говорили: «Ну уж дочка у соляного пристава! Нечего сказать, красавица такая, и разумница, и уважительна к старушкам. Ведь сама государыня жаловала ее в институте. Не худо бы, дочки, и вам перенимать ее деликатность и придворное обращение. Уродилась, видно, под счастливой планидой. Только вряд ли скоро женишка найдет: бесприданница! Отец гол как сокол, а красота не одевает и не кормит. За бедного идти самой не приходится, из куля да в рогожу». Но майорская дочь Четечкина, не выдавши Кати в лицо, с особенной злобой отзывалась, что одни холоденские неотесанные дуры могут найти в ней что-нибудь хорошее; амбиции вовсе не имеют, унижаются перед дочерью соляного пристава. Даже готова была затеять процесс о том, что приезжая и не так красива, и не так воспитана, как о ней говорят.

Ваня Пшеницын мило прочел Кате стихи. Мальчик ей очень понравился. Она целовала его в дутые, румяные щечки, в глаза, исполненные живости и наблюдательности, убирала его шелковые кудри, падавшие по плечам. Объявила также, что он отныне будет ее пажем. Когда ж узнала, что его зовут Ваней, еще более осыпала его своими ласками. Заметив книжный выговор его, когда он произносил стихи, вероятно, по примеру своего наставника-семинариста, вызвалась, от нечего делать, давать мальчику уроки в том, что сама знала. Александр Иванович боялся, что это будет ей трудно. Пшеницыны обрадовались предложению, но советились принять его, хотя втайне и имели намерение сыскать случай поприличнее отблагодарить дочь Горлицына. Катя настояла на своем. Восьмилетний мальчик очень любил ласки девиц и дам, только хорошеньких, любил целовать их белые, нежные ручки и засматриваться на их глазки. Он прыгал от радости, что его учителем будет хорошенькая Катя вместо долгополого семинариста, у которого голова с овин, вечно в пуху, голос гнусливый, как будто ему прищемили чем-нибудь нос; к тому ж говорил не так, как другие люди, всегда на *о* и на *аго*, свысока; иной раз и не разберешь, что толкует.

Катя была в восторге от всего, что нашла в Холодне

и особенно от своего домика и садика. Но по временам закрадывалось в ее сердце воспоминание о переправе через реку и образ интересного дорожного спутника. Не могла она дать себе отчета, к чему, на какой конец все эти думы, эти впечатления. Ведь она дочь незначительного соляного пристава, а Волгин, очень богатый человек, вероятно уж и забыл странную встречу, которая только для нее, простодушной институтки, была занимательна. Он и не думает о ней: это легко понять из того, что давно приехал в город, а в доме их не показывается.

Она рассказала отцу все, что с ней случилось в дороге, утаив, разумеется, впечатление, произведенное на нее Волгиным. Александр Иванович крестился и благодарил Бога, что дочери послал счастливый случай спасти от такой беды четырех человек, а пуще всего, что сама избавилась от беды. Не скрыла, однако ж, Катя от отца своего, что слышала о Волгине от старого слуги..

— Кабы видели, папаша, какой он бедненький, грустный,— говорила она.— Если придет, приласкайте его хорошенько.

— Как же, как же, душечка,— отвечал Горлицын.— Жаль, человек не старый, а сколько горя перетерпел! Только не идет что-то, а видели его в суде дня с три.

Эти слова заставили Катю сказать про себя с досадой: «Какой же он негодный!»

Действительно, Волгин дня с четыре был в Холод-не; но противясь, неизвестно по какой причине, собственному желанию увидеть Катю и переехать на квартиру против Горлицына, о которой уж много ему говорили, искал себе, с необыкновенным упрямством, по разным частям города другого помещения. Однако ж удобной квартиры нигде не нашлось, и он поневоле пошел смотреть ту, которую указывал Филемон его людям. Катя видела из своего садика, как Волгин пошел осматривать дом соседа, как вышел из него, после, на другой день, в него переехал и выезжал со двора, но ни разу ему не показалась. А он — он желал увидеть хоть край ее одежды. Странно! Ему стоило только сделать

несколько шагов через улицу, чтобы увидеть ее. Наконец он не выдержал и послал своего слугу к Горлицыну просить позволения представиться ему, приказав также сказать, что он тот самый, который обязан так много Катерине Александровне. Горлицын отвечал, что будет очень рад дорогому гостю. Во время этих переговоров сердце Кати сильно замирало. Она желала и как будто боялась этой встречи.

Гость был принят на парадной половине Катерины Александровны. Молодая хозяйка не показывалась. С обеих сторон обменялись простыми, задушевными приветствиями. Волгин извинялся, что ранее не исполнил своей обязанности за недосугами по делам в суде. Катя все еще не приходила. Отец, отворив несколько дверь в другую комнату, сказал: «Что ж ты, Катя, не идешь посмотреть на утопленника с того света? А сама еще...» Он не договорил, потому что дочь лукаво погрозила ему пальцем. «Сейчас»,— был ответ из другой комнаты. Как ни старалась она, махая на себя веером, освежить свое лицо, на котором румянец жарко разыгрался, не могла в этом успеть и вынуждена была, с разгоревшимся лицом показаться гостю. Обворожительно хороша она была в эту минуту! Красота ее, не обремененная дорожными принадлежностями одежды, в которой видел ее Волгин, озаренная горячим душевным колоритом, так смутила его, что он растерялся и, видимо, отыскивал слова, чтобы начать с ней разговор. В эти минуты можно было принять его за новичка в свете и даже не очень умного. Но, оправившись, он успел завязать с Горлицыным интересный разговор, в котором выказал ум свой, знание, людей и образование, довольно редкое в тогдашнее время. Старику он полюбился с первого взгляда. Потом обратился к Кате, расспрашивал о впечатлении, сделанном на нее Холоднею, не позволяя себе ни малейшей насмешки насчет городского общества, как это обыкновенно делают приезжие из столиц в провинцию, и спросил, не скучает ли она о Петербурге.

— Мне здесь так хорошо, как нигде не бывало,— отвечала она.— Скромная жизнь здешняя мне очень нравится. Там я жила в палатах; вспоминаю о них

с благодарностью, с любовью, потому что в них получила воспитание. Все-таки это была клетка, хоть и золотая... Но здесь, по милости папаши, я хозяйка, вольная птичка. А посмотрите сюда (она указала Волгину из окошка на вид за рекой): это все мои владения. Никто не мешает мне наслаждаться ими.

— И ничто? — спросил Волгин.

— И покуда ничто, — сказала Катя.

Вскоре Горлицына стали вызывать в другую комнату по делам службы. Ему надо было идти, а между тем он совестился оставить гостя. Волгин заметил это и спешил сократить свое первое посещение. Но через день пришел опять.

Молодая хозяйка повела своего гостя в сад, и отсюда указала ему на лучшие виды. Слова ее придавали каждому предмету тот художественный или поэтический образ, который только избранные натуры могут угадывать и уловить в созданиях природы и искусства, в наружности и душе человека. Волгин восхищался садом, восхищался местностью, но более увлекательной, живописной речью своего прекрасного чичероне.

— Если вы так любите природу, — сказал он ей, — что ж с вами станется, когда всю эту прекрасную картину застелят снега?

— А люди? Разве их нет здесь? Со мной отец, который для меня все. Здесь я нашла добрых и любезных людей в семействе предводителя, еще кое-где. Вот, даже в семействе купца Пшеницына... Вы с ним, конечно, не успели еще познакомиться?

— Купца? Нет... я еще... не познакомился. Да что ж, особенно вам, с вашим образованием, можно найти приятного в семействе холоденского купца?

— Познакомьтесь, и вы скажете совсем другое. У этого купца прекрасная русская библиотека. Такой, конечно, нет у всех дворян вместе здешнего уезда. Этот купец живет с большим приличием. Не говорю вам о его доме: в нем найдете вместе с роскошью вкус и любовь ко всему прекрасному. Скажу только, что он выписывает иностранца-учителя для своего сына, премиленного мальчика, что он хочет дать ему отличное воспитание.

— Вы меня удивляете!

— Познакомьтесь, я вам советую, и полюбите там моего пажика Ваню. Видите, я уж набираю здесь свой холоденский штат.

— И верно, успешно. Вам стоит только взглянуть, сказать слово, и преданные служители стекутся к вам со всех сторон. А меня, старика... приняли бы вы в число их, этих верных, преданных служителей?

— Старика? (Катя засмеялась при этом слове.) Какой же вы старик?.. Вас я... знаете ли, какую должность я бы вам дала?

— Желал бы очень знать, к чему удостоите.

— Вас сделала бы я начальником своего холоденского флота. Вы так отважны на водах...

— Мог бы я сказать: немудрено; я служил во флоте. Но, чтоб не солгать, скажу: меня в опасные минуты, на которые вы намекаете, воодушевляли ваш взгляд, слова, которые вы произнесли, когда молились за нас и, скажу еще более, желание жить, от которого я было отвык...

— Разве вам так рано наскучила жизнь?

— Наскучила было; я сделался ипохондрик. Но... вы говорили, что поручили бы мне свой холоденский флот. Я почел бы за счастье быть хоть рулевым на том корабле, на котором вы сами поплывете. О! Тогда не боялся бы ни бурь, ни подводных скал.

— Благодарю вас. Но, как вы скоры!.. Я не успела еще заслужить такой горячей преданности. Мы видимся только в третий раз.

— А путешествие по водам? Оно стоит годов знакомства. Не вам ли обязан...

— Это сделал Бог.

— Но вы были орудием Его.

— Благодарю за это Бога и буду вечно в молитвах своих благодарить.

— Поэтому вы будете помнить и спасенного вами?

— Уж конечно.

— Забудете.

— Никогда!

Это слово было так энергически сказано, как будто бы Катя давала священный обет в роковую минуту жи-

зни. Кажется, более с обеих сторон нельзя сказать: так скоро увлеклись они чувством, которое старались оправдывать предопределением судьбы.

В одно из первых затем посещений Волгина, Катя, заметив, что сосед был очень грустен, сказала ему:

— Знаете ли, я желала бы видеть в своем штате людей веселых, счастливых. А вы...— Катя не закончила.

— Говорите.

— Я только что со школьной скамейки и потому скажу вам с простодушием институтки и участием доброй соседки: на лице вашем вижу часто грусть, которая как будто вас преследует. Вот теперь... признайтесь.

— Следы меланхолического характера... Еще прибавлю— и я буду с вами откровенен, как преданный вам человек— может быть оттого, что я в жизни моей не знал счастья, именно сердечного, душевного счастья. Лучше скажу, я был очень, очень несчастлив. Но как же вы... заметили?

— Видно, у женщин есть для этого особенный инстинкт. Как, отчего,— я вам теперь не растолкую. Когда-нибудь после... с годами, с опытом, хотела я сказать... я до этого дойду.

— А ваш инстинкт отгадает ли, что у меня теперь на сердце, кроме печальных мыслей о прошедшем?

— Теперь?.. Нет, моя премудрость отказывается от этой разгадки.

— Жаль, вы прочли бы в этом сердце надежды на лучшие дни. Может быть, безрассудные надежды! Но все-таки они обольстительны. Не знаю, что случилось бы со мной без них.

Подошел к собеседникам Александр Иванович, который до этого обрезывал сухие сучья на деревьях, и разговор сделался общим.

С этого времени Волгин и Катя виделись чаще. Видеться, говорить друг с другом сделалось для них потребностью жизни. Уже и отец ее полюбил своего доброго, умного соседа, который умел так хорошо рассказывать о морских сражениях под начальством Чесменского и Ушакова, о Греции, родине предков Горлицыной, где природа так хороша, женщины так похожи

на портрет, висевший в спальне Кати. Случалось, Волгин не придет день, другой, и шлют к нему посла: «Приказали-де сказать, соскучились по вам соседи». А иной раз Катя прибавит: «Адмирал велит своему капитану немедленно явиться к нему по делам службы». Иной раз Горлицын увидит, что сосед сидит пригорюнясь у своего окна, и махнет ему рукой, а дочка из-за него покажет свое хорошенькое личико: этого было довольно, чтобы сосед сейчас явился. Уженье подле мельницы, прогулки по реке и в роще, путешествие на богомолье в ближайшие монастыри, по обетам, которые каждый держал при себе — всегда с отцом, иногда с семействами предводителя и Пшеницыных, с которыми приезжий успел познакомиться, сблизили еще более Катю и Волгина. Вместе наслаждались красотами природы, веселились одними удовольствиями, вместе в храме молились и, может быть, об одном и том же. Улицы как будто между ними не существовало: казалось, они жили и засыпали под одной кровлей. Хотя между ними не было произнесено слово любви, оно было уже неоднократно высказано в их глазах, в движениях, в прерванной речи, даже в пожатии руки. Катя любила первой и последней своей любовью; порывы ее страстной души были сдерживаемы только чувством стыдливости и приличия, и правилами, данными ей в институте. Не укрылись от отца взаимные чувства дочери и Волгина; партия для нее была блестящая, какой и во сне ему не снилось. Сначала смотрел Горлицын на любовь их с удовольствием, потом она стала пугать его.

Прошло три месяца с того времени, как Волгин жил в Холодне и между тем не делал предложения. Дело его по вводу во владение именем было кончено, однако ж, он не выезжал из города. Раз как-то дал он Горлицыну понять темными, таинственными намеками, что у него есть какие-то обстоятельства, которые еще мешают ему яснее открыться... Чтобы такое было? Отец ломал себе голову над догадками, сердце дочери разрывалось от неизвестности. Родителей у Волгина нет, следовательно, он волен располагать своей судьбой. Горлицын подумал, нет ли у него тайной связи, которую он желает разорвать, может быть детей, которых обязан

обеспечить. Эта мысль очень тревожила старика, слышавшего нередко, как человеку, особенно честному и благородному, трудно бывает выпутаться из подобных связей, в которые люди вступают часто без участия сердечного. Еще более встревожился Горлицын, когда стали доходить до него слухи, что в городе кумушки, завистницы и сплетницы начали чесать язычок насчет короткого знакомства соседа и соседки. Бог знает, чего тут не прибрали! Все эти обстоятельства заставили Александра Ивановича держать себя с соседом в отношениях более размеренных. Волгин уже не был приглашаем так дружески; Катю не оставляли с ним одну и даже заметили ей, чтобы она была осторожнее. Катя любила сильно, но вынуждена была признать основательность этих замечаний и с глубокой грустью, с тайными слезами исполнила волю отца.

Волгин не мог не заметить этой перемены. Он разрывался от досады, проклинал свою судьбу и — молчал. Зато погрузился в какую-то ожесточенную деловую переписку, точно заразился страстью майорской дочери Чететкиной. Знали, что он никому не поручал тайн этой переписки и сам занимался ею; знали, что он не отдавал своих писем и посылок на местную почту, а посылал ее с доверенным человеком в другой ближайший городок и оттуда получал всю корреспонденцию. Тайственность эта возбудила в Холодне еще более толков насчет его и нанесла новое огорчение Горлицыну, который с каждым днем видел, что Катя его делается все грустнее и грустнее. Осень обнажила ее садик, успехи ученика ее Вани не утешали ее более, — все кругом ее приняло мрачный вид.

Что ж могло останавливать влюбленного Волгина просить руки той, в чувствах которой он сам был уверен?

Вот что: все, что о несчастной жизни Волгина сказали его люди старому слуге Горлицына, было справедливо. Об одном они только умолчали, что сумасшедшая жена еще была жива.

II

Лет за десять, с небольшим, до происшествия на описанной нами переправе через Москву-реку, в одном из подмосковных губернских городов, именно на святках, появился блестящий метеор. Это был морской офицер Волгин. Двадцати трех лет, свободный обладатель богатого имения, оставленного ему отцом и матерью, привлекательной наружности, умен, ловок, он в несколько дней сосредоточил на себе все внимание избранного городского общества. Ныне прозвали бы его львом. В то время почли бы такое прозвание слишком низким; мода, а за нею художники, писатели и весь хотя несколько образованный люд, лезли во что бы ни стало на высоты недосягаемые. Зато сами обитатели Олимпа, по велению этой моды, сходили на землю, даже в губернские города России, куда только проникал свет из очагов столиц, рождались с простыми смертными и давали им свои имена и качества. И потому богини-девицы губернского города N с душевным замиранием ждали, не поднесет ли счастливейший из них Парис-Волгин золотого яблока; не одна неутешная Калипсо молила небеса о сердцекрушении юного мореходца у берегов ее очаровательных владений. Не одна маменька, скажу низким слогом, старалась, как можно лучше, скрасить свой живой товар, чтобы сбыть его в такие дорогие руки. У всех у них был один напев мужьям, чтобы употребили все возможные и невозможные средства привлечь в свой дом такого завидного женишка для их единственной дщери или одной из бесчисленных дочек. Во что бы ни стало подай Волгина! За удовольствие иметь его у себя на обеде, вечере, фантах и других святочных увеселениях тогдашнего времени, спорили, как ныне спорят за честь и удовольствие иметь у себя в доме севастопольских героев.

Закружился было Волгин в этих увеселениях. В танцах ему не давали отдыха. В менюэте à la reine это был настоящий Аполлон по отзыву прекрасного пола. Никто так грациозно не вел своей дамы в польках, не делал в контрадансах таких мудреных антраша и шассе battu. А казачек? Хотя Волгин, по тогдашнему обычаю,

исполнял его в башмаках с стразовыми пряжками и шелковых чулках, старики отзывались, что родовитый казак лучше его не пропляшет своего национального танца. То пригласит его мать сделать честь пройти с ее дочерью, не имевшей еще случая танцевать с таким ловким кавалером и выказать свои таланты, развитые в столице. То очаровательная девица мимоходом бросит на него молнию своих глаз, которая могла бы поднять и мертвого — а в Волгине, казалось, было две жизни — и понесется он в следующем танце с своей очаровательницей. Никого так часто не поднимали со стула в игру *sosed* и не требовал к себе *офакул*; ни на кого так горячо не пал жгут в доказательство, что чем сильнее бьешь, тем сильнее любишь. Зато ничьих фантов столько не было, как Волгина, а фанты в то время, большей частью, выкупались бесчисленным счетом поцелуев.

Приезжая к себе с рассветом дня, утомленный, разбитый, Волгин не чувствовал, как слуга раздевал его и укладывал в постель. Только во сне все еще мерещились ему огненные и томные глазки, тоненькие и толстенькие губки, и отдавался в ушах его звук сладких речей. На другой день встанет свеж, здоров, весел, и опять за те же упражнения. Мудрено ль? Он был так молод, не знал за собой горя и не видал его перед собой.

Чаще других посещал молодой моряк дом Сизокрылова, очень значительного лица в губернском городе, и потому чаще, что у этого лица был сын, приятель Волгина. Молодые люди вместе поступили на службу, вместе делали одну морскую кампанию, вместе кутили. Приняв наследство, Волгин поехал в губернский город познакомиться с властями, с которыми имел дела по своим имениям, повеселиться и повидаться с своим бывшим товарищем, вышедшим уже в отставку. Не испытал еще ни измены любви, ни измены дружбы, мало знакомый со светом, он видел во всех людях одни добрые, благородные качества. За молодого же Сизокрылова, умевшего доказать ему свою дружбу многими услугами, готов был, как говорят, на ножи. Напротив того, этот друг, хотя и немного постарше Волгина, но ловкий, пронирливый, перегоревший уже в опытах жизни,

с первого раза, как увидал его в своем семействе, схватился за счастливую мысль загнать эту дорогую птичку в расставленные сети. И вот на какую приманку.

У него были три сестры. Старшая, Гликерия, по календарю, и Лукерия, по народному произношению, была красивее и бойчее других. Она танцевала менуэт, как королева французская, пела русские песни, как малиновка. Если б заглянуть в акт ее крещения, можно бы по нем счесть ей двадцать пять лет. Но кто ж пойдет справляться с актами? Наружность и родители давали ей только двадцать лет. В свете это была самая привлекательная из девиц губернского города N. Увы! местные женихи знали, чем она была дома, и потому не посягали на счастье назвать ее своей супругой. По этой-то причине и засиживалась она в девическом состоянии. Младшим сестрам, хотя и не с такими блистательными наружными качествами, но добрым и любезным, представлялись достойные партии, и напрасно. Мать их, женщина неразумная и бестолковая, страстно любившая старшую дочь, баловавшая ее с малолетства, и слышать не хотела, чтобы, помимо ее идола, шли меньшие ее дочери к брачному алтарю. Старшую дочь величала она Лукерьей Павловной, а меньших не иначе называла, как девчонками. Вы думаете, что баловень-дочка платила ей такой же любовью? Нимало. Часто Лукерья Павловна хохотала над своей маменькой, когда та, за неимением бровей, разрисовывала себе неправильно брови так, что одна уходила концом вверх, а другая углом загибалась на веки; часто прикрикивала на нее, говорила ей в глаза, что она необразованная, степная барыня, а за глаза, при сестрах и домашней прислуге, честила ее даже и дурой. Мать приказывала, а дочка отменяла приказание, не для того, что считала свое распоряжение лучшим, а для того, чтобы поставить на своем. Чего не терпели от нее две Сандрильоны, ее меньшие сестры! Покупка и выбор для них материй на платья, покрой этих платьев, прическа, выезды, даже рукоделья, все что могло радовать и утешать этих бедных жертв, зависело от домашнего властелина, все получалось от каприза или великодушия его. Сестры не могли любить Лукерью Павловну, но боялись ее

и льстили ей из надежды щедрых ее милостей. Зато мало уважали мать, которой несправедливое предпочтение любимой дочки возмущало их душу. Властолюбивая, нетерпеливая и вспыльчивая, Лукерья Павловна жестоко обращалась и с своей прислугой. Сколько раз ее ручка оставляла красное пятно на щеке ее горничной! Даже раз удостоилась эта несчастная кровавого возмездия булавкой за то, что, одевая свою барышню, слегка нечаянно уколола ее. Вот какое сокровище готовил молодой Сизокрылов своему другу! Виды были не глупые. Он хотел, во-первых, избавиться от домашнего тирана, под зависимостью которого и сам находился, хотя и в меньшей степени, нежели другие члены семейства; во-вторых — занять место этого властелина и через то свободнее удовлетворять свои страстишки, до сих пор стесняемые контролем сестры. Надо сказать, что и сынок был маменькин баловень, но занимал только второе место в сердце ее и в доме. Пожалуй, удовлетворение этих видов могло принести пользу меньшим сестрам, которым, вслед за старшей, открывался выход из нерадостного дома родительского. Тогда-то молодой Сизокрылов мог бы распоряжаться своей маменькой, как хотел.

Отец, не мешавшийся ни в какие домашние распоряжения, озабоченный только делами и через них приобретением денег, и ежедневно искавший развлечения от служебных занятий в карточной игре, довольно сильной и счастливой, не знал и не хотел знать, что происходит в его семействе. Он дал, какое мог, воспитание детям; безоговорочно, по требованию жены, выдавал ей деньги на расходы, протягивал каждое утро и каждый вечер свою руку сыну и дочерям для обычного лобызания и уверен был, что выполнением этих обязанностей делает все, что повелевает ему долг отца и главы дома.

Волгину нравилась Лукерья Павловна, пожалуй, немного более других девиц. Ни с кем он так охотно не рисовался в менюэте, как с ней; с удовольствием слушивался ее соловьиного голоска, наслаждался ее живой, умной болтовней, говорил ей комплименты. Но особенной любви к ней не чувствовал, тем менее думал

искать руки ее, несмотря на все старания брата выставить ее в самом привлекательном виде. Со своей стороны, Лукерья Павловна искренно, без расчетов на богатство Волгина, всеми силами души пылкой, необузданной полюбила друга своего брата. Не зная до двадцати пяти лет, что такое любовь к кому-нибудь, лишь только изведала ее, она предалась ей безгранично, с тем увлечением, с каким предавалась своим худым наклонностям. Казалось, любовь преобразовала ее. Ласкаясь к матери, угождая сестрам, особенно внимательная к брату, добрая с прислугой, она как бы хотела вознаградить всех их за прошедшие несправедливости и оскорбления. Все в доме были веселы, счастливы, прислуга крестилась.

Был званый вечер у Сизокрыловых. В этот день любовь придала голосу, речи, всей наружности Лукерии Павловны какое-то особенное очарование. Она действительно была хороша. Моряк ею одной только и занимался.

В одном из антрактов между танцами он стал отыскивать ее в зале и, не найдя, прошел анфиладу комнат, наконец пробрался в какой-то отдаленный уголок дома. Здесь царица этого вечера сидела на диване одна, в глубоком раздумье, опустив голову на грудь, скрестив руки. Восковой огарок слабо освещал комнату. Услышав чьи-то шаги, Лукерия Павловна вздрогнула и подняла голову. Печальный и вместе знойный взгляд ее упал прямо в сердце молодого человека. Волгин не мог ему противиться и сел возле нее. Несколько слов было им сказано с восторгом о том впечатлении, которое она сделала в этот вечер и особенно на него. Отвечала с глубоким вздохом, что если она желала нравиться, так это одному только. Затем дрожащая ручка попала как-то в его руку; он горячо поцеловал ее, еще раз и еще. Как-то нечаянно набрел брат на эти поцелуи. Он показал вид, что ничего не заметил, отворил дверь в соседнюю комнату и закричал: «Чаю мне!» — потом присел к смущенной парочке, будто для того, чтобы помешать повторению слишком нежных сердечных изъяснений. Разговор упал на очень обыкновенные предметы. Но вскоре смычок подал свой призывный го-

лос, и все трое отправились в зал, чтобы снова пуститься в выделывание разных затейливых фигур и па, строго предписываемых в тогдашнее время законами моды.

Когда разъехались гости, молодой Сизокрылов завал к себе в свое холостое отделение Волгина вместе с близким своим родственником, тоже молодым человеком. Надо было ковать железо, пока оно было горячо. Подали вина; хозяин не жалел его. Пошли горячие изъяснения дружбы. Волгин, отуманенный напитками и еще свежими сладкими воспоминаниями, провозгласил тост: «Нынешнего вечера царице и хорошенькой сестрице!»

— Послушай, брат,— сказал Сизокрылов,— мы с тобой друзья; я это, кажется, доказывал тебе не раз на деле. Но есть шутки, которых и дружба не терпит равнодушно.

— Я не шучу,— отвечал с горячностью Волгин.

— Надеюсь, и поцелуями, на которых я давеча застал тебя. Зашел, брат, далеконочко!.. Добро б еще к случаю, при многих, а то наедине, в дальней комнате... ты не знал, что это спальня Луши (он лгал); ты не знал, что подле чайная комната и люди видели все из нее... Теперь при постороннем, хотя и моем родственнике, ты вздумал хвастаться тостом за здоровье *хорошенькой!*.. Ваня, я этого не ожидал от тебя...

И Сизокрылов закрыл себе глаза руками.

— О! когда так, зови сейчас сюда свою сестру. Я никогда не делал неблагородных дел и это докажу. Говорю тебе, проси сюда с отцом и матерью... Я повторю при них.

— Сюда?

— Воля твоя, у меня ноги подкашиваются, и я не в силах взойти наверх.

— Послушай, опомнись, не вино ли говорит в тебе?

— Вино?.. Смотри, брат, есть границы и для дружбы, ты сам сказал.

— Когда так, видно на то воля Божья! Иду, но прежде, друг и брат, сюда к сердцу, которое предаю тебе на жизнь и смерть.

Приятели горячо обнялись, и Сизокрылов, боясь,

чтобы слово, в чаду опьянения, не выдохлось скоро, отправился радостным вестником на половину своих родителей. Третье лицо, пировавшее с ними, заключило также в свои объятия будущего своего родственника.

Упавшая с неба манна или гряда золота не могла бы так изумить и обрадовать стариков Сизокрыловых и любимую дочку, как неожиданная весть, принесенная им дипломатом-сынком. Несмотря на странность вызова по такому важному случаю, в пять часов утра, в отделение молодого Сизокрылова, отец, мать и Лукерья Павловна, в чем их застала эта весть, один без парика и галстука, другая с остатком брови, третья в интересном беспорядке, поспешили исполнить волю дорогого жениха. При появлении их в комнату, где недавно оргия была в разгаре, где не успели еще прибрать бутылок и бокалов, предложение Волгина было повторено и запечатлено поцелуем жениха и невесты. Нашли еще нужным, чтобы до настоящего обручения они поменялись кольцами, которые случились у них на руках. Это делалось будто в силу какого-то древнего поверья, а скорее для того, чтобы Волгин не забыл, проснувшись, что он жених. При пожелании счастья будущей чете, вспырынули их шампанским. Требовалось подсластить вино, и Волгин в восторге целовал без счета свою нареченную, упоенную также своим неожиданным счастьем. Расстались все довольны. Молодой Сизокрылов отвез своего приятеля на его квартиру, уложил сам в постель и щедро одарил людей его, не забыв прибавить, что это делается от имени невесты, Лукерии Павловны.

В полдень проснулся Волгин, разбитый, с отяжелевшей головой, сердитый, смутно помня роковое событие утра, как будто виденное во сне. Но удостоверили его в этом событии поздравления слуг и незнакомое кольцо, сивавшее на его руке.

Воротить прошедшего было уж невозможно, и через две недели состоялась свадьба.

Хотя Волгин о приданом и не спрашивал, *молодая* принесла ему в свадебной корзине слишком сто душ, много серебра и все другие предметы роскоши, которые в подобных случаях отпускаются с дочкой богаты-

ми и нежными родителями. Замечено однако ж было, что в числе женской прислуги, вошедшей в роспись приданого, по собственному выбору Лукерии Павловны, отпущены такие личности, которые не награждены были от природы очень хорошеньким личиком.

Казалось, ангел-хранитель молодой четы уберег медовый месяц их от всяких неприятностей. Счастливой, влюбленной парочке завидовали. Волгину не было причин раскаиваться в браке, так нечаянно, экспромптом состряпанном, и он не каялся. Он полюбил жену искренно. Но вскоре начали обнаруживаться в ней вспышки ревности. В первые месяцы несколько сдержанные новостью положения и приличием, он в последующие стали развиваться. Иногда, без всякого повода, Лукерья Павловна умоляла мужа, чтобы он клялся ей в вечной любви и верности. Это сначала смешило его. Видя в этих просьбах только порывы сильной к нему привязанности, он исполнял ее желания, но замечал притом жене, что если благородный, с твердыми правилами, человек раз дал клятву при алтаре Божьем верно любить свою жену, так новые обеты совершенно лишни; ветреного же мужчину и клятвы не удержат. Повторение этих просьб стало надоедать Волгину. Иногда супруга надуется на него, не говорит с ним по несколько часов. За что? за то, что он вел несколько живой разговор с хорошенькой дамой или девицей. Случалось даже, что Лукерья Павловна наговорит колкостей этой даме или девице. Терпеть эти оскорбления никто не находил нужным. Замужние женщины платили ей той же монетой, за девиц заступались матери, и от этих ссор выходили неблагоприятные истории, падавшие всем бременем своим на голову бедного Волгина. Дом молодых супругов стал понемногу пустеть; вследствие того и выезды их сделались реже. Волгин любил танцевать. Ему посоветовали, а потом потребовали, чтобы он не танцевал более, потому что мужчина, посвятив себя раз избранной им женщине, не должен находить удовольствие ни в чем с другой. И это требование вынужден был исполнить, не по слабости характера, а для того только, чтобы избегнуть домашних ссор или гласного оскорбления, на которое жена,

забыв всякий стыд, не раз покушалась. Даже сестры получали от нее обидные выговоры за то, что осмелились слишком любезно говорить с ее мужем. И сестры ограждали себя холодными отношениями к человеку, которого любили, как достойного всякого уважения родственника, и ограничивали беседу с ним одними лаконическими ответами: да-с, нет-с.

— Помилуй, сестра,— говорил Лукерии Павловне братец-дипломат,— я устроил твое счастье, а ты, как безумная, ставишь его вверх дном. Муж тебя любит, но есть мера и терпению. Ну, если б и в самом деле маленькая неверность... эка беда!

— О! тогда я убью его,— возражала Лукерия Павловна,— или сама убьюсь.

Довольно было всех этих выходов, чтобы ожесточить мужа. Но, как вспышки, они скоро проходили, уступая глубокому, искреннему раскаянию. Кто увидел бы в это время несчастную, пожалел бы ее. Она падала перед ним на колени, целовала его руки, обливала их слезами и умоляла простить ее безрассудство, клянясь, что исправится. Волгин, добрый до бесконечности, любя еще жену и стараясь сам себе оправдать эти вспышки одной безмерной любовью к нему, великодушно прощал. И мир воцарялся между супругами хоть на несколько недель. Тем более Волгин считал долгом быть снисходительнее, чем Лукерия Павловна была в *интересном* положении. Каких странностей и капризов не приписывают этому положению! И он любил относить к нему ж припадки ее ревности. Зато сколько утешений принесет обоим супругам первенец их! Благоразумие, мир, счастье должен он был водворить в семействе! Такими надеждами лелеял себя Волгин и окружил жену заботами и угождениями, как нежный любовник.

Был летний месяц. Они поехали на несколько недель в деревню. На беду случилось, что в это время приехала к ним замужняя дочь его родной тетки, женщина очень приятная и любезная. Прием ей сделан был радушный. И хозяева, и гостя были веселы. Волгин повел кухню показать ей хорошенький свой сад, которым любил особенно заниматься. Жена, по нездо-

ровью, осталась дома, но, подстрекаемая своим демоном, не могла противиться его наущению и отправилась вслед за ними. Она не пошла по дорожкам, а стала пробираться кустами. Вдруг видит, муж и кузина его идут рука под руку... они смеются... потом как будто поцелуй... Никакого поцелуя не было: ей все мерещилось. Лукерия Павловна, не помня, в каком она положении, бросается вперед и падает на пень... Ушиб был силен, страдания велики; но ни одного стога не вырвалось из груди ее. Чего не вытерпела она, один Бог знает! Скрывшись за кустом, Лукерия Павловна дала пройти мимо ее мужу и госте и потом кое-как дотащилась до своей спальни, не сказав никому, что с ней случилось. На другой день родился мертвый ребенок. Причина этого несчастного случая была скрыта и от мужа. Положение ее сделалось опасно, но через два месяца она оправилась с помощью искусного врача и сладкой уверенности, что муж ее любит, потому что во все время болезни почти неотлучно находился у ее постели, как самая усердная сиделка. Урок был ужасный!

Между тем от болезни и беспрестанных душевных тревог Лукерия Павловна начала худеть и дурнеть. Глаза ее впали, в них потух прежний блеск и что-то дикое выражалось по временам, как у зверя, который хочет, но боится броситься на свою жертву; кожа ее приняла шафранный цвет. Зеркало и демон ее каждый день наговаривали ей, что муж, который моложе ее и так хорош собой, должен скоро перестать ее любить. Ревность ее, которая с каждым днем росла более и более, стала изобретать для себя разные видения и избирать низкие средства, чтобы удовлетворить себя. Наконец в два последующие года страсть эта приняла такие ужасающие размеры, что сделала для Волгина дом его настоящим адом. Я забыл сказать, что через несколько месяцев после их свадьбы он вышел в отставку; а теперь, потеряв всякое терпение, решился бежать от жены и вступить вновь в службу с той надеждой, что откроется морская кампания или ученая экспедиция, которая отделит его на несколько тысяч верст от домашнего тирана. Если б он уехал, жена преследовала бы его на край света: были уж и на это намеки.

В эти два года Волгин был истинным мучеником. Лукерия Павловна, как стойкий аргус, следила все его поступки, все его шаги. Подкупала людей, чтобы ей доносили, куда муж ездил, с кем видается, что делает. Люди брали деньги, смеясь над ней же, но не могли лгать на барина, и потому эти средства сделались для нее недостаточны и неверны. Иногда, вечером, надев сапог своей горничной и безобразный капор, отправлялась к дому, где находился ее муж, и выведывала через какого-нибудь подосланного постороннего человека, кто из дам были в доме. И если случалось, что ей назовут имя женщины, на которую падало ее подозрение, то, по возвращении мужа, сыпались на него упреки, от которых он убегал в свой кабинет, где и запирался. Но и через дверь слышалось еще долго ее беснование. Письма его, если были приносимы в его отсутствие, подвергались ее контролю, после чего она их вновь запечатывала, как могла. Все шкатулки его были перерыты... Волгин хотя и замечал эти проделки, но, не имея особенных секретов от жены, пожимал только плечами и молчал. Когда ж письмо получалось при нем, Лукерия Павловна была уж тут, в его кабинете, и из-за плеча его старалась прочесть, не скрывается ли какой-нибудь тайной связи в послании. Муж преспокойно отдавал ей письмо и просил прочесть его вслух, так как она все руки хорошо разбирает, а почерк этого письма неразборчив. Казалось, нельзя было иметь большого терпения и снисхождения. Этими-то орудиями он хотел победить ревность жены. Иногда покажется ей, что муж чем-то смущен; что при внезапном появлении ее он чего-то испугался, и начнет требовать у него отчета в таких чувствах, от которых он был совершенно далек. «Скажи мне, друг мой, милый мой,—говорила она ему,—если ты действительно любишь кого, так лучше признайся мне... Для тебя я пожертвую своей любовью: откройся мне, ради Бога, я тебе все прощу».—«Никого не люблю и лгать на себя не намерен»,—отвечал резко Волгин на подобные вопросы, делаемые для того, чтобы вовлечь его в ловушку. До такого простодушия и ослепления доходила безумная страсть! В другой раз представится ей, что из его ком-

наты вышла какая-то женщина, и уж ей слышится шелест женской одежды... На всех хорошеньких женщин в деревне она злилась и всегда искала случая чем-нибудь оскорбить их. Но горничным ее доставалось больше всех: они терпели настоящую пытку. То взглянула слишком умильно на барина, то оделась пощеголеватее, чтобы понравиться барину. Одна из них вздумала кокетливо убрать свою чудную, густую косу, и коса была острижена. Другая, по подозрению, совершенно несправедливому, отдана замуж за горбуна-крестьянина.

Часто эти бешеные припадки кончались тем, что она становилась на колени перед мужем и умоляла прибить ее.

— За кого принимаешь меня, безумная? — говорил Волгин. — Унизиться до того, чтобы наложить руку на жену?.. Это может сделать только пьяный лакей или мужик. Довольно стыда и от твоих дел; не с обеих же сторон безумствовать и позориться перед людьми и Богом.

Еще чаще кончались припадки ревности истерикой и ужасными страданиями. Какие чувства могли оставить в сердце мужа все эти сцены, кроме ожесточения? Только изредка сострадал он несчастной, как будто больной, одержимой неисцелимой болезнью.

На третий год своего замужества Лукерия Павловна сделалась опять беременна. Радоваться будущему появлению в свет сына или дочери не мог уже Волгин по-прежнему. Что ожидает это дитя, когда оно осмыслится, когда поймет ужасный характер матери, несчастное положение отца и станет посредником между ними? Может статься, отец вынужден будет бежать от жены и ребенка своего; может статься, этого ребенка выучат ненавидеть имя отца. В Лукерии Павловне, несмотря на ее положение, не произошло никакой благоприятной перемены; казалось, ее ревность достигла высшей силы своего безумия. Сыскалась женщина, старушка, присланная ей матерью, как будто из ада, именно для того, чтобы следить за поступками Волгина. Из угождения барыне своей она старалась потворничать ее страсти. Между разными клеветами эта меге-

ра передала однажды горяченькую весть, что видели, как Иван Сергеевич ласкал дочь своего садовника. Может быть, и действительно Волгин сказал пятнадцатилетней девочке ласковое слово, потрепал ее рукой по розовой щечке — небольшое еще преступление, тем более, что девочке был он крестным отцом! Ее до сих пор любила сама Лукерия Павловна, зная, что отец и мать воспитывали дочь в строгих правилах. Но довольно искры, брошенной в душу ревнивой женщины, чтобы произвести пожар. Лукерия Павловна потребовала от мужа вопиющей несправедливости, выдать пятнадцатилетнюю девочку замуж, и за крестьянина. Волгин возразил, что девочка слишком молода, дочь любимого им, заслуженного дворового человека, никакого преступления не сделала, что крестнице своей готовит он женихом сына своего приказчика из другой деревни. Отказ этот возбудил новые подозрения. Лукерия Павловна стала горячо настаивать. Муж отказался наотрез.

— Итак довольно несчастных из угождения твоей ревности, — прибавил он, — глубоко раскаиваюсь в том, что был участником в этих гнусных делах.

— Так выбирай любое, — сказала Лукерия Павловна, — или дочь садовника завтра замуж, или завтра меня не будет на свете.

— Делай, что хочешь, — отвечал с твердостью Волгин, — а я не отступлю от своего решения. Бог и совесть мне это приказывают.

Тогда произошла сцена ужасная. Когда я слушал рассказ о ней, сердце мое обливалось кровью. Довольно, если я скажу, что эта женщина, превратившаяся в дикого зверя, в минуту исступления стала бить себя в грудь... потом удары сыпались по чем попало... Волгин, перед этим только что выходящий из двери, тотчас возвратился, но не имел времени остановить ее. Лукерия Павловна на другой день родила сына, носившего слишком явные признаки ушибов и прожившего только одни сутки. Молоко бросилось у ней в голову, и она лишилась рассудка навсегда! Да, навсегда, несмотря на все пособия искуснейших врачей столицы,

куда несчастный муж отвез ее, несмотря на все попечения и заботы, которым усердно посвятил себя. Было отчего и самому ему сойти с ума! В несколько дней показались у него седины на голове. Целые полгода не отлучался он от жены. Что ж? сыскались люди, которые с голоса отца и матери Лукерии Павловны осуждали Волгина, говорили, что причиной ее сумасшествия ветреный образ его жизни и худое обращение с женой. Но совесть его была чиста, он ни в чем себя упрекнуть не мог. Лучшие лета его жизни принесены ей в жертву; не век же ему было оставаться зрителем и участником невыносимых страданий. Волгин уехал из дому своего, оставив Лукерию Павловну на попечение домового врача и избранной наемной прислуги, и вступил вновь на службу.

Долго еще преследовали его ужасные видения... Во всех морских сражениях, в которых случалось ему участвовать, он искал смерти и не нашел ее. В продолжении пяти лет получались им одни и те же извещения, что жена его все в том же состоянии. Один врач не мог вынести более двух лет тяжкого ухаживания за сумасшедшей. Отец и мать взяли ее к себе, и также долго не выдержали этого бремени. Принуждены были перевести ее в дом умалишенных. Через несколько времени Волгин получает письмо из Петербурга от одного из двух братьев отца своего. Дядя описывал ему безнадежное состояние Лукерии Павловны и советовал расторгнуть брак, столько лет существовавший только по имени. «Я старый вдовец,— писал ему дядя,— детей не имею; брат мой также; ты один после нас остаешься из нашего рода. Неужели погаснуть ему? Тебе только тридцать два года. За легкомысленный поступок молодости, за необдуманый шаг ты уже заплатил девятью годами страданий. Природа, закон, справедливость и Бог приказывают тебе выйти из твоего настоящего положения. Выбери себе жену по сердцу, только чтоб была гораздо моложе тебя. Не смотри на богатство, на блестящее наружное воспитание; ты сам богат, все наше с братом достанется тебе же. Пускай выбор твой падет на бедную, хоть самую бедную дворянку, но только с добрым сердцем, скромную. Верь моим пред-

сказаниям, ты еще будешь счастлив. Приезжай в Петербург; посмотри, какие у нас милые, образованные, воспитанные в строгих религиозных правилах девицы выходят из института. С стряпчими советовался о твоём деле; головой ручаются за успешный исход его. Препятствий нет и быть не может. Еще скажу тебе, писал к Сизокрылову (супруга его отошла на вечное житье; всему злу корень была. Еще бы сказал... да грех тревожить память покойников недобрыми словами). Получил от него ответ благосклонный. Чего ж ему? Возвратили все имение дочери со всеми доходами за несколько прошедших лет и все приданое ее до последней нитки. Теперь стал мягко стлать. Пишет, что христианский долг повелевает ему помочь тебе в расторжении брака. Тебя во всем оправдывает. Это письмо будет служить важным документом, когда начнется дело. Видел я и ее, несчастную, в заведении... В несколько минут она мне рассказала (и всякому рассказывает) ужасные вещи, которые только беснующаяся ревнивая женщина может изобрести. Я, старик, краснел, слушая ее... Если б женщина в полном разуме сказала бы вслух то, что эта несчастная говорила, она достойна была бы позорного столба. Как описать тебе ее наружность! Это пятидесятилетняя женщина, остов человека, готовый разрушиться. Доктора говорят, что она может скоро умереть и может еще несколько лет протянуть».

При чтении этих строк Волгин облил их слезами. Это была последняя дань женщины, которая так долго носила его имя. Но с этого времени сердце его раскрылось для надежд лучшей жизни. Он сделался неравнодушен к советам дяди, вышел в отставку и начал дело о разводе. В первой инстанции духовного суда оно было решено; в высшей должно было скоро решиться также благоприятно для него. Как писал дядя, законных препятствий, наконец, не оказалось. Но во время ожидания этого окончательного решения умер другой дядя, оставивший племяннику в наследство имение в Холоденском уезде. Встреча с Катей на Москве-реке была роковая. Сама судьба указывала ему будущую подругу его жизни. Он видел в ней благодетельного гения, пришедшего избавить его от ужасных оков, в кото-

рых до сих пор находился. Первый взгляд на нее, первые слова, ее сказанные, решили его участь. Познакомившись с Катей, он нашел в ней ту избранную, которую назначал ему дядя в письме своем. Она воспитывалась в Смольном монастыре, была скромна, добра, образована и любила его — в этом он уверился. Волгин, приехав в Холодную, боялся сблизиться с ней, как будто совесть запрещала ему вступать в новые сердечные связи, которые законы не могли еще освятить. Мы видели, однако ж, что противиться влечению сердца он не был в состоянии.

И прежде знакомства своего с дочерью Горлицына отдано им было, раз навсегда, его людям приказание сказывать везде, где не знали его несчастной истории, что он вдовец. «Таким образом, — думал он, — избавлюсь от тягостных расспросов и сожалений». Полюбив же Катю, радовался, что сделал это распоряжение, без которого был бы ему загражден путь к сердцу ее; но по временам не мог не тревожиться за последствия этой уловки, противной его благородным правилам. Дело сделанное поправить было невозможно. Только уверившись во взаимных чувствах к нему Кати, Иван Сергеевич открыл все дяде своему и умолял его поспешить окончанием дела. «Высвободите меня, — писал он к нему, — из ужасного положения, в которое я себя вновь поставил, и откройте мне доступ к моему благополучию». Дядя в ответ посылал ему свое благословение и обнадеживал, что решение дела не замедлит. Сказать же Горлицыну, что брак еще не уничтожен, когда это обстоятельство было скрыто прежде, боялся, не решался Волгин. Между тем новая гроза вставала над его головой.

В таком состоянии были дела его, когда мы в Холодные расстались с ними и с семейством Горлицына.

Вскоре после того в Холодную пришел пехотный полк. Военный блестящий строй, развевающиеся знамена, изувеченные в славных екатерининских битвах статные офицеры, ловко выкидывающие разные фигуры своими эспантонами, грохот барабанов, торжественная музыка, — все это было ново в уездном городке. Спавшее до сих пор население его проснулось и за-

шевелилось. Толпа дивилась треугольным шляпам на офицерах и солдатах, пучкам их и пуклям, красным отворотам, и бегала за военными, как за пришельцами из чужой земли. Во время вечерней зари весь город стекался около гауптвахты. Это был настоящий праздник. И в сердцах прекрасного пола забил барабан тревогу. В полку было несколько красивых отважных офицеров, готовых идти смело на всякий приступ.

Военные имеют особенный дар тотчас по приходе на новые квартиры узнавать, где живут хорошенькие дамы и девицы. Разумеется, большая часть их познакомилась с Горлицыными и стали оспаривать друг у друга счастье понравиться Кате. Со всеми была она свободна, приветлива, ровна, старалась, как молодая хозяйка, чтобы в доме отца ее не скучали, но никому не показывала предпочтения. Как скоро же замечала, что за ней начинают слишком ревностно ухаживать, умела скоро дать знать своему поклоннику, что это ей не нравится и успеха его искательству не будет. Никогда самый храбрый из этих рыцарей не осмеливался переступить границ уважения к ней. Столько было скромности, приличия, достоинства в дочери бедного соляного пристава! В это самое время вставала для этих рыцарей новая звезда, которая хотя давно блистала на холоденском горизонте, но не имела еще поклонников. Это была Прасковья Михайловна Пшеницына. Гостеприимный дом мужа ее был открыт для всех, и офицеры хлынули туда вслед за своим генералом Эс — м, молодым, красивым. Оставался только геройски верен знамени Кати Горлицыной один офицер, приятной наружности и с прекрасными душевными качествами. Он влюбился в Катю. Поощряемый своим сердцем и опираясь на преимущества хорошего состояния, он не мог думать, чтобы дочь бедного соляного пристава не склонилась, наконец, на постоянство его почтительной, бескорыстной любви. В Волгине же, у которого была уже седина в голове, хотя приятном и достойном всякого уважения человеке, не видал опасного соперника. Этого молодого человека звали Селезевым.

Катя не поощряла его никакими надеждами, но и не отталкивала резкими выходками и была с ним равно

любезна, тем более что отец полюбил Селезнева от души. Эта партия льстила Горлицыну, потому что он видел в нем достойного, благородного, пылкого искателя руки его дочери, идущего скорым шагом и прямым путем к цели своей. «Вот этак по-нашему!» говорил он сам с собой. В Волгине же начал несколько сомневаться. Иван Сергеевич казался ему каким-то рыцарем печального образа, под непроницаемой броней таинственности, нерешительным, колеблющимся. Все это не скрылось от глаз Волгина и прибавило новые страдания к тем, которые он терпел от невозможности сделать предложение Кате.

Между тем нужды начинали сильно осаждать Горлицына. С приездом его дочери бюджет его доходов и расходов совершенно изменился. Доходы уменьшились важной статьёй — дом уж ничего не приносил. Расходы значительно выросли. Для Кати нужно было держать получше стол; приличие требовало угощать посетителей чаем, закуской. Эти угощения считались необходимыми, чтобы не показаться голыми бедняками и не пристыдить Катю. Посетителей нельзя же не принимать, чтобы Кате не было скучно, да и неловко принимать одного Волгина. Любовь отца рассчитывала также на верного женишка между ними. Прибавилось два человека прислуги; надо было их одеть и накормить. Хорошо еще, что Катя на деньги, полученные ею при выпуске из института, составила себе порядочный гардероб. Но мало ли что нужно девице, выезжающей в свет, хотя и холоденский? Разные вещицы для нее, которые у зажиточных людей считаются ничтожными безделками, опустошали также кошелек Горлицына, и без того скудный. Катя, жившая на всем готовом в институте, не имела понятия о том, что надо издерживать на нее и что мог отец ее издерживать. Должность соляного пристава, конечно, очень скромная; отец ее небогат, потому что не имеет каменного дома, экипажа, большой прислуги, — это знала она; но не воображала, чтобы он мог нуждаться в необходимом. Настоящую же нужду, бедность, не иначе представляла себе, как в лохмотьях, протягивающую руку для подаяния. Маленькие остатки от собственных ее деньжонок почти

все мало-помалу перешли к таким беднякам. Впрочем, желая ознакомиться с домашним хозяйством (не даром же называли ее молодой хозяйкой!) и облегчить отцу занятия по этой части, она просила поручить ей эти занятия. Но Горлицын, упрямо, под разными предложениями, отказывался посвятить ее в тайны домашнего очага. Он хотел оставить ее в спокойном, счастливом неведении его скудных средств. Зачем ее, такую молодую, довольную своей судьбой, знакомить с горькой существенностью? Радости, как певуны-птички, свили себе гнездо в ее сердце; спугнешь их, не скоро загонишь назад. Людям строго наказано было скрывать от Кати все, что могло ее огорчить или потревожить.

Когда она еще не приезжала из Петербурга, Александр Иваныч не стыдился ходить с своим кулечком в лавки и на рынок. Что ему были мнения холоденских жителей! Но когда поселилась в доме петербургская, воспитанная девица, на которую обратил внимание богатый сосед, Горлицын стал стыдиться этого кулечка. Он передал его Филемону. Хозяйство от такого распоряжения не потерпело; напротив того, верный слуга покупал все дешевле своего барина, да еще умел, за недостатком денег, кредитоваться то у одного, то у другого торговца. Но и кредит начал мало-помалу колебаться. «Больно горды вы с барином,— говорили Филемону лавочники.— То-то бы ломаться не надо. Что за честь, когда нечего есть!» Такие отзывы очень раздражали старого слугу.

Грозно, настойчиво осаждали враги, называемые нуждами, домик холоденского соляного пристава и с каждым днем все теснее и теснее обступали его.

Даже в присутствии Кати крепко задумывался иногда Горлицын. Забывшись, он что-то бормотал про себя и перебирал пальцами, как будто делал какие-то выкладки.

— Что это вы, папаша, ныне так скучны?— говорила Катя, ласкаясь к отцу.— Все считаете по пальцам. Уж не беспокоят ли вас какие счета?

— На службе не без забот, душа моя,— отвечал Горлицын.— Однако ж, все пустяки! Показалось мне, в нескольких кулях соли обчелся.

— Чтобы мне поручить вашу счетную книгу? Ведь я знаю тройное правило, а это правило золотое, пригодно во всех случаях жизни, говаривал мне учитель. Хотите, я вам сочту, сколько у вас зерен соли в магазине? Положим, в фунте столько-то зерен, в пуде столько-то фунтов, в куле—пудов, в магазине—кулей. Прорэкзаменуйте-ка меня.

Горлицын засмеялся и сказал:

— Кто ж считает зерна соли? Ведь это все равно, что сосчитать песчинки на берегу реки.

— Ну, так я вам сочту приход и расход ваших денег с моего приезда, и выведу остаток. Положим, у вас было такого-то числа 2,157 рублей $63\frac{7}{8}$ копейки...

— Полно ты, моя милая счетчица,— перебил Катю отец, у которого сердце сжалось еще сильнее, когда она произнесла гигантскую сумму его мнимого богатства.— Верю, что ты арифметику хорошо знаешь, да твоя мне не годится... Вот, как выйдешь замуж...

— Что ж вы меня так скоро гоните от себя?

— Гнать?.. Можно ли, душа моя?.. Ты мне одна отрада на свете. Да ведь когда-нибудь надо. Сыскался бы добрый человек, так я бы сам к вам перебрался.

А, например, кого бы вы выбрали мне?— спросила лукаво Катя.

— Например, вот Селезнева.

— Селезнева?..— И неудовольствие изобразилось на лице Кати.

— Молодой человек очень достойный. Он мне уж делал предложение...

— Что ж вы ему сказали?

— Просил подождать. Знаю, сосед был бы больше по сердцу, да... чужак какой-то... Вот уж слишком три месяца к нам ходит, ухаживает за тобой и только... серьезного ничего... Где ж? такой богатый человек, может быть, и знатная родня... а мы живем в хижине, званием невелички... Уж не потешается ли, как игрушкой, от скуки?..

— Потешается?.. Не может быть, неправда!— сказала с одушевлением Катя; но, поняв, что слишком резко отвечала отцу и могла этим оскорбить его, стала

к нему ласкаться и промолвила: — Зачем же, папаша, обижать напрасно доброго, благородного человека?

Катя не могла ничего более сказать, заплакала и упала на грудь отца. Александр Иванович заметил, что любовь пустила слишком глубокие корни в сердце дочери, крепко смутился и проговорил:

— Ну, виноват, душечка; так к слову сказалось... Прости мне. Времени у тебя впереди много. Господу поручаю тебя и твою судьбу. Он лучше нас все устроит.

Этот разговор оставил, однако ж, тяжелое впечатление на душе Кати и заставил ее придумывать, что бы могло остановить Волгина сделать отцу предложение, Волгина, который, казалось, так ее любит. Обманывать ее он не может, нет и сто раз нет!

Когда Катя вышла из комнаты отца, он грустно проводил ее глазами, покачал головой и опять впал в глубокое раздумье, и опять стал перебирать пальцами. «Жалованье взято вперед за два месяца: статья конченная. Занять у Пшеницыных? Неловко: по службе имеет отношения. За послугу надо быть благодарным». Сколько знает он людей, которые, задолжав усердным кредиторам, делались их ревностными слугами; как часто благодарность вводила в нечистые дела!.. «У предводителя? Просить, ох, тяжело!.. Дадут, чем отдать?.. Предводитель же сам не Бог знает какой богач, ждать долго не может. Еще более запутаешься. Заложить серебряные часы, подарок жены на второй день брака? Разве прибавить к ним обручальные кольца?.. Пожалуй, скрепя сердце, он послал бы их с Филемоном к какому-нибудь ростовщику. Но что даст за них ростовщик? Безделицу, а возьмет жидовские проценты. Заложить дом? Но завтра ж он может умереть, и какое наследство оставит дочери?..»

Приближался час, когда Горлицын мог отчаянно сказать — незнаменитое, хотя пригодное на этот случай, изречение Франциска I после поражения под Павией: все потеряно, кроме чести! Нет, роковые слова чиновника-бедняка, у которого есть дочь, нежно любимая — слова, много значащие, хотя и очень простые: осьмушку чаю, фунт сахару на завтрашний день! Год жизни за осьмушку чаю, за фунт сахару!

Правда, были еще у Горлицына два средства отдалить этот роковой час и взять передышку от бремени нужд, которые на него налегали. Первое средство предложил ему усердный Филемон в одно из совещаний, на которые они сошлись тайно от всех; другое само собой представилось Александру Иванычу в минуты отчаянного его положения.

Филемону передал по секрету старый инвалид, приставленный к соляному магазину, что в этом магазине есть несколько десятков лишних кулей, накопившихся с годами, оттого что у Александра Иваныча не было или было очень мало утечки и усушки, положенных даже законом. Неровен час, придет ревизор, да еще взыщет за лишнюю соль; пойдут допросы, откуда взялась. Что скажешь? как отделаешься от этих зубастых допросов? Для безопасности должно, без греха можно, ее продать. Инвалид и старый слуга берутся это сделать так, что никто не узнает. А денежки можно выручить хорошие.

— Продать, из казенного места, казенное добро в свою пользу? Посягнуть на воровство первый раз в жизни? Сделать дольщиками этого воровства слугу и сторожа? Да как ты осмелился мне это предложить, сударь ты мой? Да я тебя упеку и с твоим инвалидом, куда ворон костей не заносит! Что мне ревизор? Соль налицо; не бесчестно, не с корыстными умыслами копил!.. Я сам донесу по начальству, и делу конец.

Такой резкой исповедью Александр Иваныч осыпал Филемона, словно картечью; но слуга не струсил. Раздосадованный, что его золотой совет, так хитро и с таким усердием придуманный, не удался, он нагрубил первый раз в жизни своему барину и покончил тем, что предсказывал ему суму, да и несчастной дочке такую же участь. Горлицын в сердцах вытолкал его из двери. После такой неудачи и оскорбления, старый слуга впервые в жизни запил, и так запил, что не мог идти на рынок. Эту обязанность исполнила Бавкида, не преминув сначала поколотить порядком своего супруга. Новый удар принял бедный Горлицын в сердце, будто истинное наказание Божье.

Другое средство избавиться от всех этих мирских,

треволнений было — прибегнуть к секретной шкатулке, в которой хранилась экономическая сумма, накопленная в столько лет к приезду дочери. В шкатулке уже близ ста рублей. Но деньги эти назначены Кате; они сделались ее добром, ее собственностью. Что ж? он займет не у чужого, у дочери. Придут более счастливые дни, и деньги возвратятся на свое место. Решено: секретная шкатулка — единственный источник, из которого можно почерпнуть без укора совести. Не то завтра у Кати не будет чаю, завтра... мало ли чего не будет?

В раздумье ходил Александр Иваныч несколько времени по своей комнате взад и вперед, тяжелыми шагами, которые отдавались в потолок Катиной спальни. Вещее чувство сказало ей, что отец ее чем-нибудь необыкновенно озабочен. Грустный, пасмурный вид, которого она прежде в нем не замечала, какая-то скрытность в поступках, тяжелые шаги, никогда так сильно не раздававшиеся над ее головой; — все это встревожило ее, и она решилась идти к отцу наверх.

В это время Александр Иваныч, достав заветный ящик, бледный, дрожащими руками отпер его, будто собирался украсть чужие деньги. Только что успел он взглянуть на свое сокровище, как дверь тихо отворилась. В страхе он опустил руки, затрясся, хотел что-то сказать, но не мог выговорить слова. Жалкий, умиленный вид имел он, будто застигнутый воришка. Шкатулка была наполнена почти доверху крупной и мелкой серебряной монетой. В первые минуты Катя не могла приписать смущение отца ничему другому, как испугу, что застала его над деньгами, которые он старался скрыть от нее... Она всплеснула руками и промолвила:

— О го-го! папаша, сколько у вас денег!..

— Немного, Катя, немного, и ста рублей нет, — едва мог выговорить Александр Иваныч. — Для тебя было копил... да понадобились... крайняя нужда... Хотел у тебя в долг взять, прости мне.

И в глазах его заблестали слезы.

В этих словах, в слезах этих, было столько горькой истины, вылившейся из глубины души, что Катя сейчас поняла свою ошибку. Она схватила руку отца, нежно, крепко поцеловала ее и сказала:

— О! какой вы добрый!.. А все-таки грех вам сомневаться во мне, да еще просить у меня прощения. Разве все мое — не ваше, все ваше — не мое?.. Еще бы нам делиться!.. Ведь только нас двое и есть в семье... Давайте, сочтем, сколько тут денег. Еще есть у меня петербургских рублей десятков с лишком, положим вместе.

И еще раз поцеловав руку отца, подала ему стул, потом важно присела к столу, на котором стояла шкапулка, высыпала из нее деньги и начала раскладывать их кучками, пятакки к пятачкам, гривенники к гривенникам, и так далее. Тут же проговорила:

— Вот я вас за это накажу, погодите!..

От сердца Александра Иваныча отлегло; он улыбнулся прежней своей детской, прекрасной улыбкой и стал помогать дочери укладывать деньги. Сосчитав деньги, которых действительно оказалось близ ста рублей, она сыскала клочок бумаги, взяла перо и стала писать и произносить вслух написанное, припоминая себе форму заемного письма, которое видела в Петербурге у матери своей подруги:

— Я нижеименованный отец такой-то дочери занял у единородной своей Кати 103 рубля 65 копеек — понимаете, тут будут и петербургские деньги — на бессрочное время; буде чего не заплачу, то вольна она, вышереченная Катя, требовать от меня сверх законных поцелуев, выдаваемых ей каждый день, столько, сколько она пожелает. Теперь подписывайте.— И Александр Иваныч, усмехаясь, взял перо и подписал рукой, еще нетвердой, свое имя и фамилию.

— А теперь, — сказала она, целуя его, — проценты вперед. Вот вам, вот вам... ведь я ростовщик!

Оживили Горлицына эти слова и ласки, и он, собирая деньги опять в шкапулку, сказал:

— Ведь я не шутя возьму у тебя деньги; они мне нужны.

— Сказано, сделано, вот рука моя, а вот и ваше заемное письмо, — отвечала Катя, скорчив серьезную мину, ударила отца в ладонь его, молодецки пожалала ее и, свернув клочок бумаги, спрятала у себя на груди.

Так пасмурно начался и так отрадно кончился этот день. Счастливым Александр Иваныч повеселел. По

старой привычке он велел позвать к себе Филемона, да тот оказался опять в несостоятельном положении. Опять поручили Бавкиде сделать покупки, и на этот раз более важные. И вслед за тем довольство полилось в доме. Катя, узнав, что старый слуга болен, очень этим встревожилась, состряпала ему бузинного отвара в чайнике и сама пошла к одру больного, чтобы дать ему это лекарство. Филемон был в жару, мутные глаза едва узнали барышню, к которой потянулся было целовать руку... Катя думала, что старик в самом деле болен, с жалостью на него посмотрела и велела своей горничной давать ему бузины, да почаще ей сказывать, будет ли ему легче или хуже, неравно придется послать за лекарем. Такое внимание доброй барышни к недостойному очень озадачило его и пробудило в нем совесть. На другой же день явился он к Катерине Александровне, когда барина не было дома, и повалился ей в ноги.

— Матушка-барышня, простите мне,— говорил он ей,— я вас обманул, болен не был. Бес лукавый попутал: хмельным зашибся. Отродясь не бывало со мной этакой оказии. Божусь вам, в первый и последний раз... Тянька ведь всему причиной... больно уж совестлив.

Этими словами подана была нить в руки Катерины Александровны, и клубок стал разматываться. Тут Филемон рассказал причину своего нравственного падения и, кстати, уже развернул свиток истории всех нужд, которые одолевали Александра Ивановича едва ли не со смерти Катиной матери, как он терпел их, не смея царской копеечкой поживиться, да как отказывал себе во всем, и прочее, и прочее, что мы уж прежде рассказывали.

Чего не открыла Кате эта простая, но страшная для нее повесть! Каким новым светом озарилась душа ее! Теперь только узнала она всю силу любви к ней отца. Все ее прошедшее было только сновидение, мечты, коварно ласкавшие ее. Она походила на дитя, которое тешится огоньками, бегающими по стене около его колыбели, не зная, что через час весь дом от них разрушится. Сколько опыта приобрела Катя в несколько ми-

нут! В каком горниле закалилась душа! Да, несколько минут тому назад, она была девочка; теперь стала женщиной, твердой, сильной, готовой вступить в борьбу с невзгодами жизни. За самоотверженную любовь надо заплатить такой же любовью, за великие жертвы — еще высшими, если можно.

Катя поблагодарила старого слугу за все, что он ей открыл, обещаясь никому не говорить о том, что слышала от него, наказывала не огорчать более отца неуместными советами и дурным поведением. Отпустив его, она отправилась в свою спальню, усердно, со слезами молилась образу Спасителя, которым отец благословил ее, когда она поступила в институт; долго стояла на коленях перед портретом матери... Плакала она горько эту ночь, плакала и другие ночи, но с каждым утром, умывшись, была на вид весела и необыкновенно нежна с отцом. Целую неделю каждый день ходила в соборную церковь, которая была в нескольких шагах от их дома, и так усердно молилась. Молитвы ее были об одном и том же, подать ей свыше силы принести долгу свою жертву. Волгин, в продолжение этой недели, приходил раза три, был по-прежнему особенно внимателен к Александру Ивановичу. В каждом взгляде его, в каждом слове, обращенном к Кате, не могла она не заметить выражений прежней любви. Сколько раз, замечая, что отец сделался к нему холоднее, а дочь была особенно грустна, решался он объяснить свое положение, но молчал, боясь безвременной откровенностью разрушить свое счастье тогда, когда ожидал со дня на день окончания дела о разводе.

Неделя прошла, и Катя в первый затем день объявила отцу, что идет за Селезнева.

— Он добрый, достойный человек,— говорила она отцу,— я хочу, я буду его любить... Только прошу у вас три дня сроку... Только три дня,— повторяла она с твердостью,— а там, не спрашивая меня, скажите ему, что я согласна.

Как ни желал Горлицын этого решения, он теперь испугался его. Согласие было дано так неожиданно, без всяких приготовлений.

— Я не неволю тебя, душа моя,— говорил он Кате,—

тебе ведь жить с мужем, так выбирай себе по сердцу.— Но Катя осталась на своем. Александр Иванович пристально посмотрел на нее и сказал с необыкновенной твердостью:— Подождем!..

Потом задумал он думу крепкую. Не получила ли уж она письма от Волгина, которое заставило ее принять такое скорое решение? Не может быть. Если б он осмелился к ней написать, Катя не скрыла бы письма от отца. Не мог же рассудок в несколько дней победить склонность, которая так сильно выказалась в последнем разговоре с дочерью, склонность, которая так быстро развилась и долго росла, поощряемая самим одобрением отца! Волгин жил в Холодне без дела; не слыхать было, чтоб он собирался куда, несмотря на то, что хозяйственные дела требовали его в новое имение. Катя ходила каждый день в церковь, чего прежде не делала. У ней были на днях глаза красны: сказано, что это от ветру... Нет, это не то, совсем не то!.. Тут что-нибудь необыкновенное скрывается. Как бы узнать?

Передумал все это Александр Иванович и решился идти к Волгину отплатить, может быть, последним визитом за десятки, которые был ему должен, между тем намекнуть о предложении Селезнева и испытать, какое действие произведет оно на соседа. Надо было решить судьбу Кати, а другого способа, как этот, не мог отыскать Александр Иванович по простоте души своей.

Волгин был очень рад посещению гостя. Никогда сосед не видал его в таком приятном расположении духа; оно выражалось на его лице, во всех его словах.

— Вы, как нарочно, посетили меня,— говорил он Горлицыну,— когда я только что получил из Петербурга радостное известие. На днях ожидаю другого, решительного; оно развяжет мою судьбу, от него зависит вся моя будущность.

В чем же состояло это извещение, Волгин не сказал, и сосед почел неприличным спрашивать. Загадка для Александра Ивановича все-таки осталась загадкой. Он решился приступить к более сильным мерам и, как делают удачно некоторые хитрецы, простодушною откровенностью вызвать на такую же.

— И у меня в доме, сударь вы мой,— сказал он,— готовится нечто приятное.

— А что такое? — спросил нетерпеливо Волгин.

— От вас не скрою: я вас уважаю, как друга. Вот видите, прекрасный молодой человек Селезнев... достойный во всех отношениях... вы его знаете... удостоил чести просить руки моей дочери...

Волгин побледнел, как мертвец.

— Что ж Катерина Александровна? — спросил он задыхаясь.

— Сначала Катя не хотела и слышать. Да она у меня разумная такая... Романтические бредни еще с удовольствием прочтешь в книге, а в жизни куда как не годится!.. Все дым, сударь мой!.. Господь посылает ей счастье, грех пренебрегать... Просила только три дня сроку...

Волгин вскочил с дивана, схватил руку Александра Иваныча и, крепко сжимая ее, сказал:

— Нет, этому не быть!.. Скажите, что этому не быть... Не убейте меня... Простите, что я так смело говорю... Воля родительская... но я люблю ее так сильно, так глубоко, что готов за нее с целым миром поспорить. Я полюбил ее с первого раза, как увидел; сам Господь указал мне на нее... Мое счастье, жизнь моя — в надежде получить ее руку. Ради Бога, не отнимайте у меня этой надежды.

— Позвольте, для чего ж вы до сих пор не объяснились?..

— Винюсь перед вами, я сделал в жизни своей только одно худое дело — скрыл от вас одно обстоятельство, и то из боязни потерять доброе расположение Катерины Александровны. Но ныне же... на словах не могу... открою вам все. Ныне вечером вы получите от меня письмо. Прочтите его сначала одни, потом, если дозволите, пусть прочтет ваша дочь, и тогда решите мою участь.

— Вы знаете, — отвечал тронутый Горлицын, — как я люблю и уважаю вас. И я за честь, за счастье почел бы иметь вас своим зятем. Но... посудите сами... такие частые посещения, так долго... голова молодой девушки могла закружиться; далеко ли до сердца?.. злые языки в городе...

— Вините судьбу мою, обстоятельства!.. Намере-

ния мои были всегда чисты; заслужить руку вашей дочери, но заслужить ее честно, благородно,— было одним побуждением моим во всех моих действиях с того времени, как ее знаю. Ради Бога, не осуждайте меня...

— Буду ждать вашего письма,— сказал Горлицын, крепко обнял своего соседа и простился с ним. Возвратившись домой, обремененный радостным предчувствием и страхом неизвестности, он сказал Филемону, сидевшему уже в передней в здоровом положении, так что могла слышать Катя из другой комнаты:

— Если придет ныне Селезнев, сказать, что нас дома нет. Слышал ты, Ричард мой возлюбленный?

— Слышал, батюшка, Александр Иваныч,— отвечал дрожащим от радости голосом Филемон, ободренный шуточным приветствием, которое всегда так приятно щекотало его сердце и которого он более недели не слышал от своего господина.

Вошедши в комнату дочери, Горлицын прибавил с веселым видом:

— Мы подождем, Катя; да, подождем!.. Утро вечера мудренее, говорит пословица, а у нас вечер будет мудрее утра. Не знаю ничего, а знаю только, что сосед наш человек благородный, хоть и темный. Не спрашивай меня ни о чем, и будь повеселей.

И Катя, смущенная этими загадочными словами, не спрашивала ни о чем. Можно вообразить, что происходило в душе ее. Она видела, как отец ходил к соседу, заметила, что он возвратился домой веселый, нежели вышел из дому, ничего не понимала из путаницы слов, сказанных ей отцом, но слово «подождем!» было для нее так странно. Она посмотрела на портрет матери и подумала, покачав головой: «Не ты ли упросила там за меня Господа?..» Довольно было для нее уж и того, что откладывалось исполнение ужасного приговора, на который она себя осудила.

Перед вечером Горлицын получил от соседа огромный пакет и заперся у себя на ключ, чтобы никто не мешал ему прочесть, что в нем заключалось. В этом пакете было письмо на его имя, тетрадь с заглавием «Моя история», несколько документов и писем на имя Ивана Сергеевича от дяди его.

Письмо, адресованное Горлицыну, было следующего содержания:

«Милостивый государь, Александр Иванович!

Посылаю вам историю моей жизни со времени приезда в губернский город N, вместе с приложениями, которые удостоверят вас в истине моего рассказа. Бог свидетель, что я не старался в нем представить себя в лучшем виде, нежели каков я был, и обременить лишними нареканиями женщину, и без того слишком наказанную. Да простит ей Судья Всевышний, как я простил ее на этой земле!

Желал бы я скрыть от всех в глубине растерзанного сердца эту ужасную историю; но долг мой, после того, как я признался вам в чувствах своих к Катерине Александровне, обязывает меня быть с вами откровенным, как с отцом моим. Прочтите все и осудите меня, если у вас окажутся силы осуждать несчастье, а не преступление.

Жизнь моя без пятна, совесть чиста. В одном могу только обвинить себя — в том, что я не открыл вам прежде моих обстоятельств; но и за этот невольный проступок ожидаю себе великодушного прощения: любовь и тут была причиной обмана, без которого я закрыл бы себе, может быть, навсегда доступ к сердцу вашей дочери.

Любовь моя к Катерине Александровне так сильна, что нет жертвы, какую бы я не принес ей, кроме самой любви. Я буду ждать вашего ответа целые сутки. Если не получу его в этот срок, приговор мой будет мне известен. Удар этот, конечно, придется моему сердцу тяжелее всех, какие я доселе испытал. Тогда останется мне уехать из здешних мест в дальнюю мою деревню, может быть в чужие края, пожелав Катерине Александровне всего счастья, которого она так достойна, а вам — наслаждаться зрелищем этого счастья. Об одном прошу вас только: вспомнить иногда несчастливца, которому судьба, без вины его, назначила испить до последних дней его горькую чашу страданий. Мне же останется навсегда хоть утешением воспоминание о тех прекрасных днях, единственных в моей жизни, которые я провел в вашем семействе».

Читая это послание и все приложения к нему, Горлицын несколько раз прекращал свое чтение, чтобы дать себе отдохнуть от бремени тех чувств, которые оно возбуждало в душе его; несколько раз слезы мutilили его глаза и заставляли отрываться от печальных строк. Пришедши к дочери, он подал ей письма и бумаги, полученные от Волгина, кроме копий с разных определений присутственных мест, и сказал ей:

«Ты не дитя, вооружись твердостью, прочти все и скажи мне потом, что нужно написать соседу. А я куда пройдуся немного, подышу свежим воздухом... Мочи нет, мне тяжело!

Когда он возвратился, Катя с заплаканными глазами сидела у стола и писала что-то на почтовом листочке. Написавши, отдала отцу и прибавила:

— Прочтите эту записку и пошлите ее к Волгину. Знаю наперед, что вы на нее согласны, потому что вам дорого счастье вашей дочери.

Александр Иваныч прочел следующее:

«Отец мой предоставил мне отдать руку мою тому, кого выберет мое сердце. Полюбила я вас сначала, может быть, и романтически: мудрено ль? Тогда я только что сошла с институтской скамьи. Потом, с опытом жизни, рассудок и сердце уверили меня, что я ни с кем не могу быть счастлива, как с вами. Теперь ни в чем вас не обвиняю. Уважаю вас еще более, прочтя ваши бумаги. Видно, Господь назначил мне утешить вас, сколько могу, за все ваше прошедшее — я исполню свято этот долг. Приходите к нам сейчас.

Ваша на веки *Катерина Горлицына*».

Ничего не сказал отец, прочтя записку, поцеловал дочь, благословил ее и, запечатав послание, отослал с Филемоном к соседу. Верный Ричард дожидался ответа. Радостный, как безумный, выбежал к нему Волгин, поцеловал его в лоб, всунул ему в руку пучок ассигнаций, сказал: «Иду!» Но, видя, что тот, ошеломленный от таких невиданных щедрот, стоял все на том же месте, почти вытолкнул его из двери. Через несколько минут Иван Сергеевич был у ног Кати... Детская улыбка

ка мелькала на губах Александра Иваныча и радостные слезы катились из его глаз.

Прошло несколько дней нетерпеливого и тревожного ожидания известий из Петербурга. Оно пришло. Вот что писал Ивану Сергеевичу дядя его:

«Твое дело окончательно решено. Но Бог решил его за несколько дней до того по-своему. Пятого ноября отошла твоя жена в вечную жизнь. Перед смертью пришла в рассудок, узнала, где находится, потребовала к себе священника, исполнила все христианские обязанности, со слезами просила прощения, особенно у тебя, у всех, кого когда-либо обидела, пожелала тебе счастья (это были ее последние слова) и скончалась тихо на руках людей, совершенно ей чужих. Пусть будет ее жизнь примером для многих! Подай ей, Господи, в селениях небесных мир, которым она здесь не наслаждалась!.. Посылаю тебе законное свидетельство о ее смерти».

Когда Волгин передал Катерине Александровне и отцу ее это известие и намерение свое отслужить панихиду по усопшей, невеста его вызвалась участвовать в исполнении этого священного и трогательного обряда.

Впоследствии времени она этой обязанности не пропускала ни одного года до конца своих дней.

Помолвка и обручение были через несколько дней и изумили весь город. Семейство предводителя, Пшеницыны и многие другие от души радовались этому событию. Сыскались, однако же люди, которые заметили, что дочери бедного соляного пристава выпало такое высокое счастье не по рангу. Селезнев с отчаяния спешил уехать в отпуск.

В это время Катерина Александровна получила при своем женихе письмо — от кого бы вы думали? — от майорской дочери Чететкиной.

— Что бы она могла мне написать? — сказала Горлицына, взглянув на подпись, — уж не из-за вас ли хочешь начать со мной процесс?

Майорская дочка, расточив сначала изъяснения своего уважения и сожаления к Катерине Александровне, принялась потом честить Волгина самыми лест-

ными для него эпитетами. И злодей-то он, и безнравственный человек, и свел-то с ума жену, образец всех женщин, которую держит в своей деревне, едва ли не на цепи. Вместе с этим Чечеткина предлагала начать с ним процесс, для такой okazji рекомендовала отличного ходока-поверенного, который заставит вероломного обманщика, посягающего на честь и благополучие такой прекрасной девицы, какова Катерина Александровна, заплатить ей важную сумму.

Как узнала о семейных делах Волгиной охотница до процессов,— никто из читавших ее письмо не старался исследовать. Довольно, что посмеялись над этим посланием, которое, однако ж, если бы получено было несколько прежде, могло бы встревожить Горлицына и его дочь.

Когда невеста собиралась к венцу, Ване поручили надеть на ее ножку башмачок. Говорят, что плутишка при этом не преминул поцеловать ее ножку и заставил Катю очень покраснеть. После свадьбы Горлицын вышел в отставку, предоставив лишние кули соли в распоряжение своего преемника, и переехал к дочери в новую деревню ее мужа, где был и прекрасный дом, и прекрасный сад, и протекала та же М— река, омывавшая берег, на котором стоял домик соляного пристава в Холодне. До глубокой старости наслаждался он счастьем видеть согласие и любовь обоих супругов. И мне раз, в юности моей, удалось провести несколько дней в этой благословенной семье и видеть, как два маленьких внука и крошка внучка барахтались с дедушкой на лугу. Та же детская, прекрасная улыбка, одушевлявшая лицо старика, не оставляла его до тех пор, пока не закрыла его последняя, брошенная на него горсть земли.

Ввиду того места, где Катя и Волгин в первый раз познакомились, близ переправы через Москву-реку, у подножия Мячковского кургана, поставили они скромный памятник. Не знаю, существует ли он теперь.

НОВОБРАНЕЦ 1812 ГОДА

Из моих памятных записок

В роковые двадцатые числа рокового 12-го года находился я в Москве. Выйдя только что из-под опеки гувернеров, Messieurs Beaulieu и маркизов Жюльекуров, еще недавно архивный юноша, проглотивший с двенадцатилетнего возраста немало пыли при разборе полусгнивших столбцов, перешедши потом в канцелярию московского гражданского губернатора Обр., по приглашению его для узнания службы, я, однако ж, оставался в Москве не по служебным обязанностям. В то время дана была каждому воля идти на все четыре стороны. Паспортов не выдавалось, потому что все дела канцелярии были выпровожены на Владимирскую дорогу. В Москве же задерживало меня ожидание письма от моего отца, который жил в деревне, за восемьдесят верст от Москвы, в стороне Коломны. Я рвался в ряды военные и ждал на это разрешения. Сердце мое радостно билось при одной мысли, что я скоро опояшусь мечом и крупно поговорю с неприятелем за обиды моему отечеству. В войну 12-го года, истинно народную, патриотизм воспламенял и старцев, и юношей. Порой рисовалось моему юношескому воображению зарево биваков, опасное участие в ночном пикете, к которому ветерок доносит жуткий говор неприятеля, жаркая схватка, отважная выручка. Не скрою, что порой прельщали меня и красный ментик с золотым украшением, и лихой конь, на котором буду гарцевать перед окнами девушки, любимой мною страстно... до первой новой любви. Но увы! Мои надежды недолго тешили меня. Вместо ожидаемого разрешения, получаю от отца приказ немедленно к нему явиться. Я плакал как ребенок,

но скоро одумался. «Чего б ни стоило,— сказал я сам себе,— я буду военным, хоть бы солдатом». Мыслью уже послушник родительской воли, я тотчас сделался послушником и на деле, и не очень спешил выехать из Москвы.

Уже дошла до нас весть о бородинской битве: все, что делалось в армии, было через несколько часов известно в Москве; каждое биение пульса в русском войске отзывалось в сердце ее. Многие купцы содержали по пути к месту военных действий конных гонцов, которые беспрестанно сновали взад и вперед. Два исполина дрались с ожесточением: француз шел, очертя голову, в белокаменную, и хвалился перед миром победой; русский, истекая кровью, но готовый лучше умереть, чем покориться, сильный еще силой крестного знамения, любви и преданности к государю и отечеству, шел отстаивать святые сорок сороков матушки белокаменной, пока не положил ввиду ее костей своих: *мертвые бо срама не имут.*

Но — в военном совете Кутузова решено было сдать Москву без боя. Настали дни скорбные и вместе с тем великие. Москвичи, не помышляя более о спасении своих домов, думали только честно покинуть их. Кажется, в одно время в сердце народа и в голову великого полководца пала мысль, для блага России, принести на алтарь ее в жертву первопрестольный город. Один, для исполнения своих высших планов, замышлял отдать Москву; другой замышлял сжечь ее, в случае сдачи неприятелю и тем очистить ее от поругания нашествия. Так в дни Божии избранники Его и народ понимают друг друга и действуют согласно, не поверяя друг другу своих намерений. В эти дни я слышал нередко от купцов, извозчиков и моего дядьки, что, в случае сдачи Москвы, наши готовятся спалить ее до тла. «Не доставайся ж, матушка, неприятелям». И потому, если мое свидетельство может что-нибудь прибавить к показаниям историков 12-го года, считаю долгом засвидетельствовать, что пожар московский был просто следствием народного побуждения. Тогдашний градоначальник Раstopчин, отгадав это побуждение, не только

не мешал, но даже содействовал ему, — вот что надо еще прибавить. Кому принадлежит честь этого подвига — судите сами.

Высокое и трудное бремя нес тогда Растопчин. Надо было в одно время поддерживать пламенное усердие к делу общему, ослаблять уныние, возбуждаемое вестями о скором нашествии неприятеля, и усмирять народные порывы. Редки, однако ж, были случаи вмешательства черни. Видны были кое-где грязные лица, которые заглядывали в повозки, отъезжавшие из Москвы, и провожали удалявшихся именем *изменников*... В то же время остававшиеся в столице, большей частью отцы семейств, старики, женщины и дети и торгующий класс, покидали стены ее, хотя не без тревоги, однако ж, безопасно.

Для исполнения своих благоразумных видов, градоначальник бросал каждый день в пищу народу свои животрепещущие послания, и народ с жадностью хватая их, не только успокаивался, но и обращал свои помыслы к благому — защите города. Вскоре, однако ж, представилась жертва сама собой. Безрассудный В*, сын купца, отмеченный молвой как изменник, был обхвачен буйством толпы и заплатил жизнью за свой поступок. Накануне видел я В* в кофейной на Никольской, тогдашнем фойе всех политических и не политических новостей. Можно вообразить, что я чувствовал, узнав на другой день об его участи.

Между тем как дядька мой устраивал дорожные сборы, поехал я за город, к Филям и на Поклонную гору, куда народ стекался смотреть на пленных французов, взятых в деле бородинском. Солнце уж западало, но, далеко не доходя до земной черты, скрывалось в туманном горизонте, который образовали жар и пыль, поднятые тревожной жизнью города и еще более тревожной жизнью между городом и отступающим войском. В Филях нашел я действительно много пленных разнородных наций. В речах и поступках своих французы казались в это время не пленниками нашими, а передовыми *великой армии*, посланными занять для нее квартиры в Москве. На Поклонной горе особенное мое внимание привлек к себе многочисленный

кружок, составленный большей частью из купцов, мещан и крестьян. В середине толпы стоял мужчина, довольно высокий, плечистый; лицо его казалось вдохновенным, голос звучал звонко, энергично. За толпой, тесно окружившей его, я не мог слышать его речи, обращенной к народу, но до меня по временам долетали слова его, глубоко западавшие в грудь. Толпа, творя крестное знамение, повторяла с жаром его последние слова: «За батюшку царя и Русь православную, под покровом Царицы небесной!» Я узнал, что это был Сергей Николаевич Глинка, ревностный сподружник московского градоначальника в тогдашних его подвигах на служении отечеству. С каким благоговением смотрел я на него! Он известен мне был заочно, как издатель «Русского Вестника», поощривший мой первый литературный лепет, поместив в своем журнале мою *военную песнь* и напечатав под ней мое имя, он сделал меня на несколько дней счастливым. Мое восторженное сердце поклонялось тогда всем современным знаменитостям. Увидеть Карамзина было одним из самых пламенных желаний: сколько раз собирался я идти к нему, чтобы положить перед ним мой сердечный поклон! Раз в театре мне указали его; он был с женой в креслах. Во все представление я не видал ничего, кроме Карамзина; когда, во время антракта, он вставал, я устремлял на него так пристально глаза, что он раз улыбнулся и, перешептываясь с женой, указал ей осторожно на меня. В последовавшую затем ночь я не спал от блаженства, что видел великого человека и был им замечен. С Сергеем Николаевичем Глинкой знаком я был впоследствии. Дивная была эта личность! Он содержал пансион, в котором воспитывались дети богатых донцов, в том числе и сын Платона. Золото обильно лилось в его карманы, между тем не было у него часто копейки за душой. Выходя из дому с деньгами, или из книжной лавки, куда являлся для получения денег на крайние домашние нужды, он возвращался бедный, как Ир, и всегда довольный. Часто, когда нечего ему было дать просящему у него бедняку, он отдавал ему что попадалось под руки — носовой платок, шейный, жилет, пустой кошелек, книжку... Он почти всегда хо-

дил пешком, если же брал извозчика, то самого худого, которого, вероятно, нанимал для того, чтобы ему помочь. Заметен он очень был тем, что ходил в самые жестокие морозы в сюртуке на вате. Весь московский люд знал его; я часто видел, как извозчики на биржах кла- нялись ему в пояс, а многие проезжавшие мимо снимали перед ним шапки.

Когда я выехал из Филей, по смоленской дороге показался в клубах пыли обоз, которому не видно было конца. Везли раненых. Поезд тянулся в несколько рядов и затруднился у Драгомиловского моста. Сделалась остановка. Надо было видеть в это время усердие москвичей к воинам, пролившим кровь свою за отечество. Калачи летели в повозки, сыпались деньги пригоршнями, то и дело опорожнялись стаканы и кувшины с квасом и медами; продавцы распорядились добром своих хозяев, как своей собственностью, не только не боясь взыскания, но еще уверенные в крепком спасибо; восклицаниям сердечного участия, благословениям, предложениям услуг не было конца. Облако пыли большей частью заслоняло это зрелище, и только изредка, когда ветерок спаживал ее или густой луч прорезывал, видно было то добродушное лицо бородача, который подавал свою лепту, то лицо воина, истомленное, загорелое, покрытое пылью, то печальные черты старушки, которая, облокотясь на телегу, расспрашивала о своем сыне-служивом. В один из этих просветов пал на меня болезненно-унылый взор раненого офицера. Ему могло быть лет двадцать пять с небольшим; смертная бледность покрывала прекрасное и благородное лицо его; одна рука была у него на перевязи, другой он опирался на задок телеги, где лежало несколько солдат. Невольное чувство увлекло меня к нему. «Неужели не сыскалось для вас повозки?» — спросил я его. — «Была, — отвечал он, — но случились раненые тяжелее меня... Слава Богу, я могу еще дойти». При этих словах с трудом приподнялся из телеги, один из солдат, лежавший с ней и сказал со слезами на глазах: «Его благородие — наш ротный командир; нам четверым раненым было тесно в одной телеге... он уступил нам свою». Тут он не мог продолжать и опустился в повозку.

Возвратившись домой, я стал собираться в путь, к отцу в деревню. Квартира моя была на Сретенском бульваре (помнится, в доме профессора Горюшкина), подле узорочного дома с садом, где хозяин, старый инвалид, причудливо устроил гауптвахту, поставил деревянную батарею и солдат, не сменявшихся со стражи. Он и на покое, в городе, не хотел расставаться с военной жизнью. Старожилы, конечно, запомнят этот дом, которого ни один проезжий не миновал, не полюбовавшись на игрушечный лагерь. После моего отъезда из квартиры, где я жил, занял ее раненый офицер Франк с рядовым Ишутиним. Выписываю страничку об этих лицах из моих походных записок: «По окончании боюродинской битвы, когда смерть утомилась над бесчисленными жертвами своими, раненый рядовой 2-й роты сводного гренадерского батальона, Никифор Ишутин, присоединяясь к роте своей, шел отдаленно за ней с поля сражения. Вдруг слышит он за собой слабые стѣны, которые, казалось ему, звали его на помощь. Пренебрегая страхом попасться в плен неприятелю, расставлявшему свои пикеты, он возвратился на то место, откуда доносились звуки замирающего голоса. Там нашел он роты своей прапорщика Франка, плавающего в крови от полученной им тяжелой раны пулей в ногу. «Бог принес меня к вашему благородию,— сказал он,— дам ли я неприятелю ругаться над вами?» Несмотря на собственную боль, он стащил офицера на плечи свои и готовился один нести его из опасного места, как другой солдат той же роты, видевший издали его усилия, присоединился к нему и помог ему донести драгоценную ношу в цепь, где перевязывали раненых. С этого времени Ишутин не отходил от больного Франка; в продолжение отступления достал ему повозку с лошадей, перевязывал раны и смотрел за ним, как нежный отец. При выходе русских войск из Москвы он не расстался с умирающим офицером. Все, что они претерпели в пребывание неприятелей в древней столице нашей, не может быть описано. Довольно сказать, что дом, в котором нашли они себе спокойный уголок, предан был пламени. Верный Ишутин вынес Франка из огня на плечах своих, как новый Эней отца своего Анхиза».

Я простился с Москвой, как прощаемся с родною, которую опускаем в землю. При выезде из заставы, я приобрел себе дорожных товарищей, шесть или семь дюжих мужичков. Они не преминули упрекнуть меня за оставление первопрестольной столицы, и если б не быстрота лошадей в моей повозке, мне пришлось бы плохо. Мой геройский дух снова был озадачен в Волчьих воротах жалобными криками умирающего... На заре, под Островцами, я сошел с повозки и мимоходом взглянул в часовню, которая стояла у большой дороги. Вообразите мой ужас: я увидел в часовне обнаженный труп убитого человека... Еще теперь, через сорок лет, мерещится мне белый труп, бледное молодое лицо, кровавые, широкие полосы на шее, и над трупом Распятие...

На берегу Москвы-реки, на виду сельского крова, под которым я провел лучшие лета моего детства, встретили меня родные со слезами радости. В ожидании меня, сколько страху испытали они: не попался ли я в плен французам, не убили ли меня недобрые люди!

Через несколько дней узнали мы, что Москва занята неприятелем. Ожидали этого известия, а между тем оно судорожно пронеслось по всем классам народа. Таков уж русский народ: он так уверен в своей силе и всякий неуспех приписывает или фатализму, или измене. Много нелепых слухов распускали по святой Руси несведущие люди! А говорили это именно тогда, когда знали, что к концу бородинской битвы капитаны командовали полками, когда каждый из наших генералов творил в ней чудеса храбрости и кровью платил за любовь свою к отечеству. Недаром бородинская битва названа битвой генералов.

В первый вечер, следовавший за печальной вестью, в северной стороне от нашей деревни разостлалось по небу багровое зарево: то горел, за восемьдесят верст от нас, первопрестольный город, и всем нам казалось, что горит наше родное пепелище. Несколько дней сряду каждый вечер Москва развертывала для нас эту огненную хоругвь. При свете ее сельские жители собирались толпой перед господским домом или перед церковью, молились и вздыхали о потерянном Сионе. Тяжким

свинцом пало уныние на душу нашу; казалось, все ждали последнего часа. Поплакав несколько дней над пеплом Москвы, стали, однако ж, думать о спасении своем. Никто не помышлял о покорности неприятелю, о том, чтобы оставаться в своих домах, бить ему челом. Ожидали его только с тем, чтобы у него на виду спалить свои жилища. Имуущество поценнее хоронили в погребках, под овинами и подклетьями, в лесах, но топоры и косы приберегали на случай под рукой. Стали к нам приближаться переселенцы с тех мест, которые занял уже неприятель. Толпы, большей частью дети, женщины, старики, переходили с места на место, нередко по ночам освещаемое кострами, воздвигаемыми из собственных домов. Где могло остановиться это переселение? Никто не ведал; знали только, что к солнечному восходу, к Сибири, шел народ. В эту тяжкую годину все делились между собой, как братья; каждый, кто бы он ни был, садился за чужой стол, как семьянин; многие богачи сравнялись с бедняками, и часто бедняк из сумы своей одолял вчерашнего богача. Все это казалось, в годину общего бедствия, делом очень обыкновенным.

В это время стал я проситься вновь у родителей своих вступить в ряды военные, и опять напрасно.

Казаки прискакали с вестью, что французы скоро появятся. В казенном селении Новлянском, на противоположном от нас берегу Москвы-реки, ударил роковой набат: это был народный сигнал зажигать свои дома. К счастью, тревога тотчас оказалась ложной, и селение уцелело. Но как неприятель действительно перешел уже Бронницы (в 27-ми верстах от нас), то мы и решили подобру-поздорову выбраться из своего гнезда. Меня повезли, как пленника; по крайней мере, я считал себя таким. Я помышлял уже освободиться из этого плена, но куда не видел к тому возможности. Перед Коломной присоединился к нам огромный караван помещиков с их домочадцами. В числе последних была стая собак, с которыми владелец их, чужак и страстный охотник, не хотел расстаться.

Мы приехали в Коломну. Это моя родина. Горжусь ею, потому что в ней родился один из знаменитейших

духовных сановников и проповедников нашего времени (Филарет, митрополит московский и коломенский). Сколько воспоминаний о моем детстве толпилось в моей голове, когда мы въехали в Запрудье! Предстали передо мной, как на чудной фантазмагорической сцене, и вечерние росистые зори, когда я загонял влюбленного перепела на обманчивый зов подруги, и лунные ночи на обломке башенного зубца, при шуме вод смиренной Коломенки, лениво движущих мельничные колеса; ночи, когда я воображал себя на месте грустного изгнанника, переселенного Грозным из Великого Новгорода в Коломну. Вспомнил я прогулку на козле и доброго француза-гувернера с длинной косой за плечами, которую вместе с головой своей вынес он из-под гильотины. Явилась предо мной и ты, maître corbeau, и вы, пламенные страницы Руссо,— которыми душа моя жадно упивалась, как дикий конь, выпущенный из загона на широкую степь,— и вы, великие мужи Плутарха!.. Все это, и многое, многое другое, что глубоко бросило семена в сердце моем, прошло теперь мимо меня во всех радужных цветах очарования. «Кто идет?» — закричал караульный громовым голосом у ворот нашего дома, и очарование, спугнутое голосом часового, исчезло. Дом этот славился некогда роскошью своего убранства: везде паркеты из красного, черного и пальмового дерева, мрамор, штоф... В нем отец мой угощал великолепных сынов кончавшегося XVIII века.

из стаи славной
Екатериныных орлов.

Теперь в нем помещалась артиллерийская рота (впоследствии он был продан под трактир), и мы с трудом в собственном нашем доме, могли найти уголок, где бы преклонить на ночь нашу голову.

С рассветом были мы уж на дороге к Рязани. Близ первой почтовой станции (не помню названия деревни) расположили мы свой табор для полдневания. Раскинутые по лугу бесчисленные палатки, табун коней, оглашающих воздух своим ржанием, зажженные костры, многолюдство, пестрота возрастов и одежд, немолчное движение,— все это представляло зре-

лице прекрасное, но могло ли это зрелище восхищать нас? Я пошел с несколькими помещиками и купцами прогуляться по деревне. Когда мы подходили к стационарному дому, возле него остановилась колясочка; она была откинута. В ней сидел Барклай де Толли. Его сопровождал только один адъютант. При этом имени почти все, кто были в деревне, составили тесный и многочисленный круг и обступили экипаж. Смутный ропот пробежал по толпе... Немудрено... Отступление к Москве расположило еще более умы против него; кроме государя и некоторых избранников, никто не понимал тогда великого полководца, который с начала войны — до бородинской отчаянной схватки сберег на своих плечах судьбу России, охваченную со всех сторон еще неслыханной от века силой военного гения и столь же громадной вещественной силой. Но ропот тотчас замолк: его мигом сдержал величавый, спокойный, холодный взор полководца. Ни малейшая тень смущения или опасения не пробежала по его лицу. В этом взоре не было ни угрозы, ни гнева, ни укоризны, но в нем было то волшебное, не разгадываемое простыми смертными могущество, которым наделяет Провидение своего избранника и которому невольно покоряются толпы, будучи сами не в состоянии дать отчет, чему они покоряются. Мне случалось после видеть, как этот холодный, спокойный, самоуверенный взгляд водил войска к победе, как он одушевлял их при отступлении (из-под Бауцена и окрестностей Парижа, когда мы в первый раз подходили к нему). Русский солдат, всегда недовольный ретирадами, не роптал тогда, потому что, смотря на своего предводителя, уверен был, что он не побежден, а отступает ради будущей победы.

День был ясный, коляска стояла под тенью липы, урвавшей на улице несколько густых сучьев из-за плетня деревенского сада. Барклай де Толли скинул фуражку, и засиял голый, как ладонь, череп, обесмертненный кистью Дова и пером Пушкина. При этом движении разнородная толпа обнажила свои головы. Вскоре лошади были готовы, и экипаж исчез в клубах пыли. Но долго еще стояла толпа на прежнем месте, смущенная и огромленная видением великого человека.

Не знаю, куда ехал тогда Барклай де Толли, но знаю, что 25 сентября был он в Калуге. Оттуда писал он, именно этого числа, к графу Остерману-Толстому (у которого впоследствии был я адъютантом) письмо, чрезвычайно замечательное по тогдашнему положению бывшего начальника армии. В нем он изъяснял свою грусть, что расстается с русским войском, и приятную уверенность, что в нем остаются полководцы, которые поддержат честь русского имени.

Богатое село Дедново, в котором мы остановились на два дня, расположено на берегу Оки. Оно известно сколько промышленностью крестьян, столько и оригинальностью своего помещика Л. Д. Измаилова, осуществившего в себе тип феодального владельца средних веков. Такого рода дворяне ныне уже в России и не существуют. Особенно было оживлено Дедново в наш приезд, потому что в нем собиралось рязанское ополчение, начальником которого был владелец этого имения Лев Дмитриевич; угостил нас по-боярски.

В Рязани пробыли мы недолго. Здесь вскоре узнали, что французам не поздоровилось в Москве и что они, как журавли к осени, начали потягивать на теплые места, и потому мы возвратились в Коломну.

Здесь я стал вновь проситься у родителей моих позволить мне идти на военную службу и получил опять тот же отказ. Тогда я дал себе клятву исполнить мое намерение, во что бы то ни стало бежать из родительского, и как я не имел служебного свидетельства, идти хоть в солдаты. Намерению моему нашел я скоро живое поощрение. В городе остановился отставной (помнится, штабс-офицер) кавалерист Беклемишев, посевший в боях, который, записав сына в гусары, собирался отправить его в армию. С этим молодым человеком ехал туда же гусарский юнкер Ардал, сын богатого армянина. Я открыл им свое намерение; старик благословил меня на святое дело, как он говорил, и обещался доставить в главную квартиру рекомендательное письмо, а молодые люди дали мне слово взять меня с собой. За душой не было у меня ни копейки: коломенский торговец-аферист купил у меня шубу, стоящую рублей 300, за 50 рублей, подозревая, что я продаю ее

тайно... С этим богатством и дедовской меховой курткой, покрытой зеленым рытым бархатом, шел я на службу боевую. Назначен был день отъезда. Все приготовления хранились в глубочайшей тайне. Роковой день наступал — сердце было у меня не на месте. В одиннадцатом часу вечера простился я с матерью, расточая ей самые нежные ласки; с трудом удерживал я слезы, готовые упасть на ее руку; я сказал ей, что хочу ранее лечь спать, потому что у меня очень разболелась голова. И она, будто по предчувствию, необыкновенно ласкала меня и раза два принималась меня благословлять. В своей спальне я усердно молился, прося Господа простить мне мой самовольный поступок и облегчить горесть и страх моих родных, когда они узнают, что я их ослушался и бежал от них. Меньшему брату, который спал со мной в одной комнате, сказал я, что пойду прогуляться по саду и чтобы он не беспокоился, если я долго не приду. Помолившись еще раз, я вышел в сени. Условный колокольчик зазвенел за воротами; я видел, как ямщик на лихой тройке промчался мимо них, давая мне знать, что все готово к отъезду. Еще несколько шагов в кремль, где жил Беклемишев, — и я на свободе. Но в сенях встретил меня дядька мой Ларивон. «Худое, барин, затеяли вы, — сказал он мне с неудовольствием, — я знаю все ваши проделки. Оставайтесь-ка дома, да ложитесь спать, не то я сейчас доложу папеньке и вам будет нехорошо». Точно громовым ударом ошибли меня эти слова. Я обидно стал упрекать дядьку, что он выдумывает на меня небылицу, заверяя его, что я только хочу пройтись по городу. Но Ларивон был неумолим: «Воля ваша, — продолжал он, — задние сени в сад у меня заперты на замок; я стану на карауле в нижних сенях, что на двор, и не пропущу вас, а если вздумаете бежать силой, так я тотчас подниму тревогу по всему дому. У ворот поставил я караульного, и он то же сделает, в случае удачи вашей вырваться от меня». Тут я переменил упрек на моления; я слезно просил его выпустить меня и нежно целовал. Но дядька был неумолим. Делать было нечего; надо было оставаться в заключении. Отчаяние мое было ужасно; можно сравнить это положение только с состоянием узника, кото-

рый подпилит свои цепи и решетку у тюрьмы, готов был бежать, и вдруг пойман... Дядька мой преспокойно сошел вниз. Проклиная его и судьбу свою, я зарыдал, как ребенок. Вся эта сцена происходила на верхнем этаже очень высокого дома. Из дверей сеней виден был, сквозь пролом древнего кремля, огонь в квартире старого гусара, который собирался посвятить меня в рыцари. Я вышел на балкон, чтобы взглянуть на последний раз на этот заветный огонек и проститься навсегда с прекрасными мечтами, которые так долго тешили меня. Вдруг, с правой стороны балкона, на столетней ели, растущей подле него, зашевелилась птица. Какая-то неведомая сила толкнула меня в эту сторону. Вижу, довольно крепкий сук от ели будто предлагает мне руку спасения. Не рассуждая об опасности, перелезаю через перила балкона, бросаюсь вниз, цепляюсь проворно за сучок, висну на нем и упираюсь ногами на другой, более твердый сучок. Тут, как векша, сползаю проворно с дерева, обдираю себе до крови руки и колена, становлюсь на землю и пробегаю минуты в три довольно обширный сад, бывший за домом, на углу двух переулков. От переулка, ближайшего моей цели, был забор сажени в полторы вышины: никакая преграда меня не останавливает. Перелезаю через него, как искусный волтижер. Если бы заставили меня это сделать в другое время, у меня не достало бы на это ни довольно искусства, ни довольно силы. Но таково могущество воли, что оно удесятеряет все способности душевные и телесные. Перебежать переулок и площадь, разделявшую дом наш от кремля, и влететь в дом, где ожидали меня, было тоже делом нескольких минут. Я прибежал, задыхаясь, готовый упасть на пол; на голове у меня ничего не было, волосы от поту липли к разгоревшимся щекам. Мои друзья уже давно ждали меня, сильно опасаясь, не случилось ли со мной какой невзгоды. Старый гусар благословил меня образом, перед которым только что отслужили напутственный молебен; на меня нахлобучили первый попавшийся на глаза картуз, мы сели в повозку и промчались, как вихрь, через город, берегом Коломенки и через Запрудье. Кормили лошадей за 40 верст, потом в Островцах.

Несколько раз дорогой, казалось мне, нас догоняют; в ушах отзывался топот лошадиный, нас преследующий; в темноте за мной гнались какие-то видения. Сердце трепетало в груди, как голубь. В Москву въехали мы поздно вечером. Неприятель уже оставил город: у заставы в карауле были изюмские гусары; они грелись около зажженных костров. Русские солдаты, русский стан были для нас отрадными явлениями. Мы благоговейно перекрестились, въезжая в заставу и готовы были броситься целовать караульных, точно в заутреню Светлого Христова Воскресения. И было чему радоваться, было с чем братьям поздравить друг друга: Россия была спасена!

Москва представляла совершенное разрушение; почти все дома была обгорелые, без крыш; некоторые еще дымились; одни трубы безобразно высились над ними; оторванные железные листы жалобно стонали; кое-где в подвалах мелькали огоньки. Мы проехали весь город до Калужской заставы, не встретив ни одного живого существа. Только видели два-три трупа французских солдат, валявшихся на берегу Яузы. «Великолепная гробница! — сказал я, обратившись к московским развалинам. — В тебе похоронены величие и сила небывалого от века военного гения! Но из тебя восстанет новая могущественная жизнь, тебя оградит новая нравственная твердыня, через которую ни один враг не посмеет отныне перейти; да уверится он, что для русского нет невозможной жертвы, когда ему нужно спасти честь и независимость родины».

Мы остановились в селении Троицком (имении моего товарища Ардал.), помнится, верстах в трех от Москвы. В доме нашли мы величайший беспорядок; казалось, неприятель только что его оставил. Зеркала были разбиты, фортепиано разломано, уцелевшее платье, в том числе и мальтийский мундир покойного помещика, которое не годилось в дело, валялось на полу. В Троицком прожили несколько дней; здесь, казалось, укрывался я в совершенной безопасности от поисков. Мы ездили раз в Москву, посмотреть, что там делается. Народ с каждым днем прибывал в нее; строились против гостиного двора и на разных рынках балаганы

и дощатые лавочки; торговля зашевелилась. Дымились на улицах кучи навоза, зажженные для ограждения от заразы мертвых тел.

Нам с товарищами надо было еще объехать деревни Ардал., которые находились в Московской губернии, в ближайших уездах, помнится, Звенигородском и Дмитровском, и собрать оброки, потому что молодой помещик, отправлявшийся в армию, был совершенно без денег. Казалось, время для такого сбора, по случаю военной невзгоды, тяжело налегшей на эти края, было самое неблагоприятное. Напротив того, крестьяне этих уездов собрали богатую дань с неприятелей, взявших ее с Москвы: почти у каждого мужичка были деньги, серебряные или золотые часы, богатые материи, сукна, головы сахара и пр. Крестьяне везде встречали своего молодого господина с хлебом и солью и немедленно вносили ему оброк, даже часть вперед. Только в одной деревне они немного заупрямились, но мы, трое юношей (и на меня надели гусарский ментик, и меня опоясали саблей), на сходке загревели саблями, и буйные головы немедленно с повинной преклонились перед грозными воинами, у которых еще ус не проби- вался. Морозы уже наступали, раз, в дороге, желая согреться, я пошел пешком и, оставши от товарищей, едва не замерз ввиду какой-то господской великолепной дачи, совершенно опустелой. Только что возвратились мы в Троицкое и собирались уже на другой день отправиться в главную квартиру армии (это было поздно вечером), как вбежал ко мне в комнату хозяин и объявил, что приехал мой отец. Не зная, что делать, я спрятался в *людскую*. Тут, подле меня, лежала на смертном одре какая-то старушка: я слышал предсмертный колоколец; первый раз в жизни видел я, как человек умирает. Лихорадка трясла меня, но не от этого зрелища, а от страха, что отец узнал мое убежище и приехал исторгнуть меня из него, чтобы вновь теснее связать мою волю. Но вскоре я услышал его голос, нежный, выходящий из любящей души: «Пускай покажется Ваня,— говорил он,— пускай придет; я его прощаю, я сам благословлю его на службу». Тут, не колеблясь на минуты, бросился я в его объятия, целовал его

руки, обливал их слезами. С груди моей свалился камень. Это была одна из счастливейших минут моей жизни.

На другой день отец повез меня в Москву и представил беглеца московскому гражданскому губернатору Обрез., который возвратился в столицу с должностными чинами. (Он стоял тогда в Леонтьевском переулке.) Губернатор, в присутствии многих лиц, сделал мне строгий выговор, что я огорчил родителей своим побегом, но приказал, однако ж, тотчас выдать мне служебное свидетельство и вручил мне рекомендательное письмо к главному начальнику московского ополчения. Вскоре приехал я в московское ополчение офицером и через несколько дней был переведен в московский гренадерский полк. Счастье мне улыбнулось: начальник 2-й гренадерской дивизии, принц мекленбургский Карл, взял меня к себе в адъютанты.

Вот как 12-й великий год завербовал меня в свои новобранцы.

ЗНАКОМСТВО МОЕ С ПУШКИНЫМ

Из моих памятных записок

Puis, moi, j'ai servi le grand homme!

Le Vieux Corporal

В августе 1819 года приехал я в Петербург и остановился в доме графа Остермана-Толстого, при котором находился адъютантом. Дом этот на Английской набережной, недалеко от Сената. В то время был он замечателен своими цельными зеркальными стеклами, которые еще считались тогда большой редкостью, и своей белой залой. В ней стояли, на одном конце, бюст императора Александра Павловича и по обеим сторонам его, мастерски изваянные из мрамора, два гренадера лейб-гвардии Павловского полка. На другом конце залы возвышалась на пьедестале фарфоровая ваза, драгоценная сколько по живописи и сюжету, на ней изображенному, столько и по высокому значению ее. Она была подарена графу его величеством, взамен знаменитого сосуда, который *благодарная* Богемия поднесла, *за спасение ее*, герою кульмской битвы, и который граф с таким смирением и благочестием передал в церковь Преображенского полка. В этом доме была тоже библиотека, о которой стоит упомянуть. В ней находились все творения о военном деле, какие могли только собрать до настоящего времени. Она составлялась по указаниям генерала Жомини. Украшением дома было также высокое создание Торвальдсена, изображавшее графиню Е. А. Остерман-Толстую в полулежачем положении: мрамор в одежде ее, казалось, сквозил, а в формах дышал жизнью.

Мы (я и прапорщик Сибирского гренадерского полка Д., ныне генерал-лейтенант и командир дивизии) ехали по Петербургу не главными улицами его.

К тому же в четвероместной нашей карете стояла против нас клетка с орлом, ради чего мы сочли за благо спустить шторы у окон. Въехали мы в дом со стороны Галерной, на которую выходил задний фасад его. И потому я не мог сделать заключение о городе, в котором никогда не бывал.

Только что я успел выйти из экипажа, граф прислал за мной. Он стоял на балконе, выходящем на Неву. Помню, вечер был дивный. Солнце ушло уже одной половиной своей за край земли, другой золотило и румянило рой носившихся около него пушистых облачков. «Ты не бывал еще в Петербурге — посмотри...» — сказал мне граф с какой-то радостью, указывая *единственной* рукой своей на Неву. Казалось, он мановением этой руки раскрыл для меня новый, прекрасный мир.

Петербург тогда был далеко не тем, что он теперь, но и тогда вид на голубоводную, широкую Неву, с ее кораблями, набережными, академией, биржей и адмиралтейством, привел меня в восторг. Я бывал в Берлине, Лейпциге, Касселе, Кенигсберге и Париже, но ни один из этих городов не сделал на меня такого впечатления. Правда, когда я в первый раз увидел Париж, я ощутил невыразимо высокое чувство; но надо прибавить, что это было в вечер 18 марта 1814 года, что я увидел город с высоты Монмартра, при утихавшем громе наших орудий, при радостных криках «ура»! В эти минуты я вспомнил пожар Москвы, вспомнил, как я месил снежные сугробы литовские, спотыкаясь о замерзшие трупы, при жестоких морозах, захватывавших дыхание, в походной шинели, сквозь которую ветер дул, как сквозь сетку решета. Еще живо представлялась мне великая и ужасная картина Березины, взломанной бегущей армией. Как будто дух Божий хотел показать на этом месте всю силу своего гнева — взорвал реку с основания ее и со всем, что застал живого, оледенил ее вдруг своим дуновением. Среди обломков колес и осей, изорванной и окровавленной одежды, трупов лошадей, руки, поднятые изо льдин и как будто еще молящие о спасении или угрожающие, лики мертвецов, с оледеневшими волосами, искривлен-

ные, с бешенством проклятия или с улыбкой новой жизни на устах *, а кругом снежная, с тощим кустарником, степь, подернутая вечерним полусумраком. Ни одного звука на этом ледяном кладбище, кроме стука от подков моей лошади, пугливо ступающей между мертвецами; ни одной живой души, кроме меня, с (бывшим) дядькой моим, который весь трясется и жутко озирается. Все это живо представлялось мне на монмартрских высотах. Теперь я только что вышел из огня сражения, из-под свиста пуль, цел, невредим — и передо мной, у ног моих, расстиралась столица Франции... О ней мог я только мечтать во сне, и вот, завтра же, вступаю в нее с победоносной армией... О! Это чувство было высокое, восторженное, но его произвело не зрелище красот Парижа, а стечение обстоятельств, приведших меня к нему — обстановка этого зрелища. Чувство это было совсем не то, которое наполнило душу мою при взгляде на родной город, созданный гением великого Петра, возвеличенный и украшенный его преемниками. «Прекрасно! Чудно!» — мог я только сказать графу.

Посвятив недели две на осмотр всего, что было замечательного в Петербурге, я предался глубокому уединению, какое только позволяла мне служба. В это время готовил я к печати свои «Походные Записки», в которых столько юношеской восторженности и столько риторики. Признаюсь, писавши их, я еще боялся отступить от кодексов Рижского и братии его, столь твердо выученных мне профессором московского университета По *. «Счастлив, кто забыл свою риторику!» — сказал кто-то весьма справедливо. Увы! Я еще не забыл ее тогда... В это же время граф поручил мне привести свою военную библиотеку в порядок и составить ей каталог.

Говоря о библиотеке, невольно вспоминаю посещение ее одним из замечательных людей своего времени, который отличался сколько умом, столько и странностями. Это был генерал от инфантерии, князь В., ко-

* Я проезжал Березину спустя немного дней после переправы через нее неприятеля.

мандовавший некогда войсками, в Оренбургском крае расположенными; он пародировал во многом Суворова; а знал его уж в преклонных годах. Он ходил и ездил по Петербургу с непокрытой головой в самые жестокие морозы, иногда с морковью в руке. Граф Остерман-Толстой видал его изредка у себя. Помню, что в одно из этих посещений, вставши из-за стола, хозяин дома позвал князя и бывшего тут же графа М. А. Милорадовича (тогдашнего генерал-губернатора петербургского) в свою библиотеку. Здесь старик-младенец, казалось, переродился, как будто взгляд на военные книги произвел в нем гальваническое потрясение. Он сам сделался живым военным словарем. Многих и многих известных писателей, от Ксенофонта до наших дней, перебрал он критически, с цитатами из них, называя подробно и точно лучшие их издания. Все тут присутствовавшие были удивлены его бойкими суждениями и необыкновенной памятью. Если бы я закрыл в то время глаза, то не поверил бы, что слушаю того старика-младенца, которого встречал нередко на улицах в жестокие морозы с непокрытой головой.

Оставивши князя В. на нижнем этаже, хозяин повел графа Милорадовича на верхний, чтобы показать ему делаемые там великолепные перестройки. «Боже мой! Как это хорошо! — сказал граф Милорадович, осматривая вновь отделанные комнаты. — А знаете ли? — прибавил он, смеясь. — Я отделяю тоже и убираю, как можно лучше, комнаты в доме — только в казенном, где содержатся за долги. Тут много эгоизма с моей стороны: неравно придется мне самому сидеть в этом доме». Действительно, этот *рыцарь без страха и упрека*, отличавшийся, подобно многим генералам того времени, своей оригинальностью, щедро *даривший* своим солдатам колонны неприятельские и также щедро рассыпавший деньги (прибавить надо, много *на добро*), всегда был в неоплатных долгах, несмотря на щедроты, которые часто изливались на него государем.

Как я сказал выше, жизнь моя в Петербурге проходила в глубоком уединении. В театр ездил я редко. Хотя имел годовой билет моего генерала, отданный

в полное мое владение, я передавал его иногда Н. И. Г. «Кого это пускаешь ты в мои кресла?» — спросил меня однажды граф Остерман-Толстой с видимым неудовольствием. Я объяснил ему, что уступаю их известному литератору и журналисту. «А! Если так, — сказал граф, — можешь и впредь отдавать ему мои кресла». Говорю об этом случае для того только, чтобы показать, как вельможи тогдашние уважали литераторов.

Со многими из писателей того времени, более или менее известных, я был знаком до приезда моего в Петербург, с иными сблизился в интересные эпохи десятых годов. С. Н. Глинку узнал я в 1812 году, на Поклонной горе: восторженным юношей слушал я, как он одушевлял народ московский к защите первопрестольного города. С братом его, Федором Николаевичем, познакомился я в колонии гернгутеров, в Силезии, во время перемирия 1813 года, и скрепил приязнь с ним около костров наших биваков в Германии и Франции. Никогда не забуду уморительных, исполненных сарказма и острот, рассказов и пародий поэта-партизана Д. В. Давыдова. Хлестнет иногда в кого арканом своей насмешки и тот летит кувырком с коня своего. Этому также не надо было для бритья употреблять бритву, как говорили про другого известного остряка, — стоило ему только поводить языком своим. Часто слышал я его в городке Нимтше, в Силезии, в садике одного из тамошних бюргеров, где собирался у дяди Дениса Васильевича и корпусного нашего командира, Н. Н. Раевского, близкий к нему кружок. С азиатским обликом, с маленькими глазами, бросающими искры, с черной, как смоль, бородой, из-под которой виден победоносец Георгий, с брюшком, легко затянутым ремнем, — будто и теперь его в очи вижу и внимаю его остроумной беседе. Хохочут генералы и прапорщики. Раевский, в глубоком раздумье, может бгть, занесенный своими мыслями на какое-нибудь поле сражения, чертить хлыстиком какие-то фигуры по песку; но и тот, прислушиваясь к рассказу, воспрянул: он смеется, увлеченный общим смехом и, как добрый отец, радостным взором

обводит военную семью свою *. Батюшкову пожал я в первый и последний раз братски руку в бедной избежке под Бриенном. В эту самую минуту грянула востовая пушка. Известно военным того времени, что генерал Раевский, при котором он тогда находился адъютантом, не любил опаздывать на такие вызовы. Поскакал генерал и вслед за ним его адъютант, послав мне с коня своего прощальный поцелуй. И подлинно это был прощальный привет, и навсегда... С тех пор я уж не видал его. С А. Ф. Воейковым познакомился я в зиму 1814—15 года, в Дерпте, где квартировал штаб нашего полка. Можно сказать, что он с кафедры своей читал в пустыне: на лекции его приходило два-три студента, да иногда человека два наших офицеров или наши генералы Полуектов и Кнорринг. У него узнал я Жуковского, гостившего тогда в его семействе. Оба посещали меня иногда. Горжусь постоянно добрым расположением ко мне Василия Андреевича. С князем П. А. Вяземским имел я случай нередко видеться *замечательной* весной 1818 года, в Варшаве. Здесь, за дворцовой трапезой, на которую приходила вся свита Государя Императора, между прочими граф Каподистрия и другие знаменитости того времени, сидел я почти каждый день рядом с А. И. Данилевским-Михайловским, вступившим уже тогда на поприще военного писателя. Здесь же учился я многому из литературных бесед остроумного Жихарева, которого интересные мемуары помещаются ныне в «Отечественных Записках». Но я еще нигде не успел видеть молодого Пушкина, издавшего уже в зиму 1819—20 года «Руслана и Людмилу», Пушкина, которого мелкие стихотворения, наскоро, на лоскутках бумаги, карандашом переписанные, разле-

* Брат мой имел честь находиться при нем на ординарцах во время маршей по Германии и в лейпцигской битве и много порассказал мне о нем. Николай Николаевич никогда не суетился в своих распоряжениях: в самом пылу сражения отдавал приказания спокойно, толково, ясно, как будто был у себя дома; всегда спрашивал исполнителя, так ли понято его приказание и если находил, что оно недостаточно понято, повторял его без сердца, называя всегда посылаемого адъютанта или ординарца голубчиком или другими ласковыми именами. Он имел особый дар привязывать к себе подчиненных.

тались в несколько часов огненными струями во все концы Петербурга и в несколько дней Петербургом вытверживались наизусть,— Пушкина, которого слава росла не по дням, а по часам. Между тем я был один из восторженных его поклонников. Следующий необыкновенный случай доставил мне его знакомство. Рассказ об этом случае прибавит несколько замечательных строчек к его биографии. Должен я также засвидетельствовать, что все лица, бывшие в нем главными деятелями (кроме историка, вашего покорного слуги), уже давно померли, и потому могу говорить о них свободно.

Квартира моя в доме графа Остермана-Толстого выходила на Галерную. Я занимал в нижнем этаже две комнаты, но первую от входа уступил приехавшему за несколько дней до того времени, которое описываю, майору NN, служившему в штабе одной из дивизий ...ого корпуса, которым командовал граф. NN был малорослым, учился, как говорят, на медные деньги и образован по весу и цене металла. Наружность его соответствовала внутренним качествам: он был очень плешив и до крайности румян; последним достоинством он очень занимался и через него считал себя неотразимым победителем женских сердец. Игрой густых своих эполет он особенно щеголял, полагая, что от блеска их, как от лучей солнечных, разливается свет на все, его окружающее, и едва ли не на весь город. Мы прозвали его дятлом, на которого он и наружно, и привычками был похож, потому что без всякой надобности долбил своим подчиненным десять раз одно и то же. Круг своей литературы ограничил он «Бедной Лизой» и «Островом Бернгольмом», из которого особенно любил читать вслух «Законы осуждают предмет моей любви», да несколькими песнями из «Русалки». К театру был пристрастен, и более всего любил воздушные пируэты в балетах; но не имел много случаев быть в столичных театрах, потому что жизнь свою провел большей частью в провинциях. Любил он также покушать. Рассказывают, что во время отдыха на походах не иначе можно было разбудить его, как вложивши ему ложку в рот. Вы могли толкать, тормошить его, сколько

сил есть,— ничто не действовало, кроме ложки. Впрочем, был *добрый мальи́й*. Мое товарищество с ним ограничивалось служебными обязанностями и невольным сближением по квартире.

В одно *прекрасное* (помните зимнее утро — было ровно три четверти восьмого — только что успев окончить свой военный туалет, я вошел в соседнюю комнату, где обитал мой майор, чтоб приказать подавать чай. NN не было в это время дома; он уходил смотреть, все ли исправно на графской конюшне. Только что я ступил в комнату, из передней вошли в нее три незнакомые лица. Один был очень молодой человек, худенький, небольшого роста, курчавый, с *арабским профилем*, во фраке. За ним выступили два молодца, красавца, кавалерийские гвардейские офицеры, погромыхивая своими шпорами и саблями. Один был адъютант; помнится, я видел его прежде в обществе любителей просвещения и благотворения; другой — фронтовой офицер. Статский подошел ко мне и сказал мне тихим, вкрадчивым голосом: «Позвольте вас спросить, здесь живет NN?» — «Здесь,— отвечал я,— но он вышел куда-то, и я велю сейчас позвать его». Я только хотел это исполнить, как вошел сам NN. При взгляде на воинственных ассистентов статского посетителя, он, видимо, смутился, но вскоре оправился и принял также марциальную осанку. «Что вам угодно?» — сказал он статскому довольно сухо. «Вы это должны хорошо знать,— отвечал статский.— Вы назначили мне быть у вас в восемь часов (тут он вынул часы); до восьми остается еще четверть часа. Мы имеем время выбрать оружие и назначить место...» Все это было сказано тихим, спокойным голосом, как будто дело шло о назначении приятельской пирушки. NN мой покраснел, как рак, и, запутываясь в словах, отвечал: «Я не за тем звал вас к себе... я хотел вам сказать, что молодому человеку, как вы, нехорошо кричать в театре, мешать своим соседям слушать пьесу, что это неприлично...» — «Вы эти наставления читали мне вчера при многих слушателях,— сказал более энергическим голосом статский,— я уж не школьник, и пришел переговорить с вами иначе. Для этого не нужно много слов: вот мои два секунданта; этот господин

военный (тут указал он на меня), он не откажется, конечно, быть вашим свидетелем. Если вам угодно...» NN не дал ему договорить. «Я не могу с вами драться,— сказал он,— вы молодой человек, неизвестный, а я штаб-офицер...» При этом оба офицера засмеялись, я побледнел и затрясся от негодования, видя глупое и униженное положение, в которое поставил себя мой товарищ, хотя вся эта сцена была для меня загадкой. Статский продолжал твердым голосом: «Я русский дворянин, Пушкин: это засвидетельствуют мои спутники, и потому вам не *стыдно* будет иметь со мной дело».

При имени *Пушкина* блеснула в голове моей мысль, что передо мной стоит молодой поэт, таланту которого уж сам Жуковский поклонялся, корифей всей образованной молодежи Петербурга, и я спешил спросить его:

— Не Александра ли Сергеевича имею честь видеть перед собой?

— Меня так зовут,— сказал он, улыбаясь.

«Пушкину,— подумал я,— Пушкину, автору «Руслана и Людмилы», автору столько прекрасных мелких стихотворений, которые мы так восторженно затвердили, будущей надежде России, погибнуть от руки какого-нибудь NN, или убить какого-нибудь NN и жестоко пострадать... нет, этому не бывать! Во что бы то ни стало устрою мировую, хотя б и пришлось немного покривить душой».

— В таком случае,— сказал я по-французски, чтобы не понял нашего разговора NN, который не знал этого языка,— позвольте мне принять живое участие в вашем деле с этим господином, и потому прошу вас объяснить мне причину вашей ссоры.

Тут один из ассистентов рассказал мне, что Пушкин накануне был в театре, где на беду судьба посадила его рядом с NN. Играли пустую пьесу, играли, может быть, и дурно. Пушкин зевал, шикал, говорил громко: «Несносно!» Соседу его пьеса, по-видимому, очень нравилась. Сначала он молчал, потом, выведенный из терпения, сказал Пушкину, что он мешает ему слушать пьесу. Пушкин искоса взглянул на него и принялся шуметь по-прежнему. Тут NN объявил своему

неугомонному соседу, что попросит полицию вывести его из театра.

— Посмотрим,— отвечал хладнокровно Пушкин и продолжал повесничать.

Спектакль кончился, зрители начали расходиться. Тем и должна была бы кончиться ссора наших противников. Но мой витязь не терял из виду своего незначительного соседа и остановил его в коридоре.

— Молодой человек,— сказал он, обращаясь к Пушкину, и вместе с этим поднял свой указательный палец,— вы мешали мне слушать пьесу... это неприлично, это невежливо.

— Да, я не старик,— отвечал Пушкин,— но, господин штаб-офицер, еще невежливее здесь и с таким жестом говорить мне это. Где вы живете?

NN сказал свой адрес и назначил приехать к нему в восемь часов утра. Не был ли это настоящий вызов?..

— Буду,— отвечал Пушкин.— Офицеры разных полков, услышав эти переговоры, обступили было противников; сделался шум в коридоре, но, по слову Пушкина, все затихло, и спорившие разошлись без дальнейших приключений.

Вы видите, что ассистент Пушкина не скрыл и его вины, объяснив мне вину его противника. Вот этот-то узел предстояло мне развязать, сберегая между тем голору и честь Пушкина.

— Позвольте переговорить с этим господином в другой комнате,— сказал я военным посетителям.

Они кивнули мне в знак согласия. Когда я остался вдвоем с NN, я спросил его, так ли было дело в театре, как рассказал мне один из офицеров. Он отвечал, что дело было так. Тогда я начал доказывать ему всю необдуманность его поступков; представил ему, что он сам был кругом виноват, затеяв вновь ссору с молодым, неизвестным ему человеком, при выходе из театра, когда эта ссора кончилась ничем; говорил ему, как дерзка была его угроза пальцем и глупы его наставления, и что, сделав формальный вызов, чего он, конечно, не понял, надо было или драться, или извиниться. Я при-

бавил, что Пушкин сын знатного человека (что он известный поэт, этому господину было бы нипочем). Все убеждения мои сопровождал я описанием ужасных последствий этой истории, если она разом не будет решена. «В противном случае,— сказал я,— иду сейчас к генералу нашему, тогда... ты знаешь его: шутить не любит». Признаюсь, я потратил ораторского пороку довольно, и недаром. NN убедился, что он виноват, и согласился просить извинения. Тут, не дав опомниться майору, я ввел его в комнату, где дожидались нас Пушкин и его ассистенты, и сказал ему:

— Господин NN считает себя виноватым перед вами, Александр Сергеевич, и в опрометчивом движении, и в необдуманных словах, при выходе из театра; он не имел намерения ими оскорбить вас.

— Надеюсь, это подтвердит сам господин NN,— сказал Пушкин.

NN извинился... и протянул было Пушкину руку, но тот не подал ему своей, сказав только: «Извиняю», и удалился со своими спутниками, которые очень любезно простились со мной.

Скажу откровенно, подвиг мой испортил мне много крови в этот день — по каким причинам, вы угадаете сами. Но теперь, когда прошло тому тридцать шесть лет, я доволен, я счастлив, что на долю мою пришлось совершить его. Если б я не был такой жаркий поклонник поэта, уже и тогда предрекавшего свое будущее величие; если б на месте моем был другой, не столь мягкосердый служитель музыки, а черствый, браннолюбивый воин, который, вместо того чтобы потушить пламя раздора, старался бы еще более раздуть его, если б я повел дело *иначе*, перешел только через двор к *одному* лицу, может быть, Пушкина не стало бы еще в конце 1819 года, и мы не имели бы тех великих произведений, которыми он одарил нас впоследствии. Да, я доволен своим делом, хорошо или дурно оно было исполнено. И я ныне могу сказать как старый капрал Беранже:

Puis, moi, j'ai servi le grand homme!

Обязан прибавить, что до смерти Пушкина и NN, я ни разу не проронил ни слова об этом происшествии. Были маленькие неприятности у NN в театрах с военными, вероятно, последствия этой истории, но они скоро кончились тем, что мой майор (начинавший было угрожать заочно Пушкину какими-то не очень рыцарскими угрозами), по моему убеждению, весьма сильному, ускакал скоро из Петербурга.

Через несколько дней увидал я Пушкина в театре: он первый подал мне руку, улыбаясь. Тут я поздравил его с успехом «Руслана и Людмилы», на что он отвечал мне:

— О! Это первые грехи моей молодости!

— Сделайте одолжение, вводите нас почаще такими грехами в искушение,— отвечал я ему.

По выходе в свет моего «Новика» и «Ледяного дома», когда Пушкин был в апогее своей славы, спешил я послать к нему оба романа, в знак моего уважения к его высокому таланту. Приятель мой, которому я поручал передать ему «Новика», писал ко мне по этому случаю 19 сентября 1832 года: «Благодарю вас за случай, который вы мне предоставили увидеть Пушкина. Он оставил самые приятные следы в моей памяти. С любопытством смотрел я на эту небольшую, худенькую фигуру, и не верил, как он мог быть забиякой... На лице Пушкина написано, что у него тайного ничего нет. Разговаривая же с ним, замечаешь, что у него есть тайна — его прелестный ум и знания. Ни блесок, ни жеманства в этом князе русских поэтов. Поговоря с ним, только скажешь: «Он умный человек. Такая скромность ему прилична». Совестно мне повторить слова, которыми одарил меня Пушкин при этом случае; но, перечитывая их ныне, горжусь ими. Отчего же не погордиться похвалой Пушкина?..»

Узнав, что он занимается историей Пугачевского бунта, я препроводил к нему редкий экземпляр Рычкова. Вследствие этих посылок я получил от него письмо, которое здесь помещаю. Все лестное, сказанное мне в этом послании, принимаю за радушное приветствие; но мне всего приятнее, что великий писатель почтил

мое произведение своей критикой, а ею он не всякого удостаивал, как замечено было недавно и в одной из биографий его. Вот это письмо, которое храню, как драгоценность, вместе со списком моего ответа:

«Милостивый государь, Иван Иванович!

Во-первых, должен я просить у вас прощение за медленность * и неисправность свою. Портрет Пугачева получил месяц тому назад и, возвратясь из деревни, узнал я, что до сих пор экземпляр его истории вам не доставлен. Возвращаю вам рукопись Рычкова, коей пользовался я по вашей благосклонности.

Позвольте, милостивый государь, благодарить вас теперь за прекрасные романы, которые все мы прочли с такой жадностью и с таким наслаждением. Может быть, в художественном отношении «Ледяной дом» и выше «Последнего новика», но истина историческая в нем не соблюдена, и это со временем, когда дело Волинского будет обнародовано, конечно, повредит вашему созданию; но поэзия останется всегда поэзией, и многие страницы вашего романа будут жить, доколе не забудется русский язык. За Василия Тредьяковского, признаюсь, я готов с вами поспорить. Вы оскорбляете человека, достойного во многих отношениях уважения и благодарности нашей. В деле же Волинского играет он лицо мученика. Его донесение академии трогательно чрезвычайно. Нельзя его читать без негодования на его мучителя. О Бироне можно бы также потолковать. Он имел несчастье быть немцем; на него свалили весь ужас..., которое было в духе его времени и в нравах народа. Впрочем, он имел великий ум и великие таланты.

Позвольте сделать вам филологический вопрос, коего разрешение для меня важно **: в каком смысле упомянули вы слово *хобот* в последнем вашем творении и по какому наречию?

Препоручая себя вашей благосклонности, честь

* Так писал это слово Пушкин.

** Заметьте, как Пушкин глубоко изучал русский язык: ни одно народное слово, которого он прежде не знал, не ускользало от его наблюдения и исследования.

имею быть с глубочайшим почтением, милостивый государь, вашим покорнейшим слугой
3-го ноября 1835 г. Санкт-Петербург.
Александр Пушкин».

Ответ мой был на трех листах почтовой бумаги. Он не может быть напечатан по многим причинам. Во-первых, я крепко защищал в нем историческую истину, которую оспаривает Пушкин. Прежде чем писать мои романы, я долго изучал эпоху и людей того времени, особенно главные исторические лица, которые изображал. Например, чего не перечитал я для своего «Новика»! * Могу прибавить, я был столько счастлив, что мне попадались под руку весьма редкие источники. Самую местность, нравы и обычаи страны списывал я во время моего двухмесячного путешествия, которое сделал, проехав Лифляндию вдоль и поперек, большею частью по проселочным дорогам. Также добросовестно изучил я главные лица моего «Ледяного дома» на исторических данных и достоверных преданиях.

В ответе моем я горячо вступился за память моего героя, кабинет-министра Вольнского, который, быв губернатором в Астрахани, оживил тамошний край, по назначению Петра Великого ездил послом в Персию и исполнил свои обязанности, как желал царственный гений; в Немирове вел с турками переговоры, полезные для России, и проч., и проч. На Вольнского сильные враги свалили преступления, о которых он не помышлял и в которых не имел средств оправдать себя. Пушкин указывает на дело, вероятно, следственное. Беспристрастная история спросит, кем, при каких обстоятельствах и отношениях оно было составлено, кто

* Все, что сказано мною о Гликe, воспитаннице его, Паткуле, даже Бире и Розе, и многих других лицах моего романа, взято мной из Вебера, Манштейна, жизни графа А. Остермана на немецком 1743 года „Essai critique sur la Livonie par le comete Bray“, Бергмана “Denkmäler aus der Vorzeit“, старинных немецких исторических словарей, открытых мной в библиотеке сенатора графа О. А. Остермана, драгоценных рукописей канцлера графа И. А. Остермана, которыми я имел случай пользоваться, и, наконец, из устных преданий марьенбургского пастора Рюля и многих других на самих местах, где происходили главные действия моего романа.

были следователи? На него подавал жалобу Тредьяковский — и кого не заставляли подавать на него жалобы! Доносили и крепостные люди его, белые и арабчонки, купленные или страхом наказания, или денежной наградой. Впоследствии один сильный авторитет, перед которым должны умолкнуть все другие, читавшие дело, на которое указывает Пушкин, авторитет, умевший различать истину от клеветы, оправдал память умного и благородного кабинет-министра. В моем романе я представил его, каким он был — благородным патриотом, и таким, каким были люди того времени, даже в высшем кругу общества, волокитой, гулякой, буйным, самоуправным.

Что касается до защиты Пушкиным Тредьяковского, источник ее, конечно, проистекал из благородного чувства; но смею сказать, взгляд его на тогдашнюю эпоху был односторонен... Признаюсь, когда я писал «Ледяной дом», я еще не знал умиленного донесения Василия Кирилловича академии о *причиненных* ему *бесчестии и увечьи*. По истине Вольтер поступил с ним жестоко, пожалуй, бесчеловечно — прибавить надо, если все то правда, что в донесении написано. Но этот поступок — мелочь перед теми делами, которые тогда так широко и ужасно разыгрывались... Что ж делать? И я крайне скорблю о несчастье бедного стихотворца, еще более члена академии де сиянс, которому, может быть, мы обязаны некоторой благодарностью; но от уважения к его личности да избавит меня Бог! И я негодную на бесчеловечный поступок Вольтерского, но все-таки уважаю его за полезные заслуги отечеству и возвышенные чувства в борьбе с могучим временщиком... Увы! Сожалениям и негодованиям не будет конца, если к самоуправству над Тредьяковским кабинет-министра присоединить все оскорбления, которые сыпались на голову Василия Кирилловича. Грубые нравы того времени, на которые указывает сам Пушкин — хотя в других отношениях и несправедливо — и, прибавить надо, унижительная личность стихокропателя поставили его в такое мученическое положение. Если тогда обращались так дурно с людьми учеными, образованными в Париже, писавшими даже французские

стишки; если в то время — вспомните, что это было с лишком за сто лет — князья не считали для себя унижительной должностью официального шута, — негодуйте, сколько угодно, на людей, поступавших так жестоко и так унижавших человечество, но вместе с тем вините и время*. Негодуйте, если хотите, и на самого писателя, что он был человек, как и вся раболепная толпа, его окружавшая, человек малодушный, не возвысившийся над ней ни на один вершок. Но — на *нет* и суда нет! Зачем же делать его благородным, возвышенным мучеником? Да и чьим, скажу опять, мучеником он не был?.. Неохотно должен здесь привести рассказ о том, как унижали бедного Тредьяковского и другие, кроме Вольтинского. Привожу здесь этот рассказ, потому что от меня требуют доказательств... Вот слова Ив. Вас. Ступишина (лица, весьма значительного в свое время и весьма замечательного), умершего девяностолетним старцем, если не ошибаюсь, в 1820 году: «Когда Тредьяковский являлся со своими одами..., то он всегда, по приказанию Бирона, полз на коленях из самых сеней через все комнаты, держа обеими руками свои стихи на голове; таким образом, доползая до тех лиц, перед которыми должен был читать свои произведения, делал им земные поклоны. Бирон всегда дурачил его и надседался со смеху». Несмотря на увещья, от которых Тредьяковский ожидал себе кончины и которые просил освидетельствовать, отказался ли он писать дурацкие стихи на дурацкую свадьбу? Нет, он все-таки написал их и даже прочел, встав с одра смерти:

Свищи, весна, свищи, красна! —

воскликает он в жару поэтического восторга и наконец повершает свое *сказание* такими достопамятными виршами:

Здравствуйте ж женившись, дурак и дурка,
Еще... то-то и фигурка!

* Прочтите *Семейную Хронику* (Аксакова) — эту живую картину нравов последних годов XVIII столетия — и особенно (что ближе к настоящему предмету моему) стр. 99. Это стоит жесткого обращения с Тредьяковским. А время этого происшествия поближе к нам!

Посмотрите, как Тредьяковский жалуется. «Размышляя,— говорит он в рапорте академии,— о моем *напрасном* бесчестии и увечьи (за дело ничего бы?), раздумал поутру, избрав время, *пасть в ноги* к его высокогерцогской светлости и пожаловаться на его превосходительство. С сим намерением пришел я в покои к его высокогерцогской светлости поутру и ожидал времени *припасть к его ногам...*» И в донесении графу Разумовскому тоже «*слезно припадает к ногам его*».

Если Пушкин приписывает духу времени и нравам народа то, в чем они совсем не повинны, что никогда не могло быть для них потребностью, почему ж не сложить ему было на дух и нравы того времени жестокого поступка Волынского с кропателем стихов, который сделался общим посмеянием? Разве это жестокое обращение, однажды совершенное, тяжелей (не говорю большей) того унижения, в котором влачил его беспрестанно другой мучитель его? Разве потому легче это унижение, что оно подслащалось некоторыми *эмульсиями* покровителя? К тому ж, если винить одного, зачем оправдывать другого, на тех же данных, в делах, более вопиющих?..

Вопрос другой: должен ли я был поместить Тредьяковского в своем историческом романе? Должен был. Мое дело было нарисовать верно картину эпохи, которую я взялся изобразить. Тредьяковский — драгоценная принадлежность ее; без Тредьяковского картина была бы неполна, в группе фигур ее недоставало бы одного необходимого лица. Он нужен был для нее, как нужны были шут Кульковский, барская барыня, родины козы, дурацкая свадьба и пр. А если я должен был поместить, то следовало его изобразить, каким он был. Мы привыкли верить, что черное черно, в жизни ли оно человека, или в его сочинениях, и не ухищрялись никогда делать его белым, несмотря ни на предков, ни на потомков. Мы привыкли смеяться над топорными переводами и стихиками собственной работы Василия Кирилловича, как смеялись над ними современники; нам с малолетства затвердили, что при дворе мудрой государыни давали читать их в наказание. Говорили мы спасибо Василию Кирилловичу за

то, что он учил современников слагать стихи и ввел гекзаметр в русскую просодию. Но и это доброе дело можно было легче сделать, не терзая нас тысячами стихов «Телемахиды», счетом которых он так гордился, не играя с нами в поэтические жмурки на острове Любви и не работая тридцать лет над переводом Барклаевой «Аргениды». Но и на добро наложена была, видно, тяжелая рука знаменитого труженика: гекзаметр не пришелся по духу и крови русской, несмотря на великие подвиги, совершенные в нем Гнедичем и Жуковским. По крайней мере, это мое убеждение.

Упрекая меня, что я заставил говорить педанта в своем романе, как педанта. В разговоре Василий Кириллович был не таков, как в своих сочинениях,— сказал некогда один критик,— впрочем, лицо, достойно уважаемое за его ум и ученость, несмотря на парадоксы, которыми оно любит потешаться. Да кто ж, спрашиваю, слышал его разговоры? Кто потрудился подбирать эти жемчужины, которые мимоходом, по пути своему, сыпал этот великий человек, и сохранить их для потомства? Дайте нам их во всеведение!.. Ба, ба, ба! а донесение академии? Перед ним-то вы, конечно, должны преклониться и умилиться. Извините, я и в донесении академии не вижу ничего, кроме рабской жалобы на причиненные побои. Помилуйте, так ли пишут люди оскорбленные, но благородные, не уронившие своего человеческого достоинства?.. Положим еще, что и у Василия Кирилловича была счастливая обмолвка двумя стишками и несколькими строчками в прозе: дают ли они диплом на талант, на уважение потомства? И дураку удастся иногда в жизни своей умное словечко. Так и Василию Кирилловичу, если и удалось раз написать простенько, не надуваясь, языком, каким говорили современники, неужели все бесчисленные памятники его педантизма и бездарности должны уступить единственному клочку бумаги, почеловечески написанному?

Я распространился о Тредьяковском потому, что с появления «Ледяного дома» он сделался коньком, на котором поскакали кстати и некстати наши рецензенты. Поломано немало копий для восстановления памя-

ти его. Даже в одной журнальной статье, написанной в конце великого 1855 года, поставлен этот подвиг едва ли не в самую важную заслугу нашей современной критике. Как будто дело шло о восстановлении обиженной памяти, положим, Державина и Карамзина!.. Эта критика махнула еще далее. Нарочно для Василья Кирилловича изобрели новых *исторических писателей*, в сонм которых его тотчас и поместили. Наконец, в утешение тени великого труженика, добавили, что через сто лет, именно в 1855 году, язык Гоголя будет не лучше того, каким для нас теперь язык Тредьяковского!.. Изобретатель этой чудной гипотезы подумал ли, что бесталанный Тредьяковский писал на помеси какого-то языка, ребяческого, пожалуй ученического, а Гоголь, высокодаровитый писатель — на языке, уже установившемся в полном своем развитии и даже образовании? Подумал ли, что наш современный язык, воспитанный Карамзиным, Жуковским, Багюшковым, Пушкиным, Лермонтовым, вступил уже в эпоху своей возмужалости, — имеет *душу живу*, которая не умирает?..

Продолжайте, господа, ратоборствовать за непризнанного *исторического писателя* — вам и книги его в руки, хотя бы и в новом, самом роскошном издании!.. А я думаю, что игра не стоит свеч, и что пора дать покой костям Василия Кирилловича, и вживе непощаженым. Есть у нас о чем подельнее и поважнее толковать, хотя б и по литературе. В противном случае попрошу полного *исторического и эстетического* разбора всех сочинений его...

Со всем уважением к памяти Пушкина, скажу: оправдание Бирона почитаю непостижимой для меня *обмолвкой* великого поэта. Несчастье быть немцем?.. Напротив, для всех, кто со времен царя Алексея Михайловича посвящал России свою службу усердно, полезно и благородно, никогда иностранное происхождение не было несчастьем. Могли быть только временные несправедливости против них. В доказательство указываю на Лефорта, на барона, впоследствии графа, Андрея Ивановича Остермана, Миниха, Манштейна, Брюса и многих других. Поневоле должен высказать здесь довод, не раз высказанный. Отечество

наше, занятое столько веков борьбою с дикими или неугомонными соседями, для того чтобы приготовить и упрочить свою будущую великую оседлость в Европе, стоящее на грани Азии — позднее других западных стран озарило светом наук. И потому иноземцы, пришедшие к нам поучить нас всему полезному для России, — поступили ли они в войска, на флот, в академии, в совет царский, — всегда были у нас приняты и обласканы, как желанные и почетные гости. Услуги их, если они были соединены с истинным добром для нас, всегда награждались и доброю памятью о них. Что ж заслужил Бирон от народа? Не за то, что он был немец, назвали его время бироновщиною; а народы всегда справедливы в названии эпох. Что касается до великого ума и великих талантов его, мы ждем их доказательств от истории. До сих пор мы их не знаем.

Винюсь, я принял горячо к сердцу *обмолвку* Пушкина, особенно насчет духа времени и нравов народа, требовавших будто казней и угнетения, и слова, которые я употребил в возражении на нее, были напитаны горечью. Один из моих приятелей, прочитав мой ответ, сказал, что я не поскупился в нем на резкие выражения, которые можно и должно было написать — только не Пушкину. «Рассердился ли он за них?» — спросил меня мой приятель. «Я сам так думал, не получая от него долго никакого известия», — отвечал я. Но Пушкин был не из тех себялюбивых чад века, которые свое *я* ставят выше истины. Это была высокая, благородная натура. Он понял, что мое негодование излилось в письме к нему из чистого источника, что оно бежало несдержимо через край души моей, и не только не рассердился за выражения, которыми другой мог бы оскорбиться: напротив, проезжая через Тверь (помнится, в 1836 году), прислал мне с почтовой станции следующую коротенькую записку. Как увидите, она вызвана одною любезностию его и доброю памятью обо мне.

«Я все еще надеялся, почтенный и любезный Иван Иванович, лично благодарить вас за ваше ко мне благорасположение, за два письма, за романы и пугачевщину, но неудача меня преследует. Проезжаю через

Тверь на перекладных, и в таком виде, что никак не осмеливаюсь к вам явиться и возобновить старое, минутное знакомство. Отлагаю до сентября, т. е. до возвратного пути; покамест поручаю себя вашей снисходительности и доброжелательству.

Сердечно вас уважающий *Пушкин*».

Записка без числа и года. Подпись много порадовала меня: она выказывала добрую, благородную натуру Пушкина; она восстанавливала хорошие отношения его ко мне, которые, думал я, наша переписка разрушила...

В последних числах января 1837 года приехал я на несколько дней из Твери в Петербург. 24-го и 25-го был я у Пушкина, чтобы поклониться ему, но оба раза не застал его дома... Нельзя мне было оставаться долее в Петербурге, и я выехал из него 26-го вечером.

29-го — Пушкина не стало...

Потух огонь на алтаре!

ГРИМАСА МОЕГО ДОКТОРА

Из походной записной книжки 1813 года

С первым шагом за границу Польши, на нас повеяло новой, радостной жизнью. Не во сне ли видели пожар Москвы и пепелище ее? Не в страшном ли кошмаре полки безобразных мертвецов заступили нам дорогу по снежным пустыням и между лесов дремучих; живые совершали перед нами трапезу лошадиною падалью; обозы с сотнями замороженных человек, увязанных веревками, проходили мимо нас на Вилейку для сожжения. Даже смутно помню — а давно ли это было? — в Вильно вошел я с шефом своим вроде больницы, где оставлены были бежавшей армией раненые всяких наций. На полу сгнившая солома служила им постелью; тут лежали живые, в полной памяти, перемешанные с мертвыми. В этой груде, среди неприятелей, русский генерал отыскивал своих мекленбургских соотечественников. *Цестный* жид, хозяин дома, представил ему верный, самовернейший *сцотец*, что стоило содержание больных!.. Слава Богу, мы оставили за собою картины человечества на последней ступени унижения, и нечистые корчмы с их нечистыми жидами, и упадание в ноги, и «падам до ног»! Мы перешли в Пруссию. Боже! как радуется нас вид образованной земли! Как легко, отрадно здесь сердцу! Взор и мысль нежатся на красивых домиках, на полях, прекрасно обработанных и усаженных плодовыми деревьями, на творении Божьем, которое чувствует свое человеческое достоинство и не влачит его по грязи. Удивляешься, как дерзкая рука прохожего или проезжего давно не поломала этих деревьев для своей минутной потребности, или просто для того, что хотелось поломать. Удивляешься, отчего мосты

не пляшут под вами, отчего нет криков, ссоры и драки, когда разводят нам квартиры, нет обвесков и обмеру при выдачах... Отчего, вместо бабы с засученными и засаленными рукавами, босоногой, брюзгливой бабы, которая толкала вас в угарную избу и отдавала на съедение своим бесценным пенатам; отчего, вместо этой мегеры, какая-нибудь миловидная Лотхен или Фрицхен, оторвавшись от своего Лафонтена или Плейеля, с приветом вводит вас в чистую комнату, где находите чистую постель, вкусный обед и — нередко при расставании — тайный поцелуй, который долго будет вам мерещиться во сне и на яву? И мало ли чему удивимся здесь! Отчего? Отчего? Вопросы мудреные для решения! А чтобы отделаться от них, скажу просто, оттого, что мы перешли за черту Польши.

В Калише сошел я с седла и теперь качу на почтовых в Шверин вслед за отрядом Чернышева, который победе не дает перевести духу. На почтовых, в коляске или в шулвагене!.. Ощущали ли это блаженство вы, не делавшие никогда по пятьсот верст, зимою, на хребте какого-нибудь россинанта!.. Шеф мой, принц мекленбург-шверинский, получил отпуск на родину, и я с несколькими товарищами ему сопутствую. Двадцати лет, беззаботный, ничем не выжидая, смеюсь равно над кислою рожей и благосклонною улыбкою фортуны, засыпая так же сладко без копейки в кармане как и с полным золотом кошельком, я живу весело, весельем ласточки, вылетевшей в первый раз из гнезда своего под лазурь безграничного неба. И на долю моего честолюбия — как бы вы думали! — пали крупницы с высоты. Имя адъютанта *des Prinzen von Meklenburg* звучит довольно громко в ушах почтарей, станционных смотрителей и бюргеров и нередко от городского фонтана привлекает к станционному дому рои пригожих немочек. А имя русского? Оно звучит выше всех в наше время; ему народы с восторгом кричат: *Noch!* Как принимают нас в Пруссии!.. Становишься здесь выше несколькими вершками и с гордостью повторяешь: я русский! Везде привет нам, как братьям; везде благодарность, как избавителям своим. Цветы, огни, триумфаль-

ные ворота, серенады, ласки, благословения,— все это встречает и провожает нас по пути нашему. Дня буднего не знаем.

Двор мекленбургский нашли мы в Лудвигслусте. Природа здесь угрюмая, сердитая мачеха — гладь, пески, тощие леса, болота! Как это вздумалось герцогу Лудвигу избрать такие грустные места для своего увеселительного замка! Видно, они вторили его душе. Зато люди, нас окружающие, как будто стараются вознаградить нам скудость природы удовольствиями, какие можно только здесь придумать, и особенно милостивым радушием. Все члены высокой фамилии, от старого герцога, патриархального старшины своего народа и молодой наследной принцессы *, ангела доброты, не говорю уж о детях *нашей* великой княгини Елены Павловны, осыпают нас своими ласками. Даже казаки принцессы не забыты. Житье им здесь раздольное! Старый герцог любит, чтобы в прогулках его верхом по окрестностям, провожал его казак и в каждую прогулку выучивает у него по русскому *словцу*, за которое платит своему бородатому учителю по червонцу и которым любит после щеголять перед русскими офицерами. На днях в саду, в Еленином павильоне, давали донцам вечер; угощение было роскошное. Весь двор приходил любоваться казацкими танцами с русскою присядкою. Бал увенчался вальсом, к которому милостивые немочки сами ангажировали питомцев Дона. При этом случае были сцены уморительно-смешные.

По некоторым отношениям, для меня только драгоценным, я один из русских помещен в главном дворце. Это сближение с членами герцогского дома дало повод к происшествию, исполненному глубокого интереса для физиолога и всякого любящего сердца. Невольный двигатель этой драмы, я расскажу ее во всей ее печальной подробности и без малейших сказочных вымыслов.

* Матери нынешней герцогини Орлеанской, родившейся в январе 1814 года.

Март был на дворе. Солнце согрело землю не на радость мою; болота, которыми окрестности изобилуют, начали испаряться, и я, надышавшись вдоволь гнилым воздухом, увидел скоро у изголовья своего неприятную гостью — лихорадку. Разумеется, вслед за нею должен был явиться ко мне врач, и он явился, не раздушенный, не в перстнях и с дорогими булавками, с утонченной речью и манерами придворного, как я ожидал, а во всей простоте и даже со всею наивностью немецкого галертера, который только что покинул свой сельский очаг. Немудрено: ко мне явился не придворный врач (он был болен), а окружной, впрочем, приобретший себе славу искуснейшего не только в Мекленбурге, но и в Пруссии. Мозелю — так звали моего доктора — было лет пятьдесят. С первого взгляда на него, с первых его речей, видно было, что это не рядовой в бесчисленном легионе бедного человечества. Печать Бога резко означалась на высоком челе, в глазах горел светоч ума и благородства; разговор его, по временам живой и одушевленный, словно нагорный поток, все быстро схватывал и увлекал, что ему ни попадалось, — по временам, сказал я — потому что иногда от него нельзя было добиться слова. Меня особенно привлекала к нему какая-то грусть, преобладавшая в нем над всеми другими чувствами, грусть, которая не исчезала с его лица даже и тогда, когда он улыбался. Скоро закабалил он мое сердце, несмотря на хину с красным вином и красное вино с хиной, которыми он преусердно потчивал меня, несмотря на короткие размолвки наши и целый короб зла, который мне нанесли на него. «Вы судите по его наружности? — говорили мне, — так знайте, под этими цветами кроется змея. Проникните только в его семейство. Там творятся ужасы... Тиран своей дочери! Отец бесчеловечный! Запирает ее в четырех стенах за тридевятью замками. Если и тешит ее чем-нибудь, так это игрушками; и тут цель злодейская — оставить ее в вечном детстве! Старый опекун не ревнивее поступает со своею питомицею, на которую имеет сердечные или корыстные виды. Бедняжка никого не видит, кроме отца своего, семейства одного бюр-

гера, кормилицы своей, двух служанок и старого садовника. Когда мастеровые приходят исправлять дом, фрейлейн Мозель переводят во флигель; кто чистит двор и сад и убирает их,— она не видит, а между тем это делается будто ей в угождение; проснулась, и все представляется глазам ее в свежем, обновленном виде, словно феи во всю ночь для нее хлопотали. Добро бы еще запирали ее, кабы она была дурна собою; а то — красавица, в полном смысле художественной красоты, красавица, которою гордился бы любой двор немецкий. Но и маленький мекленбургский двор, к которому она могла бы иметь доступ, как дочь врача, заменяющего иногда придворного, никогда не видал ее. Одним из главных условий ревнивца, при поступлении сюда, было, чтоб оставили его дочь в том обществе, какое он сам ей выберет. Бедная Пери в неволе у духа тьмы, восточное диво — под надзором евнуха, и — наконец, даже... вторая Беатриче Ченчи...» Чего не наговорят добрые, чувствительные сердца, когда ими движет любовь к человечеству!.. Уши вяли, кровь бунтовала от всех злых вестей, которыми осыпали врача.

Как согласить эти речи с добротою, написанною на лице его? Нельзя же носить так постоянно личину; когда-нибудь да увидел бы природные черты. Нельзя же настроить так искусно свои беседы, свой голос, чтобы в них не отозвалась низкая, бесчестная натура. А я преследовал постоянно его природу, даже в звуках речи, не проговорится ли хоть она ошибкою, и ничего не находил в них, кроме исповеди души благородной. Надо сказать еще, что со мною, иностранцем, прибавьте и простодушным, молодым человеком, он не имел причины так закрываться. Здесь таится что-нибудь *другое*, необыкновенное, — думал я, по врожденной склонности своей к чудесному. Да и сам доктор, фантастическими беседами со мною, утверждал меня более и более в этом заключении. С такою теплою верой говорил он о предметах и явлениях сверхъестественных, как будто посвящен был в их тайны, как будто живал некогда в их мире, откуда принес воспоминания о связях тамошних жильцов с нашею бедною землею. Он был убе-

жден в сродстве и братстве души, в наследстве их качеств, и никакие доводы не могли ослабить в нем этих убеждений. Часто замечал я, что в конце его беседы было всегда что-то недоговоренное, и именно об этом недосказанном очень грустил я, как о конце строфы великого поэта, под которою поставлено было несколько десятков точек. Долго еще после того, как он уходил от меня, в голове и сердце моем роились видения, сладостные, но — неуловимые. Навести в другой раз на окончание таинственной беседы, на разрешение промолвленной задачи, не было возможности. Импровизация не повторялась; сошед с своего треножника, Мозель делался самым обыкновенным, иногда самым тупым собеседником.

Но что более всего расстраивало гармонию его беседы, так это малейший намек на семейные связи. Он всегда неискусно отклонял этот предмет и спешил переходить на другой. При этом случае доброе, привлекательное его лицо делало какую-то судорожно-болезненную гримасу, от которой мне всегда становилось грустно и тяжело. И эти знаки,— твердо верил я,— были еще легким повторением тех движений, которые совершались в его душе. Несмотря на все старание, какое употреблял он, чтобы выйти из этого кризиса, не мог уж он попасть в свою тарелку и спешил уходить от меня.

Удивлялся я также, как он, со своим умом, со своим искусством и славою, решился пойти окружным лекарем в ничтожный городок.

«Тут кроется что-нибудь таинственное, чудесное»,— повторял я.

Однажды, в минуты какого-то припадка злости, возбужденной несколькими новыми вестями насчет Мозеля, я нарочно заговорил с ним об его дочери. Это было в первый раз. До сих пор я заводил с ним неуспешно, издалече, беседу о семейных отношениях его.

— Уж вам сказали, что у меня дочь! Кто ж там говорил?— спросил он, изменившись в лице и голосом встревоженным.

— Все и всякий, кто вас знает. Что ж тут удивительного, мой любезнейший доктор? Это все равно, как бы сказали, что у меня сестра!

И желая углубить еще более стрелу в его сердце, продолжал:

— Как скоро выздоровею, вы не откажете меня представить ей...

— Извините... я должен отказать... есть причины... не могу... если хотите, я дал обет... Я уж знаю, что вам, при этом случае, наговорили обо мне... и ревнивец-то я, и злодей, и тиран своей дочери... Да, я таков... Думайте обо мне, что вы хотите... но я... не могу... вы не увидите моей дочери.

Когда же Мозель заметил, что на лице моем изобразилось негодование, он прибавил, взявши меня дружески за руку:

— Не упрекайте меня, молодой человек. Есть домашние тайны, с которых завесу свет не должен приподнимать... Тайна моя составляет мое счастье... не требуйте же, чтобы я нарушил ее. Вы, странник издали, идите мимо нас; вы у нас минутный гость... вам только из любопытства хочется заглянуть в мой домашний круг, за черту заповеданную, нет ли чего интересного для вас... нет ли чего, что можно было бы после рассказать у себя, как анекдотец... Кто знает, может статься, на свое удовлетворенное любопытство купите себе горестное воспоминание на всю жизнь свою и прибавите чужому горю...

Потом на прощанье, сияясь улыбнуться, он обратился ко мне со своею любимой поговоркой:

— В небесах и на земле, Горацио, есть тысячи вещей, которых существование никогда и не грезилось нашим мудрецам...

Таинственный ответ, грустный, дружеский звук голоса, с которым он был произнесен, искаженные черты лица — невольно обезоружили меня. С этих пор я уж никогда более не упоминал Мозеля об его дочери. «Может быть, глупенькая... — думал я. — Может быть, какой-нибудь ужасный телесный недостаток... скрытое безобразие... кто знает, преступление!.. Ведь он лекарь, да еще отец! Кому ж лучше знать, как не ему!.. Оставим

его в покое с его тайной, тем более что он ею счастлив.

Но... какими-то неисповедимыми судьбами назначено мне было преследовать моего бедного врача за порог его семейной жизни, которую укрывал он так ревниво от глаз света.

— Из Демица, — сказал вошедший ко мне служитель, подавая мне письмо.

«Из Демица? От кого бы?» — подумал я, распечатывая письмо. Когда ж увидел подпись, я обрадовался, как бы получил грамотку из России, от своих. Лиденталь! Милый мой Лиденталь! Тот самый умный, добрый, несравненный ротмистр гусарский, с которым мы познакомились в великой суматохе перед вступлением неприятеля в Москву и который был моим сватом при романическом обручении моем с военной службой; Лиденталь, названный брат мой, брат по сердцу!.. И что ж? Он в горе, болен от раны, полученной под Люденбургом, опять в ту же роковую левую руку, на которой Бородино врезало свой герб. Отосланный своим отрядом в один из прусских госпиталей, он не мог далее ехать и остался в Демице, один посреди чужих, на съеденье какому-то мучителю-фельдшеру с дипломом лекаря, который учился над его рукою, как будто ученик столяр над изломанным стулом. И пилит, и режет, и клеит; ошибся, — снова расклеивай и снова принимайся за работу!

Я еще держал письмо в руках, задумавшись над ним, когда вошел ко мне наследный принц. Он был так внимателен, что пришел навеститься о моем здоровье и пожалеть, что меня давно не видать при дворе. Заметив же письмо в руках моих, спросил, не с родины ли послание. Я объяснил ему, от кого было оно, наши связи с Лиденталем и трудное его положение в Демице. Во время моего объяснения вошел доктор, как будто нарочно подосланный судьбою.

— Мы поможем ему, мы пристроим его здесь, — сказал наследный принц. — Раненый русский офицер? Да мы поставим себе за честь и особенное удовольствие быть ему полезным. Кстати... где ж лучше поместить его, как не у искусного врача.

Напишите ему с нарочным о нашем распоряжении, а мы немедленно же позаботимся доставить его сюда, как можно покойнее.— Потом, обратясь к доктору, он прибавил с твердостью:— Любезный Мозель, я назначил к вам постой— раненого русского офицера. Завтра доставят его прямо к вам в дом из Демица. Знаю вас и потому уверен, что вы оставите свои маленькие капризы теперь, когда делаются пожертвования и не такого рода для блага своего отечества.

— Воля вашей светлости будет исполнена,— едва мог проговорил Мозель. Губы его и одну щеку подергивало, бледное лицо исказилось. Заметно было, что он не знал, куда ему деваться со своею несчастною фигурой, так был он поражен неожиданной вестью. Наследный принц не заметил, или не хотел заметить его смущения, пожал мне руку и вышел из комнаты.

Несколько странных движений рукою, два-три бестолковых вопроса и несколько ответов невпопад обличали в Мозеле тревожное состояние его души. Бедняк, сам нуждался в помощи лекаря! Грустно, очень грустно мне было играть роль его преследователя. Я спешил, однако ж, помириться с своею совестью, дав себе слово предупредить Лиденталя обо всем, что знал, и уверен был, что он постарается всячески успокоить ревнивца, или Бог знает, что такое он был.

Раненого гусара вскоре доставили в Лудвигслуст, и он поселился на назначенной ему квартире. Посетить его и осмотреть в подробности его жилище я не замешкал. Надо заметить, что весь Лудвигслуст состоит из двух улиц, составляющих две неравные стороны угла: одной главной— смело размахнувшейся в длину, и другой боковой— очень робко сжавшейся. К концу главной улицы примыкает площадь с дворцом и его принадлежностями; на конце боковой стоит домик окружного врача. За ним начинаются песчаные бугры, на которых семьями теснятся друг к другу тощие сосны, как будто для того, чтобы оградить себя от напора песчаных волн, готовых залить их. Далее, болота и болота— настоящая ссылочная земля в царстве природы.

Веселым оазисом казался деревянный домик врача на конце кирпичных домов, нештукатуренных, построенных под один казенный образец, и на грани песков — со своею прихотливой, веселой, кокетливой архитектурой, с двумя флигелями, его красиво и легко окрыляющими, и с садом, где цветов было более, нежели зелени, где каждое дерево просилось под кисть художника и каждый цветок на грудь красавицы. А золотые-то дорожки в саду — бегали, резвились и скрывались в кустах, как своенравный ручей. Людей в доме было очень мало, работники были приходящие, как уж заметили мы, но животные разного рода населяли его, словно Ноев ковчег. В клетках, птичниках и голубятнях птицы пели разнородными голосами, ворковали, свистали, говорили или только красовались своими перьями; в прудах купались лебеди, играли форели и золотые рыбки; в парке резвились олени, и все они знали голос своей госпожи, почти все получали пищу из рук ее. Снаружи и внутри дома сохранялась чистота изумительная. Все в нем было словно с иголки. Всякий месяц белили, мыли, ложили; малейшее пятно считалось преступлением; когда его замечали, весь дом поднимался на ноги и до тех пор не успокаивался, пока преступление не было смыто. Одежда на служителях согласовалась с чистотою дома; какой-нибудь щеголь не чище одевался. Я заметил, что на самом хозяине и слугах были цвета все светлые, веселые.

«Ну, — подумал я, — как нарочно дали Мозелю постояльца такого же причудливого, как и сам он. Сочетало же их Провиденье!» Да, и мой Лиденталь простирает любовь к опрятности до мелочного пуризма. Добро бы дома, на оседлой квартире: нет, в походе, на бивуаках, в крестьянской избе, — везде был он верен своему кумиру. Где бы ни назначалась ему квартира, слуги его заранее осматривали все углы, чистили, мыли, скоблили, и тогда только приглашали в нее, когда она приведена была в порядок, им узаконенный. Трубки он не курил, табаку не нюхал. Обыкновенно кроткий и терпеливый, он переносил всякого рода лишения, голод, холод, слякоть, трудности марша; но пятно на белье, рассыпанная табачная зола, сало на подсвеч-

нике, таракан, винный запах от денщика — до того раздражали его, что он на несколько часов делался грустным и сварливым. За то в полку и прозвали его ротмистром-белоручкой. «Мелочный характер!» — думал я сначала и ошибался. Не знавал я в жизни человека более готового на истинные услуги, на жертвы всякого рода для счастья, чести и спокойствия ближнего, на трудные, бескорыстные подвиги. Со временем помирился я с его прихотливой натурой. Сам он говорил, что, несмотря на усилия победить ее, не мог он с нею сладить. А воля была в нем сильная.

Все шло хорошо; мир в доме не нарушался; постоялец был доволен хозяином, хозяин постояльцем. И могло ли быть иначе, когда один лечил успешно другого, а другой старался всячески угодать ему. Лиденталь, которого я предупредил, что хозяин ревнив, взял тотчас строжайшие меры, чтобы не подать ему малейшего повода к неудовольствию. Из флигеля его была маленькая терраса в сад; он иногда выходил на нее пользоваться воздухом; но лишь только замечал женское платье между дерев, несмотря на сильное желание подсмотреть, по привычке, какое личико ходило в этом платье, тотчас исчезал с террасы, и до тех пор не возвращался на нее, пока не был твердо уверен, что в саду нет никого из женского пола. Строго запрещено было денщикам встречаться с барышней и расспрашивать о ней у служителей. Сам же Лиденталь, в разговорах с доктором, ни полслова о семействе его, как будто и не знал о существовании дочери. Мозель был заочно благодарен своему жильцу за его внимание и отзывался об нем, как об отличном, редком молодом человеке; но в обращении с ним показывал величайшую осторожность и даже холодность, как бы боясь с ним сблизиться. Во всяком случае, я, нейтральное лицо, оставался довольным, что постоялец, которого навязал моему доктору, не нарушал ничем его спокойствия.

— Какой прекрасный молодой человек ваш приятель! — Говорил мне Мозель едва ли не в третий раз. — Жаль только, что он любит опрятность до какой-то крайности.

— Удивляюсь,— отвечал я ему,— вы вините его, в чем сами грешите.

— Правда, правда,— пробормотал он сквозь зубы, и обычная гримаса исказила его лицо.

«Странный, непонятный человек!» — подумал я.

В конце апреля, между пасмурных дней, напоминавших нам родной север, удался один вечер, ясный, теплый, душистый, настоящий праздник для всего, что жило в Лудвигслусте. В этот вечер сидел Лиденталь на террасе, переходя в своих думах из замков родной Лифляндии на балы московские,— на которых, в последнее зимнее посещение белокаменной, была такая блестящая выставка красавиц,— с гигантской фигуры Наполеона на чудного своего хозяина. Мало ли куда западали его думы! Облокотясь на перила террасы, он не видал, что около него происходило.

Вдруг слышит... шорох от женских платьев, для которого ухо молодого человека имеет особенную чуткость... и смех, рассыпчатый смех... Тут оглянулся бы и старый флегматик. Это сделал и Лиденталь, забыв постановление ревнивого доктора и свой обет. Он увидел три женские фигуры, которые, сплетясь руками, проходили по дорожке под его террасой... только что рукой подать... он мог различить, что две крайние фигуры смеялись, но какие были у них лица, не мог заметить... Лиденталь их не видал; а видел он одно лицо, посредине... только одно, больше ничего. Лицо это вздрогнуло и покраснело: это он видел. И так прекрасно, так обаятельно оно было в своем смущении, что мой гусар не имел сил встать и поклониться и сидел, как истукан.

Долго не мог Лиденталь опомниться от своего изумления; но, когда образумился, клятва была произнесена в сердце его — во что бы ни стало увидеть ее еще не один раз и узнать покороче. К черту все предосторожности доктора, вся эта диета сердечная, на которую осудил было молодого, пылкого гусара ревнивый отец.

Хохотуни были дочери здешнего бюргера, приятельницы Каролины. Как попали три девушки под

самую террасу Лиденталева жилища? Как ускользнули они от ревнивого надзора врача и дерзко переступили заповедную грань? О! Это сделалось очень просто. Мозеля не было дома; дочери бургера, услышав от своей подруги, что у отца ее есть постоялец, хорошенький русский офицер — даже хорошенький, и этого дозналась пылкость девичьей дипломатики — к тому ж такой чудак, медведь, — только что завидит в саду женское платье и бежит уж опрометью, не оглядываясь, в свою комнату, и там запирается. Вообразите, запирается! Бойтся, чтобы не вломилась к нему женщина: статочное ли дело!.. Как бы увидеть этого зверька? Какую иметь особенную физиономию, какой северный тип — может быть и снежный? Какой носит мундир? и прочее и прочее. Держали совет, и недолго. Гости были очень милые, умные девушки, не большие резвушка; они схватили свою подругу под руку, увлекли ее в сад, подстерегли дикаря, и шасть мимо него, задав ему своего рода серенаду. Явление их было мимолетное; словно серны, исчезли они в кустах. Как ни преследовал их Лиденталь глазами, их... *ее* уж не стало.

Шутка была забавная... очень забавная, как увидите!..

В этот день выехал я с шефом своим из Лудвигслуста. Мы посетили стрелицкий двор и потом объехали почти все герцогство мекленбург-шверинское путем праздников, иллюминаций, серенад и торжеств разного рода. Особенно в Шверине был нам прием высоко-торжественный. Навстречу принцу несколько верст за город выехала делегация граждан; у заставы его ожидали двенадцать, на выбор личиком, в белых платьях, девушек, из которых две, самые хорошенькие, говорили ему речь и стихи; нам они поднесли венки и опутали цветочными вязами... Вскоре приехал в Шверин и весь герцогский дом. Я веселился до головокружения и упаду. Долго еще после того, даже во сне, преследовали меня виваты, звон перекрестных мечей и мотивы бальной музыки. Так прошло две недели.

Не спрашивайте меня, какие наблюдения сделал я над краем. До них ли было, как видите! Но, чтобы вы

не упрекнули меня в совершенном недостатке наблюдательности, скажу вам, что я заметил большое довольство в народе, крестьян и NB крестьяночек, чисто одетых и обутых, лошадей едва ли не с верблюда, вековую упряжь, тучных коров, которых можно бы прямо на выставку, богатые пажити, и не видал, чтобы хоть один нищий протянул нам руку. У въездов в города прибита доска: не глаголет она о том, чего никто не имеет нужды знать, потому что всякий въезжающий в него знает; не гласит она о числе обывателей, которое никто не хочет видеть. На ней просто четыре слова крупными буквами: «Здесь запрещается просить милостыню». И бедные не жалуются, и не слышно палочных ударов по пятам. Чудный это народ немцы, до чего ухищряются!

Возвратясь в Лудвигслуст, нашел я в доме врача большие перемены. Лиденталь видел Каролину не один раз, говорил с ней не однажды и — при отце. Даже при отце! Хорошо ли я расслышал?.. Не обманывает ли меня слух, может быть немного попороченный громом народных виватов?.. Позвольте, нельзя ли еще повторить? Даже при отце!.. Он, ревнивец, тиран, тот самый Мозель, который от одного только намека на знакомство с его дочерью ужасно тревожился и приходил в судорожное состояние, смотрел, по-видимому, спокойно на отношения молодых людей. Боже мой! Каким чудом совершились эти превращения? Не нашел ли уж мой гусар притворного зелья или благодетельной волшебницы? Сколько я ни протираю очки своей проницательности, ничего не мог понять, сообразить и согласиться. Непостижимо, да и только! Не от кого было из домашних узнать ни мне, ни моему гусару о причинах ревности Мозеля и почему он до сих пор так жестоко держал дочь свою в заключении. Может статься, боялся, чтобы выбор Каролины не пал на недостойного, может быть, хотел утвердить ее характер в уединении. Никто не мог отвечать нам на эти вопросы. Все служители в доме старались избегать всякой беседы с нами, или на наши запросы отвечали совершенным неведением того, что было выше их и вне их круга.

Что до Лиденталья, он был влюблен на жизнь и на смерть. Этому я ничуть не удивлялся; иначе и не могло быть. Увидав Каролину, узнав эту прекрасную, милую девушку и зная характер моего друга, я угадывал, что тут затевается не шутка. Лиденталь имел богатое состояние; лишившись давно отца и матери, был независим в выборе себе подруги; прибавьте к этому ум, доброе сердце, благородство и твердость правил, и вы признаетесь, что такой жених был настоящий клад и не для дочери врача. Женившись, он мог перевести своего тестя в Россию, чего ж лучше, в Дерпт, под сень тамошнего университета. Эти виды не могли, казалось, встретить препятствия. Каролина, со своей стороны, была очень равнодушна к моему приятелю. Ясно говорили это и глаза, и речи, и малейшие движения, которые так хорошо понимает сердце без переводчика. Этот прекрасный цветок, прозябавший до сих пор в тени, лишь только взглянуло на него солнышко, весь раскрылся, чтобы напиться разом его лучей. Натура нежная, глубокая, восприимчивая, она нашла своего двойника, она вспомнила, как говорил мой доктор, что душа их сочеталась когда-то прежде, и теперь бросилась не с застенчивостью невесты, а с восторгом супруги и любовницы в объятия того, с которым так долго была в разлуке. Испытайте вновь разлучить их — попробуйте разделить плющ, сплетшийся уже несколько десятков лет с другим плющом, и вы только их разорвете. «Чего ж лучше для счастья будущей четы, — думал я, — любовь, гармония характеров, пожалуй, сочетание душ, согласие земных видов и расчетов, без которых нередко самая пламенная любовь морщится! Дай-то Бог другу моему насладиться всеми благами, которые он так заслуживает!» Но как-то непонятно для меня, всегда при мысли об его благополучии, явилась передо мною, будто нарочно для того, чтобы расстроить это благополучие, несносная гримаса моего доктора.

Я заметил, однако, что влюбленную чету никогда не оставляли одну, без домашних свидетелей; при ней всегда были или отец, или старая кормилица, любив-

шая Каролину, как свою дочь. Если б я сказал, что насадка не так зорко стережет своих птенцов от злого коршуна, я сделал бы неправильное заключение. Нет, не за поступками молодого человека, казалось мне, наблюдали неусыпные соглядатаи, а за речами, за движениями, даже за выражениями глаз Каролины следили они. Упреждать ее малейшие движения, исполнять ее капризы было какой-то строгой, святой обязанностью всех обитателей дома. Доказательства этому я видел каждый день, на каждом шагу. Влюбленный Лиденталь, разумеется, не замечал всего. Однажды, как-то очень рано поутру, гуляя я со своим гусаром по саду; наша беседа, по обыкновению, шла о красоте и душевных достоинствах Каролины. В продолжение прогулки встретили мы садовника, который тщательно подбирал все черные камешки, попадавшие ему на дорожках, ощипывал все листочки на деревьях, принявшие черный или ржавый цвет от непогоды и других причин.

— Зачем ты это делаешь? — спросил я садовника.

— Фрейлин не любит черных листов и черных камешков, — отвечал он, и когда я хотел распространиться насчет ее причудливости, мы не могли ничего более добиться от него, кроме того, что она этого не любит. Я смеялся над прихотями Каролины, даже называл ее своенравной, мелочной; Лиденталь защищал ее орудиями любви и согласия вкусов. Против таких рогатых силлогизмов нельзя было идти.

В другой раз сидели в садовой беседке Каролина, отец ее, гусар и ваш покорнейший слуга. Разговор был оживлен и весел, глаза девушки нередко останавливались с любовью на моем приятеле. Вдруг ее лицо изменилось, прекрасные глаза, полные очарования любви, сделались мутными, она неподвижно остановила их на песчаной площадке, находившейся перед нами; мне показалось даже, что на губах Каролины мелькнула гримаса, которую я так не любил у доктора.

— Как мучит меня этот камешек! Кто-нибудь нарочно положил его, чтобы меня потерзать. Ради Бога, примите его! — закричала она, но не успела еще до-

кончить свое ребяческое требование, а уж старик, отец ее, как проворный мальчик, стремглав бросился подбирать какой-то черный, гладкий камешек и закинул его далеко в кусты. Исполнив это, он смотрел то с болезненным участием в лицо своей дочери, то со страхом нас озирал. На лице Каролины уже сияла божественная улыбка: она покраснела, взглянула с нежностью на Лиденталю, схватила потом руку отца и прижала к губам своим. Вместе с этим просияло лицо моего доктора. «Ага! — подумал я, — лист-то оборачивается: не отец, а дочка деспот в доме».

Не стану описывать всех фаз любви, нараставших в сердце Лиденталю и дочери Мозеля. Скажу только, любовь та дошла до того, что соединить навсегда судьбу свою сделалось для них необходимостью. Он просил у нее позволения говорить об этом отцу; согласие было дано и вместе клятва принадлежать ему, или никому на свете.

Кормилица слышала это решение. Она всегда хорошо была расположена к Лиденталю и старалась это показать, где только могла. Было им замечено, что старушка не раз как будто искала с ним переговорить наедине, но, найдя этот случай, ни о чем не говорила, кроме как о вещах очень обыкновенных. Когда ж Лиденталь ее спрашивал, не имеет ли она чего доверить ему, кормилица всегда отзывалась, что ничего и не думала ему сообщить, что не имеет никакой тайны или чего особенно замечательного ему передать. Ныне ж, с видом таинственным, сама подозвала его к себе и взяв его дружески за руку, вполголоса промолвила:

— Не делайте предложения, добрый господин... Из этого ничего не выйдет... Отец не желает... вам откажут... Моей бедной Каролине суждено оставаться в девках... Послушайте меня, уезжайте поскорей, пока еще время...

— Мне откажут? Я не вижу причины... Каролина меня любит, сам отец ко мне расположен... Но скажи, ради Бога, почему ты, как вещей ворон, пророчишь мне такую невзгоду?

Кормилица не отвечала, пожала плечами, покачала головой, с грустью взглянула на небо, — и удалилась.

Ничего более он не мог от нее добиться. Ломая себе голову над этой загадкой, Лиденталь готов был разорваться. Тут и не с такой пылкой душой пришел бы в отчаяние. Несмотря на черные предсказания, он решился на другой же день утром просить руки Каролины. Терпеть долее неизвестность своей судьбы было бы жить в нестерпимых мучениях.

Но доктор предупредил его своим посещением.

Едва успел Лиденталь встать с постели, как явился к нему Мозель; немедленно принялся осматривать его руку, объявил, что рана его совсем залечена и он может ехать без опасения куда ему заблагорассудится.

— Благодарю вас, мой почтеннейший доктор,— сказал Лиденталь,— но, к моему удовольствию, я остаюсь здесь в ваших краях. Один из адвокатов принца К. возвращается в свой полк, и его светлости угодно принять меня на его место. Я ваш, как видите, и, признаюсь вам, хотел бы быть вашим навсегда.

При этих словах душевная тревога изобразилась на лице Мозеля.

— Как это случилось?..— говорил он,— я не подозревал... я всегда полагал, что вы у нас ненадолго... что вам нужно в армию... кампания не кончена...

— Не думал я, чтобы вы так скоро желали моего удаления,— отвечал Лиденталь, в свою очередь очень смущенный.— Кажется, я не подал вам никакой причины...

— Господи! Неужели я это говорил?.. Если вы так поняли, простите меня, я нынче от старости заговариваюсь. Ваши душевные качества привлекают к вам всякого, кто только имел честь вас узнать. Нет причин вас не любить и не желать оставаться с вами долее.

— Думаю, по крайней мере, что со своей стороны я все делал, чтоб этих причин не существовало. И потому позвольте мне, как человеку военному, который не знает другого языка, кроме языка сердца, как человеку, которому честь дороже всего, открыться без дальнейших околичностей. Я люблю вашу дочь; это чувство не должно было скрывать от отца и я не думал

скрывать его: с этим чувством соединяется и надежда составить счастье Каролины. Без того я никогда не осмелился бы посягнуть на объяснение моих намерений не только вам, но и вашей дочери. Не скрою от вас, что она меня любит, что она сама позволила мне просить у вас ее руки. Вчера только я получил это позволение, прошу теперь вашего согласия и с ним моего благополучия, моей жизни. Вы имели время узнать меня. Я богат: мой друг Л. и, если хотите, мой послужной список вас в этом удостоверят. Вы переедете к нам в Россию; дом мой будет вашим домом. Угодать вам будет нашей святой обязанностью. Но если вам неуютно будет оставить свои ученые занятия, дерптский университет за честь себе почтет предложить вам кров свой. Получив ваше согласие, я не отложу надолго своего счастья. Брак наш должен быть совершен немедленно. Кампания, по всей вероятности, должна скоро кончиться, а если расчеты в этом случае меня обманывают, если Богу угодно будет, чтобы я пал на поле битвы, вдове русского офицера, умершего с честью, навсегда обеспеченной от житейских нужд, нечем будет упрекнуть себя за перемену своего имени на новое, конечно, не менее благородное. Вот мои виды, мой почтеннейший друг и, если позволите, мой второй отец!

Казалось, на этот красноречивый, убедительный вызов благороднейшего сердца, какое только я знал, Мозель тотчас должен был бы ударить по рукам; радость составить такую выгодную партию для дочери обнаружилась бы немедленно на лице, в речах его. Напротив, Мозель выслушал предложение моего друга, как будто читали ему смертный приговор. Бледный, дрожа всем телом, с лицом, которое обыкновенная его гримаса необыкновенно страшно подергивала, он благодарил Лиденталя за честь, ему сделанную, говорил, что никогда и мыслить не мог о выгоднейшей партии для своей дочери, но что считал всегда постояльца своего, русского офицера, мимолетным у них гостем, проезжим странником, с которым такие связи и в голову ему, Мозелю, не могли придти. Дело идет о судьбе его дочери, предложение для него так неожиданно, так

внезапно, прибавлял он, что ему нужно время образумиться, и потому просил дня два-три на размышление. До получения же ответа Лиденталь обязан не видать его дочери.

По истечении двух дней, Лиденталь получил от доктора письмо с уведомлением, что ответ будет передан через меня.

Через меня?.. Что бы это значило?.. Это походило на отказ! Можно вообразить, с какими переменными чувствами то страха, то надежды Лиденталь ожидал решения своей судьбы. Сердце мое раздиралось при свидании с ним, так жалко было его видеть в этом положении и так он наружно переменялся в несколько дней. Раза по три в день приходил он навещать меня, был ли у меня врач и нет ли чего нового. В таком состоянии видел я раз солдата, которого приговорили расстрелять и который все ожидал помилования.

И наконец пришел ко мне врач... О! Зачем приходил он ко мне! Легче бы, когда б эта чаша меня миновала! Зачем не избрал он другого посредника с сердцем более жестоким, более очерствелым в опытах этой бедной жизни? Я еще незнаком был с насмешками судьбы.

Мозель пришел ко мне. Никогда я не видал его таким расстроенным, в таком жалком состоянии. Он дрожал, словно в лихорадке. Все предвещало мне что-то худое.

— Вы больны? — спросил я его.

— Болен душой и телом, друг мой, но если б я умирал и вы не могли бы придти ко мне, кажется, и тогда, собрав последние силы, дотащился бы до вас. Можете ли вы уделить часа два из вашего времени?

Я сказал, что свободен и готов выслушать его.

Мы сели; он начал.

— Вы должны выслушать печальную, очень печальную повесть. Первые, хотя невольные виновники ее вторичной завязки, вы должны нести вдвойне горькую обязанность перебрать звено по звену цепь чужих страданий и передать ее таким же образом вашему

другу. Ни одно слово из моей исповеди не должно быть потеряно; горячим свинцом, капля по капле, упадут мои преступления на ваше сердце. Да, молодой человек, вы говорите с преступником, вы вошли в его сообщество, чтобы погубить его. Но я не обвиняю вас: вы только орудие Того, Кому угодно было распорядиться. Будь святая воля Его! Лобызая руку, меня карающую. Теперь — к самой повести.

В 1794 году жил я в Берлине; у гробовой доски роковые числа будут еще резко носиться перед моими глазами. Несмотря на мою молодость, — мне было тогда лет тридцать, — правительство вверило моим заботам и искусству тамошний дом сумасшедших. Заведение приняло вскоре лучший вид, больных стало выздоравливать больше прежнего. Этому улучшению содействовали моя новая метода лечения, усердное служение страждущему человечеству и, если хотите, жажда славы, а потом другое, еще сильнее чувство. Труды мои были вознаграждены: я приобрел имя, деньги, похвалы моих соотечественников и внимание правительства. Успехи сделали меня счастливым и гордым.

Несколько месяцев спустя по принятии моей новой должности, поступила в число несчастных, вверенных моему попечению, одна благородная девушка лет восемнадцати. Ее звали Амалией... Сюда она была перевезена из эльбинского дома сумасшедших. Давно умер отец ее, храбрый офицер, слышавший себе не раз на поле битв похвалу из уст великого Фрица. С добрым сердцем, он перенес из суровой жизни лагерей и походов грубость и жестокость обращения в свое семейство. Капитан строго командовал у себя в доме и хотел, чтобы все в нем ходило в одну ногу и по струнке, как ходят его солдаты. Хотя натуральная трость его и не прогулялась ни разу по спине жены, детей и даже слуг, однако ж, она не однажды была снята со стены и грозила пасть на жертву его гнева. И потому, прежде чем ему скомандовали: марш, марш на вечные квартиры, от него порядочно досталось его домашнему отряду. Амалии со смертью его сделалось не легче. Она осталась лет четырнадцати на руках злой мачехи,

имевшей еще несколько собственных детей. Ей было хуже, чем сироте. Эту хоть сострадание чужих может приютить и приголубить, а тут она должна была жить между своими и оставаться в неволе в таком кругу, из которого ее каждый день вытесняли.

Казалось, Господь богато вознаградил ее за семейные печали красотой необыкновенной, живым умом и добрым сердцем; да, казалось, потому что вместе с этими качествами досталась ей от природы необыкновенная слабость, род помешательства, которой источником была-таки добродетель — любовь к опрятности. Еще с малолетства Амалия простирала эту любовь до странности; она не могла видеть пятна без отвращения, со слезами умаливала уничтожить его, или сама выскабливала, вымывала, вырезала, и до тех пор тревожилась, не могла есть, пить и заснуть, пока не успокаивала своей странной природы. Нечистота навела на нее какой-то ужас. Она вся дрожала, когда, вместо наказания за какие-нибудь детские проступки, или для исправления порока ее, как называли в доме, надевали на нее черное белье и, если продолжался этот опыт, приходила в такое болезненное положение, что с ней делались ужасные судороги. С годами развивалась ее красота, с ними усиливалась ее несчастная слабость, которой помогали суровые меры отца, чтобы переломить ее, и раздражали жестокие поступки мачехи. Знание и усердие врачей до сих пор не помогали, может и потому, что их предписаниям нестрого следовали. Надо сказать, что кроме помешательства на одном предмете, которое домашним могло по временам доставлять беспокойство и неприятность, не более, она ничем их не тяготила. Проходили ли ее болезненные припадки, это было существо самое кроткое, самое любящее. Кончилось, однако ж, тем, что мачеха выжила ее из отцовского дома и прямо в дом сумасшедших. Здесь она поняла, где находится, взглянула безнадежным оком в бездну, в которую ее бросили, и сердце ее замерло, голова закружилась. Помешательство ее приняло другой вид, более опасный: она стала уж часто видеть черные пятна там, где их и не было. Слава моя побудила правительство перевести эту несчастную

в Берлин и верить ее моим знаниям и попечениям.

Когда я увидел Амалию в первый раз, дивная ее красота поразила меня. Над чертами лица, тонкими, правильными, если хотите античными, над стройными, роскошными формами ее тела, казалось, резец высокого художника истощил все свое искусство. В черных, огненных глазах ее было целое море блаженства: душа замирала, погружаясь в их глубину. Понимаете ли, как она была хороша, когда я теперь, пятидесятилетний старик, не могу говорить о ней без страстного почитания, не могу описывать ее, не заняв выражений у поэзии юношеской, восторженной любви? Вы знаете мою дочь: это список с высокого оригинала, подобного которому я уже не встречал в своей жизни.

Прежде чем я вошел в номер Амалии — это был, твердо помню, номер двенадцатый — обо мне доложила сиделка; такое внимание уже предупредило ее в мою пользу. Бывало, мужчины входили к ней прямо без доклада. Разумеется, на этот раз и в будущие мои посещения я старался всячески не оскорблять чувства, на котором она была помешана. Увидав меня, Амалия, хотя и предупредили ее обо мне, сильно вздрогнула, но это был не трепет испуга, а какое-то приятное изумление.

— Знаете ли, господин доктор, — сказала она мне голосом обворожительным, — я вас где-то видала... мы с вами где-то встречались.

И стараясь припомнить, где она меня видела, Амалия прижала белую, чудесно изящную руку ко лбу, как бы вытесняя оттуда прошедшее.

— Нет, не припомню, — повторяла она, — а твердо уверена, что мы с вами знакомы. С первого раза душа моя встретила вас, как брата, с которым долго была в разлуке. Не правда ли, такое признание может только сделать сумасшедшая девушка?

Я обратил ее слова в шутку и старался дать нашей беседе тон обыкновенных светских разговоров. Но, подивитесь моему безумию, не сострадание к этой несчастной, не дружба наполнила мою душу, когда я на нее глядел и говорил с нею, а любовь овладела мной,

любовь самая страстная, самая безумная, какая могла только существовать.

Я забыл, где нахожусь, в каком состоянии та, к которой осмелился питать это чувство, я забыл, что она сестра, дочь, дитя мое, которое поручила судьба моим отеческим попечениям; я забыл все, и стал искать взаимной любви этой девушки, как будто она была в полном разуме, не в доме сумасшедших. Я старался вылечить ее, употребляя для этого все свои знания, все свои заботы и усердие, но — понимаете ли, молодой человек, — не для нее, для меня самого!.. Эгоизм, которого весь ужас, всю низость понял я уж поздно! Признаться ли вам, я делал опыты над другими больными; я усердно над ними работал, чтобы счастливейшие из этих опытов употребить над Амалией. Мои ближние, мои страждущие братья служили мне грубой материей, пробными чурбанами, которые я тесал, резал, рубил для того, чтобы воссоздать свой кумир. Видите ли, судьба ошиблась в моем назначении; не лекарем должно бы мне быть...

Первым моим попечением было окружить мою пациентку всеми возможными удобствами жизни, которые могли бы заставить ее забыть, что она в доме сумасшедших. Из главного дома, где неистовые крики напоминали ей собственное ее положение, перевели мы ее в бельэтаж флигеля, в котором я сам жил, и поместили в двух светлых, веселых комнатках окнами на юго-восток и в сад, прекрасно меблированных и со всем комфортом, который только позволяли мне мои средства. Мои средства, сказал я, потому что я не довольствовался теми, которые употребляло правительство, а прибавил к ним собственные свои, урезывая от других потребностей жизни. Здесь она была полная хозяйка, малейшее ее желание исполнялось с точностью и усердием, заплаченными мной щедро заранее. Да и две сиделки ее, находившиеся при ней под именем служанок, не только из корыстных видов, но из сострадания или особенного сердечного участия, старались всячески ей угождать. Самые капризы ее во время болезненных припадков терпели они от нее, как от человека им близкого, родственного. Цветы, картины, книги

окружали ее; музыка, в которой я некогда был искусен, услаждала ее слух и не менее сердце. Но, признаюсь, в выборе этих предметов все-таки преобладала любовь; я старался даже сюжеты картин и музыкальных произведений оцветить, напитать этим чувством. Признаюсь также в своей ревности: никто, кроме меня, не играл для нее, никто из мужчин ее не посещал. Мудрено ли, что я достиг своей цели? Сирота, одинокая в мире, брошенная родными в дом сумасшедших, видя меня, молодого человека приятной наружности, каждый день, иногда раза по два, по три, окруженная моими нежными заботами, моим уважением и пламенной любовью, которую Амалия не могла не заметить, она сама, с нежной организацией, с добрым сердцем, с душой пылкой, почувствовала ко мне любовь. Ей делалось скучно, грустно, когда она меня не видала; она подстерегала мой приход, и если я не приходил в обыкновенные часы, начинались ее капризы, помешательство искало себе пищи, придиралось к малейшей безделице. Находило ли облачко на небо, оно для нее все было в черных пятнах, точки в книге расплывались в пятна, собственные ее глаза в зеркале казались ей двумя мутными, несносными пятнами.

Вы видите, однако ж, что помешательство не проходило. Что ж сделали мои заботы, мое искусство? Очень мало для нее. Припадки ее безумия, правда, становились реже, слабели; им нужна уж была причина, они рождались от сопротивления и раздражения. Прежде Амалия отыскивала везде, во всем черные пятна и терзалась ими; теперь только, найдя их, беспокоилась, но скоро одумывалась, или видала их, как я уже сказал, во время долгой разлуки со мной, в грустные часы своего одиночества. А эта разлука продолжалась не более нескольких часов, это одиночество было лишь тогда, когда меня с нею не было. Да, помешательство ее приняло надежный вид, но все еще не проходило.

А я, я сам, безумец, был счастлив, упоенный ее любовью. Как она любила меня! Одно слово мое, одно мое появление прогоняло облако печали с ее лица, исчезали капризы, разум делался яснее. Когда мне доклады-

вали, что без меня были с ней припадки безумия, я даже не верил этому, а видел в словах сиделок только грубость, близорукость чувств, не постигающих тайн сердечных: так любовь преобразовывала ее при мне. Со мной Амалия была существо разумно-любящее. Эта Галатея только мной, только в моем присутствии одушевлялась. Не думайте, однако ж, чтобы стыдливость не боролась в ней с любовью. Нередко происходила эта борьба; нередко, в лучшие ее минуты, рассудок и даже сознание своего болезненного состояния говорили ей, что она недостойна меня, что связать судьбу свою с моей было бы сделать меня несчастным: недаром же она находилась в доме сумасшедших! Но привязанность ко мне все превозмогала и усиливалась день ото дня. Мудрено ли? Во мне видела она своего покровителя, врача, друга, родного, все свое настоящее и будущее; во мне одном заключала все благо своей жизни: от одной мысли потерять это все сердце ее леденело. Так передавала она мне впоследствии, в часы душевных излияний, свои отношения ко мне. Слова подтверждались поступками. Как покорное дитя, Амалия вся вверилась мне. Иногда говорила она мне такие задушевные речи, которые и светской разумнице не изобрести; то забавляла меня, как резвое дитя, то давала мне поцеловать свою белую ручку, то дарила меня чудными прогулками по саду, вдвоем, в летние ночи, упитанные благоуханием цветов, растворенные негой теплоты и таинственного молчания, когда вся природа, кажется, нарочно собрав чары свои, навевает их на все ваше существо, когда не остается уже в этом существе места для мысли, а переполнено оно одним чувством.

И во мне происходила иногда борьба с самим собой. «Одумайся, кого ты любишь, — говорил мне рассудок. — Уверен ли, что несчастная девушка совершенно вылечится? Какие у тебя виды на нее? Настоящие успехи моего лечения — заметьте, моего лечения! — ручаются за будущее, — говорило сердце. — Она может быть только здорова и счастлива при мне, со мной. Провидение вверило мне ее, мне ли ее покинуть? Мне ли обмануть доверенность Провидения?.. Я не могу жить без нее, она без меня. А брак?.. Разве не может он

соединить все интересы нашей жизни?.. Кому ж лучше ухаживать за несчастной, как не мужу? Посвящу ей все свои познания, всю жизнь свою; а посвятить себя служению несчастию разве не добродетель? А возратить миру разумное существо — разве не подвиг?.. Да, брак все покроет: и немилости к ней судьбы, и несправедливость родных, и соблазн нашей любви, и пересуды злых людей!

Брак с сумасшедшей?.. А какие дети могут произойти от этого союза?.. Боже! Я, врач, об этом даже и не думал.

Видите ли, воротиться было поздно, сердцу было невозможно.

Я упомянул вам о пересудах людских. Да, в доме, у соседей, в городе говорили, что я влюблен в сумасшедшую, что я забываю для нее своих больных, ее одну вижу, ею одной занимаюсь; говорили даже, что она — моя любовница!.. Сумасшедшие... О! Иногда и до них доходят такие тайны, которые и людям в полном уме не скоро достаются — даже сумасшедшие, вспоминая об отсутствии Амалии из двенадцатого номера, который никто после нее не занимал, говорили, что докторская пташечка давно переведена в другую клетку.

Кажется, по этому безрассудному пути далее нельзя сделать шагу...

Я сделал этот шаг!.. Помню и теперь адский хохот сумасшедших, какого я никогда не слыживал, слившись в один ужасный хор, прилетел к нам, чтобы приветствовать мое преступление. Вижу негодование на вашем лице. Да, молодой человек, вы не посягнули бы на такое злодеяние — я посягнул!.. Не говорил ли я вам, что судьба ошиблась в моем назначении, что мне не врачом должно бы быть, а разбойником, грабителем на больших дорогах?.. Вы содрогаетесь, вы плачете... Не говорил ли я вам, что вы на свое любопытство купите себе горькое воспоминание на всю вашу жизнь? Теперь ваше любопытство удовлетворено; вы имеете в запасе интересный анекдотец; можете рассказать его в своей России... Да поверят ли еще там ему?..

Доктор перестал. Не видно было на лице его обычной гримасы; правда, я ничего не видел — я плакал и только слышал, как возле меня кто-то рыдал, как ребенок.

Через несколько минут он снова начал.

Теперь брак был неминуем. Но, чтобы приготовить к нему других, я не мог не прибегнуть к обману; донес начальству, что Амалия совершенно здорова и может выйти из своего заключения; пастор, который должен был нас венчать, получил такое же свидетельство. Вскоре соединили мы навсегда наши судьбы в храме Божиим. Во время священного обряда, как я боялся, чтобы моя невеста не изменила мне словом или знаком! Так и случилось. Едва получили благословение, Амалия побледнела, вскрикнула и бросилась на грудь мою. Пастор сказал мне вполголоса, но грозно: «Вы меня обманули... Помните, вы хотели обмануть Бога». Эти слова и теперь звучат в моих ушах. Сделалась суматоха в церкви, все спешили узнать причину этого крика; я с трудом успокоил новобрачную и с помощью друзей своих увлек ее в карету. Здесь она пришла в себя. Всю эту невзгоду произвел черный пластырь на глазу у одного из зрителей церемонии. Друзья выдумали для толпы другую причину, из которой за несколько дней выросло огромное романтическое приключение. Между тем в городе славил мое искусство; женщины приписывали излечение Амалии могуществу любви; врачи и люди холодные, рассудительные, пожимали плечами или бранили меня. Как бы то ни случилось, девица из двенадцатого номера дома умалишенных была моей женой.

Не стану рассказывать вам подробностей моей жизни с Амалией. Это была непрерывная цепь высоких страданий и высокого блаженства. Год прошел таким образом. По окончании его, жена подарила меня дочерью. Боясь, чтобы с молоком матери дитя не всосало в себя ее помешательства, я приготовил кормилицу, но Амалия непременно хотела сама кормить дочь свою. Можете судить о моих муках, сердце мое рвалось с двух сторон на части. Как открыть матери, почему я не желаю, чтобы она кормила дитя свое? Как опять

решиться предать это бедное, невинное творение в жертву ужасной болезни и погубить его на всю жизнь? Не мог же я с первых дней отнять несчастное дитя от груди матери! Знаю, это убило бы Амалию. Через несколько дней, однако ж, я объявил ей, что молоко ее по таким и таким-то признакам должно быть нездорово для малютки, в котором я будто заметил уж болезненные припадки. В это время наша Каролина, румяная, свежая, как райское яблочко, лежала на руках у матери и так сладко ей улыбалась. После такого свидетельства, моим словам не поверили. В другой раз, страшась за будущность малютки, я решился дать ей тайком лекарство... средство, которое назовите как вам угодно... оно послужило моим видам... дитя сделалось нездорово, побледнело, начало стонать. Стоны эти раздирали душу Амалии. Я напомнил ей о нездоровости ее молока; она испугалась за свою дочь и для ее спасения поспешила пожертвовать своими лучшими радостями, своим счастьем. Передав дитя кормилице, она стала сильно задумываться... Вскоре молоко бросилось ей в голову. Поставьте себя на мое место: вообразите себе, если можете, что я тогда чувствовал. Через несколько суток я уже орошал слезами могилу моей бедной Амалии.

Дитя наше росло... И что ж? Все мои предосторожности не помогли... Вы видели мою Каролину... но вы еще не знаете ее... Так знайте же, так расскажите же вашему другу — она сумасшедшая!

— Ваша дочь!.. Не может быть! — перебил я доктора, вскочив со стула. — Ваша дочь, та самая, которую я видел несколько раз, с которой я несколько раз беседовал... милая, умная, образованная?.. Не может быть! Неправда!

— О! Если бы я мог сказать тоже самое, жизнью своей пожертвовал бы за это благо, готов бы купить его рабством, бесчестьем, публичной пощечиной... Довольно ли для вас?.. Хотите доказательств, испытаний?.. Нет, нет, у вас доброе сердце, вы не потребуете их. Надо быть или злодеем, или отцом, чтобы смотреть добровольно на подобное страдание. Раз вы сами были свидетелем небольшой вспышки, помните... в саду,

в восточной беседке, когда Каролина увидела черный камешек на песке?

— Да, помню... теперь помню...— сказал я.

— Это были только самые легкие из ее страданий... Но выслушайте продолжение моей повести; вы с вашим другом сами докончите ее.

Дитя мое росло со всеми признаками болезни, которой страдала Амалия. Несчастное наследство было верно передано дочери от матери; в этом случае опека природы честно и усердно исполнила свои обязанности. Правда, в Каролине нет такого сильного помешательства, как у матери: она не изобретает причин, чтобы пугать ими свое воображение, не видит противного в своей природе там, где его нет. Но все-таки необыкновенная страсть к опрятности переходит в ней за пределы рассудка. Темные и особенно мелкие, рябые предметы, нечистота, чернильное пятно, черный и, заметьте, одинокий камешек, все, что возмущало и сокрушало мать, пугает и печалит дочь, приводит ее в содрогание. Не раз, к утешению моему замечал я в ней сознание своей слабости, которую называет она пороком; не однажды слышал я от нее желание исправиться. Тогда просит она меня помочь ей напоминанием, советами, даже строгостью, говорит, как хотела бы утешить меня исправлением. Но при малейшем опыте, она вся дрожит и умоляет не продолжать его, или, если сможет сохранить довольно рассудка и силы, чтобы пересилить свой страх и уныние, делается больной, иногда опасно больной. После таких болезненных опытов, возмущающих жизнь Каролины, я решил лишь угождать ей. Хочу забыть, что она помешана; вижу в ней только избалованное, капризное дитя— мое дело утешить ее всякими игрушками, какие могу достать или изобрести. Это кумир, на служение которому я посвятил всю свою жизнь,— божество своенравное, которого малейшие желания обязан исполнить. В этом служении все радости моей жизни, все мое благо. Так сердце определило мои отношения к больной дочери. Для кого ж пошел я окружным лекарем в ничтожный уединенный городок? Разве не нашел бы я богатой жатвы для своей практики в одной из столиц Германии? Для чего ж бы

эта изысканная, изумляющая чистота в моем доме, которую сторожим день и ночь я сам, пятидесятилетний старик, и все, кем могу располагать? Для чего эти тысячи цветов, в лабиринте которых вы теряетесь, эти рои крылатых певцов и красавцев, населяющих мой дом и сад; эти золотистые и красноперые рыбки, играющие в прудах, ручные олени, покорные закону и воле одной своей госпожи, все игрушки, которые стоят мне так дорого и поглощают завтра все, что я ныне добыл своими трудами? Для чего же все это, если не для спокойствия и забавы моей бедной дочери? Когда вы будете иметь детей, вспомните меня: вы узнаете тогда, как они дороги отцу. Прибавьте еще, у нее нет матери, она больна — и какой болезнью! Положите еще на весы моего сердца ужасное преступление, которое было виной всех моих несчастий.

Здесь я живу третий год. Этот городок, забитый в глушь болот и тощих лесов, оживляемый только на короткое время, когда двор сюда приезжает, избрал я, после многих неудачных переселений с места на место, пристанищем от людного, большого света. Там мою Каролину нельзя не заметить; там найдет она поклонников своей красоте, может отдать избраннику свое сердце, погибнуть сама и погубить другого; в глуши я сберегу этот бедный, заповедный цветок. С такими мыслями приехал я сюда. Здесь устроил я для своей Каролины маленький земной эдем — по крайней мере так вообразил. В его ограду до вас с Лиденталем не входил ни один мужчина, исключая старого садовника; дочь моя не знает другого общества, кроме жены одного здешнего торговца, которая немного посвящена в мои тайны, и дочерей ее. На могиле Амалии я дал обет, что Каролина никогда не будет замужем. Не погубить же ее, как я погубил мать! Не подарить же свету несколько поколений сумасшедших!.. Но чтобы вернее исполнить задуманное, чтобы уберечь свое дитя от людских страданий, которое иногда тяжелее самой злобы, я принял на грудь свою все стрелы клеветы; я сам нарочно с помощью одного друга и через служителей своих распускал слухи, что я величайший ревнивец, неугомонный мучитель своей дочери, запи-

раю ее в четырех стенах, берегу ее денно и ночью от глаз мужчин — и, щедрый на такие отзывы, свет спешил размножить и увеличивать их. Что мне до того? Не дочь мою бранят! Легче мне, старику, слыть негодным, злым человеком, чем слышать, как мое бедное дитя стали бы величать сумасшедшей, как ее оскорбляли бы сожалением и, кто знает, может быть, насмешками! Может стать, какому-нибудь важному лицу вздумалось бы для своей потехи испытывать ее в сумасшествии и забавляться ею, как фигляром, который искусно выделывает свои штуки; может какой-нибудь добрый человек дал бы ей самой заметить, что она — сумасшедшая!.. Она этого до сих пор не знает... Что стало бы тогда с нею!

Так я жил здесь до вашего появления, счастливый, что покоил и забавлял свое капризное, избалованное дитя. Простите отцу, если я скажу: вы пришли нарушить это счастье. Когда вы заговорили в первый раз о моей дочери, и тогда уж злое предчувствие, как червь, припало к моему сердцу и начало подтачивать его спокойствие. Я стал бояться чего-то, сам не зная чего, даже и тогда, когда уверился, что вы нас не посетите. Судьбе было угодно оправдать мое предчувствие: она вскоре послала в мой дом вашего друга. Одинаковые в нем с моею дочерью склонности поразили и испугали меня; сродство душ было явно: я уверен был, что она не полюбит никогда человека противных свойств. Но Лиденталь, узнав, вероятно, от вас о моей ревности, был так благороден, что не захотел оскорбить меня желанием познакомиться с Каролиной: поведение его служителей строго согласовалось с его отношениями ко мне. Я успокоился. Русский офицер скоро выздоровеет, — думал я, усердно заботясь о его излечении, — он уедет, и гроза, напугавшая меня, пройдет. Богу было угодно иначе. Шутка двух вострушек, дочерей моей приятельницы, уничтожила разом заботы многих лет, все мои виды, все надежды, опрокинула вверх дном мое семейное благополучие... Я этого достоин; но Каролина, которая только тем и виновата, что она дочь моя, зачем она несет со мной все бремя моих несчастий!

Скоро заметил я взаимную любовь молодых людей; но и тут успокаивал себя мыслью, что русский офицер у нас недолго прогостит и отправится скоро в армию. Разлука и время придут на помощь ко мне,— думал я,— и прежнее наше спокойное житье к нам возвратится, препятствия же, какие бы я теперь ни придумал, могут только раздуть страсть и нанести Каролине одни огорчения. Провидению было угодно и эти расчеты, сильные по моему мнению, уничтожить в одно мгновение. Лиденталь остается у нас, Лиденталь просил руки моей дочери. Ее руки?.. Боже! С этим словом встало передо мной все мое ужасное прошлое с моим преступлением во всей его черноте, я услышал над собой хохот сумасшедших, осязал холодный меч, которым рассек союз матери с дочерью; передо мной встала из гроба моя Амалия, простирая руки к младенцу, оторванному от ее груди; в сердце моем гремели слова: «Вспомни свой обет— не погуби дочери, как ты меня погубил!..» Посетил меня и пастор, венчавший нас, и сказал мне: «Если можешь, обмани опять Бога!»

Нет, воля ваша, я не отдам свое дитя на поругание судьбы, я не пожертвую им чувству, которое погубило мать ее. Нет, вы не похитите мое дитя: у вас обоих с вашим другом незлое сердце. Вспомните, в ней все мое благо, моя совесть, будущность на том свете. Подумайте, какие радости может сумасшедшая обещать своему мужу? Не будет ли союз с ней повторением моего безрассудства? Нет, вы не отнимете у меня моей дочери, не оторвете ее от моей груди! Если хотите, я паду к вашим ногам, облобызаю ваши руки, оболью их слезами, буду молить вас именем вашего отца, вашей матери, всем, что только есть для вас дорогого и святого в мире».

И Мозель в самом деле был у моих ног, тянул к себе мою руку, чтобы ее поцеловать...

Я поднял его, старался успокоить и ручался ему за благородство и твердость моего друга. Мы принялись сочинять план, как устроить общую их судьбу. Составив самый благоразумный, какой могли только придумать бедный отец и совершенно растерянный неопыт-

ный молодой человек, расстроенный повестью всех этих несчастий, в которых сам был невольно таким усердным вкладчиком, мы расстались. Доктор мой казался утешенным.

Что за дивную повесть слышал я!.. Господи! Господи! Какими молниеносными знаками выжег ты печать своего гнева на этих несчастных! Каким земным отвержением заклеил Ты два чудных создания, одаренных Тобой красотой нездешней же!

И до сих пор не могу образумиться от всего, что я слышал.

Вечером я был на придворном бале, и мне все представлялись между танцующими помешанные красавицы, и жаркий, испуганный поцелуй при хохоте сумасшедшей братии, отчаянная мать, от груди которой отрывают дитя ее, и отец, рыдающий у ног моих, молящий за свою больную дочь. На балу был и Лиденталь, смущенный, грустный... Он еще ничего не знал; я отложил свой рассказ до завтрашнего дня. Тут же был и доктор мой: он не мог не быть: ему сделали честь пригласить его... Увидав меня, Мозель подал мне руку и силился выделывать улыбку, но вместо улыбки выходила судорожно-болезненная гримаса, от которой у меня всегда так ныло сердце.

На другой день, приготовив, как сумел, Лиденталь, я передал ему свою чудную повесть. Он сначала вышел из себя, не хотел ей верить, говорил, что вся она выдумана ревнивым доктором, которому жаль расстаться со своей дочерью, что если Каролина подвержена слабости, конечно странной, но общей с слабостью, его, Лиденталь, так следственно и его можно причислить к сумасшедшим. Таким образом наберутся сотни сумасшедших, которые теперь свободно гуляют по белому свету, служат, трудятся и наслаждаются жизнью и которых надо будет, по методу Мозеля, запереть в дом умалишенных.

Приятельница Мозеля, вдова здешнего бюргера, пришла на помощь ко мне и подтвердила моему бедному другу все, что знала насчет болезни молодой девушки. Несмотря на все эти уверения, Лиденталь требовал доказательств, хотел сам, своими глазами, все уви-

деть... Но вскоре образумился... Благородство его души взяло верх над страстью. Он решил лучше сам страдать, чем видеть страдания Каролины, и согласился на подвиг. Да, иначе не назову его высокого поступка, его самопожертвования. Вместе с тем он поклялся доктору честью русского офицера, что ни одна женщина не назовется его супругой, кроме Каролины Мозель.

Объявлено Каролине, что отец согласен на брак ее с Лиденталем, но, по случаю военного времени, должен отсрочить свершение этого союза до водворения мира в Германии. В тайном же нашем совете было решено: Лидентало навсегда отказаться от руки Каролины, через несколько дней отправиться в армию, до того же времени притвориться счастливым женихом, в таких отношениях вести переписку с мнимой невестой, а остальное предоставить Богу. Все сделано было, чтобы обмануть сердце бедной девушки и окружить ее всеми радостями, всем очарованием счастливой любви. Что должен был перечувствовать друг мой, вынужденный играть роль счастливицы, между тем как муки безнадежной любви и известность, что любимая им женщина никогда не может ему принадлежать, что она сумасшедшая, терзали его сердце на части. Дорого стоило ему это лицедейство. Удар, потрясший все его существо, усилия, которые он над собой сделал, действовали на его грудь, и без того слабую... Он стал сильно и опасно покашливать, еще не покинув тех мест, где заключалось все, что знал в жизни прекраснейшего и что только в этой жизни было дорого для него. Бедный Мозель радовался за свою дочь, но страдал за молодого человека, который так великодушно принес себя в жертву ее благополучию... Благополучию? По крайней мере, мы так думали!

Каролина, со своей стороны, была счастлива. Единственное, что ее огорчало, так это разлука с женихом: но ее утешали надежды скорого мира и, следовательно, скорого свидания.

— Приезжай скорей, скорей, милый друг! — говорила она, прижимая руку Лидентала к своему сердцу. — Господь справедлив. Он сохранит тебя от

опасностей. Он скоро возвратит тебя моей любви. Здесь каждый час, каждую минуту буду произносить молитву о твоём здоровье, о нашем свидании. Ты не будешь далеко от меня; твой образ всегда будет перед моими глазами; окружу его всеми ласками, какие только знаю, какие только могу придумать, пока в разлуке с тобой. Выучу для тебя много русских нежных слов; выучу русскую песню, которую ты сладко напевал мне не однажды и перевел для меня. А там — поедем в твою Россию... Она будет и моей, потому что ты в ней будешь со мной. У тебя нет ближних родных, и зачем тебе они! Я заменю тебе мать, сестру, родню своей дружбой, любовью, ласками. Не правда ли?

Слезы готовы были брызнуть из глаз Лиденталея; но он глотал их и сам также рассказывал о будущем своём блаженстве.

Дня за два до отъезда Лиденталея, приятельница Мозеля, вдова лудвигсрудтского бюргера, добрая, может быть и слишком добрая, и до сих пор осторожная, вздумала сгрустнуть о молодом человеке, который так сильно любил Каролину и, по своим достоинствам, мог бы составить счастье этой девушки, если бы она излечилась от помешательства. Вследствие грустного расположения духа, она решилась испытать, не совершит ли любовь чуда. К этому испытанию приступила немедленно, при первой отлучке доктора из дома. Видам посредницы помог и случай: Каролина только что рассталась со своим женихом и погружена была в восторги счастливой любви и приятнейших надежд.

— Дочь моя, — сказала ей добрая посредница, — ты невеста, выбранный твоим сердцем молодой человек, по своим душевным качествам, богатству и положению в свете, мог бы всегда составить себе отличную партию. Не говорю, чтобы ты не была его достойна: ты богата красотой, умом и добрым сердцем, а это самые драгоценные сокровища для мужа, но, скажу тебе откровенно, ты имеешь худшую привычку, тягостную для всех тебя окружающих. Черные пятна, малейшая неопрятность приводят тебя в какое-то замешательство и даже страх; иногда от этих, ничего незначащих при-

чин, гнев портит твоё хорошенькое личико. Как же избежать предметов, ненавистных тебе, когда ты будешь замужем за военным человеком? Вот, например, если бы он вздумал при тебе писать письмо и неосторожно капнул чернилами на бумагу...

Каролина вздрогнула, посредница, заметив это, все-таки продолжала:

— Сколько неприятностей и тягости наделает твоя странная привычка человеку любимому! Нынче и завтра эти неприятности — могут последовать ропот, ссоры и, наконец, Боже сохрани, холодность!

— Холодность? Нет, лучше смерть! — сказала Каролина, слушавшая речь посредницы с жадным вниманием, не без примеси страха.

— Так исправься. Возьми себе на помощь рассудок... подумай, что такое пятно... какое зло может оно тебе сделать?..

— Исправлюсь, милая мамахен, непременно исправлюсь... И вот, чтобы доказать вам, как ваши советы мне по душе, как я люблю его, начну первый урок при вас.

Каролина позвонила.

— Чернильницу! — сказала она с веселым видом вошедшей служанке.

Та стояла, как вкопанная, выпучив глаза, не понимая, какое чудо совершилось с ее молодой госпожой. Каролина повторила свое требование. Но где достать чернильницу? Одна и была только в доме, да и та запиралась на замок в кабинете, за порог которого никто, кроме самого доктора, не смел перешагнуть.

— Принеси от нас, — сказала вдова.

Чернильница принесена. Несчастливая девушка побледнела, как будто принесли для нее орудия пытки, но старалась быть веселее.

— Вот вы увидите, — говорила она, взявши перо и обмакнув его в чернильницу.

— Довольно на этот раз; в другой урок, милый друг, ты пойдешь далее, — сказала посредница, испуганная отчаянным видом Каролины, и хотела вырвать перо из рук ее; но та не отдала его.

— Нет,— продолжала несчастная, вся дрожа, между тем как иступление горело в глазах ее, и начала ронять чернильные пятна по своему платью, сначала редко, потом учащая их.— Нет, я хочу доказать, что может мое сердце... Вот пятно... еще... еще... Из любви к нему буду носить это платье... Что мне сделают все эти уроды? Не боюсь вас!.. Множьтесь, растите, осыпайте меня целыми роями... жальте меня... ничего не боюсь... моя сила не от земли—от любви к нему... Я чиста, как первый снег... Не замарать вам всей одежды моей души... ее моют мои братья... не здешние... Во имя друга, за мной победа!

И несчастная, казалось, бичевала себя, неистово осыпая свое платье чернильными пятнами. Наконец она изнемогла и без чувств упала на руки испуганной, истерзанной посредницы.

Какую же пользу принесло это испытание? Ровно никакой. Оно доставило только бедной страдальце сильный нервный припадок, вдове бюргера — размолвку с врачом и служанке — изгнание из дома. С того времени не было более помину об испытаниях: отец и врач знал лучше свою пациентку.

До нас с Лиденталем дошло это происшествие на другой же день и еще сильнее растравило сердечные раны его.

Наконец Каролина и Лиденталь расстались с надеждами: одна — скорого брачного поцелуя, другой — свидания не на земле.

Затем все в доме пошло по-прежнему. По-прежнему во владениях Мозеля наблюдалась изумительная чистота, птицы вили гнезда, пели и щеголяли своими перьями, лебеди купались в водах, олени ели из рук своей молодой госпожи; по-прежнему цветы, словно густые рои мотыльков, слетевшиеся со всех концов света и павшие на сад Мозеля, красовались и благоухали. Но флигель был пуст; молодая, прекрасная хозяйка чаще задумывалась, щеки ее начало поводить, тайная скорбь, видимо, день за днем обирала из ее прелестей; чаще стала появляться на худом лице доктора несносная его гримаса.

Гром орудий из-под Лютцена дал нам весть о новой схватке *наших* с Наполеоном, не утомившим еще своего гения и восторженной любви к нему французских солдат. Мы, русские, должны были явиться на этот зов. Я простился с новыми друзьями своими. Каролина просила меня сказать многое своему жениху; между тем, молила о свидании, хотя на один час. «Скажите ему, что я долго не выдержу разлуки»,— говорила она, протянув мне свою белую ручку, и отвернулась, чтобы не показать слез, струившихся по ее бледным щекам. Доктор ничего не говорил, прощаясь со мной, но молча, крепко-крепко прижал меня к своему сердцу.

С этого времени я потерял их из виду.

В августе, именно накануне кульмского дела, послан я был начальством в главную квартиру, в Альтенбург. Дождь без устали целый день осыпал меня, как из мелкого решета, и промочил насквозь; взбираясь несколько верст по одной из гейерсбергских гор, я принужден был держаться за холку лошади: так крута была гора (а между тем по ней проходила наша артиллерия),—и плелся большей частью шагом; к тому же у сердца моего сидела грызунья-мысль, что меня, молодого человека, еще мало окуренного порохом, судьба отзывает вновь от главной сцены военных действий. «Товарищи мои,—думал я,—получат разные знаки отличия, а мне не придется ли опять блеснуть своими подвигами на мекленбургских паркетах!..» Все это вместе навело на душу мою тяжкое уныние, от которого, с прибавкой тысячей разнородных лиц и мундиров, мелькавших мимо меня в дождевом тумане, как в водовороте, главная квартира на этот раз показалась мне каким-то омутом, в который я брошен злым гением. Между тем дела делались в ней так скоро и точно, как в конторе самого исправного банкира. Поучиться бы тут нашим судейским!.. В несколько минут доложили бумагу, с которой я был послан, написали ответ и вручили мне.

Смеркалось уже на дворе, небо еще более насупилось и обещало волчью ночь; но рассуждать о погоде

было некогда. Я облек себя плащом, который от мокроты весил с добрый богатырский панцирь, и уладился было на седле, проникнутом водой, как губка... В эту самую минуту слышу, кто-то окликает вашим благородием. Взглянул — подле меня, запыхавшись, стоял наш дивизионный писарь, причисленный на время к канцелярии главной квартиры.

— Что ты, Наливкин? — спросил я.

Лицо его радостно сияло; он держал в руке печатный листок.

— Ваше благородие приказывали мне... если будут вести...

В лице его, в голосе ясно выразилось: будет богатая водка!.. «Верно, хочет обрадовать меня свеженьким известием о наградах на дивизию нашу, — думал я, — приеду к своим радостным вестником!»

Писарь поднес печатный листок к глазам моим и толстым, налитым эссенцией жизни, пальцем указал на строку, широко подчеркнутую чернилами, чтобы я не миновал ее глазами... Так было велико его усердие услужить мне!

— Вижу, вижу, злодей, — сказал я и прочел: *Исключается из списков умерший от ран... ротмистр Лиденталь.*

— Чтобы у тебя отсохла рука! — проворчал я в сердцах, впился шпорами в своего Молдавана и погрузился во мрак, как будто бросаюсь в пропасть. Я не слышал дождя, ехал по горам, как по глади, не чувствовал боли, когда хлестали меня сучья по лицу и сделал несколько миль крюку.

Да, нечего сказать, радостная весть!..

Перекидываемый судьбой, как мячик, то в армию кронпринца шведского, то в Берлин, то опять в Мекленбург, я очутился проездом в Лудвигслусте. Как нарочно, надо было мне ехать мимо дома лекаря. Не знаю отчего, я боялся на него взглянуть; однако ж невольно взглянул... Окна были наглухо забиты; ворота, настезь растворенные, ходили туда и сюда по воле ветра. Тут я не выдержал... велел почтальону остановиться, выскочил из коляски и с какой-то робостью детского суеверия, которое боится в пустых комна-

тах встретить домового, заглянул на двор и в сад. Нигде ни одной живой души; везде нечистота, сор и грязь; изломанные и разбросанные грудями стулья, в птичниках мяуканье кошек, ни одного цветка, поломанные и порубленные деревья — везде безобразие и сокрушение, как будто жестокий ураган только что прошел по этим местам свинцовой стопой. Когда я выходил со двора, ветер распахнул ставню у одного окна... петли жалобно завывали... и мне показалось, сквозь стекло кивнула мне на мертвом лице доктора судорожно-болезненная его гримаса.

Я не спрашивал более никого, что случилось с Мозелем и его дочерью.

НЕКОТОРЫЕ ПОВЕРЬЯ МОРДВЫ

I

Проводы шайтана

Вечер. Солнце догорает уже на вершине снежного кургана и бросает тусклые лучи на белый саван полей, как потухающая лампада светит на бледное лицо мертвеца; наконец таинственные сумерки наступают. Все тихо в деревне и за деревней; лишь скрип от шагов запоздалого путника далеко отзывается, и родник упрямый, которого морозы не могли сковать, говорит в долине. Это накануне Крещения, в день провода шайтана. Хозяева домов в боязливом молчании ходят по клетям и сараям, устроенным так, чтобы выход из одного отделения в другое был свободен; осматривают, не запнулся бы обо что страшный гость и был ли он доволен яствами, ему в разных местах предложенными. Ворота везде отворены. Пора гостю со двора: надо знать и честь. Нечистый на святках довольно погулял, попил и поел; даже в час, когда зоркий петух не мог его подметить, целовал сонных пригожих мордовочек (у одной из них осталось и красное пятно на щеке). Он чувствует величие и святость завтрашнего дня и спешит удалиться в бор дремучий. Там, в глухую полночь, аукает он, когда мордвин приходит красть чужие дрова; иногда бегаёт огоньком и рассыпается по болотам или кричит совой на кладбище, ломая кости недоброго покойника. Час настал; проводы не по приему. Все приходит в движение; бьют тревогу. Таково ужасное волнение в царстве пчел, когда они потеряли матку; так, у нас, на Руси, в годину великую, православные хлынули из сел своих на гибель супостата; женщины, девки, парни, малые и большие, все в праздничном одеянии, вооружаются кочергами, помелами, вилами, чем ни попа-

ло, летом вспрыгивают на коней и, ударяя в сковороды, с ужасным криком: «Шайтан! Шайтан!», несутся во весь дух по большой улице, как бы гоняясь за предметом убегающим. В это время лысый месяц, как лукавый леший, выглядывает из-за облаков и освещает движущуюся картину. Блестят, как чешуйчатые латы всадника, нагрудники у девок, униженные серебряной монетой; развеваются по ветру ленты и лоскуты разноцветные. Кажется, кровью облита одежда их, вышитая по плечам и спине красной шерстью. Крик, гул и топот отзываются в долине. Старики, чинно стоя у ворот своего дома, любят скачущей толпой и, чувствуя, как вместе с ней расходилась кровь их, вспоминают года, давно прошедшие. Выпроводив гостя за околицу, конница возвращается рядами, со знаменами из разноцветных платков, с торжественными песнями. Мальчики и девочки, бежавшие за конными, чтобы принять участие в проводе шайтана, спешат без оглядки в селения, боясь, чтобы нечистый, оборотясь, не захватил кого из них в кабалу к себе. Рои кипят, и шумят, и гогочут; но скоро голоса становятся реже и реже, наконец, совсем замирают. Ворота заскрипели. Все умолкает святой тишиной...

II

Поминки

Ждут гостя в деревню. Толпы народные движутся в нетерпении. Наконец, со стороны кладбища является он, верхом, нахлобучив шляпу на глаза. Тихо и недалеко проезжает он раз по улице, в другой раз рысью далее, в третий еще дальше во всю прыть. У крыльца одного дома хозяин, жена, сноха бросаются с криком на приезжего, останавливают лошадь за повод, хватают его самого и в радостном торжестве вводят в дом.

Садится таинственный гость на большом месте, под святыми иконами, не скидая шляпы. Перед ним стол, накрытый скатертью браной, отягощенный различны-

ми яствами и стеклом с играющим пенником. Он не касается яств лакомых, не пьет радости из чары круговой. Около него, на скамьях, сидят друзья, родные, собеседники. Он не заведет с ними разговора. Молодая женщина, небрежно повязанная платком, не смея на него взглянуть, стоит у дверей и горько рыдает. На него боязливо указывает мальчик, лет четырех, качая в люльке плачущего младенца, и приговаривает: «Нишни! Вот тебе даст тятя!» Старушка, всплеснув руками и опершись на них подбородком, вперила слезящиеся очи на таинственного пришельца. Кажется, они хотят высказать: «Гость наш желанный, где ты был так долго? Молви нам хоть одно слово ласковое, приветливое». Но гость молчит... Не разрешатся уста его, связанные печатью свинцовой.

Кто же этот гость неразгаданный? Покойник — с того света. Уж недель шесть, как простились с ним мать, жена, брат и дети; уже шесть недель, как спеленали его в саван белый, заколотили в домовище и зарыли глубоко в мать-сыру землю; но он в урочный час разорвал оковы тесовые, разрыл землю, его тяготившую, и приехал погулять по белому свету, подышать свежим воздухом, посидеть с родными и друзьями и потом проститься с ними уже прощанием вечным. Только через шесть недель после смерти, и то не более дня, дозволено покойнику приходиться в здешний мир в телесной одежде; с закатом солнца он сбрасывает ее навсегда и после того не иначе может явиться в этот мир, как в виде бесплотных: домового, лешего, привидения и так далее.

Пируют собеседники. Красноречивое поминовение перелетает из уст в уста, как переходит из рук в руки чаша круговая. Между тем с того света невидимо слетают и бесплотные гости. Хозяева говорят им: «Подите, кушайте. Пейте, не пеняйте на нас, не судите нас; потчуйте друг друга сами; мы всех не знаем, сколько вас там; мы не сумеем вам угодить: угодите сами себе». И каждый из телесных гостей, потчует духов, ест и пьет за двоих — за себя и за мертвого. Таким образом, часы летят в шумном пировании. А он сидит все на одном месте, неподвижен и молчалив. Но вот солнце, вестник

надземной жизни, готово упасть в волны озера. Покойник движется. Он вынимает из-за пазухи серьги, платок, ленту, пряники; одаривает ими жену, мать, брата и детей. Он встает с места; за ним все собеседники. Родные затянули жалобную песнь. Двое из них берут его под руки и ведут из дома. «Поклонись брату!» — кричит одна. «Снеси муженьку мой поклон!» — говорит другая. «И от нас, и от нас!..» — кричат несколько голосов. Покойник всем откланивается и по разостланной соломе медленно, как бы неохотно расставаясь с здешним светом, тащится по улице до конца деревни. Тут он исчезает...

Родственники, друзья, знакомые проводили его. На обратном пути они находят на той же соломе, в разных местах, блины, пироги, свинину, — следы услужливой любви покойного, оплачивающего им своим угощением. Садятся на землю. Пир снова начинается в память доброго покойника, с которым только что расстались. Скоро кушанья исчезают, кроме заветного пирога, который одна из старух несет к последнему дому, кладет его под забор и опретью оттуда прибегает; а народ кричит: «Скорей, скорей! Поймает! Ай, поймал!» День печали кончается, как проходил, в веселье. Все расходятся по домам, напевая:

А теть не мексте рямада,
Мерксть еделд рямада
(Старики велели нам жить
И детей кормить.)

Таковы поминки у мордвы. Едва я не забыл сказать, что роль покойника играет один из ближайших его родственников.

ОТРЫВОК ИЗ РОМАНА
КОДУН НА СУХАРЕВОЙ БАШНЕ

ЧЕТЫРЕ ПИСЬМА

Первое письмо

от князя Ивана Алексеевича Долгорукого к статскому советнику Финку, от 20 июня 1726 г., из Петербурга в Москву

Осечка, жестокая осечка, любезный друг! Что ж делать? Первую песенку зардевшись поют. Впрочем, старые наши певцы, из которых, признаться, многие спадают уж с голосов, не могут пожаловаться, что мой 15-летний дискант расстраивал их хор. Дядя Василий Лукич целовал меня в лоб и сказал, что я поддерживаю нашу фамилию; батюшка, по обыкновению, раскивается, охает и между тем не бранит меня — пуще всего доволен, что не было денежных затрат на мои затеи; прочая братия, смиренно потупив очи (при дворе) и облизываясь, как старый кот, ожегшийся на добыче, сказала мне, однако ж, даже по задушевному «спасибо». Сам Остерман — этот старый рыбак, который любит ловить рыбу в мутной воде, — смотря издали с берега, как мы запускали невод, бросил на меня свои лисьи взгляды одобрения. Он и после неудачи сделался особенно ко мне внимателен. О! Да этот человек видит, что после смерти императрицы надо будет искать во мне...

Заговор был прекрасно устроен, время выбрано самое удобное: мы воспользовались отсутствием Меншикова в Курляндию, куда он ездил выпрашивать себе герцогство. Но он обжегся на этом пироге, а мы — на закуске, ему приготовленной. Герцог голштинский, по настоянию Бассевича, на беду свою — припомните мое слово — выхлопотал ему прощение. Это безрассудное ходатайство и чувство благодарности за старые, семейные заслуги превозмогли наши успехи в сердце доброй государыни.

По крайней мере, вы, любезнейший статский советник и мой собственный тайный советник, не можете сетовать на меня, что я худо понял ваши уроки. Право, ученичок и друг достоин вас. История скажет, что я, шестнадцатилетний мальчик, был одним из главных действующих лиц в заговоре против — кого же? — Меншикова, которого боится вся Россия, опасается сам Остерман и ласкают иностранные государи. Попытка кончилась тем, что меня немножко пожурили, и я завтра же отправлюсь в чужие края. Нет худа без добра: хотя я с вами долго жил и учился в отечестве Лейбница и вашего любимого преобразователя, Лютера, все-таки не мешает еще поучиться. Не прежде увижу Россию, как тогда, когда увижу над ней царем внука Петра Великого и моего товарища детства, моего душевного друга. О, тогда ожидайте перемен, и перемен больших. Россия! Милое отечество! Ты будешь счастлива...

Тогда и вы, любезнейший наставник, постучитесь у моего сердца: будьте благонадежны, что в нем найдете отголосок на все высшее и доброе. По вашим советам перейдем что-нибудь от шведов, которых вы так хорошо знаете. Тогда Боже сохрани вас сказать, что они живут счастливее нас, русских: мы до этого нареkania вас не допустим.

Если увидите у нас в доме дедушку Божедома, то скажите ему хоть через сестру мою — с вами сношений он не захочет иметь, — что я еду в басурманщину поневоле, что я там скромного в пост есть не буду, папских туфель не поцелую и антихристу не поклонюсь, если он и народится. Вот человек, который с вами составляет настоящую янусову фигуру: вы смотрите все *вперед*, а он все назад; вы тянете меня *вогаus*, а он тянет на попятный двор. Он хотел бы не только меня — все народы загнать в леса да заставить их читать одну Четью-Минею. А над этими народами, наверно, поставил бы царицей свою Евдокию Федоровну, первым министром сделал бы какого-нибудь закоснелого старообрядца. Утешьте старика и скажите ему, что я помню его советы: последнее действие мое против заклятого врага его, Меншикова, это доказывает. Прибавьте, что здесь об

уничтожении Божьих домов и помину нет. Ему немного остается жить: зачем же его тревожить? Время и народы, как вы говорите, идут вперед; а для этих отсталых и настоящее, и будущее — все в прошедшем.

Что делает наш астролог, магик, алхимик или просто колдун, как называет его народ? Окончит ли он свой календарь с пророчеством на сто лет? Мерзнет ли по-прежнему на Сухаревой башне, гоняясь за звездами? Жарится ли в своей кузнице, стряпая золото и снадобье вечной жизни? При свидании доброму, ученому чудаку мой низкий поклон. Я много люблю и уважаю его: он знает меня лучше других — не он ли пророчил мне высокую будущность?

Еще одно поручение и — самое важное. Передайте, как можно осторожней, графине Шереметевой Наталье Борисовне, что есть человек, который за тысячи верст, при чужих дворах, под впечатлениями путевых изменений, беспрестанно новых, не перестает... Нет, нет, не говорите ей ничего обо мне. Боюсь, чтобы эта гордая, возвышенная душа не оскорбилась вашими словами, как бы осторожно вы их ни сказали. Пускай заочно, мысленно, сердечно, повторю ей то, что хотел вам передать. Только думать о ней, думать о получении ее руки — вот что мне теперь остается. И почему же не сбыться этим мечтам?.. Разве я не значу что-нибудь в империи?.. А со временем, и может быть, скоро, любимец государев, в обер-камергерском мундире — голубая лента через плечо... невеста — чудо-прелесть! Завидная парочка!

Но губернёр мой простонал над моим ухом: *in Gottes Namen vogaus*. При слове *vogaus* повинуюсь. Говорю с глубоким вздохом: простите, прижимаю вас к своему сердцу, в которое бросили вы столько любви к прекрасному.

Ваш первый друг и преданный ученик

князь *Иван Долгорукий*.

Второе письмо

от того же к тому же из Петербурга, от 10 мая 1727

Получаю в Иене секретную записочку от батюшки, что мне надо, как можно скорее, назад; лечу на крыльях нетерпения, приезжаю в Петербург и не застаю императрицы в живых.

Народ оплакивает мать свою.

Посылаю вам копию с ее завещания. Из него увидите, что князь Меншиков опять первенствует в империи и готовит себя в тести императору Петру II. Однако же, Бог не без милостей... Государь так мне обрадовался, увидав меня, что бросился меня обнимать со слезами на глазах. Часу не растается со мной. Многие поздравляют меня его фаворитом: я это знал наперед... Но временщик ничего не хочет видеть и слышать, кроме своих выгод. Пускай еще более закружится у него голова, тем легче будет столкнуть его. А мы покуда постараемся вырыть яму пошире и поглубже.

Третье письмо

от барона и вице-канцлера Андря Ивановича Остермана к отставному фельдцейхмейстеру графу Якову Виллимовичу Брюсу, из Петербурга в подмосковную Глинки от 12 сентября 1727

Сколько дивных перемен совершилось в глазах наших, почтеннейший друг! Жизнь Петра Великого прошла перед нами — довольно и этого, чтобы сказать: «*И мы жили*». Чудное было тогда время. Видели мы много переворотов, но все они имели цель и последствия великие, все они клонились ко благу и славе России. А ныне что делается?... Исполин пал; огромное место, которое он занимал в мире, опустело; ...всякий, кто был ближе к нему, хочет занять это место и играть властителя; другой, третий — туда же, пока настоящий властитель не укрепился годами и рассудком и не познал своего назначения. И все думают только о своих выгодах, ни у кого в сердце нет отечества; о завете Петра: «продол-

жать им начатое» и помину нет. Господи! Когда будет конец этим часовым, непризванным повелителям — этим временщикам, как хорошо называют их русские.

Ты удивишься, любезный друг, когда я скажу, что *был* и Меньшиков. Был? — спросишь ты и, верно, при этом слове протрешь очки, чтобы разглядеть хорошенько, так ли прочел его. Да, Меньшикова уже нет!.. Может статья, когда будешь читать эти строки, изгнанника, лишенного чести и достоинства, везут через Москву в бедной кибитке. Пожалеешь и его, как подумаешь, кто его заменит. По крайней мере, он был с великими заслугами Петру и отечеству, имел великий ум, испытанное мужество; а теперь его наследники... и подумать-то страшно, что за люди! Ты изумишься еще более, когда прибавлю, что колосс этот свалил шестнадцатилетний мальчик — князь Иван Алексеевич Долгорукий, который, бывало, лет за шесть тому назад чистил тебе за обедом любимые твои раковые ножки. Зная его нетерпеливый, пылкий характер, ты видел в том угождении особенную к тебе любовь. А я видел признаки честолюбия: вспомни, ты как-то предвещал ему, вместе с сестрой, великую будущность. Да, этот мальчик совершил нынешний переворот, которого не могли произвести мужи, испытанные в делах политических. На престоле дитя, умное, доброе, подающее великие надежды, но имеющее нужду в испытанном, хорошем советнике; тетка Елисавета — дитя характером; сестра Наталия хотя и превышает их всех умом и духом, все еще не вышла из детского круга, и я, не гадая, подобно тем, на звездах, предсказываю на несколько лет царство детей... Страшусь не без причины за творения Петра Великого. Ты знаешь отца и дядю маленького фаворита; не великие по душевным качествам, они захватили бразды правления. Можно судить, куда эти возничие умчат колесницу России, если скоро не успеют сами сломать себе шею. Вместе с ними партия староверов, под щитом нелюбимой первой Петровой супруги, поднимает уже голову и вопиет об уничтожении всего нового, основанного Великим; с другой стороны, иступленные поклонники новизны, в том числе и воспитатель маленького фаворита, наш приятель

Финк, не принимая в рассуждение ни времени, ни нравов народа, хотят разом выкроить народ русский по образцу иностранному. Ох, ох, страшусь за создание великого царя!

Но, любезный друг, мы, которые были первые исполнители гигантских помыслов Петра, мы, которым поверял он, как друзьям, все любимые, задушевные думы, которым завещал, если не докончить, по крайней мере, поддержать его создание и передать, сколько можно, в целости это наследие; мы, душеприказчики его, его дети, служители, обязанные ему всем, чем только пользуемся в свете,— мы должны в нынешнее время не ограничиваться одними сетованиями и сожалениями. Действовать по совести и разумению пламенно, усердно, но осторожно — вот наша обязанность. Девизом нашим да будут слова Спасителя: «Будьте добры, яко голуби, и мудры, яко змии». Остановить на первых порах бестолковые попытки староверов ограничить безумные желания нововводителей, не давать ни одной партии честолюбцев возвышаться насчет России и руководить юного государя ко благу вверенного ему народа,— вот подвиг, который нам предстоит. «Нелегкая обязанность,— скажешь ты,— когда царю только 15 лет». Что же делать? Исполним свой долг, а там будет воля Провидения!

Пускай нашу партию называют немецкой — она самая просвещенная, самая благонамеренная и пригодная для России в нынешнее время. Мы, может быть, лучше коренных русских жителей России понимаем пользы ее.

В скором времени двор отправляется в древнюю резиденцию царей на коронацию. Ты должен оставить свое уединение и явиться в Москву. Не извиняйся отставкой: для истинных сынов отечества нет отставки; служение их продолжается до гроба. Не говорю, чтобы ты должен был в твои года принять должность при новом дворе, чтобы ты каждый день напяливал мундир на свои старые плечи и играл роль дневального придворного; нет, эта служба не по тебе. Но ты можешь служить иначе: советом, внушениями, связями, кабалистикой... Твое таинственное влияние на народ может

умы и мнения расположить в нашу пользу, ты можешь и судьбу подготовить в наш разговор. Ты всемогущ не только на земле, но и на небе. Чего стоит тебе иногда, для пользы общественной, переставить одну звездочку на место другой! Мы восстановим своих *девять*, устроим по-прежнему, как в бывалые дни Петровы, свой совет на Сухаревой башне, немногочисленный, но избранный, бескорыстный, с одной целью поддержать создание великого преобразователя России. Ты должен явиться, или да будет тебе стыдно в будущем мире перед лицом бессмертного царя и нашего отца и благодетеля.

На днях отправляется в Москву мать фаворита с дочерью своей. Ты любим в семействе; ты отец крестный княжны и брата ее, ныне столь могущего... к тебе имеют они большую доверенность и уважение.

Меньшиков обручил было дочь свою на царство; боюсь, чтобы этого не домогался и отец Долгорукий... На всякий случай я сблизил с домом фаворита чиновника при нынешнем цесарском посольстве, графа Мелизино. Богат, знатен, красавец, он понравился матери и умел пленить сердце княжны Екатерины. Мать нечестолюбива; для 15-летней девицы молодой, ловкий, красивый гусар привлекательнее мальчика, хотя бы и... Не смейся, любезный друг! Тут нет ничего смешного. В политике и любви игрушки много значат.

По случаю падения Меньшикова ты имел право беспокоиться насчет его крестника и твоего племянника. Горячий молодой человек, в порыве благородного чувства, поговорил слишком смело в защиту своего крестного отца и за это пострадал... Я поспешил выпросить ему прощение. Александру твоему велено покуда жить под караулом... и стражем его будет дядя. Постараюсь сократить и это наказание: неугомонная натура эта не стерпит этого и нравственных цепей

Жду с нетерпением минуты, когда и я обниму тебя.

Четвертое письмо

от княгини Долгорукой к сыну. ее Ивану Алексеевичу, от...
1728 г., из Москвы в Петербург

Друг мой, Ивашенька, благодарение Богу, мы благополучно приехали в Москву, успели уж съездить в Горенки да и назад воротиться. Все хлопочу, как бы отделать дом к коронации: без отца твоего плохо; сам посуды, женское дело. Боюсь, не дорого б стало; ты знаешь, как отец за каждую лишнюю копейку гневается.

В прошлое воскресенье, в самый заутренний звон, мамка твоя Домна отдала Богу душу; в последнее время ходила сгорбившись крюком и плохо видела, а все по хозяйству прибирала. Об тебе помнила при конце своем. Похоронили мы ее с честью в Горенках.

Нынче у нас уродилось много грибов; старики не запомнят такого года — говорят, к войне.

Привезли ко мне из степной отчины диковинную карлицу, всего аршин с вершком; хотим выдать за гайдука Павлушку. Уморительная будет парочка!

Мадам наша отошла к Шереметеву: говорит, хотя и там учить некого, да привыкла к дому; к тому ж у Натальи Борисовны нету теперь ни отца, ни матери, так буду беречь ее, как дочь; хочу при ней и умереть. Жаль, мадам была такая добрая и разумная. Катя много плакала при расставании.

Что писать мне еще, сердце мое, Ивашенька? Буди над тобой благословение Божье на все часы, дни и ночи и на все дни живота твоего. Милостям царским радуйся, но не кичись ими. Не бери примера с подлых людей, которые вышли в знать и фавориты, да забыли, что они на свете такие же человеки, как и другие: за то Бог и наказал их. Помни свой род, будь милостив ко всем, нищую братью не забывай. За то Господь не оставит тебя в сей жизни и другой. Целую тебя

Мать твоя и прочие.

ВНУЧКА ПАНЦИРНОГО БОЯРИНА

Посвящается Ал. Ал. Леб...вой

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

I

Был полдень одного из дней августа 1862 года. Летнее солнце, на прощанье с жителями Москвы, хотело порадовать их еще своими теплыми ласками. В это время ковлял в гору, по правую руку Кузнецкого моста, господин в светлом пальто английского суровья, просторно сидевшем на худощавом его теле. Ему казалось лет на шестьдесят, но, может быть, разные житейские невзгоды не поскупились накинуть несколько лишних лет на его наружность. Соломенная шляпа с широкими полями ограждала от лучей солнечных его бледное, добродушное лицо. В руке у него был небольшой узел, завязанный в фуляре. Не занимали его любопытства выставленные в окнах магазинов роскошные вещицы, отчасти выписанные из-за границы, отчасти делаемые в России под именем иностранных. Продавцы их, тоже иноземцы, пользуясь пристрастием нашим ко всему заграничному и, может быть, справедливым недоверием к отечественным изделиям, берут с нас за свои товары по 50 процентов на сто. Иные, накопив на Руси богатые капиталы, уезжают восвояси, где в благодарность за наше простодушие бранят на весь свет дикообразную Московию, набившую их карманы своим золотом. Правда, есть благородные исключения. Между прочими справедливо сохранить память одного из них, Депрé, который, умирая в Париже, завещал похоронить его прах в Москве, где он нажил свое богатое состояние.

Остановился, однако же, старик против магазина Дациаро, всегда привлекавшего к своим окнам толпу прохожих — отдохнуть ли он хотел, или взглянуть на

картины. Вероятно, он был близорук, потому что, уставив глаза в окно, прищурился и наложил ладонь на стекло окна, по которому переливались лучи солнечные. Вскоре подошел другой господин, молодой, и, став подле него, приступил к такому же созерцательному безделью. Хотя на нем было широкое летнее пальто, но в посадке его стана видно было, что он привык носить военный мундир и, вероятно, только что недавно скинул его.

— Ее уже нет,— сказал с грустью старик, качая головой.

— Кого? — спросил его поручик, посмотрев на него с удивлением.

Старик был, видимо, из таких личностей, которые в минуты особенного настроения души готовы излить ее хоть незнакомцу. По природе ли, или исхोдивши жизнь под гнетом разных тяжелых обстоятельств, или от старости, они склоняются к дѣтству.

— Здесь,— отвечал он, поощряемый к откровенности светлым взглядом и добрым, приятным лицом своего спутника,— была раскрашенная английская гравюра-невеличка, но как много говорила она сердцу! На ней изображена была красивая молодая женщина. У полуобнаженной груди ее лежал младенец. Видно было, она только что откормила его. Ребенок засыпал и сквозь сладкий сон улыбался ангельской улыбкой. Если бы вы видели, как смотрела мать на свое дитя. Любовь и блаженство выражались в голубых глазах ее. Да, сударь, блаженство — это чувство от неба; счастье называю я наслаждением земным.

— Жаль, что я не видел этой картинки,— сказал молодой человек, глядявываясь в старика и занятый более его личностью, чем разговором о картинке.

— Очень жаль, вы потеряли несколько минут самого чистого душевного удовольствия. Однако же, когда я бывал здесь, она мало занимала смотревших на здешнюю выставку. Я был, по-видимому, один, кого она приковывала к себе.

— Ныне ведь нужны предметы более пикантные, раздражающие чувства.

— Так, так. Вот, например, перед нами обнаженные, купающиеся женщины; их сторожит из-за засады деревьев воспламененный взгляд юноши, заметьте — юноши. Он, кажется, хотел бы превратиться в волну, которая скатывается по их прекрасным формам.

— У нас ныне,— заметил молодой человек,— не только юношей, но и детей нет.

— А вот эта, налево, ради возбуждения каких страстей? Бандиты со звериными лицами потрошат какого-то путешественника, под ним лужа крови. Далее убийца с топором в руке, с которого капает кровь его жертвы.

— Правда в искусстве — вот лозунг, который задали себе наши писатели и живописцы.

— Прекрасно, но они забывают, что их обязывает другая правда — художественная. Это напоминает мне Каратыгина в драме «Игрок». Он отвратительно намазывал себе руку красной краской, чтобы показать, что на ней кровь — следы совершенного им убийства. Между тем для возбуждения в зрителе чувства ужаса, и без видимых знаков довольно было одних слов артиста, что на руке его кровь. Впрочем, извините болтовню старика, вам незнакомого. Может статься, по-вашему, по-нынешнему, я ошибаюсь, и вам неприятно слушать то, что противно вашим взглядам.

— Напротив,— сказал молодой человек,— хоть ныне только те quasi-убеждения хороши, о которых кричат наши так называемые *дету*, я слушал вас с большим участием. К тому же, когда я всматривался в вас более и более, меня подмывало сделать вам один вопрос. Он не покажется вам странным, если вы узнаете причину его. Не вспомните ли вы меня? Мое имя Сурмин...

Старик стал пристально всматриваться в лицо своего импровизованного собеседника, бесцеремонно повернув его к свету обеими руками за плечи.

— Хоть убейте,— отвечал он,— ни вашего имени, ни вас не припомню.

— Не мудрено: вы видели меня только один раз. Я был тогда еще очень молодой человек, лет двадцати, только что выпорхнул из гнезда гвардейских юнкеров

и оперился в мундире кавалергардского полка. С того времени прошло десять лет. Теперь я сделался кампаньяром и, как видите, отпустил уже бородку. Служили вы в Приречье вторым лицом по губернской иерархии?

— Точно так.

— Вас зовут Михайла Аполлоныч Ранеев.

— Это имя мое.

— Вот видите, как я вас помню, или, лучше сказать, помнит вас мое сердце. Но я не желаю, чтобы посторонние, останавливающиеся здесь, слышали наш разговор. Вы, кажется, шли в гору Кузнецкого моста?

— Да, я шел к оптику Швабе купить себе зрение. Без очков, которые, к горю моему, по старческой рассеянности затерял, все предметы в природе представляются мне в каком-то недоделанном виде или как будто задернуты флером.

— Мы словно сговорились; кстати, и я иду туда же купить себе барометр. Если вы мне позволите, мы продолжим наш разговор, которым я напому вам наше часовое знакомство, оставившее глубокие следы в благодарной памяти всего нашего семейства.

— С большим удовольствием.

Они пошли в гору; молодой человек укорачивал шаги, чтобы не утомить своего спутника. Дорогой повели они беседу, как давнишние приятели.

— У матери моей,— начал молодой человек,— было дело, от которого зависела участь всего нашего семейства: ее, меня и двух малолетних сестер моих. За долги частные и процентные в Опекунский Совет, запущенные нашим опекуном, 500-душное имение наше было под запрещением. Вы знаете, что такое наши опеки?

— Слишком хорошо. Я читал отчет одного опекуна над сумасшедшим: был очень богатый барин. В этом отчете, поверите ли, записана была покупка собольего одеяла в шесть тысяч рублей. Я видел, как у малолетних на ремонт дома истрачивались все доходы с имения. Придя в совершенные года, они, разумеется, оставались нищими. Я слышал, как заводские тысячные лошади продавались полячком-опекуном под покровом

воеводы по 50 рублей. Да всех проделок опекунов не перечтешь.

Старик энергически махнул рукой.

— Подобными проделками нашего опекуна, — имя его утаю (скажу только — он даже очень близкий нам родственник), — и наши дела были доведены до того, что Совет назначил наше имение в продажу с аукциона. По просьбе матери, опекун был смнен и она утверждена опекуншей и попечительницей. Что можно было продать из движимого имущества: серебро, бриллианты и разные разности, все ей было продано, добрые люди помогли, частные долги заплачены, сумма в Опекунский Совет собрана. Мы с матерью отправились в Москву, но, чтобы остановить продажу имения, надо было заехать в Приречье. Здесь мы должны были получить из гражданской палаты свидетельство, что оно освободилось от запрещения по частным долгам и казенным повинностям. Наш местный уездный суд уведомил о том все приреченские места, кому надлежало знать. На спрос гражданской палаты эти места, кроме губернского правления, отвечали удовлетворительно. Обращаюсь в правление, показываю номер и число, за которыми послан рапорт суда. Столоначальник отзывается, что рапорта не получено. «Не может быть, — говорю я, — он отправлен с неделю, все другие места получили». — Нам до других мест дела нет, мы не получали, — с сердцем отвечал столоначальник. По молодости лет и неопытности моей, я думал, что если предложу *благодарность*, так навлеку на себя страшные последствия.

— Хе, хе, хе, видно, молодо-зелено было.

— Так и мерещилось мне дуло пистолета, уставленное в грудь мою. Обращаюсь к советнику, тот же решительный ответ. Обстоятельства были для нас критические; через два дня роковой молоток (я воображал молоток при всяком аукционе) должен был ударить и лишит нас состояния. На него охотники, в том числе и наш бывший опекун, точили уж зубы, заговор между ними был устроен, *слазы* определены.

— Ох, эти слазы! иной раз у иного начальника при

продаже имени сердце болит, что оно продается за бесценок, а против этого ничего не поделаешь.

— Моя мать в отчаянии. Наши приреченские приятели указывают нам на вас, как на единственного человека, который может спасти нас от беды. Лечу к вам,— мне говорят, вы нездоровы, никого не принимаете. Горячо настаиваю у вашего слуги, чтобы он доложил обо мне, говорю: «дело экстренное»,— он неумолим. Молодость и отчаяние кипятили мою кровь, я сделался дерзок, возвышаю голос, готов браниться. Вы услышали наши крупные переговоры, вышли ко мне, извиняетесь, что в шлафроке, спрашиваете, «в чем дело». Объясняю его. Вы выслушиваете меня внимательно, между тем как у вас лицо подергивало от негодования.

— Ого! как вы помните все подробности!

— Немудрено, это были роковые минуты, они не забываются. «Негодяи!» вырвалось у вас от гнева, и тотчас, несмотря на свое нездоровье, приказываете подать себе одеться, едете со мной в правление на моем калибере, какой мне второпях попался. Здесь, по грозному требованию вашему, рапорт суда отыскан под сукном и в ту же минуту при вас сделано по нем распоряжение. Досталось же от вас порядком столоначальнику, не обошли вы своим замечанием и советника. Мать получает свидетельство из гражданской палаты, скачем с нею в Москву и спасаем имение от продажи. Опоздай один день,— и мы были бы разорены. С легкой руки вашей дела наши пошли в гору, мы живем теперь в полном довольстве и благословляем ваше имя, как нашего благодетеля.

— Очень рад,— сказал Ранеев, видимо просиявший от удовольствия,— очень рад,— повторил он, пожимая руку своего спутника,— что мог, исполняя свой долг, сделать что-нибудь в пользу вашу. Вот видите, как легко человеку, у которого есть какая-нибудь власть, располагать участью людей на добро и зло. Не перечтешь несчастий от сущей безделицы, от того, что иной с высоты своей поленился выслушать внимательно просителя, другой пугнул его в пароксизме воевод-

ского нетерпения. А самоуправство, апатия, продажность...— вот что губит нас.

— Кажется, благодаря духу времени, взяточничество выводится. Поговаривают, что составляются проекты новых судов с гласностью в помощь им. Надо надеяться, что молодые поколения не ударят лицом в грязь.

— Вот это дело другое. Гласность, гласность! великое слово, если оно вместе с тем и дело. Пусть явится во всеоружии истины, хотя бы с грозой, но только не театральной, не с фальшфейером. Не ласкать зло надо, а сокрушать его.

В голосе Ранеева слышалось какое-то ожесточение; забывшись, он говорил громко и потрясал рукой, так что прохожие смотрели на него как на чудака.

— Дай Бог, чтобы скорее состоялись эти суды. Авось либо свежие струи с новыми, честными силами втекут на них,— продолжал он:— Допусти и меня, Боже, дожидаться хоть зари этого дня. О тогда, если не задушать этой гласности в ее зародыше те, кому она по грехам их не понравится, я опишу историю одного события в моей жизни на поучение следователям и судьям. Да, друг мой, есть в ней чудеса, которые и не снились нашим мудрецам-обличителям. Сильно боролся я с людской злобой и коварством (только глупая овца лижет руку, которая ведет ее на заклятие) и все-таки изнемог в борьбе. Но я, думаю, наскучил вам своими стариковскими иеремиадами. Что ж делать, это мой конек, с которого сойду только на пороге гроба. К тому ж я с первого раза полюбил вас, и потому так с вами откровенен. Кстати, вот и магазин Швабе.

Вошли в магазин. Старика, видно, знали там хорошо. Он протянул хозяину руку, хозяин радостно пожал ее и, приветствуя его с добрым утром, называл превосходительством. Ранеев отозвал его в сторону и стал переговаривать с ним вполголоса. Он не стыдился своей бедности, но и не любил пародировать ей, а предмет его разговора с оптиком казался ему щекотливым при постороннем свидетеле. Дело в том, что он принес в узле спорки богатого шитья с мундира, в котором не имел более надобности, темляки, шарф, и про-

сил тотчас сжечь их, свесить выжигу и променять на очки. Между тем Сурмин старался не слышать их переговоров и занялся с приказчиком осмотром барометров. Порядочный ком выжиги был скоро принесен и свешен. Хозяин магазина предложил старику выбрать себе очки по глазам. Ранеев сказал номер, который он обыкновенно употреблял, золотые очки были выбраны, испробованы на разных предметах и пришлось совершенно по глазам.

— Как же расчет? — спросил он.

— Ваши вещи стоят 20 рублей, наши 15, вам следует получить с нас 5 рублей.

— Bravo! — воскликнул торжествующим голосом старик, забыв свою прежнюю осторожность, — *в рядах* дали бы половину. Вот я и с глазами, — прибавил он, поводя еще очками по разным предметам в магазине, как будто прозревал после счастливой операции над его глазами.

Ранеев и новый его знакомый вышли из магазина. Каждый нес свою покупку, один — оседлав ею свой нос, другой — спрятав ее в карман своего пальто. Сойдя с наружной лестницы на тротуар, Ранеев остановился. Сначала всматривался он в надписи на вывесках, потом переносился глазами на лица проходящих, испытывая на них свои очки, отчего живые предметы его бесцеремонного созерцания встречали его пристальные взгляды или усмешкой, или сердитой миной. Особенно чопорные, наштукатуренные барыни вооружались против него негодованием, презрительно надув губки или отворачиваясь от старика-нахала. С своей стороны, он не только равнодушно принимал эти заявления, как будто они его не касались, но даже улыбался детской улыбкой. Ему казалось, что внезапно выступил перед ним из сумерек новый мир, вспрыснутый яркими лучами солнца. Видно было, что удовольствие от удачной покупки, подкрепляемое добротой сердца, не давало в нем места другому чувству. Но лишь только он и Сурмин простились, обещаясь видеться, и сделали не более пяти шагов друг от друга, первый, под гору Кузнецкого Моста, второй, по направлению к Лубянке, как молодой человек услышал позади себя крик:

— Он, он, Киноваров, вор, грабитель!

Сурмин оборотился и увидел, что какой-то прохожий, немолодых лет, с седоватой бородкой, в поярковой шляпе с широкими полями, из-под которой упали стриженные в кружок волосы под масть бороде, в русском кафтане со сборами, — рвался из рук Ранеева, вцепившегося в рукав его кафтана. В крике Михаила Аполлоновича было что-то дикое, отчаянное, словно он стоял под ножом разбойника и призывал прохожих на помощь. Он хотел еще что-то крикнуть, но слова задохлись в его груди. Борьба была недолгая, прохожий вырвался из слабых рук старика, успел вскочить на лихача, мимо шагом проезжавшего, и скрылся из виду, окутанный клубами пыли, закудившейся в последний раз на повороте к Трубному бульвару. Ранеев пошатнулся и упал без чувств головой на тумбу. Все это как молния промелькнуло в глазах Сурмина, но шафранное лицо прохожего, кошачий взгляд серо-желтых глаз его — врезались в памяти молодого человека. Пока он суетился около своего нового знакомца и звал городского, давно образовался кружок любопытных, в это время мимо проходивших. Прибежал городской и, расспросив слегка о том, что случилось, старался поднять упавшего, между тем выкликал извозчика, чтоб отвезти его в часть. Старик лежал у тумбы, кровь текла из раны над бровью, очки, которые так радовали его, лежали разбитые на тротуаре. Какой-то подозрительный человек, вроде тех личностей, которые при всякой суматохе и сборище людей вырастают из земли, — уже поднял золотую оправу и заносил с ней руку под полу рыжеватой, засаленной фризовой шинели. Сурмин успел это заметить и вырвать оправу у жулика.

— Это генерал, — сказал он городскому, переводя для изящного эффекта статский чин на военный, — отнесем его в знакомый мне и ему магазин.

Только что они приподняли Ранеева, как от Швабе, видевшего из окна несчастный случай, прибежали посланные им рабочие и помогли отнести его в магазин. Здесь его положили на диван и, с помощью примочек и спиртов, успели привести в чувство. Рана была легкая, но могла быть смертельна, если б он ударился

о тумбу полувершком ближе к виску. Кровь из нее уняли компрессом из арники. Отдохнув немного, он осмотрелся, перекрестился, пожал руку Сурмину и попросил оптика приказать достать ему извозчика, сказав лицу своей квартиры. Сурмин решительно объявил, что не отпустит его одного и сам доставит домой. Старик у оставалось только поблагодарить за дружеское одолжение.

— Я чувствую себя хорошо,— сказал он,— но если б мне пришлось худо, так лучше умереть при дочери.

Нанятая пролетка стояла уж у крыльца. Ранееву обвязали голову платком со свежими компрессами. Собираясь выходить, он вспомнил о своих очках, ему поданы были новые, в футляре. О том, что купленные им прежде разбились, никто не промолвил ни слова. Когда он сходил с крыльца, городской приложил руку к козырьку своего кепи и спросил его превосходительство, не украдено ли чего у него, так как он гнался за воров.

— Ничего, голубчик,— отвечал Ранеев, немного смутившись,— благодарю, ни на ком не взыскиваю, ничего не ищу, не доводи об этом до начальства.

Украдкой он сунул ему в руку серебряную монету, какая у него случилась.

Сели на извозчика, приказано было ехать не шибко. Дорогой старик, оправясь, первый заговорил со своим спутником:

— Многие, после происшествия со мной, почли меня за сумасшедшего,— сказал он,— но если б знали, кто был человек, которого я хотел схватить, если б знали его отношения ко мне, так оправдали бы мое бешеное нападение на него. Да, друг мой,— прибавил он по-французски, чтобы извозчик не понял его,— это величайший враг мой, он обокрал казну, обокрал меня, разрушил счастье мое, счастье моего семейства, убил жену мою...

— Почему же бы вам,— заметил Сурмин, не понимая странного, загадочного рассказа старика,— не отыскать преступника через полицию? ведь вам имя его и звание известны.

— Через полицию! знаете ли, что он коллежский

советник и кавалер, считается умершим в тюрьме, похоронен... Вероятно, он скрывается под чужим именем и фальшивым паспортом, и после встречи со мной не останется ни одного часа в Москве. Что ж, если бы его нашли и задержали, прошлого не воротишь, решенного не перерешишь. Только одним бы несчастным было больше на свете. Я так, сторяча, не раздумав хорошо, погнался было за ним. Но это длинная, несчастная история; когда-нибудь расскажу вам ее; Бог даст, ближе познакомимся. Сколько лет не видал я этого злодея,— продолжал он немного погодя,— слишком пятнадцать лет. Пятнадцать лет угрызения совести, страх попасть опять в тюрьму, из которой бежал, и от туда поплестись в Сибирь,—хоть какого молодца переделают. Я и не преступник, да несчастья сделали из меня в 57 лет, как видите, ходячую мумию. Он состарился, поседел, надел какой-то маскарадный костюм, однако ж, я его узнал,— узнал, как будто вчера только видел. Не мудрено: он не раз пробуждал меня от крепкого сна, его желтые, с крапинами косые глаза блуждали по мне в ночном мраке, он и днем меня преследовал, его образ придет смущать последние мои часы. Но вот мы подъезжаем к моей квартире. Ради Бога, не говорите ничего дочери о сегодняшнем происшествии. Я скажу, что, выходя от Швабе, оступился и, упавши, ушибся. Кажется, рана моя не велика. Я сниму теперь повязку, на ней, вероятно, выступила кровь.

Действительно, на повязке были мелкие пятна запекшейся крови. Он снял ее и спрятал в карман. Сурмин осмотрел ушиб и успокоил его, сказав, что рана едва заметна. Старик надел очки, чтобы, как он думал, совсем скрыть ее.

Остановились у скромного домика в пять окон на улицу, против Нижнего Пресненского пруда.

II

Зоркий глаз дочери сторожил отца из окна. Старик только что хотел позвонить у наружной двери, как она отворилась, и прекрасная, стройная девушка броси-

лась ему на грудь, целовала руки, расточала ему самые нежные ласки, самые нежные имена. Он платил ей такими же нежными, горячими изъявлениями любви. Казалось, они свиделись после долгой разлуки.

Сурмин, в полусумраке сеней, смотря на очаровательную девушку, остолбенел, как будто она ослепила его лучами своей красоты.

— Что ты так долго был? — сказала она отцу, — я думала, не дождусь тебя.

— Извини, дружок, случай, встретил неожиданно старинного приятеля, Андрея Ивановича Сурмина, заболтался с ним. Рекомендую его. Это моя дочь, Лиза, — прибавил он, указывая на молодую девушку.

Ранеева, которая до сих пор никого не видала, кроме отца своего, вся поглощенная любовью к нему, прищурилась, потом окинула молнией своих глаз молодого, красивого незнакомца и, слегка зарумянившись, глубоко присела перед ним, как приседают институтки перед своей начальницей.

Они вошли через переднюю в большую комнату, служившую, по-видимому, старику кабинетом, гостиной и спальней. Здесь, в комнате, при большем свете, нежели в сенях, Сурмин мог лучше рассмотреть стройный, несколько величественный стан Лизы, тонкие, правильные черты ее бело-матового лица, оттененного своеобразной прической волос, черных как вороново крыло, и ее глубокие, вдумчивые черные глаза. Все в комнате было хотя небогато, но так чисто, так со вкусом прибрано, что вы с первого взгляда угадывали, что женская заботливая рука проходила по всем предметам, в ней расположенным; все в ней глядело приветливо, кроме портрета какого-то рыцаря с суровым лицом, висевшего, как бы в изгнании, над шкафом в тени.

Сделалась аксиомой пословица: «скажи, с кем ты знаком, и я скажу, кто ты таков». — Не менее верно замечание: введи меня запросто, по-приятельски в свое жилище, и я загляну в твою душу, расскажу твой образ жизни, твои наклонности. Так и здесь: Сурмин, оглядев комнату, мог дополнить характеристику хозяина,

мысленно еще только очерченную в первый час знакомства с ним.

Стол, покрытый черной клеенкой, придвинут к окну; на нем скромный письменный прибор и артистический пресс-папье из матовой бронзы: это была группа Лаокоона и детей его, обвитых Змеем-Роком, который душит их и с которым отец, напрягши мышцы, борется до последнего издыхания. Тут же вазочка, настоящий *vieux Saixе*. Так и срывает с ваших уст улыбку шаловливый рой пригожих, полунагих детей, на ней изящно написанных. В вазочке свежий букет скромных садовых и полевых цветов, со вкусом и гармонически подобранный. Перед столом глубокое, мягкое кресло, на котором зеленый сафьян уже от времени порыжел. Из окна через стол лоснится зеркало Пресненского пруда, оправленное в раму бархатного газона и разнообразной зелени дерев. На ближайшем берегу к маститому, мускулистому вязу привязана красивая лодка с разноцветным флагом, который от ветерка — то лениво потягивается, то бьется о мачту словно крылом. За Горбатым мостом видны извилины Москвы-реки. На левом от зрителя берегу ее нагромождены плоты и груды леса, на правом из густой кущи дерев выглядывает богатая усадьба какого-то купца. Далее, проведя глазом прямую черту по разрезу реки — Воробьевы горы, дача графа Мамонова, Александрийский дворец; еще далее, сквозь туман поднявшейся над Москвой пыльной атмосферы видны едва очерченные крыши деревеньки и небольшие купы роц; так и хочется перенестись в них из душного города. Здесь стук, шум, тревога; здесь дышешь глетворными миазмами, а там должно быть тихо, прохладно, груди так легко впивать в себя струи чистого воздуха. Правее, за Даргомиловской заставой, широкой лентой убегает в сизую даль так называемая шоссейная смоленская дорога. При взгляде на нее, из глубины души вашей встают великие воспоминания. К одной стене комнаты прижался большой мягкий диван. У локотника его лежит канвовая подушка, на которую брошен пышный букет, резко выдающийся свежестью своих красок на ветхой коже дивана. Хочется обонять эти цветы, ждешь, что вот слетит с них пчела и зажужит по комнате, — так художе-

ственно выполнены шерстью цветы и пчелка. Повыше дивана, в гравюрах, портреты Петра I, Екатерины II, Вашингтона, Франклина, Вальтер Скотта, Шиллера и доктора Гааза. На противоположной стене живописный портрет офицера средних лет, в семеновском мундире александровских времен. Рядом акварельный портрет молодой красивой женщины, обвитый венком из иммортелей, другой, фотографический, более молодой женщины, к которой можно тотчас признать дочь хозяина, и третий, такой же, юноши в юнкерском пехотном мундире. Все, что любит старик, что дорого его сердцу, собрал он вокруг себя. В одном углу — кровать, на железные изогнутые столбики ее накинута снежной белизны чехол из марли, обшитый домашними кружевами. Сквозь сетку его не проникнуть ни докучливой мушке, ни трубочу-комару. Такие походные железные кровати с чехлом разбивают английские офицеры и путешественники в знойных странах, не боясь ни москитов, ни тарантул. Близ кровати небольшой образ без оклада Божьей Матери с Предвечным Младенцем и порхающими над ними ангелами, писанный художнической кистью. Над шкафом, как я сказал, будто в изгнании, живописный, средней руки, портрет какого-то рыцаря с гордой осанкой, в панцире. Резкие, суровые черты его, черные, большие усы, глаза, пронизывающие вас насквозь, так и выступают из полотна. Можно бы пугать им детей; в душе взрослого он возбуждал неприятное чувство. В соседней комнате голористо разливается канарейка, над потолком воркуют голуби. Когда они слишком заговаривались и мешали хозяину и гостю слушать друг друга, Ранеев замечал:

«Не взыщите, сами поселились на чердаке, вольная колония! Пускай себе живут, благо им хорошо, а нам теснее не будет».

А если они уж слишком посягали на терпение его, то ему стоило только постучать в потолок тростью, чтобы они замолкли, точно понимали его. В семью мебели разве еще включить членов-челядинцев: маленький диван, обитый скромным ситцем, перед ним овальный орехового дерева столик, да четыре, пять стульев. Все

это успел быстро занести в свои соображения Сурмин, усаженный на почетное место дивана.

— Да у тебя новые очки,— сказала Лиза,— поздравляю тебя с покупкой, ты был без них как без глаз. Дай-ка, попробую их на себе. Ведь я тоже близорука, настоящая папашина дочка,— прибавила она, обращаясь к Сурмину, сняла с отца очки, надела на свой греческий носик и кокетливо провела ими по разным предметам в комнате, не минуя и гостя.

— Дитя,— подумал было Сурмин, смотря на ее шаловливые движения.

— Совершенно по глазам моим,— сказала она,— папаша позволит, так я и сама начну носить очки и заговорю с кафедры.

— Ну, на это бабушка надвое говорит,— возразил Ранеев.

Возвращая очки отцу, она заметила у него знак раны над бровью.

— Ты где-нибудь поранил себя? — спросила она в испуге.— Говори, что с тобой случилось, не то допрошу *monsieur* Сурмина; надеюсь, на первый день нашего знакомства он не решится покривить передо мной душой.

— Боже сохрани,— сказал молодой человек,— когда-нибудь провиниться перед вами в таком тяжком проступке; да я думаю, и сам Михаил Аполлоныч признается, что он, сходя от Швабе, оступился и, упавши, ушибся о ступеньку. Можете судить, как рана была легка по следам, которые она оставила.

— Могла бы иметь более опасные последствия, если б не этот милый человек. Он поднял меня вовремя, отвел в магазине, где мне тотчас приложили примочку, и был так добр, так обязателен, что не хотел отпустить меня одного домой. Родной сын не мог бы для меня больше сделать.

Ранеев с первого раза полюбит Сурмина и, рассыпаясь в благодарностях ему, видимо старался увеличить его одолжение и тем задобрить свою дочь в его пользу.

Лиза, веря и не веря показаниям молодого человека, в раздумье покачала головой, потом, протянув ему ру-

ку, наградила его таким взглядом, за который он готов был для нее в огонь и в воду.

— Вот негодный папашка и наказан за то, что не взял меня с собой. Ведь он у меня такой рассеянный, без меня, того и гляди, напроказничает, как дитя. Нет, говорит, время прекрасное, обещал только пройтись по дорожкам Пресненского сада, а очутился Бог знает где.

— Хотел сделать тебе сюрприз очками.

— Сдалась я, между тем сердце предвещало мне что-то недоброе. Няня сказывала мне, что он и молодой был рассеян, да тогда глядел за ним глаз позорче моего, водила его рука понадежнее моей.

— Ее давно уж нет,— сказал грустным голосом старик, и слезы навернулись на глазах его.— Кабы вы знали, какая это была женщина! Но такие создания, видно, нужны там, на небе. Посмотрите-ка на этот портрет (он указал на портрет молодой, красивой женщины). Это портрет моей покойной жены. Какой благодатью дышет ее лицо, какие лучи ангельской доброты льются из глаз ее! Святая женщина! Выродок из польской семьи!

— Скажите лучше, папаша, из белорусской.

— Ну, недалеко ушли друг от друга,— перебил старик, махнув рукой.

— Не имею нужды угадывать, чей портрет подле портрета вашей супруги,— оригинал здесь на лицо,— сказал Сурмин, желая отвести старика от разговора о национальности, который, как он догадывался, мог быть неприятен Лизе по фамильным отношениям, слегка высказанным отцом и дочерью.— Я сам немного живописец и хотел бы разобрать художнически, подробно, в чем верно выполнен артистом — солнцем, в чем не удался по милости фотографа, но боюсь, чтобы не почли меня льстецом. Вижу Лизавету Михайловну в первый раз и, не знаю почему, догадываюсь, что она не может любить лести.

— Вы угадали. Скорее готова выслушать горькую даже неприятную истину, нежели лесть: я всегда подзреваю в ней какое-то двоедушие. Предупреждаю вас, я люблю противоречие, люблю и тех, кто со мною

спорит. В жизни, в природе все спор. Что ж за победа без борьбы!

— Послушать ее,— промолвил Ранеев,— уж такая спорщица, что Боже упаси!

«Ох! это не дитя,— подумал Сурмин,— не знаю еще, что ты в самом деле такое, знаю только, что искусительно-хороша и должна быть не глупа. погоди, испытаю, крепки ли латы твоего самолюбия».

— Кстати, я и сам большой спорщик; постараюсь при первом же случае угодить вам,— сказал он.— Теперь позвольте спросить, кто этот юноша в юнкерском мундире?

— Это сын мой,— отвечал Ранеев.— Не правда ли, он похож на мать свою. Тот же прекрасный очерк лица, такой же блондин, с такими же ясными, голубыми глазами.

— Как две капли воды похож,— заметил молодой человек,— только у него в глазах больше энергии, больше мужественной силы, у нее больше душевной мягкости, удел слабого пола. Правда, у большей части кровных русских женщин характер ярче выражается: какая-то апатичность, полное расслабление, сонливость души.

Старик, угадав желание Сурмина поспорить во что бы ни стало, лукаво улыбнулся и одобрительно кивнул ему, как будто подстрекая его на состязание с дочерью.

— Апатичность? полное расслабление, сонливость души? бедная русская женщина,— с жаром перебила Лиза, и брови ее гневно сдвинулись, но она сейчас превозмогла себя и продолжала ровным голосом.— Кто ж старался сделать ее такой? Не вы ли сами? Сначала вы наших пробабушек держали в заключении в термах, потом сняли с нас кокошники и сарафаны, напудрили нас, одели в роброны, выпустили как марионеток в асамлеи; выучили попугайствовать на французском языке. И теперь воспитывают нас только для выставки. Но при всем этом Провидение задает русской женщине высокую, благородную цель — неужели вы думаете, она не сумеет самоотверженно выполнить эту задачу.

Энергическая выходка Лизы дала повод к оживленному, горячему разговору о русских женщинах. Сур-

мин перебрал их по разрядам. Более всех досталось от него московским *барышням*, которых тип будто бы принадлежит особенно Белокаменной. Казалось, он, по каким-нибудь особенным причинам, был ожесточен против них.

— Вся жизнь их,— говорил он,— проходит в кружении головы и сердца, в стрекозливом прыгании. Весь разговор их заключается в каком-то щебетанье, в болтовне о модных тряпках, о гуляньях и балах. Живу я несколько месяцев в Москве, живал в ней и прежде, и должен признаться, ныне в первый раз слышу от русской светской девушки твердую, одушевленную, завлекающую речь.

— Напомню вам наше условие не льстить мне,— оговорила Лиза.

— Простите, неволью сорвалось с сердца и языка.

— Дальше вашу филиппику.

— Они считают за стыд говорить на родном языке. У какого народа кроме *российского* это бывает?

— Зачем же сваливать этот грех на одних, так называемых вами, московских барышень? Кто пример подает? Не Петербург ли? Не тамошние ли девицы и дамы, особенно высшего полета? Не забудьте, *c'est du nord que nous vient la lumière*.

— С этой *lumière* много и чаду разнеслось. Впрочем, вы правы: попугайство, о котором говорим, принадлежит вообще русским светским женщинам в Петербурге, в Москве, в провинции.

— Да разве и наш брат не повинен в этом грехе? — вмешал тут свою речь Ранеев,— я с Лизой был на днях на одной художественной выставке. Тут же был и русский князь, окруженный подчиненными ему сателитами. Вообразите, во все время, как мы за ним следили, он не проронил ни одного русского слова и даже, увлекаясь галломанией, обращался по-французски к одному художнику, который ни слова не понимал на этом языке. Продолжайте же ваш список.

— Кстати, включаю в него и таких, которые, побывав на чужбине, возвращаются из нее на родину, как на чужбину. Ездят в чужие края англичанки, кведки и *tutti quanti*, но везде, где бы они ни были, остаются ан-

гличанками, шведками и прочими возвращаются такими в свое отечество. Одни русские дамы стыдятся быть русскими, разве захотят пощеголять перед иностранцами своим широким, безумным мотовством.

— К сожалению, правда,— сказала Лиза.

— Куда же тут до подвигов!

— Кончили вы, злой человек?

— Можно бы продлить список, да он и без того длинен. Вы видите, я положил на свои портреты черной краски, не жалея их.

— Да, порядочно погуляли вы на счет русских женщин. Позвольте, однако ж, вам сказать: вы судите об них верхоглядно. Проникните в тайники семейств и, конечно, найдете высокие, энергические личности. Жалко очень, что вы их не встречали. Не партия же мы в семье народов.

— Желал бы очень встретить такую личность.

— Из близких мне я могла бы указать вам на одну, если бы она была в Москве. Ты догадаешься, папаша, о ком я говорю.

— Конечно, о Зарницыной,— отозвался Ранеев.— Немного с экзальтацией; да, признаться, это наш фамильный грех.

— Дай Бог нам побольше благородного увлечения, в нем то мы и нуждаемся,— заметил Сурмин.

— Надо сказать,— продолжал старик,— Зарницына по силе характера, по патриотизму— феномен между женщинами. Да и то замечу: Господь одарив ее душевною энергией, наградил ее и телесной. Встает она в шесть часов утра, то она на коне, то пешая, в лесу, в слякоти, в жаре, везде, где, нужны ее глаза, ее заботы. Ездить верхом, как амазонка, при мне в 30 шагах из пистолета пулей срезала воробья с георгина. А какая бесстрашная! Кажется, пошла бы на медведя, если бы ей попался на глаза. Впрочем, эта необыкновенная женщина должна быть исключена из примера.

— Извините, я не поклонник таких специальных женщин. Думаю, и чувства ее должны быть жестокие, суровые.

— Напротив,— сказала Лиза,— я не знаю женщи-

ны, более нежной в своих привязанностях. Как она ухаживает за больными в своем околке, помогает бедным, горячо любит мужа, любит детей, хотя сама не имеет их.

— Лиза ничего не преувеличивает, а могла бы быть пристрастна. Она осталась на восьмом году после смерти матери и десяти перешла на попечение дамы, о которой говорим. Зарницына теперь далеко. Кончив свои занятия по сельскому хозяйству, она поехала к мужу в одну из белорусских губерний, где он командует полком. А не то я познакомил бы вас с ней.

— Желал бы увидеть эту диковинную женщину. Впрочем, как вы сказали, она должна быть выключена из примера.

Разговор обратился на воспитание женщин, на русскую литературу. Лиза тут высказала много наблюдательного ума, много верных взглядов.

— Чтобы кончить наш спор,— сказал Ранеев,— как медиатор ваш, позволю себе порешить его так: вы оба вложили в него большую долю правды. Но чтобы толковать основательно о нашем обществе, о воспитании женщин, мало простого разговора, надо написать целый том. Да и пишут об них целые трактаты. Добрый знак. Покуда дела от них только коммуны да стриженные в кружок волосы; Бог даст примемся и за разумное воспитание, как его понимает здоровая англосаксонская раса в Европе и в Америке.

— В самом деле я заболталась,— сказала Лиза.— Пожалуй, наш гость в первый день нашего знакомства сочтет меня моралисткой, резонеркой, педанткой, чем-нибудь вроде синего чулка. Жаль, что я на этот случай не надела папашиных очков, были бы мне кстати.

— Мы говорили о сыне,— начал опять Ранеев,— а я так полюбил Андрея Иваныча, что желал бы познакомиться его со всеми членами моего семейства. Этот юноша (Ранеев показал на портрет юнкера), который безвинно подал вам повод к спору, только что перешел было блистательно в третий курс здешнего университета, но, услышав о смутах в Царстве Польском, разгорелся желанием поступить в военную службу. Нечего было делать, отпустил с моим благословением. Теперь

он юнкером в одном из пехотных полков, расположенных около Варшавы. Володе только 20 лет... среди народа коварного, вышколенного иезуитами, враждебного нам... Знаю я их хорошо. Побывал порядком в их руках. Надо вам сказать, по несчастному случаю, в революцию 30 года я попался к ним в плен. Чего не натерпелся! Купался я после того и в чернильном омуте, не знаю, что лучше. Как-нибудь расскажу вам о моих похождениях. Вот этот (Ранеев указал на портрет офицера в мундире семеновского полка) отец мой, пал с честью на Бородинском поле. Благословенна буди его память.

Ранеев благоговейно перекрестился.

— А этот (он указал на портрет рыцаря в панцире) — отец моей жены. Панцирный боярин. Вы, конечно, не знаете, что это за звание?

— В первый раз слышу.

— Надо вам сказать, во времена сивки-бурки, вещей каурки, это были пограничные стражники близ рубежа Литвы с Россией. Они должны были охранять границы от нечаянного вторжения неприятеля, в военное же время быть в полной готовности к походу. За то пользовались большими участками земли, не платили податей, освобождались от других повинностей. Бывали ли они в деле, нюхали ли порох, это покрыто мраком неизвестности. Позднее панцирные бояре составляли почетную стражу польских крулей, когда они выезжали на границы своих коронных земель. Встретить и проводить неяснейшего, вот в чем состояла вся их служба — не тяжелая и не опасная. За этот парад пан-круль одевал свою почетную стражу дукатами, собиравшими с жидов и голодных крестьян, имевших счастье обитать на его коронных землях. Некоторые панцирные бояре получали в награду и шляхетство. Как не горевать о такой благодатной доле! Но эти времена давным-давно прошли, сделались мифом. Теперь панцирные бояре только именем существуют еще кое-где в западных губерниях. Они сошли со своей почетной сцены в ряды государственных крестьян и мещан, и с богатых коней пересели на клячи. Редкие из них

удержали за собой шляхетство *. Но гонор их еще не угас, в сундуках у некоторых хранятся еще панцири. Как евреи ожидают своего Мессию, так и они ждут, что серебряная труба созовет их на встречу пану крулю, брошенному с неба. Вот и этот из числа их (Ранеев гневно взглянул на портрет рыцаря в панцире). Я давно выкинул бы его из окна, если бы не удерживала меня мысль, что оскорблю и прогневаю там, на небе, мою дорогую Агнесу. Суровый, жестокий старик. Он был перед ней так виноват, а она все-таки его любила и, умирая, завещала мне простить его и стараться помириться с ним. Я было простил, искал мира, но...

Ранеев угрюмо махнул рукой и задумался.

— Вы забыли сказать, как провожали Володю в дальний путь,— проговорила нежным, любящим голосом Лиза, желая отвлечь отца от неприятных воспоминаний и пользуясь его рассеянностью.

— Да, да,— сказал Ранеев, вызванный из забытья этим голосом,— отправляя его на службу, я съездил с ним в Бородино. Вот из этого окна вы видите дорогу к нему, за Даргомиловской заставой.

Старик привстал, указал из окна по направлению своей руки и прибавил с особенным одушевлением:

— Бородино! это Пантеон народной славы, усыпальница героев, какой не имеет ни одна держава кроме русской. Строй они там себе аустерлицкие мосты, сооружай севастопольские бульвары, а не бывать у них нерукотворенного памятника, подобного Бородинскому полю. Провожая Володю на службу, я повез его туда. Солнце как нарочно сияло во всем своем блеске на

* В Витебской губернии в 1852 году считалось, так сказать, привилегированных панцирных бояр: в Витебском уезде 45 душ обоего пола, в Рыжичком 32 души, по ведомству же государственных имуществ, панцирных бояр, записанных в податное состояние, в имениях:

Непоротовском, Себежского уезда	муж.	2505	женск.	2509
Езрийском	»	1117	»	1128
Семизском, Городецкого уезда	»	607	»	609
Гультьяевском, Невельского уезда	»	1179	»	1782

Всего муж. 5408 женск. 6028

голубом небе. Мы обнажили головы и со слезами горячо молились. А молились мы, чтобы русское сердце всегда так билось любовью к отечеству, как оно билось в этот день у ста слишком тысяч наших воинов. Укажите между ними хоть на одного изменника; даже этого имени не знали тогда у нас.— А писем нет, как нет, Лиза? — сказал грустным голосом Ранеев немного погодя.

— Нет, папаша.

— Юноша писал ко мне аккуратно каждую неделю, а ныне что-то изменил.

— Военный,— заметил Сурмин,— все равно, что кочевник, сегодня разбивает здесь свою палатку, если она у него есть, а дня через два, глядишь, очутился за сто верст.

— Да и почти в наше смутное время, особенно из тех мест, где почтмейстеры поляки, изменнически неисправны. Но это еще не беда, лишь бы хранил Господь. А приходил к нам кто-нибудь, Лиза?

— Был кузен Владислав,— отвечала она несколько дрожащим голосом, видимо, смутившись, но стараясь скрыть свое смущение; — я увидала его из окна и велела няне сказать ему, что никого нет дома.

— И хорошо сделала, дружок. Вот видите,— продолжал Ранеев, обратясь к гостю,— это Стабровский, дальний родственник моей покойницы. Неглупый молодой человек, добрый, благородный. Мы его очень любили. Казалось, так всегда предан России. И было за что. Родился на русской земле, воспитывался на казенный счет в русской гимназии, кончил курс в русском университете, состоит на русской службе, идет по прекрасной дороге... Но с некоторого времени прогневался на Россию, стал частенько завираться о какой-то польской национальности в западных губерниях. Пospорил я с ним едва не до ссоры. Думал, не придет больше,— он нейметя. Но заикнись он со своими фанабериями в другой раз, так мы навсегда с ним простимся.

Лиза сидела в это время, опустив длинные ресницы на глаза, как будто желая скрыть, что у нее происходи-

ло в душе, сожаление ли к родственнику, или участие более нежное.

— Ага! — подумал Сурмин, — осеклась наша героиня! Неужели она любит этого полячка? Жаль, личность интересная, надо бы оставить ее за русскими.

Ударили в звонок. Лиза посмотрела в окно, вскричала:

— Почтальон! — и опрометью бросилась в сени.

— Дай Бог, чтобы от Володи, — сказал старик, крепясь.

Лиза принесла письмо, оно действительно было от Володи. От радости Ранеев приказал дать почтальону гривенник.

Сурмин спешил распроститься со своими новыми знакомыми, для которых в эти минуты гость не в пору был хуже гатарина.

— Вы, друг мой, можете быть, спасли мне нынче жизнь, — сказал старик, пожимая ему крепко руку, — оживили своей беседой наше пустынное житье, да еще вдобавок будто с собой принесли весточку от сына. День этот записан у меня в сердце. Во всякое время вы наш дорогой гость.

Лиза дружески подала ему руку, промолвив задушевым голосом:

— Если резонерка не наскучила вам своей болтовней, приходите опять поспорить с ней.

Выходя из дому, Сурмин посмотрел на свои часы.

— Слишком два часа просидел я у них и не видал, как пролетели, — говорил он сам с собою. — Чудные бывают дни в нашей жизни, — продолжал он свой монолог, направляя шаги на извозчичью биржу под Новинским. — Приходят ли они, как глупые облака, нанесенные над нашею головой таким же бессмысленным направлением воздуха, или посылаются рукой Провидения, — знает один Бог. Надо же было мне выйти на Кузнецкий мост для покупки себе барометра и встретить у окон Дациаро того странного, но прекрасного, добродушного старика, которому семейство наше было некогда так обязано. Надо было встретиться ему при выходе от Швабе с каким-то врагом, злодеем, упасть

и ушибиться, а мне отвезти его домой и увидеть его дочь. Чудный старик-дитя! Жизнь его так загадочна, несчастье такое таинственное и ужасное!.. Мещанин, коллежский советник обокрал казну, обокрал его, убил жену... Старик откровенен до простодушия, полюбил меня и когда-нибудь расскажет мне свою грустную повесть. Превосходительство! Занимал видное место, мог нажить себе состояние, как это многие делают, и между тем беден, и дочь, как она сама мне говорила, дает уроки по домам!.. Вот вам и честность!.. Родятся же такие чудачки!.. Одни называют их уродами, другие глупцами, я глубоко уважаю их. Русское семейство именем и любовью к отечеству, и какая смесь разнородных стихий втекла в него! Жена и отец ее, какой-то панцирный боярин, поляки, и этот кузен Владислав, при имени которого она смутилась... Кажется, такая строгая на словах, с энергичным характером, жаждет подвигов... Да полно, так ли велики эти силы, как высказывает? Не мираж ли? Говорить благоразумно, одушевленно, а между тем заведись червяк в сердце, так запоет другое... может быть, и завелся. Странно, я узнал ее только ныне, а она уж околдовала меня, я засиделся у них, заслушался ее. Очаровательно хороша! Какой дивный профиль! какие глаза! Умна и с огоньком! Уж, конечно, не имею права ревновать ее, это безумно, между тем как будто инстинктом ревную к этому Владиславу, которого и в глаза не видал. Чтобы ни было, узнаю их покороче, узнаю его, и тогда что Бог даст!.. По крайней мере, как сказал старик, и у меня этот день записан в сердце.

История прошедшей жизни Сурмина коротка и проста, не представляет особенно интересных эпизодов, выходящих из ряда обыденной жизни. Родился он от приреченского зажиточного дворянина, чело- века образованного, хорошего семьянина, хозяина-домоседа. Он редко и то на самое короткое время выезжал из своей деревни в одну из столиц, жил на широкую руку. До двенадцати лет Андрюша был один сын у родителей, позднее Бог дал ему двух сестер-двойников. До появления же их в свете вся любовь ма-

тери и отца сосредоточивалась безраздельно на нем одном. Мать его, дочь довольно известного русского литератора двадцатых годов, в первые годы его детства сама учила его всему, чему училась в одном петербургском институте, из которого вышла с шифром, и, что всего важнее, умела внушить ему любовь к добру, правде и чести. Примером ему была жизнь отца и матери. После русского дядьки у мальчика не было гувернеров, гувернером ему был сам отец, оставшийся более другим его, чем руководителем, до последних дней своих. Дитя, потом юноша поверял ему и матери своей все свои проступки и даже увлечения. По смерти отца эта дружеская доверенность перешла нераздельно в наследство к матери. Когда Андриюше минуло 13 лет, его повезли в Петербург. С того времени Сурмины оставались там постоянно целые годы кроме кратковременных экскурсий в деревню для проверки хозяйства. В Петербурге ходили к мальчику дельные учителя. В пособие к этому преподаванию отец его, имевший богатую библиотеку, познакомил его с сокровищами новой литературы в подлиннике и древней в лучших немецких и французских переводах. Таким образом Андриюша, одаренный от природы хорошо устроенной головой и с живой восприимчивостью всего, что ему преподавали, приготовился к поступлению в высшее учебное заведение, именно в лицей, так как предназначали его в гражданскую службу. Однако ж, вместо лицея он попал в школу гвардейских юнкеров, по убеждению начальника школы, друга отца его, обещавшего иметь об нем попечение, как о собственном сыне. Во время пребывания его там он потерял отца и горько его оплакал. Кончив курс в школе юнкеров, молодой человек поступил на службу в кавалергардский полк. Это сделано было уже по настоянию и покровительству его крестной матери, дамы высшего аристократического круга, уверявшей Сурмину, что, еще держа новорожденного у купели на руках своих, она обрекла его в кавалергарды. Мать согласилась, но объявила сыну, чтобы он не покидал своих любимых занятий и готовился со временем к более деловому служению в генеральном штабе. Когда Сурмин в первый раз явился к своей крестной

матери в полной форме кавалергарда, она не могла довольно налюбоваться им. От нее он выехал на тысячном коне, ею подаренном. В полку он строго исполнял свои служебные обязанности и в кругу офицерском слыл за прекрасного, благородного товарища. Не позволял он себе задорных речей, в деле чести был строг к себе и к другим. В карты не играл, не любил буйных оргий, но не отказывался в своем кругу от лишнего бокала шампанского. В женском кругу он имел несколько счастливых, хотя и мимолетных, побед, без всяких серьезных увлечений; в маскарадах красивого, стройного кавалергарда любили интриговать и дамы высшего полета, и актрисы, и знаменитые камелии. С одними он очень умно любезничал, другим позволял похитить себя на несколько упоительных часов, смеясь в бороду богатым старичкам, безрасчетно сыпавшим на своих любовниц золотом, благо и неблагоприобретенным.

Мы видели, что он приезжал с матерью в Поречье, когда по случаю семейных обстоятельств и по милости опекуна, родного брата отца его, имение их едва не было продано с молотка. Как оказались долги на имении их и как увлечены были Сурмины в эти трудные обстоятельства, мы, может статься, будем иметь случай говорить при встрече этого брата на перепутье нашего романа. Пробыв на службе в кавалергардах узаконенное число лет, он перешел в генеральный штаб. За несколько времени до того умерла его крестная мать, завещав ему свой миниатюрный портрет, писанный во время ее счастливой молодости. В генеральном штабе он оставался не больше пяти лет, призванный в деревню любовным голосом матери заняться хозяйственными делами, с которыми она, по слабости здоровья, не могла больше совладать.

Одним из самых пламенных желаний ее было, чтобы сын ее женился, хотя бы выбор его пал на бедную девушку; но выбор этот не представлялся.

Сурмин, приехав в Москву по одному тяжebному делу, затейному вновь его сутяжным дядей, имел случай бывать в разных кружках московского общества; здесь маменьки и дочери искусно и неискусно пускались на ловлю богатого женишка, но он не поддавался их

маневрам; сердце его оставалось свободным. Не чувство нежное вынес он из этих кружков, а злую сатиру на них, он же по природе был склонен к ней.

III

В Москве, также как и в Петербурге, есть и роятся дома, которых владельцы, желая избавиться от хлопотливых сношений со многими постояльцами, отдают квартиры целыми отделениями одному наемщику, а этот, уже по своему усмотрению и расчетам, разбивает их на несколько номеров. Ставятся в них разнокалберная мебель, купленная на Сухаревском или Смоленском рынках, и с того времени они из рядовых квартир возводятся в чин меблированных комнат и даже в *chambres garnies*. Между тем некоторые из них можно бы приличнее назвать *chambres dégarnies*,— так выцвели и закоптили на них обои, облупились под когтями времени двери, полы и окна, так бедны они предметами сидения, лежания и хранения вещей, необходимых жильцу. Правда, некоторые, из этих жильцов могут сказать с гордостью римлянина, что они все свое имущество носят с собою. Случается, что по истечении контрактного срока хозяин дома, довольный наемщиком отделения за аккуратный платеж условных денег и добропорядочным поведением его постояльцев, решается обновить отделение на прежних или новых условиях. Для этой операции пользуются благодатными летними месяцами, когда жители Москвы, кто может по средствам своим, спешат, как говорится в витиеватом слоге, броситься из душной Белокаменной в объятия природы. Тогда отделение большею частью опустеет, все птенцы его повывлетают из постоянных гнезд своих и свивают временные по окрестностям. Дачи столько раз и так эффектно описаны нашими фельетонистами-повествователями, что я избавляюсь от нового описания их. При наступающем обновлении меблированных комнат разве не покидает свою каморку какой-нибудь бедняк студент, которому не выпал счастливый жребий

ехать на вакационное время к помещику — обучать всякой премудрости его детище, и осталось переноситься одними грустными думами в отдаленные родные края,

Где тыква и арбуз на солнце зреют.

Да и тут, если угол его понадобился для окраски и оклейки, его заставляют переключаться в другой, обновленный номер, где он имеет удовольствие не только считать галок на крышах соседних домов и любоваться, смотря по погоде, голубыми или серыми клочками неба, но и обонять до одурения зловоние свежей масляной краски.

В одном из домов на Арбатской улице содержала подобное отделение, комнат в двадцать, Гертруда Казимировна Шустерваген, вдова, по происхождению шляхтянка, по родине полька, по замужеству немка, лет 45. На линиях уже отцветшего лица ее можно было выследить, что она была некогда очень недурна. Но в настоящее время бывшая хорошенькая бабочка готова была завернуться в оболочку куколки, которою мог разве любоваться натуралист, занимающийся метаморфозами женского пола. В молодости своей, как знали самые интимные ее приятели, она была равнодушна к мужескому полу. Еще и теперь, когда беседовал с нею интересный молодой человек, в сереньких глазках ее мелькали искорки того огня, которым они прежде горели, голос ее, обыкновенно fortissime, переходил в бемольный. Но увы! эти искры падали на собеседника, не оставляя по себе следа, этот бемольный голос не производил никакой тревоги в сердце слушателя. Историю ее рассказывают следующим образом. Восемнадцати лет похитил ее офицер из дома родительского, пожил с нею несколько месяцев в нигилистическом браке и бросил ее на произвол судьбы. Наградой за прекрасные дни, с нею проведенные, были: двадцатипятирублевая кредитка с оторванным во время азартной игры номером, самовар, довольно поворчавший на своем веку, две столовые и одна чайная серебряные ложки, потерявшие от долговременного употребления свой первоначальный вес. Справедливость

требует прибавить в придачу к этому наследству одну, разрозненную с подругою, серебряную шпору, вальтрап с померкшими звездами, разного сомнительного металла галуны, из выжиги которых несомненно можно было извлечь унции две меди. Да разве присокупить к этой росписи дюжины две пустых бутылок, в которых хранилась некогда искрометная влага «благословенного Аи». Все эти предметы могли только пробудить в сердце нашей Ариадны драгоценные воспоминания об исчезнувшем Тезее и исторгнуть из глаз ее слезы при мысли, что на днях у нее не будет насущного хлеба. В таком бедственном положении она решилась было утопиться, но ее избавил от купанья и его горших последствий пан эконом господского фольварка, жадно заглядывавшийся на нее в приходском костеле, как на будущую лакомую добычу. Вслед за первым льстивым предложением Гертруда, недолго думавши, поступила к новому своему патрону. Но и этот, поживши с нею в натуральном браке года с два, потребован к отчету не в управлении фольварком, а в умении распорядиться жизнью, дарованною ему небесами. От пана эконома досталось ей наследство покрупнее и поценнее офицерского. Она поселилась в Вильне, где и ожидала, что взойдет над нею более счастливая звезда. Так и случилось. Здесь приглянулась она каретнику Шустервагену. Он любил делать все аккуратно и прочно, чему доказательством служили его оси, не боявшиеся ударов многопудового молота, и шины, которые выдерживали русские шоссейные дороги на тысячу верст, и потому предложил Гертруде Казимировне свою руку и сердце. Этот союз, вдвойне укрепленный у двух алтарей благословениями ксендза и пастора, был долговечнее связей, не освященных церковью. Супруг ее скоро переселился в Москву, разумеется, и она за ним последовала под сень златоглавого Ивана Великого. По истечении безмятежного, хотя и бездетного, 20-летнего супружества она уже законно овдовела и осталась после покойника законною обладательницей кругленького капиталца, ей аккуратно завещанного. Привыкнуть к добропорядочному хозяйству в школах кохана эконома и своего lieber'a Карла Иваныча, Гертруда

Казимировна рассудила за благо, для сохранения и даже приумножения этого капитала, завести меблированные комнаты. Она повела свое дело так хорошо, что два, три года отделение ее прозвано было, хотя и неофициально, польскою отелью, а иные, в подражание знаменитой варшавской, возвели ее в саксонскую. Постояльцы у госпожи Шустерваген были студенты, офицеры, приезжие со службы в отпуск и отставные, помещики, адвокаты, люди, ничего не делающие или делающие очень много под маскою праздности, — большею частью ее компатриоты, поляки, или так называющие себя уроженцы северо- и юго-западных губерний. Можно бы разделить их по состоянию на несколько разрядов. Иные могли назваться людьми достаточными. Эти занимали по два и даже по три комфортабельных номера, которые Гертруда Казимировна прозвала графскими, хотя ни один граф в них не останавливался. Другие из постояльцев жили без нужды, третьи перебивались из месяца в месяц на свое скудное жалованье, на стипендии и уроки. Были и такие, которые, вместо обеда или чая, в черные дни питались табачным дымом. Но и тут добрая хозяйка, заметив, что в урочный час в такой-то номер не требовали обеда, и узнав, что постоялец дома и здоров, приказывала иногда подать к нему обычные порции. За то и сиротствующие студентики называли ее своей мамашей. Бывали даже и такие добросовестные господа, которые, прожив в ее саксонской отеле несколько месяцев на мелок, утекали тайком ночью, оставив ей в полную собственность пустой, ветхий чемодан. Выезжали некоторые из таких господ и днем, запечатлев при этом случае поцелуем в ручки сохранную росписку, по которой она могла отыскивать кредитора по всем концам размашистой России или требовать уплаты на втором пришествии.

— А як я добродзея спокоила и жаловала, и як он негжечно отплатил мне за то вшистка, Пан Буг с ним!

Пробоина была сделана порядочная в корабле госпожи Шестерваген, но случилось, однако ж, что пассажиры на нем спешили поправить несчастье капитана в юбке, которого они любили за доброту, за честное и точное исполнение условных обязанностей. Они со-

ставляли складчину, покрывавшую долг беглеца. Таким образом в этой польской колонии вождь ее и колонисты обретались в ненарушимой приязни.

Один из так называемых графских номеров занимал Владислав Стабровский, хотя был в незначительном чине. Он по службе получал жалованье около тысячи рублей, да вдобавок мать его, белорусская зажиточная помещица, любившая делать все во славу своего имени, присылала ему ежегодно более тысячи, что составляло порядочную сумму, на которую бессемейный может жить комфортабельно. Его квартира состояла из двух просторных комнат, служивших одна гостиной, а другая кабинетом; в третьей с полусветом была его спальня. Прибавьте к ним переднюю с перегородкой, и вы согласитесь, что помещение это, наполненное приличной мебелью, могло удовлетворить житейские потребности молодого человека, да еще холостого. Он держал слугу, имел порядочный стол, за приготовлением которого особенно наблюдала Гертруда Казимировна, не отказывал себе в светских удовольствиях, но и не сорил деньгами. С кандидатским аттестатом, умом, деятельностью и покровительством людей с весом, он, несмотря на свою молодость, занимал место, служившее ему надежной ступенью к видному повышению. Не говорю о благородных правилах, которых он строго держался и которые в наше время полагаются иногда на весы при оценке служебных качеств. Надо прибавить, что большую долю покровительства доставил ему Ранеев, имевший еще связи с сильными мира сего.

Мы застаем Владислава Стабровского в одни из самых тревожных, роковых часов его жизни. Это был очень красивый молодой человек, лет двадцати шести. Кто не знал бы его славянского происхождения, сказал бы, что он итальянец. Тип Авзонии отпечатался на его несколько смуглом лице, в его черных глазах, горящих томительным огнем юга, в его черных, шелковистых волосах, густо ниспадающих на шею. Ничего резкого, выдающегося, ни одной ломаной линии в тонких чертах его лица; все было в нем полная гармония.

Едвига Стабровская, вдова белорусского помещи-

ка, имела двух сыновей,— старшего Владислава и меньшего Ричарда *. Оставшись после смерти мужа с небольшим состоянием, она не могла воспитывать их на свои средства. Но на помощь ей пришла матушка-Россия. Эта добродушная орлица одинаково принимает под теплые, широкие крылья свои всех птенцов, прибегающих и приползающих к ней, не разбирая— из голубиной они породы, или из ястребиной. Зато, когда ястребки оперятся, вылетят из гнезда и почувствуют, что у них есть острый клюв, они нередко, в благодарность за попечения воспитавшей их матери, стараются заклевать ее. С этой помощью Едвига отдала на казенный счет сначала первого сына в русскую гимназию, а затем второго, который был моложе его четырьмя годами, в один из кадетских корпусов. Владислав, по окончании университетского курса, пошел по гражданской службе; Ричард вышедши из корпуса,— по военной и поступил в один из гвардейских полков.

Только тогда, когда Владислав вышел из университета, мать его неожиданно получила богатое наследство. Революционные помыслы ее, некогда смиряемые скромным положением в свете, не позволявшим ей успешно действовать, при благоприятном для нее повороте колеса фортуны, развернулись во всей силе. Владислав, бывший у нее в отпуску за год до того времени, с которого мы начинаем наш рассказ, слышал от нее, что в Москве живет ее родственник в третьем или четвертом колене, Ранеев. Воспитанная и опекаемая ксендзами, она не любила ничего, что носило имя русское; но как родственник этот был превосходительный, то следуя правилам тайного польского катехизиса, задумала чрез его покровительство со временем доставить сыну место, где он мог быть полезен польской справе. Замыслы эти не были известны Владиславу, хотя она с малолетства его и впоследствии, при кратко-

* Не знаю, правильно ли я пишу его имя; в статье «Неделя беспорядков в Могилевской губернии», напечатанной в «Русском вестнике» 1864 г., оно не означено.

временных свиданиях с ним, старалась напитывать его восприимчивую, пылкую натуру любовью к польской отчизне, которую, однако ж, до поры до времени сливала с русским государством под одну державой.

Владислав, возвратясь в Москву из отпуска, отыскал Ранеевых, был ими ласково принят, как родной, и с того времени считался членом их семейства. До того родственны были их отношения, что молодые люди обращались друг с другом на ты. Лиза несколько раз заходила с отцом к нему на квартиру и хозяйничала у него за чайным столом. Полюбив их, он стал любить имя русское, русскую землю. Но позднее явились в Москве польские эмиссары и начали постепенно искушать его революционными идеями. Мы уже узнали, из рассказа Ранеева Сурмину, неосторожный отзыв его о польской национальности в Белорусском крае, и как этот отзыв нагнал черную тучу на мирные, дружеские отношения, доселе никогда с обеих сторон ненарушаемые. Если что и удерживало доселе Владислава предаться вполне коварным внушениям польской пропаганды, так это было чувство, что были надежды, охватившие вполне его душу. Увенчайся эти надежды успехом, и он, может быть, принадлежал бы всем существом своим России.

Красота Лизы не могла не сделать сильного впечатления на сердце молодого человека. Под покровом родства они сблизились. Владислав полюбил ее страстно; она показывала, что любит его, как одного из лучших, добрых друзей своих. Слово любви никогда не было произнесено между ними. Ранеева когда-то говорила своей интимной подруге:

— Если девушка сказала мужчине, что она его любит, так обручилась с ним навсегда; если ж в увлечении страсти поцеловала его, она сочеталась с ним союзом, над которым нет уже власти ни отца, ни матери, нет власти земной. Только смерть одного из них может его разорвать. Это два акта сердечного священнодействия, ими шутить нельзя.

Может быть, слова любви не смели они произнести, потому что над головами их висел дамоклов меч, кото-

рый в один миг мог рассечь их тайные надежды. Этим мечом было слово отца, хотя сказанное в простом разговоре, но твердо намеченное, что он никогда не даст своего благословения союзу дочери с польским уроженцем.

— Мне всегда будет чудиться,— говорил он,— что мой зять сделается врагом России.

Воля Ранеева была далеко не тираническая, но в этом случае непреклонная; преступить эту волю значило убить его, а спокойствие и здоровье отца было для Лизы дороже всего на свете. Правда, Владислав со своей страстной натурой не мог в минуты интимных бесед с кузиной не обнаружить хоть проблесками своих тайных чувств; но Лиза спешила погасить их или смехом, или строгим, холодным словом, которому он волей-неволей покорялся, боясь потерять и ту долю любви, приобретенную, как он догадывался и без свидетельства слов. С этой поры она держала его в строгих границах родственной дружбы. Кто в состоянии был бы заглянуть глубже в тайник ее души, увидал бы, может статься, что она совершает тяжкий подвиг. Она любила его, но не *должна* была любить,— натура страстная, но готовая на все пытки, лишь бы исполнить долг свой. В таких отношениях оставались они до того времени, когда мы знакомим с ними читателя.

Палевая полоса обозначалась уже на восточном небосклоне и все более и более разгоралась, а Владислав, заснувший только с час и разбуженный после полуночи появлением рокового для него вестника, все еще оставался в том положении, в которое он был повергнут после проводов его. Этот вестник был капитан генерального штаба Людвиг Жвирждовский. Он привез письмо от Едвиги Стабровской к сыну и обещался прийти на другой день за ответом. Владислав то сидел в глубокой задумчивости, облокотясь на стол и утопив пальцы в густые нечесанные волосы, то задремлет, одолеваемый физическим утомлением, то вдруг встрепенется, как будто кто-нибудь толкнул его. И пойдет учащенными шагами ходить по комнате. Глаза его были мутны от бессонницы и душевной тревоги. Временами делал он энергические движения рукой, вырывались

у него отрывистые слова, на которые он сам давал ответы:

— Освободить отчизну? Безумие!.. Сколько раз эти попытки сопровождались еще большими бедствиями для Польши! Все вздор!.. И какой я полководец? Что сумею я сделать в сражении? Все то же, что рядовой жолнер. И тот по своим физическим силам будет полезнее меня. Одушевлять их, когда я сам пал духом?.. Проститься навсегда с Лизой, проститься с лучшими надеждами своими! Пускай гром Божий падет на голову тех, кто затеял эту кутерьму!.. Но любит ли она меня? Когда ж говорила она мне это? Не обольщаюсь я одними приметами?.. А так завет отца... я поляк... ее не отдадут за меня... я должен, однако же, узнать... Испытаю, решусь написать ей, спрошу, и тогда посмотрю, остаться ли мне здесь и вопреки воли матери, или ей повиноваться. Не могу повиноваться. Не могу дальше вынести муки неизвестности.

Он опять сел, закрыл рукою глаза, наполненные слезами; после того, тряхнув головой, словно стряхал из нее мрачные мысли, стал перечитывать письмо, лежавшее на столе. Вот что писала мать. Чтобы избавить читателя от затруднения разбирать письма и разговоры на польском языке, буду передавать их в русском переводе.

«Любезный сын!

Хвала Пану Иезусу, Польша еще не сгнила!

Податель этого письма мой искренний, задушевный друг. Доверься ему во всем; он объяснит тебе изустно, чего я, женщина, не имею возможности передать тебе, особенно на бумаге. Могу только сказать: наступило роковое время для нашей дорогой Польши, при имени которой сердца сынов ее не переставали биться любовью и самоотвержением, несмотря, что они сто лет придавлены были медвежьей лапой. Никогда еще обстоятельства не были так благоприятны, чтобы сбросить ее. Все готово для совершения великого подвига. Воины за свободу, имя и честь нашей отчизны стекаются со всех сторон под крылья белого орла. Друзья наши не только на нашей родной земле, но и за границей — многочисленны. Франция, Англия, Италия и Швеция скоро затопят Россию своими армиями и выгонят орды ее из Европы, где варварам и еретикам не

должно быть места. Туда их, в азиатские снега, где они могут обниматься со своими четвероногими, такими же мохнатыми братьями. Внутри России готовится мятеж. Наши занимают надежные места и работают разумно, ревностно. Быдло московское, которому задали дурману золотыми грамотами, готово поднять за рога все, что попадется ему навстречу. Сами русские нам помогают. Передовые их люди, литераторы и юношество, настроенное нашими учителями,— это стадо глупых баранов, бегут на зов интеллигенции. Брат твой, бывший прапорщик в русской службе, утек из полка, и уж пулковник жонда. Брось и ты свое подьячество. Замыслы мои о твоём будущем назначении теперь не годятся. Не с пером, а с мечом должны выступить сыны Польши в ряды освободителей ее. А там кончится война,— победа будет несомненно на нашей правдивой стороне, благословляемой святейшим отцом-папой,— ты можешь бросить меч в сторону и занять важное место в польском королевстве. В России черепашьим классным шагом недалеко уйдешь. Я слышала, не скажу от кого, что тебя обворожили в семействе Ранеева, что ты влюблен в его дочку. Не смей и думать о союзе с еретичкой. Разве перевелись на нашей земле красавицы, которыми она всегда славилась? Пан Людвиг назначен могилевским воеводой. Он обещает тебе также номинацию в пулковники и начальство над витебским отрядом близ нашего имения, на границе Могилевской губернии. Друзья мои ручаются мне за две тысячи молодых, если ты будешь их вождем; как рыцари креста шли на освобождение Гроба Господня от ига мусульманского, так ты должен спешить на освобождение отчизны от ига еретиков и варваров. Приезжай не мешкая, время не терпит. Объятия матери ожидают тебя. Горжусь, что имею двух сыновей, готовых умереть за великое дело, как умирали Горации. Крепко прижимаю тебя к сердцу, пане пулковник, благословение мое над тобою, милый сынку.

Нежно любящая тебя мать *Едвиги Стабровская.*

P. S. Сожги это письмо; не кротость агнца нужна нам теперь, а мудрость змеи. Пан ксендз Антоний про-

читал его и одобрил. Он посылает тебе свое пастырское благословение. В этом письме найдешь другое на твое имя. Пишу в нем, что отчаянно больна. Ты предъявишь его своему начальству, чтобы дали тебе скорее законный отпуск. Из деревни, осмотревшись и приготовив все, ты можешь для формы подать в отставку или поступить, как брат, то есть разом разрубить все связи свои с московской татарией».

Когда Владислав прочел во второй раз письмо, в груди его подняли борьбу разнородные чувства: повинование и любовь к матери, благо отчизны, хотя и неверное, благодарность России, его усыновившей, так много для него сделавшей, и любовь к Лизе. Это чувство пересилило остальные, и он решился писать к ней:

«Милый, бесценный друг Лиза! Воля твоя была никогда не говорит тебе о любви моей. Слишком полгода исполнял я ее, как священный обет, данный Богу. Слово твое, твой взгляд были для меня законом. Но теперь наступил для меня роковой час. Мне предстоит один выбор: счастье всей моей будущности, или моя гибель. Жребий мой в твоих руках. Я должен сломить печать, наложенную тобою на мои уста. С первой минуты как я увидал тебя, я полюбил тебя тою силою страсти, которая может только погаснуть с жизнью, полюбил тебя более всего, что для меня дорого и свято в мире. Ты была для меня не только любимая женщина, была божество, которому я поклонялся. Не скажу тебе ничего более потому, что нет слов ни на каком земном языке, чтобы выразить тебе, что чувствует мое сердце.

Вчера я получил письмо от матери; она зовет меня к себе. Не скрою от тебя, что она делает меня орудием политических замыслов. Но скажи мне, что ты меня любишь, поклянись, что не отдашь сердца своего и руки никому кроме меня, и я преступлю волю матери, буду глух к зову моего отечества, моих братий и останусь здесь, счастливым надеждой, что ты увенчаешь когда-нибудь мою любовь у алтаря Господня. Буду ждать месяцы, годы. Не скажешь этого, и я уезжаю отсюда с растерзанным сердцем, покорный воле матери, на роди-

ну, где меня ожидает смерть или на поле битвы, или в петле русской. Жизнь без тебя мне более не нужна. С последним дыханием моим, последнее слово мое будет дорогое твое имя.

Твой *Вл. Стабр.*

— Кирилл! — закричал он, — запечатав письмо.

Слуга, храпевший за перегородкою, встрепенулся, как ретивый конь на зов бранной трубы, вскочил со своего ложа и явился перед лицом своего господина. Это был человек лет сорока, небольшого роста, неуклюжий, с простоватой физиономией, с приплюснутым несколько носом, с глазами, ничего не говорящими. Он не успел второпях обвязать шею платком и застегнуть сюртук, мохнатая грудь его была открыта.

— Эх! пане, встали с кочетами, — сказал он с сердцем, перемешивая русские слова с польскими и белорусскими; так как жизнь его прошла сквозь строй трех народностей и ни на одной не установилась, то и в речи его была подобная смесь.

— Сами не спали, да и мне не дали порядком отдохнуть, после того охфицера, чтоб ему стали диавлы на дроги. Ходит украдкой по ночам, як злодей.

— Ну, не сердись, сослужи мне службу. Ты знаешь, где живет генерал Ранев? —

— На Прысни-пруде.

— Оденься, отнеси это письмо к паненьке Елизавете, передай ей осторожнее через няньку, чтобы не видал отец. Если она не вставала, это узнаешь по гардинам, задернутым в ее спальне — первое окно от ворот, — так покарауль на берегу пруда у ограды и дождись, когда гардины поднимут.

Кирилл был из числа тех белорусских слуг, соединяющих с простоватой, несколько грубой речью безграничную преданность и верность господам своим, если господа только мало-мальски обращаются с ними по-человечески. Тем более был он предан доброду, невзыскательному Владиславу. Для него Кирилл готов был хоть на пытку. Если б его пилили, чтобы он открыл тайну своего господина, верный слуга не проговорился бы. Он не знал, что такое праздность, и сидеть без де-

ла, скрестив руки, считал за великий грех. Когда ему нечего было делать по окончании обыденной барской службы, он то вязал чулок, то по доброй воле утюжил панские рубахи, как самая искусная прачка, то шил себе сапоги. Нужно ли было угодить женской прислуге в гостинице, без всяких видов на вознаграждение, даже сердечное, он шивал ей женские башмаки.

— На отдых,— говорил он,— Пан Буг дал человеку ночь. Задернет полог у неба — и все создание закрывает глаза, отдернет занавеску небесную — и засветит солнышко, человеку треба работать в поте лица. Не в черед другим дням воскресенье: шесть дней делай, седьмой Господу Богу.

И в этот день читал он молитвы по засаленному молитвеннику: «Krótkie zebranie różnego nabożeństwa». По временам слышалось за перегородкой: «Boże, bądź miłościw mnie grzesznemu człowiekowi». Чтение это сопровождалось по временам глубокими вздохами.

Кирилл покачал головой и пробормотал что-то сквозь зубы, на что господином его не было обращено внимания, пошел увальнем за свою перегородку, надел чистую манишку, белый галстук, белый жилет и остальной костюм по праздничному, как бы шел в костел.

— Заприте, барин, за мною дверь; я иду.

В ожидании его Владислав стал опять неистово ходить по комнате, думая усиленными движениями уговорить сердечную тревогу. Ожидания вестника были мучительны, минуты казались ему часами. Наконец послышался звонок; он отпер дверь; Кирилл подал ему письмо от паненьки Елизабеты.

Дрожащими руками распечатал его молодой человек. Холодом повеяло на него при чтении первых строк, далее и далее гнев и досада выступили на его лице. Вот ответ Лизы:

«Любезный кузен! Я никогда не имела тайн от отца, но на этот раз нарушаю свои правила. Чтение твоего письма, особенно после твоих безрассудных выходов о польской национальности, письма наполненного страстными выражениями, которых ты мне никогда не говорил, раздражило бы его и, может быть, сократило

бы его жизнь,— а ты знаешь, что он мне дороже всего на свете. В другое время я не отвечала бы тебе. Но я вижу, что ты находишься в каком-то болезненном, раздражительном состоянии, что письмо твоей матери тебя взволновало, и я решила ответить.

Тебя влекут на дело страшное, роковое, изменническое, как я догадываюсь. Не ставлю себя судьей в этом деле; не мне, а твоему разуму, твоему честному, благородному сердцу решить его. Моя обязанность покоряться отцу, которого я обожаю, а воля его тебе известна. Безрассудный! Зная все это, чего ты от меня требуешь? Чтобы я сказала тебе слово, после которого нет уже никакой родительской, никакой земной власти! И какое время выбрал ты для этого? Когда разгорается польская революция, когда в Варшаве стреляют в царских наместников. Может быть, родной брат твой в этот миг заносит меч над головой моего брата! Я не могу скрыть от тебя, вчера отец мой получил известие, что Ричар Стабровский бежал из П. полка. И в это самое время я поклянусь носить когда-нибудь опозоренное теперь имя?.. Что ж могу я после этого сказать тебе? Только одно: я любила и люблю тебя как брата, как одного из лучших друзей моих останусь любящею сестрой твоей, другом, пока ты сам не последуешь изменническому примеру Ричарда. Ты волен располагать своею судьбою, как тебе угодно; я не вяжу ни тебя, ни себя никаким обетом, никаким словом. У тебя есть мать, которой ты должен покоряться, как я покорна отцу моему. Но знай, что враг России есть его и мой враг. Уедешь, будешь сильно грустить, что потеряла друга, и молить Бога, чтобы Он возвратил тебя на путь истинный. Только на этом пути найдешь опять

любящую тебе сестру *Лизу*.»

Тяжко дышал Владислав, читая это письмо. Он перечитал его снова, взвесил каждое выражение и нашел его слишком разумным, слишком холодным.

— Нет, она меня не любит, так не пишут любящие женщины! Участь моя решена! — сказал он и судорожно скомкал письмо в руке.

— Ты видел ее сам? — спросил он Кирилла.

— Нет,— отвечал тот,— мамка вынесла, да мувила: «Понапрасну барин твой только беспокоит себя и нашу барышню своими письмами. Он знает, что ей не бывать за поляком, вражьем сыном. Да у нее есть уж женишок, словно писаный, такой бравый, кровный русский дворянин, побогаче да почище твоего шляхтича. Не велика птица! У нас в Витебске кухарка и кучер были из шляхты».

— Ты не знаешь, как зовут этого женишка?

— Говорила, кажись, Сурмин.— Да еще беззубая проворчала: «генерал в нем души не чаает и барышне больно полюбился; почти кажинный день бывает у нас».

Эти слова подняли со дна все, что накопилось в душе Владислава.

— Счастливо оставаться,— сказал он, махнув рукой.

— Кирилл!— крикнул он таким голосом, от которого вздрогнул бы другой на месте белоруса.

Слуга стоял в нескольких шагах, а он отуманенными глазами не видел его.

— Я здесь, пане.

— Мы послезавтра едем.

Кирилл покачал головой и спокойно сказал:

— Ладно, за нами дело не станет.

В комнате был камин. Владислав шелковиной связал вместе письмо матери и письмо Лизы, зажег их и бросил в камин, да, пока они горели, с каким-то злорадством терзал коробившиеся от огня листочки каминными щипцами.

Утром, часам к одиннадцати, приехал Жвирждовский; Владислав встретил его словами: «я ваш на жизнь и на смерть» и крепко пожал ему руку. Хозяин и роковой посетитель немного говорили; все было сказано в этих словах, в этом пожатии. Людвиг спешил в разные места для вербовки других соумышленников. Сговорились завтра с задушевными друзьями приехать к Владиславу завтракать, между тем изложить план будущих действий и дать отчет в том, что уже приготовлено. Хозяину предоставлялось пригласить и своих друзей, на которых он мог положиться.

Владислав начал приготовляться к отъезду; он по-

ехал к своему начальнику, показал ему письмо матери, в котором она писала, что отчаянно больна и желает его скорее видеть и благословить. Причина для отпуски была уважительна; он получил его на два месяца с дозволением проживать в Витебской и Могилевской губерниях, сделал нужные покупки и, возвратившись домой, утомленный бессонницей, душевно измученный всем, что выстрадал в этот день, бросился в постель. Сон его был крепок, как это бывает у иного преступника перед днем казни.

В самую полночь зазвенел колокольчик; он не слышал этого звона. Кто-то стал сильно будить его; он потер себе глаза,— перед ним стоял Кирилл.

— Братец ваш приехал,— сказал слуга.

— Братец Ричард? Зачем нелегкая его принесла? Что ему надо? Что такое случилось? Еще новая беда!

Владислав только это проговорил, как у постели его появился Ричард, бросился ему на грудь и крепко обнял его. Это был молодой человек, лет 22, прапорщик гвардейского П. полка. Если б снять с его лица усики и слегка означившиеся бакенбарды, его можно было бы принять за хорошенькую девушку, костюмированную в военный мундир. И на этом-то птенце поляки сооружали колоссальные планы!*

— Безумный! Зачем ты сюда? — сказал с сердцем Владислав.— Ты бежал из полка, тебя верно ищут, тебя найдут у меня, мы пропали.

— Я хотел только тебя видеть и обнять; я остановлюсь у Волка; он укроет меня, завтра же уезжаю. Мне нужно только увидеть Жвирждовского.

Владислав одумался, встал, накинул на себя шлафрок и со слезами на глазах бросился с жаром целовать брата.

— Что бы ни было, оставайся у меня и прости мне, что я спросонья так холодно тебя принял. Только одни сутки можешь оставаться здесь, с первыми поисками бросятся ко мне, и наше дело пропало... Мы не только братья по крови, но и братья...

* Смотри статью: «Неделя беспорядков в Могилевской губернии», напечатанную в «Русском вестнике» 1864 года.

Он не договорил, позвал Кирилла и наказал ему, чтобы в доме и помину не было о приезде Ричарда.

— Добрже, пане, и без вас знаем,— отвечал с сердцем слуга.

Это «добрже» в устах его значило, что тайна барина умрет в его груди.

— Что мать? — спросил брата Владислав.

— Это героиня, какую только Польша может в наши времена производить. Если б у нее было десять сыновей, она всех бы их пожертвовала отчизне. Она ждет тебя. Ты получил уже номинацию?

— Нет еще, но завтра все решится.

Братья, передав друг другу все, что каждому знать следовало, легли спать. Ричард в спальне, Владислав в кабинете. Первый, боясь своим присутствием у брата подвергнуть его каким-нибудь неприятностям и общее их дело опасности, встал с утренней зарей и простился с ним. Кирилл, неся за беглецом чемоданчик, выпроводил его из номера и из дому. На площадке наружной лестницы спал дворник, завернувшись в дырявый полушубок и уткнув в него нос, издававший свою однообразную музыку. Они перешагнули через него и дошли благополучно до квартиры Волка, жившего недалеко.

IV

К 10 часам утра собрались заговорщики в квартире Владислава. Хозяин пригласил их в свой кабинет, как место, более других комнат огражденное от любопытства посторонних слушателей. Кабинет отделялся от коридора каменной стеной и не имел в него дверей.

Между заговорщиками были три офицера, два студента, адвокат, учитель, два белорусских помещика и других званий личности; был и миловидный, румяный ксендз, с приходом которого комната окурилась косметическими благовониями. Один из них, помещик Суздилович, с отпятившимся вперед брюшком и с татарским обликом, на котором судорожно шевелились черные усики, как у таракана,— пересчитал число своих

товарищей и заметил одному из них, что оно роковое — тринадцать. В душе своей он не верил этому мистическому числу, но ему нужна была приманка для спора. Этот господин любил вносить смуту во все собрания, где бы он ни появлялся. Тот, кому он это сообщил, просил не разглашать своего замечания другим, чтобы не встревожить суеверных. Но Суздилович не выдержал, и скоро все были посвящены в тайну великого открытия. Кто отвечал ему сердитой гримасой, кто усмешкой или пожатием плеч. Встревожился более всех пан солидных лет в колтуне *, как в войлочной шапочке.

Один из студентов объявил, что если следует исключить кого-либо из общества, так скорее всего вещь. Начался спор, крик; один голос пересиливал другой. Если б при заговорщиках было оружие, оно заблестало бы непременно. Но Владислав вскоре утишил войну, объявив, что лучше всем разойтись, чем в начале заседания из бабьего предрассудка возбуждать раздор.

Мир был водворен, и все уселись по местам вокруг большого круглого стола.

На президентском месте, отличенном от прочих нарядными креслами, сел офицер средних лет, с русыми волосами, зачесанными на одну сторону, живой вертлявый, в мундире генерального штаба, на котором красовались капитанские погоны. Он начал свою речь ровным, размеренным голосом:

— Как один главных двигателей великого дела, я должен взять с вас, панове, слово не увлекаться горячностью, даже патриотической, и не считать для себя оскорблением, если кто из ваших братьев будет противного с вами мнения. Я первый даю слово подчиниться этому уговору. Только большинство голосов решает мнение или предложение, и этому решению покоряются все безусловно.

— Позвольте прибавить, пан Жвирждовский, — сказал молодой человек приятной, благородной нару-

* Не только у крестьян белорусских случается это болезненное состояние, но и у панов тамошних.

жности, с небольшим, едва заметным шрамом на лбу, оттененном белокурыми, вьющимися волосами,— что тот, кто не согласится с решением большинства, не подвергается не только преследованию, но и осуждению.

Говоривший это был Пржшедилковский, бывший студент дерптского университета, вынесший из него с основательными знаниями и боевой знак. Во время школьной своей жизни зазорный дуэлист, он впоследствии остепенился и сделался примерным членом общества, умным, честным и дельным чиновником, нежно любящим семьянином.

— Разумеется, дав слово не выдавать тайны нынешнего собрания и того, что будет в нем говорить, — отвечал Жвирждовский.

Оговорка эта лишняя, пан, в обществе людей с истинным гонором, — отозвался с заметным неудовольствием Пржшедилковский. — Кто приглашен сюда, конечно, неспособен на роль низкого предателя; он может не соглашаться и не принимать на себя никаких обязательств, противных его убеждениям; но тайну, ему вверенную, не продаст ценою своей чести.

— Прошу у пана извинения, — спешил оговориться Жвирждовский, наклонив немного голову. — В знак мира вашу руку.

Оба подали друг другу руку, после чего пан Людвиг обратился к собранию с вопросом: согласно ли оно на предложенное условие?

— Что-то слишком рано пан Пржшедилковский забегает со своими оговорками, — заметил пузатенький господин, шевеля тараканьими усиками. — Кто не намерен принимать на себя никакой патриотической обязанности, тот напрасно пришел сюда.

— Я пригласил сюда моего друга, — перебил с твердостью Владислав Стабровский, — и никто не имеет права делать заключение, что он здесь лишний. Кто находит это заключение справедливым, исключает и меня из вашего общества. Часто совет, даже критика умного и благородного человека — важнее хвастливых, пустозвонных речей иного господина.

Пронесся было по собранию глухой ропот; но он тот-

час замолк, когда пан Людвиг Жвирждовский попросил слова.

— Собрались здесь мы куда люди свободные от всякого обязательства, кроме того, которое приносит с собою во всякое общество человек с гонором: хранить тайну, ему вверенную. Никто не имеет права налагать на кого-либо из членов наших других обязательств, пока он сам добровольно, по своим средствам и обстоятельствам, не наложит их на себя. Но, дав однажды установленную жондом клятву, он уже не свободен отступить; он уже невольник своей присяги.— Решено ли?

— Решено,— отвечали все.

— Отступника от обязательства, на себя добровольно принятого,— продолжал Жвирждовский,— да покарают люди и Бог. Пускай от него отступятся, как от прокаженного, отец, мать, братья, сестры, все кровное, церковь и отчизна проклянут его, живой не найдет крова на земле, мертвый лишится честного погребения и дикие звери разнесут по трущобам его поганный труп.

— Да будет так; прекрасно, сильно сказано,— пронеслись по собранию горячие голоса.

— Амен, братья о Христе и святейшем отце нашем, папе,— послышался медоточивый голос ксендза Б.

— Нет, этого мало,— заревел хриплым голосом Волк, вскочив со своего места и проведя широкой пятерней своей дорожку по щетинистым, черным как смоль волосам.

Дикообразная физиономия его с выдающеюся вперед челюстью так и смахивала на рыло соименного ему зверя, глаза его горели бешеным исступлением и, казалось, просили крови. Таков должен был быть вид Каина, когда он заносил на брата свою палицу.

— Этого мало,— повторил он и бросился к стене, на которой висел кинжал. Он схватил его, вынул из ножен и, засучив рукав своего сюртука до локтя, как исполнитель *des hautes oeuvres* перед совершением казни, мощною рукой воткнул оружие в стол. Гибкая сталь задрожала и жалобно завывала.

— Пой, пой так свою успокойную песнь, когда

вонжу тебя в грудь изменника,— приговаривал Волк, сверкая пылающими глазами.

— Клянитесь паном Иезусом и Маткой Божьей на рукояти кинжала, расположенной крестом.

Ксендз пропустил мимо ушей этот святотатственный призыв и только улыбнулся.

— Подождите произносить клятву, паны добродзеи, не зная еще, какие обязательства на себя принимаете,— сказал Жвирждовский.

— Так, так,— провозгласили почти все единодушно.

— Гм!— крикнул только пузатенький господин, тревожно шевелясь на своем стуле, на который он сел верхом.

Жвирждовский сурово взглянул на него начальническим взглядом, от которого тот переместил свою позицию.

— Окончив эти прелиминарные статьи,— произнес опять размеренно пан Людвиг,— я должен сделать оговорку. Хотя мне большею частью известны планы и средства нашего высшего трибунала, я обязан до времени ограничиться представлением вам моего плана в кругу моих действий, как воеводы могилевского. Опять повторяю, каждый может подвергнуть его критике, и я подчинюсь ей, если собрание найдет ваши замечания полезными для блага отчизны. Никто из вас не отвергнет, что если в начинании патриотического дела нужно страстное увлечение, то и не менее глубокая обдуманность нужна в начертании плана действий.

— Вы душой горячий патриот, по ремеслу воин, по науке великий стратегик— наш будущий Наполеон!— молвил кто-то из собрания.

— Ого-го! Как вы заставляете меня широко шагать,— отозвался могилевский воевода с самодовольной улыбкой.

— Все, что вы начертали в своей гениальной голове и потом изложили на бумаге, должны мы принять без рассуждений. На то вы воевода, а мы слуги, орудие вашей воли,— слышалась чья-то угодливая речь.

— Мы откуда здесь все равные члены,— отвечал

Жвирждовский, — дело другое на поле битвы. Ум хорош, а два лучше, как говорят москали.

— А я не мужик-москаль, — образованный пан, замечу: *Du choc des opinions jaillit la vérité*, — сказал с выдавшимся брюшком господин.

— Пан очень любит эти безвредные *шоки*, — заметил один из офицеров, — посмотрим, так ли он будет действовать, когда раздадутся *les chocs des armes*.

Стабровский пожал плечами.

— Нечего пожимать плечами, — вмешался неугомонный спорщик.

— Поневоле пожмешь, когда у нас время проходит в пустословии: дайте же говорить дело пану воеводе; этак мы никогда не покончим.

Суздилович открыл было рот, чтобы опять спорить, но сидевший подле него шепнул ему, что он воротится домой голодный, если будет продолжать спор, и тот замкнул уста.

— Соединимся же братски в патриотическом национальном гимне: «Боже цось Польске!» — воскликнул с одушевлением Жвирждовский.

— Боже цось Польске, — подхватил хор.

Когда хор замолк, оратор продолжал:

— При этом торжественном клике, раздающемся от Вислы до Днепра, от Балтийского моря до Карпатских вершин, Польша, гремя цепями своими на весь мир, облеклась в глубокий траур. Схватив в одну руку меч, в другую крест, она не наденет цветного платья, пока этими орудиями не поборет своих притеснителей. И меч и крест сделают свое дело.

— Сделают, сделают, — повторили многие голоса.

— Со всех мест, где было ее исконное господство, сзывает она около себя верных сыновей своих. Поспешайте, друзья мои, на этот призыв. Вы, может быть, спросите меня, почему мы не воспользовались гибельным положением России во время крымской кампании? На это я скажу: мы и обстоятельства не были тогда готовы. Французы, англичане, итальянцы, наши верные союзники, занимались своим делом: им было не до нас. Теперь иное время. Благоприятные обстоятельства для нас созрели. В России совершилась эмансипация; она

не удовлетворила хлопов и раздражила землевладельцев. Золотые грамоты загуляют по Волге, в местах, где были бунты Стеньки Разина и Пугачева. Все движется по направлению, данному нашими агентами. Наша интеллигенция занимает все надежные посты, из-за которых бросает свои разрушительные снаряды. В противном лагере дремлют или мечтают; мы работаем, нам помогают. Видите, время удобное.

— Берегитесь пробуждения, оно будет ужасно,— сказал Пржшедиловский,— по моему разумению — эмансипация крестьян, напротив, отвратила от России многие бедствия. Думаю, эта же эмансипация в западных и юго-западных губерниях нагонит черные тучи на дело польское и станет твердым оплотом тех, от кого они ее получили. Вина поляков в том, что паны до сих пор помышляли только о себе, а хлопы считались у них быдлом. Силен и торжествует только тот народ, где человечество получило свои законные права.

— Вот вам и тринадцатый вещей ворон,— гневно подсказал Суздилович.

— Мы дадим народу еще более широкие права,— отозвался Жвирждовский.

— Пока все это обещания, исполнение уже опоздало; надо было думать об этом прежде,— возразил Пржшедиловский.— Правда, польские уроженцы заняли надежные места по всем ведомствам и действуют искусно, чтобы везде на русской земле возбудить смуты; учение польских наставников, козни польских эмиссаров, влияние польских администраторов посеяли гибельные семена; кровавая жатва всходит...

— Нечего жалеть кровь еретиков,— воскликнул ксендз Б.

— Пора перестать нам, подавно служителям алтаря Господня, в наш просвещенный век веру христианскую, какова бы она ни была, называть еретической потому, что она не наша.

— Наконец это дерзко. Видано ли, чтобы овца учила своего пастыря! Не думаете ли вы, пан философ Пржшедиловский, перейти в эту восточную схизму, проклятую нашим святейшим отцом? Ваша супруга и дети погрязли уже в ней.

— Моя жена русская и русского исповедания; по закону и дети мои должны быть такими. Что же касается до меня, то вы лучше других знаете, пан ксендз, какому исповеданию я принадлежу, потому что бываю у вас ежегодно на духу. Не для святейшего отца я это делаю, а потому, что родился, вырос и воспитывался в вере моих отцов. В этом исповедании и умру. Но мы отступили от главного предмета наших рассуждений и потому позволю себе спросить вас, пан Жвирждовский, какое войско выставит Польша, каких вождей она даст ему, где возьмет оружие?

— Время родит вождей,— отвечал воевода.— Наше войско многочисленно и одушевлено патриотизмом, но до времени притаилось по домам. Оно выступит из земли, когда мы кликнем ему клич, и удивит мир своим появлением. Покуда оно худо вооружено, худо обмундировано; но если нужно будет, косари наши, в белых сермягах, также сумеют резать головы москалей, как они привыкли косить траву. Мы видели, что во время французской революции нестройные сброды санкюотов, босоногих воинов, побеждали регулярные армии.

— Босоножек этих водили генерал Бонапарт и полководцы, каких ныне уже нет.

— Наш главный вождь, Мерославский, хотя и не такой великий гений, но умный, храбрый воин, испытанный стратегик. Он не ударит лицом в грязь. Война, как я сказал, родит и других вождей. Что до моего воеводства, то я имею уже полковников из поляков, служивших в русских полках, надежных по своему патриотизму, уму, знанию военного дела. Ожидаю в большом числе и других из военных академий. Не стану исчислять вам имена тех, которые должны командовать отдельными отрядами. Для примера, однако, укажу вам на Ричарда Стабровского, брата нашего хозяина.

— О! на этого мы возлагаем большие надежды,— сказал один из офицеров.

— Этот далеко пойдет,— подхватили другие.

— В случае, если я буду ранен или убит, он заменит меня,— сказал Жвирждовский.

— Он заменит и Мерославского, — кричали исступленные поклонники прапорщика Ричарда Стабровского.

— Могу представить вам еще одного надежного полковника — здешнего хозяина. Ему поручается очень важный пост. Когда на всех пунктах восстания в Могилевской губернии отряды сделают свое дело, пан Владислав, пользуясь чрезвычайно лесистой и болотистой местностью, где будет до поры до времени скрываться, при появлении неприятеля вдруг выступит из этих лесов и болот и ударит во фланг его. Этот удар будет решительный. Мать пана, истинная патриотка, и друзья ее ручаются ему за две тысячи повстанцев, хорошо вооруженных, только на условии, чтобы старший сын ее командовал ими. Вы, конечно, догадываетесь, что нынешнюю революционную войну будем мы вести иначе, нежели предшествующую. Я назову ее войной партизанской, гверильсов. Мы станем действовать отдельными отрядами в наших дремучих лесах, как будто нарочно сбереженных для подобного рода действий. Здесь каждому начальнику отряда предоставлена полная свобода, и потому нам генералы Бонапарты не нужны.

Заговорщики приветствовали хозяина с важным значением. Владислав холодно принял поздравления.

— Кажется, русские начали рубить леса вдоль железных дорог, а другие, вековые, заказные и прежде двинулись из Литвы в Балтийское море, — насмешливо заметил кто-то.

— Еще будет с нас. Сражаясь на родной земле, дома, мы найдем на своей стороне важные преимущества. Каждая тропинка, каждый куст, овражек нам знакомы. Ныне ночуем настороже в непроходимом лесу, завтра пируем у брата нашего гостеприимного пана. Нырнем здесь, вынырнем за десять миль. Лазутчики, проводники, ксендзы, шляхта, пани и паненки — все помогает нам. Мы разрушаем железные дороги, перехватываем транспорты, батареи с ненадежным конвоем, опустошаем русские кассы, палим жатвы, амбары еретиков, нападаем на сонных солдат, сжигаем вместе с хатами, режем их. *Оружие доставляют нам Чарто-*

рижские и Замойские; монастыри мужские и женские будут тайными складами этого оружия; от польских комитетов в Париже и Лондоне получаем деньги.

— И от патриотов, живущих в России,— спешил словом своим дать перевести дух витии один из собрания, средних лет, довольно приятной наружности, мощно сложенный.

Это был Людвикович. Засунув руку в боковой карман фрака, он вынул оттуда пакет, раздувшийся от начинки его.

— На первый раз, пан воевода, кладу на алтарь отчизны две тысячи рублей, и если они будут благоклонно приняты...

— Еще бы!— радостно перебил Жвирждовский, принимая пакет и кладя его в боковой карман своего русского мундира.

— Завтра представлю вам еще десять тысяч и каждые четыре месяца столько же.

— Благодарю от лица всех наших братий и матки нашей, Польши,— молвил с чувством воевода, пожав в несколько приемов руку щедрого дателя.

— Виват, пан! Молодец, пан! — загремело в собрании.

— Немудрено, что пан так щедр,— ввернул тут свое замечание пузатенький господин,— он родился под счастливыми созвездиями Венеры и Меркурия: эмблемы понятны — любовь и торг. Он нашел неистощимый клад в сердце одной вдовы-купчихи, которой муж оставил огромное денежное состояние. Старушка от него без ума: что ни визит, то, думаю, тысяча.

— Все средства хороши, лишь бы достигали своей цели,— заметил ксендз,— кто рвет цветы в молодом цветнике, кто плоды в старом вертограде.

— Наши офяры по списку, который я держу, простираются уже до значительной суммы,— сказал один из членов собрания.

— Будьте осторожны с письменами,— внушил ему Жвирждовский.

— О! на этот счет можете быть спокойны; я пишу их разными гиероглифами.

— Хорошо бы было, если б вы доставили мне завтра же все собранные деньги. Спешу в Петербург для

набора рекрут-офицеров, да особенно нужно мне переговорить с Огризкой. Вот этот гений по своей профессии, самого дьябла обманет, лишь бы не наткнулся на одного человечка. Идет шибко в гору... Да найдите верную персону, которая лично будет доставлять мне приношения.

— Я беру на себя эту обязанность,— сказал один из собрания,— кстати, у меня есть дела в присутственных местах Могилевской губернии.

Воевода благодарил.

— Виват наша интеллигенция! Она ручается нам за верную победу на всех путях наших. Вот наши скромные средства вести войну, пан Пржшедилковский,— прибавил иронически воевода, обратясь к тому, в ком он видел своего антагониста.

Пржшедилковский молчал.

— Досадно больно, однако ж,— сказал Людвинович, положивший важный куш на алтарь отчизны,— что наши же братья-поляки, узнав мою тайну, обнаруживают ее нескромными речами и расстраивают мои виды на богатую вдову. Уж и в Петербурге об ней узнали и возбудили некоторые, хотя и не опасные подозрения в таком месте, куда бы они не должны проникнуть. А я так было все хорошо устроил в доме Маврушкиной. Я у нее врачом, адвокат поляк, гувернер, учителя — тоже поляки. Недавно ввел я к ней досточтимого пана ксендза Б. И вдовушка и дети без ума от его вкрадчивых речей. Еще должен прибавить, что нескромность моих компатриотов вызвала наших эмиссаров к непрерывным требованиям от меня денег. Одни пишут прислать им столько-то, другие столько. Вот и вчера получил я письмо из Петербурга о высылке 25 пар сереньких перчаток.

— Что ж из этого? Перчатки не Бог знает что стоят.

— Как будто нельзя найти серых перчаток в Петербурге! Могли бы распечатать письмо; ловкий комментатор смекнет, что не перчатки требуются, а 25 пар пятидесятирублевых серых кредиток. Слава Богу, письмо осталось в девственной оболочке, потому что было адресовано на имя одной русской паненки.

— Которая, не так как вдовушка, довольствуется

пока одною платонической любовью. Пан уже два года ведет ее к алтарю и никак не доведет до сих пор,— подхватил пузатенький господин.

— Ха, ха, ха! — засмеялся воевода. — С одной стороны, деньги, с другой — важные услуги. Bravo!

Насмеявшись вдоволь со своими собеседниками этой проделке, он продолжал прерванную речь.

— И так, мы будем вести в начале кампании войну гверильясов. Мое воеводство доставит до 30 тысяч повстанцев; расчислите по этой мерке, что дадут все губернии от Немана до Днепра, по крайней мере 200. Присовокупите к ним войска Франции, Англии, Италии и Швеции. Я получил из Парижа известие, что Мак-Магону велено поставить четвертую колонну на военную ногу. На берег Курляндии высадится десант из Швеции с оружием и войском, предводимым русскими знаменитыми эмигрантами.

— Изменники своему отечеству не могут быть надежными союзниками, — заметил Пржшедиловский.

— Мы должны пользоваться всеми средствами, какие предлагают нам обстоятельства, — возразил Жвирждовский. — Когда подают утопающему руку спасения, он не разбирает, чиста ли она или замарана. Хороши ваши правила во время идилий, а не революций. Я говорил вам до сих пор, многоуважаемые паны, о наших средствах, теперь изложу вам ход наших действий. Первыми застрельщиками в передовой нашей цепи выйдут ученики Горыгорецкого земледельческого института, основанного недогадливými москалями на свою голову в сердце Белоруссии. Студент Висковский, наименованный мною начальником места, и фигурус Дымкевич не дремлют; гнездо заговорщиков там надежно свито. Они ждут только моего пароля.

— Как бы этот фигурус и студенты не остались на одних фигурах! — сказал Пржшедиловский.

— Они выкинут такие, от которых задрожит земля русская.

— Жаль мне бедных детей, отторгнутых от науки, отторгнутых от семейств, чтобы положить неразумную свою голову в первом неравном бою; жаль мне бедных

матерей, которым придется оплакивать их раннюю утрату.

— Оплакивайте их сами, пан Пржшедиловский, если у вас слезы вода,— сказал ксендз.— Наши матери ведь польки; они сами с благословением посылают своих детей на бой с врагами отчизны и, если их сыновья падут за дело ее свободы, поют гимны благодарности Пресвятой Деве.

— Прошу внимания, паны добродзеи,— произнес особенно торжественно Жвирждовский.— Пан ксендз, которого имеем счастье видеть между нами, самоотверженно покидает свою богатую паству в Москве и переселяется в лесную глушь Рогачевского уезда, в один из беднейших костелов губернии. Там его влияние будет полезнее, нежели здесь. Он стоит целого корпуса повстанцев. Его ум, его образованность, его увлекательное красноречие привлекут к нему все наше шляхетство и народ. Паны и паненки уже без ума от одной вести, что он к ним прибудет, и заранее готовятся усыпать его путь цветами и приношениями.

— Благодарим, благодарим,— закричали голоса.

— Великий миссионер нашей свободы!

— Да будет похвален пан ксендз в сем мире и в другом.

— Да воссядет на бискупскую кафедру в польском крулевстве!

Ксендз встал, приложил руку к сердцу и, поклонившись собранию, произнес с чувством:

— Сделаю все, сыны мои, что повелевает мне отчизна и церковь наша.

— Теперь,— сказал Жвирждовский,— приступим к плану наших действий в обширных размерах. Нынешняя осень и будущая зима пройдут в приготовлениях к организации наших войск. Лучше тише, да вернее. С первым весенним лучем иноземная помощь прибывает с двух сторон — с одной чрез Галицию, с другой, как я сказал, десантом от берегов Балтийского моря. Русские войска достаточно подготовлены пропагандой и деморализованы, чтобы с прибытием союзников не желать долго упорствовать в удержании поголовно восставшей Польши. В это время Литва, в пол-

ном восстании, очищается от русских. Гвардии опасаться нечего: в рядах ее имеются друзья.*

— Не ошибитесь,— перебил оратора Пржшедиловский,— два-три офицера из поляков не составляют еще целого корпуса. Русская гвардия всегда отличалась преданностью своему государю и отечеству.

— Смешно! Сидя в своем темном уголке над канцелярскими бумагами, вы, кажется, хотите знать, что делается в политическом мире, лучше меня. Недаром возвращаюсь я в тайных и открытых высших сферах.

— Кажется, пан Пржшедиловский *est plus moscovite que les moscovites eux-mêmes*,— заметил, сардонически усмехаясь, ксендз Б.

— Замолчите же, ревностный пасынок России,— закричали голоса.

Пржшедиловский презрительно посмотрел на своих антагонистов.

— Я обстрелен пулями и ядрами,— сказал воевода,— так мне ли смущаться огнем холостых выстрелов! Кончаю. Отряды Сераковского со всех сторон подступают и берут Вильно. Относительно моего могилевского воеводства: должно сперва временно отбросить — говорю: временно — малонадежные уезды: гомельский, климовский и мстиславский, где, кажется, родился пан, мой оппонент.

— Точно так,— отозвался Пржшедиловский,— вы знали хорошо моего отца и мать.

— Они оказали мне некоторые услуги во время моего сиротства,— сказал покраснев Жвирждовский,— и если бы я их забыл, то давно не позволил бы вам говорить так самонадеянно.

Пржшедиловский взглянул вопросительно на хозяина.

— Позволить или не позволить никто здесь не имеет права,— гневно возвысил голос Стабровский,— у меня в доме пока нет особенного начальства; все мои гости равные и свободные от всякой диктатуры. Говорить и возражать имеет право всякий, кого имею честь

* Смотри статью: «Неделя беспорядков в Могилевской губернии».

видеть у себя. Вы сами это давеча объявили, пан Жвирждовский.

Стабровский, по отношениям Жвирждовского к брату, к матери и своему твердому характеру, не был такое лицо, которое можно было безнаказанно восстанавливать против себя, и потому будущий воевода, проглотив горькую пилюлю, просил у него извинения за слова, сказанные в патриотическом увлечении. Наконец, он приступил к финалу своей заученной речи, сначала несколько тревожным голосом, потом все более и более воодушевляясь:

— Прочие уезды поднимаются с помощью быстро сформированных жондов на берегах Днепра. Тогда, подчинив решительно своей власти все воеводство, устремляемся в рославский уезд смоленской губернии. При общем настроении умов в России, обработанных польской пропагандой в учебных заведениях, тайною, зажигательною литературой и прочее и прочее, с появлением повстанцев на Днепре мы, несомненно, тотчас присоединяем губернии: смоленскую, московскую и тверскую и беспрепятственно доходим до Волги. Там, на правом берегу, водружаем наше польское знамя. В этом я ручаюсь вам гонором своим и головой. Разумеется, мы будем только авангардом великой армии союзников. Таким образом, являсь в начале апреля на берегу Днепра, мы избегнем ошибки Наполеона, погубившей его в двенадцатом году. Он привел только к осени в Москву войско, утомленное сражениями и походами. Ему лишь стоило остановиться на зимних квартирах в западных губерниях и, подобно нам, двинуться уже следующей весной во внутренность России.

— Умно, гениально задуманное дело,— закричали офицеры.— Виват, пан Жвирждовский!

— Ваше имя не умрет в потомстве, пан воевода,— прибавил кто-то.

Пржшедиловский молчал, потому что на такую заносчивую, шарлатанскую речь нечего было возражать.

— Выгоднее было бы спуститься по Днепру в Киев,— сказал пан Суздилович, шевеля усиками,— и там подписать приговор России.

— Нет, нет,— закричали некоторые из заговорщиков.

— Позвольте объяснить,— просил Суздилович, задыхаясь.

— Нет, нет,— кричали еще громче несогласные с его мнением.

— Позвольте.

— Не позволяем.

Шум возрастал, так что пан в колтуне, продремавший большую часть заседания, проснулся и со страхом озирался.

— На голоса, паны,— сказал Стабровский.

Согласились.

Голоса все были в стороне воеводы.

— Остается нам узнать от вас, панове,— спросил Жвирждовский,— какие обязательства вы на себя принимаете?

— Я не могу отлучиться от своей должности, ни от особы, которая так щедро доставляет мне средства поддерживать польское дело,— сказал опекун богатой вдовушки.

— Добрже, пан.

— Я также собираю здесь офяры и обязан доставлять вам их лично, как мы условились,— отозвался другой.

— Согласен.

— Я учитель,— сказал третий,— и мое дело обрабатывать здешнее юношество.

— И то очень, очень полезно для нас.

— Вы, пан? — громко спросил воевода помещика в колтуне, опять задремавшего.

Тот протер себе глаза и отвечал:

— Я уж вам сказал, что снаряжаю сто повстанцев, одеваю и содержу на свой счет.

— Прекрасно!

Офицеры вызвались явиться по первому призыву в отряд Владислава Стабровского, которому, как военные могли быть полезны в организации повстанцев.

Студенты объявили то же.

Одобрено.

— Я жертвую на первый раз пять тысяч...— успел только произнести пузатенький господин.

— Рублей серебром,— подхватил один из студентов.

— Злотых,— сердито договорил Суздилович.— Если бы вы не перебили меня, я сказал бы рублей.

— Вы богаты, пан,— заметил Жвирждовский,— могли бы больше...

— Обязываюсь вносить ежегодно столько же в каску жонда, пока продолжится война.

— Пан надеется на троянскую войну,— заметил студент.

И все засмеялись.

Задетый этим смехом за живое, Суздилович самоотверженно объявил, что он обязывается сверх того проливать кровь свою за отчизну в отряде Владислава Стабровского.

— В некотором роде,— прибавил Пржшедиловский, хорошо знакомый с русской литературой.

— Я буду работать этим кинжалом в отряде пана Владислава, если он пожертвует его мне,— зыкнул Волк,— и не положу охулки на руку.

— Вам давно нравится этот кинжал,— сказал Стабровский,— хотя это подарок матери, он не может перейти в лучшие руки, чем в ваши.

Волк обнял Владислава. Лишь только бросился он к кинжалу и задел этим движением стол, гибкая сталь еще жалобнее прежнего заныла. Вынув мускулистой рукой глубоко засевший клинок, он поцеловал его.

— А вы, пан Пржшедиловский?— спросил воевода.

— Безрассудно было бы мне покинуть на произвол судьбы жену и двух малолетних детей; не могу жертвовать и деньгами, потому что я беден и только своими трудами содержу семейство свое.

— Но вы можете быть полезны, распространяя в обществах и между своими сослуживцами вести, благоприятные для польского дела, подслушивая, что говорят между ними опасного для этого дела, и нас уведомляя.

— Разве для того пан примет эту обязанность, чтобы вредить нам,— отозвался кто-то.

— Вот видите,— сказал Пржшедиловский,— и я на низкую роль шпиона не гожусь, а потому здесь лишний и удаляюсь.

— Лучше искренний враг, чем двусмысленный друг,— проворчал воевода.

— Ни тот ни другой,— холодно отозвался Пржшедиловский.

Он успел только проговорить, как вбежал в кабинет Кирилл и доложил своему господину, что к хозяйке приходил квартальный и спрашивал ее, почему у пана такое большое сборище поляков.

При этом известии у многих вытянулись лица; Суздилевич собирался уже утечь в спальню хозяина.

— Не тревожьтесь,— сказал Владислав спокойным голосом,— я уж научил панну Щустерваген объявить любопытным, что мы провожаем русских офицеров в Петербург. Впрочем, хозяйка умеет ладить со здешними аргусами.

Все успокоились.

Пржшедиловский взял шляпу и, отведя Владислава в сторону, тихо сказал ему:

— Прощай, друг, я не останусь у тебя завтракать. Боюсь, чтобы твои гости, упоенные добрым вином и торжество будущих своих побед не вздумали оскорблять меня за то, что я не согласен с их шарлатанством. Меня дома ждут жена и дети, и я в кругу их отдохну от всего, что здесь слышал и видел.

Владислав не настаивал, но вызвался проводить друга своего в коридор.

Здесь они остановились. Пржшедиловский крепко пожал ему руку и, видимо, тронутый, сказал, покачав головой:

— Et toi, Brutus? И в этом сумасбродном обществе?..

— Разве я не вижу, что они безумствуют, что все их планы не более, как мираж? Но я решился покончить так или сяк со своей судьбой. Для меня все равно, погибнуть ли в обществе рассудительных людей или безумцев.

— А Елизавета? Я надеялся, что ты будешь с нею счастлив по-моему.

— Не мне суждено это счастье. Она отвергла мою любовь; у нее есть жених. Я зол на нее, зол на отца ее, на всех русских. Польское имя здесь в презрении.

— Безрассудный!

— Все кончено. Прощай, друг, мы, может быть, больше не увидимся.

Слезы навернулись на глаза обоих. Они горячо обнялись и расстались.

— Слава Богу, тринадцатый выбыл из нашего общества,— сказал Суздилович,— за столом этого рокового числа не будет.

— Ну его к диаблам!— сердито прибавил Жвиржовский.

Клятва, установленная высшим трибуналом жонда, была произнесена членами общества, принявшими на себя, каждый по средствам своим, обязанности служить делу отчизны.

— Теперь, панове, мы сыты по горло духовными требами, примемся здесь за утоление голодных телес наших,— провозгласил хозяин.

Суздилович, любивший хорошо покушать, от радости то потирал себе руки, то похлопывал себя по пустому брюшку.

Спешили с завтраком. К трем часам стол был сервирован, блюда подавались избранные, вино лилось в изобилии, Кирилл и три хорошенькие девушки прислуживали за столом не хуже татар Дюссо. Было много тостов на французском языке, непонятном прислуге. Пили дружно за свободу отчизны, великих союзников, за Чарторижского, Мерославского, Сераковского, воеводу могилевского, хозяина, отсутствующих пулковников, был тост в честь польского знамени, водруженного на правом берегу Волги. Особенно воевода и ксендз соперничали друг перед другом в осушении бокалов. Владислав по временам задумывался, но старался залить вином огонь, его пожиравший.

Все гости уже встали из-за стола, отяжелевшие от изобилия вин и яств, они посели и полегли в разных по-

зах на диванах, кушетках и креслах, кто дремля, кто болтая всякий вздор, кто закурив сигару.

Исчезли следы завтрака, женская прислуга была отпущена, оставался один Кирилл за своей перегородкой, отправлявший в свой желудок остатки кушаньев.

Послышался звонок, и вслед за его дребезжащим звоном влетела в кабинет, шурша своим длинным шелковым шлейфом, молодая дама, блистая красотой, парюю обворожительных глаз и алмазами, сверкавшими на ее груди и в ушах. Она была в трауре, скрашенном некоторыми туалетными принадлежностями национального цвета. При появлении ее все спешили оправиться и встать со своих мест.

— Виват, панна N. N! — громогласно раздалось по комнате.

— Шт,— прошептала она, положив палец на свои розовые, соблазнительные губки, потом прибавила очаровательным голосом.— Я знала от пана Жвирждовского, что вы собираетесь здесь для великого дела Польши. Простите великодушно, что не могла быть с вами вовремя, занята была по этому же делу. Уверена, что вы все исполнили свой долг. Я приехала к вам на несколько минут, чтобы положить и мою офяру на алтарь отчизны.

Она развернула большой сверток, который держала в руке. Это было знамя с богатыми золотыми украшениями и изображением на нем одноглавого белого орла, державшего в своих когтях черного двуглавого. Сверху была надпись: «*Za niepodległość ojczyzny*», а над ней Пресвятая Дева в сопровождении папы, благословляющие коленапреклоненных перед ними воинов в старопольском вооружении.

— Я приношу это знамя легиону могилевского воеводы Топора (пана Жвирждовского),— сказала красавица,— вы знаете, что я после смерти мужа до сих пор отказывала в руке моей всем ее искателям. Тот, кто водрузит это знамя на куполе смоленского собора, хоть бы он был не лучше черта, получит с этой рукой мое богатство и сердце. Клянусь в том всеми небесными и адскими силами.

— Виват, панна N. N! — закричали восторженные голоса.

— Нас принесут мертвыми к вашим ногам на этом знамени, — сказал Жвирждовский, — или с этим знаменем в руке, но только с прибавкой на нем новой надписи: «развевался на главе Ивана Великого».

— Клянемся, клянемся! — подхватили другие.

— Теперь, пан Стабровский, мне бокал шампанского за успех нашего общего дела и за здоровье присутствующих и отсутствующих освободителей Польши.

На поверхности бокала, стремительно налитого усердной рукой, образовалась пеннистая коронка, метавшая от себя искорки. Жвирждовский подал ей на маленьком серебряном подносе, преклонив перед ней, как рыцарь перед дамой своего сердца, одно колено. Обедя бокалом все собрание, она молодцевато осушила его.

— Теперь за здоровье панны, перед которой вся Польша должна преклонить колени; только не из бокала, а из ее башмачка! — воскликнул Жвирждовский.

Красавица ловко скинула башмак с крошечной своей ножки и передала его воеводе. Шампанское было в него налито, и пошла круговая ходить при оглушительных виватах.

Когда панна надевала башмак на ногу, кто-то заметил, что она может простудиться.

— Женщины, в которых течет польская кровь, не простуживаются, когда сердце их согрето патриотизмом друзей, — отвечала панна, и распростилась со своими восторженными поклонниками. — Не могу дольше оставаться с вами, — прибавила она, — дала слово быть в этот час в одном месте, где должна поневоле кружить головы москалям.

«Я знаю одну подобную ножку у русской красавицы, — подумал Владислав, настроенный вином и прошедшей сценой к чувственным впечатлениям.

— О! эту ножку я обсушил бы своими поцелуями!»

К шести часам вечера заговорщики разошлись все

по домам, иные спеша уехать по своему назначению, другие желая поспеть к отъезду Жвирждовского со своими услугами.

V

Сурмин, посещая по временам Ранеевых, выигрывал все более и более в сердце старика. Михайло Аполлоныч угадывал, что Лиза сделала на него сильное впечатление, и почел бы себя счастливым, если бы мог назвать его членом своего семейства. Лиза находила удовольствие в его обществе, в его беседах, нередко спорила с ним, радовалась, когда успевала над ним торжествовать, находила его добрым, умным, любезным, достойным составить счастье девушки, с которой соединил бы он свою судьбу. Но, к отчаянию своему, влюбленный молодой человек в ее речах и обращении с ним не находил до сих пор того, что можно было бы признать за чувство, которого добивался. Кокетства, желанья завлечь его сильнее в свои сети он также не находил даже малейших следов.

У Ранеевых он познакомился с новою интересной личностью, Антониной Павловной Лориной. Это была сестра хозяина дома, в котором они квартировали, и самая задушевная подруга Лизы. Тони передавала она свои радости и печали, свои тайны, кроме одной, которую поверила только Богу. Чтобы короче познакомить читателя с этим новым лицом, я должен отступить от начатого рассказа.

Павел Иванович Лорин, уйдя с военной службы гвардейским капитаном, был избран в губернии, где имел прежнее поместье, совестным судьей и в этой должности приобрел себе доброе имя. Пробыв в ней два трехлетия, он распростился с нею и губернией и переселился в Москву, где его жена по случаю купила на свои деньги и имя небольшой дом на Пресне. По приезде сюда у них были три сына и три дочери, от четырех до пятнадцати лет. Здесь поручили старших воспитанию русской гувернантки, девицы Фундукиной, вышедшей из казенного заведения кандидаткой 1-го разряда. И недаром досталась ей пальма первенства.

Она отлично знала языки: французский и немецкий, была непогрешима и против грамматического кодекса русского; помимо этих знаний владела некоторыми искусствами — хорошо рисовала, изучила музыкальную школу и была истинною художницей в каллиграфии. Все, что знала, она умела и передать своим ученикам и ученицам. Прибавьте к этим достоинствам доброе обращение с ними, заботы о здоровье матери и детей, и вы согласитесь, что такая воспитательница была истинным кладом для Лориных. За то и платили они ей полным доверием, теплою благодарностью и любовью.

Скоро, по болезни Лориной, Фундукина приняла в свои руки и бразды домашнего хозяйства. И тут у нее все спорилось, удивлялись только, как ее хватало на такие разнородные занятия. Благодетельное ее господство, которое она старалась скрасить вкрадчивыми услугами чете и добрым обращением с прислугой, простиралось на все, ее окружавшее. Пользуясь привязанностью к ней госпожи Лориной и некоторыми признаками минутного увлечения мужа, она стала забрасывать в его душу разные зажигательные вещества, на которые кокетки так изобретательны. Назвать ее хорошенькой нельзя было, но, с одной стороны, молодость (ей было с небольшим двадцать лет), свежесть, румяные щечки, из которых кровь, казалось, готова была брызнуть, девственные формы, искусная работа сереньких глаз, то бросающих мимоходом на свою жертву меткие стрелы, то покоящихся на ней в забытии сладострастной неги; с другой же стороны жена, давно больная от испуга после родов во время пожара, — все это приготовило капитана к падению. Лорина, ослепленная новыми, усиленными заботами о ней Фундукиной, ничего не подозревала. Не скрылась эта связь от прислуги, даже дети смутно понимали ее. Нашелся, однако ж, усердный член дворового штата женского пола, который потрудился открыть глаза своей госпоже. Удар был силен, но несчастная женщина ни одним словом, ни одним знаком не обнаружила мужу и гувернантке, что знает роковую тайну. Между тем она с каждым днем гасла все более и более и, наконец,

совсем угасла, как огонь в лампаде, который перестал питать поддерживающий его елей. Дети оплакали ее горячими слезами, плакал муж, но кто видел, как он в эти горячие минуты охорашивался в зеркале, как будто говоря: «Хоть куда еще молодец!» — мог догадаться, что они не текли из глубины души. Поплакала приторно и гувернантка, мысленно предвидя приятную развязку этой драмы. Развязка эта не заставила себя долго ждать. Через три-четыре месяца Лорин повел свою бывшую тайную подругу к венцу. Скоро новая madame Лорина, как артистка, искусно разыгравшая свою роль и сошедшая со сценических подмостков, явилась перед семейством мужа и домочадцами в безыскусственном виде. Здесь она не имела более нужды скрывать свои природные качества. Все вокруг нее почувствовали, что жезл, которым она прежде так легко и благотворно правила, вдруг чувствительно отяжелел. Если он обвивался иногда цветочною вязью, так только для Павла Иваныча, и то в часы, когда нужно было выманить у него подарок, выходящий из ряда обыкновенных. У него, как мы уже сказали, было хорошенькое поместье в губернии, где он прежде служил. Боясь, чтобы оно после смерти настоящего владельца не перешло к его законным наследникам по частям, а ей пришлось бы только ничтожная доля, она сочла за благо воспользоваться им без раздела и потому уговорила мужа продать его. Полученные за имение деньги перешли на ее имя билетами опекунского совета. Прочее движимое имущество завещано ей законным актом. Корыстолюбие ее не знало границ и проявлялось даже в мелочах. С годами у нее появились свои дети; тех же, которые были от первой жены, она держала в загоне. Их поместили отдельно в небольшие комнаты мезонина, худо отапливаемые, иногда через день, через два, так как Лорина находила, что все тепло снизу уходит к ним наверх. Обращение с ними было не только холодное, но и суровое. Если они и удостоивались ее лицемерия, так для того только, чтобы приветствовать отца и мачеху с добрым утром и пожелать им на сон грядущий спокойной ночи, да приложиться к их ручке. Не обходилось, однако, при этих торжественных приемах, чтобы она не бранила кого-нибудь из пасынков или падче-

риц. Больше всех доставалось Тони, которую она особенно не любила за то, что обидчивая девочка не всегда подчинялась ее деспотизму.

— *Ce petit lutin me fouette toujours le sang,*— говорила она мужу и посторонним.

Дети от первого брака не обедали с ней и отцом за общим столом; кушанья, и те в обрез, подавали в их отделение, как подачку со стола господ. Сама чета с новым выводком комфортабельно жила в бельэтаже. Но и между детьми своими, которых через несколько лет насчитывала также до шести, госпожа Лорина имела двух любимцев-баловней— старшую дочь и старшего сына, остальных она не жаловала. Особенно не терпела одного, Петю, *последыша*, как говорят у нас в народе, обыкновенно больше других любимого отцом и матерью, бабушкой и дедушкой. Этого худенького, слабого ребенка она беспрестанно преследовала своими гневными придирадками, бранью и даже побоями. Встал не так, взглянул не так,— и тяжелая рука ее падала на худые щечки, на голову малютки. Это была какая-то непонятная ненависть к нему, не смягчаемая ни его покорностью, ни видом болезненного состояния. Бедное, загнанное, забитое дитя дрожало от одного ее появления, от одного взгляда. Только в защите отца, вспыхивавшей в редкие минуты самостоятельности, в горячих ласках, украдкой расточаемых, на груди его находил Петя кой-какие жизненные силы. Так, хрупкая былинка, едва держась в земле иссыхающим корешком сохраняется еще нежными заботами садовника.

Между тем проходили годы, время облетало подлунную или подсолнечную, как хотите, и вычеркивало миллионы из списка живущих на ней, от царя до поденщика, великих и малых. В числе последних пришла очередь и Павлу Иванычу. Пожил довольно на свете, исполнил верно завет, данный Предвечным начинателю человеческого рода, народил двенадцать детей, не считая умерших,— чего же больше? Не велика потеря для мира, невелика и для семьи, кроме одного бедного мальчика Пети, без него осиротевшего. Похороны были скромно справлены, с одним священником и его причтом, без балдахина с рыцарским плюмажем, без

коней в черных пополах, без факелов, которых зловещий огонь, красноватый среди белого дня, с их смолистым куревом, так жутко бросается в глаза прохожих. Да из чего было делать эту дорогую процессию неутешной вдове, оставшейся с многочисленным семейством, по слухам, ею распущенным, совершенно немощей? Шествие к кладбищу было поразительно грустным. За гробом, в совершенном изнеможении она шла, поддерживаемая за обе руки своими родными. Вслед за ней плелись двенадцать человек детей от двух многоплодных браков, разных возрастов. Старшая дочь от первого брачного союза удушливо кашляла; злая чахотка от простуды в сырой, холодной спальне, не облегченная в своем начале никакими врачебными пособиями, пустила глубокие корни в ее груди. Она это знала и давно покорилась воле Божьей, утешая себя только тем, что жизнь ее продлится недолго; Петю нес на руках своих дворник Лориных отставной семидесятилетний солдат как лунь белый, но еще крепкий старик, в порыжелом мундире, украшенном медалями 12-го года и за взятие Парижа и анненским солдатским крестом. Черные глазки малютки, горевшие болезненным огнем, выскакивали из шафранного личика и приковались к трупу покойника. Он тянул свои исхудалые ручки к гробу и жалобно причитал: «Возьми меня, папаша, с собой». Священник и причт, привыкшие к похоронным сценам, смотря на этого бедного ребенка, слыша его стенания, не могли удержать слез своих. Долго еще после того рассказывали они своим прихожанам, какое грустное чувство оставили в них похороны Лорина.

Прошло шесть недель, и многочисленное его семейство стало редеть в доме на Пресне, как стая голубей, распуганная налетом коршуна. Сама Лорина со старшим сыном и старшей дочерью выехала из дому, который по наследству принадлежал детям от первой жены, и переехала в наемную квартиру. При этом переезде она захватила с собой из движимости все, что могло иметь какую-нибудь цену, от серебряной ложки до глиняной плошки и обручей со старых бочонков. На новом месте, отслужив молебен, она стала поживать в полном довольстве. Старшую падчерицу снесли скоро на клад-

бище, где безмятежно почивал прах ее отца. Петю снес в воспитательный дом все тот же семидесятилетний дворник. Сестры и братья его, от которых он был так безжалостно отторгнут его родной матерью, простились с ним со слезами, иные с рыданиями. Когда его вынесли за ворота, инвалид велел ему перекреститься. Исполнив это, он еще долго оборачивался на свое гнездо и родных, стоявших у ворот и благословлявших его. Когда же потерял их из виду, «вздыхнул, так тяжело вздохнул,— говорил после инвалид,— словно кто меня в грудь ножом пырнул».

Недолго промаялся Петя в своем новом приюте, где увидал незнакомые лица, может быть неприветливые, напоминавшие ему суровую мать. Тоска по родным и болезнь свалили его. Он отдал Богу душу и последнее свое прощальное слово старшему брату и Тони, приехавшим навестить его и усладить, чем могли, его участь.

Четырнадцатилетнюю Тони взяла к себе старушка, аристократка, узнавшая о бедном положении многочисленного семейства Лориных, и увезла ее с собой в Петербург. Она дала слово заменить ей мать и тем охотнее исполнила это слово, что скоро полюбила свою названную дочь за ее прекрасные душевные качества.

Одну из собственных дочерей, пятилетнюю, Лорина поместила в малолетнее отделение воспитательного дома, что на Гороховом поле, другую, постарше, в Николаевский институт, собственного сына отдала в гимназию на казенный счет, другой, от первого брака, поступил юнкером в пехотный полк. Оставались в доме матери трое из детей от первого брака. Один, старший, Иван, по окончании курса в университете, служил столоначальником в каком-то судебном месте и адвокатствовал по делам, которые не производились в месте его служения. О нем скажем только, что он был неглуп, точен в исполнении своих служебных обязанностей и во всех своих делах, добрый брат. Другой, несколько моложе его, Павел, кончивший курс в гимназии, служил помощником столоначальника в том же суде; здесь не могли нахвалиться его деятельностью.

Знакомлю с ним читателя только на шапочный поклон. При них оставалась сестра, лет пятнадцати, Даша. Когда через два по освобождении своем от ига мачехи она сделалась помощницей своих братьев по служебным обязанностям. Из-за маленького роста ее, Тони прозвала ее *Крошкой Дорит* (главное лицо в романе этого названия Диккенса). Так разместились все члены многочисленного семейства волею Провидения и дипломатическими заботами госпожи Лориной. И заслужила же она себе в свете славу хорошей матери и примерной мачехи. Прибавить надо: лучшею, существенною ей наградой, как искусной актрисе на мирской сцене, был порядочный капиталец, оставленный ей мужем и обеспечивший ее на всю жизнь. Присоедините к этому небольшую сумму, завещанную ее любимой дочери богатым старичком, державшим у купели на своих руках эту дочку и к которому она умела подделаться, развлекая его по целым часам игрою в *дурачки*. Возвратимся к Даше, или Крошке Дорит, как называла ее сестра. Характеристику ее нужно мне дополнить по особенной симпатии к ней. Даша была маленькое, крошечное созданище. Какого роста сложилась она в 14 лет, такою и осталась навсегда. Между тем во всех частях ее фигурки и в целом не было ничего уродливого; все в ней гармонировало одно с другим. Миловидное, умное личико с правильными по величине ее чертами, с глазками, блестящими как два черных граната, обведенными черными бровками, было особенно привлекательно добродушием, на нем выступавшем. Смотря на нее, вы сказали бы, что это — доброе дитя, неспособное никогда сердиться. И в самом деле никто в доме не слышал, не видел ее гнева. Только услугами своими, ласками, утешениями давала она знать о себе в своем семействе. Когда в этих услугах и утешениях не нуждались, ее не было слышно, как будто она и не существовала в доме. Бывали, однако ж, у нее вспышки необыкновенной настойчивости, вследствие каких-нибудь твердых убеждений, и тогда ничто не могло сбить ее с этих убеждений. Оставшись жить с двумя братьями, Даша видела, что эти бедные труженики приносили с собой из суда целые кипы бумаг и, заснувши часок

после обеда, принимались писать и писать целые ночи напролет. Ей стало жаль их. Фундукина передала ей вполне, как ни одной из сестер, свой каллиграфический талант; Даша задумала воспользоваться им, чтобы помочь братьям в их трудах. Задумано и исполнено: она стала переписывать не только канцелярские деловые бумаги, но и прошения, даже на высочайшее имя таким мастерским, четким почерком, что надо было любоваться, как она своею маленькой ручкой проворно низала строки, будто нити крупного жемчуга. Вдобавок сам Греч не мог бы найти в этих строках грамматической ошибки — достоинство, которое редко встречается и у хороших канцелярских писцов. Слава Даши Лориной, как отличного каллиграфа росла понемногу. К ней чаще и чаще стали обращаться просители, труды ее вознаграждались гонорарами, достававшим не только на ее скромный туалет, но и на некоторые домашние нужды ее маленького семейства. Богатые, особенно купцы, за переписку прошений на высочайшее имя щедро платили ей. Завоевав себе славу хорошего переписчика, Даша, подстрекаемая самолюбием, захотела сочинять деловые бумаги. С навыком к ним, природным умом и смысленностью, приученная братом отыскивать в разных уложениях приличные к делу законы, она вышла из этой школы маленьким чудом-адвокатом. Первые опыты были одобрены братом, вторые оказались еще удачнее и так далее и далее. Разумеется, просители в этой крошке-девочке не подозревали своего настоящего адвоката, скрытого за именем брата, но большею частью изъявляли желание, как непременно условие, чтобы бумаги их были переписаны *легкой*, золотую ручкой барышни, потому что ручка эта, как гласила молва, приносила счастье. И все это Даша без всякого учения об эмансипации женщин, коммунистических и социалистических доктрин, о которых она не имела и понятия.

Русская Крошка Дорит была особенно дружна с меньшим из двух братьев своих, с которыми жила. По привязанности их друг к другу, по одинаковым склонностям, смирению и доброте души, они, казалось, ро-

дились двойниками. С малолетства предались они глубокому религиозному направлению. Духовная ли натура их была так создана, настроили ли ее беседы старой набожной няни о великих христианских сподвижниках и рассказы о страданиях матери их, которая, как святая, несла свой крест, чтение ли духовных книг и церковное служение укрепили их в этом благочестивом направлении, — так или иначе, Даша и Павел с годами почувствовали, что теплая молитва к Богу — высшая отрада человека. Они не пропускали ни одной ранней обедни. К поздней, особенно в праздники, они не любили ходить, избегая многолюдства, которое пугало и смущало их робкие души. Зато в эти дни они усердно молились дома, оградив себя от посторонних глаз в комнате, менее других посещаемой. При этом они произносили или пели молитвы, установленные церковным богослужением. И как стройно, умирительно пели они — брат своим чистым баритоном, сестра своим сладким голоском. В праздное от занятий время они читали духовные книги и беседовали о том, что прочли. Случалось, что, прекратив чтение, сидя рядом в широком отцовском кресле, они, обнявшись, засыпали. Смотря на их улыбающиеся во сне лица, можно было догадаться, что им видятся светлые видения. В их религиозном настроении не было, однако ж, никакого ханжества. Ни про кого во всю жизнь они не сказали злого слова, никого не осудили, что считали большим грехом, тем более береглись даже намекнуть что-нибудь в осуждение мачехи. Напротив, отзывались о ней с благодарностью за то, что давши им воспитание, она дала и средства доставать себе насущный хлеб.

Павел был нехорош собой, но его наружные недостатки скрашивали какое-то благодушие, какая-то девственная чистота, разливавшаяся на его лице. Он избегал общества, особенно молодых людей, прельщавших его разными соблазнами; при встрече с красивой женщиной всегда потуплял глаза и краснел, когда она с ним заговаривала. Канцелярия и церковь были единственными местами, ими посещаемыми. И поплыли они, сплетясь руками и душой, на утлом челне своем по

мятежным водам жизни к пристани, где нет болезни и печали.

Через четыре года присоединилась к ним и Тони. Эти годы, проведенные ею в Петербурге, у ее благодетельницы, госпожи Z, мелькнули перед ней, как прекрасное, волшебное видение. Из маленьких, серых с оборванными обоями комнат, где ее радовал бедный кустик фуксий и будила кукушка, высовывая свою плешивую головку из облупленной часовой будки, она перенесена в палаты. Здесь все сияет: и стены под мрамор, и бронза в изобилии, и паркеты, и зеркала, отражающие ее хорошенькую фигурку; здесь она гуляет, как в тропическом саду и часы с мифологическими кариатидами играют ей мелодичные куранты. Вместо сурового лица мачехи, ее крикливого голоса, она видит добродушное, приятное лицо старушки, своей благодетельницы, слышит ее ласковую, тихую речь, которая так отрадно веет на душу. По временам подслеповатые глаза устремлены на нее с любовью, морщинистая рука заглаживает ее густые, пепельного цвета волосы, разметавшиеся от беганья, треплет ее разгоревшиеся щечки. Бедные клавикорды, которых непокорные, помертвевшие клавиши мучили ее до слез, заступил Эраров рояль, издающий под ее пальчиками послушные им гармонические звуки. Старушка, угадав в ней музыкальный талант, для усовершенствования в нем, пригласила лучших учителей давать ей уроки музыки и пения. У госпожи Z была избранная библиотека. По назначению ее являлись к ним знаменитости русской и иностранной литературы. Русской? — спросите вы, мой недоверчивый читатель. Да, русской, потому что она не походила на других аристократок, которым имя отечественного писателя так же чуждо, как бы имя арабского, которые, к стыду своему, не умеют не только правильно писать, но и говорить на своем родном языке. Ее воспитание было направлено ее отцом, одним из генералов 12-го года, горячим патриотом; она была знакома с Жуковским, когда служила фрейлиной при дворе и чтицей одной из высоких особ, и потому успела полюбить и отечественную литературу, и отечественную славу, в каком бы роде она ни проявлялась. Чтение

с госпожой Z сменялось иногда беседами. Старушка любила рассказывать о лучших временах своей жизни, о характеристических чертах славных полководцев царствования Александра I и скромной жизни царственной четы. Не зная еще, какая высокая участь ожидала сельцо Ильинское*, госпожа Z рассказывала своей любимице о посещении Ильинского государыней Елизаветой Алексеевной помнится мне еще до 20 года.

— С полудня,— говорила словоохотливая старушка,— встала пыльная полоса от Москвы к селу. Разнородные экипажи, нанятые во множестве тогдашним владельцем имения, графом Александром Ивановичем, и собственные гости то и дело следовали один за другим и обгоняли один другого. Тут была отчасти знать московская и отчасти петербургская, приехавшая в императорской свите, все очень просто одетые. На обширном лугу, против господского дома, расставлены были качели разного устройства, палатки с деревенскими лакомствами, балаганы с народными увеселениями, стояли бочки с вином, пивом и медом. В разных местах гремели хоры музыки и песенников, полковых и цыганских. Красивые лодки с разноцветными флагами, также с песнями и музыкой, разгуливали по Москве-реке. На возвышении просеки, в сосновой роще, за лугом, против дома, была построена красивая беседка вроде греческого храма. Луг просто залит был народом. Хороводы крестьянок в нарядных платьях, большею частью любимых ярких цветов, казались цветниками из разноцветного мака. Зрелище было истинно живописное, тем более, что и красивая местность была в гармонии с ним. С утра день был прекрасный, но по приезде императрицы стал накрапывать дождик и вскоре, к досаде хозяина и хозяйки, засеял чаще, так что песчаные дорожки отсырели. Государыня несколько минут полюбовалась с террасы на оживленную пеструю картину и послала рукою поцелуй народу, ко-

* Оно принадлежало сперва канцлеру графу Андрею Ивановичу Остерману, сподвижнику мудрой Екатерины, потом перешло по наследству к графу Остерману-Толстому, герою кульмскому, а от него к князю Леон. М. Голицыну, от вдовы которого куплено государем императором.

торый громкими, восторженными криками приветствовал ее. Дождь утих, и она изъявила желание прогуляться по саду. Ей так много расхвалили его. В сопровождении графа и графини, ею особенно любимой, она спустилась с боковой террасы в главную аллею сада. Свита хлынула за нею. Прошлась она легко по всем дорожкам, любовалась особенно тою, которая проведена по овражку, посетила грот, взошла на небольшую высоту, где стояла беседка из необделанных берез, осмотрела дом, где провели свой медовый месяц *молодые А—ины*. Надо заметить тебе, флигель-адъютант Вл. Ст. А-ин женился незадолго до того на графине С-и П-вны Т-ой, племяннице графа по жене. И что это за красавица была! Не одного искателя ее руки свела с ума.

Сам дядя, граф Александр Иванович, нечего греха таить, был сурового, не совсем любезного характера, но большой поклонник красоты. В великолепном доме его, что на Английской набережной, ныне графини Броглио, был портрет С-и П-вны во весь рост, писанный знаменитым художником. Случилось мне однажды видеть, как он при всех нас, приехавших к нему, стал перед ним на колени в какой-то позе обожания. Мы этому тогда очень смеялись. Но я отбилась от своего рассказа. Как заговоришь о старине, так и занесешься далеко.словно почтовый голубь, посланный с письмом, увидав свою родную сторону, закружился над ней и забыл о своем назначении. Воротимся же в сад. Ничего особенно художественного, богатого в нем не было. Но всем восхищалась императрицы, все радовалось в этом садике владельницу Царского Села. Такто, душа моя, и цари любят укрываться от блеска, великолепия и этикета, их беспрестанно осаждающих, и хоть на несколько часов спускаться в тихую, скромную долю простого смертного, которая не была им предназначена. Когда государыня возвратилась в дом, она почувствовала, что немного промочила ноги. Для переодевания ей приготовлена была туалетная, прекрасно, с большим вкусом устроенная. Здесь горничная графини скинула с нее отсыревшую обувь и хотела надеть другую, заранее приготовленную и согретую, но императрица сказала:

— Благодарю, милая, я сама надену,— и сама надела, потом ласково потрепала хорошенькую горничную ручкой своей по розовым щечкам.

— Это был настоящий ангел,— прибавила старушка, вздохнув и перекрестясь.

Тони припоминала, как она выезжала со старушкой в свет, пока та еще была в силах делать выезды, как избранный кружок, собиравшийся у нее в доме, обращался с бедною воспитанницей, словно с родной дочерью аристократической барыни. Засыпая у себя дома, ей чудилось, что сухая рука ее, исписанная синими жилками, благословляла ее на сон грядущий, и она верила, что благословение это принесет ей счастье. Помнила Тони, как заболела тяжело старушка, перемогалась недолго и просила ее перед смертью закрыть ей глаза.

— Непременно ты, чистая душа, закрой мне,— говорила она.

И закрыла Тони глаза своей благодетельницы, успокоившиеся на ней в последний раз вечным сном. Господа Z хотела и за гробом продолжить свои благодеяния Тони и завещала ей 15 тысяч рублей, которыми могла законно располагать, не обижая своих дальних родственников (близких она не имела). Библиотека и Эрар, с которыми Тони сроднилась, перешли к ней также по сердечному наследству. Прошел сорокоуст после смерти г-жи Z, и Тони возвратилась в свое семейство, принеся в него ту же простоту нрава, доброту души и любовь к родным, которые из него некогда вынесла и которых не могли извратить годы, проведенные в роскоши аристократического дома и в большом свете. Капиталец свой передала она старшему брату, чтобы он сделал из него употребление, какое найдет полезным для общих нужд их. Только оставила в своей шкатулке сотню заветных екатерининских и елизаветинских империалов, подаренных ей в годовые праздники и в дни рождения и ангела. Эти приберегала она на черный день. Брат, взяв порученную ему сестрою сумму, отдал ее в банк для приращения на ее имя. Чтобы не быть своим в тягость, она определила: проценты вносить в общую семейную кассу. Водворясь в родном

доме, Тони не только не расстроила гармонии в мирной жизни двух братьев и своей крошки Дорит, но внесла еще в эту гармонию новые, живые звуки, которых в ней недоставало. Разница в нынешней Тони с прежнею была единственно та, что 14-летняя девочка пышно расцвела и развилась в очаровательную 18-летнюю девушку. Жизнь в мезонине потекла, никакими невзгодами не нарушаемая. Только самый мезонин, по желанию новой жилицы, обновился и принял более комфортабельный вид, только по временам оглашался на весь квартал чудными звуками, извлекаемыми из богатого рояля, и звуками контральто из грудного инструмента, какими природа ее щедро наградила. Скоро Тони, прироровясь к религиозному настроению младшего брата и сестры, составила из своего и их голосов, с аккомпанементом рояля, маленький хор, очень стройно и от души исполнявший духовные гимны.

В это время, с водворением, ее в родном доме, бельэтаж в нем, остававшийся несколько месяцев пустым, заселился жильцами. Одно отделение, окнами на нижний Пресненский пруд, наняли Раневы, другое, поменьше, окнами на дворе, вдова коллежского советника (которого она по временам величала статским, а иногда, в жару хлестаковщины, производила в действительные), лет сорока пяти, Левкоева. Пенсия ее после мужа, не так давно умершего, был невелик, но она жила безбедно, на какие средства — это оставалось ее тайной.

У Лориных был при доме садик сажень в 15 длины и столько же в ширину. Лиза встретила Тони в этом саду. Разговорились. Обе потеряли в детстве свою мать, обе с детства перешли на чужое, но благодетельное попечение. Оказалось также из разговора их, что братья их служили в одном полку, расположенном в Радомском округе — Владимир Ранев юнкером, Иван Лорин прапорщиком. Эти случаи сблизили их. Несмотря, что натура одной была серьезная, энергическая, замкнутая, другой — веселая, мягкая, открытая, они скоро сошлись на перепутье жизни и полюбили друг дружку.

Мало-помалу невольно Тони подчинилась первенству Лизы и с удовольствием склонялась перед ним,

счастливая, гордая, что такое дивное, несравненное существо избрало ее, помимо многих других, в свои друзья. Просто она была влюблена в нее, а влюбленные, как известно, не видят и малейшего недостатка в предмете своей любви.

Тони слышала от своей подруги, что она не так давно познакомилась с интересным молодым человеком, Андреем Ивановичем Сурминым, очень неглупым и очень любезным, и рассказывала при этом странную встречу его с отцом. В этом рассказе не могло быть эпизода встречи Ранеева с каким-то давним врагом—эпизода, который был скрыт и от самой Лизы. Но *диспут* о русских женщинах и особенно московках не остался в забвении. Похвалы Сурмину до того подстрекнули любопытство Тони, что она просила своего друга дать знать ей, когда он у них будет. Случай этот скоро представился; Лиза поспешила исполнить ее желание и отрекомендовать обоих друг другу.

— Это мой лучший друг, мое второе я,— сказала она Сурмину.

— И мой задушевный друг, моя вторая дочка,— присоединил к этому отзыву и свой старик Ранеев.

Тони, окинув пронизательным взглядом молодого человека, присела перед ним длинным, церемониальным приседанием и с хитрой усмешкой сказала:

— А я рекомендую себя как *московская барышня*.

Сурмин тоже окинул мимолетным взглядом особу, рекомендуемую ему таким перекрестным огнем дружеских изъяснений, отвесил ей глубокий поклон и сказал, обратясь к Лизе:

— Вижу, Лизавета Михайловна, что вы меня выдали головой Антонине Павловне и хотите живыми доказательствами заставить меня горько раскаиваться в грешном отзыве моем о московских жительницах. Я так непростительно, так несправедливо судил. Узнав вас, мне и теперь перед вашим вторым *вы* ничего не остается, как повторить то же.

Первое впечатление, произведенное друг на друга новыми знакомыми, было в пользу того и другого. После нескольких свиданий с Тони у Ранеевых, Сурмин сделал об ней следующее заключение:

— Ей до Лизы, как до звезды небесной, далеко, но

в ее лице, более чем хорошеньком, в голубых глазах светятся так ярко чистая, безмятежная душа и ум, в ее живом, лукаво наивном разговоре, простоте ее манер есть какой-то завлекающий интерес. Сколько могу судить по недавнему знакомству, той удел воспламенять, увлекать, волновать душу, этой — понемногу притягивать ее к себе, успокаивать, согревать, нежить. Я сравнил бы Лизу с романом Жорж Занда, другую с романом Диккенса.

Лиза, между прочим, отозвалась ему, что ее подружка немного фаталистка.

Этот отзыв повел к длинному разговору, из которого выбираю лишь сущность его.

— Да,— сказала Тони,— я по этой части большая чудачка. Например, я верю, что счастье и несчастье посылаются нам по предназначенью свыше. Конечно, если встречу с невгодами жизни, я не останусь пассивной страдальцей, не опущу по-турецки руки. О! тогда, вооружась всеми силами моей души, всеми средствами моего умишка, я пойду против этих невгод. Но если они одолеют, я не предамся отчаянию, а безропотно скажу: они не от меня, так мне предназначено, так Богу угодно,— и мне будет легче.

Лиза стояла за силу воли и разума, побеждающих обстоятельства.

— Не всегда,— говорила Тони.— Правда, мы сами часто виновники наших обстоятельств, но есть и такие, которые совершенно от нас не зависят. Случается, что разум и воля ведут тебя по пути, который ими начертан, а тут вдруг, Бог знает как, откуда, преградили тебе этот путь. И пойдешь ты по новой дороге, вправо или влево, и очутишься далеко от прежней, в краю, где ты и не думала быть. И пошла твоя жизнь совсем иначе, нежели ты предположила и начертала. Что ж это, как не воля Провидения, как не рука невидимая, которая привела тебя в этот край? Разум и воля тут ничего не поделают.

Сурмин подумал, как его, счастливого, со свободным сердцем кампаньяра, приехавшего в Москву по тяжebному делу, которое искусный адвокат двигал к счастливому концу и следственно не могло его сильно

заботить, как судьба повела его на Кузнецкий мост для бездельной покупки барометра и вдруг столкнула со стариком Раневым и его дочерью. И кто ж знает, что из этого будет, куда поведет его эта ничтожная покупка! Сведя все это в уме своем, он не мог отчасти не подчиниться убеждениям Тони. Не надо забывать, что разговор о фатализме происходил до получения Лизой рокового письма от Владислава Стабровского и до встречи ее с разными тяжкими обстоятельствами, с которыми должна была бороться. И боролась она энергически со своим сердцем, с судьбой своей: то изнемогала под ударами ее, то брала над нею верх. Но выйдет ли она из этой борьбы победительницей или судьба ее одолеет, ее или Тони оправдает жизнь,—мы увидим впоследствии.

Новое знакомство с Тони повеяло, однако ж, на сердце Сурмина освежающим, отрадным чувством.

Как-то по выходе его от Раневых, обе подруги, оставшись одни в Лизиной комнате, долго еще говорили о нем.

— Какой он душка,— сказала Тони.— Вот бы завидная парочка была ты с ним.

— Нет,— отвечала Лиза,— я не могла бы сделать его счастье.

— Почему ж так?

— Мой характер слишком восторженный,— как бы тебе еще сказать,—слишком порывистый, мечтательный, а это для полной гармонии в жизни мужа и жены, для счастья их не годится. Вот ты бы дело другое, вы как будто созданы один для другого.

— Пожалуй бы созданы — как две половинки одной груши!.. Близки друг к другу, да не сходимся. Кабы можно было об этом справиться в книге судеб. Шутки в сторону, поставь меня с тобою рядом перед ним, как мы теперь стоим, да сравни он твою олимпийскую красоту...

— Уж олимпийскую!

— Пожалуйста, не очень скромничай. Да как он сравнит ее с моим личиком *chiffonné*, так меня сейчас из ряду корифеек в задние ряды кордебалета.

— В тебе есть что-то, чего во мне недостает —

живость, игра безмятежной, чистой души, неги в глазах. На тебя любоваться можно, как на прекрасный цветок, только что распустившийся, еще не тронутый июльским зноем, не помятый бурейю.

Тони взглянула в зеркало, смешно взбила свои кудри, томно повела глазами и захохотала своим звонким, детским хохотом.

— В самом деле, миленькая,— сказала она,— хоть сейчас за конторку в магазин мод. А твою красоту, чай, иссушил сердечный зной, старушка!

— Хоть не старушка, но мне все-таки не надо выходить замуж.

— Оставаться девой, да еще презрелой, должно быть очень обидно, очень грустно — уж если не Орлеанской, на которую ты что-то трогательно смотришь, так московской.

В самом деле, Лиза смотрела с каким-то особенным участием на картину, висевшую на стене, с изображением Девы Орлеанской в ту самую минуту, когда она со знаменем в руке, торжествуя победу над врагами Франции, опускает свои взоры с небесной выси на землю и встречается ими с глазами молодого рыцаря, простирающего к ней с любовью руки.

— Завидная участь! — сказала Лиза, указывая на картинку.

— И она была несчастна, и над нею надругался народ, которого цепи она разбила. И король, обязанный ей сохранением своей короны, как отплатил ей!

— Что ж, что была несчастна! Она совершила великий подвиг, и в ту минуту, когда узнала, что исполнила данный Пресвятой Деве обет, когда сердце ее трепетало в восторге победы, минута эта была для нее целою жизнью высочайшего блаженства.

— А были и минуты, когда в сердце ее зажглась искра земной любви, и героиня, святая, стала обыкновенной женщиной.

— И пала она, и оставили ее небесные силы!

— Мы живем не в том веке, когда могли родиться Жанны д'Арк, а во времена более положительные. Удел наш не геройствовать, как она, не гоняться за подвигами, а быть доброю дочерью, женою, матерью:

это лучшее назначение наше. Доброю, примерною дочерью ты и теперь; я уверена, что сделаешь счастье человека, которого полюбишь, будешь и прекрасной матерью.

— То-то и есть, что мне трудно полюбить кого по своему идеалу.

Тони погрозила ей пальцем, прищурясь одним глазом.

— Берегись, скрытная душа!

«Тих, спокоен сверху вид,
Но спустись в него — ужасный
Крокодил на дне лежит».

Стихи эти она сказала с патетической интонацией и мимикой.

— Смотри, я подозреваю, что ты равнодушна к своему кузену Владиславу.

— Какие вздоры! На этот счет можешь быть покойна; я ограждена от этих крокодилов оружиями, которые заколдованы не хуже Жанны д'Арк.

— Помоги тебе Бог! С искусительной красотой лермонтовского демона, он мне кажется опаснее нильского амфибия. Мне чудится, женщина, которая его полюбит, будет несчастна.

— Пожалее ее, — сказала Лиза довольно равнодушно и попросила Тони сыграть ей какой-нибудь nocturne на угольнике, стоявшем близ нее.

Сыграла Тони одну пьесу, сыграла другую, сделалось темно в комнате, и не видала она, как плакала Лиза, закрыв глаза рукою.

VI

Было 5 сентября, именно тот день, когда заговорщики собирались в квартире Владислава Стабровского. Все они, как мы уже сказали, разошлись к шестому часу вечера по домам. Он вспомнил, что ныне день ангела Лизы, и еще под влиянием выпитого в изобилии вина и разнородных чувств, бушевавших в его груди,

вздумал идти к Ранеевым с поздравлением и, кстати, проститься с ними навсегда.

Он будет верно там, увижу его, спугну веселье жениха и невесты, побешу ее, побешу старика. Кстати, есть богатая тема — Польша. Брошу им в глаза накипевшую в груди желчь, потешусь хотя этим мщением. Завтра разделят нас сотни верст, а там целая вечность!

Приведя немного в порядок свой туалет, он направил шаги к заветному дому на Пресне, где некогда считал себя таким счастливым.

Пока он идет к этому дому, мы будем иметь время заглянуть в небольшой кружок, человек из семи, считая и семейных, собравшийся у Ранеевых в саду около большого круглого стола.

Здесь были Сурмин, Тони, вдова Левкоева, соседка по квартире Ранеевых, сынок ее, только что на днях испеченный корнет, и маленький, худенький студент — юрист Лидин, которого привела с собою Тони. Он хаживал к Крошке Дорит то посоветоваться с ней, то посоветовать ей по какому-нибудь запутанному делу, то позаимствовать у нее «томик» свода законов. Двух братьев Лориных и Даши тут не было, потому что они избегали всякого светского общества. Остальных членов семейства Ранеевы не знали даже в лицо.

День был прекрасный, какими редко балует нас в это время наша скупая природа. Лиза, во всем сиянии своей красоты, без всяких украшений, кроме одинокого цветка на голове и другого у груди, сидела под древним кленом близ незатейливой беседки, которую Тони и студент убрали гирляндами и разноцветными фонариками. Осень успела уже порядочно обшипать листья с дерев, да и те, которые держались еще на ветках своими больными стеблями, уступали слабой струе ветра и, кружась, падали на землю. Зато, назло ей, в клумбах красовались в полноте жизни пышные букеты левкоев и кусты далий.

Подле Лизы с одной стороны сидела Левкоева, полная дама, раскрасневшаяся от избытка здоровья и жаркого многоглаголанья. Движения ее были энергические, речь бойкая, иногда резкая. По временам пере-

сыпала она ее остроумными анекдотами, от которых вспыхивал всеобщий смех, или цитатою стихов любимых русских поэтов. Память у нее была неиссякаемый родник. Читала она стихи мастерски, соединяя с простотою чтения, где нужно было, и умение модулировать свой голос и выставляя в ярком свете красоты поэтического произведения. Чего и кого не знала она в Москве! Это была хроникер самых интересных вестей и портретист, правда, в карикатурном жанре, но этот жанр и нравится людям, которые любят погулять насчет ближнего. А много ли таких, которые не любят? И дали ей по качествам кличку: «бой-баба, душа компании». Эта пчелка несла кому мед, кому яд, но и в последнем случае, приятно пожужжав около особы, которую хотела укусить. Завистлива она была до того, что завидовала иногда лишнему блюду на скромном столе Раневых; она, кажется, посмотрела бы с завистью на серебряную монету подле медного гроша в руке нищего. Михайла Аполлоныч сначала полюбил ее как приятную собеседницу, но скоро, прозрев, что сквозь все поры ее душонки выступали нечистые страстишки, сказал дочери:

— Эта бой-баба *не по мне*.

Отделаться, однако ж, от нее было нелегко: играя переливами своей золотистой кожи, смотря на вас своими мягкими глазками, эта змейка тихо, вкрадчиво приползала к груди вашей и согревала себе на ней теплое местечко.

Стали говорить о Польше, о поляках — тогдашний обильный клад для бесед, да и ныне, кажется, неистощенный, потому что новые подземные ключи беспрепятственно его питают и выбиваются наружу.

Полетела стрелка за стрелкой из колчана злословия Левкоевой, всегда туго ими набитого, полетела одна по какому-то особо тонкому или злому расчету и «в женоподобного» Адониса, Владислава Стабровского, который не налюбуется своею красотой. «Этот не пойдет в жонд не из преданности к России, а из боязни, чтобы сабля не изуродовала его хорошенького личика».

Ранеев поморщился, но не сказал ни слова. Ему не-

приятно было слышать отзыв о родственнике, тем более, что находился не в мирных с ним отношениях.

Тони, сидевшая возле Левкоевой, неожиданно взялась защищать отсутствующего.

— Неправда,— гневно сказала она,— сколько знаю Стабровского, я никогда не замечала, чтоб он был занят собой. Что ж до его красоты, то никто, конечно, кроме вас не найдет в ней ничего женоподобного. Скорее, к его энергической, одушевленной физиономии шли бы латы, каска с конским хвостом, чем одежда мирного гражданина. Воображаю, как он хорош бы был на коне, с палашом в руке, впереди эскадрона латников, когда они несутся на неприятеля, когда от топота лошадей ходит земля и стонет воздух от звука оружий.

Тони говорила с особнным одушевлением.

— Уж не затронул ли он...— начала было Левкоева.

— Моего сердца,— спешила твердым голосом перебить ее Тони,— ошибаетесь! Нет, но затронула меня ваша несправедливая речь.

— Bravo, bravo! — закричал Ранеев, хлопая в ладоши, потом схватил руку ее и поцеловал.

Сурмин с изумлением и невольным восторгом посмотрел на Тони, которую он не видал никогда так поэтически увлекательной. Лиза улыбнулась,— ее подруга говорила красноречием ее сердца, говорила то, что бы она сказала, если бы только могла.

— Молодец — барышня,— воскликнула Левкоева, бросаясь целовать свою победительницу.— *Montrez-moi ton vainqueur et je cours l'embrasser.*

— Да где ж она набралась такого батального духа, словно жила между военными,— не пропустила кольнуть ее бой-баба.

— На красносельских маневрах,— спокойно отвечала Тони.

— Полноте, кумушка, Аграфена Федотовна,— сказал Ранеев,— чесать язычок насчет ближнего. Ведь это все равно, что звуки бубенчиков, которые давно шумят у меня в ушах; много звону, да неприятно слушать. Извините, ведь мы большие приятели, да и родня

по кумовству, а друзьям можно говорить и резкую правду.

— Давно и я говорю: ангельская душа Михайла Аполлоныч одною ногою держится на земле, а другую занес прямо в рай. Правда, многоуважаемый друг, язык мой — враг мой. Поверьте, грехи мои от него, а не от сердца. Я сама *добрая душа*, как Бог свят.

Тут Левкоева вздохнула, поведя глазами к небу.

— Ссылаюсь на вас, *mesdames*.

Лиза и Тони кивнули ей в знак согласия.

— Петруша, вели-ка отъехать своему экипажу подальше, а то в самом деле глухари прожужжали нам уши.

Петруша, к которому обращалась речь Левкоевой, был сынок ее, недавно выпущенный в офицеры. Он стоял недалеко на дорожке, пощипывая усики, только что пробившиеся, и не тронулся с места, занятый горячим разговором с маленьким студентом, — не слышал ли слов матери, или слышал, но пропустил мимо ушей.

— О! он у меня большой философ, — сказала озадаченная Левкоева, — заговорит о каком-нибудь современном вопросе, глух ко всему постороннему; для философии и литературы пренебрег в училище и математикой.

— Философия нынешнего времени, — заметил Ранеев, — увлекаясь своим критическим настроением, учит, конечно, вашего сына не уважать голоса матери. Да позвольте вас спросить, из какого богатства он так кутит, нанимает четверки в лихой упряжи. Кажется, у вас самих средства не очень крупные, как вы сами говорите.

— Я ни копейки не дала ему на эту блажную потеху; князь Поддубравский захотел побаловать моего офицера и нанял ему на нынешний день четверку от Ечкина. Кто молод не бывал!

Она лгала.

— Кстати, — продолжала Левкоева, желая замять разговор о сыне, — я заехала с ним по поручению одной графини узнать положение семейства вдовы бедного чиновника — недавно умер чахоткой от усиленной канцелярской работы. Вообразите, нахожу больную

женщину, еще молодую, с шестерыми детьми (двух или трех она для большого эффекта прибавила). И где ж? На пустыре, заросшем по грудь крапивой и репейником. Вблизи пруд, подернутый зеленоватою корой, от которого несет нестерпимо гнилью. Жилище их — шалаш, кое-как сколоченный из досконок, постель — гнилая солома, которую мочит дождь сквозь щели бивуачной крыши и парит полуденный зной. В этой конуре, на этой постели лежали не собачонки, а творения с образом Божиим. Иссохшую грудь матери, изнуренной болезнью, горем, лишениями всякого рода, теребил, кусал младенец, чтобы выжать из нее хоть каплю молока. Кругом другие дети кричали: хлеба, хлеба, жадная мама! И глаза их иступленно блуждали по углам шалаша, как будто шарили ими, не найдется ли где кусок хлеба.

В голосе Левкоевой были слезы, мимика ее была артистическая.

— Сердце поворотилось у меня в груди, — продолжала она, — недолго думая, еду к графине, описываю ей эту ужасную картину. Божественная женщина! Она дала пятьдесят рублей и к завтрашнему дню обещала еще сто от своих приятельниц.

Тут она не лгала: графиня, о которой она говорила, была ангел во плоти. Желая, чтобы одна рука не знала, что подает другая, она через свою поверенную делала много добра.

Действительно, Левкоева своим бойким язычком, вкрадчивостью и искусством скоро угадывать натуры и подлаживаться к ним, приобрела расположение некоторых благотворительных аристократических дам и мужчин. Одной, очень религиозной, писала письма, исполненные глубокого поэтизма, другой рассказывала легкие скандальные историйки; даже успела втереться в знакомство красавицы-польки, подарившей могилевскому легиону знамя. С одним либеральничала, с другим была пламенная патриотка, готовая выцарапать глаза тому, кто в ее присутствии осмелился бы отозваться дурно о ее дорогом отечестве. Когда ж находилась между двух противных сторон, старалась осторожно пройти между Сциллой и Харибдой, или пристать

к той, которая весила более на весах ее своим богатством и значением в свете. При всех этих случаях Левкоева не забывала французской поговорки: «*La bien-faisance bien entendue commence par soi-même*». Из разных щедрых рук сыпались на бедную вдову, живущую одним пенсионом, то на обмундировку сына, то ему на фронттовую лошадь, то на экипировку ее самой или домашнюю нужду. Злые язычки говорили, — но я не даю им веры, — будто она отделяла себе порядочную долю от тех благотворений, которые шли через ее руки. Это была просто клевета. В противном случае бедные, получавшие через нее помощь, не называли бы ее *доброю душой*, благодетельницей, матерью своей.

— Помогите и вы, *messieurs et mesdames*, добрым делом отпраздновать день ангела нашей хозяйки, у которой душа так же прекрасна, как и ее наружность, — сказала Левкоева.

Ранеев дал рублевую кредитку. Сурмин сунул осторожно Левкоевой две двадцатипятирублевые (которые, однако, к неудовольствию его, она разложила и тщательно расправила на столе). Тони сказала, что для дня Елизаветы дает елизаветинский империял, и обещала из своего гардероба платья для матери несчастного семейства; Лиза вызвалась одеть детей из гимназического и студенческого гардероба брата, который ему теперь не нужен; студент пошарил, пошарил в своем жилетном кармашке, вынул со дна его четвертак и отдал с ним день своего существования.

— А вы, разъезжающие на четверках? — спросил он.

— Довольно, что мать моя хлопчет об этих несчастных, — отвечал тот, — да, надо признаться, сердобольная душа, по обыкновению, немного прилагает. Уж ничего без красного словца.

Так как никто не расточал особенных знаков внимания воину-философу, кроме тех, которых требует долг гостеприимства и светской вежливости, и не старался занять его своею беседой о новейших вопросах, он отвел своего оппонента на прежнее место, с которого свело студента приглашение к пожертвованиям. По-прежнему он пощипывал свои усики, только что наме-

ченные, постукивал шпорами и гремел саблей, забыв, что это не принято, *несовременно*. Может быть, он думал этим стуком придать более энергии своей речи или озадачить бедного студентика, которого удостоил своего благорасположения. Жаль, что некому было рассказать ему, как громом шпор можно было в давно-прошедшее время сделать себе карьеру. Вы думаете, мой читатель, что я шучу. Нимало; я действительно знаю, как один юнкер или корнет из малороссов, являсь к графу Аракчееву на ординарцы, пошел в гору от того, что сорвал улыбку с его угрюмого лица молодецким пристуком шпор, так что пол задрожал и звук их раздался на всю приемную.

— Молодец! — сказал своим гнусливым голосом всеильный вельможа и приказал иметь его *на виду*.

Корнет наш говорил решительно, самонадеянно, без апелляции, все более и более горячился, до пены во рту. Да и слова его были только пена, снятая с разных теорий, тогда предпочтительно любимых юношами, и особенно с теорий одного модного сочинения, делавшего между ними фурор. Автор его, говорил воин-философ, гений, какого Россия еще не производила, с него начинается эра нашего умственного развития. Далее и далее перебрал он учение об эмансипации женщин, великое учреждение коммун, уравнение состояний, говорил с жаром о *труде*.

— Труд, труд, — провозглашал он, ударяя себя в грудь, — вот наш лозунг.

Брызги летели изо рта его, одна из них упала на скромное платье студентика. Этот поморщился, вытер ее носовым платком и продолжал спокойным, ровным голосом возражать ему.

— Вы напитались ретроградным духом Москвы, немудрено, что вы так говорите, — продолжал корнет. — Здесь, в этой Бухарии, цивилизованному, европейскому человеку дышать тяжело. Здесь все носит печать отсталости, все, от грязи на улицах, в которой утонуть можно, до беззубой московской литературы и младенческой науки. Не очаровывают ли вашу патриотическую душу оглушительные гимны ваших сорока сороков с басом *profondo* их дедушки — Ивана Велико-

го? Не поклонения ли?.. Мне просто от всего здесь тошно.

— Не договаривайте: я вас понимаю. Разговор о московской литературе и науке в сравнении с петербургскою повел бы нас слишком далеко. Помяните меня, ваши начала с шиком любимых ваших авторитетов доведут вас к худому концу. Что ж до чувств, на которые вы намекаете...

— Поставим точки.

— Спрошу вас только: неужели — извините — из спячки вашего животного материализма не пробуждалась в вас никогда духовная натура человека? Если ж в душе вашей нет искры того божественного огня, который отличает человека от других животных, так не прикасайтесь, по крайней мере, нечистыми руками к религиозному чувству народа. Всех философами посвоему не переделаете.

— Однако ж все-таки...

— К слову, расскажу вам случай из жизни одного новейшего мудреца, которого иные из нашей молодежи чествуют. Мне этот случай передан помещиком, недавно умершим. Во время путешествия своего по Швейцарии с известным нашим врачом Ин..... они заехали в Цюрих. Тогда Штраус читал там с кафедры свои лекции. Только что наши путешественники успели в гостинице разобрать свои чемоданы, как послышались на улице крики и ружейные выстрелы. Взглянули в окно — толпы народа залили улицы и хлынули к ратуше. Перепугались русские, думали, что затеялась в городе революция. Кельнер спешил их успокоить, сказав, что это скоро кончится, и они могут оставаться безопасно на своем месте.

— Хотят запретить Штраусу читать свои лекции, — прибавил кельнер, — и выгнать его из города. Он развращает сыновей наших своим безумным учением, хочет лишить нас лучшего утешения в жизни, лучшей надежды за гробом.

И в самом деле, вспыхнувший мятеж скоро угас, власти были вынуждены уступить религиозному чувству народа, Штраус был изгнан из города.

— Невежество, такие же глупые, как и стада, которые они пасут.

— Эти глупые пастухи имели, однако ж, Телля и много ученых знаменитостей, этот маленький народец пастухов стоит века цел и могуч среди других народов, в тысячу раз его могучее своими войсками и богатством. Ни одна политическая буря в соседних странах не поколебала его. Отчего? Оттого, что нравственные силы этого народца велики. Желал бы очень встретить вас года через четыре, пять, и уверен, что вы, познаваясь с опытами жизни,—если не пропадете,—заговорите другое.

— Моих убеждений не переменю, хотя бы мне пришлось прожить Мафусаилов век.

— Жаль. Я сам некогда в каком-то опьянении от чаду, которым был окурен, рассуждал, как вы. Здесь я отрезвился и узнал всю тщету и безрассудство идеек, которым прежде поклонялся. Здесь стремлюсь к одной цели: быть полезным моему отечеству, себе, старушке-матери и сестре. Себе, сказал я, потому что самоотвержение нахожу нужным только тогда, когда отечество действительно требует его для своего благосостояния и чести. Я уверен, что, исполняя свой долг на месте, которое сам себе выбрал, буду для него полезнее, чем пускать изо рта дымные колечки разных модных теорий. Вот мои убеждения. Могу только покончить нашу беседу одним вопросом. Получив на него ответ, поставлю точку молчания.

— Ожидаю вопроса.

— Мать ваша говорила мне, что дядя ваш, еще здравствующий, духовным актом завещал вам двадцать тысяч рублей. Вы их не приобретали собственным трудом, не правда ли?

Студентик, задав этот вопрос, лукаво улыбнулся, точно поставил ловушку, в которую должен был попасть глупый зверек.

Корнет с убеждениями помялся было отвечать, однако ж отвечал:

— Хоть не 20, а почти столько.

— Вы с жаром говорили мне о труде, об уравнении состояний и прочее. Когда получите эти деньги, отдадите ли их бедным или распределите на коммуны?

— Это дело другое,— невольно вырвалось у коммуниста.

Покраснев от своей опрометчивости, он стал пощипывать усики и отделяться от заданного ему вопроса какими-то двусмысленными словами, в которых нельзя было добраться ни до какого заключения.

Студент сжал руку в кулачок, махнул им энергичски, как будто вколачивая гвоздь молчания вместо того, чтобы ставить точку в конце своей речи, и, не сказав ни слова, отошел к кружку, сидевшему за столом, на котором шипел уже самовар.

В это время задрезжал колокольчик у входа квартиры.

— Не почтальон ли? — сказал Михайло Аполлоныч,— Марфа, Марфуша! Да, где ж она?

Служанка, стоявшая за несколько минут недалеко в ожидании приказаний господ, на этот раз отлучилась.

— Петруша,— только что проговорила Левкоева, но студент, догадываясь, что Петруша не двинется со своего места, поспешил туда, откуда слышался звонок.

У входных дверей стоял Владислав. Он с усмешкой глядел на четверку в наборной, тяжелой сбруе с цветными бантами в гривах и холках и бубенчиками. «Уж не женихова ли? — подумал он,— должен быть какой-нибудь фат!»

Дверь открылась, перед ним предстал студентик с вопросом, кого ему нужно.

— Ранеевых.

— Они в саду, пожалуйста, я провожу вас.

— Знаю я этот сад,— угрюмо процедил сквозь зубы Владислав и широкими, спешными шагами опередил своего спутника.

VII

Когда он явился перед маленьким обществом в саду, в глазах его был какой-то демонический блеск, на губах демоническая усмешка.

Лиза при виде его изменилась в лице; рука, держав-

шая чайник, из которого она наливала чай, задрожала. Это заметили Левкоева и Тони.

Стабровский и Сурмин встретились мимолетными взглядами и угадали, кто они таковы.

Сурмин мысленно признался, что «сердце редкой женщины может устоять против обаяния его красивой наружности, в которой не было ничего женоподобного», как говорила бой-баба. Владислав подумал: «Это должен быть жених ее, не этот же военный молокосос и не этот цыпленок-студент. Ничего, мужчина хоть куда, может понравиться иной женщине».

Старик Ранеев по близорукости прищурился, положил ладонь над глазами и, узнав Стабровского, насупил брови. Левкоева лукаво улыбнулась, на лице Тони изобразилось удивление: она давно не видала Владислава у Ранеевых.

— Я пришел поздравить вас с днем вашего ангела, Елизавета Михайловна, — сказал Владислав, подойдя с глубоким поклоном к Лизе, — и пожелать вам всего, чего вы сами себе желаете. Это поздравление банально — извините, я не приберу теперь лучшего. По крайней мере, верьте, оно от искреннего, преданного вам сердца.

— Благодарю, — могла только ответить Лиза.

Подойдя к Ранееву, он сказал:

— Я пришел проститься с вами, Михаил Аполлоныч.

— Куда это, батюшка, собрался? — спросил Ранеев.

— В отпуск, к матери, пишет, очень больна, желает меня благословить...

— Не в жонд ли, как и брата Ричарда? Знаем мы ее, патриотка от пяток до конца волос!

— Патриотизм, вы согласитесь, был всегда привилегией не низких душ.

— Низких, когда он действует впотьмах, изменнически, коварно, по-иезуитски.

— Не мое дело разбирать поступки моей матери, — я их и не ведаю; не знаю и того, что думает она делать из меня, знаю только, что долг детей свято повинно-

ваться воле родителей. Кроме закона природы, это повелевает нам и заповедь Божия.

Посылка эта была принята Лизой по назначению.

— Хоть бы она приказала вам изменнически поднять оружие на Россию, которая вас вскормила, воспитала, устроила вашу судьбу, которой вы присягали?

— Это до меня не касается, вероятно, брата моего; где он, что с ним, вы, должно быть, лучше меня знаете. Это может касаться до многих поляков, поднявших оружие против России.

— Чай, представляют важные резоны к своему оправданию; пожалуй, Россия у них виновата! С большой головы да на здоровую.

— Они говорят, что благодарность забывается народом, когда он стонет под железным игом, когда польское имя здесь в унижении, в презрении, религия их гонима, когда из поляков хотят сделать рабов, а не преданных подданных.

Ранеев готов был выйти из себя, колени его дрожали. Лиза, боясь, чтобы этот горячий разговор не повредил здоровью отца, взглянула умоляющими глазами на Владислава, но тот, заметив этот взгляд, остался все-таки неумолим.

Пожал старик руку Сурмину и сказал, немного успокоившись, указывая на Владислава:

— Этот молодой человек — Стабровский. Он мне родственник, хотя и дальний, но я любил его, как самого близкого. Уполномочиваю вас, — он, конечно, позволит, — поговорить с ним за меня. Не то боюсь по родству оскорбить его жестким словом. К тому же он теперь мой гость и на проводах. Может быть, мы с ним расстанемся до свидания *там*.

Ранеев указал на небо, потом, обращаясь к Владиславу, прибавил:

— Это мой лучший друг, Андрей Иваныч Сурмин. Не откажись поднять перчатку, которую он, жалеючи старика, бросит тебе за меня. Он человек беспристрастный, хотя хороший патриот, и лучше меня владеет оружием слова.

Молодые люди слегка друг другу поклонились.

— Бывало, — сказал Сурмин, добродушно улы-

баясь,— благородные рыцари, выходя на поединок, подавали друг другу руку. Вот вам моя рука, верьте, на ней нет пятна.

Стабровский немного смутился от неожиданного вызова, но невольно отвечал: «С удовольствием»,— и подал ему руку.

Ему предстояло защищать дело темное, революционное, которое он сам в душе осуждал; но он продал душу свою этому делу, как сатане, и должен был стоять за него, лишь бы удары падали больше на сердце отца и дочери. Он видел перед собою, как полагал, счастливого соперника, ему казалось, что он унижен, презрен, и, ослепленный своей страстью, сделался зол и мстителен.

Студент и корнет подошли ближе к месту поединка; Левкоева коварно улыбалась, мысленно представляла себе этот поединок в смешном виде, вроде боя петухов, спущенных один на другого. Она заранее радовалась, как завтра будет потешать своих покровительниц рассказом об этой уморительной сцене. Можно догадаться, что чувствовали в это время Лиза и ее подруга.

— Вы, конечно,— начал Сурмин,— живя в России, находясь на русской службе, не от себя, а от лица поляков высказали те нарекания, которые привыкли они пускать на ветер.

— Да, я говорил от лица поляков, только, кажется, не на ветер, а прямо в цель.

— Положим, так, то есть вы делаетесь адвокатом польского дела, а я русского.

— Я только передаю, что от них слышал, и умываю себе руки как в их убеждениях, так и действиях.

— Вы сказали, что польский народ стонет под игом русским. Где же этот народ?

— На всем пространстве из-за Вислы до Днестра.

— Вы не хуже меня знаете, что народ слагается из разных классов, которые держатся один за другого, как звенья одной цепи.

— Точно так.

— На том пространстве, которое вам угодно было отмежевать Польше, вижу я только с двух концов цепи

два далеко разрозненные звена — два класса: один высший, панский, другой — низший, крестьянский. С одной стороны, власть неограниченная, богатство, образование, сила, с другой — безмолвное унижение, бедность, невежество, рабство, какого у нас в России не бывало. Вы, Михайло Аполлоныч, долго жили в белорусском крае, вы знаете лучше меня быт тамошнего крестьянина.

— Да, слишком хорошо, — повернул Ранеев свое слово в речь противников. — Только вспомнишь о нем, так мороз по коже подирает. Стоит только поставить рядом русского крестьянина и белоруса. Что есть этот несчастный, в чем одет, под какой кровлей живет? И свет-то Божий проходит у него со двора через крошечные отверстия вместо окошек, а не с улицы. Какой-то сочинитель писал, «что и собаки, увидав панскую бричку, с испуга бросаются из подворогни».

— Вот тут-то стон — не народа, а одного класса от угнетения другим, — продолжал Сурмин. — Неужели вы думаете, что в нынешнюю революцию этот класс пристанет к своим притеснителям?

— Обещай ему земное Эльдорадо, и он пойдет, куда угодно.

— Не пойдет, потому что были уже филантропические обещания, да жаль было панам расстаться со своей властью над рабочей силой. Пока вы обещаете, а русское правительство дает. Теперь укажите мне у себя средний класс, который служил бы связью двух, о которых мы говорили. Нет его, а без него нет и народа.

— Не было, но поляки говорят, что его создали.

— Так, вдруг, в два-три месяца, по панскому хотению, по щучьему велению! Для такого рода фокусов не родился еще новый Пинетти. Позвольте же спросить: из какого же элемента он создан? Не из еврейского ли?

— Нет, из польских ремесленников, фабричных, экономов, официалистов, бывшей шляхты, у которой отняты русскими их исконные права.

— То есть из подонков народа. Это прекурьезная новость, учреждение небывалое. Извините, как я не считал польскую интеллигенцию легкомысленной, лю-

блящей строить здания на воздухе, но не полагал, что она дойдет до такого... (безрассудства, хотел он сказать, но не сказал) до такой крайности. Средний класс, как вы знаете, составляется из оседлых, имущественных граждан, а не из сброда всякой бездомной, наемной вольницы, готовой идти драться за того, кто приютит ее, получше накормит и, пуще всего, получше напоит горилкой. Это, конечно, будет или есть что-нибудь вроде шляхетской дворни, какую некогда магнаты возили на сеймы и сеймики голосить, буйствовать и драться за них. Неужели это класс народа? Спрашиваю вас, где же после того польский народ?

— Как хотите, а этот сброд — сила, с которой до сих пор не могут сладить ни ваша администрация, ни ваше регулярное войско со своими пушками. Посмотрите, какое единодушие патриотизма в называемом вами разрозненном народе. Сила эта растет не по дням, а по часам, эта сила нравственная, а перед нею ничто материальная.

— Правда, нас заставляли врасплох по милости русского простодушия, русской обломовщины, самоунижения. Правда и то, что хитрость, коварство, измена искусно проводили, где только могли, пороховые мины под русскую землю. Давно уже приготавливали взрыв ксендзы своими проповедями, пани и паненки чарами своей красоты, магнаты своим золотом, зависть иностранных держав к возрастающей силе России. Но, слава Богу, Россия почувала, что невечно же ей играть в жмурки с врагами своими, скидает повязку с глаз, приложила руку к сердцу — бьется по-прежнему патриотизмом двух двенадцатых годов. Кликнет клич, и встанет народ русский, вот тут-то я скажу: народ встанет как один человек. Тогда мы увидим, на чьей стороне истинная сила.

— Увидим.

— Вы отмерили для польской национальности земли из-за Вислы до Днепра и забыли, конечно, что в Литве, в Белоруссии, на Волыни, в Киеве живут миллионы русских, православных — какая же тут польская национальность?

— Киев не должен, не может принадлежать полякам.

— Слава Богу,— сказал Ранеев, скидывая шляпу,—хоть купель нашего христианства нам отдают. Благодарите, господа и госпожи, от лица всех русских.

— В этом случае вы говорите, вероятно, от себя,— продолжал Сурмин,— поляки и Киев считают своим законным достоянием. Посмотрите, как они там работают. Уже если рука протянулась, так брать все, что глазами воображения можно взять до Черного моря. Я повторяю свой вопрос: где же в православном, русском по числу населения крае польская национальность? Одни паны не составляют еще ее, как мы сказали.

— Крестьяне, что дети, выучатся тому языку, которому заставляют их учиться, тем молитвам, тому знамению креста, которыми велят им молиться, и сделаются католиками, поляками.

— Зачем же им переучиваться? Из какого добра делаться им поляками, когда они русские, православные? Дети эти дорожат крестом, которым крестились их отцы и деды, твердо помнят, что они русские по вере и языку, дорожат этим заповеданным наследством, несмотря на все происки и обольщения иезуитов и тиранию панов. Вы говорили о гонении вашей веры, о притязаниях на вашу совесть.

— Говорил.

— И это клевета, сударь, бесстыдная клевета, выдуманная теми же иезуитами, тою же панской интеллигенцией, теми и другими для своих корыстных целей. Россия известна своей терпимостью ко всем верам, которые исповедывают ее подданные. Это истина, которую не хотят признать одни ее враги. Господствующая вера есть в каждом государстве. Не посягайте только на законные права ее, не делайте из католической веры какую-то польскую, не делайте ее орудием для революции. А как ваша вера унижена в Литве, в Белоруссии? У дяди моего есть имение в Витебской губернии. Он рассказывал мне о величественной архитектуре ваших каменных костелов, о довольстве и комфортной жизни ваших бессемейных ксендзов. А наши церкви?.. тесны,

ветхи, на крышах поросли деревья, скудна церковная утварь, истлели одежды служителей алтаря. Только такие были в первые века христианства, когда воздвигали на него гонения. А как живут со своими семействами наши пастыри духовные? В бедных хатах их дождь льет сквозь крышу, нужды их одолевают. Где же гонения на вашу веру, на чьей стороне унижение?

— Правда, но и это доказывает, что польская национальность выше вашей в этом крае, что она умеет достойно поддерживать и храмы свои, и своих пастырей.

— Опять польская национальность! Я должен паки и повторить вам прежнее наше заключение, что там нет польской национальности, где нет польского народа. А ваша заметка доказывает, что преобладающий, высший и богатый класс поляков заботится только о поддержке своей веры и унижении русской, которая есть вера их бедных, угнетенных крестьян.

Ранеев не выдержал и к речи Сурмина прибавил иронически:

— А какими обольщениями не пытаются этих несчастных! Образумься, дескать, сынку,—говорят им ксендзы,—полно тебе мотать ноги, ходить за десятки верст молиться в бедные русские церкви, которые того и гляди обрушатся на твою голову. Полно хоронить на дальних кладбищах, в глуши лесной, своих братьев и отцов. Не лучше ль бы было тебе молиться и исполнять свои требы в наших богатых костелах, бок о бок с вашими домами, слушать божественную музыку наших органов и трогательную, горячую проповедь нашу. Пусть бы почивали тогда в мире кости твоих отцов и братьев у подножия наших храмов. Но не слушают бедные русские крестьяне этих обольстительных речей и по-прежнему ходят они за десятки верст в свои ветхие, разрушающиеся храмы и хоронят прах своих кровных в глуши лесов.

— Теперь остается нам очистить один из самых важных нареканий ваших на Россию,—сказал Сурмин,—если мы не наскучили своим длинным спором и особенно я своим ораторством нашим слушателям и слушательницам...

— Сделайте одолжение, продолжайте,— сказали Тони и Ранеев в один голос.

— А вы как, Лизавета Михайловна? Вы, кажется, любите споры. Помню ваши слова, некогда мне сказанные: «В природе, в жизни, все спор; что ж за победа без борьбы!»

— Я и теперь то же повторю и буду слушать вас с особенным удовольствием. В ваших словах столько патриотического чувства и нет никакого хвастовства.

И эта посылка была принята по назначению.

— Вы сказали,— продолжал торжествующий адвокат русского дела, обращаясь к Стабровскому,— что польское имя здесь унижено, в презрении.

— Говорил.

— Не слова, а факты доказывают противное. Дети так называемых вами поляков, из какой бы губернии они ни были, принимаются в наши учебные заведения, гражданские и военные, на счет правительства наравне с русскими, без всякого предпочтения одних другим.

— Ничего не имею против этого сказать.

— В войске русском, в судах, в местах финансовых, административных, вы везде стоите с нами рядом. Взгляните в адрес-календарь и вы удостоверитесь собственными глазами, сколько польских имен занимают видные, почетные и выгодные места в государстве.

— Все так, но эти улаживания, так сказать, по усам, не вознаградят поляков за потерю свободы, самостоятельности их отечества.

— Вы пользовались широкой свободой во времена ваших польских и саксонских королей, и что ж вы из нее сделали? Довели до раздела Польши. Великодушный, высокогуманный государь дал вам конституцию и как вы ею воспользовались?

— Конституция эта была нарушена разными неправдами.

— Извините, вы ее нарушили революционными тенденциями, стремлением к анархии. Вы и тут доказали, что законная свобода не по натуре вашей, что вы неспособны пользоваться ею.

— Если смотреть с вашей стороны, многое из ва-

ших слов, может быть, *резонно*; могу только от лица моих компатриотов, без всяких паки, сказать в заключение: «Польша до тех пор не успокоится, пока не будет Польшей, или погибнет».

— И погибнет, если не сольется с Россией,— возвысил свой голос старик Ранеев, потрясая рукой,— двум рекам нельзя отдельно течь в одном русле.

— Спрошу вас еще, все ли польские уроженцы, как вы называете и белорусцев, говорят то же, что вы сказали? — спросил Сурмин.

— Уж конечно, все единодушно; между ними я не знаю отступников.

— Я найду вам живые противоречия; для примера укажу вам на одного, мстиславца.

— Я желал бы знать имя этого презренного человека.

— Напротив того, это честнейший, благороднейший из людей; имя ему Пржшедиловский.

Это имя ошеломило Владислава, куда девались все доводы его в пользу дела, за которое он так горячо ратовал!

— Пржшедиловский? Он мой друг.

— А мой адвокат по весьма важным, интересным делам и человек, за которого отдал бы я с удовольствием сестру свою, если бы он не был женат и любил ее.

— Ваши отзывы о нем не преувеличены. Пржшедиловский, конечно, не скажет о польском деле того, что я говорил, потому что он счастлив здесь. Русская девушка, которую он страстно любил, отдала ему свое сердце и руку, отец ее не погнушался принять поляка в свое семейство. Мудрено ли, что он прирос сердцем к русской земле!

— Отец его жены, конечно, не погнушался отдать дочь свою за белоруса,— отозвался Ранеев с какой-то горечью в голосе,— потому что уверен был в твердости и честности его характера, уверен был, что ни брат его, если он у него есть, ни он сам не изменит своему долгу и чести, хотя бы сулили ему номинацию не только в пулковники, но и в воеводы.

Как растопленный свинец, метко падали капля за каплей эти слова на сердце Стабровского.

Лиза шепнула своей подруге, чтобы не зажигали фонариков; ей было не до иллюминации; праздник был расстроен.

— Судьей в этом споре, — сказал Ранеев, — я не желаю быть и сам себя отвожу по личным моим отношениям к обеим сторонам. Пусть Антонина Павловна и дочь моя решат его и подадут, одна или другая, руку победителю.

Глаза Лизы горели лихорадочным огнем, она порывисто встала со своих кресел и спешила подать руку Сурмину, на эту руку наложила свою и Тони, как бы в знак тройственного союза.

— Как же, — заметила Левкоева, коварно улыбаясь, — вы, Антонина Павловна, недавно так горячо защищая пана Стабровского, желали ему воинственной карьеры?

На это злое и неприличное замечание, сначала немного было смутившись, потом с твердостью отвечала Тони:

— Когда возводили вы на него напраслину, я была за него, а теперь против него правда и сердце русской женщины.

Ранеев грустно покачал головой.

— Эх, Владислав, — дружески произнес он, — жаль, очень жаль мне тебя, ты не таков был, когда мы тебя впервые узнали. Тебя совратили безумцы с истинного пути. Образумься, не то, помяни меня, они тебя погубят.

— Я должен был говорить, что сказал, я не мог иначе говорить, — отвечал Владислав.

Голос его замер, слезы выступили на глаза, и он, закрыв их рукой, не простившись ни с кем, быстро направил свои шаги к садовой калитке.

Все, оставшиеся на своих местах, молчали, смотря друг на друга, как бы спрашивая друг друга разгадки этого быстрого исчезновения, этих слез.

Только одна хорошо понимала их.

Между тем корнет-философ, желая полиберальничать, догнал Стабровского у калитки и закричал ему:

— Позвольте!

— Что вам угодно от меня? — резко спросил тот.

— Вы правы.

И понес было философ разную речь о сепаратизме и федерализме вроде «центрального движения, воздушного давления».

Владислав спешил обрезать его на первых словах.

— На это я буду иметь честь доложить вам вот что, — отвечал он сердито и громко, так что могли слышать его оставшиеся в саду. — Я понимаю еще стремление поляков к самостоятельности Польши, может быть, безрассудное, несбыточное, горячо сочувствую движению итальянцев, как и немцев, к объединению Италии и Германии. В нем они видят благо своего отечества. Но не понимаю, чего желают подобные вам русские в разъединении России, в ее обессилении. Я называю это просто безумием, низостью — и потому таких людей презираю.

Юноша-философ погрозил ему кулаком в спину. Проглотив оскорбление, он возвратился в сад, будто опущенный в холодную воду, но тут встретила его мать грозным приказанием сейчас уехать в свою гостиницу и не сметь показываться ей на глаза, пока сама не вызовет его.

Собеседники расстались, унося с собой разные впечатления, оставленные в сердце их *Елизаветиным днем*.

Когда Раневые возвратились на свою квартиру, с мезонина послышалась трогательная молитва, прекрасно исполненная тремя голосами с аккомпанементом рояля.

И помолились усердно отец и дочь, чтобы Владислав обратился на путь истинный.

VIII

На другой день около десяти часов утра шла Лиза, углубленная в мрачные мысли о вчерашнем дне, по набережной Пресненского пруда, в дом, где она давала уроки. Все, на небе и вокруг нее, согласовалось с печальным настроением ее души. День был пасмурный,

желтые листья устлали землю; от пруда, подернутого будто свинцом, веяло пронзительным холодом; осенние птички жалобно чирикали в обнаженных кустах. Казалось Лизе, что она со вчерашнего дня отделилась от всего, что радовало ее еще в людях и в природе. Ни души не было в саду, но если бы кто ей попался навстречу или обгонял ее, он мелькнул бы перед ней, как тень.

Вдруг слышит, кто-то назвал ее по имени. Голос знакомый, голос Владислава, но не тот смелый, звучный, который некогда ласкал ее сердце, а робкий, грустный, словно замогильный.

Она вздрогнула; перед ней стоял Владислав.

Лиза испугалась было, но скоро оправилась и, нагнув брови на глаза, спросила:

— Что вам угодно?

— Вчера, убитый горем и унижением своим, я не простился с вами... я узнал, что вы в этот день, в этот час проходите здесь, и пришел...

— Кто же довел вас до этого унижения? — спешила перебить его Лиза, — не вы ли сами? И теперь не вздумали ли стать на моей дороге, чтобы оскорбить меня какими-нибудь новыми безумными речами? Довольно и того, что вы вчера, в день моего ангела, при многих посторонних свидетелях, пришли расстроить мой праздник, внести смуту в наше маленькое мирное общество, огорчить моего больного старика и будто ножом порваться в груди моей.

— Я ныне хотел вас видеть только для того, чтобы попросить у ног ваших прощение за мои безумные речи, за все, чем мог вчера огорчить отца вашего и вас. Хоть не проклинайте меня.

— Где же был ваш рассудок, ваша так названная высокая любовь ко мне?

— Я потерял совсем голову, потому что потерял все, что мне дорого было в жизни. Признаюсь вам, вчера раздосадованный, огорченный вашим ответом, после пирушки на проводах моих друзей, отуманенный вином, я пришел прямо к вам...

— Вы уж и до этого дошли.

— Отчаяние до всего доводит, до убийства тела

и души. Весть, что у вас есть жених, что вы скоро выходите замуж...

— За кого, позвольте вас спросить?

— За Сурмина, этого вчерашнего красноречивого оратора.

— Красноречивого, согласна, потому что он говорил от души как русский патриот. Однако ж, откуда почерпнули вы эти сведения?

— Ваша бывшая няня сказала это моему слуге, когда я посылал вам роковое письмо.

— Большие же успехи делаете вы на разных благородных путях! Я не знала еще до сих пор у вас достоинства подбирать сор на задних крыльцах. Не имею нужды отдавать вам отчет в своих намерениях и чувствах, но так как слух, до вас дошедший, чистая ложь, бабья сплетня, то по старой дружбе и должна вам сказать: Сурмин ни явно, ни тайно не был никогда моим женихом. Люблю его как доброго, благородного друга моего отца, как приятного, умного собеседника — ничего более. Уважаю его и за то, что он никогда не посягнет на семейное спокойствие кого бы то ни стало. В том, что я сказала вам, свидетель тот, кто читает в душе нашей. Осталась ли еще у вас искра благородства и рассудка, чтобы поверить женщине, которую вы некогда называли своим другом?

— Верю, верю я, сто раз безумный, сто раз несчастный! Теперь поймешь, что происходило в моей душе, когда я пришел к вам. Холодный ответ твой на мое письмо...

— Ты вчера говорил, что обязан повиноваться воле матери, что не можешь и не должен сказать ничего, кроме того, что говорил. И я тоже не могла написать тебе ничего, кроме того, что писала (Лиза говорила это более задушевно, любящим голосом.) Поверь мне, Владислав, бывает в жизни человека стечение роковых обстоятельств — ты сам их понимаешь, ты сам и брат твой накликали их... Перед этими обстоятельствами падают слабые души, более сильные торжествуют над ними. Ты увлечен ими, пойдя против них... не уезжай... (она схватила его руку и сжала в своей), *останься...*

В голосе, произносившем слова: «Не уезжай, оста-
нись», было столько любви, столько надежд.

— Я послушался бы тебя, если б ты мне сказала эти слова, только одни эти слова, дня за два тому назад, теперь уже *поздно*. Лиза, друг мой, позволь мне еще раз, конечно, последний, назвать тебя этим сладким именем и унести его с собой в мою мрачную будущность. Своим безрассудством я обрек себя на погибель, воротиться не могу и должен погибнуть. Осталось мне молить Бога, чтобы ты была счастлива, просить тебя сохранить сердечную память о человеке, который любил тебя, как никто на свете не может тебя любить. Прощай. Попроси за меня отца простить мне безумные мои речи. Благодарю тебя за те прекрасные минуты, которыми ты меня подарила, за то счастье, которое теперь испытываю; прощай еще раз.

Рука Лизы была еще в его руке, он с жаром поцеловал ее, уронив на нее не одну горячую слезу.

— Прощай,— сказала Лиза и судорожно сжала его руку.

Грудь ее готова была разорваться, но она превозмогла себя, махнула ему платком, и пошли они оба в разные стороны с тем, чтобы, может быть, никогда не свидеться. Никто из них не заметил, что за ними наблюдал зоркий глаз соглядатая.

Так же спокойно, так же внимательно, как и всегда, дала она урок своим ученицам; ни в голосе ее, ни на лице незаметно было никакой перемены.

Пришедши домой, Лиза рассказала отцу о встрече с Владиславом и как он глубоко раскаивался в своих вчерашних безумных речах и как просил у него прощения.

Отец прижал ее к своей груди, поцеловал в лоб и перекрестил. Ни одного слова не произнес он при этом.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

I

Купчиха вдова Варвара Тимофеевна Маврушкина занимала богато убранный дом. При ней жили трое малолетних детей от 10 до 14 лет. Гувернер у них был поляк, учителя, ходившие давать им уроки,— большею частью поляки, которых выбор и назначение зависели от *друга дома*, Людвиновича, уже знакомого нам. Муж Маврушкиной завещал ей на условиях богатое денежное состояние помимо наследства, оставленного детям. Сверх того на воспитание и содержание их отпущалась ей ежегодно значительная сумма. Заглянем сначала в отделение детское. В классной комнате за столом, на котором разложена карта, сидят трое мальчиков, внимательно слушая урок, задаваемый им учителем истории и географии. Между словесными объяснениями он оттушевывал на карте карандашом своеобразные границы Польши и таким образом несколькими штрихами графита завоевывал для нее у России не только Царство Польское, но и все губернии, отошедшие к нам с 1772 года.

— Помните, милые дети,— говорил он с несколько польским акцентом,— Королевство Польское тянется с запада от границ Пруссии и Австрии до Днепра в разрезе города Смоленска, с севера на юг от Балтийского моря до Карпатских гор и с юго-запада от границ немецкой Австрии до Киевской губернии включительно.

— Как же,— спросил старший из учеников,— на карте означены другие границы? А ваши, карандашные, можно разом стереть резинкой.

— Это старая, негодная, неправильная карта. Она копирована с той, которая была составлена по приказанию императрицы Екатерины II. Я вам на днях принесу новую. Надо вам сказать, это была властолюбивая женщина. Расскажу о ней, когда дойдем до нее в истории России. Так извольте видеть, она всякой неправдой забирала чужие земли, а на поляках хотела отместить за то, что они были некогда господами русского

государства, да и в цари был выбран самими русскими польский королевич Владислав. Воспользовалась она нашими домашними смутами, подкупила изменников, каких везде бывает, задарила их золотом, соединилась с австрияками и пруссаками, да и разделила с ними Польшу на три части. Несправедливость, вопиющая к Богу! Но отольются волкам слезы агнцев. Это все равно, как если бы я подкупил слуг вашей мамы и с ними в одну ночь обобрал ее. Не правда ли?

Маленькие слушатели в знак согласия кивнули головой.

— Русский император Александр Благословенный восстановил Польское Королевство и хотел было по чувству правосудия и законности возратить ему те границы, которые я вам начертил на карте, но преемники его пошли по стопам бабушки. Жаль им сделали прекрасных, богатых земель наших. Лет за тридцать тому назад поляки пытались было потянуться за свои законные, Богом данные границы, да тогда было еще не время — сила одолела. Вот ныне дело другое. Польша восстала, вся Европа идет к ней на помощь, и вы увидите, много через полгода она войдет в прежние свои пределы. Тогда мы будем владеть своим, а вы своим, и станем жить как добрые братья, дети одной славянской семьи. Вы завоюете всю Азию, тут же и Китай, заберете в свои руки всю чайную торговлю, разбогатеете и будете просвещать тамошние народы, а мы вас. Надо вам сказать, друзья мои, — поляки народ рыцарский, благородный, умный, образованный, не то что ваши русские, мужики грубые, неотесанные, от которых несет луком... Сравните хоть пана Людвиновича с вашим дядей, что кладет только крест на рот, когда...

Учитель, для вящего убеждения своих слушателей в необразованности русских отцов, попытался подражать неким неприличным гортанным звукам.

Дети смеялись.

— Но вот вы теперь учитесь, займитесь от нас всего доброго, умного и полезного и, Бог даст, сравняетесь с нами. — А наши пани и паненки... посмотрели бы на них... Что за красавицы! Какие плечики, грудь,

какая ножка! А как подхватят вас на мазурку, да взглянут на вас своим жгучим взглядом, словно золотом дарят, поневоле растаешь. Не то, что ваши лапотницы.

Глазки старшего слушателя необыкновенно заискрились. И продолжал педагог-искуситель свою лекцию в том же роде.

Маврушкина была женщина лет с лишком сорока, худощавая, перегорелая в огне чувственной любви. Сказывала же она себе тридцать с небольшим, между тем как у нее были дочери замужем и имели сами детей. И потому *бабушка* запрещала так называть ее при посторонних людях; в случае же, если внучки посещали сыновей ее, да к ней в это время приезжал Людвинович, так их опрометью выпроваживали в задние комнаты. Когда же выезжала на гулянье, брала с собой меньшого из своих детей, чтобы казаться молодою матерью. *Друг дома* знал все эти маневры, но притворялся, что не ведает их и боготворимую им женщину считает молодой и в высшей степени привлекательной. «Цель оправдывает средства», этому лозунгу служил он верно, презирая мнения русского общества, счастливый, что может из богатой сокровищницы купчихи черпать полными руками и пользоваться возможными земными благами, пока эта сокровищница не иссякнет. Маврушкина, с ограниченным умом, со слабым характером и сильным аппетитом любви, предалась совершенно своему обожателю, видела только его глазами, действовала только по его направлению. Апатичная к родным и детям, она со всем жаром, какой сохранился еще в ее крови, предалась своему кумиру. Всегда богато одетая по последней моде, искусно гримированная с помощью самых утонченных косметических снадобий, о которых ежедневно вычитывала из газет, надушенная, — она готова была во всякое время принять своего обожателя.

Ныне богатые купцы стараются соперничать с дворянами в светском образовании своих детей; не только воспитательницы француженки, но и англичанки появляются в их семействах, не только сыновья их, но и дочери стали делать экскурсии в чужие края. Но Варвара Тимофеевна родилась почти за полвека назад, когда купцы учили своих детей только читать и писать, да

разве первым четырем правилам арифметики. И в том, чему учили Маврушкину, сделала она слабые успехи. Писала она какими-то каракульками и безграмотно. Людвикович, получая ее послания, смеялся про себя над ними, но уверял ее, что читает их с величайшим наслаждением.

У всех порядочных людей есть кабинет, как же не иметь его такой богатой даме, как Варвара Тимофеевна,— говорил ее чичисбей и устроил ей кабинет на барскую ногу, со всеми модными письменными принадлежностями, купленными им за баснословную цену в лучших магазинах. Не забыта была и библиотека, в которой книги красовались своими великолепными переплетами, никогда не раскрываемыми, и потому оставались элевзинскими таинствами для обладательницы их. На стенах как-то дико смотрели, как будто изумленные своим появлением в жилище Маврушкиной, великие мужи разных народов, которых имена коверкала она по-своему. Над этими проделками смеялись родные и знакомые. Человек, который истинно любит, постарается отстранить от насмешек предмет своей любви, но Людвикович торговал собой, и ему нипочем было унижение женщины, купившей его особу, лишь бы извлечь из нее как можно более выгод для себя.

Варвара Тимофеевна в ожидании домашнего друга, вся в шелку, блондах, изукрашенная на руках, в ушах и на груди бриллиантами, приправленная разными косметическими соусами, одетая по последней моде, как будто манекен на выставке, сидела в своем кабинете и гадала в карты. Другого занятия она не знала.

— Так и есть,— говорила она сама с собою,— эта белобрысая не отходит от него, я у него в ногах. Туз пик и семерка треф — удар и слезы. Разлучница, пожалуй, отобьет его у меня. Нет, этому не бывать. Не пожалею ничего, чтобы расстроить их свадьбу. Горячей меня никто не может его любить; буду сыпать тысячами, а его никому не отдам; он поклялся мне своим Богом... Однако ж, не был два дня. Сказал, будет провожать друзей в Петербург, все-таки мог бы заехать. Разве сердится, что просрочила... Говорил, крайне нужно,

землицу дешево продать, там у них, в какой-то польской губернии, хочет купить бедному отцу и матери. Все проклятые попечители задержали. Хоть бы поскорее выдали мне всю завещанную сумму. Приезжай скорее, мой *анж* — кажется так выговариваю, благо Вася выучил. Успокой меня. Вот они десять тысяч, тут у сердца, но не дам прямо, пускай поиграет в отгадку.

Белобрысая соперница, так сильно растравлявшая ее сердце, была та самая молодая особа, которую Людвикovich вел несколько лет к венцу и до сих пор не доводил. Маврушкина знала, что между ними, как она говорила по-своему, нет ничего *худого*, потому что щедро платила прислуге Леденцовой (так называли нареченную), чтобы ей доносили, когда он бывает у ее соперницы и что между ними делается. Но все-таки ревнивую женщину, замечавшую утрату своих наружных чар, не могли эти мысли успокоить. Она принялась опять за карточную хиромантию. Бубновая дама опять неотвязчиво ложилась подле сердечного короля. Ее взяли горе и досада, и она принялась было писать к нему нежное письмо с упреками, что ее, больную, забыл, что ей стало хуже, что ей непременно нужно видеть его для дела, которое его самого сильно интересует. Выражения были большею частью выбраны из песенника. Только что кончила она послание, как послышался звонок. Звук его, дважды повторенный, один за другим, означал приход друга дома. Маврушкина спешила спрятать письмо под сукно стола.

Людвикovich вошел без доклада и, горячо поцеловав в два приема ее ручку или, вернее сказать, ее перстни, спросил о здоровье.

— Здорова-то, здорова,— отвечала она, сделав грустную мину,— только с тоски пропала по тебе. Жестокий! Легко ли, два дня не был.

— Я тебе сказал, что буду провожать друзей, да и больных на руках много, нельзя же их бросить.

— Не больна ли уж твоя нареченная? Чай, не преминул двадцать раз навестить.

— Опять все та же история! Разве не клялся я тебе Маткой Божьей и всеми святыми, что люблю тебя одну. Если езжу к Леденцовой, так для того, чтобы меня счи-

тали ее женихом. Она служит нам ширмами, за которыми прячем нашу связь. Поймешь ли ты, я берегу твое имя, твою честь. Кто мешал бы мне жениться на ней, если бы я хотел.

— Кто? — спросила со сверкающими глазами Маврушкина и выпрямилась, как разъяренная Медея. — Кто? — повторила она. — Я! Я заколю тебя и ее во время венчания и объявлю всем, на весь народ, что я твоя любовница.

— Ну, полно бесноваться, душка, ты остаешься для меня навсегда, мой милый, бесценный друг, которую не променяю ни на каких барышень, которую буду любить до гроба. Перестань хмуриться, улыбнись, моя краса. Поверь, что ты не можешь иметь друга более тебе преданного, готового пожертвовать тебе своею жизнью. Если после этого ты будешь ревновать меня, так лучше расстанемся.

— Скорее утоплюсь или удавлюсь.

— Ты говорила, что всякую минуту обо мне думала, а вспомнила ли свое обещание?

— Нет, забыла, неблагодарный! Поцелуй меня хорошенько, выручу.

— Хоть сто раз.

И поцеловал ее Юстиниан Павлович страстным поцелуем, захватив немного розовой помады с губ ее.

В упоении своей любви Варвара Тимофеевна недолго помучила его в отгадку, а пакет с 10 тысячами от сердца ее перешел к его сердцу, в боковой карман фрака.

— О! Как будут радоваться мои родители, что я их успокою на старости, как будут молить Бога за тебя!

Распростились они — Людвинович, довольный, что получил значительный куш, который может посвятить отчизне, — Маврушкина, счастливая уверенностью, что он безгранично одну ее любит и карты солгали. Вышедши в сени, он плюнул и платком обтер себе губы.

Надо было передать этот куш Жвирждовскому. Он поехал к нему, но не застал дома; слуга доложил, что капитан возвратится не прежде двух часов, не будет

обедать у себя, вечером поедет в театр и на другой день уедет в Петербург.

— Как быть? — подумал Людвикович, — в 2 часа мне непременно нужно по службе на совещание, потом у богатой родильницы, где меня, вероятно, задержат. Всего лучше доставлю ему деньги через Аннету Леденцову, она для меня готова в огонь и в воду. Милое, преданное мне создание.

Рассудивши таким образом, он поехал к весталке, столько лет неусыпно сжигающей огонь своего сердца на алтаре платонической любви, в надежде, что он скоро поведет ее к брачному алтарю.

Аннета жила с матерью своей, старушкой, слабой здоровьем и характером. Людвикович слыл у них в доме и у интимных их знакомых женихом дочери, хотя это не было объявлено формально, потому что он время от времени откладывал свадьбу по разным препятствиям и не так еще давно по причине, будто не совсем приличен брак с поляком в самый разгар польской революции. Блажен, кто верует, блаженны были мать и дочка Леденцовы, одна по простодушию своему, другая, ослепленная любовью. Надо сказать, что Аннета сначала их знакомства очень нравилась ему своим смазливym личиком, живостью характера и бойким умом, нравилась и придачей 15 тысяч, которые мать давала за нее чистоганом. Но случилось, что между колебаниями его, броситься ли ему в брачный омут или наслаждаться свободно, холостою жизнью, он стал лечить Маврушкину от разных истерических припадков, вылечил ее и сделался другом ее дома и сердца. Это обстоятельство, брошенное судьбою на весы его вместе с пачкою депозиток, положенных на одну из чашечек, перетянуло на сторону вдовушки и ту небольшую привязанность, которую он начинал чувствовать к Леденцовой. Искушение было сильное, но мимолетное. Он продолжал, однако ж, питать в сердце Аннеты надежду, что скоро увенчает их любовь законным союзом. Отважная, решительная, к тому же зараженная модными теориями об эмансипации женщин, хотя и отвергающая гражданский брак, но любя искренно Людвиг

ковича, Аннета готова была исполнить все, что он потребует для блага, пользы и спокойствия своего.

Аннета обрадовалась, как и всегда, его посещению и протянула ему свою руку, которую он несколько раз с жаром поцеловал. Мать ее была нездорова, и потому они могли наедине поверять друг другу свои тайны.

Скоро передана ей была та, для которой он к ней приехал.

— Вы знаете, милый Юстиниан Павлович, что я всегда счастлива, когда могу сделать для вас приятное,— сказала она.— По адресу, который вы мне даете, я вижу, что он живет недалеко, полчаса ходьбы, не более; да если бы мне пришлось для вас на край Москвы, я сделаю это с величайшим удовольствием.

— Смотрите, оденьтесь потеплее, погода суровая, а для меня ваше здоровье так дорого. Вы пойдете, конечно, под вуалью?

— Нет, с открытым лицом. Если встретятся знакомые, je m'en fiche. Все это предрассудки, на которые я плюю.

— Я советовал бы вам быть осторожнее: вы идете в гостиницу, вас узнают, могут проследить, распустят глупые слухи, а меня это очень бы огорчило. Помните, поручаю вам дело секретное. Человек, к которому вас адресую, не должен быть компрометирован.

— Будет по-вашему, мой милый повелитель.

— Знаю, что вы не потеряете пакета, и потому не имею нужды напоминать вам об этом.

— Ваш пакет с деньгами? Потеряю его разве с жизнью моей.

— Прощайте, мой ангел, еще вашу ручку, спешу к важной больной.

— Не держу вас. Мне также нужно по туалетной практике; хочу явиться перед вашим другом хорошенькой, чтобы он нашел меня достойной вас.

— Вы всегда моя прекрасная, божественная Аннета,— сказал Людвигович, целуя опять с упоением ее руку.— О! Когда бы мог назвать эту ручку своею. Смотрите, однако ж, не заслушивайтесь льстивых слов, которые вам будут расточать. Вы не знаете, я ревнив.

Она кокетливо погрозила ему пальчиком, он пошел было к двери, но воротился, прибавив:

— Не забудьте взять от него визитную карточку и попросите его написать на ней только одно слово: «получил».

— Все будет исполнено, как по воинскому артикулу.

Аннета проводила его поцелуем рукою на воздух.

В снях он не обтер губ своих и не плюнул, а только сказал про себя: «Черт побери, ныне она особенно интересна; кабы не чучело, набитое золотом, можно бы рискнуть».

Ровно к двум часам пополудни явилась она в гостиницу, где стоял Жвирждовский, и сказала швейцару, чтобы он передал нумерному такого-то номера, что капитана желает видеть дама по поручению доктора Л.

Швейцар позвал нумерного, стоявшего на площадке лестницы, и передал ему, что говорила дама в вуале.

— Ваша фамилия? — спросил нумерной.

— Аннета Чертоплясова.

— Вы смеетесь, сударыня.

— Хоть бы и так. Вот тебе целковый на водку, раздели с швейцаром и делай, что тебе велят.

Нумерной с целковым в руках пошел исполнять ее приказание и, дорогой повторяя имя Чертоплясовой, чуть не прыснул от смеха. Через три минуты он воротился к даме под вуалем с докладом, что капитан велел ее просить. Капитан догадался о мистификации. Провожаемая слугой, она у двери номера объявила ему, что он далее не нужен, и, войдя в номер, затворила за собой дверь.

— Заприте дверь на ключ, — сказала она Жвирждовскому.

Он исполнил волю таинственной незнакомки и попросил ее присесть на диван и сказать ему, кого он имеет честь принимать у себя.

— Мое настоящее имя вам не нужно знать, — отвечала она, садясь на диван и подняв вуаль. — Я имею поручение от доктора Людвиговича передать этот пакет. Считите деньги (она подала ему пакет.)

Дайте мне вашу карточку, приложите на ней печать и подпишите слово: «получил». Более ничего не нужно. Прошу поскорее...

Жвирждовский раскрыл пакет, прочел записку, в него вложенную, взял со стола карточку, зажег свечу, приложил печать и, написав, где нужно было, слово, которое от него требовали, вручил карточку Леденцовой.

— Считать я не стану, — сказал он, положив пакет в ящик письменного стола, — такому прекрасному поверенному, как вы, с такими ангельскими глазами, можно поверить миллионы. По записке моего друга я знаю, кто вы. Счастлив он, что имеет такую достойную невесту, еще счастливее будет, когда назовет вас свою супругой. Мне остается у ног ваших благодарить вас за ваше одолжение и за счастье, которое вы мне доставили своим посещением. Поблагодарите за все и моего друга. Дай Бог вам скорее исполнения ваших общих желаний. Верьте, обворожительные черты ваши никогда не изгладятся из моего признательного сердца.

Миссия Леденцовой была исполнена, она встала и, опустив вуаль, простилась с капитаном. Он проводил ее до парадного крыльца и при прощании отвесил ей глубокий поклон, чему были зрители нумерной и швейцар.

Эти знаки уважения госпоже Чертоплясовой в придачу к целковому на водку подвигли и трактирную прислугу к особенно почтительному провожанию таинственной дамы, пробывшей не больше пяти минут в номере и потому не возбудившей никакого нескромного подозрения.

Аннета Леденцова была наверху блаженства, она исполнила, как нельзя лучше, поручение своего милого жениха, слышала от его друга, капитана, столько лестного для себя, в его словах заключалось столько надежды.

Скорей, скорей на квартиру Людвиговича. У подъезда гостиницы она взяла щегольские пролетки, вспорхнула на них, не торгуясь, закричала извозчику:

— К Малиновым воротам! — и полетела к своему сердечному доверителю.

Доктора не было дома. Здесь она, по согласию со слугою его или человеком, — как называют еще наших слуг и как, по словам Тьерри, называли Норманы своих невольников — положила в кабинете карточку, служившую квитанцией в получении денег, не без наказа, чтобы она хранилась как зеница ока и была тотчас указана господину по возвращении его домой.

В этот день Сурмин был в Большом театре, где давали «Жизнь за царя». Он сидел в одном из первых рядов кресел и заметил, что в другом горячо аплодировал патриотическим местам пьесы офицер генерального штаба. Всмотревшись в него в антракте, он увидал, что это знакомый его по-прежнему месту служения, капитан Жвирждовский. Зная, что он находится ныне на службе в Вильно при главном начальнике края, Сурмин, из желания выведать, что делается в этом краю, подошел к нему. Они друг другу обрадовались, по крайней мере, наружно. Один притворился, что верен прежним связям товарищества, другой имел затаенную мысль, что не надо слишком доверять поляку, но все-таки никак не подозревая в нем изменника России. Когда б он знал да ведал, вместе с публикой, что в театре подле него сидит сам воевода могилевский!.. Помнявшись местами с его соседом, Сурмин занял кресло подле Жвирждовского. Слово за слово, большею частью голосом, настроенным на сурдинку, обрывками, сосед рассказал ему о смутах в Царстве Польском не только что было уже известно по газетам, но отчасти и то, что не было по ним известно, не компрометируя себя ни в отношении к польскому делу, которому тайно служил, ни в отношении к России, которой служил по наружности. Казалось, он был так откровенен, такой горячий русский патриот. В разговоре о состоянии умов в западных губерниях он заверял, что кроме безрассудных гимнов и революционных знаков в одежде все обстоит благополучно и что русским правительством приняты решительные и строгие меры к погашению революции, если б она, *паче чаяния*, вспыхнула в этом крае. Так умел капитан искусно пройти между двух перекрестных огней. Но не желая, как он заметил, чтобы соседи слышали то, что он имеет передать Сурмину

по секрету, он пригласил его к себе для более свободной беседы на следующий день в 2 часа пополудни, не ранее и не позже, и вручил ему карточку со своим адресом. Этот дал слово быть у него в назначенный час. Во все продолжение пьесы, воевода могилевский не изменил своей роли верноподданного и даже во время польских танцев, простившись с соседом в ожидании приятного свидания, вышел из театра, чтобы, как он заметил Сурмину, не смотреть на веселье поляков в такое смутное для них время.

На другой день в назначенный час Сурмин был в гостинице, где стоял Жвирждовский. Проходя длинным коридором к номеру его, он встретил какого-то купца с тощею, поседелою бородкой, в кафтане со сборами, вышедшего из этого номера. Шафранное лицо его, серо-желтые, косые глаза казались ему знакомы.

— Ба! да это тот самый, которого я видел на Кузнецком мосту, когда Ранеев боролся с ним, и который от него вырвался,— подумал Сурмин.— Но не ошибаюсь ли? Дай-ка, попробую, назову его по имени.

— Здравствуй, Киноваров, приятель Ранеева!— сказал он громко, обратившись к купцу.

Купец вздрогнул, от нечаянного ли к нему обращения, или от другой причины, посмотрел на Сурмина или на другой предмет в коридоре, что определить нельзя было по косине его глаз, и отвесил ему глубокий поклон.

— Вы верно обмишулились,— сказал он спокойно,— я купец Жучок из Динабурга, живу то в Белоруссии, то в Литве и не имею чести знать Ранеева.

Тут уж смутился Сурмин. Что было делать ему в этом случае? Он действительно мог ошибиться, Киноварова видел он только мельком. Правда, черты злодея врезались в его памяти, но разве не встречал он иногда на улице или в обществе человека, ему совершенно незнакомого, и не принимал его за своего давнишнего приятеля? Игра природы, не более! Разве она, лепя миллионы разнообразных личностей, не могла вылепить две по одной и той же форме? Да если б и не ошибался, что может он предпринять? Задержать купца, произвести тревогу в гостинице? К чему бы это повело?

К следствию, к суду, на которое он не был уполномочен Ранеевым; скорее, к хлопотам, в которых он безвыходно запутался бы, а, может быть, и пострадал бы. Он довольствовался только сказать: я тебя отыщу хоть на дне моря.

— Зачем нырять так глубоко, сударь, для такого мелкого человека, я стою в Зарядье на подворье № 56, где на досуге можете меня найти. Очень рад познакомиться с вами, может статья, мы и дельце с вами коммерческое затеем. Позвольте имя вашей милости.

— Мое имя Сурмин, не забудь его.

— Сурмин?— сказал купец, приложив руку ко лбу, как бы стараясь что-то вспомнить.— В Витебской губернии есть поместье одного русского барина, Петра Сергеевича Сурмина. Сам не живет в нем, больше пребывание имеет в Приреченском имении, а только наезжает по временам в Белоруссию.

— Это мой дядя,— отвечал Сурмин, ошеломленный показаниями того, кого принимал за Киновара.

— Как же, батюшка, ведем мы и с ним коммерческие дела, покупаем у него хлебца для винокуренных заводов. Прошлого года построил ему поташный завод. Валежника у него в лесу, что и зверю не пролезть. Говорю ему: что ж у вас, сударь, лес-то даром гниет, давайте-ка гнать поташ. И послушался. Теперь доходец славный получает. Как же, барин умный, хоть, не в осуждение будь сказано, характерный, любит поприжать нашего брата. Да и то сказать, не все люди Богом под одну масть подобраны. Давнишний благоприятель. Прошу и племянника любить меня и жаловать.

Купец подал Сурмину руку; тот, побежденный простотой обращения его и естественностью его разговора, протянул ему два пальца своей руки:

— Так спокойно, натурально не может говорить подозреваемый в преступлении,— подумал молодой человек и, извинясь в своей ошибке, взял за ручку двери, которая вела в номер Жвирждовского.

Купец, отошедший было от него несколько шагов, воротился.

— Вы верно к капитану,— сказал он,— спросите у него, честный ли человек купец Жучок или какой

бездельник. Да при случае спросите у дядюшки, у Петра-то Сергеевича.

Отвесив Сурмину глубокий поклон, он пошел тихими шагами по коридору; тот вошел в номер, качая головой и усмехаясь от удовольствия, что избавился от хлопот, за которые мог бы дорого поплатиться.

— Наделал бы я дело,— думал он,— если бы погорячился, остался бы в дураках, да еще в каких!

— Знаете ли, капитан, какую было я штуку выкинул у вас в коридоре, принял купца Жучка, что от вас выходил, за мошенника, которого отыскиваю.

— Жучка? ха, ха, ха!

И разразился хохотом Жвирждовский, подавая руку Сурмину.

— Жучка? Да это честнейший человек, какого я знаю. Он доставляет мне и нашему штабу кяхтинский чай и другие товары прямо с нижегородской ярмарки. Настоящий кяхтинский! А то у нас продают все кантонский, контрабандный и то с негодной примесью. Мерзость такая! (Жвирждовский плюнул.) Вы знаете, мы, русские офицеры, прихотливы, привыкли к своему, хорошему. Вот он только что с Макария. Купил я у него для себя, своей братии и отцов-командиров несколько цибиков. Приходил за расчетом. Мошенник, что вы! Ну что, как поживаете? Все у себя в деревне?

— Да, сделался пахарем, тружусь в поте лица по завету Господню.

— Все это хорошо, да труды-то помещичьи ныне плохо вознаграждаются. Эмансипация отняла у нас рабочие руки, но скоро заменим их наемными. На это надо деньги, а достать негде, все обнищали.

— Бог даст, поправимся. Великое, славное дело сделано, жертвы неминуемы. Благоразумные дворяне это хорошо понимают и безропотно покоряются ради блага отечества.

— Ну, а крестьяне как?

— В некоторых губерниях, настроенные злонамеренными людьми, пошумели было, да, благодаря мерам правительства, совершенно успокоились; они поняли, что все это сделано для их же блага.

— Славу Богу, слава Богу.

— А у вас как там?

— Вчера в театре неосторожно было бы говорить вслух о том, что в наших краях творится. Теперь мы одни с вами, никто нас не слышит. Могу сказать вам откровенно как давнишнему товарищу — вы знаете, как я привык уважать вас за твердость и благородство вашего характера, — на Западе плохо. Безмозглые поляки, — говорю это с стесненным сердцем — все-таки братья мне по родине, — заварили кашу, какую не расхлебать скоро, затеяли революцию, какой не бывало. Наверху, снаружи это игрушки. Кунтуши там да гимны мальчишек и паненок, траур и прочее... вздор. Сильна подземная работа не только в Западном крае, но и здесь в Москве, в Петербурге, в Киеве. Тут же подул для революционеров ветер с дальнего запада... вот что грозит бедами... вы меня понимаете. Слова нет, Россия сильна, мы угомоним поляков. Но боюсь, чтобы обстоятельства не сложились и не потребовали чрезвычайных жертв от правительства. Много, много будет пролито крови, помяните меня.

— Это старая история, которая по-прежнему и кончится.

— Дай Бог: Могу сказать вам по секрету: нас известили, что здесь живут польские эмиссары, совращают здешних поляков; мне тайно поручено... Признаюсь, поручение неприятное, тяжелое, фискальное... Сами рассудите, все-таки компатриоты... Я должен следить нити заговора в разных губерниях и здесь. Впрочем, моей миссии никто здесь не знает, числюсь в отпуску, бываю на обедах, на вечерах у гостеприимных москалей, танцую до упаду.

— Лихой мазурист.

— Вывертываю на них исправно ногами, а дела своего не забываю.

— Неужели и в Москве есть заговорщики?

— Да, батюшка, вы и здесь ходите на вулкане, который того и гляди готов вспыхнуть. Будьте осторожны. Стараюсь молодых людей образумить, говорю им о могуществе России, о долге присяги... Живя в Москве, вы посещаете разные кружки, не знаете ли каких неблагонадежных поляков?

— Неблагонадежных, нет. Знаком хорошо с одним, который не продаст России ни за какие деньги, ни за мечту восстановления Польши.

— Например?

— Например, у меня приятель, адвокат мой Пржшедилковский, за этого ручаюсь, как за самого себя.

— Не кладите ему пальца в рот. Иной такой тихий, воды не замутит, честный, благородный, предан на словах России, а он-то и есть величайший враг ее. К прискорбию должен сказать опять про своих патриотов: поляки уж не тот рыцарский народ, каким знавали мы их прежде, все иезуиты развратили. Поверьте, надо с нынешним поляком пуд соли съесть, чтоб его узнать. Впрочем, сколько знаю Пржшедилковского, он мстиславец, как и я. Нельзя подозревать его в измене, женат на русской, имеет детей, наживает здесь хорошие деньги; куда ему до революционных замыслов! Еще кого не знаете ли?

— Третьего дня познакомился в доме друга моего, Ранеева, с Владиславом Стабровским, братом того гвардейского офицера, что бежал из П. полка.

— Ричард безрассудный мальчишка, сам голову свою кладет в петлю. Не знаю, правда ли, говорят, его уж и поймали. Ну и братец хорош, чай, заносился выше облаков. Горячего темперамента!

— Он говорит, что едет к матери в Белоруссию. Кажется, неглупый, благородный молодой человек, жаль — *une tête un peu montée*.

— Не мало, а много. Такие личности все равно, что лошадь с колером, сейчас налетит на рогатку. Немудрено, по породе. И мать его горячая патриотка. Поедет к ней, еще больше свихнется. Но у нас и там есть лазутчики, в случае революционной попытки, накроем разом медведицу и медвежат в берлоге. Ксендза Б. не знаете?

— Нет.

— Вот этого опасного, хитрого эмиссара по моему настоянию выпроводили из здешнего богатого прихода в беднейший сельский приход Могилевской губернии,

в глушь лесов. Это все равно; что в Сибирь. Паршивую овцу из стада вон. А Людвиковича не знаете?

— Слышал о нем, как о человеке, искусном по своей профессии, в лицо не знаю.

— Много говорили о нем подозрительного, но я выведал от своих ищейных, что эти слухи распускали из зависти враги. Ныне я пригласил его к себе и исповедывал не хуже ксендза. Вздор! Дай Бог, чтоб все поляки были так преданы России! К тому же он имеет здесь дружеские отношения с одной богатой купчихой, наслаждается не только привольной, но роскошной жизнью: куда ему до опасных замыслов! Покончив здесь свои дела, как сумел, еду завтра в Петербург. Пожалуйста, в разговорё о нынешней революции успокойте ваших компатриотов, скажите, что правительство приняло энергические меры к потушению пожара, если он сильно вспыхнет. Вы женаты или нет?

— Нет еще, а пора бы завестись хозяйкой.

— Не заводите в такое смутное, печальное время. Я знал вас всегда горячим патриотом: чтобы вам опять под знакомые вам знамена? Может быть, пришлось бы служить вместе, мы бы об этом постарались. Вместе опасности и лавры.

— У меня на руках старушка-мать и две сестры, без меня им будет плохо; куда ж тут до лавров! Если ж обстоятельства потребуют, о! конечно, не задумаюсь тогда ни над какими жертвами.

Простились.

Не было Сурмину причины не доверять словам своего прежнего товарища по генеральному штабу; Жвирждовский казался так всегда предан России. В этот день два мошенника искусно провели его.

При первом свидании с Раневым, он смеясь рассказал ему о встрече с купцом Жучком, которого принял было за Киноварова.

— Может быть, это и был Киноваров,— сказал Михайло Аполлоныч.— Если он умел выпутаться от подозрения вашего, так на это мастерства у ловкого и умного плута достанет. Это актер, какого мы еще на сцене не видали. Впрочем, вы хорошо сделали, что от него отступились. Впутались бы в следствие, которое

могло бы продлиться годы и ни к чему бы доброму для меня не привело. Как я вам говорил, это дело решенное, положено в архив до суда на том свете. Несчастье совершено, его уже ничем не поправишь, имущество мое все-таки не возвратят мне, жену не воскресят.

— Вы не раз обещали мне рассказать эту печальную историю.

— Я и не забыл своего обещания, любезный друг. Но чтоб не затруднить ни вас, ни себя длинным рассказом, собираю разрозненные аргументы, написанные на многих клочках, привожу их в порядок и отдам переписать верному человечку. Дней через десять,— может быть, немного более, вы получите полную историю моей жизни,— даю вам слово. Этот знак моей доверенности послужит вам доказательством, как я вас люблю.

II

Вы видали, конечно, как смышленный попугайчик, наклонив голову на сторону, внимательно слушает урок, задаваемый ему его учителем. Так слушала Крошка Дорит, боясь проронить слово, что говорил ей Ранеев. Она сидела в его комнате, с глазу на глаз с ним, утонув в больших креслах, на которые он ее усадил, и спустив с них ножки, не достававшие до полу, Михайло Аполлоныч расположился против нее, держа в руке тетрадь.

— Милая Дарья Павловна,— говорил он,— я позвал вас в отсутствие моей дочери по секретному делу. То, о чем я буду вас просить, должно оставаться между мной и вами, как будто в неизвестном для других мире. Ни ваши братья, ни сестра, ни даже Лиза моя не должны об этом знать. Дадите ли мне слово сохранить эту тайну?

— Все, что могу, сделаю для вас,— отвечала Даша, несколько смущенная таинственностью предложения,— если вы достаиваете меня доверия, так я, конечно, не употреблю его во зло. Я привыкла хранить се-

креты по делам, которые на руках у брата моего, а я переписываю; да, считаю за очень дурной поступок передавать другим то, что мне не принадлежит.

— Вот видите, в чем дело. Мы сказывали, что вы мастерски разбираете трудные почерки, пишете правильно и четко. Одолжите мне на время вашу золотую ручку и вашу смышленную головку.

— Пишу недурно, разбирала также до сих пор худые почерки. Вы, вероятно, хотите дать мне переписать какой-нибудь черняк тяжелого дела?

— Долго, долго жизнь моя была тяжбою с судьбою. В этой тетради история ее.

Ранеев развернул тетрадь и представил Даше несколько листов на рассмотрение.

— Рукопись, как видите, написана мною очень неразборчиво. Немудрено: по должности моей я делал до 30 тысяч подписей в год, чем мы в годовых отчетах своих хвастались в доказательство нашей деятельности. Были же такие времена! А сколько черняков нацарапал я моею рукой. Зато в месте моего служения был только один мудрец, разбиравший ее. Здесь испугают вас и бесчисленные помарки, и поправки, то между строк, то на полях листов. Настоящие иероглифы!

Даша взяла тетрадь, пробежала несколько листов, прочла несколько трудных мест, хоть и с запинкой, и сказала потом с уверенностью:

— О! я и не такие разбирала. Здесь, по крайней мере, грамотно, даже литературно написано. А были у меня и такие, что до смысла добраться, как до минотавра... Вот хотела было похвастаться перед вами своим красноречием,— прибавила она, немного покраснев,— да невпопад, Гезеем не могу ведь быть, а вы...

— А я подавно Ариадной.

Старик засмеялся своим добродушным смехом.

— Все-таки путеводную ниточку вам подам.

— Разумеется, чего не пойму, так сейчас попрошу вас объяснить мне. Мы живем ведь руку другу другу подавать.

— Лизе я не мог поручить этот труд, она и без того обременена уроками, надо же ей час отдыха. Да, при-

знать вам, тут есть описания наших семейных несчастий, смерти матери ее... не хотелось бы возобновить в ней грустные воспоминания; это расстроило бы ее здоровье.

— Извольте, я приведу в порядок вашу рукопись и перепишу ее, только...

Даша посмотрела на Ранеева с маленьким лукавством (на большое она не была способна) и остановилась, как будто хотела потомить его недосказанным условием.

— Что ж только?

— Откровенно вам скажу, я даром ничего не делаю.

Это условие, так черство высказанное, озадачило старика, оно было неожиданно. И от кого ж, от Даши, от Крошки Дорит, дитяти наружностью и душой, сестры Тони, которую он считал членом своего семейства?.. Он готов был условиться в плате за труды с каким-нибудь обыкновенным писцом, но ей не смел бы предложить деньги. Разве постарался бы отдарить ее какой-нибудь хорошенькою вещицей, хоть бы вроде вазочки *vieux Saxe* с шалунами-ребятишками на ней. Даша, взглянув на них, улыбнулась бы и вспомнила бы о нем, когда его не будет. Так было у него в мыслях.

— Сколько же вам нужно? — спросил он довольно сухо.

— Не *сколько*, а *только*, Михайло Аполлоныч.

И не дав ему разрешить трудную задачу, да считая за грех томить долее почтенного старика, она не выдержала своей роли, ей несродной, и прибавила:

— Подарите мне на память карточку с вашим портретом; это будет лучшая награда за мои труды... Если ж вы предложите мне что-нибудь другое, я с вами навеки рассорюсь, и тогда ищите себе другого переписчика. Я маленькое твореньеце Божье, но вы меня не знаете. Раз что-нибудь сказала, так тому и быть.

Она говорила энергическим голосом, подняв гордо головку и стукнув кулачком по локотнику кресел, будто маленькая фея своею багетой.

От сердца Ранеева отлегло; он был тронут, несмотря на комическую позу Даши, превратившейся из

кроткого, покорного существа в строгого повелителя; он был счастлив, что на это чистое создание не пало пятно.

— Доброе, милое дитя мое,— сказал он,— и я мог...

Он не договорил.

— С удовольствием, с большим удовольствием да не знаю, есть ли еще у меня карточка... Кажется, была одна, единственная... Дай Бог, чтобы нашлась...

Он засуетился, стал шарить в ящике письменного стола и, наконец, на дне его нашел заветную карточку.

— Есть, есть, как я счастлив!— вас ждала.

Даша перенесла свои умные глазки с портрета на оригинал и обратно и спрятала на груди.

— Знаете ли, Михайло Аполлоныч, я в вас давно влюблена, а вы и не подозревали (она покачала головой в виде упрека.) С каким удовольствием слушала похвалы вам от Тони, как засматривалась на вас, подбирала ваши слова, когда вы удостоили меня пригласить к себе.

Даша принялась опять за тетрадь, пробежала ее, познакомилась с указательными знаками, спросила объяснения некоторых трудных мест, потом быстро спустилась с кресел, сказав: «До свиданья, с Богом!» и унесла рукопись с собою. Закипела у нее работа, не без того, однако ж, чтобы не сбегать по временам к жильцу в те часы, когда Лиза не была дома. Сколько раз при списывании патетических мест слезы выступали у нее из глаз! Она с живым участием следила за ходом истории Ранеева, как за приключениями интересного романического лица, сердцем желала ему счастливого конца, но конца не было... Как бы она хотела в это время быть Провидением, чтобы довершить развязку по-своему! Через две недели труд ее был готов и на славу. Красивые буквы стояли в строках, как в линейном строю солдаты, все в один ранжир, готовясь предстать к инспекторскому смотру. О, тень Востокова и целый ареопаг грамматиков, возложите на голову Даши венок имортелей за то — в тетради, ею написанной, не нарушила она ни на одну иоту ваших уставов.

И ты, богиня молчания, со свитою дипломатов, выдай ей похвальный лист за то, что умела она сохранить

вверенную ей тайну, едва ли не лучше их. А то читаешь нередко в газетах, что из такой-то канцелярии такого-то посольства обнаружили государственное дело, хранимое за семью печатями. Правда, для сохранения тайны не нужно ей было принимать трудные и хитрые средства. Тони никогда не интересовалась вмешиваться в бумажные дела братьев и сестры, братьям маленький скриб в корсете решительно объявил, чтобы они не смели спрашивать, каким делом она занимается. Таким образом рукопись, исправленная, четко и грамматически написанная, щегольски переплетенная золотой ручкой, была вручена законному владельцу ее. При этом торжественном случае не было красноречивых речей, но были, с одной стороны, слезы радости, что умела угодить доброму Михайлу Аполлонычу, с другой — слезы благодарности. Он опять думал было подарить вазочку своему скрибу, но не смел, боясь навлечь на себя гнев его.

Нечего говорить, с какой благодарностью Андрей Иваныч принял рукопись.

Вот что он прочел в ней.

III

Я родился в Тульской губернии, где *Красивая Мечь* опрометью бежит между крутыми, живописными берегами и шумом своих бесчисленных мельниц оглашает окрестность. Нет в этой местности ни высоких гор, на которых любят кочевать караваны облаков, ни величественных рек, ни лесов дремучих, то поющих вам, как таинственный хор духов, свою скорбную, долгую песнь, то разрывающихся ревом и треском урагана. Я сравнил бы тамошнюю природу со свежим, миловидным типом русской девушки, которой удел пленять и нежить, а не восторгать душу, я сравнил бы ее с моей дорогой Тони. В этих местах была колыбель того, кто должен был со временем придать им блеск своего имени. Приехав однажды в отпуск из артиллерийского училища на вакационное время, я увидел в приходской церкви небольшого мальчика с интересною, вырази-

тельно наружностью. На вопрос мой, кто это такой, бабушка сказала мне, «что это Тургенев, сын нашего соседа». Уж, конечно, не подозревал я тогда в нем будущего поэта-обличителя проходивших перед ним поколений. Недалеко и Ясная Поляна, где другой высокоталантливый писатель завел образцовое училище для крестьянских детей и пишет свои прекрасные рассказы.

Мне был год, когда мать моя, только что откормившая меня грудью своей, умерла. Грустно мне и теперь подумать, что я не мог помнить ни лица ее, ни ласк. Лицо отца, ласки его я помню, но не видал над собою благословения умиравшего далеко от меня на Бородинском побоище. Шести лет остался я круглым сиротой и перешел под теплое крыло бабушки, матери моего отца, жившей с нами и с малолетства моего заменявшей мне родную мать. Это была женщина старого века, с предрассудками, которые, однако ж, никому не вредили, религиозно-гуманная, но не понимавшая этого слова, любящая и между тем скопидомка, даже до мелочи. Только эта слабость происходила не из врожденной скупости, а для того, чтобы сберечь в целостности дорогому внуку родовое имение, оставшееся после отца моего. Управление за восемьдесятю душами было самое патриархальное. Ни бухгалтерии, ни письменных приказаний и донесений за нумерами она не ведала. Отчетность велась мелком на стенах амбара рукою безграмотного старосты, приказания отдавались ему каждый вечер на словах, рапорты от него были тоже словесные. А все как-то спорилось по хозяйству под Божиим благословением, которое бабушка часто призвала к себе на помощь. Крестьяне наши знали свои три рабочие дня и самые легкие натуральные повинности, за то пользовались привольными угодьями, да еще во время летней страды по уборке хлеба и в день моего ангела угощались до пресыщения, и потому мир между ними и доброй госпожой никогда не нарушался. К ней приходили за советами и особенно за снадобьями не только свои крестьяне, но и со всего околodka,— так славилась она авторитетом своего ума и честности и искусным лечением. Бабушка знала тайны заговари-

вать кровь, обжоги и лихманку, лечить раны живой водой из заячьей капустки, и все это с крестом и молитвой. Не ведала она гомеопатических разложений, за то каких трав не готовила. Побывши с нею несколько минут в ее аптечке, уносишь бывало с собою на целый день аромат мяты, душицы, укропа, липового цвета и других пахучих растений. А как хороша была, как ласково глядела на нас тамошняя местность! Березовые и дубовые рощицы, будто сажены художником-садоводом, оазисы цветущих, природных кустов и деревьев, играющая в своих берегах речка, раскинутые по широким полям ковры гречи розово-молочного цвета, перемежающиеся волнами ржи и пшеницы, едва видные соломенные крышки деревеньки, потонувшей в коноплях своих огородов, все так нежило взоры и душу. И какие дивные концерты задавали нам по вечерам соловьи. Казалось, пело каждое дерево, пел каждый куст. И что это за восторженный до самозабвения певец соловей! Случалось, гуляешь по саду и видишь, да, видишь, не только что слышишь, как на липке, аршина в три вышиной, поет он с закрытыми глазами, замирая в сладострастной неге своей песни. Я стоял от него в двух шагах, а он меня не замечал. Если б я был немного побольше, мог бы схватить его руками, по крайней мере мне так думалось. Воспоминания из детства трудно изглаживаются и в старости, даже и такие, которые не оставляют по себе резких следов на будущность нашу. Извините, друг мой, если я говорю вам об этих пустяках. Они могут вам наскучить; но дайте мне насладиться вдоволь у конца моего земного странствования рассказом о том времени, когда мы еще незнакомы ни с заботами, ни с опытами и страстями. Деревня, это был райский сад мой, из которого пламенный меч гневного посланника Божьего не выгонял еще меня за ограду его. Может быть, эти пустяки навеют и на вашу душу сладкие воспоминания о вашем детстве. Бабушка, когда выезжала к соседям или по делам в уездный город, всегда брала меня с собою, пока у меня не было гувернера. Из этих экскурсий выбираю только события, резко других запечатленные в моей памяти.

Раз ехали мы с нею к одному дальнему соседу. При

выезде из нашей деревни погода была нам благоприятна. Не успели мы отъехать от себя не более десяти верст, как бабушка сказала мне:

— Не вовремя собрались мы с тобой в путь, Миша; рука у меня сильно заныла, быть грозе.

И действительно, через полчаса с небольшим начали слетаться с разных сторон тучи, все чернее и чернее одна другой, стал погремыхивать гром, молния разрежет их то там, то тут, далее удары зачастили и усилились. Мы только что въезжали в околицу какой-то деревушки, как сильная гроза разыгралась со всеми своими ужасами. Надо было приютиться под каким-нибудь кровом; добираться до порядочной избы некогда было. Бабушка приказала кучеру свернуть лошадей к первой избушке на курьих ножках, которая попалась нам на глаза. Видно было, что нашему возничему это не понравилось: он помотал в знак неудовольствия головой и почесал кнутовищем за ухом. Но делать было нечего, надо было повиноваться барскому приказу. Как я узнал после, он хотел лучше стоять на улице под ударами грозы, чем остановиться у избушки, которой хозяйка, бобылка, слыла в околodge колдуньей. Лошади стали головами под дырявым, соломенным навесом у покосившихся ворот, мы с бабушкой поспешно выбрались из коляски, кучер забрался в нее. Длинный слуга наш Вавила дотронулся до щеколды, дверь сама собою потянулась в убогое жилище бобылки. Мы бросились в него — наш Ричард не без того, чтобы не согнуться в три погибели. В это время ослепительная молния ворвалась за нами не только в двери, но и в окна и, казалось, сквозила во все пазы избушки. Со временем представлялась она в моем воображении клеткой, охваченной со всех сторон огнем. Сухой, раздирающий удар грома потряс ее до основания. Я прижался к бабушке; она остановилась как вкопанная на одном месте, но, оправившись от испуга, стала благоговейно креститься и читать псалом: «Живый в помощи Вышняго», да и мне велела читать его за собою. Мы осмотрелись. Нищета, ужасная нищета охватила нас со всех сторон. Не только почерневшие от дыма, но и обугленные стены, вероятно построенные из бревен, оставшихся после по-

жара, покачнувшаяся печь, наклонившиеся скамьи, закопченные и облупленные тараканами, недостаток домашней утвари,— все это бросилось нам в глаза. На одной из скамеек сидела безобразная старуха. Лицо ее было изрыто оспой, один глаз подернут бельмом, другой, светло-серый, смотрел каким-то кошачьим взглядом; седые волосы торчали прядями из-под головного, замасленного платка. Большим деревянным гребнем, каким чешут лен, она искала в голове женщины, растянувшейся на той же скамье. Лица этой женщины не было видно, потому что оно закрывалось густым покрывалом темно-русых волос, упавших по полу. В минуту удара грома и одновременного появления нашего, старушка вздрогнула и опустила гребень. Одиноким зрячий глаз ее засверкал фосфорным блеском и остановился на нас. Вдруг закричала она каким-то диким голосом: «Чур, чур нас!» Вероятно, увидав нашего длинного лакея, который нас немного опередил и заслонял собою, она подумала, что это нечистый дух, упавший к ней в избушку с громовой стрелой. Женщина, лежавшая головой на ее коленях, вскочила и во все испуганные глаза свои смотрела на нас. Мы тут увидели, что это была очень молодая, пригожая девушка. Она своим свежим, хорошеньким личиком резко выступала из общего разрушения, ее окружавшего.

— Господь с вами,— сказала бабушка, выдвинувшись из-за слуги нашего,— позволь, старушка, укрыться на время от грозы в твоей избе.

— А ты отколь?— спросила безобразная старушка.

Бабушка назвала деревню нашу и нашу фамилию.

Одиноким глаз ведьмы еще сильнее засверкал каким-то зловещим огнем.

— Шабры, как же, ведаем. Вестимо, ты и есть та барыня-знахарка, что лечит наших крестьян, знаешься с нечистою силой. Отбила у меня хлебец! Пусто бы вам было, вон из моей избы, окаянные, чтоб и духу вашего здесь не пахло.

В груди ее слышалось какое-то клокотанье.

— Что ты, что ты, неразумная,— сказала своим ти-

хим, добрым голосом бабушка.— Господь, прости тебе грешные слова твои.

Длинный наш Вавила выдвинулся опять вперед, показал старушке свой огромный кулак, и к этой многозначащей мимике присоединил словесную угрозу.

— Смей еще сказать хоть одно супротивное слово моей барыне, так я тебя, поганая колдунья, разом пришибу этим щепом.

Только что он успел это проговорить, как на улице послышались крик и гам, кто-то постучался в окно избы и послышались слова: «Эй, баба, пожар! выноси поскорее крюк» — и вслед затем раздался хохот.

— Чтоб тебя самого скрючило! — проговорила хозяйка.

— Не бранись, бабушка, и заподлинно пожар, — сказала девушка, успевшая подобрать волосы и затем заглянуть в окно, — оwin соседний горит.

В самом деле, огненный столб поднимался против окошек, народ бежал на пожарище. Но огнегасительная помощь оказалась уже ненужною: крупный град забарабанил по крыше, вслед затем полил дождь как из ушата, так что, думалось мне, готов был затопить нас; он и залил огонь. Гроза стала утихать, гром ослабевал, только по временам слышалось еще ворчанье его. Казалось, разгневанный громовержец был удовлетворен проявлением своего могущества.

Злая хозяйка, уgomонившись, молчала и всматривалась в меня, будто пронизывала меня насквозь своим одиноким глазом, потом, обратясь к бабушке, спросила:

— Это внучек твой?

— Внучек, Михаил.

— Испугался, чай, грома? — спросила она меня более ласковым голосом.

— Испугался, — отвечал я, боясь смотреть на нее.

— Баят, Илья-пророк ездит по тучам на своей колеснице. — Пустое, это железные шары катают по небу нечистые духи.

Опять стала она всматриваться в меня.

— Грозы ты не бойся, малый, прибавила она. — Много ты на своем веку увидишь гроз, много услы-

шишь грома, да вынесешь свою голову цел и невредим; не гроза небесная пришибет тебя, а лихие люди.

Слушал я ее со страхом, потупляя по временам глаза. И что ж! сбылось ее предсказание: ужасные громы варшавской битвы перекатывались надо мной, гроза свирепствовала вокруг меня, но я вышел из нее цел и невредим. А лихие люди все-таки меня пришибли.

Бабушка, как я уже говорил, была не без предрасудков. Она, видимо, смутилась от вещих слов колдуньи, подвинула меня к себе и перекрестила, читая про себя молитву, потом ласковою, задобривающей речью старалась подкупить ее благосклонность: пожалуй, испортит или *обойдет* меня. То заговаривала, голубка моя, о ее бедности, о ветхости избушки, обещалась прислать леску на перемену ветхих бревен, плотников, мучки, круп; пригожей внучке ее подарила четвертак на ленту в косу и наказала приходиться к нам.

Девушка в восторге показала своей бабке серебряную монету и потом поцеловала у моей бабушки руку.

— Дай и мне копеечку, — сказала хозяйка.

Расщедрилась моя бабушка и дала ей тоже четвертак.

Когда мы садились в коляску, перед нами за деревней поднялась конусом гора и на ней деревянная церковь. Обвив ее кругом, ходили еще клубами тучи, но в одном месте сквозь облако прорвалась светлая точка, и первый луч ее заиграл на кресте колокольни. О! и теперь этот золотой луч играет на нем в глазах моих.

— Как зовут это место? — спросил я бабушку.

— *Судбище*, дружок, *Судбище*. Здесь, говорят, — правда или нет, — сходился в старину народ судиться.

Многие годы впоследствии думал я, как бы добраться до сути этого предания, но мне не удалось.

Случилось мне в зимний Николин день ехать с бабушкой к обедне в нашу приходскую церковь, версты за две от нас. Был прекрасный день, солнышко играло на небе, воздух с прохладью умеренного морозца румянил только щеки, но не щипал их. Мы ехали в одиночку в пошевнях; бабушка сидела на грядке, с задка которой спускался до земли персидский разноцветный ко-

вер. Я помещался на сиденье рядом с кучером и правил бойкой лошадкой, метавшей мне в лицо из-под ног снежную пыль. Подрези потешно сипели, поля искрились, все кругом глядело так весело; я был счастлив, как не бывают счастливы великие мира сего, правя народами. В это время плелся, остушаясь, по снежной дороге старенький мужичок, одетый в новый длинный тулуп, но без шахматных вставок в нем, мотавшийся по ногам. На голову нахлобучена была бархатная малиновая шапка, довольно выпцвешшая и пострадавшая от времени. Когда мы были уже от него близко и он еще не успел посторониться с дороги, я крикнул на него грозным голосом: «пади, пади!» Но бабушка велела кучеру остановить лошадь. Эта помеха моему удалству была мне досадна. Мужичок, поровнявшись с нами, остановился, скинул шапку обеими руками и отвесил глубокий поклон, отчего обнажилась его голова, едва окаймленная тонким венчиком белых волос.

— Здорово, Калиныч,— сказала ласковым голосом бабушка.

— Здорово, Миколавна,— проговорил старик,— к обедне, матушка? Пошли тебе Господь милости свои.

— Надень, надень шапку-то.

— Чай, голова не отвалится от мороза.

— Снежно,— заметила бабушка,— трудно уж плестись в твои годы. Садись-ка со мной, вот рядком.

Говоря это, она подвинулась на грядке к одной стороне.

— Полно, Миколавна, пригодно ли мне, вороне, затесаться в барские хоромы; дотащусь кое-как на своих на кривых.

— Нет, нет, садись, а то не успеешь к началу; без того не тронусь с места.

— Коли на то воля твоя, нечего с тобой делать.

Надел он шапку и сел бочком около барыни, положив одну ногу в сани, а другую свесив на отвод и держась рукой за прясла; тулуп его мел снег по дороге.

— По добру ли по здорову живешь, Миша?— сказал он, когда уселся.

Я обиделся, что он назвал меня Мишей, и молчал.

— Почтенный человек с тобой здоровается, а ты,

поросенок, и руки к шапке не приложишь,— сказала с сердцем бабушка.

— А сколько тебе лет, Калиныч? — спросила она своего спутника.

— Да девятый десяток давно пошел, коли не обмешулился, память становится плохонька.

— А сколько служил у дедушки и батюшки? — продолжала спрашивать бабушка.

— Десятка три, чай, будет, правил вашей палестинной. Еще молодого взял меня дедушка. Были и старше, и умнее меня, да знать на взгляд полюбился.

— И не ошибся покойник, честно и усердно служил ты, за то и почет тебе следует. Вот каков этот человек, Миша, а ты не удостоил его и ответом. Кабы не к обедне ехала, так побранила бы тебя не так, да и вожжи велела бы кучеру отобрать от тебя. Почитай стариков,— прибавила она более мягким голосом,— да помни, что крестьянè кормильцы наши.

Куда девалось мое счастье! Вожжи падали из рук, в глазах у меня помутилось, на душе не было светлее. Я стоял в церкви, как убитый.

Во всю жизнь мою не мог я забыть этого урока!

Чтобы не наскучить вам дальнейшими рассказами о моем детстве, не стану подробно описывать вам, как я начал свое учение у одного отставного учителя народного училища, которого бабушка наняла для меня, как он по временам зашибался и между тем понятно преподавал мне русский язык и арифметику, как он успел привить мне любовь к литературе. Восьми лет я уже с жаром декламировал тираду из Дмитрия Донского:

«Любезные сыны, бояре, воеводы,
Пришедшие чрез Дон отыскивать свободы»,

и читал хорошо наизусть оду «Бог» Державина, басни Хемницера и другие произведения тогдашних лучших наших стихотворцев. За русским учителем последовал француз-гувернер, сын эмигранта, довольно образованный. Характер его был мягкий, он умел приятно и полезно занимать меня в часы, свободные от учения, и познакомить с благостью и премудростью Творца

в Его творениях на земле и на небе. Не только не охладил он во мне любви к поэзии, которой искру бросил в душу мою русский поклонник Муз и Вакха, но еще больше раздул ее знакомством с Расином, Корнелем и другими французскими знаменитостями. Из прозаических произведений он особенно любил Эмиля Руссо и «Contemplations de la nature» аббата де-С.-Пьера. И я к ним, как говорят, во вкус вошел.

Четырнадцать лет, по настоянию дяди моего, артиллерийского полковника, отвезли меня в Петербург в артиллерийское училище. Сколькими благословениями провожала меня бабушка, сколько слез пролили мы с ней при расставании, какую дань заплатил я ими моему доброму гувернеру за его попечения о моем образовании и воспитании! Обоиду первые годы училищной жизни. На быт корпусов новейшими писателями и без меня пролито много света, накинуто в то же время и много грязи, может быть, не без пользы. Скажу только, что я долго скучал своим сиротством, долго представлял себя изгнанником из свободного, светлого, прекрасного мира. Я принялся горячо за учение, но не могу не признаться, что тогдашнее образование в училище стояло не на высокой степени. Поверите ли, выпускали оттуда в офицеры молодых людей, которые не умели правильно, грамматично написать записки на родном языке. По специальным же их математическим наукам, они, служа уже в батареях, должны были переставаться у учителей гимназий, приглашаемых давать им уроки, когда они стояли в губернских городах. Правда, выходили из училища ученики и с отличными познаниями, но это были редкие исключения, обязанные своим образованием необыкновенным природным способностям и горячей любви к науке. На этой богатой почве и тощие семена возрастали сторицей и помимо возделывателей ее.

Учитель русской словесности из малороссийских бурсаков ...ч был олицетворенное невежество. Задавая параграфы из риторики, он прибавлял, чтобы их выдалбливали на память, и, если на экзамене ученик заменял печатное слово своим, хоть и равнозначащим, строго взыскивал с него. Специальные математические

науки, к которым предпочтительно должны мы были готовиться, преподавались также посредственно. Но из среды бездарных наставников выступали две личности, которых имена должны сохраниться в летописях училища. Один был К. Н. Арсеньев, учитель истории, сделавший бы честь науке в любом университете. Он обладал редким даром слова и умел не только говорить уму юношей, но и сердцу их, то воспламеняя их примерами высоких подвигов, то возбуждая их негодование против неправды, слабодушия и низких дел. Он известен и гонениями, воздвигнутыми на него за его статистику во времена Магницкого. Другой служитель правды и добра был законоучитель наш Алексей Иванович. Он был кумиром воспитанников. Кажется, сам Божественный Учитель возложил на голову его руку свою, чтобы он учил нас по Его примеру. Его уроки были христианские беседы с нами, не для заучивания на память, но для восприятия сердцем. Он умел обольщать нас прелестью добра, представляя его во всех видах и страдающим, и торжествующим. Не в стенах училища, не на экзаменах должны мы были дать отчет в нашем учении, а за порогом его, на пути служебной и общественной жизни, делами нашими. Еще и теперь, через несколько десятков лет, эта прекрасная личность представляется мне во всем обаянии истинно пастырского служения. Да будет благословенна память его! При мне поступил в училище инспектором Александр Федорович Воейков, автор «Дома сумасшедших»; переводчик «Садов» Делиля и бывший профессор русской словесности в дерптском университете. И там, и здесь служил он, так сказать, спустя рукава. Как теперь вижу его узенькие, калмыцкие глазки, его ужимки. Не могу забыть и странной привычки его здороваться, подавая руку, завернутую в полу фрака или сюртука, как это делают кучеры при передаче и приеме проданной лошади. Для чего он это делал, не понимаю — боялся ли прикосновения чужой, нечистой руки, свою ли почитал нечистою. Высшим начальником училища был тогда его основатель, великий князь Михаил Павлович. Говорят, он был строг, но кто знал его душу, его дела, не всем известные, скажет, наверное, что это был

добрейший из людей. Он был строг — и первый запретил телесные наказания в училище; он был строг — и когда директор заведения предложил ему исключить одного ученика за значительную шалость из заведения и сослать его юнкером на Аландские острова, он помиловал виновного и по этому случаю сказал директору незабвенные слова, которые посчастливилось я слышать из другой комнаты: «Поверь, Александр Дмитриевич, каждого из этих ребят легко погубить, но сделать их счастливыми не в нашей власти. Помни притом: мы взяли их от отцов и матерей для того, чтобы образовать и воспитать, в чем должны отдать отчет Богу». Говорили, он был риторист, а в комплект 120 воспитанников велел принять 121-го из солдатской роты. А сколько помогал он бедным офицерам из своего кошелька, знают только они и Всевидящий! Спустимся ниже к Воейкову и моим отношениям с ним. Александр Федорович, узнав от кого-то, что я могу прочитать на память несколько лучших мест из Делиля, любимого его поэта, велел мне прочесть их, что я и исполнил со славой. С этого времени он обратил на меня особенное внимание и покровительство и стал задавать мне, помимо учителя, сочинения на разные темы. Оставшись доволен исполнением их, он поощрил меня к дальнейшим литературным трудам и стал поручать мне составлять разные статейки для «Славянина», который он тогда издавал. Как журнал этот, так и статейки мои потонули в Лете. Они послужили мне, однако ж, в пользу, потому что, упражняясь в литературной гимнастике, наблюдая и соображая законы русского языка, я изучил их лучше, чем по всем грамматическим курсам, которые зазубрил. Произведенный в офицеры, я сделан был репетитором и позднее помощником профессора русской словесности, но, не поладив со своим премьером в методе преподавания, перешел на службу сначала в гвардейскую, а потом в армейскую батарею. Здесь прослужил я недолго. Разразилась гроза польской революции 30 года, и я, возгорев чувством патриотизма, пожелал служить в действующей армии. От бабушки, аккуратно писавшей мне каждые две недели, перестал я получать письма. Причину этого молчания

разрешило мне донесение старосты, что бабушка отошла в жизнь вечную, послав мне на смертном одре благословение. Можно судить, как утрата моей второй матери сильно огорчила меня. До сих пор храню в сердце горячую память об этой превосходной женщине. По аккуратным отчетам ее, имение мое было в порядке, и я, отъезжая в армию, поручил его тому же старосте, который уже столько лет правил рулем моего хозяйства; только велел ему, в случае важных дел, относиться к дяде, получившему от меня на этот предмет законную доверенность.

IV

Наступил 31-й год. Я полетел в места, где бились мои братья за дело, которое стоило отечеству нашему с первого 12-го года столько крови и золота. Не скрою, что меня окрыляла и мечта славы, вкравшаяся в мою молодую голову. Спал и видел я, что уже полководец, ознаменовал себя великими подвигами, обвешан знаками отличия. И мало ли каких грез не приходило в нее! Переезд нескольких сот верст не мог растрясти их. Я приехал в Вильно в то время, когда генерал, заведывавший там распределением по корпусам офицеров, прибывавших туда с разных мест, затруднялся, кого послать в Поневеж. Там предположено было устроить госпиталь на 2000 кроватей и провиантский магазин на 80 000 человек для резервной армии графа Толстого. Чтобы оградить этот важный пункт от нападения неприятеля, надо было привести его в возможно оборонительное положение. Не было под рукой у генерала способного инженера; благо на глаза попался артиллерист, и на меня возложили это поручение. Я воображал себя и строителем укреплений, и героем-защитником их. Поручение это вскружило мне еще более голову. Мысленно прохожу курс фортификации, укрепляю слабые места, одушевляю солдат патриотическими речами, ожидаю осады, делаю вылазки. Геройски отразить неприятеля, или, в случае, если сила одолеет, взорвать укрепление и себя вместе с моими храбрами

сподвижниками — вот святой обет, который я дал себе. Горя желанием скорее явить миру свои подвиги, мчался я на почтовых и обывательских к месту моего назначения. У каждого из солдат первого Наполеона в патронной суме лежал маршальский жезл; почему же мне, русскому офицеру, воспитанному в артиллерийском училище, проходившему курсы всех возможных военных наук и способному, как я воображал, произносить воспламеняющие воинственный дух речи (у меня в голове слагались уже подобные речи), почему же мне не мечтать хоть не о маршальском жезле, а о чем-нибудь подобном? Дорогой, даже в облаках, надо мной носившихся, видел я одни картины битвы. Мне предстояло создать твердыню, если нужно будет, защищать ее всеми силами своего ума, науки и мужества или, как я мечтал в разгаре своей храбрости, похоронить себя под ее развалинами. В последнем случае, думал я, мне поставят там памятник с надписью. «Здесь пал молодой герой Ранеев: он решился лучше погибнуть с честью, взорвав на воздух созданные им укрепления, чем отдать их неприятелю». Как видите, надпись довольно длинная; могут ее сократить, по крайней мере, смысл останется тот же, имя мое не умрет в потомстве.

Не успел я еще отъехать сотни верст, как неожиданный случай окатил все мои горячие мечты будто ушатом холодной воды. В местечке, где мне нужно было переменить лошадей, не оказалось ямщиков, а вследствие того и станционного смотрителя. Первый засаленный еврей, попавшийся мне на площади, ломаным немецким жаргоном объявил мне, что они утекли прошедшей ночью, но что на мызе за четверть мили от местечка стоит отряд русских гусар. Нечего было делать, я велел везти меня на мызу. Вы знаете, конечно, рассказ польского простодушного крестьянина, как до такого-то места было прежде три мили, «да пан взмилдовался, сделал из них только одну». Так и мне пришлось четверть мили проехать спешной ездой с лишком полчаса. Оказалось, что мыза была пуста, но в полуверсте от нее заметил я высокое каменное здание вроде аббатства и около него шевелился солдат.

— Туда, скорей, во все лопатки,— кричал я ямщику,— гони в хвост и в гриву.

Вот мы и у ворот аббатства. На вопрос мой часового, кто здесь отрядный командир, он сказал мне его фамилию и чин и указал мне, где его найти. Я вошел в большой двор защищенного католического монастыря, огражденный высокой каменной стеной и увидел несколько десятков лошадей, взнузданных и оседланных, готовых в поход. Около них суетились гусары или закусывали на ходу. Это не предвещало мне ничего доброго, сердце упало у меня в груди. По каменной лестнице, довольно изрытой ногами нескольких поколений отшельников, я взобрался на верхний этаж и через длинный коридор в первую келью, откуда слышались голоса. Когда я вошел в нее, три офицера усердно работали ножами, вилками и ртом над жареным гусем и запивали водкой пропущенные в желудок куски. Видно было, что все это делалось на лету.

— Трошка,— говорил один из них солдату, который прислуживал им,— выпей для куражу шкалик да закуси жареным, не оставлять же добро полякам, да живо!

Заметив меня, все выпучили глаза, как на чудище, выступившее из полу. Обращавшийся к солдату офицер, высокий, осанистый, с воинственным, загорелым лицом и огромными усами, разметавшимися в стороны (это и был начальник отряда), спросил меня — не с приказанием ли я от начальства.

Я объявил ему причину моего появления.

— Не в пору же тронулись вы в путь, батюшка,— сказал он, разразясь добродушным смехом.— Вам до места вашего назначения, как до северного полюса. Все места до него заняты неприятелем, того и гляди нагрянет сюда. Я получил сейчас приказание сняться с моего поста и ретироваться. Закусите-ка на скорую руку, чем Бог послал, и марш с нами, если не хотите попасться в плен. Да на чем вы сюда?

— На почтовых,— отвечал я.

— Трошка,— закричал громовым голосом ротмистр,— мигом гужи и прочее из тройки его благородия перерезать, выбрать из нее лучшую лошадь, какой-

нибудь войлочек, смекаешь (тут он хлопнул ладошами), если седла запасного нет.

Потом прибавил, обратясь ко мне:

— Нам приходится убегать, сударь, а в таком случае не до комфортабельной оседлости, взлезешь и на черта, лишь бы дался. Если придется поработать, паф-паф, прошу слушать мою команду. Есть у вас какое оружие, кроме кортика?

— Есть пара заряженных пистолетов.

— Прекрасно, в дело их. Прошу, господа, на коней.

Я только что успел глотком живительной влаги и куском хлеба заморить чувство, которое скребло мне сердце, как вбежал вахмистр со словом «поляки!»

— Где? — спросил озадаченный ротмистр, сделав гримасу.

— Скачут сюда, человек с лишком сто будет.

Мы все бросились во двор, солдаты были уже на конях, я нашел и своего почтового фрунтовика, покрытого войлочком, с веревочною подпругой и стремянами из такого же пенькового вещества. Выхватить пистолеты из телеги, вцепиться в загривок своего буцефала и вскочить на него — было делом одной минуты. Откуда взялось у меня волтижерное искусство! В это самое время бурным потоком хлынули польские уланы в ворота. Блеснули сабли, зашатались и преклонились копья со значками, мне бросились в глаза зверские лица, лошадиные морды, клубы дыма; воздух огласился дикими криками, пальбой; русские гусары и польские уланы смешались вместе. Лошадь, кажется, создана для военного дела, она откликается веселым ржаньем на звук трубы, во время сражений одушевляется каким-то необычным пылом, не знает усталости. И моя измученная лошаденка приободрилась и ринулась со мною в сечу. Я разрядил свои пистолеты не даром, пули, вылетевшие из них, попали метко в неприятелей, и не мудрено, я стрелял в упор. Дулом ударил я было сгоряча наотмашь одного по зубам, но в это самое время почувствовал, что загорелась у меня икра правой ноги, и я вслед затем свалился с падавшей подо мною лошади, убитой тем же ударом, который меня ранил. Благород-

ное животное, издыхая, жалостно посмотрело на меня. Бой продолжался несколько минут, сила одолела. Нас было с небольшим тридцать человек, неприятеля едва ли не впятеро больше. С десятков наших, в том числе один офицер, проложили себе дорогу сквозь сражающихся и успели ускакать через ворота, так что погоня за ними была напрасна. Начальник наш истекал кровью от раны в руке.

Так кончились мои геройские подвиги, и маршальский жезл вышел из рук! Сколько мечты вознесли меня, столько действительность унизила. Я был в плену; эта мысль невыносима для военного. Рана моя не представляла опасности, пуля только сорвала кусочек мяса с икры; ротмистр был ранен тяжелее, но за жизнь его ручался лекарь-поляк, который (надо отдать справедливость его человеколюбию), управляясь со своими, принялся и за наших. Убитым, своим и чужим, вырыли отдельные ямы, чтобы и после смерти отлучить католиков от еретиков, и, как водится, насыпали на них по бугорку земли. Всех нас, живых, врагов и не врагов, поместили в здании монастыря. Провели мы в нем несколько дней, но раненые не успели еще совершенно оправиться, как дошли до начальника польского отряда какие-то тревожные слухи, и мы тронулись в путь. Меня гнали с моими товарищами, как овцу на заклание, ругали, били; я куска хлеба не видел двое суток и умер бы с голоду, если бы не сжалился еврей. Целую неделю в проливной дождь месил я грязь и глину по щиколотку под грозою сабли, которая пришпоривала меня, когда я изнемогал от усталости. Поверите ли, горстями снимал с себя разную тлю. Скажу еще более: проезжая в каком-то жидовском местечке через базар, я украл с крестьянской телеги конец серого грубого сукна аршина в три и окутал себе им шею и грудь. Да, сударь, украл!.. Невмочь уже было мне выносить потоки холодного дождя, который заливал меня. Правда, польский генерал Дембинский, увидев нас в этом положении, очень сердился на отрядного начальника, выдал ему деньги и велел нас одеть и накормить получше. Но приказание это не было исполнено. Вскоре отряд уланов отделился от нас, остались несколько конвойных,

да и те, проведая от евреев, что на пути нашем находятся русские войска, бросили нас на произвол судьбы и сами убежали в лес. Не стану также описывать вам похождения наши до прибытия в русскую главную квартиру. Здесь потребовали нас к главнокомандующему, фельдмаршалу графу Дибичу-Забалканскому; он стоял в каком-то фольварке. Нас ввели в довольно большую комнату. Вдоль ее ходил скорыми шагами взад и вперед генерал маленького роста, довольно плотный, в сюртуке, выдавшем виды, с потусклыми генеральскими эполетами и аксельбантом. Ходя и оставаясь по временам, он диктовал адъютанту приказ. Русская речь его была не совсем правильна, с немецкими оборотами. (Вероятно, адъютант, записывая ее, поправлял ошибки против языка и переводил по-русски немецкие слова, по временам вырывавшиеся у него, когда он затруднялся прибрать приличное русское слово.) Молнией вылетали его слова, скоры были движения. Мы стояли перед фельдмаршалом Дибичем. Кончив диктовку, он быстро взглянул на нас своими мутными, покрасневшими от бессонницы глазами, покачал головой, конечно, от впечатления, сделанного на него видом нашей оборванной и грязной обмундировки, и обратился к моему товарищу, ротмистру.

— Когда вы получили приказание сняться со своего поста? — спросил он довольно сурово.

— За четверть часа до появления неприятеля, — отвечал ротмистр.

— Что ж вы мешкали?

— Я дал своей команде закусить и приготовиться к походу.

— Закусить! Вы могли бы это сделать в походе. На войне минуты дороги. Виноват, однако ж, тот, кто дал вам поздно ордер. Впрочем, видно, вы храбрый офицер, не убежали от неприятеля, как другие из вашей команды. Я взыскал с них. На руке вашей по перевязи вижу, что вы кровью своей искупили вашу вину.

Действительно, на лице моего товарища не было кровинки, он был не краше мертвеца, да и представлял из себя печальную фигуру. Тут граф обратился ко мне, спросил, как я, артиллерист, попал в отряд гусар, и,

когда я рассказал ему, куда и за каким делом я был послан, пожал плечами, так что густые эполеты запрыгали на плечах; на лице его изобразилось неудовольствие.

— Вам дадут ордер, в какую команду явиться, и деньги на обмундирование. До свидания, господа; на боевом поле,— сказал он, кивнув головой.

Нам не суждено было свидеться с ним на боевом поле,— он вскоре умер от холеры.

Немного времени спустя я видел другого главнокомандующего, графа Паскевича-Эриванского, у моей батареи, во время осады Варшавы. Голубые глаза его так приветливо смотрели, лицо сияло удовольствием, улыбка возвышала дух войска и заранее сулила ему победу.

Таков он был всегда во время разгара битвы.

Не мне, субалтерн-офицеру, заключенному в тесном кругу своих обязанностей, так сказать, прикованному к своим орудиям, описывать ход и перипетии войны, да и предмет моих записок не она, а моя маленькая личность.

Во время кампании я свято исполнил долг свой,— могу это сказать без хвастовства,— и щедро награжден за свои заслуги, которые угодно было начальству заметить. Горячечные мечты мои остыли, я их уже сам стыдился. Когда Царство Польское и Литва успокоились до поры до времени, мне дали батарею. С нею ходил я несколько лет по разным грязным местечкам и городам Литвы и Белоруссии, имел дела с панями, экономами, крестьянами и евреями и узнал *досконально* их быт и нравы. Влюблялся я в ловких и очаровательных полек, но, влюбляясь, не поддавался чарам этих сирен и не полюбил ни одной. В 42 году пришел я квартировать в губернский город В.

Что за грустная сторона Белоруссия! То хвойные, мрачные, завывающие леса, местами непроходимые от гниющего валежника, населенные стаями волков, то плешивые пригорки с редкими порослями, которые и через двадцать лет будут такими же уродцами, какими видели мы их ныне. Тощая земля, тощие обитатели! Кажется, и солнце светит здесь, как и в других краях

России, попадаются и живописные местности, но все это покрыто печальной пеленой — так душевное настроение облакает все предметы свои красками. Печально и положение здешних крестьян, забитых, загнанных. Между тем бросьте в сердце этого доброго, простодушного народа благотворную искру, заставьте его на часок забыть панский и жидовский плен, и вы увидите, как этот мертвый народ оживляется будто гальваническим током. Тогда появляются в деревенском кружке музыканты с волынкой и скрипкой, девчата пускаются в пляс, довольно легкий и грациозный, распевают тонкими голосами веселые песни. Но все это вспугнет вдруг бричка, хоть бы пана эконома, или появление неумолимого, вечного кредитора — еврея. Везде копошатся рои этого израильского рода, размножающегося как рои комаров от луча солнечного, или бегут в одиночку на рысях, раскинув по ветру свои пейсики. Польские евреи носят с собой свой собственный запах, как слуга Чичикова. Войдите в их жилище, и минуты через две нестерпимое зловоние выгонит вас на вольный воздух, хотя бы это было в жестокие морозы. Дворы их — вместилище всяких нечистот, настоящие клоаки. Воображаю, сколько жертв уносит эта нечистота во время эпидемий. И никто не подумает об этом.

На лето команда моя размещалась в уезде, я по временам посещал ее. Верст за десять от города жил панцирный боярин Яскулка (по-русски Ласточка), у которого стоял офицер моей батареи. Я увидел там 19-летнюю дочь его Агнесу и скоро полюбил ее. Не стану описывать вам ее красоту, портрет ее вам знаком. Скажу только, что эта красота была отражением ее души. Она получила воспитание в панском семействе, родственном ей по матери. Яскулка был вдов. Жена его происходила из дворянского рода Стабровских, и потому он имел шляхетское родство, да и сам ветвью своего рода, хотя и слабой, держался к шляхетскому дереву. На прикрепление к нему он имел притязания. Права были затеряны, но это не останавливало его хлопотать о восстановлении их. Гордый, не зная почему, своим панцирным боярством и разве тем, что предок его держал стремя у одного из польских королей и удо-

стоился приветливых слов наияснейшего, он стремился дорыться, во что бы то ни стало, в архивных мусорах до утраченной дворянской короны. Хорошо устроенный фольварк, большое количество угодьев, большое стадо, доходная мельница, множество рабочих, которых он держал в дисциплине, доказывали его достаточное состояние. Он жил на шляхетскую ногу, хотя и не широко, но по-своему комфортабельно. Мне и в голову не приходило получить с рукой Агнесы его богатство, для меня она одна, своим лицом, была сокровище дороже всех сокровищ в мире. Притягиваемый неодолимой силой, я стал часто ездить к Яскулке и каждый раз свидания с его дочерью находил в ней новые, прекрасные достоинства. Мы полюбили друг друга той чистой, высокой любовью, которая должна была освятиться браком или сделать нас несчастными. Я просил у Агнесы руки ее и вместе позволения обратиться за тем же к отцу ее. Не в силах долее скрывать свои чувства, она со слезами на глазах бросилась мне на шею и запечатлела поцелуем обет принадлежать мне или никому. Отец давно замечал наши сердечные отношения друг к другу и, казалось, одобрял. Я обратился к нему с просьбой осчастливить меня рукой Агнесы. Родство с русским полковником, может стать, будущим генералом, должно было льстить сердцу честолюбивого панцирного боярина.

— Ваше предложение,— сказал он, пожимая мне руку,— делает мне высокую честь, почту себя счастливым иметь такого достойного зятя, как вы. Давно привык я уважать вас и любить. Но знаете ли, что я еще не утвержден в правах своих на шляхетство, что я еще мужик и потому дочь моя мужичка.

— Для меня это все равно,— отвечал я,— вы дорожите этими правами и, конечно, справедливо. Сколько я слышал от вас об этом предмете, можно ручаться за успех вашего домогательства. По своим связям (дернуло меня сказать) и я помогу вам в этом деле, даю вам свое честное слово. Но теперь отдайте мне вашу дочь, как она есть, дочь панцирного боярина. Никакой родовой, ни денежной придачи к ней мне не нужно. Мы любим друг друга, благословите нашу любовь.

— Помните ваше слово,— сказал он, горячо обнимая меня,— и берите мою дочь.

Он был не нежного характера, но тут прослезился.

— Агнеса,— крикнул он, отворив дверь в соседнюю комнату,— поди сюда.

— Любишь ли ты пана полковника? — спросил он ее, когда она вошла к нам.

— Всеми силами своей души,— промолвила она.

— Ну так поцелуй своего жениха.

Я принял ее в свои объятия, прижимал к сердцу, целовал без счета.

Вскоре мы были обручены и помолвлены.

В городе наделала много шума весть о будущем нашем браке, много толковали о нем; иные пожимали плечами, говоря, что это ужасная *mésalliance*. Я пренебрег этими толками и пересудами и гордился моей невестой, предпочитая ее всем сиятельным. Красота ее, прекрасный нрав, образование, любовь ко мне — были для меня выше всех родовых отличий.

Отец ее был католик; дочь захотела принять православие.

— Мой будущий муж православный, дети мои станут исповедовать его веру, они пойдут молиться в одну церковь, а я должна пойти в католическую, если она еще случится в месте, где нам придется жить. Вот уже рознь в семействе... не хочу ее.

Русский священник, приготовив ее к переходу в новое исповедание, совершил над нею тайну миропомазания. Католики подняли гвалт и готовы были, если бы могли, закидать ее камнями, но ограничились в кругу своих единоверных одними насмешками и проклятиями... Никто из католической родни ее матери не приехал на нашу свадьбу, зато в русском соборе, где мы венчались, было избранное русское общество.

Как хороша была моя Агнеса под венцом!

Я был счастлив, от нее веяло каким-то неземным блаженством. Отец ее был весел, гордясь, что имеет зятем своим полковника, украшенного знаками отличия; я старался всячески изъяслять ему мое уважение, особенно при значительных лицах города; офицеры моей батареи, любя меня, оказывали ему свое внима-

ние. Мне случилось при нем говорить по делу об отыскании им потерянного шляхетства с губернатором и губернским предводителем дворянства. Они обещали содействовать, сколько от них зависело, успешному ходу этого дела, когда все доказательства будут собраны и представлены. Мой тесть собирал их, рылся со своим адвокатом в архивах и, несмотря на свою скудость, не жалел денег.

Медовый месяц наш не прошел, однако ж, без неприятностей. Однажды, когда меня не было дома, горничная моей жены пала к ногам Агнесы, ломала себе руки и призналась ей, что хотела ее отравить по наущению ксендза, бывшего духовника ее матери, за то, что она перешла в русскую веру. Горничная не исполнила этого, измученная угрызениями совести и страхом последствий. Жена моя любила ее, знала такую преданной и была поражена этим признанием, но мне рассказала все полушутя, как глупую историю, которую стыдно бы пускать в ход. Я решился исполнить ее совет и предоставил все суду Божьему. Мы щедро наградили горничную с тем, чтобы она молчала, если не хочет себя погубить, и отпустили ее.

Через несколько месяцев Агнеса почувствовала, что носит под сердцем залог нашей любви.

Раз в мучительном ожидании разрешения ее, сидел я за перегородкой ее спальни. Вдруг слышу крик ребенка. Это был крик свободы пришельца в здешний мир из девятимесячного тюремного заключения, привет братьям человека, вступающего в их общество. С чем можно сравнить чувство отца, услышавшего этот крик! Я пал на колени и со слезами на глазах благодарил Творца за ниспосланного мне первенца. Лиза родилась в эту минуту. Надо было видеть тихую радость моей жены, когда поднесли к ней хорошенькое дитя, и она рукой указала мне на него. Через два года после того родился у меня сын Володя. Дети наши росли пригожие. Немудрено, их кормила сама мать. Часто и теперь представляется она мне в ореоле свой наружной и душевной красоты, с ребенком у полуобнаженной груди. Оттого-то, когда я встретился с вами в первый раз у окон Дациаро, я с таким жаром говорил вам

о картинке, на которой изображена была мать, кормившая дитя своей грудью. Оттого-то, когда я не нашел в магазине этой картинки, вырвались у меня слова: «Ее уж нет!» Ее уж нет, и с того времени не прошло дня в жизни моей, чтобы я не оплакивал эту божественную женщину. Возвращаюсь к тому времени, когда она была.

Не желая, как военный человек, которого жизнь похожа на кочевую, таскаться с женою и детьми с места на место, я решил искать другой, более оседлой службы. С этой целью поехал я в Петербург. Здесь предложили мне довольно значительное место в Приречье. Протекция была у меня сильная, и я, уволенный с военной службы для определения к статским делам, назначен на предложенное мне место. Я шел столько лет по одному пути, и вдруг расчеты моего разума и сердца толкнули меня на другой, совершенно новый для меня. Владая пером, ознакомясь с формами делопроизводства при пособии моего приятеля, посвященного в эту премудрость, и со всеми постановлениями, касающимися до моей должности, я был убежден, что в состоянии добросовестно сладить с предстоящими мне обязанностями. Природная логика должна была довершить то, чего недоставало моей неопытности; этой логики не заменят никакие знания и долговременная служба, чему я видел много примеров.

Возвратясь в В. за женою и детьми и для сдачи батареи назначенному на мое место лицу, я с удовольствием узнал от моего тестя, что дело его в ходу и все данные обещали ему успех. Одно, что мне не нравилось по этому делу, был выбор адвоката-поляка, хотя и умного дельца, но, как мне сказали, слишком смелого, готового иногда, очертя голову, и на нечистые извороты. Яскулка, которому я передал мои опасения насчет этого господина, совершенно вверился ему и не хотел передавать дело, начатое с такими большими трудами и, по словам его, так успешно веденное, другому адвокату. Я просил еще в-ские влиятельные лица помочь моему тестю в окончании этого дела, и мы расстались совершенными друзьями.

В Приречье, при первом представлении моему на-

чальнику (буду называть его Анонимом), я заметил, что он не совсем доволен определением меня в товарищи к нему. Немудрено, он хлопотал о другом на место, которое я занял, но его хлопоты не увенчались успехом. Взгляд его был суровый, речь сухая, манеры жесткие. Он мне с первого раза не понравился, но на службе нельзя поддаваться сердечному влечению или отвращению, а остается только думать об исполнении своего долга, несмотря, приятна или неприятна личность, с которой должен служить. Впрочем, мы скоро с ним поладили. Я увидел в нем, хоть и строгого формалиста, но деятельного и, сколько я мог судить по его речам и открытым действиям, честного человека. Одно обстоятельство доставило мне в первом году моего служения в Приречье случай оказать ему услугу. Он был в затруднительных денежных обстоятельствах и в интимной беседе со мною откровенно признался в них, прибавив, что не знает, где найти денег, что лица, предлагавшие их, имеют дела в его ведомстве, следовательно неблагоприятно занимать у них. Я только что продал свое 80-душное имение, которое после смерти моего умного и честного старосты и вслед затем моего дяди оставалось без надлежащего призрения и стало давать мне скудные доходы. Мне же управлять им за несколько сот верст было неподручно. Свободные деньги от этой продажи лежали у меня в шкатулке. По простодушной природе моей, увлеченный желанием оказать помощь верному человеку в нужде, я намекнул Анониму, что у меня есть такая-то сумма. На этот раз он обошел неблагоприятность займа у человека, служившего под его начальством. Он просил у меня эту сумму на год под заемное письмо, предлагая и проценты, какие назначу. Разумется, я взял *узаконенные* и получил следующее мне обязательство. Он не знал, как благодарить меня за выручку его из критического положения, и в излишней своих чувств обнимал, целовал меня так, что поколол мне щеки колючками своей небритой по случаю нездоровья, бороды. Это одолжение, известное только нам двум и маклеру, не изменило моих служебных отношений к начальнику, что старался я доказать,

продолжая деятельно заниматься моими должностными обязанностями.

Жена моя была принята в Приречье с тем вниманием, какое она заслуживала по своему уму, душевным качествам и ровным обращением со всеми, с кем вынуждена была знакомиться. Пошептались между собою о ее плебействе провинциальные аристократки, до которых дошло сведение, что она дочь какого-то шляхтича, непризнанного еще в дворянском достоинстве, но, побежденные ее привлекательной любезностью, признались, что она достойна занимать одно из первых мест в их обществе.

Годовой срок заемному письму, данному мне Анонимом в занятых у меня деньгах, миновал. Я покупал именьеца верстах в десяти от Приречья. Съездив его обозреть, я нашел его не только выгодным по угодыям, но и чрезвычайно живописным, а это для эстетического наслаждения моего и жены моей было необходимо. Небольшая речка, гремящая по камням, которыми дно ее было усыпано, в прихотливых извилинах своих весело пробиралась между холмами, увенчанными разнородными рощицами. На одном берегу, вдавшемся мысом в континент, росли купы молодых, но уже тенистых лип и тополей; перерезав его, можно было образовать островок. С небольшой горы открывались прекрасные виды сквозь просеку дальнего леса на церковь села Холмец, напоминавшую мне Судбищенскую, на мельницу и курганы, где, по преданию, были похоронены рыцари исчезнувшего с лица земли народа. Эта гора, как нарочно, предлагала место для постройки господского дома. Скоро сладил я с продащицей к удовольствию обеих сторон. Издержав довольно денег на путешествие из В. в Петербург, обратно и в Приречье, так же как и на приличную здесь по месту моему обстановку, я не имел других денег на покупку и устройство этого именьяца кроме тех, которые должен мне был Аноним, и потому я обратился к нему с просьбой возвратить их. Он поморщился и сказал мне с неудовольствием, что уверен был в отсрочке займа еще года на два, на три, что приготовил уже и проценты на следую-

щий год, что требование мое ставит его в отчаянное положение.

— Вы совершенно снимаете с меня голову,— прибавил он.

За несколько дней до этой перемолвки один добрый приятель мой, узнав, что я покупаю имение, предлагал мне ровно ту сумму, какая была дана мной Анониму, и потому я обещал должнику моему выхлопотать ее для него под заемное письмо за те же законные проценты, которые я брал с него. Аноним помялся было, но делать было нечего — согласился на мое посредничество. Дело благополучно уладилось и тем успешнее, что моему приятелю нужно было устроить своего сына в штат канцелярии его превосходительства. Я получил свои деньги, и мы с Анонимом остались, может быть, наружно, в тех добрых отношениях, какие существовали прежде между нами.

Купив имение, я стал устраивать его по плану, заранее начертанному в моем живом воображении, возвел двухэтажный деревянный домик с балконами и террасами, весело глядевший на все четыре стороны и при освещении казавшийся волшебным фонарем. Затем вырыл я проточный пруд с помощью бесчисленных ключей, питавших его. От него с речкой по другую сторону образовался островок. Сажал я деревья, выводил цветники. Всем этим приятным заботам посвящались мною праздничные дни и летние вакационные месяцы; они радовали меня и еще более жену мою. Посетив со мною наше именице, она была в восторге от него, да и соседи мои говорили, что я пустынное местечко, как-им оно прежде было, магическим жезлом превратил в очаровательную виллу.

В Приречье родился у меня сын Аполлон. Агнеса еще кормила его; ему было только десять месяцев, а мать наложила на себя обет не отнимать детей от груди прежде года — видела ли она в этом продолжительном кормлении залог их здоровья или ей жаль было оторвать от себя дитя, которое питала своей жизнью, с которым она составляла как бы одно существо. Расстаться со сладкими заботами кормилицы-матери, зная, что эта разлука принесет ему много горя и неми-

нуемое расстройство здоровья, было для нее мучительно. Вы найдете это чувство даже в матерях-крестьянках, обремененных тяжкими работами. По выздоровлении ее мы с ней и детьми временами, в свободное от службы время, продолжали ездить в свой обетованный сельский уголок, улучшать и украшать его.

К домашним моим радостям присоединилось отрадное чувство, что и моя служебная жизнь не нарушалась никакими важными неприятностями. Правда, с некоторого времени случались у меня с Анонимом столкновения, доходившие до высшего начальства, из которых я выходил, однако ж, с торжеством; правда, были колючки с его стороны, не улегшиеся в его ежовой душеньке за неудавшийся заем, но они скользили только по моему сердцу, не оставляя в нем глубоких следов. Сочтемся бывало, и остаемся в прежних мирных отношениях.

Господи! Ты читаешь всевидящим оком в душе моей, Тебе известно, что ни одного черного дела не сделал я в продолжение моей жизни, что я не изменял никогда долгу и чести ни в отношении к своим ближним, ни в отношении к своему отечеству и государю. Это скажу и тогда, когда предстану перед высочайший суд Твой.

Не воображал я тогда, что невидимая злодейская рука подкопалась уже под мое благополучие.

V

В те годы, о которых говорю, в России была какая-то эпидемия на расхищение общественных и казенных сумм. Кто не слышал о растрате инвалидов управляющим кассой их? Он задавал обеды и пиры на весь город, ставил по десяти тысяч на карту. Знатные, высокопоставленные господа, члены, обязанные поверять кассу, должны были сильно поплатиться. Но в этом несчастье для них нашелся один богач, пожертвовавший огромную сумму на пополнение растроченных денег, и члены были освобождены от взыскания. Не всегда

случаются такие благодетельные и щедрые люди, особенно когда подвергается подобному несчастью такая мелочь, как наша братья.

В один из этих годов открылась утайка или, лучше сказать, похищение тысячной суммы в губернском общественном банке города Приречья. Деньги, полученные из одного судебного места, не были записаны на приход более полутора лет и переползли в карман управляющего банком. Виновный был коллежский советник Киноваров, служивший прежде чиновником особых поручений при предместнике Анонима и считавшийся доселе честным и деятельным чиновником; Аноним особенно благоволил к нему. Но честность его была только маска, которую он на себя надевал, пока не имел еще возможности распорядиться важными суммами. Страсть его к карточной игре обнаружила, на какие черные дела он был способен, и погубила его. Играл он с кем попало, с жителями Приречья, с приезжими иностранными артистами и волтижерами, с честными людьми и шулерами. Проигрывая большие куши, он, как водится, хотел отыгрываться и, наконец, зарвался до того, что стал полною рукою черпать из общественного сундука. Все это, однако ж, было известно его интимным друзьям и скрыто от начальства. Аноним, поймав и улучив его в похищении тысячной суммы, в первый взрыв негодования велел подать ему в отставку, но, неизвестно по какой снисходительной причине, похититель остался на своем месте и представлен за разные заслуги к знаку отличия. Аноним не замечал, что он в продолжение уже нескольких лет похищал из кассы губернского общественного банка важные суммы.

Мое сердце не лежало к Киноварову по какому-то инстинктивному чувству, да и физиономия его с серыми кошачьими стеклянными глазами, в которых нельзя было читать ни одного движения души, отталкивала от него. Впрочем, не смея судить о человеке иначе, как по делам его, я не показывал ему своего нерасположения, но не принимал его в свое семейство, а только имел с ним сношения по службе. Жена моя при первой встрече с ним в обществе призналась мне, что он возбу-

ждает в ней какое-то отвращение, словно кошки, которых она не терпела и в доме не держала. Преступник не мог воровать без сообщников. Вся канцелярия губернского банка была подобрана им в одну шайку из людей, готовых на всякие черные дела. Тут были, как оказалось впоследствии, составители фальшивых кассовых билетов, гениальный каллиграф, подписывающий под чужие руки так искусно, что тот, под руку которого он подписывался, должен был признать ее за свою. Были тут и другие художники подобного рода из канцелярских чиновников, закупленных Киноваровым, в том числе и секретарь, главный товарищ атамана шайки. А кабы видели, какие это были святоши по наружности, как они усердно ставили свечи перед образами, и клали земные поклоны! Сам Киноваров, стоя в церкви у клироса, присоединял всегда свой голос к голосам причта, возносившим молитвы к престолу Бога. Лицедейство было доведено ими до совершенства. Раз искусившись в злодеянии, они должны были молчать о проделках своего ближайшего начальника из своего интереса и из боязни поплестись в Сибирь. Слепая же доверенность и необыкновенная благосклонность к нему Анонима поощряли их к постоянному дальнейшему участию в подвигах главного преступника, тем более, что члены, присутствовавшие в губернском общественном банке и ближайшие блюстители банковых сумм, ничего из этих подвигов не видели. Члены эти были: один от дворянства, хворый умом и телом, упивавшийся, в чайнии движения воды, покуда хлебным опиумом, подписывавший журнал у себя на дому, другой — от купечества, едва умевший выводить каракульками свое звание и фамилию, и третий от крестьян, мещанин, лакейски исполнявший то, что прикажет ему секретарь, не только что Киноваров. Он подавал в отсутствие сторожа теплую одежду и калоши приходившим в банк чиновным посетителям. Мало-помалу стали открываться, одна за другой, разные утайки значительных сумм, продолжавшиеся, как я сказал, несколько лет. Их нельзя уже было скрыть. Аноним, обязанный ревизовать ежемесячно суммы банка, был в ужасной тревоге, но старался всячески спа-

стись от крушения, которому он сам, испытанный кормчий, подвергнул общественный корабль, и потому напряг все силы своего ума и душонки, чтобы выпутаться из беды. На первый раз он двусмысленно донес высшему начальству об утрате некоторых сумм, оговорив, что нельзя определить, похищены ли они или поздно записаны на приход, и потому, писал он, невозможно еще судить о степени виновности Киноварова. Впрочем, приказал сделать сначала секретное, и затем формальное следствие. Между тем он не дремал. Родные и друзья Киноварова окольными путями начали вносить деньги на покрытие недостающих в банке. Родному брату своему он незадолго помог на украденные деньги жениться на богатой невесте, обставил его щегольским экипажем, богато меблированной квартирой, приличной прислугой и прочее и прочее, чем можно было блеснуть как жениху с большим состоянием. Этот брат прислал ему довольно значительную сумму, которую преступник, будучи уже под стражей, получил через вторые руки с почты. Движимое имущество его довольно ценное, секретно продано было разным лицам, и вырученные деньги внесены в банк взамен похищенных с запискою их на приход, где следовало, хотя через дальние сроки после похищения. Я был спокоен, потому что похищения эти до меня не касались, так как все они сделаны были во время управления Анонима, — спокоен до того, что, получив отпуск в деревню, уехал туда, чем он был очень доволен. Мое отсутствие удалило от него товарища, который мог, оставаясь в Приречье, быть невольным свидетелем его не совсем чистых изворотов. Оказалось, однако ж, что всех, разными путями вырученных денег на покрытие похищенных было недостаточно; отсекали одну голову у гидры, вырастала другая. Аноним вынужден уже был утвердительно донести об этом обстоятельстве. Вследствие этого донесения приехали следователи из Петербурга.

Не подозревая ничего неблагоприятного для себя и не имея ничего, чем упрекнуть себя по служебным делам, я наслаждался в моем сельском убежище прекрасными летними днями, счастливый любовью моей Агнесы и рассветом жизни моих детей.

Срок моего отпуска кончился, я возвратился в Приречье и явился к Анониму. Лицо его было печально и сурово, глаза из-под надвинутых на них бровей метали от себя какой-то зловещий огонь. Недалеко от него стоял почтмейстер с озабоченным видом.

— А вы в объятиях природы прогуляли важную сумму (такую-то) общественного банка,— сказал он мне.

Я думал, что он корчит угрюмую рожу, желая помистифицировать меня, как случилось ему делать, засмеялся и отвечал, что он, конечно, шутит.

— Шутка плохая! Не угодно ли вам удостовериться в этом. Потрудитесь съездить с господином почтмейстером в почтовую контору и потом в банк — вы удостоверитесь в истине моих слов.

С тревожным чувством поехал я на почту. Там по страховой денежной книге видно было, что за два года назад, во время моего управления, по случаю отсутствия Анонима, Киноваров действительно получил с почты важную сумму и в получении ее расписался. Еду в банк — по денежной книге эта сумма не записана на приход.

— Что, справились? — спросил меня иронически Аноним, когда я возвратился к нему с почтмейстером.

Пораженный своим несчастьем, будто громовым ударом, я ничего не отвечал и закрыл рукою глаза, из которых хлынули слезы.

Я был уверен в своей невинности, но знал, что казенные деньги, тут же и общественные, не горят и не тонут (надо прибавить, а только тают в горячих руках), и взыскание их должно пасть на меня с членами банка. Из преступника было выжато все, что можно было выжать на покрытие сумм, похищенных во время управления Анонимом. Жена, дети после моей смерти остаются без куска хлеба, вся моя будущность отравлена, разбита в прах. Поставьте себя на мое место, и вы не удивитесь, что я в первые минуты моего несчастья заплакал, как дитя. Твердый под перекрестным огнем неприятеля, я пал тут, как самое слабое существо.

Вот как совершено преступление Киноваровым и открыто оно умными, деятельными и верными своему

долгу петербургскими следователями. Пробираясь по нитям его, они потребовали от всех мест и лиц отзыва, какие деньги присылались ими или вносились в губернский банк. В почтовой конторе найдено, что там получена была значительная сумма из высшего петербургского банка, адресованная в губернский, что она принята Киноваровым с почты и не записана им в денежной книге на приход, следовательно им похищена. За два года до раскрытия этого похищения Аноним, собираясь ехать в Петербург по делам службы, свидетельствовал суммы и документы губернского банка. Киноваров, уверенный в успехе своего преступного замысла, заранее приготовил отношение в высший петербургский банк, подписанное им и скрепленное секретарем, будто по определению губернского общественного банка (тогда, когда этого определения не существовало) посылается столько-то билетов, на которые и просит прислать за несколько прошедших годов проценты. До свидетельства же или во время свидетельства Анонимом билеты выкрадены из казенного сундука так искусно, что он этой передержки не заметил, вложены в отношение и тут же посланы в почтовую контору. Следовательно, билеты похищены при Анониме и приступ к похищению процентов сделан при нем. После того он оставался еще с неделю в Приречье. Если бы он в этот промежуток времени пригласил меня в губернский банк и стал бы сдавать мне суммы и документы, как по законам следовало, тогда же открылась бы преступная отсылка билетов в Петербург, и похищение требуемых процентов было бы предупреждено. Он этого не сделал, а дал мне только предложение вступить в его должность. Месяца через два, три в отсутствие его получают проценты на значительную сумму и с ними возвращаются билеты. По журналу губернского банка, подписанного под мою руку и членами его, дается доверенность Киноварову получить с почты деньги и билеты. Он медлит близ месяца принять их из боязни, чтобы как-нибудь члены не вышли из своей дремоты и не вспомнили о данной ему доверенности, и выжидает для лучшего успеха своего подвига удобного случая. Случай этот представляется.

Члены спят по-прежнему и подписывают журналы, не читая их; я занят приготовлениями к приему одной высокой особы и вследствие того размещением малочисленного войска в городе. Накануне приезда ее Киноваров, пользуясь этим обстоятельством, получает из почтовой конторы деньги и билеты, деньги кладет себе в карман, а билеты, с помощью своих сообщников, в денежный сундук. При первом ежемесячном свидетельстве деньги по приходно-расходной книге и журналам оказываются налицо (помните, что те, которые получены с почты из высшего банка, не записаны на приход), билеты искусно предъявлены мне, членам и прокурору. Никто из нас, не подозревая преступления, не посмотрел на оборотном листе надписи, что проценты по ним выданы. Вот моя единственная вина, если судить меня как провидца. После того двадцать раз в течение двух лет Аноним с членами делает ежемесячные свидетельства и не видит этих надписей. Комиссия, секретная и формальная, наряженные при открытии первых похищений Киноварова, тоже не видят их. По открытии петербургскими следователями преступления, Киноваров посажен в острог, главный сообщник его, секретарь, по особенным видам и расчетам Анонима, остается в прежней своей должности несколько лет. Только впоследствии, когда губернский суд рассмотрел дело, не избег он заключения в тюрьму, но, посидев в ней несколько времени, выпущен, однако ж, из нее на поруки по причине, что не спрошены еще все лица, причастные к делу, которое более и более разрасталось. Меня несколько лет ни в продолжение следствий, ни в продолжение суда не спросили ни единым словом, что мне известно по этому делу, между тем губернский суд приговорил меня, наравне с членами банка, к уплате похищенных денег, отстранив по ним от всякой ответственности своего главного начальника и главного виновника всех беспорядков в банке — Анонима. Мудрено ли! он мог во всякое время найти беспорядки *в подведомственном ему судебном месте* или пригреть членов его лучом благоволения. Оговорки суда в пользу его были условные, гадательные, как: «*могло бы, если бы, можно полагать, могло статься*» и тому подобные.

Я сказал, что меня несколько лет не спросили ни единым словом, что я могу объяснить по этому делу. Знаю одного собрата моего по такой же должности, какую я занимал, попавшего совершенно так же, как и я, в приготовленную западню, которого через 20 лет по открытии преступления, не им совершенного, но так же, как и я, присужденного губернским судом к уплате важной суммы, спросили, что может он сказать в оправдание свое. Представьте себе, какую нечеловеческую память должен был иметь мой брат, чтобы вспомнить и сообразить обстоятельства дела, случившегося за 20 лет. Таковы были в то время наши суды под гнетом административного влияния и под покровом глубокой тайны.

После нескольких недель заключения Киноварова в остроге, Анониму донесли, что он умер там и, как следует, похоронен. Через дней десять после того полицмейстер, из немцев, небойкого ума и характера, по секрету рассказывает мне, что хоронил Киноварова, но что человек, которого он хоронил, был совершенно непохож на него.

— Донесли ли об этом Анониму вовремя? — спросил я полицмейстера.

— Говорил, — отвечал мне простодушный немец. Что ж он сделал?

— Закричал на меня так, что я прикусил язык.

Мне-то что оставалось делать в этом случае? Подать бумагу, возбудить следствие, вырывать мертвое тело! Вождь полиции, боясь гнева своего начальника, отказался бы от своих слов, время было упущено, все осталось бы шито и крыто и меня запутали бы в новые, нескончаемые затруднения. Перед этим случаем был один почти подобный, хотя не так важный, в тюремном замке. Крестьянин госпожи И-вой был посажен в нем от своей помещицы за побег и разные воровства, по которым и судился. По прошествии некоторого времени, госпожа И-ва получает через местную земскую полицию повестку, что ее крестьянин умер в остроге, а месяца через два-три этот самый крестьянин в образе и плоти живого человека является к ней и бросается ей в ноги, умоляя о прощении. Можно во-

образить изумление помещицы, когда она увидела перед собою живого мертвеца. Что было делать с ним? По совету своего зятя, она отдала его в солдаты... Тем и дело кончилось.

Ходили в Приречье под сурдиной слухи, что Киноваров тайно выпущен из тюрьмы. Кто содействовал его побегу, покрыто мраком неизвестности. Говорили, будто он перебрался под фальшивым паспортом в П. губернию. Вы помните, что я встретился на Кузнецком мосту с этим мертвецом в costume мещанина или купца, помните, как я в первую минуту отчаянного порыва вцепился было в него, и он от меня вырвался. Вы сами встретили его в гостинице под именем купца Жучка из Динабурга. Немудрено, что он выхлопотал себе под этим именем вид, приписавшись в купцы, платит гильдейские повинности и поживает себе спокойно. В той местности, где он имеет оседлость, беглые находят себе безмятежный приют под известным покровительством; если же какой-нибудь случай потревожит их, то переезжают реку и ускользают от преследований в любой из трех смежных губерний.

Жена моя кормила еще нашего меньшого сына Аполлона. Я скрывал от нее свое несчастье, чтобы не повредить здоровью ее и ребенка. Меня еще поддерживала надежда, что я, по своей невиновности, которую, конечно, признает суд, не пострадаю. Но меня удивляли какие-то уловки Агнесы скрыть от меня признаки горя. Нередко заставал я ее в грустном раздумье; увидав же меня, она тотчас принимала веселый вид, шутила, смеялась. Еще более изумило меня, что она, не выждав годового срока кормления ребенка, как себе предположила, отняла его вдруг от груди. Я не выдержал и спросил ее о причине такой перемены.

— Друг мой,— сказала она мне, наконец, покачав головой,— зачем скрывать от меня то, что всему городу известно? Разве ты и я не составляем одно существо, разве я не сумею снести несчастье, которое угодно было Богу послать на нас? Понесем его вместе и облегчим друг другу бремя его. Да будет воля пославшего вам это испытание! Я уверена, что ты чист в этом деле, как Тот, кто нес крест на распинание себя. Вот дело бы

другое, если бы я потеряла твою любовь. О, тогда я не могла бы перенести своего несчастья. Но я знаю, что ты меня любишь, и эту любовь не променяю ни на какие сокровища. Умрем,— Отец небесный не оставит детей наших.

Я прижал Агнесу к груди моей и рассказал ей все, что вам здесь рассказал. С этого времени она удвоила свои горячие ласки, беспрестанно почерпая их в богатом роднике любящей души своей, казалась спокойна, весела.

Вот как она узнала о похищении из банка суммы, падавшей на мою ответственность. К ней хаживала вдова канцелярского служителя, оставшаяся после смерти мужа с многочисленным семейством без всяких средств к существованию. Агнеса помогала временами этой женщине. Приходит она к ней и рассказывает, что ее сына, лет двадцати пяти, служащего в общественном банке, единственного ее кормильца, посадили в острог по подозрению, что он был участником в расхищении сумм.

— Вступитесь, матушка, ваше превосходительство в наше бедственное положение,— говорила она жене моей, горько плача,— замолвите словечко вашему супругу, попросите его защитить невинного от напрасной клеветы. Сын мой не более виноват в этом деле, чем его превосходительство Михайла Аполлоныч.— И рассказала вдова, что слышала от сына по делу о расхищении сумм в банке.

Действительно, ее сын, единственный честный чиновник в банке, оказался непричастным к совершенному преступлению и по определению высшего суда освобожден из заключения, в котором его протомили несколько месяцев, между тем как главный сообщник Киноварова оставался на свободе и на службе секретарем в том месте, которое они ограбили.

Недаром говорят, что одно горе ведет за собой целую вереницу их. Появится на небе тучка, и набегают на нее новые, облегают все небесное пространство мрачным покровом, и разражается ужасная гроза.

В ласках жены моей, в лепете и играх старших де-

тей, в улыбке меньшого я забылся и стал не так тревожно помышлять о последствиях киноваровского дела.

Получаю из В. от своего приятеля письмо, которым он уведомляет меня, что дело моего тестя Яскулки приняло несчастный оборот. Адвокат его, увлеченный нетерпением поскорее кончить это дело, за которое обещана ему была значительная награда, не отыскав в архивах некоторых документов, необходимых для подкрепления прав своего доверителя на шляхетство, вместо того, чтобы идти по законному пути, вздумал очертя голову прибегнуть к нечистым средствам. В это время образовалась шайка составителей грамот на дворянство и других подобных документов. Тут были искусные резчики из евреев, печатники, каллиграфы, мастерски подделывавшие печати и подписывавшие под руку давно истлевших польских королей. Многие по таким фальшивым актам получили шляхетство. Успех их подстрекнул адвоката Яскулки обратиться к вожакам этой шайки. На беду негодяев, приехал в В. новый губернатор, князь Д., человек энергичный, горячо преданный своему долгу, которого не могли подкупить не только деньги, но и чары польской женщины. Его память чтут доселе все честные жители В-ой губернии, которую он управлял, к сожалению, недолго.

Он накрыл делателей грамот на дворянство и разгромил шайку их. Адвокат моего тестя вместе с другими преступниками был предан суду, всех их постигла законная кара. Сам Яскулка был оговорен в этом деле. В одно время с моим приятелем он писал к дочери своей письмо, исполненное горьких упреков, что я, дав ему слово благородного человека хлопотать по его делу, не исполнил своего обещания, изменил чести, связям родства и т. п. Выражения были подобраны самые жестокие, резкие. Оканчивал Яскулка свое письмо тем, что разрывает все отношения с нами и не хочет более нас знать, предоставляя Богу судить нас за наше коварство. Надо было потерять вовсе рассудок, чтобы сваливать вину своего адвоката и, может статься, собственную вину на меня и Агнесу, ни в чем не виновных перед ним. Несмотря на эту вопиющую несправедли-

вость и болезнь жены моей, пораженной незаслуженным гневом отца, испросив себе отпуск, я поехал в В.

Яскулка не хотел принять меня и, чтобы я как-нибудь не переступил через порог его дома, выехал из своего фольварка к одной родственнице. Пренебрегая несправедливым гневом безумца, я стал хлопотать, чтобы не притягивали его к уголовному суду. Мне это удалось, так как составление фальшивой грамоты было прямым делом его адвоката, уже пострадавшего за свое преступление.

Нам с Агнесой не в чем было упрекать себя по этому делу. Мы писали несколько писем к Яскулке и ни на одно не получили ответа.

Умер у нас младший сын Аполлон.

Все эти удары, один за другим, расшатали окончательно здоровье Агнесы, в груди ее образовалась ужасная болезнь, для исцеления которой врачебная наука не нашла еще никаких средств. Несмотря на сделанную здесь, в Москве, операцию, час нашей земной разлуки наступил. Последняя ее просьба была стараться помириться с отцом ее. Ничего не завещала она мне насчет детей наших, твердо уверенная, что это завещание и без слов ее будет свято мною исполнено. Она благословила восьмилетнюю Лизу и пятилетнего Володю, припавших с рыданиями к холодеющей руке ее, крепко пожала мою руку и, устремив на нас последний взор, отошла в лучший мир.

Агнеса умерла в мае. В то же время каждый год цветет на ее могиле белая сирень и кругом ее наполняет воздух своим благоуханием. Так цвела и благоухала душа ее!

Говорить ли вам после описания этой ужасной утраты о потере моего имущества? Еще и теперь вычитают из моего пенсионна половину.

С Анонимом мы стали крепко не ладить и, наконец, совсем рассорились. Он умер недавно, оставив хорошее состояние своему семейству. Я переехал в Москву, где живу уже несколько лет. Родственница моя, Зарница, о которой говорил я вам в первый день нашего знакомства, не имея детей, взяла к себе на воспитание Лизу, пристроила ее за свой счет в учебное заведение,

чтобы она была поближе ко мне, заботилась о ней, как о собственной дочери. Володя жил со мной долгое время; сначала я сам учил его всему, что знал, потом он поступил на казенный счет в гимназию; оттуда перешел с помощью той же Зарницыной в университет. Остальное вам известно.

Вот вам, друг мой, история моей жизни. Как видите, много в ней печальных страниц, над которыми вы призадумаетесь. Но не забудьте, что я с благодарностью целую десницу, пославшую мне несколько лет несравненного счастья с моей неоцененной Агнесой и моими добрыми детьми».

VI

Михайла Аполлоныч, раскрыв Сурмину тайны своей жизни, как бы приобрел его к своему семейству. Сурмин высоко ценил этот знак дружбы, еще более уважал его, если можно сказать, благоговел перед ним. Сколько несчастий пронеслось над головой благородного старика! Как не пал он под ударами судьбы! И теперь еще, сколько можно судить, живет он в нужде. Из его пенсии, заслуженной столькими годами честной службы, вычитают половину, дочь дает уроки по домам. Между тем злодей Киноваров гуляет по белому свету, может быть, наслаждается жизнью в полном довольстве. И этот безумный честолюбец Яскулка, довершивший то, что другой начал...

В горячих выражениях молодой человек изъяснил свою благодарность Ранееву.

И тот и другой тайно желали скрепить узы дружбы, их соединявшие, более тесными, родственными. Но Ранеев, следя очами сердца за отношениями друг к другу Сурмина и Лизы, замечал только с одной стороны постоянное искательство и неудачу в нем, потому что, в противном случае, ничто не помешало бы Андрею Ивановичу просить руки ее. Лучшей партии не мог желать отец для своей дочери. Какое торжественное чувство заставляло его подозревать, что она любит другого. И этот другой, думал он, никто, как Владислав Ста-

бровский, брат изменника русского знамени и едва ли не сам сторонник польского дела. Он был уверен, что дочь не преступит завета его, не отдаст руки своей врагу России.

Между тем некоторые признаки, не ускользнувшие от него, особенно последнее свидание и прощание ее с Владиславом в Пресненском саду, горячее заступничество за него после этого свидания, не раз повторенное, оставили в нем смутное и грустное впечатление. Может статься, Владислав дал ей слово остаться верным России, убедить брата возвратиться к своему долгу и просить прощения у Того, Кто в беспредельной доброте милует раскаявшихся преступников. Во всяком случае, это подозрение сильно тревожило его. Ни одним, однако ж, словом не обнаружил он перед дочерью грустной тайны души своей, предоставляя рассудку ее и разлуке сделать свое дело.

Что происходило в это время с Сурминым? Любовь к Лизе, как прилив и отлив моря, то набегала на его сердце бурными, кипучими волнами, то успокаивалась на мысли, что если она к нему равнодушна, так он пустит свои горячие надежды по ветру и по-прежнему обратится к одним заботам о благосостоянии матери и сестер. Его характер не был романический, гореть безнадежно страстью, играть глупую роль селадона или рыцаря печального образа не находил он себя способным. Так же, как и старик Ранеев, он замечал проблески чувства к Владиславу, более чем родственного. Не мог Сурмин забыть, как в первый день знакомства с ними Лиза смутилась при одном имени кузена, как на вечере Елизаветина дня при появлении Владислава она изменилась в лице и рука ее, наливавшая чай, сильно задрожала. Хотя лицо Сурмина было полуобращено в другую сторону, однако ж, ревнивый взор успел все это уловить. Он угадывал также, что в решении спора его со Стабровским о польской национальности, когда Лиза подала руку победителю, она не могла иначе поступить, хотя и против своей воли, боясь гнева отцовского и суда маленького кружка, перед которым происходил спор, да и предмет состязания был патриотический, и показать себя сторонницей польского дела

было противно рассудку и сердцу ее. Среди этого раздумья, бросившего мысли Сурмина из одной стороны в другую, он осторожно выведал от адвоката своего, Пржшедиловского, что соперник его уехал из Москвы в Белоруссию, может быть, навсегда и тем положил между собой и Лизой вечную преграду. Сурмин, успокоенный этим отъездом, предался опять своим надеждам. «К тому же подозрение не есть еще доказательство», — думал он, и решился узнать от самой Лизы свой приговор и покончить так или сяк со своей мучительной неизвестностью. Он уверен был, что она неспособна притворяться и прямо объявить ему решение его участи, и стал выжидать случая приступить к этому решению. В минуты грустного настроения, Сурмин находил отраду в сближении с привлекательной Тони, в ее заманчивом, игривом разговоре, в котором высказывались ее ум и открытый характер.

Не только видал он ее у Ранеевых, но стал посещать и в мезонине, иногда с Михайлой Аполлонычем и Лизой, иногда один. Иногда играла она ему Шуберта и Шопена или пела своим чистым, задушевым контраalto пьесы, как она заметила, им особенно любимые, то веселые и рассыпчатые, то заунывные, в которых слышалась натура русского человека. И во всем этом не было и тени кокетства, хотя и была доля желанья нравиться ему. Сам Ранеев не пропускал случая искусно выставить перед ним ее достоинства. Когда Лизы не было дома, он приглашал Сурмина посетить его дорогу Тони.

— Пойдем к моей второй дочке, — говорил ему старик, — послушаем ее сердечную музыку, отведем душу от житейских невзгод.

И ковылял старик по крутой лесенке в мезонин, поддерживаемый своим молодым другом.

Тони занимала две отдельные от братьев и сестры комнаты, из которых в одной принимала своих посетителей. Комната эта была такая хорошенькая, убранная хоть небогато, но комфортабельно и со вкусом. При входе в нее вас опахивало благоуханием цветов. Особенно одно померанцевое дерево, подаренное ей Сурминым, было осыпано цветами. Ему посвящены были

материнские заботы. От хорошенького личика хозяйки веяло невозмутимым счастьем, в самом звуке ее голоса был такой гармонический отголосок чистой души, так приятно умела она занять своих гостей, что они, возвращаясь домой, действительно забывали свои житейские невзгоды.

Мы сказали, что в то время, когда Лиза и Владислав прощались на береговой дорожке нижнего Пресненского пруда, никто из них не заметил, как за ними наблюдал зоркий глаз соглядатая. Этот свидетель их прощания была бой-баба Левкоева. Выходя со двора, чтобы по делам своим направиться к Пресненскому мосту, она заметила, что Лиза повернула к Горбатому мосту, и, находя, что ей приятнее идти в обществе ее по одному направлению, садом, хотя и ощипанным рукой суровой осени, но по песчаной дорожке, чем по улице, довольно грязной,—она вздумала нагнать Ранееву. Раза два Левкоева окликнула ее. Та, вероятно, занятая мрачными мыслями, не слышала ее голоса и вошла в сад через ворота Горбатого моста. Левкоева за нею, сделала уже с десяток шагов, но, увидав, что Лиза и Владислав встретились, остановилась, чтобы посмотреть, как будет происходить эта встреча, и спряталась за древним вязом, у решетки, отделяющей сад от улицы. Представлялся случай узнать, может быть, какие-нибудь тайные отношения двух особ, которые, казалось ей, были равнодушны друг к другу. Не пропустить же эту оказию даром! И увидала Левкоева, как они встретились, как жарко говорили, как Владислав долго держал руку Лизы в своей, целовал ее (ей помешало даже, что Лиза поцеловала его). Видела она, что они простились, Лиза махнула ему платком и потом приложила платок к глазам, вероятно, чтобы скрыть свои слезы. Для злорадного любопытства бой-бабы довольно было и того, что она видела, и того, что воображение ей подрисовало. Она вышла из своей засады, скользнула назад к Горбатому мосту, очутилась на нем, как-будто шла через него с другой стороны пруда, и повернула в Девятинскую улицу. Владислав, шедший тоже к Горбатому мосту, мельком заметил этот маневр и, нагнав ее уже на Девятинской улице против

овощной лавочки, поравнялся с нею. Увидав, что это Левкоева, постоялица Лориных, бывавшая у Ранеевых, он злобно на нее взглянул, как бы хотел убить ее этим взглядом, и не утерпел, чтобы не сказать: «домашний эмиссар!» Левкоева не смутилась, сердито посмотрела ему в лицо и вслед ему бросила свою отповедь: «только не польский». Тем и кончилась эта встреча.

— Он далеко уезжает, — думала она, — следовательно, для нее не опасен.

И вот носит она тайну свою в муке ожидаемого решения ее. Не передавать же ее Ранееву! Может быть, дочка, под видом, что ничего не скрывает от отца, сумела сама искусно рассказать ему о прощании своем со Стабровским, утаив, конечно, поцелуи и слезы. Отец, не чающий души в дочери, не поверит словам вестовщицы, на которую он с некоторого времени нападает своими сарказмами. Хотя бы Левкоева в минуту доброго его стиха и рассказала ему поосторожнее, что видала, что ж пользы, какие выгоды от этого получит она для себя? Вот дело бы другое — Сурмину. Он человек богатый, показал свою щедрость, дав для бедной вдовы две двадцатипятирублевые депозитки, и может ей самой в нужде пригодиться. Он неравнодушен к Лизе и рад будет узнать, что ее строгость только маска, накинутаая на себя, чтобы скрыть свои настоящие чувства, и оценит услугу преданной ему женщины. Кстати уж и отомстить Ранееву за дерзкие его выходки против нее и сына, отомстить за холодность и гордость девчонки, тоже с некоторого времени, видимо, не влюбившей ее. Если Сурмин думает жениться на ней, так не бывать этому — недаром же зовут ее бой-бабой. Дней с десяток поносила она со своим бременем в нерешительности исполнить задуманное ею и отчасти в тревоге нечистой совести. Что ни говори, а в подобном деле, где замешана честь девушки, и у отважного человека опустятся руки. Однако ж, измучившись своими долгими колебаниями, она решила отправиться к Сурмину. Его не было дома. Поехала дня через четыре — опять неудача. Тут неожиданно упала на нее с неба особенная благодать. Какой-то добрый, влиятельный в обществе господин, тронутый рассказом о ее бедном, несчастном

положении, предложил устроить в пользу ее благородный спектакль, с тем, чтобы она сама в нем играла. Сбор выдается ей секретно, публика не будет знать, в чью пользу он устроен, ей же поручат раздачу билетов и сочинение истории насчет бедного, анонимного семейства, участь которого желают облегчить. На выбор пьесы, актеров, помещения для сцены и приготовление прочих аксессуаров, необходимых для спектакля, еще более для выучки ролей, потребовалось недели две. Наконец, Левкоева сбросила с себя эту обузу, она свободна! Надо было развозить билеты. Кстати, случилась новая размолвка с Раневскими, и она поспешила воспользоваться этим случаем, чтобы поточить свое жало на оселке злословия.

Было десять часов утра — лучшее время застать Сурмина дома.

Сидя в своем шлафроке, он пил чай, когда слуга доложил ему о приходе статской советницы Левкоевой.

«Зачем черт принес?» — подумал он и велел все-таки просить ее. Переодевшись, он принял бой-бабу со всей светской вежливостью, всегда строго соблюдаемой им перед дамами, кто бы они ни были.

— Ожидал ли барин такую раннюю гостью? — сказала она своим бравурным тоном, хлопнув с высоты подъема своей руки по руке, ей протянутой. — Я уж раза три была у него и все-таки не поймала ветреника дома.

— Очень жалею, что невольно заставил вас так много беспокоиться, — отвечал Сурмин, усаживая свою гостью около чайного стола, — вы могли бы приказать мне явиться к вам. Не угодно ли чаю?

— Я вполне русская, и потому от чаю никогда не отказываюсь; ныне же так сыро и холодно, что не похочу согреть старые кости, которым давно пора на погост.

— Уж и старые кости, — заметил Сурмин, усмехаясь, — унижение паче гордости. Вы еще так цветете, полны жизни.

— Комплименты в сторону; я приехала к вам по делу, мой добрейший господин.

— Иначе я и не предполагал, вы вечно хлопчете за других, ангельская душа.

— Не говорите этого: нам, бедным пассажирам на углу суденышке по тревожному жизненному морю, приходится хлопотать и за себя. Особенно, когда имеешь на руках сына, требующего всего от матери. Что ж делать? — прибавила она, вздохнув, — иные сынки содержат свою мать, а мое дитяtko вздумало в кавалерию. Вы знаете, как там нужны пенензы и пенензы.

Говоря это, она прихлебывала чай урывками от своей речи.

— А какой у вас ароматный чай! Я давно не пивала такого и попрошу у вас другую чашку. Где вы его покупаете?

— Право, не помню, — отвечал он, наливая другую чашку. — Если бы смел, я предложил бы вам вступить со мной в дележ из цибика, только что початого.

— Разве для хвастовства, попотчевать какую-нибудь сиятельную.

— Сережа, — закричал Сурмин и, когда слуга явился, велел ему подать цибик и два листа оберточной бумаги самого большого формата.

Цибик с двумя листами бумаги был принесен, от него понесло чайным ароматом. Левкоева стала махать на себя руками, как бы желая подышать воздухом, который был им напитан. Андрей Иванович стаканом и ложкой бережно насыпал на каждый лист по целой горе чаю и приказал слуге хорошенько завернуть и отдать барыне, когда она от него выйдет.

— Смотри, Сережа, — сказала Левкоева, у которой глаза заискрились от полученного подарка, — заверни и увяжи получше в двойную бумагу, чтобы благодать, благодать-то не улетучилась. — Потом, обратясь к хозяину, промолвила, — ого, какие вы щедрые! видно, что служили в кавалергардах. Впрочем, всякое даяние благо, особенно когда предлагается так любезно. Большое, пребольшое спасибо (она протянула через стол руку). Дай Бог вашим сердечным и денежным делам в гору.

— Вот денежная статья отличная, — сказал Сурмин, притворяясь человеком корыстолюбивым. — Сантиментальность в наше время поступила в архив.

Кабы вы мне посватали богатую невесту, какую-нибудь купчиху.

— За этим дело бы не стало, если б вы говорили искренно. Теперь потолкуем о моем деле, а там примемся за сердечные, проверим вас.

— Готов внимать.

— Извольте видеть, мой бесценный, мы с одним добрым человечком устроили благородный спектакль в пользу одного благородного семейства. Уж это не из той мелочи, для которой я на днях хлопотала и которой вы так великодушно помогли — подымай выше! Я принимаю в этом спектакле участие, играю роль сварливой барыни с язычком, как бритва, видите, роль совершенно по мне.

— Вы и себя по привычке не жалеете.

— Нечего греха таить, вижу и свой сучок в глазу.

— Уверен, что сыграете свою роль мастерски.

— Без хвастовства скажу, на репетиции все были от меня в восторге. На меня же взвалили обузу развозить билеты; вы, конечно, не откажетесь взять парочку.

— Хоть пять.

Левкоева вынула из своего портмоне пять билетов и вручила их Сурмину. Он сходил в соседнюю комнату и передал ей двадцатипятирублевую кредитку.

— Давно были у Ранеевых? — спросила она.

— Дня с три, четыре, право, не помню.

— Прекрасное семейство! Жаль, что несчастья сделали старика раздражительным, стал накидываться и на друзей своих.

— Я заметил, что в этих случаях правда всегда на его стороне. Уважаю его, как бы он мне был отец родной.

Левкоева лукаво погрозила ему пальцем.

— Или около того. Признайтесь, вы не совсем равнодушны к дочке.

— Как и всякий другой, кто увидел бы ее хоть раз. Но до серьезной любви, до посягательства на ее руку очень далек.

— Нечего сказать, дивно увлекательна. Между нами, *une tête exaltée*. С виду гордая, холодная, настоя-

щая Семирамида, у ног которой все должно преклоняться, а между тем...

— Что ж?

— Беда, если полюбит какого-нибудь красавца с такую же горячей головой, с таким же пылким сердцем, как у нее, и оба бросятся в омут приключений.

Сурмин успел хорошо узнать Левкоеву, знал, что злословие — ее пятая стихия, но, заинтересованный разговором о Ранеевых и своею ревностью, невольно слушал ее с видимым участием.

— Она так рассудительна, — заметил он, — что, конечно, не полюбит сорванца.

— Кто знает, может быть и полюбила. Говорю это из сожаления, из желания этой превосходной девушке, тут же и вам добра.

Сурмин благодарил кивком головы.

— Молю Бога, чтоб она избавилась от злого наводнения. Сказала бы больше, да боюсь, не пришли бы мои слова к привычке чесать язык насчет ближних. Я так люблю, так предана этому семейству, оно же так много пострадало в жизни своей. Считаю за смертный грех прибавить к его горю новое.

— Верю вам, и я люблю, уважаю много это семейство и не потерпел бы злословия насчет кого-либо из членов его. Убежден, что Лизавета Михайловна чиста, как золото без лигатуры...

— О! и я за это ручаюсь сама. Но искушения ежедневных сближений с красивым, пылким, умным молодым человеком... К тому ж кузен, хоть и седьмая вода на киселе... родственные отношения, под прикрытием которых говорится многое, чего не дозволено постороннему, высказываются тайны сердечные красноречиво, с жаром... ныне, завтра, месяцы... И металл поддается. Сердце — не камень. Лизавета Михайловна в поре разгара страстей, кипучая натура... И вы не удивитесь, если они оба потеряли головы.

— Однако ж, я думаю, — сказал Сурмин не без тревожного чувства, — что у нее достаточно много благоразумия, довольно любви к отцу, чтобы не впасть в искушение, вопреки воле его, питать надежду в сердце того, кто...

— По национальности своей неприязнен к России, скажете вы.

— Да, покинуть отца, который вдали от сына видит в ней свое единственное утешение и опору, да это святотатство, на которое способна только безумная женщина.

— Конечно, до этого дело не дошло. Отец может умереть... Чем бес не шутит! Помните, Елизаветин день, помните, сцену, когда Владислав вошел, как демон (я заметила, что он был немного выпивши).

— Уж будто и это!

— Глаз мой верен. Да, если б не вино, не стал бы говорить такой вздор, особенно к концу вашего спора. Сравнивая свою судьбу со счастливой жизнью вашего адвоката, он высказал перед нами тайну своего сердца. Заметили ли, как Лизавета Михайловна при появлении его сделалась блее скатерти на чайном столе? Рука ее задрожала так, что, я думала, чайник выпадет и произойдет какой-нибудь скандал. Видели ли вы все это?

— Признаюсь, я был занят приходом нового лица, меня интересовавшего, и ничего не заметил. Впрочем, это все догадки без доказательств, может быть, и мираж вашего подозрительного, лукавого характера. Вы могли видеть признаки страсти в том, в чем другие видели одну случайную тревогу души. Не забудьте, Владислав бывший друг дома, родственник их, еще прежде Елизаветина дня он оскорбил отца и следственно дочь, безрассудным разговором о польской национальности в Белоруссии, давно не был у них и вдруг неожиданно-негаданно явился именно в день ее ангела.

— Хорошо бы, если б это так было. Но я могу сказать еще более, могу сказать то, что видела собственными глазами. Уж не негодование за оскорбление патриотического чувства, а доказательство истинной любви...

— Любопытно, однако ж, знать, что вы видели, хоть для того, чтобы посмеяться.

— Если вы уважаете эту девушку, так, конечно, не смех возбудит мой рассказ. Еще оговорку. У меня один сын; каков ни есть, он дорог матери. Отними его, Го-

споди, у меня, если я хоть в одном слове покривлю душою в том, что вам передаю. Слушайте же.

И рассказала Левкоева все, что ей удалось нечаянно увидеть на береговой дорожке Пресненского пруда. Когда же дошла до того, как Владислав целовал у Лизы руку, как она сама поцеловала его и плакала, прощаясь, Сурмин не выдержал и, вспыхнув, спросил:

— И она сама поцеловала? Не обмануло ли вас расстояние?

— Не такое же оно было большое, чтобы глаза мои могли меня обмануть. Впрочем, я уверена, что тайна эта останется между нами.

— Не можете сомневаться. Впрочем, я и тут не вижу ничего особенно предосудительного, ничему не удивляюсь. Конечно, поцелуй, если вы не ошиблись, данный тайно мужчине, — важный, роковой акт любви. Но ведь и то сказать, она прощалась с кузеном... Владислав уезжал далеко, может статься, навсегда... увлечение в этих случаях простительно. Верьте, тайна, переданная мне, хотя она мне ни на что не пригодна, будет зарыта в душе моей, как бы это была тайна моей сестры. Честь девушки — такое сокровище, которого не возвратишь, если оно раз потеряно. Умоляю вас сохранить между нами то, что вы мне передали. В противном случае, вы найдете во мне ожесточенного врага — клянусь вам в том честью своей.

Последние слова сказал Сурмин решительным, строгим голосом.

Разговор более не клеился. Левкоева заметила, что он был смущен, расстроен, да и саму ее тревожил червяк в сердце. Расстались, по-видимому, друзьями, повторив обещание свято хранить тайну, известную только им двоим.

Он проводил ее до дверей, сказав слуге, чтобы не забыл передать ей чай.

— Мерзкая, низкая женщина! — вырвалось у него из груди, когда он воротился в комнату. — Мне казалось, рука моя дотронулась до какой-то гадины, которую стоит только пришибить камнем.

— Сережа! — закричал он, — дай мне умыть руки.

Рассказ Левкоевой, как ни находил Сурмин источ-

ник его нечистым, сделал, однако ж, на него сильное впечатление. Порешить какой-нибудь развязкой со своей любовью и поскорее — сделалось для него необходимою, которую ничто не должно было изменить. Могла бой-баба и прилгать по своему обыкновению, может быть, из чувства мщения за какую-нибудь во-ображаемую обиду со стороны Ранеевых. Но все-таки, как ни поворачивай это обстоятельство, оно накидывает какую-то тень подозрения на отношения Лизы к Владиславу. Рассудок и сердце велят ему разрубить гордые узел, так крепко затянувшийся. Лизе, ей одной, без свидетелей, должен он передать откровенно свою душевную тревогу и услышать от нее свой приговор, которым все, еще смутное для него, все неразгаданное должно объясниться. Но как это сделать без свидетелей, в том заключалась трудная задача.

Был конец октября на дворе, в одну ночь выпал частый снег при легком морозце, все утро до полудня сеял он густыми хлопьями. Замелькали сани по улицам. Жители нашего севера так же рады первым признакам зимы, как и появлению первых теплых дней мая. Наша осень со своей слякотью нагоняет хандру, езда по грязи несносна. То ли дело родная матушка-зима! Она подстилает вам ровный как скатерть, путь, румянит щеки красавицы, сбрасывает несколько лет с плеч старика, все в это время оживляется. Накануне был Сурмин у Ранеевых. Ему сказали, что Тони не так здорова и не должна дня два выходить из комнаты. Он изъявил свое сожаление, но внутренне доволен был, что один человек, и самый важный, не помешает его объяснениям с Лизой. Надо было освободиться от присутствия Михайлы Аполлоныча, и на это составил он свой план.

— Если завтра, — думал Сурмин, — не будет оттепели и путь не испортится, приеду к Ранеевым на ямской тройке и приглашу Лизу прокатиться со мной. Она не из щепетильных барышень и, конечно, не откажется, Михайла Аполлоныч и подавно даст свое согласие.

Сама природа содействовала ему. Он прикатил на лихой тройке с рысаком в корню и завивными на при-

стяжках в самые сумерки, когда фонари только что зажигались и великолепный фонарь на небе делал свет их ненужным. Все устроилось по его желанию. Лиза с удовольствием согласилась на предложенное ей катанье. Михаила Аполлоныч, видимо, доволен был, что молодой человек, которого он так любил, будет какой-нибудь час наедине с дочерью. Может быть, в этот час разрешатся его надежды. Каждый из них имел свою затаенную мысль, и все они, как-будто нарочно, условились устроить это *partie de plaisir*. Пролетел ямщик на своих вихрях-конях несколько улиц, так что огни фонарей казались седокам одной лучистой, огненной полосой, и дома быстро двигались мимо них. Лиза, видимо, не боялась такой быстрой езды. Сердце у Сурмина сильно стучало. Возле него сидела та, которая в этот час должна решить его судьбу. Прекрасное лицо ее озарялось матовым светом месяца, черные глаза ее горели необыкновенным огнем. «Если б эта женщина была моя,— думал он,— с каким удовольствием полетел бы я с ней рука в руку, хоть на край света». Но Лиза была не *его*, и он приступил к цели, им задуманной. Ямщику велено ехать тише, Сурмин говорил с Лизой по-французски, чтобы тот не понял их разговора.

— Я устроил это *tête-à-tête* с вами,— начал он,— не для пустого удовольствия прокатить вас.

— Я это угадывала,— отвечала Лиза,— и вы видели, как я охотно приняла ваше предложение.

Он стал объяснять ей свои чувства, глубокие, неодолимые, зародившиеся в душе его с первой встречи с ней, говорил, что она должна была их заметить, что мука неизвестности, разделяет ли она эти чувства, сделалась для него невыносимой, и потому умоляет ее решить его судьбу. Все подобные объяснения влюбленных почти на один лад, с некоторыми вариантами. Пламенная речь Сурмина дышала такою любовью, такою преданностью, она изливалась из сердца открытого, благородного. Та, к которой относились его слова, не могла сомневаться в искренности их. Наконец, она отвечала:

— Я ожидала этого объяснения, скажу более, я его

желала. Уверены ли вы, что говорит с вами женщина, которой слова так же честны, как и душа ее?

— Уверен так же, как и в том, что есть Бог.

— Что раз сказанное мною не в состоянии изменить никакая власть на земле?

— Убежден в твердости вашего характера и тем более поклоняюсь вам.

— Считаете ли вы меня другом своим, лучшим другом после отца моего?

— Счастлив бы я был, если б мог им называться.

— Дайте же мне вашу руку, друг мой, брат мой.

Сурмин подал ей свою руку, Лиза крепко пожала ее и продолжала:

— Теперь, сбросив с души все, что могло затруднить мои объяснения с вами, скажу вам то, что должна сказать для общего нашего спокойствия. Не хочу вас обманывать. Вы мне раскрыли свое сердце, также честно раскрою вам свое. Я не могла не заметить, что вы ко мне более, чем равнодушны, что лучшее желание моего отца, хотя он мне прямо не говорил, было бы назвать вас членом нашего семейства. Осуществить это желание было бы для него истинным счастьем. Но я, неблагодарная, безрассудная дочь, готовая пожертвовать ему своею жизнью, не хочу, даже и за цену его счастья, продать свою душу. Я знаю ваши достоинства, знаю, что была бы с вами счастлива, но не могу отдать вам с рукою своей сердца чистого, никого не любившего прежде, сердца, вас достойного. Зачем не явились вы к нам за год прежде! Я была бы ваша.— На глазах Лизы выступили слезы.— Теперь, друг мой, скажу вам то, чего не говорила близнецу моего сердца, Тони, не говорила даже отцу. Таково мое доверие к благородству вашему. Я любила, может быть, еще люблю... Скажу еще более, даже тот, кого я любила, не знает этого вполне. Рассудок, обстоятельства, отец, патриотизм, все было против этого чувства.

— Неужели этот счастливец Владислав?

Лиза ничего не отвечала.

— Но он уж уехал и едва ли не навсегда.

— Я простилась с ним навсегда.

— Если же он враг России?

— И я буду его врагом. Что ж вам и тогда в сердце, которое в другой раз так любить не может, измятом, разбитом, сокрушенном? Я обманула бы вас, если бы отдала вам руку свою, не отдав вам нераздельно любви своей. Хотите ли жену, которая среди ласк ваших будет думать о другом, хоть бы для нее умершем?

— Боже меня сохрани от этого несчастья!

— Видите, какая я странная, безумная, непохожая на других женщин. Оцените мою безграничную доверенность и останемся...

— Друзьями,— договорил Сурмин, глубоко вздохнув.— Я у ног ваших, преданный вам еще более, чем когда-либо. Если постигнет вас какое-либо несчастье... (молю Бога отвратить его от вас), жизнь ваша не усыпана розами... могут быть случаи... обратитесь тогда ко мне, и вы найдете во мне человека, готового пожертвовать вам всем, чем может только располагать.

Так кончилось это объяснение, давно обоими желаемое. Сурмину казалось, что с груди его свалился тяжелый камень: гордиев узел был разрублен, подле него сидела уж *сестра* его.

Они ехали по площади так называемых «Старых триумфальных ворот».

— В поле, где шире!— закричал Сурмин ямщику,— прокати молодецки.

Замелькали опять перед ними огни фонарей, и пронесли мимо дома Тверской-Ямской, и отступили от них, как-будто в страхе, мифологические гиганты, безмолвные стражи новых триумфальных ворот. Вот они миновали Петровский парк, Разумовское. Снежное поле, и над ними по голубому небесному раздолью плывет полный, назревший месяц. Широко, привольно, словно они одни в мире, дышится так легко.

Ямщик укоротил вожжи, поехал шагом и запел звонким, приятным голосом песню «про ясны очи, про очи девицы-души». Песня его лилась яркой струей, кругом тишина невозмутимая, хотя бы птица встрепенулась. Когда он кончил ее словами: «Ах, очи, очи огневые, вы иссушили молодца», страстно заняла душа певца.

— Не знаешь ли другой, поновее? — спросил Сурмин ямщика.

— Как не знать, ваше сиятельство, — отвечал молодой парень, приподняв немного шапку. — Спою вам первого сорта, выучил меня школьник, что ходит в верситет на Моховую. Стоял нонешним летом в жниво у нас в деревне, сложил для одной зазнобушки писаной, словно барыня, что сидит в санях.

И запел ямщик новую песню с жарким колоритом звуков.

«Запахнись скорее, красно-солнышко,
Дальним, темным лесом, частым ельничком
Холодком плесни, роса вечерняя.
Больно истомилась, измоталась,
Целый день с серпом к земле склоняючись.
А придешь как на свиданье, миленький,
Встрепенуся, будто сиза утица,
Что в студеной речке искупалась.
Постелю тебе, дружок, постелюшку
Мягче пуха, пуха лебединого,
Отберу снопы все с василечками.
Расцелую друга в очи ясные
И в уста твои, что слаще сахару,
И забудем, есть ли люди на свете,
Кроме нас с тобою двух, мой яхонтный.
Слышишь, бьет, стучит, как во ржи перепел?
Бьется так в груди моей сердечушко,
Мила друга к ночи поджидаючи».

Тревожное чувство закралось в сердце Лизы, она боялась долее поддаться ему; ее проняла какая-то дрожь, это не могло быть от легкого, едва заметного морозца, она была окутана тепло.

— Пора домой, — тихо проговорила она своему спутнику, — отец будет беспокоиться.

Они поехали домой; когда ж вышли у крыльца домика на Пресне, Лиза сказала ему глубоко-задушевым голосом.

— Благодаря вам, я была более часа счастлива, и этим вам обязана. — Сурмин высадил ее из саней и поцеловал протянутую ему руку, которую уже никогда не мог назвать своею.

«Что ж сказала бы Левкоева, увидев нас в эту минуту», — подумал он.

Отуманенная всем, что испытала в этот вечер, Лиза еще раз поблагодарила его за удовольствие, ей доставленное, и, сказав отцу, что немного устала, удалилась в свою комнату.

Вслед затем простился и молодой человек с Михаилом Аполлоновичем. Ничего не было промолвлено о том, чего ожидал отец, ни слова не было произнесено и в следующие свидания их. Тони скоро выздоровела и посетила свою подругу. Разговорились о санном катанье.

— Выдался же такой прекрасный вечер,— сказала Лиза,— как будто Господь устроил его для нас. Посмотри, какая теперь оттепель и по улицам месиво.

Тони слушала ее с трепетным участием.

— А знаешь ли, душа моя, что в этот вечер Сурмин сделал мне предложение?

Тонкий румянец сбежал с лица Лориной, губы ее побелели.

— Что ж, ты отвечала? — спросила она дрожащим голосом.

— Решительно отказала ему.

— Ему?

Тони произнесла это слово, как будто ее подруга совершила святотатство.

— Да, ему.

— Такому милому, прекрасному человеку! Он имеет все, что может составить счастье женщины.

— Только не мое. Разве не говорила уж тебе, что я-то не могу составить его счастья. Я это ему тоже сказала. Обман в этом случае был бы с моей стороны преступлением. Такой умный, благородный, богатый молодой человек может устроить себе партию получше меня.

— Не о богатстве его речь, а о душевных достоинствах.

— Их оценит другая и отдаст ему вместе с рукою чистое сердце. Моя участь не такова.

— Странное, причудливое существо! — довершила этот разговор Тони.

VII

Сурмин не был на представлении пьесы, в которой подвизалась бой-баба, но слышал, что ее осыпали рукоплесканиями за прекрасное, художественное исполнение ее роли. Чтобы она больше не тревожила его своими посещениями, он приказал слуге не принимать ее, если придет. Раневы были к ней так холодны, что она перестала их посещать и переехала на другую квартиру. Несмотря на сценическое свое торжество и хороший куш, полученный ею от театрального сбора, она была беспокойна, но не смела распускать, как бы ни хотела, нечистых вестей насчет Лизы, боясь мщения Сурмина, которого, знала она, словно было дело. В половине декабря он получил от матери следующую телеграмму. *«Дядя твой умер скоропостижно, не сделав духовного завещания. Ты останешься его единственным наследником. Приезжай поскорее. Анастасия Сурмина»*. Он простился со своими друзьями, жившими в домике на Пресне и поспешил со своим адвокатом по Николаевской железной дороге к матери, оставив позади себя двух хорошеньких девушек и старика, его истинно по-своему любивших. Михайла Аполлоныч провожал его как сына своими благословениями. Казалось, квартира Раневых и комнаты Тони без него опустели. И ему самому было грустно расставаться с ними. Его сердце так стройно сжилось с ними, ему так отрадно было в их кружке, как будто для него не существовало другого мира, кроме того, который заключался в этом кружке и собственном его семействе. Старик, видимо, скучал, сделался нетерпеливым, раздражительным, чего с ним прежде никогда не бывало. Две подруги, каждая питая к отсутствующему различные чувства, находили особенное удовольствие говорить о нем и между тем посвящали нежные заботы свои дорогому для них старцу. Вторая дочка его в отсутствие родной, когда та ходила давать уроки, старалась всячески рассеять его мрачные мысли то увлекательною беседой, то чтением, иногда музыкой. Усердной, преданной, горячо любящей сиделкой была у него нередко Крошка Дорит. Правда, по временам успокаивали его письма от сына из

Царства Польского. В них уведомлял, Володя, что здоров, ждет с нетерпением военных действий, что ему поручено полковое знамя и он этим гордится, что любим командиром полка, любим обществом офицеров и особенно дружен с братом Лориных. Несмотря однако ж, на эти успокоительные известия и нежные попечения кровного и названных членов его семейства, Ранеева тяготило какое-то смутное предчувствие, в котором он не мог дать себе отчета и от которого не в силах был избавиться. Сердце Лизы растревало грустное, болезненное состояние ее отца. Нередко она почитала себя отчасти виновницей этой душевной тревоги.

— Я могла бы утешить, осчастливить его, если бы не отказала Сурмину. Слава Богу, он этого не знает, может быть, думает, что и сам Сурмин не делал мне предложения. Воротить прошедшего невозможно, я исполнила свой долг, к тому же... Тони любит его, я это заметила,— думала Лиза, и эта мысль несколько успокаивала ее совесть.

Общий любимец их писал из Приречья к Михайлу Аполлонычу, что «не забывает их среди приятной жизни в своем семействе и хлопот по наследству, заочно познакомил их с матерью и сестрами, которые, не видевши их, еще полюбили. Когда кончатся мои деловые заботы,— прибавлял он,— непременно привезу их в Москву, чтобы они сами могли оценить душевные качества, которыми жители дома на Пресне скрасили мою московскую жизнь и заменили мне мое кровное семейство».

При этом случае он посылал Ранееву несколько дорогих групп *Vieux Saix*, доставшихся ему по наследству, с просьбою оставить себе те, которые ему более понравятся, а остальные распределить *своим*, чья память ему, отсутствующему, так дорога. Расстановка этих групп и выбор их рассеяли на время хандру старика. Он выбрал себе хорошенькую жницу. На плече ее был серп, за спиной в тростниковой корзине пригожий, улыбающийся ребенок, протягивающий ручонку к цветку на голове его матери.

— Теперь выбирайте сами, что вам по душе,— сказал Ранеев Лизе и Тоне,— да не обделите моего маленького скриба, Дашу.

Глаза Тони заискрились при виде красивого рыцаря с знаменем в руке.

— Знаешь ли, на кого он похож,— шепнула она своей подруге.

Лиза осмотрела фарфорового рыцаря.

— В самом деле необыкновенно похож,— сказала она,— такие же голубые, добродушные глаза, профиль, стан, волосы как он носит их. Настоящая статуэтка Сурмина!

Глаза и сердце Тони выбрали эту статуэтку, но она не смела просить ее, чтобы не обнаружить чувства, привлекавшего ее к ней.

— Возьми *его* себе,— сказала Лиза, заметившая, что ее подруге очень хотелось иметь рыцаря, потом, обратясь к отцу, спросила его:

— Неправда ли, папаша, этот рыцарь похож на Андрея Ивановича?

Старик своими подслеповатыми глазами осмотрел куклу и наконец сознался, что в ней действительно есть сходство с Сурминым.

— Кому же достанется? — спросил он.

— Тони желает его иметь,— отвечала Лиза.

— Кто же тебе это говорил? — перебила ее Тони, покраснев.

— Твои глаза, твое... — Лиза не договорила.

— Отдай *его* Тони,— произнес энергично Ранеев.— Она достойна владеть им.

Кукла была передана Тони, принявшей ее с нескрываемым удовольствием, она готова была ее расцеловать.

— А знаешь ли, папаша, что она равнодушна к нему?

— Какой вздор городишь! — сказала Тони.

— Что ж тут удивительного,— заметил Ранеев.— Какая же девушка с *чистым сердцем* (на эти два слова он особенно сделал ударение), с умом, без глупых фантазий, видя его так часто, не оценит, помимо его привлекательной наружности, его ума, прекрасного, благородного характера, не полюбит его. Берите, берите моего рыцаря, душа моя, и дай Бог, чтобы сам оригинал принадлежал вам. Какую же *куклу* выберешь ты, Лиза? — прибавил он с иронией.

Лиза поняла из загадочных слов отца свой приговор. Смущенная, с растерзанным сердцем, она стояла перед ним, как преступница перед своим грозным судьей, глотала слезы, готовые хлынуть из глаз, но скрыла свое смущение и отвечала с твердостью:

— Ту, которую вы сами мне назначите.

Долго искал старик между группами, какую бы ему выбрать для дочери: то прикасался сильно дрожащей рукой к одной фигурке, то к другой, и ни на одной не остановился.

Я вижу тут сестру милосердия,— проговорила Лиза,— дайте ее мне.

Отец пробежал по фарфоровым статуэткам сшуренными глазами, на которых дрожали слезы, нашел сестру милосердия в белом покрывале, прижавшую крест к груди, с обращенными к небу молящими глазами и передал дочери. Вместе с этим он горячо поцеловал Лизу в лоб, как бы желая вознаградить ее за жесткий и, быть может, незаслуженный укор.

Не забыли Даши. Ей выбрали мальчика, который положил руку на барашка и смотрел с восторженным благоговением на небо, будто видел в нем прекрасное видение. Остальные фигуры назначено поберечь для Володи.

Скоро наступил 63-й год, роковой для России, роковой для многих из сподвижников за ее честь и благосостояние ее. Революция была в разгаре, получались тревожные вести из Царства Польского. Наконец новая варфоломеевская ночь с 10 на 11 января, положившая вечное пятно на польское имя, в которую погибли столько мучеников свирепого фанатизма, сделалась известна из газет... Газеты, выписываемые Сурминым и отсылаемые по его распоряжению к Раневым, были пробегаемы сначала Лизой и Тони, потом читались Михайлу Аполлонычу. Разумеется, тещы пропускали места, где выставлялись слишком резкие описания происшествий на театре революции, или искусной переделкой смягчали их, или переменяли местности, на которых они разыгрались. И потому известие о резне в ночь на 11 января миновало слуха и сердца Ранеева. Недели две,

три, четыре, нет писем от Володи, нет писем от брата Лориных. Старик в мучительной тревоге, не менее тревожатся Лиза и ее подруга.

Они старались успокоить его и себя тем, что по смутному времени правильные сообщения невозможны, что почты останавливаются мятежниками; многие почтовые дворы разорены, войска беспрестанно передвигаются с места на место, вынужденные вести нападения бандитов в лесах, которыми так обильны польский край и смежные губернии. Когда же, где тут заниматься письмами, через кого посылать!

— Вот и в семействе, где даю уроки, есть сыновья, служащие в действующих войсках, и те не получают писем,— говорила Лиза.

— Так долго, так долго,— жаловался Ранеев,— это невыносимо. Впрочем, да будет воля Божья,— прибавлял он, успокаиваемый убеждениями близких его сердцу.

В таких колебаниях страха и упования на милосердие Божье прошел месяц. Наступил февраль. В одну полночь кто-то постучался в ворота домика на Пресне, дворовая собака сильно залаяла. Лиза первая услышала этот стук, потому что окна ее спальни были близко от ворот, встала с постели, надела туфельки и посмотрела в окно. Из него увидела она при свете фонаря, стоявшего у самых ворот, что полуночник был какой-то офицер в шинеле с блестящими погонами.

«Уж не Володя ли,— подумала она,— произведен, может стать», и сердце ее радостно забило. Вслед за тем пришел дворник и, спросив позднего посетителя, впустил его во двор. Собака, так сердито прежде лаявшая, стала ласкаться около офицера, визжала, бросалась ему на грудь.

— А! Узнала, Барбоска,— сказал он, лаская собаку.

«Барбоска так любила Володю»,— подумала Лиза и, если могла, готова была выпрыгнуть из окна, готова была закричать «Володя!» Но дворник и офицер пошли на заднее крыльцо, откуда был вход в мезонин Лориных. Сердце у нее упало. В мезонине слышались голоса, ускоренные шаги, суетня.

Ночным посетителем был поручик Лорин. Можно судить, как радостно было свидание братьев и сестер.

Лиза ждала, не будет ли письма от Володи — письма не было. Раздирающее душу предчувствие не дало ей сомкнуть глаз; всю ночь провела она в молитвах.

Поутру следующего дня Тони прислала просить ее к себе, и все для нее объяснилось. Лорин был изуродован мятежниками в роковую ночь на 11-е января, на его лице остался глубокий шрам, трех пальцев на одной руке не доставало. Володя пал под вилою злодея, но пал с честью, со славой, сохранив знамя полку. Все это рассказала Тони бедной своей подруге. Что чувствовала Лиза, услышав ужасную весть, можно себе вообразить! Но ей было теперь не до себя. Как передать эту громовую, убийственную весть отцу?

С начала прошедшей ночи старик заснул было часок, но, разбуженный каким-то страшным сновидением, уже не засыпал более. Он слышал суетню в мезонине, подумал, не случился ли там пожар, но успокоился, когда тревожные звуки улеглись. Утром позвал он к себе Лизу. Ее лицо страшно изменилось, это была тень прежней Лизы, ее глаза впади.

— Что с тобою случилось? — спросил отец, встревоженно смотря на нее.

— Приехал брат Лориных из Польши, ужасно изуродован.

— Не о нем же ты так беспокоилась, по-видимому, не спала целую ночь. Верно, худые вести о Володе?

— Да, друг мой, не совсем благоприятные, только не отчаянные. Он сильно ранен, но за жизнь его ручаются. Володя совершил великий подвиг, не дал врагу опозорить честь полка, сохранил ему знамя.

— Благодарю тебя, Господи, — сказал Ранеев, благоговейно перекрестясь. — Скажи мне всю правду. Он умер? По лицу твоему и голосу я вижу... Говори, теперь мне легче будет узнать эту ужасную весть.

Лиза пала перед ним на колени, целовала его руки, обливала их слезами.

— Крепись, мой друг... Господь послал нам жестокий удар. Володя отошел к матери моей.

— Он дал нам его, Он и взял,— произнес из глубины души Ранеев, и слезы заструились по бледным, худальгим его щекам.— Я хочу слышать от самого Лорина подробности его смерти. Не тревожься за меня, я выслушаю их с сыновнею покорностью воле Всевластного. Пригласи ко мне молодого человека.

Явился поручик Лорин. Это был статный офицер; несмотря, что шрам несколько обезобразил его лицо, можно было проследить в чертах его большое сходство с его сестрой, его Тони; слегка замечалось, что он хромал.

Михайло Аполлоныч бросился обнимать его и, припав к его плечу, горько плакал.

— Теперь,— сказал он,— я готов с твердостью выслушать вас. Вы, конечно, были при последних минутах моего сына, расскажите все, что, как было с ним, не утайте от меня ничего.

Лиза, Тони и Даша уселись кругом рассказчика, впиваясь слухом и сердцем в каждое его слово.

— В январе,— начал поручик Лорин,— стояли мы в деревне, в штабе нашего полка, за несколько верст от Плоцка. Две неполные роты разместились по крестьянским хатам, я со взводом моим содержал караул на фольварке, саженой в ста от них. Остальные части полка расположились по окрестным деревням. Накануне ночи на 11-е января полковой командир наш поехал их осмотреть. Все кругом было спокойно, о шайках мятежников не было слуха. Да и время ли было им действовать в жестокие морозы. Таким безмятежным состоянием мы и пользовались, как бы в самое мирное время у себя, в своем отечестве. Ночь была метельная при слабом свете молодого месяца, да и тот по временам подернут был сетью облаков. Ни один огонек не мелькал в деревне, все спало глубоким сном. И я крепко заснул в отдаленной комнатке у пана эконома. В самую полночь, будто кто толкнул меня в бок; просыпаюсь. Только ветер по временам жалобно стонал в вековом сосновом лесу, который тянулся кругом на десяток верст, да вторил ему вой волков. Сверху сеял снег, снизу мела поземка, занося плетни около дворов и насыпая белые валы кругом скирд и ометов. По ближнему озеру, око-

ванному льдом, снежные вихри, словно привидения в саванах, кружились или обгоняли друг друга. У казенного ящика расхаживал часовой и вблизи его ваш сын.

— Что ты не спишь, Володя? — спросил я его. — Надо вам сказать, мы жили с ним как добрые братья. — Сердце у меня что-то не на месте, — отвечал он, — сильно замирает, не до сна. Что за вздор! Не волков же бояться, да русалок-снежурок, что бегают по озеру.

Только что успел я это проговорить, как с дальнего конца деревни донеслись до нас какие-то дикие, нестройные звуки, вслед за тем вспыхнул огонек, потом другой, послышалась пальба из ружей. Вдруг прибегает к нам запыхавшись, с окровавленным лицом солдат и кричит:

— Братцы, поляки напали на нас врасплох, режут сонных, зажгли две хаты, наши спросонья отстреливаются из окон. Их тьма-тьмущая с косами, вилами и ножами. — С этими словами он грянул на снег. Послышались снова крики, усиливались и приближались к нам.

— Паша, — сказал мне ваш сын, — дело плохо. — Как бы спасти знамя и честь полка.

Надо вам сказать, за несколько дней перед тем мы говорили с ним об унтер-офицере Азовского мушкетерского полка Старичкове, который в аустерлицком деле спас на себе знамя полка. Умирая, он передал его своему товарищу. Эта мысль пришла ему теперь в голову, но, подумав немного, он ее оставил.

— Боюсь, — сказал он, — что неприятель, убив меня, пожалуй раскрошит, и таким образом знамя пропадет. Лучше снимем его с древка и спрячем в фундамент амбара, через продувное окошечко, а древко оставляю при себе. Будем сильно защищать его, чтобы обмануть мятежников.

Мы так и сделали, амбар был недалеко.

— Передай этот секрет, — сказал он, — нескольким унтер-офицерам и солдатам. Если что с тобой случится, так кто-нибудь укажет нашим. Буду убит, когда увидишь отца и сестру, скажи им, что в роковые минуты я думал о них и умер, как он мне завещал.

Мы обнялись, он встал у казенного ящика с древком от знамени, на котором надет был клеенчатый чехол. Я передал нескольким солдатам из моей команды о месте, где хранилось знамя, и зажег сигнальную ракету, чтобы батальоны нашего полка, стоявшие в окольных деревнях, узнали о нашем опасном положении. Стрельба стала редеть, видно, наши изнемогли, пламя разрослось и вдруг упало, послышался грохот разрушенных хат, и на месте огня встал густой дым столбом. Команда моя была в сборе, мы приготовились встретить мятежников. Огромная толпа их с усиленным гулом приближалась к нам. Позволив ей подойти на несколько десятков сажень, мы обдали ее дружным залпом. Она расстроилась было, но вскоре оправилась и стала отстреливаться. Потом помню только, — словно в безобразном кошмаре, — что мятежники хлынули на нас с косами, вилами и ножами. Я и несколько солдат отчаянно защищали вашего сына и казенный ящик. Я видел, как один поляк ударил в него вилами, другой выхватил у него из рук древко. Думали, что досталось им знамя. Восторженные клики огласили воздух. Володя пал в кругу распростертой около него геройской семьи солдат. В эту самую минуту ударили меня саблей по лицу, другой бросился на меня с ножом. Ухватился я за нож, почувствовал, что кровь льется из руки, и упал недалеко от вашего сына. Тут пырнули меня в ногу каким-то острым оружием. Что было потом, не знаю. Когда я пришел в себя, стало рассветать. Полковой лекарь перевязывал мне руку, фельдшер хлопотал около моей ноги, вокруг меня стояли офицеры. Я слышал, что полковой командир кричал:

— Где жезнамя, Боже мой, где знамя? — Первая моя мысль была спросить об юнкере Ранееве. — Юнкер Ранеев убит, — сказали мне, — мы нашли тебя около него.

— Отнесите меня к амбару, — проговорил я. Меня приподняли и отнесли туда; я указал, где знамя и сказал, кто его сохранил. Полковой командир крестился, офицеры целовали руки вашего сына. Как хорош он был и мертвый! Улыбка не сходила с его губ, словно он радовался своему торжеству. Как любили мы нашего Володю! Его похоронили с большими почестями, его

оплакали все — от командира до солдата. Имя Ранеева не умрет в полку.

Кончив свой рассказ, поручик Лорин уцелевшим обрубком кисти правой руки закрыл глаза, из которых лились слезы.

Ранеев пал на колени перед образом Спасителя и, крестясь, изнемогающим голосом произнес:

— Благодарю Тебя, Господи, что сподобил моего сына честной, славной кончины. Имя Ранеевых до сих пор безукоризненно.

Его приподняли и хотели довести до дивана, но он рукой дал знак, что сам дойдет и прилег на диван.

Следующие дни он казался спокойнее, беседовал часто.

Лорин дополнил рассказ о ночи на 11-е января.

— Вы не можете поверить, какие неистовства совершали злодеи над нашими солдатами, когда напали на них сонных. Живых потрошили, бросали в огонь, доканчивали зверски раненых; содравши с них кожу, вешали за ноги с ругательствами и хохотом. Только подоспевшие к нам по сигнальной ракете батальоны положили конец этим неистовствам, возможным разве у дикарей. Вот вам цивилизованный польско-христианский народ, каким величают его попы и ксендзы. Ожесточенные солдаты наши при виде изуродованных и сожженных своих товарищей, не давали врагам пардона, только немногие утекли в леса и болота. Казенный ящик с деньгами, еще не разграбленный, и дrevко от знамени были отбиты нашими.

Несмотря на то, что Михайло Аполлоныч крепился, удар, поразивший его, был так жесток, что он не мог его долго перенести. Силы его стали день ото дня слабеть, нить жизни, за которую он еще держался к земле, должна была скоро порваться. Он позвал к себе однажды дочь, велел ей сесть подле себя и, положив ее руку в свою, сказал:

— Единственное, милое, дорогое мое дитя, я желал бы передать тебе то, что у меня тяжело лежит на сердце. Может быть, то, что хочу тебе сказать, не удастся сказать в другое время.

Лиза начала было говорить в утешение его, но он на первых же словах ее остановил:

— Не прерывай меня, мой друг. Немного слов услышишь от меня, но выслушай их, как бы говорил тебе свое завещание умирающий отец.

— Свято исполню вашу волю,— отвечала с твердостью дочь.

— Об одном заклинаю тебя, не выходи после моей смерти за *врага России*. В противном случае не будет над тобою моего благословения с того света, ты потревожишь прах мой, прах матери и брата.

— Клянусь вам в этом прахом их,— произнесла Лиза, обратив слезящиеся глаза к образу Спасителя.— Неужели вы могли сомневаться в моих убеждениях?

— Верю, теперь мне будет легче умирать.

Он перекрестил дочь, крепко, крепко продержал ее в своих объятиях и, немного погодя, сказал:

— Напиши завтра к Сурмину, что я очень нездоров и желал бы его видеть,— прибавив,— если возможно. Я так люблю его. Он знает все тайны моей жизни. Кстати, напиши Зарницыной о нашей потере.

Лиза писала к Сурмину:

«Друг наш, Андрей Иванович! Мой брат убит в Царстве Польском в ночь на 11-е января. Смерть его сильно потрясла моего дорогого старика. Он нездоров и желал бы очень вас видеть, если вам возможно.

Преданная вам всею душою *Лизавета Ранеева*».

Лиза, в постоянной переписке с Евгенией Сергеевной Зарницыной, не утаивала от нее ничего из своей сердечной жизни. На этот раз она в нескольких словах уведомляла ее только о смерти брата и болезни отца.

VIII

Какой-то купец стал похаживать к дворнику Лориных, вызывал его к воротам и выведывал, что делается у постояльцев, Ранеевых. Дворник был падок на денежную водку, а таинственный его собеседник умел задобрить его то полтинником, то четвертачком. В послед-

нее время он узнал, что сын Ранеева убит в Польше и старик сильно хворает. Шнырял он однажды в вечерние сумерки около дома Лориных с мальчиком и увидел, что со двора вышли сначала трое молодых мужчин, из них один офицер, и вслед за ними выехали на извозчичьих санях две молодые женщины, а confident его собирался затворить ворота.

— Смотри,— шепотом сказал мальчику купец,— помни, ты Владимир, Володя.

— Не сызнава учить урок,— отвечал тот.

Купец подозвал к себе привратника.

— Кто это вышел из ворот?— спросил он.

— Хозяева молодые.

— А выехали в санях?

— Барышня Тонина Павлова с постоялкой, видно, прокатиться что-ли вздумали.

— А что, старик Ранеев все еще болен?

— Плох, на ладан дышит.

— Кто ж из ваших дома?

— Дарья Павловна.

— Одна?

— Одна.

— Можно мне ее увидеть, поговорить, бумажку написать?

— Пошто нет. Коли бумажку написать, так все едино; барышня разумная, мал золотник да дорог. Настроит тебе так, что и приказному нос утрет.

— Проведи меня к Дарье Павловне.

— Пожалуй, проведу. А что, это сынок твой?

— Сын.

И, передвигаясь дряхлыми ногами, словно на них были тяжелые гири, провел их дворник к Даше. Лохматая Барбоска злобно лаяла на пришедших, теребила их за фалды кафтанов, точно чуяла в них недобрых людей. Дворник сердито закричал на нее и пинком ноги угомонил ее злость.

Купец, вошедши в комнату Дарьи Павловны, благоговейно перекрестился на иконы, стоявшие в киоте.

Даша зорко посмотрела на него и спросила, что ему угодно.

— Вот, разлюбезная барышня, мне нужно по одному дельцу прошеньице в суд написать.

— Пожалуй, я это могу. О чем же дело?

— Ставил я разный товар в Белоруссию богатому еврею, да затягивает расплату, разные прижимки делает.

— Как имя еврея, какие гильдии, место жительства, какой товар, словесные при свидетелях или письменные сделки, и прочее, что я буду вас спрашивать. Все это напишу сначала начерно.

— Вот что, барышня, живет у вас барин, Михайла Аполлоныч Ранеев... мне знакомый, как был еще военным... хотел бы по этому делу с ним слово замолвить. Ум хорошо, а два лучше. Нельзя ли к нему?

И вынул купец красненькую бумажку и с тупым поклоном подал Даше.

— Не делаю дела я не беру благодарности за него,— сказала она и отклонила рукой приношение.— А имя как ваше?

— Купец 3-й гильдии, из Динабурга, Матвей Петрович Жучок.

— Жучок из Динабурга! — воскликнула Даша.

Она приложила руку ко лбу, желая вспомнить что-то, и стала пристально всматриваться в посетителя.

Живые, разгоревшиеся ее глаза, пронизывающие душу посетителя, ее слова, полуговором сказанные, как таинственные заклинания, нашептываемые над водою или огнем, смутили его.

— Серо-желтые с крапинами глаза, косые... — тревожно, но тихо произнесла Даша, всматриваясь в купца, будто полицейский сличал приметы подсудимого с его паспортом.— Нет, ты не Жучок,— вырвалось у нее наконец из груди,— а Киноваров, злодей Киноваров.

Киноваров-Жучок не ожидал нового свидетеля его преступлений, побледнев и затрясся, но вдруг в каком-то исступлении произнес:

— Коли вам это известно, я — Киноваров, злодей, погубивший Ранеева. Вяжите меня, ведите в тюрьму, делайте со мною, что хотите, только дайте мне видеться с Михайлой Аполлонычем. Пропадай моя голова, мне уж невмочь.

И бросился он на колени перед Дашей.

— Угрызения совести не дают мне покоя, бесы преследуют меня по ночам, днем лазутчики сторожат по заказу Сурмина.

— Сурмина нет в Москве.

— Он поручил своим сыщикам и без себя караулить меня, отсыпаюсь только деньгами.

— Встаньте,— сказала Даша,— не могу видеть вас в этом низком положении.

Киноваров встал.

— Так или сяк, я должен покончить со своими мучениями. Если вы знаете мое гнусное дело, так должны знать, что оно случилось очень давно. Погубить меня можно, но прошедшего для Михайлы Аполлоныча не воротись.

— Не воротись с того света и его жену, которую вы убили. Если б я могла...

Крошка Дорит не договорила. Гневно горели глаза ее, она, казалось, была готова вцепиться в грудь его.

— Меня сошлют в Сибирь, что ж из этого? Видите, это мой сын, одно утешение мне в жизни. Не погубите его. Помните слова Спасителя: «Иже аще приемлет сие отроча во имя мое, меня приемлет». Бросьте в нас после того камень и убейте нас обоих.

Перед словами Спасителя Даша смирилась, и гнев ее утих.

Горько плакал Киноваров.

— Я должен передать важную тайну Михайле Аполлонычу; от нее зависит участь целого края. Знаю, уверен, что он не станет гнать меня, не захочет погубить этого отрока. Он сам имел сына.

— И потерял его,— грустно сказала Даша, покачивая головой,— то был сын честного человека.

— Не вы, а Ранеев судья мой. Доставьте мне только случай увидеть его, больше ни о чем не прошу, предупредите обо мне. Он сжалится над этим безвинным мальчиком, а если нет, да будет воля Божья.

Даша задумалась, потом подняв головку, вдохновенная высоким чувством любви к ближнему и покорности воле Всевышнего Судьи, сказала твердым голосом:

— Во имя Господа я исполню вашу просьбу. Теперь у старика никого нет. Я пойду прежде к нему одна, а вы здесь меня подождите.

Даша сошла к Ранееву и со всеми предосторожностями, какие могла придумать ее умная головка и любящее сердце, рассказала ему о появлении Киноварова и все, что он говорил.

Ранеев спокойно выслушал ее.

— Я должен покончить со всем своим прошлым,— произнес он с чувством.— Не на свежей же могиле сына приносить жертвы мщения. Может быть, скоро предстану перед светлым ликом Вышнего Судьи. Повергну себя перед Ним и скажу ему: «Отче мой, отпусти мне долги мои, как я отпустил их должникам моим». Пускай придет. Да покарауйте дочь мою и Тони. Постарайтесь, мой друг, передать им, что я занят с нужным человеком.

— Они, вероятно, не так скоро будут, хотели захватить в дом, где Лиза дает уроки,— сказала Даша и поспешила позвать Киноварова и мальчика, а сама удалилась в комнату Лизы.

Киноваров молча преклонил голову перед своим судьей; в косых, безжизненных глазах его, как и всегда, нельзя было ничего прочесть.

Ни одного слова в оскорбление его не произнес Ранеев; он стал говорить с ним, как с человеком, который никогда не сделал ему никакого зла.

— Это сын твой? — спросил он.

— Сын.

— Не похож на тебя, хорошенький мальчик, со светлыми, бойкими глазами.

— Весь в мать.

— Дай Бог. Как его зовут?

— Владимир.

— Так звали и моего, но того уж нет на свете. Сколько ему лет?

— Тринадцать.

— Во имя Господа, Искупителя нашего, прощаю тебя.

Ошеломленный таким внезапным великодушием, Киноваров не знал что сказать, хотел было броситься к ногам Ранеева, но, хорошо знакомый с его характе-

ром, стоял неподвижно, склонив низко голову и скрестив руки на груди.

Михайла Аполлоныч подозвал к себе мальчика и, положив ему руку на кудрявую головку, сказал:

— Не забудь, что буду тебе говорить, Володя. Какое злое искушение придет тебе на ум, помолись Спасителю, чтобы не допустил тебя совершить его. Помни, ни одно худое, бесчестное дело не проходит мимо очей всевидящего Бога. Если злодей и кажется счастливым, не верь этому: есть в душе его обличитель, который не дает ему покоя. Не играй в карты, будь честен.

Мальчик смутился было, но вскоре оправился и произнес всхлипывая:

— Буду честен, не стану играть в карты.

— Видно, в мать. Сама она кормила его?

— Сама,— отвечал Киноваров,— дивная была женщина, хоть и простого рода.

— Была?

— Умерла лет пять тому назад; умирая говорила Володе то, что вы теперь ему сказали.

— Садитесь,— сказал Михайла Аполлоныч и указал Киноварову на стул возле себя,— а ты, Володя, садись возле меня.

Посетители разместились, как указал им хозяин.

— Теперь, ради любопытства, которым я, еще земной житель, одержим, расскажи, как ты...

Ранеев остановился, увидев, что Киноваров указал головой на своего сына, как бы желал, чтоб не слышал его откровений, и приказал мальчику идти в соседнюю комнату.

— Вы, верно, хотите,— начал Киноваров, когда тот вышел в соседнюю комнату и затворил за собою дверь,— чтобы я вам рассказал, как я украл банковские деньги, что заставило меня это сделать, как я бежал из тюрьмы и что затем со мною последовало?

— Расскажи.

— Я играл в карты в азартные игры. Гнусная страсть эта, как вы знаете, ведет за собою преступление. Проиграл я проезжему иностранцу, содержателю цирка, с орденом Меджидия, пять тысяч рублей, хотел отыграться и спускал все большие и большие куши. По-

лучаемые в общественном банке деньги не записывались на приход по несколько месяцев, иногда по году и более, они покрывали мой проигрыш и доставляли новую пищу для игры. Иногда приятели давали мне ко дню ревизии свои деньги, разумеется, за хорошее вознаграждение. Вы знаете, какие были члены банка. За мною не следили, никто ничего не видел. Канцелярия, составленная мною из отъявленных и искусных мошенников, в том числе главного сообщника моего, секретаря, купленного мною, усердно содействовала мне. Получаемыми мною в банке деньгами покрывал я старые похищения. Так понемногу выросла значительная сумма. Воровали от себя и мои клеветы. Случалось, пошлешь на почту тысячу, а посланный с ней возвращается и доносит мне, что я обложился, не оказалось столько-то. Нечего было делать, молча докладывал я деньги. Брат мой звал меня в Москву и просил помочь ему в его роковых обстоятельствах.

— Я имею в виду очень богатую невесту,— писал он,— но мне шепнули, что родители желали знать, как я живу. Надо было пустить им золотую пыль в глаза, и я занял деньги за огромные проценты. «Приезжай скорее, друг мой, выручи меня, скоро сочтусь с тобою лихою».— В это время сделана мною покража суммы, которая погубила вас. Внутренний искуситель мой нашептывал мне, что разбогатевший брат мой искупит все мои грехи. Ловкость моих сподручников, спячка моих сослуживцев помогли этому искушению...

— И подпись под мою руку в журнале, которым давалась тебе доверенность принять с почты сумму, полученную из Петербурга, не правда ли?

— Мастерски была она сделана братом секретаря, так что вы, кажется, сгоряча признали ее за свою. Все содействовало успеху моего преступления. С этими деньгами поехал я в Москву, заплатил долги брата и оставил его, как богатого человека, светской мишурой, которая в близоруких глазах идет за чистое золото. Свадьба состоялась, С рукою невесты он получил несколько сот душ в одной из губерний, что зовут житницей России. Брат обнимал меня, изливался в горячих благодарностях и обещал, как скоро заберет свою по-

ловину в руки, пополнить издержки, которым обязан мне был своим благосостоянием. Возвратясь в Приречье, благодаря своей ловкости, слепой доверенности и благосклонности моего начальника, испросившего мне в это самое время награду знаком отличия за мои подвиги на пользу службы, я продолжал ремесло чиновного вора. Желая заморить червяка, который грыз мне сердце, пил водку едва ли не стаканами, щедро помогал бедным...

— Знаю, ты слыл благодетельным человеком.

— Делал богатые вклады в церкви.

— Слышал позднее и об этом. Фарисейство!

— Как открылось мое преступление, вам известно.

Меня посадили в острог. Брат узнал обо всем, прислал мне из степной деревни, в которую переселился с женою, три тысячи рублей. Это было несколько капель на иссохшую почву. Будучи уже под стражей, я получил эти деньги с почты по доверенности моей через одного приятеля. Ими и вырученными за мое движимое имущество, отчасти расхищенное, пополнилась только часть украденных денег. Приехал в Приречье брат мой. Мне дали возможность видеться с ним в остроге. Я умолял его внести хотя ту сумму, которая была похищена во время вашего управления. Он поклялся всеми богами исполнить этот, как он говорил, священный долг.

— Полицмейстер, видевший его, говорил мне это, но...

— Но не исполнил брат своей клятвы, между тем как по богатству мог бы... Бог ему судья! Я был заключен в одиночную камеру для *благородных*, Меня стали спаивать водкой. Графин всегда стоял возле моей кровати, авось либо я сопьюсь и со мною умрет тайна моих сообщников и покровителей. Я прежде любил заливать водкой угрызения совести, но тут вскоре решительно отказался и объявил наотрез посетившим меня приятелям по карточной игре, что если не доставят мне средств бежать из тюрьмы, так я выведу сообщников своих на чистую воду. Эта угроза сильно подействовала. Все препятствия к побегу сняты, ожидали только благоприятного случая выпустить птицу из клет-

ки. Случай этот пал, как сон в руку. Умер в остроге крестьянин. Меня снабдили фальшивым паспортом и выпроводили благополучно из тюрьмы, а вместо меня похоронили крестьянина. Не стану рассказывать вам моих походов во время моего побега. Вам известно, как подобного рода странствующие рыцари, находят на Руси, содействие к укрывательству. Добравшись до имения брата, я жил сначала у него в лесной сторожке, потом переселился на мельницу, как ее наемник, изучил мельничную механику, стал строить и другие в окрестности. Дела мои шли успешно. Я прописался в уездный город в мещане. Здесь приглянулась мне хорошенькая мещанская дочь, сирота. Я своей наружностью не мог ей понравиться, но ее родные выдали ее за меня, как обыкновенно выдают из этого сословия отцы своих дочерей, по приказанию; однако ж, с первым ребенком она привязалась ко мне всей силою простой души. В это время случился на моей мельнице пожар, мы были разорены, жена умерла. Брат мой имел поместье в Белоруссии. Желая удалить со мною живой укор в обществе с моим преступлением, он предложил мне переселиться туда с тем, что подарил мне несколько десятин земли с водами, удобными для постройки мельницы, и дать деньги на обзаведение. Ничто не привязывало меня к местам, где умерла жена моя; я согласился. Прибыв на новое место, я нашел действительно в нем воды, удобные для постройки мельницы, и устроил ее. Скоро я свел сношения с соседними помещиками, экономами, евреями и офицерами расположенных там команд. Последние дали мне мысль заняться торговлей. Ухватившись за эту идею, я тотчас принялся выполнять ее. Продал мельницу, переселился в Динабург, откуда глазом видишь Литву, Прибалтийские и Белорусские губернии, и записался в купцы. Дела мои пошли хорошо в кругу этих губерний. Мало-помалу я вошел в роль купца, как-будто она мне была прирождена. Но с некоторого времени, покупая кяхтинский чай и другие товары для русских офицеров, я нередко был должен ездить в Москву. Здесь судьба наткнула меня на вас на Кузнецком мосту и встретился я в гостинице с вашим приятелем Сурминым. Вы,

вероятно, рассказали ему о моем преступлении, он меня преследует.

— Я на это не уполномочивал его,— сказал Ранеев,— и к чему теперь! Даю тебе слово, он бросит свои напрасные гонения. Наша тяжба с тобою решена. Какую же особенную тайну хотел ты мне передать?

— Она тяжело лежит на груди моей, не дает мне теперь с некоторых пор покою. Но будь что будет, открою вам ее. Делайте из нее, что хотите.

Голос Киноварова дрожал, казалось, его била лихорадка.

— В нашем Белорусском крае творится что-то недоброе. Пани надевают траур, мужчины и парни поют революционные песни в церквах, закупается холодное и огнестрельное оружие. Я сам, по заказу капитана генерального штаба Жвирждовского обязался поставить в имение пани Стабровской топоры, косы и охотничьи ружья, сколько могу.

При имени Стабровской Михайло Аполлоныч вздрогнул, будто его ужалила змея. Слух и сердце его приковались к словам рассказчика. Тот продолжал:

— Скупал я их по дорогам в великороссийских губерниях, недавно отправил обоз с русскими ящиками до границ Могилева. Все это уложено в ящиках, наглухо заколоченных, под именем чайных цибики и разных колониальных товаров. Часть их примут в Могилевской губернии, другую, большую часть, отправят в Витебскую через евреев. Сколько я мог узнать, в последней складывают товар в имении Стабровской, которое досталось ей по наследству от одного родственника, в костеле, недостроенном в пятидесятых годах. Постройка была запрещена тогда местным начальством. Вы знаете, что новые костелы, вследствие указа, воздвигать запрещено. Хотя покойный пан и отзывался, что строит музей, где будут поставлены бюсты великих мужей и фамильные, но полиция на этот раз настояла на своем.

— Что слышно о сынках Стабровской? — спросил Ранеев.

— Слышал от евреев, они знают все, что делается не только на земле, но и под землей,— говорят, будто

меньшой, бежавший из полка, пропал без вести. Старший при ней, да что-то не ладят, часто ссорятся, хотел было возвратиться в Москву, однако ж, мать ублажила, остался.

Многозначительное «гм!» вырвалось из груди Ранеева.

— Нельзя ли вам дать знак кому-нибудь...

— При последних днях моей жизни я не берусь за это. Тут нужны энергия и сила для поездок... и тут... меня и тебя затаскали бы, поляки взяли бы свое.

Ранеев махнул рукою и потом погрузился в думу, наконец сказал:

— Не слышал в своей губернии о полковнице Зарницыной?

— Кого я не знаю! Ее зовут Евгенией Сергеевной. Такая полная, черные брови дугой, красивая барыня, даром ей гораздо за сорок. Умная, бойкая барыня, добрейшая душа. Я и ей доставляю из Москвы чай. Дама на редкость...

— Писать к ней об этом деле не буду, а ты постарайся поскорее повидаться с нею и расскажи ей от имени моего все, что знаешь. Даю тебе слово, она не будет дремать и выведет козни врагов на свет Божий. Скажи ей только от меня, чтобы тебя поберегла, да сам будь осторожнее.

— Непременно явлюсь к ней и сделаю все по-вашему.

— Если решишься сослужить службу своему отечеству, то совершишь благое дело. Да благословит тебя Господь! Помни, мы с тобою сочлись на земле и на том свете. Иди теперь с миром. Моя дочь должна скоро воротиться; я не желал бы, чтобы она тебя видела.

Позвали мальчика.

— Поцелуй меня,— сказал Ранеев, когда тот вошел.

Мальчик бросился целовать его руку.

Киноваров с сыном стали уходить, первый воротился.

— Михайла Аполлоныч, одно слово.

— Говори.

— Знаю, вы бываете в нужде.

— Это до меня одного касается.

— Если бы смел, предложил бы вам хоть двадцатую долю того, что...

— Пособие?.. Ты... Ни от кого на свете, подавно от тебя. Мне помогает Зарницына, моя родственница, мой друг. Спасибо, ступайте.

Когда двуногий сторож и четвероногий его помощник, Барбоска, выпроваживали Киноварова и сына со двора, он спросил первого, обделал ли свои дела.

Киноваров молча сунул ему серебряную монету в руку, мальчик живо отвечал за него:

— Обделал на славу.

Лишь только отошли они несколько десятков сажен от дома Лориных, мальчик захохотал.

— Лихо же надули мы старика, сказал он и разразился еще более жарким хохотом.

— Не смейся, Федюшка,— заметил грустным голосом Киноваров, выведенный смехом своего спутника из глубокого раздумья, в которое был погружен,— человек он Божий.

— Как есть простота. Раздевай его догола, он сам будет помогать скинуть с себя одежду; долби ему ворона клювом голову, не смахнет рукой. А признайся, дяденька, мастерски сыграл я комедь, хоть бы Расплюеву. Чуть-чуть было *не сорвалось*, как стал читать проповедь. Да разом поправился, захныкал так, что любому актеру лучше не состроить. Откуда взялись слезы.

— Бестия порядочная! Смотри — ни гу-гу, а то запутаешься, что и в Сибирку попадешь.

— Чтоб глаза мои лопнули, да и ты смотри, дядя, уговор лучше денег. Зелененькую-таки дашь, а в театр, как хочешь, своди.

— Сказано. Сам не пойду, а заплачу за билет в раек.

— Признаться, люблю в театре. Как там принц датский вместо мыши убивает человека, али Кречинский подменивает алмазы на стеклышки. Сам я мастер на разные штуки. То водочки отбавишь из графинчика, да водой подольешь, то в счетце постояльцу припишешь, да серебряную ложку подтибришь. Все с рук сходило.

Да ведь и учителя у нас, старшие, хороши, хозяина надувать горазды.

Киноваров шел молча.

Мальчик вошел в энтузиазм и с жаром продолжал.

— Все это мелочь, плевое дело. Вот бы удрать важную штуку: красного петуха подпустить под хоромы этажа в три. Богач пузо отрастил, словно боров, ездит себе развалившись в коляске, на лихих рысаках, что земли под собой не чувят. А чернозубая, жиром заплыла, хозяйка с ним рядом, будто жар-птица. Разом бы им спесь сбил. А потехи, потехи сколько! скачут пожарные со всех концов, генералы, полицмейстеры, гром раскатывается по мостовым, земля ходенем ходит. Зарево на всю Москву, крики, треск, а ты стоишь себе в народе, молчок, только ухмыляешься — мое, дескать, дельце. Человечек с ноготок, дрянцо, а все эти пожарные, генералы, солдаты, народ собрались будто по твоей команде. Любо!

И захлебнулся Федька от восторга, огонь глаз его прорезывал ночную темноту, он с жаром размахивал руками.

— Тешился так в Приречье один малый, немного постарше тебя, да и попался, словно кур во щи. Видел я его после этой потехи в остроге, за железной решеткой, да на хлебе и водичке, видел потом, как его в тяжелых цепях ссылали в Сибирь. Там, братец, в рудниках, под землею, не видно никогда света Божьего, грудь хоть глотком свежего воздуха не поживится, исчахнешь в молодые годы. Смотри, Федька, не угодить бы тебе за ним. Однако взять бы Ваньку, мне что-то ныне не в моту пешком плестись.

Взяли они извозчика и отправились на подворье, где стоял Киноваров. Во время остального пути болтовня была не у места.

Приехав домой, Киноваров дал сорванцу зеленую кредитку за мастерское исполнение своей роли и мелкую монету на билет в раек и отпустил его к хозяину, у которого отпросил на два часа.

Очутившись в своем номере, впал он в глубокое раздумье. И было ему о чем задуматься, и было для чего спуститься в тайник своей души. Перед отъездом в де-

ревню Сурмин наказал верному, купленному им человеку, навещать об нем, следить, где он будет в Москве останавливаться, когда и куда выедет из нее. Киноварову тоже верный человек дал знать об этом и возбудил в нем подозрение, что его отыскивают по делу Ранеева. Он переменял квартиру, другую, но и тут наводили об нем справки в полиции. Хотя не было никаких запросов от него, ему шепнули, однако ж, что какой-то тайный шпион следит за ним и не выпускает его из виду. Ему нужно было, во что бы ни стало, покончить в Москве расчеты по торговым делам. Сурмин уехал в Приречье, но мог скоро возвратиться, тогда судьба его может худо разыгаться. Пожалуй, дело о похищении сумм из банка снова поднимется. Он решился, в отсутствие своего гонителя, на отчаянный подвиг — идти напролом, напропалую к Ранееву, тяжело больному, пасть ему в ноги, испросить себе, в память убитого сына, прощение, в противном случае бросить все дела свои и ускакать в Белоруссию. Услыхав от своего благоприятеля, дворника Лориных, что Михайла Аполлоныч любит Дарью Павловну как родную дочь он предположил отнестись к ней сначала с просьбой написать прошение в суд. Потом, думал он, не открывая, кто я такой, буду умолять ее дать мне возможность переговорить с Ранеевым, как человеку, знакомому с ним. Мы видели, как это Киноварову удалось, не с такими изворотами, а более открытым, отчаянным путем. Чтобы разжалобить сильнее старика, он легко согласил мальчика, бойкого и плутоватого, из прислуги с подворья, где квартировал, сыграть роль его сына, Владимира. То же имя, которое носил убитый сын Ранеева, должно было иметь магическую силу на ум и сердце больного старика. Он научил мальчика, что говорить и делать, предоставляя его изворотливому умишку выпутываться из трудных обстоятельств, как сумел. Киноваров не солгал, сказав, что был женат, что жена его была добрая и честная и умерла. Он действительно имел сына, которому могло быть в настоящее время тринадцать лет, но и тот года четыре назад также помер. Представленный им Володя был подставной сынок, взятый на прокат. Ни в одном слове остального

рассказа своего он не покривил душой. Не раскаяние, а чувство самосохранения вело его к тому, кого он некогда разорил. Расчеты его были довольно верны, — он надеялся на доброту души Ранеева, еще более усиленную потерей сына и физических сил. Успех превзошел ожидания. Однако же безграничное великодушие Михайлы Аполлоныча, не помраченное не только оскорблением, даже гневным словом, сильно тронуло и негодя.

— Иди с миром, — сказал ему судья его. — А мир не был в его душе. Он решился раскрыть Зарницыной подземные, коварные действия белорусских панов и тем хоть несколько загладить свое прошедшее. Дела его в Москве были почти на исходе, на днях окончательно развязанные; они дадут ему возможность возвратиться в край, где ему предстоит первый в жизни благородный подвиг. Он всю ночь не спал и провозился с боку на бок на кровати в тяжелых думах. Когда же к утру заснул, ужасные видения преследовали его. Он кричал во сне так страшно, что Федюшка, разбуденный этими криками, встал, приложил ухо к двери номера, но, успокоенный наступившим затем молчанием, возвратился на свой войлочек.

IX

Завернем к Сурмину в его сельский приреченский приют, где семейство его свило себе постоянное гнездышко. Можно вообразить, как мать и сестры, не видавшие его несколько месяцев, обрадовались ему. Настасья Александровна была типом тех женщин, которые в любви к детям, в их радостях и успехах воспитания находят все свои радости, надежды, все свое счастье. В первые часы свидания, как она, так и сын забыли о цели его приезда, забыли о богатом наследстве, посланном им с неба. Они и без него имели хорошее состояние и сверх того обладали сокровищем, которого не купишь ни за какие деньги — семейным согласием, любовью, миром, невозмутимым никакими сильными житейскими невзгодами. Две сестры Андрея Иваныча, Оля и Таня, шестнадцатилетние близнецы, милые со-

здания, и подавно не думали о богатстве, не зная даже и цены ему. Они жили жизнью одна другой и только делились ею с матерью и братом, не помышляя ни о какой лучшей доле на земле. Скучала одна, а это случилось очень редко, скучала и другая; что находила одна хорошим, то находила и другая, и наоборот. Это были две птички *inséparables*. Если б умерла Оля, умерла бы Таня. Наружное сходство их было так велико, что даже домашним случалось в них ошибаться, и потому мать вынуждена была отличить каждую простенькими браслетами, у одной с бирюзой, у другой с изумрудом. И характеры их были так же сходны, как и наружность. Привязанность их друг к дружке тревожила иногда мать за их будущность. «Ведь нельзя же обеим оставаться в безбрачном состоянии», думала Настасья Александровна и старалась, не расстраивая этой привязанности, смягчать ее временной разлукой: то оставляла одну или другую погостить на несколько дней в Приречье и у добрых соседей, где были девицы сходных с ними лет, то стала вывозить в губернский приреченский свет, собирала у себя кружок разного пола и возраста, где было полное раздолье всяким играм и увеселениям. Имели и намерение посетить нынешней зимой Москву, чтобы познакомить дочерей со всеми удовольствиями и достопамятностями древней столицы. Не оставляла также внушать им, что жизнь их не может ограничиться домашним кругом, в котором они родились и воспитывались, но что ожидает их другая будущность, где они встретят другие привязанности, именно супруги и матери, другие священные, дорогие обязанности, которым должны будут отдаться всем существом своим. Такие внушения, если не охлаждали их дружбы, все-таки притупляли опасный характер ее. Образованием их, по программе матери, занимались англичанка средних лет и русская институтка, обе с добрым характером и с достаточным запасом знаний. Холодная наружность и манеры одной расцветчивались веселым, живым характером другой. За религиозно-нравственным воспитанием дочерей наблюдала сама Настасья Александровна, согревавшая их душу теплым дыханием своей души.

Среди откровенных разговоров матери с сыном, когда они оставались одни, она замечала ему,— «почему он, живя так долго в Москве, не избрал себе до сих пор в тамошнем обществе подружки».

— Не выбрал еще по сердцу,— отвечал он.

— Ты писал мне с таким необыкновенным восторгом о Лизе Ранеевой, с таким теплым чувством об Антонине Лориной,— говорила мать.

— Из моих писем вы, конечно, заметили, что я любил первую страстно, как не любил ни одной женщины.

— Эти порывистые страсти бывают ненадежны.

— За то и сокрушились разом, когда она сама призналась мне, что любила другого. Мы все-таки остались друзьями, я еще более прежнего стал уважать ее за честное, откровенное признание, и с того времени к двум сестрам моим прибавилась третья.

— А Лорина?

— Мое сердце, милая мамаша, не переметная су-ма. Ныне полюбил страстно одну, не удалось приобрести ее любви, не предложить же вдруг своего сердца другой.

— Не зная их лично, могу только судить о них по твоим письмам. Признаюсь тебе, мое сердце лежит более к Лориной. Та с горячею, эксцентрической головкой, энтузиастка, с жаждой каких-то подвигов, не совсем по мне. И сестры твои, по твоим портретам, склоняются более на сторону Тони. Может быть, мы и ошибаемся.

В задушевных беседах с матерью и сестрами пролетели дня два. Андрею Ивановичу надо было приступить к цели своего приезда. Дядя его, Петр Андреевич, которого будем называть младшим в отличие от брата его, Ивана Андреевича, прежде умершего, поссорился некогда с ним из-за дележа наследства, в котором почитал себя обиженным, и долго питал к нему неудовольствие. Со временем помирились они. Младший вкрался в доверенность к старшему до того, что тот поручил ему заведывание своим именем во время пребывания своего в Петербурге, где удерживало его несколько лет воспитание сына. Петр Андреевич не только

принялся усердно хозяйничать в этом имении, но и ссужал старшего брата деньгами, когда оказывалась у того засуха в бумажнике. А это случалось нередко по случаю дорогой жизни в Петербурге, с которою он, сельский житель, не мог сладить. После смерти Ивана Андреевича оказались на нем долги, и самые главные брату. При этих займах не забывалось брать законные обязательства, но забывались росписки в получении то процентов, то части капитальной суммы — росписки, которые по родственной и дружеской доверенности бросались куда ни попало, а иногда и вовсе уничтожались. Мы видели, что Петр Андреевич был выбран опекуном над имением своих племянника и племянниц, видели, что это имение было доведено до продажи с аукционного торга. К счастью малолетних, было отыскано несколько расписок и остальной долг заплачен кредитору, хотя не без тяжких жертв. В последнее время дядя, подстрекаемый своим корыстолюбием и страстью к сутяжничеству, затеял снова тяжбу с детьми своего брата о значительных пустошах, которые он по межевым книгам считал своими. В нижних инстанциях ему было повезло, но дело перенесено в сенат и тут приняло другой, более законный оборот, благоприятный для семейства Ивана Андреевича. Эта неудача озлобила еще более Петра Сурмина, и он поклялся, что дети родного брата его не получат после смерти его ни гроша, а отдаст он все свое богатое имение дальним родственникам, хоть бы пришлось отыскивать их на краю света. Провидение распорядилось, однако ж, иначе. Параличный удар положил конец этим враждебным замыслам и тяжбе. По законам, все, что оставалось после него, движимое и недвижимое, правдою и неправдою нажитое, переходило именно к тем, кого он в злобе своей отстранял от наследства. Права прямых наследников были бесспорны, оставалось только судебным местам признать их актуально.

— Не забудь сделать что-нибудь для обеспечения Прасковьи и детей ее, — сказала Настасья Александровна сыну, когда тот собрался ехать в имение дяди. — Остались без куска хлеба. Простая женщина, а между

тем сколько в ней благородства, честной энергии! Будешь там, все узнаешь подробно и оценишь ее.

Приехал Андрей Иванович в имение дяди и нашел, что местная полиция исполнила правильно свои обязанности. Оставалась в доме молодая особа, экономка по названию, но более близкая по связям к покойнику. Она была дочь дворового человека. Прасковья, как называли ее господа, и Прасковья Семеновна, как величала ее домашняя прислуга, прижила с дядей Сурминым троих детей. Ничего не сделал он для их обеспечения, откладывая со дня на день исполнение этой обязанности в надежде на крепкое свое здоровье. Во время суматохи, происшедшей в доме по случаю внезапной кончины владельца, эта особа могла бы, — как это делается в подобных случаях, — с помощью дворовых людей, любивших ее за кроткий нрав, и в надежде дележа, воспользоваться большею частью движимого имущества покойника. А имущество это заключалось в богатой серебряной посуде, музее редкостей, доставшемся ему по закладной, в сериях и кредитных билетах. К удивлению Андрея Ивановича, все это оказалось в целости согласно с описями, которые вел дядя в величайшей исправности и которые могли бы быть истреблены с помощью и не дворовых людей. Только что успел остыть труп покойника, Прасковья дала знать местной полиции, чтобы она прибыла для освидетельствования движимого имущества и опечатания его. Нашлись чиновники, намекнувшие ей о возможности сделать львиный раздел ему, но она была глуха ко всем искушениям и объявила, что если кто осмелится дотронуться до ценных вещей и денег, оставшихся после покойника, до приезда законного наследника, так даст немедленно знать об этом Настасье Александровне. Между тем эта диковинная женщина оставалась с детьми без куска хлеба. Андрей Иванович при этом случае вспомнил разговор свой с Ранеевой о русских женщинах и устыдился, что в числе их оскорбил своим злословием и Прасковью. Первым его делом было обласкать ее и детей ее, вторым — устроить их будущность. До совершения законного ввода его во владение имением он выдал так называемой экономке от своего име-

ни заемное письмо на полгода в десять тысяч рублей, дозволил ей жить в доме, сколько ей угодно, и на это время положил ей приличное содержание с детьми. Дворовые люди не были забыты и получили также щедрое обеспечение. Таким образом жилище скорби и страха радостно оживилось с приездом молодого наследника. Благословениям ему не было конца.

Все распоряжения сына Настасья Александровна скрепила печатью своего сердца. Формальности о признании в законных правах его требовали иногда его присутствия в губернском городе, где он оставил для успешнейшего хода дела своего адвоката. Что ему особенно было неприятно, так это неминуемая поездка в Белоруссию, где дядя имел значительное поместье, в эту terra incognita, край, по слухам, враждебный, суливший ему много скучных и тревожных дней.

Среди забот по наследству, сменяемых мирными удовольствиями семейной жизни, он не забыл обитателей домика на Пресне и пробегал мысленно последние месяцы своего пребывания в Москве. Обновлялась в памяти его роковая встреча на Кузнецком мосту с добродушным, благородным стариком Раневым, так горячо полюбившим его и к которому он сам привязался, будто к отцу родному. Как горячий луч пал в душу его и дивный образ Лизы, этой странной, чудесной девушки, околдовавшей было его чарами своей красоты и ума, создавшей в его сердце целый мир блаженства. И что ж потом? Несколько слов довольно было, чтоб все это рассеялось прахом. Из-за этого образа встал другой, не столько ослепительный, а все-таки светлый, привлекательный, с животворной улыбкой, с очами, ласкающими сердце, с детским, игривым говором, вносящим в него мир и отраду.

Мог ли Сурмин думать, что в это самое время смерть вырывает жертву из дорогой ему семьи и носилась уже над другою!

Письмо от Лизы глубоко тронуло его. Не задумываясь ни одной минуты, он бросил свои дела, доверив окончание их своему адвокату, и простился с матерью и сестрами.

В передней квартиры Раневых встретила его Лиза,

как будто неземного врача, который должен был поднять отца с болезненного одра. Она готова была броситься ему в объятия.

— Он вас так ждал, так часто спрашивал,— говорила она Андрею Ивановичу, подавая ему дружески обе руки.— Пойдемте за мной, я предупрежу его.

Через две минуты она позвала приезжего. Старик лежал на постели, но при входе Сурмина приподнялся, лицо его просияло.

— Благодарю, благодарю,— произнес он слабым голосом, сжимая его руку в своей, и слезы покатались по щекам, изрытым болезнью.

В следующие дни он казался спокойнее и тверже, беседовал по временам с молодым другом своим, рассказывал ему о славной смерти сына, не забыл, между прочим, просить, чтобы он прекратил свои гонения на Киноварова.

— Я рассчитался уже со своим прошедшим,— говорил старик,— и простил всех, кто меня оскорбил и сделал мне зло. К тому же он может быть полезен для русского дела в краю, где живет.

Сурмин дал слово исполнить его волю.

Такая благодатная перемена в состоянии больного продолжалась с неделю, сердце оживилось надеждою, все кругом его приняло более веселый вид. Сурмин находил, что Тони еще похорошела, глаза ее блестели необыкновенным огнем, когда она с ним говорила.

Но признаки выздоровления Ранеева были обманчивы, были только радостными проблесками, которыми Провидение хотело украсить последние его дни и дать передохнуть окружавшим его перед печальною катастрофой, готовою над ним разразиться. Ему делалось хуже, он стал тяжело дышать и потребовал священника. Исполнив христианские обязанности, разрешавшие его земные узы, он заснул, но стал вскоре бредить. Сокровенные тайны души вырвались у него в эти минуты «Лиза, бедная Лиза,— говорил он,— помни, мое милое, дорогое дитя... Никогда за врага России! Бедность, бедность!.. Дочь генерала!.. ходить в слякоть, в дождь, в мороз давать уроки по домам! Билеты, карточки! А сколько у тебя билетов на похоро-

ны?.. И три аршина для праха отца надо купить золотом». В предсмертном бреду переплетались слова: «Судбище, варфоломеевская ночь, Володя». Очнувшись, он долго, долго всматривался вокруг себя, подозревал дочь, благословил ее дрожащими руками, завещал похоронить его возле Агнесы, церемоний похоронных никаких не делать, да и не из чего... «Простой гроб и один священник... довольно для напутствования его праха в ту землю, из которой он взят». Простился со всеми; простился с поручиком Лориным, другом его сына, пожелал спать, закрыл глаза и заснул сном вечным. Последнее биение его сердца отдалось на устах его дочери, лобызавшей его руку, и замолкло. Маятник жизни остановился.

Задернем занавес над наступившей потом печальной сценой. Кто видел смерть близких, дорогих ему людей, знает, как тяжелы подобные часы!

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

I

Пока предали земле останки того, кого называли на ней Раневым смерть пощадила черты доброго лица его. Казалось, он наслаждался приятным сном. И пора ему было отдохнуть от тяжелого пути, по которому он шел, от всех житейских потрясений, которыми жизнь его была столько раз надломлена. Предстояло Лизе справиться похороны, хоть скромные, но приличные; одно место на кладбище стоило довольно дорого. Заработанных ею билетов за уроки было немного, они не могли пополнить и четвертой доли расходов. К горестному чувству о потере отца присоединились обычные в этом случае заботы о погребении его. Можно вообразить, в каком затруднительном положении она находилась.

Сердце Тони спешило выручить ее.

Сурмин как друг покойника осторожно намекнул было через Тони о денежных услугах.

— Благодарю вас,— сказала она, принимая его

в своей комнате на мезонине, как и всех, кто имел в это время дело до ее подруги,— деньги у нас есть, но от дружеских ваших услуг не откажемся. Мы попросим вас заняться покупкой и устройством всего, что нужно для приличных похорон. Лизе не до того, а я не сумею распорядиться. Не откажитесь, Андрей Иванович, вы такие добрые.

И посмотрела она на него нежным, умоляющим взглядом.

— С величайшею готовностью.

— Я принесу вам сейчас деньги, Лиза мне их поручила.

Тони юркнула в свою спальню и минуты через две передала ему довольно тяжеловесный сверток. В нем завернуто было золото.

— Сколько же тут? — спросил он, смотря на нее с каким-то подозрительным недоумением.

— Сорок девять.

— Довольно будет и половины, может быть, еще менее. Покойник желал скромных похорон. Что будет положено на мертвого, то отнимется у живых.

Сурмин развернул сверток — все имперIALы времен Елизаветы и двух Екатерин.

— Должно быть,— заметил он с коварною улыбкою, отложив себе в кошелек двадцать штук и возвращая остальные Антонине Павловне,— что пятидесятью убежал в Елисаветин день на помощь бедной вдове.

— Право, Лизины,— отозвалась Тони, покраснев от стыда, что говорила неправду,— ей подарены были Зарнищыной на черный день.

— Было много черных дней в жизни их, Антонина Павловна,— грустно сказал Сурмин,— а золотые не убывали. Впрочем, я забыл, что вы второе я Лизаветы Михайловны.

— Желала бы, чтобы вы всегда это помнили и не пытали меня более, а то я заплачу.

И в самом деле слезы готовы были навернуться на глазах Тони.

— Уж и так много слез пролито в эти дни, и я вовсе не желаю быть их причиною из-за пустяков. По край-

ней мере, вы позволите мне сказать, что сердце ваше — сокровище.

Сурмин раскланялся было, но, дойдя в двери, вдруг оборотился.

— Вы меня, кажется, звали? — спросил он.

В это время взоры их встретились: он смотрел на нее, если не влюбленными, то симпатичными глазами, она глядела вслед ему своими синими глазами с любовью.

— Нет, — отвечала она, вспыхнув.

— Ну, так придется верить магнетическому току ваших глаз. Если вы не говорили, так хотели мысленно позвать меня, и я повиновался. Но за то, что вы заставили меня вернуться, попрошу вашу ручку.

Тони с удовольствием подала ему руку. Продержав ее с минуту в своей, он вышел; она, вся пылая, погрузилась в глубокую думу, из которой только выведена была монотонным чтением псалмов дьячка, слышавшимся из нижнего этажа. Ей казалось, что в эти минуты ее думы, ее чувства — были святотатство.

Отнесли останки Ранеева на кладбище одного из женских монастырей и похоронили подле Агнесы, потеснив немного стороннего покойника.

Похороны были приличные. Говорить ли, что в доле расходов тайно участвовал Сурмин? Тониных золотых не употреблял он даже тех, что взял у нее, и подал ей в этих деньгах подробный расчет. Она умела только поблагодарить его несколькими сердечными словами.

На похоронах появилась и Левкоева, но и тут заметила одному из братьев Лориных, что генералу церемония подобала понаряднее; критиковала, почему не было более богатого гроба и парчового покрывала, катафалка, четверни лошадей; прибавила, что «если они *уж такие бедные*, то она, Левкоева, со своими связями, если б только *попросили*, могла бы собрать достаточную сумму на генеральские похороны». Никто не дал ей ответа, да и вообще не обратил на нее внимания.

Первым делом Лизы, когда она немного успокоилась и могла взять перо в руки, было написать Зарни-

цыной о смерти отца. Дней через десять она получила следующий ответ:

«Милое, дорогое дитя мое, Лиза! Ужасные потери твои, одна за другою, глубоко поразили меня. Воображаю состояние твоей души, твое одинокое, сиротское положение при материальных лишениях! Что будешь делать в Москве? Не на уроки же опять ходить в слякоть и морозы! Ты знаешь, что у тебя есть вторая мать. У меня нет детей, и ты всегда заменяла мне их. Приезжай ко мне, все мое также и твое. Мой муж любит тебя не менее меня и усердно зовет. Ты писала ко мне, что у тебя есть близнец твоего сердца, Антонина Лорина, которую очень любил и отец твой. Разлука с нею была бы для тебя тяжела. Не мне рассекать эту связь, сплетенную так крепко, не мне отрывать от тебя твое второе я, как ты изъяснялась мне в одном твоём письме. Это было бы жестоко с моей стороны. Сколько я знаю по этим же письмам, она свободна. Пригласи ее с собою, уговори всеми сердечными убеждениями, на которые ты такая мастерица. Уверь ее, что в сердце моем, хотя и старушечьем, найдется теплое местечко для вас обоих, вы же составляете одно существо. Ты знаешь меня хорошо. Прошу и приказываю немного размышлять и не колебаться. Путешествие, неведомый вам край, новые люди хоть немного рассеют вас. Приезжайте непременно. Ты верно заняла на похороны. Посылаю тебе на уплату долга и на путевые расходы, сколько, по моему расчету, нужно. Мое сердце и горячие объятия ждут вас

Твоя Евгения Зарницына.

Р. С. И над здешним краем поднимаются грозовые тучи. Я действую и устраиваю отводы. Хочу доказать, что если польки способны на патриотические подвиги, так и русские женщины сумеют действовать за дело своего отечества. Посылаю отцу твоему на небо сердечное спасибо за присылку ко мне доверенного человека. Он дал мне руководящую нить. Не стану более писать об этом, приедешь, все узнаешь, может быть, и сама можешь мне».

Лиза уверена была заранее в этом приглашении. Не было другого лучшего исхода из ее тяжкого положения, как принять его; не было другого более надежного приюта для нее, как дом ее второй матери. Но *он* там, в этом Белорусском крае. Конечно, если встретит его, она ограждена от увлечений завещанием отца, своею клятвою, рассудком, она сумеет выйти из сердечной борьбы победительницей, но все-таки сильно задумалась над письмом. О каком доверенном человеке говорила Зарницына, кто такой, — осталось для Лизы тайной. Если ж?.. блеснула в голове ее молниеносная мысль, и она решила ехать, как скоро минет шесть недель по смерти отца. Ей очень хотелось убедить Тони на эту поездку. Она не будет разлучена с подругой, с которою так сердечно сжилась; ее, доселе такую твердую, энергическую, побуждала и надежда, в минуту душевного изнеможения, опереться на Тони, этом слабом в сравнении с нею существе. Так Лиза начинала изверяться в собственные свои силы. Подавая ей письмо Зарницыной, она горячо обняла ее и принималась несколько раз с жаром целовать. Ожидались нерешительность, колебания, может быть, отказ. Но как изумилась Лиза, когда Тони, не думая долго, объявила ей, что едет с величайшим удовольствием.

— Мои братья и сестра, — говорила Тони, — привыкли жить в разлуке со мною; я буду знать, что им здесь хорошо, и не стану тревожиться на их счет. С Евгенией Сергеевной и ее мужем ты давно меня познакомила; путешествие, новый край, новые люди, как она пишет, ты подле меня, — чего же мне желать лучше?

Поцелуям и уверениям в неизменной дружбе не было конца. Скажу вам по секрету, мой читатель, что если к этому быстрому решению подвинула ее дружба, так над этим чувством в то же время господствовало другое, может быть, более сильное. Тони уловила из разговора Сурмина с Раневым, что он должен непременно ехать в Белоруссию для получения наследства, доставшегося после дяди, она будет видеть его, будет близко от него... Головка ее воспламенилась от этой мысли.

Когда же Лиза объявила Сурмину о своей поездке,

он просил у нее позволения сопутствовать им. Вместе с тем обе подружки обязали бы его, завернув по дороге в Приреченский приют хоть дня на два, на три.

— Вы еще мало путешествовали,— прибавлял Андрей Иванович,— к тому же с железной варшавской дороги должны будете своротить на почтовую до местопребывания Зарницыной. Времена смутные. Могут встретиться хлопоты, дорожные заботы. Человек, вам преданный, не лишний товарищ на таком дальнем пути. А если осчастливите наш дом, так это будет для матери, для сестренок моих, заочно вас полюбивших, большим праздником.

Отказываться от такого приглашения не было причин, и Лиза за себя и Тони согласилась. Нечего говорить, что последняя примкнула к этому согласию словом и сердцем.

Денежный долг Тони был уплачен, всякая движимость, оставшаяся в квартире Ранеевых, отчасти продана, отчасти перешла в комнату Даши и в комнату Тони, которую занял искалеченный брат их. Ему же, как бы по наследству, перешли все группы *vieux Saix*, назначенные Володе. Лиза взяла с собою только дорогие для нее семейные портреты, картину с изображением Жанны д'Арк и завещанную ей отцом фарфоровую сестру милосердия. Тони не рассталась со своим рыцарем.

Простились в урочный день не без слез с оставшимися жильцами домика на Пресне. Даша старалась быть твердою, утешала себя, сестру и Лизу словами надежды, что им будет хорошо в новом крае, и словами упования на милосердие Божье; обещались чаще переписываться. Провожаемые благословениями, обе подружки, в сопровождении Андрея Ивановича, отправились в дорогу. В Приреченской усадьбе Настасья Александровна и дочери ее, предупрежденные о приезде к ним дорогих гостей, встретили их с неподдельною радостью. Скоро между семейством Сурмина и приезжими установилось дружеское сближение. Настасья Александровна нашла, что похвалы сына обеим подругам были не преувеличены. Обе очаровали ее своею наружностью, умом и простотою обращения.

Только, сравнивая оригиналы с портретами, писанными домашним живописцем, она заметила, что кисть его погрешила. В Лизе, может быть по краткости знакомства, может быть по горестному положению, в котором она находилась, не видно было той пылкой энтузиастки, какую представил ее сын, вероятно, в минуты досады на нее. Напротив того, строгие черты лица, оттененного грустью, сдержанный тон разговора и манер были скорее отражением твердого, более холодного характера, чем тот, который придавали ей письма сына и потом воображение матери.

Преобладай в Ранеевой эксцентричность характера, все-таки и в ее положении складки этого характера выступили бы как-нибудь невольно на покрове, который на первых порах знакомства она бы на себя накинула.

Но если Настасья Александровна и чувствовала к ней сердечное влечение, то вместе с тем, хоть и старушка, не могла не подчиниться и невольному чувству уважения к ее личности, помимо того, на которое вызывали ее несчастья.

Так же, по мнению Сурминой, и в портрете Тони живописец погрешил. Андрей Иванович называл ее хорошенькой, миленькой, а мать нашла, что она более чем хорошенькая и привлекательна в высшей степени. Но и в этом случае нашлось для него извинение. Он писал к ней во время своего страстного поклонения другой очаровательной девушке, перед ослепительной красотой которой все, ее окружавшее, представлялось ему в тени, на заднем плане.

— Если б,—говорила Настасья Александровна,—зависел от меня выбор жены для сына, так я выбрала бы Антонину Павловну.

Гувернантки, англичанка и русская, разделились в мнениях на две стороны. Одна, холодная мисс, отдавала пальму первенства Лизе, вторая, более восприимчивая по своей натуре,—Тони. Дочери сердцем присоединялись к партии последней. Тони в один день сделалась как бы их семьянинкой, словно жила с ними годы. Играя своим живым, открытым характером на юных сердцах, она будто перебегала по клавишам

своего рояля. В первый же день сестры Сурмина и Лорина обращались уже друг с дружкой на *ты*, называли друг дружку: Тони, Оля, Таня.

Близнецы-сестры просили гостей своих оставить им на память несколько строк в общем их альбоме. Лиза написала в нем следующие строки из одного сочинения госпожи Неккер де-Соссюр:

«Совершенство, к которому стремится человек, таково, что оно вызывает или наше одобрение, или восторг и удивление. Первое относится к исполнению своего долга, последнее к доблести или самоотвержению.

Елизавета Ранеева».

Тони написала:

«Любите чистым сердцем и во всем поручите себя Богу. В любви найдете источник долга, доблести и самоотвержения.

Тони Лорина».

На другой день кружок, собравшийся в доме Сурминых, сидел за вечерним чаем. Распахнулась дверь, и влетела молодая девушка, довольно интересной, шикарной наружности, в бархатном малиновом кепи, в перчатках с широкими раструбами, по образцу кучерских. За поясом блестел маленький кинжал с золотой ручкой. При входе в комнату, она разразилась хохотом, так что все тут бывшие вздрогнули.

— Ха, ха, ха! — зарокотало по зале, имевшей сильный резонанс.

— Что случилось? — спросила пришедшую сконфуженная хозяйка.

— Вообразите, mesdames, — отвечала та, — мы ехали с мамашей на тройке, я правила...

— По обыкновению.

— Одна из пристяжных от моего бича лягнула ногой через постромку и пошла чесать. Сани немного на бок, мамаша струсила, вздумала выпрыгнуть, как русалка *Леста*, и прямо в снежный сугроб, почти под ноги лошади. С нами только тринадцатилетний мальчик. Я не потеряла головы, остановила mes fiers coursiers,

ввела буянку в постромочную дисциплину, усадила мать и, как видите, предстою перед вами.

— Где же ваша мать?

— В вашей спальне. Дайте ей какого-нибудь эскулаповского снадобья. *Ce sont des chimères.*

Настасья Александровна пожала плечами и пошла подавать ушибленной возможную помощь.

Приезжие были близкие соседки ее, Бармапутины, довольно зажиточные.

Полина Бармапутина, дочка, бойко подала руку Андрею Ивановичу, поздоровалась с сестрами его, сказала несколько приветливых слов англичанке по-английски русской гувернантке по-французски, потом, прищуриваясь и нахмутив немного брови, свысока обвела глазами Лизу и Тони.

Андрей Иванович представил ее своим гостям.

Она видела, что Лиза говорила с англичанкой, и обратилась к ней на английском языке.

— Извините,— сказала Лиза,— я плохо говорю по-английски, и потому разговор на этом языке был бы для нас затруднителен.

— И та, другая тоже? — спросила Бармапутина у одной из сестер Сурмина, кивая на Тони.

— Тоже,— отвечала та.

Mademoiselle Бармапутина сделала гримасу.

— *Fi! quelle misère!* а говорили, образованные.

Правда, это замечание было сделано довольно тихо.

Как мамаша ее, так и она метили на богатого женишка Сурмина, он же чувствовал к ним какую-то антипатию.

Новоприезжая, вооружась богатым складным лорнетом и еще раз сделав смотр Лизы и Тони, заметила, что они обе хорошенькие и потому опасные для нее соперницы.

Она обратилась к сестрам-близнецам на английском языке, посыпались, как ей казалось, остроумные заметки насчет московок.

— Мамаша не приказывает нам говорить по-английски,— сказала Оля,— когда есть в комнате кто-

нибудь, кто не понимает этого языка: она находит это неприличным.

Возвратилась в зал Настасья Александровна и за нею, переваливаясь уткой, вошла кряхтя дама лет сорока, довольно полная, с тупою физиономией; Оля и Тоня бросились к ней и стали с участием расспрашивать о ее ушибе.

— Ничего, немного зашибла плечо, а все эта шалунья-дочка.

— Всегда дочери виноваты, — перебила ее с сердцем Полина. — Вольно же было струсить и выскочить без толку из саней.

После обычных рекомендаций старушки Бармапутиной и наших москочек все уселись опять за чайный стол. Дочка по временам в рассыпном разговоре с Андреем Ивановичем, сестрами его и гувернантками старалась парадировать выдержками из Бокля, Дарвина и Либиха. Видно было, что она читала их поверхностно, надо ей было заявить только, что читала. Временами она перебивала мать, горячо спорила с нею, бесцеремонно по привычке покрикивала на нее, не стесняясь выказывала ее во всей ее ничтожности. Мать, покорно смиряясь перед репримандами дочери, смыкала уста и углублялась взорами на дно отпитой чашки, переворачивая ее с боку на бок. Здесь, по чайнкам, приставшим к краям фарфора, прозревала судьбу свою и своего единородного деспота.

Дочка в эти минуты смотрела на нее с презрительною улыбкой. Между тем и без чайного оракула можно было предвещать обеим, что одна до конца своей жизни останется тряпкой, а другая, если и выйдет замуж, будет домашним демоном, сведеть с ума злополучного супруга, а тот убежит от нее хоть к полюсам.

— Я забыла вам сказать, — обратилась Полина Бармапутина к сестрам-близнецам, — что привезла вам обещанные ноты; прикажите их взять от нашего мальчика.

Тетрадь с нотами была принесена и отдана на рассмотрение Настасьи Александровны. Перевернув листы, она объявила, что музыкальные сочинения в одной части тетради слишком игривы, не ладят с положе-

нием, в котором находятся ее гости, а в другой части духовные — не по силам дочерей.

Это были произведения знаменитых maestro: «Прославление Бога» (Die Himmel rühmen) Бетховена, «Молитва» Россини и «Ave Maria» Баха.

— Помилуйте, — заметила Полина, — я их легко играю и пою.

— Сделайте одолжение.

И mademoiselle Бармапутина, желая блеснуть своими талантами, села за рояль и стала играть и петь первую попавшуюся ей пьесу. Жребий пал на Бетховена.

Играла она посредственно, пела так же, слушатели остались равнодушны.

Андрей Иванович, желая, чтобы одна из московских его гостей восторжествовала над самонадеянною провинциалкой, попросил Антонину Павловну сыграть и спеть ту же пьесу. Тони не заставила себя упрашивать. Победа была полная, соперничество уничтожено. Сколько искусства, столько и души вложила она в свою игру и пение! Это была несомненная музыкальная сила. Спела еще без просьбы «Молитву» Россини. Жаркие похвалы, жаркие рукоплескания увенчали ее торжество, к ним невольно присоединила свои и Полина Бармапутина. Скоро, однако ж, мать и дочка, уязвленные в своем самолюбии, распростились с хозяевами.

Приезд этой странной парочки расстроил было семейный кружок, так хорошо сладившийся, и оставил в нем по себе неприятное впечатление.

— Уф! — сказал Сурмин, проводив их. — Вот вам, Лизавета Михайловна, образчик наших провинциальных эмансипированных девиц.

Лиза ничего не отвечала.

— Жаль, — сказала Настасья Александровна, — девочка неглупая, а напустила на себя дурь.

Далее не было об них разговора; в семействе Сурминых остерегались осуждения. А было что поговорить о Полине. Она была действительно неглупая девочка, но считала себя, со своим английским языком и свитою громких ученых имен, такую умною и образованною, что все, ее окружающее, должно было пасть перед нею безмолвно на колени и восторгаться ею. Надо было ви-

деть, как она свысока смотрела на того, кто осмеливался ей противоречить, с какою олимпийскою важностью смотрела с высоты, нахмутив брови, на своего противника. В провинции она считала себя звездой первой величины, от которой все спутники заимствовали свой свет. Если она щадила сестер Сурмина и его семью, так потому, что имела виды на него.

На третий день своего пребывания в Приреченской усадьбе Лиза и Тони, заполонив сердца жительниц ее, в сопровождении Андрея Ивановича отправились в Петербург. Им надо было явиться в урочный час на местном дебаркадере. Здесь встретила их небольшая остановка. Московский поезд еще не приходил, прибыл только петербургский. В одном из вагонов сидело до тридцати повстанцев из Царства Польского, взятых в плен в разных шибках. Это был едва ли не первый транспорт их, все избранники из самых ярых революционеров. В числе их были два ксендза, схваченные с крестом в одной руке и с кинжалом в другой. Их сторожили двенадцать жандармов и при них капитан. Немудрено, что все бывшие в дебаркадере, в том числе и наши путешественницы со своим спутником, бросились на платформу, с которой можно было близко видеть пленных, не смевших выходить из своего вагона. Они большею частью, казалось, не очень горевали, насмешливо и злобно смотрели на зрителей, то и дело опустошали графины водки и бутылки шампанского, так что жандармский капитан, боясь опасных последствий, не велел служителям гостиницы давать им более вина. Видно, они имели при себе порядочные деньги. Один из них, сидевший у открытого окна с голой шеей, несмотря на сырое время, в гарибальдийской рубашке, видной из-под чемарки, остановил на себе внимание двух московских подруг. Он очень походил на Владислава Стабровского. Такой же красивый, с таким же типом итальянской национальности. Но это не был Владислав. Не брат ли его, Ричард?.. Пленный, вероятно, очарованный прекрасною наружностью Лизы и Тони и трогательным участием к его судьбе, выразившимся в их глазах, приковался к ним и своими. Лиза грустно покачала головой, она думала: «несчаст-

ный, у тебя есть, может быть, мать, была, может быть, и женщина, которая тебя страстно любила, и ты покинул их из мечтательной цели, к которой ведут тебя враги России».

Между тем Сурмина встретил на платформе какой-то господин, лет тридцати, с русою козлиной бородкой, и назвал его по имени.

— Вы не узнаете меня,— сказал он,— я Ла...кий, помните, петербургский студент, что хаживал к вам.

— А? Ла...кий! — отозвался Сурмин,— какими судьбами здесь? Уж не...

Он указал на вагон, где сидели повстанцы.

— Вы думаете, из той когорты, нет я из другого разряда. Тех не выпускают из вагона, а я гуляю себе, как видите. Зато тем выдают по 50 копеек в сутки, а мне 15. Хорошо правосудие!

— Свобода стоит чего-нибудь.

— Свобода? нет, не совсем. Видите, за мною, по пятам моим следит жандарм.

Сурмин действительно увидал в нескольких шагах жандарма, не терявшего Ла...кого из вида.

— Я имею право выходить, где хочу, останавливаться в городах в любой гостинице, но мой сторож со мною везде, днем, ночью, как тень моя.

Ла...кий говорил чисто по-русски, как русский.

— За что ж, про что? — спросил Сурмин.

— Я был посредником в Минской губернии. На меня донесли, что я собираю у себя соседних помещиков и составляю заговор. Я ссылаюсь на жительство в глушь Т... губернии. Тирания!

— А вы хотели бы, чтобы мы потакали вам, ласкали вас, как братья, когда вы нас ругаете, оплевываете, ногтями дерете нашей матери грудь до крови.

— Пойте себе!

И понес Ла...кий сумасбродный вздор о границах польского королевства 1772 года, о польской национальности в Литве, Белоруссии и юго-западных губерниях, словом — все, что проповедовали тогда поляки и, может статься, проповедуют теперь, не добывши себе ума-разума своими несчастьями.

— Вы женаты? — спросил Сурмин.

— Нет.

— У вас есть мать?

— Две. Одна дала мне жизнь, другая — моя отчина. За эту готов я отдать жизнь.

Сурмин не вступал с ним в дальнейшее напрасное состязание. Наконец Ла...кий затормозил горячий ход своих речей и обратился к своему собеседнику с запросом, приправленным медоточивым, вкрадчивым голосом и лисьим, заискивающим взглядом, какие поляки умеют употреблять, когда им нужно что-нибудь выпросить.

— Не знаете ли кого из *тамошнего* начальства?

— Для чего ж вам?

— Я хотел бы по старой дружбе попросить вас замолвить кому-нибудь из тамошних влиятельных, хоть двумя строчками, за меня. Запрут в какой-нибудь Тмутаракани, в глуши лесов.

— Думаю, что местность в Минской губернии не привлекательнее.

— Все-таки лучше бы в какой-нибудь Ли...е, Мо...е, где полуднее, общество пообразованнее, как бы сказать... вы меня понимаете.

— Если бы я знал кого-нибудь там из влиятельных, так извините, во мне достанет довольно патриотизма — хоть вы, западники, и не признаете его в нас, русских, — чтоб не подать дружески руку врагу России.

С этими словами Сурмин отвернулся от Ла...кого и присоединился к своим спутникам.

— Москва! — злобно процедил вслед ему сквозь зубы минутный его собеседник.

В это время подъехал московский поезд, наши путешественники удобно разместились в одном вагоне. Запыхтел и крикнул дракон-паровоз, ударил третий звонок, и тронулся поезд, один в Петербург, другой в Москву. Многим седокам одного из вагонов последнего лежал путь далеко, далеко на холодный восток.

Лиза во всю дорогу была, видимо, скучна, не развлекали ее ни оживленные разговоры ее подруги и спутника их, ни интересные и смешные сцены, которыми иногда обильны бывают поезда на железных дорогах. За то Лорина и Сурмин были как нельзя более довольны своим положением. Казалось ему, Тони с каждой

станцией хорошела, с каждой станцией более и более притягивала его сердце к себе. Сколько раз мысленно срывал он поцелуи с ее розовых, несколько роскошных губок!

Приехали в Петербург. Лиза умоляла своего спутника не оставаться там более суток, хоть она никогда не видала северной столицы. Все мысли, все чувства ее стремились к последнему пункту их путешествия; надо было ей повиноваться.

Когда они ехали по железной варшавской дороге, то и дело на станциях слышались тревожные слухи, что революция разгорается в Литве и готова вспыхнуть в белорусских губерниях.

Сурмин любил комфорт и привык к нему; мудрено ли, что он не пренебрег ничем, чтобы доставить его своим спутницам. Когда им надо было свернуть с железной дороги на почтовую, их ожидала уже четырехместная карета, заранее туда высланная, в которую они и пересели для довершения своего путешествия.

Вот они в Белоруссии, в городе, который назовем городом при Двине. Совершенно новый край, новые люди! Так как я не пишу истории их в тогдaшнее время, то ограничусь рассказом только об известных мне личностях, действовавших в моем романе, и о той местности, где разыгрывались их действия. И потому попрошу читателя не взыскивать с меня скрупулезно за некоторые незначительные анахронизмы и исторические недомолвки и помнить, что я все-таки пишу *роман*, хотя и полуисторический.*

II

Нечего говорить, с каким дружеским радушием Евгения Сергеевна Зарницына приняла приезжих. Муж ее отсутствовал. Произведенный в генералы и получив бригаду, он отправился с ней в Литву. Исправный служака, добрый и благородный в полном смысле человек, он был и величайший флегматик во всем, что не каса-

* Для исторических справок прошу читателя обращаться к статье: «Неделя беспорядков в Могилевской губернии»; напечатанной в Русском вестнике 1864 г.

лось его служебных обязанностей и, прибавить надо, любви к жене. Он предоставил ей делать что ей угодно по управлению домом и имением и не мешал ни в каких филантропических затеях, и потому говорили, что он под ее башмачком.

Лизе и Тони приготовлены были две комнаты, одна подле другой, со всеми удобствами, какие могло придумать горячее сердце Зарницыной, а иначе она и любить не умела. Это была женщина, перешедшая гораздо за полдень свой, но живая, бойкая, энергичная не по годам и по тучности своей. Она жаждала всю жизнь свою дела, полезного для ближних, для общества, и без этого дела считала ее прозябанием. Душевный огонь не потухал еще в черных глазах ее; красота, которою она некогда славилась, еще оставила следы на отцветшем лице. Вполне русская, она была и пламенная патриотка. Экзальтация ее, о которой говорил некогда Ранеев Сурмину, была из самого чистого источника. Дай Бог России поболее таких экзальтированных женщин! Проницательный ум ее умел скоро узнавать людей, и если она иногда пользовалась двусмысленными личностями, так употребляла их, как необходимые, полезные орудия для своих целей.

Сурмин не оставался долго в городе при Двине. Дела призывали его в имение, доставшееся на границе Витебской и Могилевской губернии. Он распростился с обеими подругами и Зарницыной, обласкавшей его как друга семейства Ранеевых, и потому для нее не постороннего.

— Будете ли помнить меня? — спросил он с чувством Тони, уловив минуту, когда мог сказать ей несколько задушевных слов наедине.

— Еще бы нет, — сказала она с увлечением. Взгляд ее dokonчил, чего не договорили слова.

— Мне так хорошо было с вами всю дорогу, я был так счастлив, мое сердце так свыклось видеть вас каждый день, что мне тяжело расстаться со своими спутниками.

Тони крепко пожала руку, ей поданную.

Скучнее и грустнее города, куда приехали наши подруги, я не знаю. Когда я жил в нем, он мне казался местом заточения. Когда я в 1854 году, выпущенный

из-за решетки его, въехал в Смоленск, я, казалось, готов был облобызать родную землю, на которую ступил, благовест русских колоколов радостно прозвучал в моем сердце, как будто оно хотело пропеть: «Христос воскрес!» Не скажу, чтобы местность города на Двине была неприятна. Напротив того, по своему положению на этой реке, он имел бы живописную физиономию, если б не накрыла его своим мрачным наметом польская и еврейская характеристика. Русский любит строить жилища свои и особенно храмы Божии на берегах рек и на высотах, чтобы купола этих храмов и шпили их колоколен весело возносились к небу, весело глядели на всю окрестность. В Белоруссии, в Литве, сколько знаю, для церквей и костелов избирают плоские, низменные места, в котловинах, так что они издали не видны. Не говорю о синагогах с неопрятною их наружностью. При въезде в город с московского шоссе, вас встречают пустыри. Незаметно здесь садов, которые в некоторых великороссийских и особенно в малороссийских губерниях в весеннее время облиты цветами и к осени на солнышке играют роями своих золотистых и румяных плодов. А климат здешний, согреваемый теплым дуновением, навеваемым с Балтийского моря, так благоприятен для плодовых произрастаний. Здесь растут пирамидальные тополи и каштаны, неогражденные ничем от зимнего холода. Между тем у нас, в великорусских губерниях, стоящих на одном градусе долготы с белорусскими, они хиреют и часто умирают, хотя их на зиму окутывают в шубы. Еврей — враг земли и всякого тяжелого труда с нею, он не считает ее, как другие народы, своей кормилицей *. Торговля, промышленность, легкие ремесла — вот его стихия. Меркурий — единственный бог, которому он поклоняется, его ухищрения, его уловки знакомы ему с детства. Дайте ему мелкую монету, и он пробежит по вашей комиссии десяток верст, но за рубль не возьмет заступа в руки. Зато еврей властелин на торговой пло-

* Говорю о белорусских евреях. Сколько мне известно, в Волинской губернии евреи горячо и с успехом занимаются хлебопашеством. И какая же это благодатная по почве и климату страна!

щади. Посмотрите его там. Тош, изнурен, в замасленных лохмотьях, но одного слова его, одного взгляда довольно, чтобы белорусский крестьянин шел, делал, куда, что повелевает ему это лаконическое слово, этот магический взгляд. Птичка, от страха перед своим врагом кошкой, бьет крылышками и между тем обвороженная магнетическим током его глаз, притягивается к нему и попадает в его когти. Вы ничего не купите на торгу у белорусского мужичка, если конкурент ваш еврей. Верьте, что мужичок продаст ему за меньшую цену, нежели вам, так он привык верить, что сын Израиля единственный его благодетель в нуждах и сверх того держит ключ к источнику живительной и отуманивающей влаги. Немудрено, что из среды этого народа вышли знаменитые банкиры. А великие музыканты, писатели, врачи ученые?..—спросите вы. Правда, но все эти знаменитости вышли из немецких евреев. Надо, однако ж, заметить, что с недавнего времени проявляются литературные дарования и между нашими русскими евреями. Натура-то даровитая, да погрязла глубоко в своих вековых, религиозных и бытовых заблуждениях и придавлена роковым ходом истории. Они ждут своего Мессию, а *этот* Мессия подле них — *просвещение*. Стоит только отдаться ему всем сердцем.

К пустырям примыкает торговая, грязная площадка, окруженная корчмами. От знакомства с ними да избавит вас Бог. Затем начинается главная улица. Можете иметь понятие о ней по главным улицам наших уездных городков, да и некоторые из этих городков перецеголяют здешний, губернский. Каменных домов очень мало, и те невзрачной архитектуры, русский собор довольно величественной наружности, две-три русские церкви, в том числе единоверческая, и костел, затем несколько деревянных, нечистых жилищ евреев — вот вам и первенствующая улица. К концу города опять грязная и безобразная торговая площадь и примыкающие к ней жалкие домишки евреев, в окнах которых вместо стекол красуются грязные тряпицы. А чтобы вымостить ее и обсадить деревьями, никто и не подумает. Все это довершают каменные здания больницы и острога. За рекой такие же еврейские жилища

и опять болотная, торговая площадь. Прибавьте к этому по сю сторону реки руины древнего католического монастыря. Говорят о вокзале в городе, я его не видел. Правда, есть на берегу Двины аллея древних пирамидальных тополей перед высоким зданием начальника края, но эти пирамидальные тополя стоят уныло, как тюремные стражи, поднимающие к небу пики своих остроконечных вершин. На этом месте, которое могло бы быть приятным народным гуляньем, вы не увидите никого, кроме редких прохожих. Если бы продлить город еще на несколько верст и населить его такими же обывателями, каких он ныне имеет, он все остался бы таким пустынным, грустным городом, как он есть или по крайней мере был в мое время. И все оттого, что в нем нет людей-братьев, нет никакой общественной связи. Поляки держат себя особо, евреев не принимают в польские и русские общества, служащий русский люд как будто во всякое время на отлете восвояси.

Самая река смутно шлет к северу свои желтоватые воды; изредка пробежит по ним торговое судно или плот с лесом, или мелькнет рыбацья лодка.

За городом с западной стороны, верстах в двух, есть восхитительная местность на высоком берегу Двины. В другом краю она, наверно, оживлена была бы веселыми группами гуляющих, но здесь посещают ее только изредка *благородные* аматеры прекрасного в природе. В поездке моей туда поразили меня покачнувшиеся деревянные распятия на обнаженном поле с развевающимися клочками ткани вроде юбок, как будто ксендзы, старающиеся о постановке в наибольшем числе подобных крестов, не могли бы придумать для святыни более приличной обстановки. С восточной стороны города, начиная от острога, тянется на многие и многие версты березовая аллея. Как и все, насажденное рукою мудрой Екатерины, ее не могло сокрушить и столетие. Подобные аллеи и каменные пирамидальные версты вы увидите до сих пор в белорусских губерниях.

В одно утро из дней, следовавших за приездом москочков (это было воскресенье), вошла в комнату Лизы Евгения Сергеевна и притворила за собою дверь.

— Я пришла,— сказала она,— поговорить с тобою, мой друг, о многом, что должно тебя сильно заинтересовать. Мы теперь одни.

— А Тони?

— Пошла к обедне в единоверческую церковь.

— В единоверческую? Что за фантазия!

— Любопытство слушать тамошнее служение и помолиться всем нам общему Отцу. Да, говорит, там будет, вероятно, поменьше народу. Поменьше? Все наши русские церкви обыкновенно пусты, между тем костел во время утреннего и вечернего служения и в простые дни битком набит. Обедня в единоверческой церкви тянется долго, и мы будем иметь время келейно побеседовать с тобою о *материях* важных и очень важных.

— Буду слушать сердцем.

— Во-первых, начну с дедушки твоего Яскулки, от него же идет источник ваших семейных несчастий.

— Жив он? Знает ли о смерти отца моего? Так же ли преследует, хоть речами, мертвых, как преследовал живых?

— Все расскажу по порядку, душа моя. Я писала тебе, что поставила себе долгом стоять в здешнем краю на страже русского дела. Не пренебрегаю никакими средствами, чтобы служить ему, сколько достанет у меня разума, энергии и, пожалуй, лукавства. Для этого дела не обошла я и деда твоего. Познакомилась с ним, езжу к нему, оказываю ему всевозможные знаки уважения, а это ему льстит, и поддельываюсь под его сумасбродный характер. С начала нашего знакомства я заставляла его всегда над документами, которые не переставал он отрывать в архивах и которые, по мнению его адвоката, могли служить доказательством его дворянства. На этом пункте он помешался. И какого завидного звания добивается! Я знаю здесь кухарок-шляхтянок, кучеров-шляхтичей. Доставалось в разговорах об этом предмете отцу твоему. Разумеется, я оправдывала его, не раздражая, однако ж, безумного старика. Тут польская интеллигенция разыгралась в Царстве Польском, стала перебираться в Литву и здесь подняла свою драконовскую голову, набитую мечтами о восстановлении польского королевства в пределах

1772 г. Яскулка спрятал свои акты в сундук. Явились у него новые мечты. Он вынул из заветного шкапа боярский панцирь своего прадеда, счистил с него ржавчину и стал приготавливаться к встрече будущего пана круля, который при этом случае должен будет возвратить ему утраченное шляхетство. В это время был убит брат твой, вскоре умер и отец. Я поспешила передать Яскулке эти роковые вести, прибавив, что покойник до последней минуты своей жизни помышлял о мире с ним, говорил, что всегда любил и уважал его, как отца своей дорогой Агнесы. Тут же описала твое сиротство, твою красоту, твои душевные достоинства. Старик был, видимо, поражен этим известием. Раскаяние ли, что он был виноват перед дочерью, против своего зятя, против тебя, или сожаление о твоей участи выжали несколько слез из глаз этого черствого, помешавшегося старика. На целую неделю он заперся в своей берлоге и никого не принимал. Я уведомила письмом «многоуважаемого пана Яскулку», что ты должна скоро приехать сюда и остановиться у меня. «Я хочу *ее* видеть,— отвечал он,— все-таки течет в ней кровь Яскулки». Ты должна его видеть, он живет в десяти верстах отсюда.

— Да, я поеду к нему, помирю его хоть с мертвыми.

— На днях попросил он меня к себе. Я застала его очень грустным, сильно одряхлевшим. Старик, который еще не так давно таскал со своими работниками кули муки в амбар, едва держал дрожащими руками чашку чаю. Не было более помину о польском круле, казалось, он забыл о своем шляхетстве. Все помыслы, все чувства его сосредоточились на тебе. И знаешь ли, что задумал странный старик, какие он имеет на тебя виды?

— На меня виды? Уж не политические ли?

— Более — фамильные. Ты изумишься его планам. Старик богат, самых близких родных у него нет...

— Не думает ли, что я, при всей своей бедности, прельщусь его наследством, стану искать его благосклонности, его любви из корыстных видов. Они были всегда противны моему сердцу.

— План ему принадлежит, у тебя есть свой разум, своя воля. Твое дело согласиться с ним или нет. Слушай же меня. Ближайший ему родственник, хотя и в третьем колене... не скажу пока его имени, чтобы помучить тебя. Яскулка желает, чтоб ты отдала ему свою руку, и тогда отдаст вам все свое состояние с тем, чтобы вы приняли его фамилию.

— Я? Мою руку? Не зная нареченного? Не любя? Никогда.

— Ты его любила, может быть, и теперь еще любишь.

— Неужли это?..

— Владислав Стабровский.

— Он, опять он. Да, я его любила вопреки моему рассудку, моему долгу.

— А теперь?

— Перед смертью отца я дала ему клятву, что враг России никогда не будет моим мужем. Повторяю и теперь тебе, моей второй матери, эту клятву и исполню ее, хотя бы пришлось мне разбить мое сердце о судьбу свою.

— Если он, в самом деле, действует против России, я сама стану между ним, тобой и дедом твоим. И если б ты была слабая, рядовая женщина, каких много, готовая увлечься страстью до того, чтобы забыть свой долг, я сама предала бы тебя общественному позору. В глазах моих ты была бы ниже девушки, которая продает себя из нищеты. Но теперь я говорю с моей дочерью. Знаю твой твердый характер, знаю, что ты скорее погибнешь в душевных муках, чем увлечешься сердечною слабостью. Не совратить тебя хочу с твоего благородного пути, а сделать орудием патриотического подвига. Мы исполним его, не так ли? А если не успеем, да будет воля Божья. Ты описывала мне историю своего сердца в борьбе с рассудком и долгом, ты вышла из этой борьбы с торжеством, ты исполнила свои обязанности как дочь. Исполни их теперь как русская патриотка. Еще вот что скажу тебе. Мать Владислава, сколько мне известно, имела замыслы в здешнем крае против России, жертвовала для своих целей и своим состоянием, и двумя сыновьями. Ричард пропал без вести, вероятно, погиб в какой-нибудь схватке с русскими

или на виселице. Владислав, если и приехал сюда по воле матери для каких-нибудь революционных замыслов...

— Именно для них, он мне об этом писал.

— Так он играл в них, вероятно, пассивную роль. Вызвана же она была твоим холодным письмом. Ты отвергла его любовь, и он от отчаяния повиновался воле матери. Слышно, что он часто ссорился с нею из политических видов, отказался от богатой невесты-красавицы, которую она ему предлагала. Думаю, он еще ни к чему решительному не приступил.

— Может быть, еще не время...

— Ничего этого не ведаю. Знаю только, что обстоятельства изменились. Мать, услышав, что за ней зорко следят, что замыслы Мерославского, ее патрона, с братьей не удаются, потеряв с Ричардом горячего исполнителя своих патриотических затей, видя их холодную поддержку в Владиславе, умерла, говорят, от разрыва сердца.

— Умерла? — вырвалось из груди Лизы. — Умерла? — твердила она.

Она впала в глубокую задумчивость и через две минуты подняла голову.

— Боже! — сказала она, подняв к небу глаза, — укажи мне правый путь мой. Отец, внуши мне с того света, что я должна делать. Не поздно ли? Любит ли он еще меня?

— Я за это ручаюсь. Я познакомилась с ним у твоего деда, он бывает у меня.

— И что ж?

— Из слов Владислава, хотя осторожных, узнала я, что он тебя любит по-прежнему, с силою страсти, к которой только способен энергический, пылкий его характер, что одного слова надежды в ответ на его письмо было бы достаточно, чтобы он остался в Москве. Я уверена, что он и теперь готов на жертвы, если только ты...

— Люблю ли я его? Да, я его люблю и теперь, если он не посягнул на дела, враждебные моему отечеству.

— Испытай его.

— Испытаю.

— Хочешь ли его видеть?

— Хочу непременно. Видно, настал мой час, судьба готовила меня к нему.

Глаза Лизы горели огнем вдохновения, щеки ее пылали. В эти минуты она походила на портрет Жанны д'Арк, когда та шла на битву с врагами Франции.

— Как ты теперь дивно хороша, Лиза,— сказала Зарницына, горячо поцеловав ее.— Какой божественный огонь горит в глазах твоих! Если б на моем месте был молодой мужчина, он пал бы к ногам твоим, и нет жертвы, который бы не принес тебе. Теперь, дитя мое, успокойся и возвратимся опять к деду твоему. Я сказала ему, что планы его могут состояться, если только Владислав не замешан сильно в каких-нибудь революционных замыслах. Между тем направила его мысли о дворянстве в другую сторону. «Сообразите,— говорила я ему,— ничтожность нынешней революции, без регулярного войска, без оружия, без денежных средств. Сравните силы ее с силами русского государства. Печальный исход ее можно предвидеть. Дайте другое направление вашей политике. Вы — сила в здешнем крае,— прибавила я, желая польстить его самолюбию,— употребите ее на пользу русского дела. Тогда, поверьте мне, дворянство придет к вам само собой, без хлопот». Старик, казалось, был убежден, он обещал мне подумать немного и дать мне решительный ответ. Ты докончишь, что я начала. Еще несколько слов о моих патриотических затеях, ты должна их знать. Я писала тебе, что отец твой прислал мне доверенного человека.

— Что это за личность? Отец не говорил мне никогда о нем.

— Знаю только, что он русский купец Жучок из Динабурга.

— Он открыл мне, что доставлял через евреев для Эдвиги Стабровской холодное и огнестрельное оружие. Этот воинственный запас хранился в недостроенном костеле, в имении ее, на границах Витебской и Могилевской губерний. Но, вероятно, опасаясь, чтобы его не открыли в этом месте, перевезли в другое, ка-

кое — еще не знаю. Жучок обещал мне сыскать след к нему.

— Вот видишь, Владислав уже участник в революционных замыслах против России.

— Если бы этого ничего не было, не было бы теперь и жертвы с его стороны, с твоей стороны — подвига. Чем больше жертва, тем выше подвиг. Мы, однако ж, не упустим этого обстоятельства из виду. Если ты не убедишь его изменить делу, которое затеяли мать его и ее сподручники, так мы накроем эти революционные затеи.

— И тогда?

— И тогда Владислава ожидает позорная казнь: его расстреляют или повесят.

— Боже! Не допусти его до такой позорной смерти.

— Думаю, в твоих руках его судьба и, может быть, судьба здешнего края.

— О! Если бы это так было!

— С другой стороны, Жучок действует на бывших крестьян Платеров. Это раскольники — стража русского духа в здешнем крае, она охраняет его от полонизма. Живут к северу Витебской губернии, разбросаны и по другим местам ее. Народ трезвый, фанатически преданный своей вере *. Они зорко следят за всеми действиями панов. Жучок, хитрый, лукавый, не упускает случая, чтобы выведать о польских затеях. Есть еще у меня один человек, поляк Застрембецкий, враг поляков.

— Поляк и враг поляков?

— К этой вражде привели его обстоятельства его жизни. Он служит мне, как самый преданный из людей. Из ненависти к своим соотечественникам он готов для русского дела положить свою голову. Я сообщу тебе его историю. Застрембецкий родился в Царстве Польском. Приготовясь дельным, основательным учением, он поступил на службу в артиллерию. Отец его был богатый человек, но отъявленный игрок, под конец

* Я сам слышал в 1853 году от одного из Платеров, что из всех крестьян его раскольники самые трезвые, трудолюбивые, исправные.

своей жизни проигрался начисто, застрелился и оставил сыну только прекрасное воспитание. Мой Застрембецкий, как слышно, отличный математик,—я в этом не судья,—говорит на языках русском, французском, немецком и итальянском, как на своем родном. Приятный музыкант, стрелок, каких мало... Ты знаешь, я хорошо стреляю из пистолета, но состязаться с ним не могу. Из пяти раз в пятнадцати шагах я попадаю однажды в очко туза,—он вырезает сердце его пулей всякий раз. Одним ударом кончает партию на бильярде. В мазурке нет ему соперника. Ловкий, умный, с красивой наружностью, он приобрел себе в обществе офицеров имя приятнейшего товарища, в обществе нашего пола — сокрушителя женских сердец. Вот его блестящая сторона. К сожалению, должна сказать и о темной. Это смесь рыцарского благородства, доброты души до самоотвержения. Он готов отдать бедному часы свои, последнюю рубашку, заложить себя за товарища в нужде, но не затруднится передернуть карту, если играет с зеваками. «На то и щука в море,—говорит он,—чтобы карась не дремал». Надо сказать, что с товарищами по службе он играет честно, они в этом уверены. Привыкнув при отце жить в довольстве, даже сорить деньгами, в которых тот ему не отказывал, он после смерти его сел как рак на мель и, чтобы выпутаться из нужды, пустился в разные обороты, часто неблагоприятные. Нет у него, бывало, ни копейки,—займет, перед торгом за заставой скупит разные съестные припасы, делается монополистом и через доверенного еврея продает скупленный товар по какой цене хочет. Завтра задает товарищам пир. Евреи боятся его и любят. В двух-трех, попеременно, масонских ложах он занимал видные степени. Поляк, он сделался врагом поляков по следующему случаю: Застрембецкий страстно любил одну благородную девушку, родители отказали ему в руке ее, он ее увез. Она платила ему такую же безграничную любовью. Связь их была незаконная. У них было дитя. Но между ними стал фанатик-ксендз, представил обольщенной муки ада, ожидающие ее за ее проступок, и увлек ее в монастырь. Дитя пропало без вести. Застрембецкий поклялся мстить человеку,

лишившему его любимой женщины и ребенка его. При выходе ксендза из костела он затеял с ним ссору и ударил его всенародно по лицу. Братья по отчизне и ма-сонству, свидетели этой сцены, готовы были растерзать его. Преступление не могло остаться без законного наказания. Застрембецкий, разжалованный в солдаты, хотя и с выслугою и не лишенный дворянства, поступил под начальство моего мужа. Нечего говорить, что муж мой и общество русских офицеров, зная его несчастную историю, стараются всячески облегчить его участь. Недавно произведен он в унтер-офицеры и потом в фельд-фебели; есть надежда, что ему скоро возвратят офицерский чин. Со времени, как я взяла его в руки, он бросил свои нечистые спекуляции и сделался благоразумнее. В нужде он знает, что мой кошелек для него всегда развязан. За то и любит меня как сын и платит мне неоцененными услугами, для меня готов в огонь и в воду. Поляки ненавидят его, почитая предателем польского дела и изменником отчизны. Они готовы всеми средствами погубить его языком, кинжалом, огнем. Да, огнем. Когда он квартировал в одной белорусской деревне, в полночь подожгли избу, в которой он спал. Но солдаты его взвода, преданные ему, любящие его русскою, простою, горячею любовью, вытащили его невредимого из пламени. В другой раз его было отравили. Как нарочно, в деревню, где он квартировал, на это время приехал полковой лекарь и успел спасти его от смерти. С того времени ненависть его к своим врагам и врагам России сильнее возгорелась. Он следил за действиями их, как коршун за своей добычей, он чует, кажется, струю воздуха, напитанную революционными миазмами. Перед походом мужниной бригады он заболел и остался в здешнем лазарете или, лучше сказать, при мне. Ныне он уведомил меня, что в костеле, во время обедни, будут говорить революционную проповедь, петь революционные гимны. Таково настроение здешнего польского общества.

— Что ж делает здешняя администрация?

— Пока молчит. Полагает, что кроткими мерами образумит потерявших голову, но готова принять строгие меры, если эти манифестации усилятся. Вот, слы-

шишь, жалобно запищали колокола здешнего костела. Посмотри из окна, сколько валит в него народа.

Лиза подошла к окну и увидела толпы мужчин и женщин, вторгающихся в католический храм, как широкий поток, который образуется из мелких струй, стекающих в него изо всех концов города.

В голове Лизы от разговора ее с Зарницыной бродили неопределенные, мечтательные мысли, только одна сквозь хаос их блестела ярким лучом — мысль обратиться Владислава на путь истинный и тем отвратить от него позорную казнь и от здешнего края многие бедствия. Замыслы матери его и революционеров представлялись ее воображению в гигантских размерах. Собеседницы продолжали говорить о современных происшествиях, как в комнату, где они сидели, отворилась дверь, и явилась перед ними Тони, бледная, дрожащая; грудь ее сильно колебалась.

— Что с тобою? Что с вами, Антонина Павловна? — спросили в одно время Лиза и Евгения Сергеевна.

— Дайте мне немного успокоиться, собраться с духом, — отвечала Тони, садясь на первое попавшееся ей кресло.

Придя в себя, она рассказала, что с ней случилось.

— Возвращаясь домой из единоверческой церкви, я зашла в костел послушать католическое служение. Я села на первую скамью, недалеко от входных дверей. Народу в церкви было до удушья. Мужчины были в старинных польских одеяниях, женщины — все в глубоком трауре, на головах их блестели мелкие серебряные бляхи с изображением польского орла. Так как я была в трауре, то сначала никто не обратил на меня внимания, но потом взгляделись в меня. Заметив, вероятно, что у меня на голове не было революционного знака и что я молилась не по-ихнему, стали кругом меня перешептываться, кидать на меня злоешие взгляды, нахально кивать головой. Между тем ксендз говорил какую-то громовую проповедь, в которой, сколько могла понять, уловила несколько враждебных России слов. Вслед затем все бывшие в костеле запели гимны. Когда народ хлынул из костела, окружавшие меня женщины стали меня теснить, толкать локтями в бока

и до того меня прижали, что я едва могла дышать. Кругом меня раздавались голоса: «русская шпионка!» Я готова была упасть в обморок. Не знаю, чем бы это кончилось, если б сквозь толпу не продрался красивый молодой человек, который стал горячо убеждать оскорблявших меня, потом, обратясь ко мне, сказал:

— Дайте мне вашу руку, Антонина Павловна: я вас защищу от этих безумных патриотов.— Это был Владислав.— Я подала ему руку,— продолжала Тони,— он проводил меня до здешнего дома, шагов с двадцать не более будет.

— Вот,— сказала я ему,— дорогой, ваша польская цивилизация, которой вы так хвастаетесь!

— Что ж делать,— отвечал он,— дух времени.

— Приличный только грубому народу, дикарям. Вы считаете нас, русских, варварами, но в каком темном уголке России посягнут на оскорбление католички-польки, если б она вошла в православную церковь?

— Фанатический патриотизм доводит их до безумия,— отвечал Владислав.— Кончится дурно, кто образумит их теперь? Прорвалась плотина, и ничем не удержишь бешеных вод, пока не устроится новая.— Тут обратил он речь на смерть брата твоего, Лиза, на смерть отца.

— Сколько должна была выстрадать Лизавета Михайловна,— прибавил он.

— Что до меня, то я со времени, как оставил Москву, не знал ни одного радостного дня.

Когда мы подошли к подъезду, я предложила ему зайти к нам.

— Не смею теперь,— сказал он,— но если Лизавета Михайловна позволит, в другой раз.

Как я заметила, он ужасно похудел, глубокая грусть видна на его лице.

Тони, своим рассказом, стряхнув прах со своих сандалей или, проще сказать, желчь, накипевшую в голубиной груди ее, бросилась к Евгении Сергеевне и просила у нее извинения, что встревожила ее своими похождениями.

— Стоило бы вас немножко пожурить, Антонина Павловна,— сказала Зарницына, поцеловав ее,— да

я и сама виновата, что не предупредила вас быть осторожнее в теперешние времена.

Какое впечатление сделал рассказ Тони на слушательниц, осталось тайною их.

III

Когда Владислав, прошедшею осенью, простившись с Лизой, выехал из Москвы, разнородные чувства разрывали его сердце на части. В минуты досады на нее, на отца ее, в минуты какого-то бешеного исступления он решился на безумное дело. Еще бы увлек его горячий патриотизм, а его и не было. Он видел всю тщету задуманных его компатриотами замыслов, он понимал, что все планы их — неосуществимые мечтания, бред разгоряченных умов, возбужденный врагами России, желавшими только смут в ней, чтобы ослабить ее возрастающее могущество. «Говорение, одно говорение,— думал он,— а дойдет до дела, все эти планы рассыплются в прах». Обожаемую им Лизу потерял он навсегда. Ослепленный, разве не мог он убедиться, что она его любит, что одни обстоятельства, воля отца заставляли ее скрывать настоящие чувства? Почему ж он не послушался ее, когда она, прощаясь с ним, так задушевно убеждала его остаться, не уезжать? Если бы Лиза не любила его, она довольна была бы, что он оставляет Москву. Разве это не был залог прекрасных надежд? Соперника у него не было, в этом он убедился. Разве он не мог, не раздражая безумными выходками благородного старика Ранеева, который оказал ему столько добра, дожидаться более благоприятных обстоятельств? Но дело уже сделано, он дал клятву жонду служить ему, прошедшего не воротить.

Невольник своей присяги, Владислав ехал по Смоленской дороге. Со станции, против Бородинского поля, он видел памятник, поставленный во славу России, борющейся с громадными силами двадцати народов и величайшего гения-полководца. Под Красным такой же памятник. Не с бродячими шайками повстанцев имели тогда дело русские, не с какими-нибудь Мерославскими, Жвирждовскими и Машевскими! Не от-

ворили они победоносному неприятелю дверей своей столицы, сожгли ее, испепелили свое сердце и из пепла возродились еще сильнее. Такой ли народ испугается угроз из-за угла палатских стен и трибун клерикальных ораторов?.. Много крови будет вновь пролито, много падет жертв. Бедная отчизна Польша! Разве мало обогрелась ты ею? разве мало уже падало жертв?

По дороге все было тихо мертвенной тишиной. Будущею весной должна кругом разразиться революционная гроза и облечь здешнюю страну кровавым саваном.

О! кабы скорее окутали и его самого.

Эдвига Стабровская ожидала сына с нетерпением и при первом свидании с ним осыпала его самыми нежными, горячими ласками. Недолго, однако ж, дела на волю чувствам матери,—патриотическое увлечение скоро заняло их.

— Исполняя вашу волю, я приехал сюда,—сказал Владислав,—приказывайте, мне остается только повиноваться. Готовы ли войско, оружие, деньги?

— Все припасено будет ко времени, мой милый полковник, когда получим пароль действовать,—отвечала Эдвига.

— Худой я полководец. Всю жизнь свою держал перо в руке, меч для меня оружие непривычное.

— Есть оружие острее всех мечей, убийственнее ружей и пушек,—это любовь к отчизне, а мы с тобою и Ричардом не имеем в ней недостатка. Падете вы оба, я сама явлюсь на поле битвы. Будет рука моя слаба, чтобы поражать врагов, поведу, по крайней мере, своих воинов против притеснителей моей отчизны и одушевлею их собственным примером. Не в первый раз Польша видела своих дочерей во главе полков!

И стала Эдвига развивать свои патриотические планы и надежды. Владислав повторял только, что он покорный исполнитель ее воли и готов умереть за дело отчизны.

Начались съезды польских панов, посвященных в тайны заговора и участников в нем, начались обеды, пиры. За столом приборы были из польского (фальшивого) серебра: настоящее, русское, пробное серебро, которого у богатых помещиков были пуды, хранилось

в глубоких тайниках земли или стен. Так продолжалось во все время польской революции и даже после нее, потому что распущены были слухи, что русское правительство станет отбирать серебро и выдавать за него кредитные билеты. Под этим благовидным предлогом, Эдвиг, близкая к совершенному разорению, положила свою серебряную посуду евреям. Явились на съездах знакомые уже нам лица: вечный запевало в спорах, Суздилович, со своими тараканьими усиками и арбузным брюшком, свирепый Волк, пан в колтуне, несколько других помещиков, офицеров, дробной шляхты, мелких чиновников из Витебской губернии, студентов и даже гимназистов. Много говорили, еще более ели и пили. Часто вспыхивали раздоры, иногда от безделицы, из покроя платья, шитья на нем, знаков отличия по должностям в жонде. Раздоры эти доходили бы до ножей, если бы не усмиряли пыла горячих патриотов присутствие и убеждения хозяйки. Посвящалось, однако ж, офицерами время, под предлогом охоты за зверями, на упражнение разного навербованного сброда в стрельбе, понимании команды и военных эволюциях. Охоты эти приучали повстанцев к травле за русскими. Отважные и ловкие стрелки, умные доезжачие получали денежные награды. Не забыты были и холопы. С ними паны стали обращаться гуманнее, сократили их работы и не посылали на панский двор по воскресеньям постучать топором, обещали им даровые земли, если они будут преданы своим господам. Но добродушные белорусцы, смекая в этих приманках что-то недоброе, не очень поддавались им, были себе на уме. Сделан был, как мы уже видели, через Жучку подряд на косы, вилы, топоры, охотничьи ружья, порох. Надежды были великие, росли, казалось, с каждым днем. Жвирждовский не дремал в Могилевской губернии, ксендз. Б. в Антушевском приходе воспламенял полек своими проповедями до того неосторожно, что русское правительство вынуждено было выслать его в одну из внутренних губерний России. Собрать Жвирждовского по генеральному штабу, Машевский, организовал заговор в Минской губернии. Под начальством Владислава образовалась сильная банда, кото-

рая должна была выступить из витебских лесов и ударить на неприятеля, если б могилевские шайки оплошали. Ожидали с нетерпением весенних дней, когда железо сошников будет раздирать грудь земли и деревья станут наигрывать почки.

Между тем Эдвига замечала, что в сыне ее Владиславе не было тех горячих патриотических увлечений, которых от него ожидала, действия его были вялы, на пирах он был угрюм и молчалив. Волк подшучивал над своим приятелем, говоря, что «Москва надломила его и уроки Пржшедиловского, видно, не пропадали даром».

— А знаете ли, пани Эдвига,— прибавлял Волк,— ваш сын передал мне кинжал, который вы ему некогда подарили.

— Он перешел в достойные руки,— отвечала она.

— С тем,— заметил Волк,— чтобы он упился кровью изменника, если бы изменник между нами оказался.

— Не пощадите в таком случае и моего сына.

Владислав угрюмо молчал.

Стабровская подозревала, что он еще грустит по своим московским привязанностям, и старалась развлекать его обществом хорошеньких, ловких, увлекательных соседок. Даже одну из них, блестящее созвездие среди светил Белорусского края, которую она особенно любила и за которую многие безнадежно сватались, предложила ему в супруги, уверяя его, что красавица к нему неравнодушна.

— Время ли теперь думать о женитьбе,— говорил Владислав,— когда мы готовимся к битвам? Не для того ли, чтобы, пожив несколько недель с женою, оставить после себя молодую вдову? Вы сами говорили, что мы — крестonosцы, давшие обет освободить родную землю от ига неверных, и ни о чем другом не должны думать. Прошу вас о невестах мне более не говорить.

И не было более помина о невестах. Но случалось, что он оспаривал слишком фанатические надежды ее, говорил, что многие планы заговорщиков построены на песке, что они могут разрушиться, когда Россия встанет со своими могучими силами на борьбу с ненаде-

жными силами польской интеллигенции. В спорах у матери с сыном дело доходило до серьезной размолвки. В это время конфиденты уведомили ее, что русская полиция начинает зорко следить за нею, что в самом доме у нее есть изменники. Эдвига стала подозревать верных ей доселе слуг и экономов, сделалась раздражительна, выходила нередко из себя, начались гонения. Один из ее конфидентов, Жучок, желая из своих целей выиграть ее доверенность и замаскировать свое предательство, дал ей знать под глубокой тайной, что депо оружия, стоившее ей так дорого, небезопасно хранится под склепом недостроенного костела. Надо было перевезти это депо в другое надежное место. На это требовались большая осторожность и глубокая тайна. Кому ж поручить это дело, как не сыну и Волку? Волк и сын не могли изменить ей. Ночь окутала транспорт своим черным покровом, дремучий бор принял его в свои недра. Молчание людей, перевозивших ящики и тюки с оружием, большею частью евреев, куплено золотом и страхом мучительной смерти. По проселочным дорогам, по которым ехал транспорт, жители деревушек, отдаленных друг от друга озерами, болотами и лесами, спали глубоким сном. Да если бы кто из этих жителей, разбуженный шумом проезжавших мимо его хаты саней, вздумал взглянуть в щель своего окошка, так и тот сказал бы только, махнув рукой: «Не наше дело, знать, евреи везут контрабанду».

Сердце Эдвиги было, однако ж, не на месте. Вслед за тем до нее секретно дошла роковая весть, что Ричард погиб... как, никто, наверно, кроме нее, не знал. Она уведомила своих друзей, что он убит в Царстве Польском в сшибке с русскими. Наружно разыгрывая роль героини, Эдвига старалась казаться спокойной, говорила, что гордится, счастлива, пожертвовав сына отчизне. Но душа ее была сильно потрясена; вскоре разочлась она со всеми земными замыслами и навсегда опочила от них.

В таком положении были дела Владислава, когда приехала Лиза в город на Двине. Любовь к ней не угасала в разлуке, она разгорелась еще сильнее со смертью ее отца, со смертью его матери, неурядицами и не-

согласиями, возникавшими между заговорщиками. Патриотизм его был невольный, машинальный. Стоило только сильному толчку сбить его. Слово любимой женщины могло быть этим толчком. Планы Яскулки развернули перед ним новый свиток прекрасных надежд. Он старался познакомиться с Евгенией Сергеевной, о связях которой с семейством слышал от него. Добиться, во что бы то ни стало, свидания с Лизой было неперенным его решением. Он метался мыслями и чувствами то в мир блаженства, то в мрачную будущность, ожидавшую двойного клятвопреступника. Изменив однажды России, он уже сердцем изменил клятве, которую дал жонду.

Лиза пожелала скорее видеть своего деда и на другой же день секретного разговора с Зарницыной поехала к нему. Старик был предупрежден о ее приезде. Как забилося сердце ее, когда она увидела скромный дом его среди плодовых садов, с одной стороны, длинных амбаров и служб, с другой и многочисленной семьи пирамидальных скирд, ровных, гладких, будто отесанных топором. За домом видна была Двина, сбросившая уже с себя ледяные оковы. Порог *Лурга* запевал свою шумную песню. На дворе стоял высокий столб, на вершине его красовались бархатная малиновая шапка и свитка с шелковым кушаком. Когда экипаж Лизы въехал на двор, несколько десятков крестьян и крестьянок, большие и малые, в праздничных платьях, встали с бревен, на которых сидели. Мужчины сняли свои белые валеные шапки в виде гречников, все низко поклонились. Сам Яскулка ожидал свою внучку у дверей в сени и встретил ее, по русскому обычаю, с хлебом и солью. Лиза пала перед ним на колени и поцеловала его руку; он с горячностью принял ее в свои объятия и повел в покои.

По портрету панцирного боярина, хранившемуся столько лет у Ранеевых, Лиза привыкла воображать своего деда таким, каким он изображен был на холсте, с черными, огненными глазами, пронизывающими насквозь, с пышным лесом черных волос, падающих на плечи, с прямым, гордым станом. И что ж теперь наяву осталось от этой воинственной фигуры? Сгорбленный

старик, с мутными, покрасневшими глазами, с обнаженным, как ладонь, черепом. Огромные усы побелели и пожелтели, на них дрожали слезы. И вот, этот гордый панцирный боярин, вместо того, чтобы на рьяном коне встречать польского пана круля, встречает с нежностью, с любовью хорошенькую внучку, приехавшую из ненавистной ему доселе Москвы. Он почитает себя счастливее любого пана круля; так изменились обстоятельства.

— Внучка, милая внучка, мое дорогое дитя, моя яскулка (моя ласточка), дай мне насмотреться на тебя,— мог он только сказать, утирая длинные усы, на которые капали слезы.

Казалось, все нежные чувства, которых лишен был Яскулка в продолжение своей жизни, притекли разом к его сердцу. Он ставил Лизу к солнечному свету, чтобы лучше разглядеть ее. Не ожидала она такого приема и в восторге от него расточала деду самые горячие ласки. Наконец, он усадил ее на почетное место дивана и сел против нее в креслах.

— Безумный,— говорил он,— я так долго не знал этого сокровища, не мог оценить его. Слушай, Елизавета, счеты наши с твоим отцом тянулись слишком долго. Кончаю их, хоть и поздно. Винават я был перед ним, перед твоею матерью; сильно каюсь в этом. Прости мне, добрая моя Агнеса, прости, Михаил Аполлонович. Не взывайте с меня на страшном суде и, когда явлюсь перед вами, примите меня с миром.

И плакал старик горячими слезами.

— Как радуются отец и мать вашему примирению с ними! — сказала Лиза, схватив руку деда и целуя ее.

— Розалия! — крикнул он, и на этот зов явилась благовидная, с добрым лицом, старушка, в широком чепце безукоризненной белизны, отороченном кружевцами.— Это моя экономка, шляхтянка, живет у меня с лишком двадцать лет,— сказал Яскулка, указывая на вошедшую.— Сколько раз советовала она мне помириться с твоим отцом, но я не слушался ее, сколько терпела за это от меня!

Потом, обратясь к экономке, промолвил, указывая на Лизу:

— Это моя внучка, Елизавета Ранеева, дочь генерала. Посмотри на нее, полюбуйся. Видела ли ты в здешнем краю что-нибудь краше?

Экономка, скрестив руки, благоговейно смотрела на внучку Яскулки, дочь генерала, как будто пораженная ее красотой и величием.

— Словно ангел слетел в нашу обитель,— промолвила, наконец, Розалия и бросилась было целовать руку у Лизы, но та не допустила до этого и сама горячо обняла.

Яскулка властительно дал знать рукой экономке, чтоб она удалилась, и когда та вышла из комнаты, сказал Лизе:

— Евгения Сергеевна, конечно, говорила уже тебе, какие замыслы имею я на тебя.

— Говорила.

— Владислав Стабровский любит тебя, он тебе пара, я стар, гляжу в гроб... Мое желание, мое лучшее утешение в последние дни моей жизни было бы видеть вас мужем и женою... Все имение мое завещаю вам с тем, чтобы вы приняли мою фамилию.

— Дедушка,— отвечала Лиза твердым голосом,— к исполнению этих желаний есть неодолимое препятствие,— обет, данный отцу, не выходить замуж за врага России. Обету этому не изменю ни за какие сокровища в мире. Вы, конечно, знаете, что Владислав замешан в революционных замыслах против моего отечества.

— Знаю.

— Пока он не отречется от них, пока не докажет на деле, что будет верен России, нашему русскому государю, сердце и рука моя не могут ему принадлежать. Я была бы недостойна видеть свет Божий, если б из корыстных видов изменила клятве, данной умирающему отцу.

— Он тебя любит, в этом я уверен, мы обратим его на путь истинный, если же нет, так пусть покарают его Бог и русские законы. Во всяком случае ты останешься моею дорогой внучкой, наследницей моего богатства и имени... Какой молодой человек, да еще влюбленный, поколеблется идти для тебя хоть на черта.

Яскулка посмотрел на стенные часы.

— Владислав должен через час быть здесь.

— Так скоро? — сказала Лиза, вздрогнув при этом имени. Она не ожидала такого скорого свидания.

— «Куй железо, пока горячо, — говорит ваша русская пословица. Время не терпит. Розалия! — крикнул он, — мою шапочку и палку, а паненке ее теплую одежду и обувь.

Когда та и другая были принесены, помолодевший Яскулка, будто вспрыснутый мертвою и живою водой, бодро накиннул на себя шапку и, опираясь на суковатую палку, вышел из комнаты, сказав Лизе, надевавшей на себя теплую одежду, чтобы она за ним следовала.

Они вышли на крыльцо двора. Старик махнул рукою народу, чтобы подошел к ним, и, когда крестьяне и крестьянки составили из себя кольцо около господского крыльца, сказал им громогласно:

— Вот моя внучка, Елизавета, ваша будущая госпожа.

— Много лет здравствовать, — закричал в толпе отставной солдат, за ним повторили то же другие, женщины смотрели на свою будущую госпожу с умилением и любовью.

— Теперь выпейте горелки за здоровье ее, — промолвил Яскулка, — и веселитесь, сколько душе угодно.

На дворе расставлены были столы с разными крестьянскими яствами и бочонки с горелкой. Первая чарка сопровождалась новым пожеланием здоровья паненке Елизавете и деду ее, Яскулке. Пошло пирование, пили водку старики, взрослые, пили кобиты, девчаты, мальчики, как будто они привыкли вкушать ее с того времени, как отняли их от груди матери. Белорусцы переродились, куда девалась их неподвижность! Появились волюнки, скрипки, девчаты пустились в пляс, началось акробатическое состязание по мачте, намазанной салом. Много было смеха, когда некоторые молодцы, желая достигнуть победного венка — бархатной шапки и свитки с шелковым кушаком, скользили с разной высоты и падали на землю. Награда досталась, однако ж, одному из самых отважных и ловких рыцарей. Экономка принесла большую кор-

зинку, загроможденную разноцветными лентами, платками, черевичками и другими женскими нарядами. Раздача их представлена была царице дня, внучке Яскулки. С какою радостью исполнила она эту обязанность, как умела искусно уравнивать подарки и приправить их ласковым словом, для которого обращалась к живому белорусскому словарю своего деда! Некоторых пригожих и детей она перецеловала. Все были веселы, все были счастливы. В это время въехал во двор экипаж, в нем сидел Владислав. Лиза сейчас узнала рокового посетителя, она побледнела, задрожала и машинально оперлась на руку деда, забыв, что эта рука не может поддержать ее.

— Пойдем в комнаты,— сказал Яскулка, заметив ее тревожное состояние, и, загородив ее собою, показал ей дорогу вперед.

Прежде чем Владислав вошел за ними в дом, она успела несколько оправиться; когда же он вступил в комнату, где она и Яскулка его приняли, Владислав и Лиза окинули друг друга пытливым взглядом. Как говорила Тони, он очень похудел, красота Лизы выступала еще резче из-под глубокого траура. Он хотел подать Лизе руку, но та опустила свою и церемониально присела перед ним.

— Вы родные, люди близкие,— сказал Яскулка,— а встречаетесь точно чужие. Не хочу мешать вам своим присутствием, авось без меня наедине скорее поладите.

— Я приехал сюда,— начал первый Владислав, когда старик удалился,— чтобы иметь счастье тебя увидеть, хоть подышать с тобою одним воздухом, услышать от тебя, если не слово любви, то по крайней мере дружеского привета.

— Прежде всяких объяснений я спрошу тебя, Владислав, с кем я говорю: с врагом России, с изменником, или...

— Твое слово,— отвечал он,— должно порешить: броситься ли мне окончательно в безумный сброд польских революционеров и погибнуть с ними. Любила ли ты меня, любишь ли еще?

— Любила, да. И как еще любила! Ты один этого не понимал. Ты не видел моей любви в глазах моих, не

слыхал ее в звуке моего голоса. Мало ли я боролась со своим рассудком, с волею отца, со своим долгом! Легко ли мне было! Разве не заметил ты этой любви, когда я расставалась с тобою в Пресненском саду? Для тебя я отказала в руке своей прекрасному человеку, который предался мне всем сердцем, которого назначал мне отец. Для тебя отказалась от мирной, семейной жизни в довольстве. И для кого же приехала сюда? Каких же еще доказательств нужно тебе? Откажись от революционных затей своей матери, оторвись от безумных братьев своих — и тогда...

Наступила минута решительная.

Владислав покачал головой и закрыл рукою глаза, из которых готовы были брызнуть слезы.

— Вновь предатель, вновь изменник... переметчик... позорные имена! Я дал присягу.

— Безумная присяга, вырванная у тебя в минуту отчаяния! Ты прежде дал другую присягу русскому царю! Ее слышал, ее принял общий нам Всемогущий Бог, общий нам Судья. Разве шутил ты святою клятвою?

— И тогда, что ж?

— О! тогда я *твоя*. Бери меня, мою душу, мою жизнь. Видишь, на мне траурная одежда. Для тебя сниму ее, потревожу прах отца, пойду с тобою в храм Божий и там, у алтаря его, скажу всенародно, что я тебя люблю, что никого не любила кроме тебя и буду любить, пока останется во мне хоть искра жизни. Не постыжусь принять имя Стабровского, опозоренное изменою твоего брата.

— Но если русское правительство узнает, что я был участником революционных замыслов поляков, и тогда... преступник, ссыльный в Сибирь... что с тобою будет?

— Ведь ты еще не совершил их, этих замыслов? Говори.

— Решительно, нет еще.

— Мы с Зарницыной оправдаем тебя, представим доказательства. Я брошусь тогда к ногам государя моего, расскажу ему и твои вины, и твое раскаяние. Он милостив, наш царь, он простит тебе минутное заблуждение. А если нет, я жена ссыльного, поплетусь за то-

бою в тундры и снега Сибири, понесу твои цепи, буду твоей работницей.

— Я был бы чудовище, если б после твоих слов сказал: нет! Лиза, моя бесценная Лиза, мое божество: вот здесь, у образа Спасителя и Пречистой Его Матери, клянусь перед лицом их отныне, с этой минуты принадлежать России всем сердцем, всеми помыслами, всеми делами моими.

— Верно, милый друг, и вот тебе доказательство, что я тебе верю — мой брачный поцелуй.

Она бросилась ему на грудь, обняла его и поцеловала страстным поцелуем, от которого они оба обезумели.

Владислав рассказал ей планы белорусских заговорщиков и средства их разрушить.

— Теперь позови сюда дедушку, — сказала она.

Владислав позвал Яскулку и объявил ему, что все между ними решено и он может поздравить их женихом и невестой. Яскулка благословил их, но взял с них слово принять его фамилию.

За обильным обедом старик пил за здоровье жениха и невесты, густым, как масло, токаем, открытым в заветном углу погреба; пригласили и экономку выпить рюмку за это здоровье с пожеланием им счастья.

— Парочка, — говорила она, осушив рюмку, — изо всего света подобрать. Тряхну же я старыми костями на вашей свадьбе.

Условлено было строго до времени хранить тайну между лицами, посвященными в нее, и Зарницыной, которой Лиза должна была ее передать.

IV

Какие мысли и чувства волновали душу Лизы, когда она возвращалась домой! Вся жизнь ее перевернулась вверх дном. И как быстро это совершилось! Видно, на то была воля Божья. Тони сказала бы, что этот день записан в книге судьбы ее подруги еще при рождении ее. Нарушила ли Лиза клятву, данную отцу? Нет, думала она. Опасный враг России сделался пре-

данным ей сыном, целый край избавится от многих бедствий, кровь и жизнь многих тысяч будут пощажены, отцы будут сохранены детям, мужья женам. «Нет,— повторила Лиза, желая себя успокоить,— отец мой видит с того света мои помыслы, чистоту моих намерений и благословляет меня на этот подвиг. Благодарю Тебя, Господи, что избрал меня орудием для совершения его. Я была к нему предназначена».

Евгения Сергеевна ждала Лизу с нетерпением и приказала слуге, как скоро придет она, просить ее в кабинет. Здесь Лиза передала Зарницыной все, что с нею случилось в этот день. Решимость ее на брак с Владиславом не вызвала противоречия со стороны ее второй матери, воспламененной патриотическою мыслью, что брак этот послужит вернейшим орудием в пользу русского дела.

— Время не терпит,— сказала Евгения Сергеевна,— я получила известие, что на границе Витебской губернии паны и дробная шляхта готовятся к восстанию. Владислав сделает для жены своей то, чего не сделал бы для женщины, хотя им любимой, но которую он не может еще назвать *своею*.

Решено было между Зарницыной и Лизой, чтобы брак был скорее совершен в нескольких десятках верст от города, ближе к псковской границе, в костеле и русской церкви, при немногих свидетелях, на скромность которых можно было положиться. Между тем вызваны были и Жучок и Застрембецкий на совещание. Пока делались приготовления к роковому браку, пришло письмо на имя Евгении Сергеевны от слуги Сурмина, что барин его отчаянно болен горячкою, которою заразился, ухаживая за больными в деревне, где валит эта болезнь старого и малого. Слуга просил карету и доктора. «Лошади расставлены от деревни до города на станциях», говорилось в письме.

Это известие очень опечалило Зарницыну и Лизу; Тони, которой передали его, не в силах была скрыть своих слез. О! как бы она хотела назваться *его* сестрою, поехать за больным, ухаживать за ним дорогой. Что ей приличия, общественное мнение! Слова напрасные! Там нет приличия, где любимый человек требует помо-

щи, в которую должно положить душу свою, которую может только оказать мать, сестра, кто бы она ни была, но лишь бы была любящая женщина. Что ей суд здешнего общества? Она его не знает, не знает и ее это общество. Заразы от больного она не боится.

Этот сердечный порыв сменился, однако ж, убеждениями рассудка. Помощь доктора и, как говорила Евгения Сергеевна, посылка с ним фельдшера будут полезнее для больного во время пути. Она только затруднит путешествие, да и кто помешает ей за ним ходить, когда его привезут в город.

Послали тотчас за доктором Левенмаулем, из курляндских евреев, учившимся в дерптском университете и славившимся искусною и счастливою практикой. Доктор согласился ехать, запаса нужными, по его соображениям, медикаментами, взял с собою фельдшера и отправился в путь.

Слуга Сурмина, Сергей, встретил его со слезами на глаз.

— Жив? — спросил Левенмауль.

— Жив, но плох, — отвечал слуга.

Больной найден был доктором в опасном положении, в сильном жару и бреду. Нечего было мешкать. Подал ему возможное пособие, какое у него было под руками, и оставив смышленому русскому конторщику разные аптечные снадобья и наставления для больных крестьян, уложили, сколько возможно было, покойнее пациента в карете. С одной стороны, сел доктор, с другой — фельдшер, Сергей на козлы, и тронулись в путь. Наступила ночь. Горели два фонаря у кареты, зажгли один внутри ее, впереди ехали два конные с фонарями. Огни от них, при быстрой езде, мелькали, как пролетающие метеоры, и мимолетно отражались в лужах, образовавшихся от стоявших снегов. Верстах в десяти от деревни Сурмина надо было ехать густым сосновым лесом. Корни столетних деревьев, выступив из земли, переползали дорогу и делали езду несносною. Доктор, боясь сильных толчков для больного, приказал ехать тише. По узкой дороге пристяжные задевали за деревья. Поехали ощупью. Вдруг, среди ночной тишины, послышались веселые голоса, пели революционные

и попеременно двусмысленные песни. Эхо повторяло их. Раздавался хохот, хохотал и лес. Казалось, леший тешился в ночи. Дорогу, по которой ехали наши путешественники, перекрещивала другая, такая же проселочная. На ней замелькали тоже огни. Песни вдруг смолкли, скоро толпа всадников обступила экипаж и оставила выносных лошадей.

— Кто едет? — закричал по-польски громовый голос.

— Русский помещик Сурмин, — отвечал с козел слуга Сергей.

— Русский! богач! знаем! чтоб его бисы побрали!

— Поселился в нашем польском краю, совет себе здесь гнездо на нашу беду.

— Начнем кампанию с него, с нами револьверы.

— Убьем его, одним врагом меньше.

— Убьем, убьем, — повторяли голоса, и вслед затем удар каким-то твердым орудием разбил вдребезги стекло в окне кареты, так что осколки его посыпались на доктора; фельдшер закрыл собою больного.

— Господа, — сказал Левенмауль по-польски, высунув голову из окна, — пощадите больного, умирающего. Ваши действия приличны только разбойникам, а не честным патриотам. Если ж вы затеете что-нибудь худшее, так в ответ вам есть и у нас револьверы.

— А ты кто такой? — закричал один из всадников. — Не наш ли компатриот-изменник, в услужении у русского?

— Я доктор Левенмауль.

— Доктор Левенмауль? — повторила ватага.

— Виват доктор Левенмауль!

— Он спас меня от смерти.

— Он воскресил мою жену.

— Простите нас, доктор, мы были на пиру, подпили порядком.

— Дайте нам вашу руку и ступайте с Богом.

Левенмауль выставил свою руку из окна, несколько рук, одна за другою, спешили пожать ее.

Карета тронулась, место разбитого стекла умудрились заложить подушкой. Этой бедой кончилось разбойническое нападение патриотов, которое могло бы

иметь ужасные последствия, если бы не был тут Левенмауль, любимый и уважаемый всеми в губернии. Отчаянная ватага действительно возвращалась с пирушки у соседнего пана. На ней, в чаду винных паров, положено было не щадить ни одного русского, где бы он ни попался. Остальной путь сделал доктор без особых приключений. Больному приготовлены были комнаты в нижнем этаже квартиры Зарницыной, оставшиеся пустыми по случаю отсутствия генерала. Тони, Евгения Сергеевна и Лиза тотчас посетили его. На расспросы доктора о состоянии его, Левенмауль не мог сказать ничего решительного, впрочем, возлагал упование на Бога.

Тони отрекомендовала себя ему как сестра больного и просила позволения ухаживать за ним.

— И вы не боитесь, чтобы болезнь пристала к вам? — сказал Левенмауль. — Я должен предупредить вас, что она заражительна.

— Тут не до страха, — отвечала Тони, — когда человек близкий в опасности.

— Мы примем, однако ж, меры, чтоб она вас не коснулась, прошу соблюдать их.

— Все, что вы прикажете.

И стала Тони с этого времени ухаживать за больным, как самая усердная сиделка, как ухаживала бы мать за сыном, сестра за братом, горячо любящая жена за мужем. И просиживала она не только несколько часов дня, но и по ночам, у постели его. Ускорение и замедление его пульса повергали ее в ужасную тревогу, малейший проблеск выздоровления делал ее счастливою. Казалось, она жила его жизнью и должна была умереть вместе с ним. Обо всех переменах больного она давала подробный отчет доктору. Раз Сурмин в бреду произнес ее имя. Осмотревшись и увидав, что в комнате не было ни фельдшера, ни слуги, она схватила его руку и с жаром поцеловала его. Через несколько минут он открыл глаза, посмотрел на Тони, улыбнулся и снова закрыл их. Приехал доктор, пощупал пульс больного и объявил названной сестре, что кризис миновался и есть надежда на благополучный исход болезни. Тони с благодарностью взглянула на образ Спасителя, слезы

обильно потекли по исхудалым щекам ее. Крепко пожала она руку доктора и, если бы не стыдилась его, бросилась бы перед ним на колени. С каждым днем Сурмину делалось лучше; Левенмауль, прежде задумчивый, грустный, повеселел и стал пошучивать, Тони сияла от удовольствия.

— Мне кажется,— спросил доктора больной, увидавший мелькнувшее в дверях женское платье,— что здесь была женщина, кто это была?

— Ваша сестра,— отвечал доктор.

— Моя сестра,— спросил Сурмин, приложив руку ко лбу,— разве она приехала? Которая же? Поэтому и мать моя здесь?

— Нет, одна сестра ваша, да вы, конечно, забыли в своей болезни, что приехали вместе с нею.

— Я приехал с Ранеевой и Антониной Павловной Лориной. Неужели она?

— Она во все время болезни ухаживала за вами, ночь просиживала у вашей кровати. Я боялся, чтобы она сама не заболела, да, видно, натура сильная.

— Я ничего тут не понимаю, неужели? — твердил Сурмин.

— И я сам тоже ничего не понимаю, знаю только, что вам нужно спокойствие.

— Я спокоен, я счастлив. Дайте мне только увидеть ее.

— Дня через два, три, посмотрим, когда соберетесь с силами.

— Так долго, так долго, жестокий человек,— говорил Сурмин, и между тем какое-то смутное, радостное чувство оживляло его.

На другой день больной чувствовал себя еще лучше и просил доктора узнать от горничной Зарницыной, как зовут ту, которая так усердно ухаживала за ним. Доктор не хотел противоречить своему пациенту, чтобы не раздражать его, и, узнав имя и отчество прекрасной сиделки, стал подозревать какую-то мистификацию.

«Моего пациента зовут Андрей Иванович, а ее Антонина Павловна, какая же тут сестра»,— думал он

и сошедши к Сурмину, нашел уже его сидевшим в креслах.

— Bravo, bravo! — провозгласил доктор, — день два, и вы будете на ногах. Только прошу вас не волноваться, не тревожиться. Если вы будете пай, мое дитя, так я позволю вам завтра увидеть вашу хорошенькую сестрицу.

— Опять завтра, — пожаловался Сурмин с неудовольствием.

— Вот вы и волнуетесь, в таком случае я вынужден буду прибегнуть опять к латинской кухне.

— Нет, нет, мой любезнейший, добрейший доктор... Я буду кроток, послушен, как самое покорное дитя. Скажите мне только ее имя.

Левенмауль усмехаясь погрозил на него пальцем.

— Шашни, шашни, любезный друг. Позвольте вас спросить, как вас зовут?

— Андрей, Иванов сын, Сурмин.

— А ту интересную девушку, что за вами ухаживала. Антониной Павловной Лориной. Ха, ха, ха!

— Добрая моя Тони, ангел мой, — говорил Сурмин, — ты могла заразиться от меня, такая молодая, умереть. Какие жертвы! Я назвал ее *моя*, доктор; да, Антонина Павловна, моя невеста, пока не назову ее более дорогим именем.

— Я это подозревал, — отвечал доктор.

Между тем он ничего не подозревал, занятый одною болезнью своего пациента.

— Крепитесь, мужайтесь, и скорее марш молодцом к венцу.

— Отчего в доме так тихо? — спросил Сурмин. — Подъезд почти у моих окон, а не слышать стука экипажа.

— Немудрено, хозяйка велела настлать перед вашими окнами соломы, — навалили целую гору, — да как скоро узнала, что вам лучше, уехала с другою гостью своей за город и до сих пор не возвращалась.

На другой день доктор, уверенный в полном выздоровлении Сурмина, исполнил свое обещание. Предупредив его, он ввел к нему Антонину Павловну и оставил их одних. Радость и любовь сияли в глазах ее: каза-

лось, она расцвела в эти минуты. Сурмин сидел в креслах, она села подле него в другие. Он взял ее руку, с жаром поцеловал ее и, задержав в своей, сказал:

— Милая... не буду говорить: Антонина Павловна, скажу просто, милая, прекрасная, добрая моя Тони. Я обещал доктору говорить с тобою спокойно, без увлечений, которым готово было бы мое сердце предаться в эти минуты,— так и сделаю. Не имею нужды спрашивать тебя, любишь ли меня, ты это мне доказала. Мне рассказали, каким опасностям ты подвергалась, ухаживая за умирающим. Тебе известно, что я некогда страстно, бешено полюбил твою подругу. Такие страстные вспышки не надежны. Слава Богу, они разом погасли от нескольких слов Лизаветы Михайловны. Она любила другого и прямо, честно сказала мне, что сердце ее не свободно. Благородная, твердая девушка! Дай Бог ей счастья! Но не для нее Провидение в один из августовских дней прошлого года вызвало меня на Кузнецкий мост, не для нее приготовило оно мне встречу с Михайлом Аполлоновичем, привело меня в дом ваш. Не Лиза, а Тони была предназначена мне свыше. Ты магнетическим током своим очаровательных глаз, ангельским характером, не могу объяснить еще чем, притягивала меня к себе более и более каждый день. Сердце твое чисто и свободно, я это знаю.

— Оно принадлежало тебе, мой друг, с первой минуты, как я тебя увидела.

Сурмин притянул ее к себе и поцеловал. Тони зарделась любовью и счастьем.

— А знаешь ли,— сказал он,— сколько раз мысленно целовал я тебя, когда мы сидели друг против друга в вагоне на железной дороге?

— О! если бы открывать все задушевные тайны свои, много таких поцелуев от меня пересчитал бы ты.

— Как будет довольна, счастлива моя добрая, бесценная старушка мать и сестренки, когда узнают, что ты моя невеста! Как они тебя любят! В каждом письме ко мне спрашивают о тебе с живым участием. Я уверен, что лучшее их желание видеть тебя подрукою моей жизни.

Так говорили они, рука в руке, когда пришел доктор и подал Тони письмо.

— Слуга здешний просил меня передать вам,— сказал он.— Все еще воркуют голубки мои; не прописать ли вам успокоительного, мой друг?

— Эта особа прописала мне такое сердечное лекарство, какого не найдешь ни в одной аптеке.

— От которого однако же умирают, если оно дается в слишком сильной дозе.

Тони прочла письмо; оно было от Евгении Сегеевны. Вот что она писала:

«Не беспокойтесь, милый друг, об нас. Мы гостим у дедушки Лизы, Яскулки, здоровы, веселы и *счастливы*. (Последнее слово было подчеркнуто и заставило Тони призадуматься.) Я послезавтра возвращаюсь домой, Лиза остается еще здесь на несколько дней. До свиданья, мой ангел. Напишите нам с нарочным, поправляется ли наш больной. Мы обе очень тревожимся на его счет, хотя при отъезде нашем доктор ручался за жизнь его. Нас успокаивает мысль, что Андрей Иванович на надежных руках искусного врача и прекрасного человека и на руках женщины, которой сердце — дорогой алмаз, какого не имеют цари в своих коронах».

Тони передала письмо Сурмину; тот, читая его, также призадумался над подчеркнутым словом: «*счастливы*». Он прочел доктору строки, касающиеся его. Левенмауль был, видимо, доволен, только заметил, что Евгения Сергеевна прекрасная, добрая, умная дама, одним словом — была бы совершенство, если бы только...

Он не договорил, а покружил рукою над головою своей, как будто хотел сказать, что вихри летают в голове Зарницыной.

Доктор был человек положительный.

Что делалось в это время с Лизой? Какое *счастье* внезапно упало на нее с неба? Она сама не могла отдать себе отчета в том, что, как с нею случилось. Голова ее кружилась, горела... Она чувствовала, что несется на огненных крыльях в край неведомый, таинственный и не в силах спуститься на землю, образумиться...

Брак ее был совершен в костеле и в православной церкви в одном из уездов, ближайших к псковской границе, она носила уж имя Стабровского. Свидетелями были унтер-офицер из дворян Застрембецкий и отставной из инвалидной команды капитан, старичок, преданный душою Зарницыной за многие пособия, которые она оказывала его семейству. Матерью посаженою у Лизы была она, отцом посаженным у Владислава — Яскулка. Тайна брака строго сохранялась до времени под страховыми печатями любви и преданности. Для новобрачных дедушка Яскулка отвел свои парадные комнаты в бельэтаже, сам же переселился в мезонин. Свадьба была отпразднована скромно всеми лицами, участвовавшими при венчании. Все были веселы, *счастливы*, как писала Тони Евгения Сергеевна. Последняя пробыла у *молодых* дня с три и возвратилась с Застрембецким и капитаном в город, взяв наперед с Владислава слово через несколько дней приступить к действиям, которые должны были подрезать козны витебских революционеров. По приезде домой она вдвойне обрадована была выздоровлением Сурмина и переданною Тони вестью, что она невеста его. Тайна Лизина брака была пока утаена от ее подруги. На вопрос Лориной, что значит подчеркнутое в письме слово: «*счастливы*», Евгения Сергеевна объяснила его тем, что Лиза счастлива примирением с дедом, его ласками и любовью.

Между тем Владислав в упоении своего счастья, так внезапно его посетившего, забыл весь мир, каждый день собирался в город для совещания с Зарницыной и каждый день откладывал отъезд, до следующего. Мысль вырваться из объятий прекрасной, обожаемой им подруги приводила его в отчаяние. Прошла неделя, а он не трогался с места. Дом Яскулки мог сделаться его Капудей, и потому Евгения Сергеевна, боясь, чтобы влюбленные счастливы не забыли патриотического дела, которому она себя посвятила, решила протрезвить их письмом на имя Владислава. Она писала к нему:

«Помните, под каким условием я отдала вам дочь свою, под каким условием она решилась на эту *жертву*. Исполните слово честного человека, а потом насла-

ждайтесь с нею счастьем, которого вы только тогда будете достойны. Не узнаю и Лизы. Она жаждала подвига, а когда он приготовлен, потонула в брачных восторгах, забыла о своем долге, забыла завет отца своего. «Пускай, дескать, льется кровь моих братьев, страдают честь и благосостояние моего отечества, мне хорошо в объятиях друга, я вполне наслаждаюсь безмятежными благами». Но содрогнется она, может быть и поздно, когда явятся у ложа ее из роз тень брата с кровавою ранюю в груди, требующего мести, тень отца с горьким упреком измены. Неужели, как она некогда писала мне, должно сбыться мнение Сурмина о русских женщинах, что они не способны на жертвы, на самоотвержение, что в них в самом деле течет рыба кровь? Стыдно нам перед поляками. Пусть докажет она противное. Я жду вас, Владислав. Весна дышет теплотворными испарениями приближающейся революционной грозы. Честь и счастье ваше в ваших же руках. Я не колеблюсь пожертвовать вами и Лизой, если вы не образумитесь.

Ваша *Евгения З.*»

Письмо это, нашпигованное стрелами иронии, залитое желчью патриотического негодования, сделало свое дело: влюбленные счастливицы отрезвились. Лиза спешила выпроводить мужа из дома Яскулки, в котором они провели столько прекрасных, упоительных дней. Они расстались. Лиза Стабровская воспрянула, это уже была прежняя Лиза Ранеева, которая так восторженно поклонялась Жанне д'Арк. Воображение стало опять рисовать ей подвиг, хоть не подобный подвигу Орлеанской Девы, все-таки, не бесследный для блага ее отечества. Провожая мужа, она глотала свои слезы.

— Если нужно будет, по первому призыву твоему,—говорила она, благословляя его,—я проберусь к тебе хоть бы сквозь ряды вражеских кинжалов, разделю с тобою опасности и, если не смогу спасти тебя, умру на твоей груди.

Условились не писать друг к другу, чтобы польские шпионы не перехватили их писем; в крайнем же случае

Владислав обещал прислать ей известие с верным слугою своим, Кириллом, или сам приехать к ней при первой возможности.

— Будь осторожен, береги себя,— сказала она, осыпая его своими жаркими поцелуями,— и помни, что твоя и моя жизнь отныне нераздельны.

Явясь к Зарницыной, Владислав просил у нее, ради обстоятельств, прощения, что так долго замедлился.

— Время терпит,— говорил он,— я имею сведения, что только в конце апреля должны начаться действия заговорщиков в Могилевской губернии, а без пароля вождя их, Жвирждовского, никто в здешнем крае не тронется с места. Пароль этот должен я получить. Теперь же мы только в начале апреля.

Евгения Сергеевна, тронутая искренностью его раскаяния, убежденная основательностью его доводов, извинилась в жестокости выражений своего письма. Могла ли она оставаться равнодушною к положению молодого человека, который обрек себя на дело опасное, роковое и должен был из объятий пламенно любимой им женщины броситься в омут приключений с тем, чтобы, может статься, потерять в нем свою голову. Решились, однако ж, заранее принять нужные меры против революционных замыслов. Как осторожный и искусный шахматный игрок заранее, в отсутствие своего противника, изучает предполагаемые ходы его и свои, так соображала Евгения Сергеевна, как вернее дать шах и мать врагам своего отечества.

Признан был Застрембецкий на секретное совещание. Ходы определены. Открытие важной тайны должно было служить залогом преданности Владислава русскому делу. Он описал местность, где хранилось депо оружия, на которое мать его положила столько забот и денег.

Застрембецкий просил у Владислава позволения занести это описание в свою памятную книжку. Позволение охотно дано, важная тайна принадлежала уже двум новым лицам.

Планы и действия Зарницыной и ее сообщников следовало пока скрыть от местной полиции, которая могла бы преждевременно ударить в набат, и, может

быть, так как она имела в своей среде польских чиновников, шепнуть заговорщикам, чтобы они приняли свои меры. Да, Евгения Сергеевна не хотела, чтобы эта полиция, ничего не знавшая, что у нее делается под носом, чужими руками загребала жар. Положено было тревожить заговорщиков, особенно наиболее колеблющихся и робких анонимными письмами от лица, преданного им, что имена их отмечены в списке лиц, заподозренных русским правительством. В этих письмах не должно было щадить имя Владислава Стабровского и спуститься на советы не вдаваться до времени в отчаянные предприятия. Особенно Суздилович, хотя и обещавший проливать в некотором роде кровь свою за дело отчизны, однако ж, более храбрый в словесных битвах, чем в кровопролитных, должен был служить мишенью, в которую сподвижники Зарницыной предполагали бить наверняка. Сделать в нем брешь значило поднять тревогу в польском лагере. Паника от него могла широко распространиться. Положено было также действовать на хлопот слухами об измене панов «Белому Царю», оказавшему им недавно столько милостей освобождением от крепостного ига. Имение Сурмина было близко от местности, из которой витебские заговорщики должны были выступить на помощь могилевцам, а Сурмин во время пребывания своего среди белорусского населения, доставшегося ему по наследству, успел разными льготами по оброкам, наделу земли и разными гуманными мерами склонить это население в пользу всех, кто носил имя русское. Стоило только местной администрации заявить, что она расположена энергически действовать против мятежной шляхты, как поднялись бы тысячи рук, готовых на народную войну.

Впоследствии белорусские крестьяне это доказали.

Во время совещаний нашего триумvirата слуга доложил Евгении Сергеевне, что пришел Жучок и желает видеть ее с глазу на глаз. При этом имени Владислав с изумлением вопросительно посмотрел на нее. Жучок, поверенный Жвирждовского в покупке оружия для витебских повстанцев, преданный их интересам, этот са-

мый Жучок имеет теперь секретные сношения с тою, которая посвятила себя на уничтожение их замыслов?

Она поняла вопросительный взгляд Владислава и отвечала на него по-французски:

— Не бойтесь, он из *наших*,— и, обратившись к слуге, приказала просить Жучка и сказать ему, что здесь все *свои*.

— Берегитесь, однако ж, его,— заметил Застрембецкий,— я людям с кошачьими глазами никогда не доверяю. Мой благодетель-ксендз имел точно такие. Вчера Жучок предан Стабровскому, завтра предаст Зарницыну.

— Ранеев прислал мне его, как доверенного человека. Не знаю отношений их друг к другу, но я, полагаясь на слово умирающего, истинного патриота, доверилась Жучку и покуда не имею причины раскаиваться. Скажу вам русскую пословицу, хоть и немного грубую, сырую: «мне хоть бы пес, да яйца нес». Послушаем, что скажет. Он доставил оружие матери Владислава, я имею на это доказательства, и если осмелится изменить нам, так сам на себя накинёт петлю.

Жучок, войдя в комнату, благоговейно перекрестился перед образом Спасителя, висевшим в углу комнаты, осмотрел бывших в ней так, что никто из них не мог определить, на кого именно он смотрел.

— Люди *свои*? два поляка! — думал он, — один сын революционерки Стабровской, другой разжалованный. Что ж он сам? Вор, грабитель, бежавший из тюрьмы. Не глубокое раскаяние привело его к смертельному одру Ранеева, а чувство самосохранения, желание избежать опасности попасть опять за железную решетку и кончить жизнь в рудниках. И в это самое время, когда благородный старик, собираясь перейти в вечность, так великодушно прощал его, он сыграл с ним злую шутку, представив ему за сына своего чужого мальчика, взятого на прокат из подворья. Правда, он дал слово Ранееву служить в Витебской губернии русскому делу и выполняет это служение усердно, умно, хоть и не бескорыстно. Но он животолюбив, жаль ему расстаться с довольством жизни, и решился быть осторожным при двух свидетелях, ему мало знакомых.

— Что скажешь хорошенького? — спросила его Зарницына.

Жучок не скоро отвечал, ему надо было сообразиться что говорить среди обстановки лиц, между которыми нежданно очутился, и для этого употребил следующий маневр: приложил руку к груди, откашлялся и только тогда, когда тяжело перевел дух, отвечал:

— Извините, сударыня, одышка меня взяла, лесенка ваша высока, человек старый, немощный. Что угодно спросить?

— Нашел ли след к месту, где хранится оружие, которое ты же доставлял Стабровской?

Один глаз Жучка посмотрел на Застрембецкого, другой на Владислава, рукою он указал на последнего.

— Его милость, кажись, сынок ее, Владислав, по батюшке не знаю, да у поляков это не в обычае, скажу просто: пан лучше меня знает об этом.

Владислав нарочно стал описывать неверно местность, где хранилось оружие.

— Шутить изволишь, пан, — перебил его Жучок, — или делаешь отвод.

— А как по-твоему? — спросила Зарницына.

— По-моему? Сказал бы, да...

— Не бойся пана Владислава: повторяю тебе, он наш. А чтобы более тебя уверить в этом, открою тебе под великим секретом: он муж дочери Михайла Аполлоновича Ранеева.

— Дочки Ранеева? Елизаветы Михайловны? Не поверил бы, кабы не вы говорили. Каких чудес ныне не творится! Пожалуй, скоро услышим, что Мерославский командует отрядом против поляков. Дивны дела твои, Господи!

И силился он возвесть горе непослушные глаза свои и перекрестился, как будто нечистая сила налегла на него.

— Коли так, — продолжал он, — вот что вам открою. Его милость пан Владислав и другой пан, по прозванью Волк, закадышный друг покойной панны Стабровской, сам под своим надзором в первых числах марта, в полночь, перевозили оружие. Возчики были евреи. По именам их назвать могу, да вам скучненько

будет подбирать Мошек да Осек. Верстах в десяти, с одной стороны, от фольварка пана Стабровского и в семи от вотчины Сурмина, с другой стороны, есть дремучий лес, нога человеческая и конская прокладывают в нем след разве тогда, когда охотники-паны делают облавы на медведей. Да в последнее время под видом охоты учили в тамошних местах воинскому делу шляхту и разный набранный с борка и с сосенки сброд. Пан Владислав должен это знать. Среди леса, более к солнечному восходу, от бури покачнули свои кудрявые головушки три богатыря-дуба, а все-таки не покорились ей. Только стопочки повывернули из песчаного грунта. От этого земля с корнями вздулась, а под ними устроился будто нарочно свод. Свод этот протянули под корнями других дерев. Надо сказать к чести шляхтичей, они забыли свой гонор и работали усердно до поту лица. Так устроили подвал и уложили в него ящики и тюки с оружием. Сухо и безопасно, лес не расскажет. Под корнями одного дуба сделали лазейку и заклали ее искусно сучьями, а по деревьям к этому месту поделали топором метки, чуть-чуть видные. Так ли, пан Владислав? — покончил Жучок свое объяснение твердым, самонадеянным голосом, торжествуя успех своих искусных поисков. Он собирался окончательно обеспечить себе выход из опасного положения, если бы польская сторона вздумала потревожить его.

— Верно, — отвечал Владислав.

Действительно, описание местности, где хранилось оружие, было сделано Жучком верно с описанием, которое сделал Владислав Зарницыной и Застрембецкому.

— Еще вот что скажу, пан, — продолжал Жучок, — когда откидывали снег от корней дерева, где делали лазейку, один из рабочих неосторожно кинул в тебя мерзлый ком снега и зашиб тебе глаз. Помнишь ли, с каким синяком ходил ты несколько дней.

— И это верно, — сказал Владислав.

— Теперь ты *наш*, — порешил Жучок. — Поляк хитер, да...

— Да неразумен, хочешь ты сказать, как говорят здешние хлопы, — подхватил Застрембецкий.

— Смею ли это выговорить, да еще при панах. А вот что по-моему, как я сужу об них. Сгоряча звезды хватает, а под ногами не видит капкана. Русский сер, да волка съел. С виду простоват и в землю глядит, и в затылке почесывает, будто думку в нем отыскивает, а она давно у него на ладони. Как сильно схватить за ретивое, так отчеканит такой фортель, какого и лукавому щеголю, поляку не выкинуть. Теперь, барыня,— обратился он к Евгении Сергеевне,— развязывай кошель. Мы люди торговые, услужить услужим добрым людям, а все-таки своих счетов не забываем. Евреям, да еще кой-кому заплатил я 20 дукатов, по-нашему арабчиков, а коли таких у тебя не окажется, так мы и русским золотом не побрезгаем.

Евгения Сергеевна вышла в другие комнаты и, возвратясь, отсчитала Жучку 40 полуимпериалов и в придачу к ним сказала ему «сердечное спасибо».

— Что я тебе говорил, написал бы на бумагу, да мы люди не чернильные, к этому делу не привычны. Оно и надежнее. Советую и вам, паны, и тебе, барыня, не доверять секретов бумаги. Помни, каждая буква — доносчик и предатель.

Выходя, Жучок опять благоговейно перекрестился перед образом и, раскланявшись с собеседниками, примолвил: «Понадоблюсь, позовите».

— Ручаюсь, плут порядочный,— заметил Застрембецкий, когда Жучок вышел.— Я подозреваю в нем человека более образованного, чем он кажется. У него вырываются иногда слова, которые простой купец не привык употреблять. Впрочем нам доискиваться до его тайн не для чего. Человек для нас бесценный. Такими сыщиками дорожила бы и французская полиция.

— Все это *bel et bon*,— сказала Зарницына после минутного молчания,— но теперь нам надо рассудить, что мы из этого сделаем.

Собеседники погрузились в глубокую думу.

— А вот что пришло мне в голову,— отозвался Застрембецкий первым, ударив себя ладонью по лбу.— Прошу внимания у моей аудитории и молчания, пока я сам не задам вам вопросов.

— Буду нема, как статуя,— сказала Евгения Сергеевна.

— А я, как рыба,— присовокупил Владислав.

— Через пять дней я окончательно выписываюсь из лазарета. Могут в Литве начаться военные действия, стыдно мне в это время не быть при полку. Пожалуй, еще трусом назовут, а я скорее готов всадить себе пулю в лоб, чем заслужить такое позорное название. Со мною выписываются десять солдат. С этим отрядом делаю крюку верст пятьдесят, может быть, и более от маршрута нашего. Хоть бы пришлось опять под суд, как Бог свят, я это исполню. Мы завертываем уж, конечно, не к пану Стабровскому, а... отгадаете ли куда?

Евгения Сергеевна и Владислав отвечали: «нет».

— Завертываем в имение русского помещика Сурмина, вашего постояльца. Вы слышали от Жучка, что это имение верстах в семи от заколдованного леса. Не знаете ли, кто у него управляющий, поляк или русский?

— Слышала, что русский конторщик, выписанный им из Приреченского имения.

— Прекрасно! Можете ли вы, Евгения Сергеевна, выхлопотать от вашего постояльца приказ управляющему его, чтобы он дал нам для нашей экспедиции достаточное число подвод и рабочих, и вина в волю. Последнее условие неизменно.

— Уверена, что Сурмин не откажет.

— Кругом глухой местности, о которой мы столько говорили, всемирный потоп оставил отстой свой — бесчисленные озера и болота. Между ними жилья по две, по три хаты, в нескольких верстах друг от друга. Заколдованный лес не пойдет на меня и моих сослуживцев... как бишь... (он постучал пальцем по лбу) те, те, те... нашел! эврика!.. как Барнамский лес на Макбета. Между ночью и утреннею зорькой вытаскиваем ящики и тюки из кладовой и прямо в ближайшее озеро бултых. Таким образом повстанцы останутся без оружия кроме того, которое могут набрать у панов. Дело сделано, Стабровский в стороне. Какой власти посмеют заговорщики заикнуться об этой пропаже?

Владислав пожал Застрембецкому руку.

— Но не подвергаете ли вы солдат какой-нибудь опасности? — спросила Евгения Сергеевна.

— В такой глуши разве квакающие персоны нападут на нас.

— Так как эта экспедиция может состояться, как вы рассчитываете, дней через пять, через шесть, — отозвался Владислав, — а я отправлюсь нынче же к себе в деревню, чтобы показаться заговорщикам, то я послезавтра же устрою осмотр местности, где хранится оружие. Со мною будет Волк, мой *affidé*. Разумеется, мы найдем все в порядке, и спокойны... Дожидайтесь только моего пароля. Он будет заключаться в одном слове: *пора*. Я пришлю вам его с Лизой.

— Дай Бог вам успеха, — сказала Зарницына. — Мое дело выхлопотать от Сурмина приказ его управляющему и написать письмо к мужу, чтобы он строго не взыскивал с Застрембецкого за просрочку по маршруту.

Застрембецкий в знак благодарности поцеловал ручку у Евгении Сергеевны.

— Помните, — сказал Владислав, прощаясь с ним, — через неделю, не прежде. Ручаюсь вам, не опоздаете.

V

Владислав у себя в деревне. Ему казалось, он упал с седьмого неба в пропасть, где кишат змеи и разные гады, готовые вонзить в него свое жало или облить его своим ядом. Десять дней прошли для него в земном раю. Не дивный ли сон мелькнул перед ним? Нет, это было наяву, он наслаждался счастьем, каким только избраннику свыше дано наслаждаться на земле. Он обладал вполне Лизой, этой прекрасной, божественной женщиной, которой один взгляд бывало обдавал его восторгом, и за эти дни готов идти на пытку. А пытка душевная его ожидает. Он должен надеть личину преданного заговорщика, расставлять сети своим товарищам и между тем сам избегать ловушки. Он знает, что за ним следят соглядатаи и зорче других один —

неумытный, свирепый Волк. Владислав вооружился всею твердостью своего характера и приготовился отклонить каждый удар, против него направленный. К этим политическим тревогам присоединились и домашние, хозяйственные, которые только отчасти мог он удовлетворить. Рабочие и прислуга не получали жалованья за несколько месяцев, крестьяне ели хлеб из мякины пополам с корою деревьев и мхом. Правда, некоторые из них, отчаянные парни, из-за хлеба и вина и напуганные панами, что всех холостых русских заберут в казаки, очертя голову, поступали в жонд. Волк, которому поручено было распоряжаться суммами его, исправно платил этим новобранцам положенное жалованье. Но большая часть холопов, старики, женщины, дети,—это бродячие по земле тени... Глядя на них, сердце замирало у Владислава. В закромах господских амбаров проглядывало дно, службы и хозяйственные заведения валялись, винокуренный завод не действовал, серебро было продано или заложено евреям, долги росли. До такого расстроенного состояния Эдвиг Стабровская патриотическими затеями довела свое богатое состояние. Если б не одолжил Владислава пан в колтуне небольшою суммою, да не дедушка Яскулка, подаривший новобрачным три тысячи рублей, так молодой полковник пришел бы в отчаянное положение. Из этих денег он спешил удовлетворить дворовых жалованьем и уделить, по возможности, на хлеб крестьянам. Надо, однако ж, было ему приняться за дело, которому он душою отдался. Он пригласил к себе вожаков и участников заговора. В этом заседании, по обыкновению, спорили, горячились, передавали друг другу то отрадные, то неблагоприятные вести. Приехал Волк и сел в кружок их, угрюм и мрачен. Он ерошил свои щетинистые волосы и долго глазами впивался в Владислава, наконец крякнул:

— Между нами есть изменник.

— Кто такой? — спросили несколько встревоженных голосов, — откройте негодяя.

— Вот он, — разразился Волк, указывая на Владислава.

Кто смотрел на обвиненного с бешенством, кто с изумлением, иной пожимал плечами.

Первая мысль Владислава была, что тайна его измены открыта. Он побледнел — от страха или негодования, всякий из присутствующих заключал по-своему. Но скоро оправился он и спросил твердым голосом:

— Какие доказательства?

— Ты женат на русской.

Надо оговориться, что Жучок, желая угодить и *нашим* и *вашим*, дал знать Волку через доверенного человека о женитьбе Стабровского. «От этого для русской стороны беды никакой не будет,— думал он,— по крайней мере, на случай, задобрю *сильного* поляка в свою пользу».

— Только-то! — воскликнул Владислав с особенным одушевлением и не без закваски горькой иронии. — Важное преступление! криминальное дело! И за него то, многоуважаемые паны и братья, я обвиняюсь в измене! Да, я женат дней с десять на русской. Но разве Пустовойтова, подруга и адъютант нашего знаменитого генерала Лангевича, не русская? А его за это никто не называл изменником. Да, я женат на русской Ранеевой. Но в ней течет польская кровь, мать ее была полька, дед ее, панцирный боярин Яскулка — поляк, род ее соединен кровными узами с родом Стабровских. Я полюбил ее еще в Москве страстно, как может только полюбить пылкий молодой человек. Если б вы ее увидели, признались бы, что я не мог не сделаться данником ее красоты. Отец ее не соглашался на наш брак, но он умер, и Елизабета, оставшись сиротой, укрыла свою голову от житейских гроз под кровом деда и сердце свое на моей груди. То, что я чувствую, что я мыслю, чувствует, мыслит и она. Старик-Яскулка видит во внучке лучшее свое утешение, любит меня и устроил нашу свадьбу. Он завещает нам все свое богатство с тем, чтобы мы приняли его фамилию. Вы знаете, что мать моя, принеся на алтарь отчизны двух сыновей, принесла на него и все свое состояние. Я разорен. Если б не добрый друг мой (Владислав указал рукой на пана в колтуне) и не дед Яскулка, я не имел бы теперь насущного хлеба и чести принимать вас у себя. Дружба, любовь и само-

любивые прихоти старика спасают меня от разорения. Неужели мне надо было испрашивать благословения на брак мой у пана Волка? Не прислал ли ему наш святой отец папа секретной буллы на разрешение и запрещение браков? Не вручил ли ему жонд диктаторской власти располагать нашим семейным благосостоянием? Давно точит он бесполезно кинжал, который я же ему, как другу, подарил. Крови, крови ему нужно, хотя бы своего брата. Суду вашему, паны, повергаю себя. Грудь моя открыта, разите ее. До сих пор не было у нас палача, посвятите его в новый, высокий сан.

Рукоплескания покрыли эту горячую, сильную речь.

— Нет, нет, не виновен пан Владислав Стабровский, не изменник он! — закричали все единодушно, кроме Волка.

Он дрожал от стыда и ярости.

— На месте пана Волка, — сказал один из членов жонда, — я просил бы прощения у того, кого он так несправедливо обвинил в измене.

Волк молчал и не двинулся с места.

— А чтобы доказать вам, — сказал Владислав, — как моя жена стоит вашей любви, я готов представить вам ее через два дня, здесь в кругу вашем.

— Желаем, просим, — закричали все, опять кроме Волка.

— Поляки были всегда рыцари чести и поклонники красоты, — продолжал торжествующий Владислав, — и я уверен, что она принята будет вами с должным уважением.

— Кто осмелится оскорбить панну хоть малейшим неприятным намеком, тот будет иметь дело со мною, — сказал один из офицеров.

— И со мною, — подхватили голоса.

— Через два дня ваше желание будет исполнено, многоуважаемые паны.

Едва Владислав проговорил это, как вошел слуга и подал Суздиловичу письмо за тремя печатями.

— От кого? — спросил тот.

— Привез нарочный из вашей экономии, —

отвечал слуга,— а туда доставил еврей, отдал письмо и ускакал, не сказав от кого.

Тараканьи усики зашевелились. Суздилович дрожащими руками сломал печати и стал читать про себя таинственное послание.

Во время чтения грудь и брюшко его сильно колебались, на лице его отпечаталось смущение и страх. Прочитав письмо, он передал его Стабровскому, а этот, пробежав послание, просил у Суздиловича позволение передать его вслух ко всеобщему сведению.

Письмо начиналось уверениями в горячей преданности польской справе и в дружбе к лицу, к которому было адресовано. Вслед затем аноним предупреждал, что русскому правительству известны имена многих членов витебского жонда, и оно собирается потребовать их к допросу. Прилагался список заговорщиков, в том числе большей части собравшихся теперь у Владислава. Во главе стоял пулковник их. Неизвестно, почему в списке не фигурировал Волк.

— Какой-нибудь пуф, чтобы нас обморочить и напугать,— сказал Владислав.

— Утка, которой надо свернуть голову,— проворчал Волк.

— Однако ж должен быть из наших,— заметил кто-то,— посторонний не мог бы узнать так верно имена членов нашего жонда.

— Кто бы это был, как вы думаете? — спросили Суздиловича.

Холодный пот капал с лица на его закрученные усики. Пыхтя, он отвечал, что не может придумать кто бы был сочинителем таинственного послания.

— Все-таки не безопасно,— прибавил он.

— Надо бы принять меры, явиться в город, показаться начальству, прикрыть измену хитрыми уверениями в преданности русскому правительству,— подали свой голос более робкие.

Волк злобно усмехнулся.

— Ступайте, ступайте, паны, оставьте из себя заложников московским властям или попрячьтесь в своих норах. Но не забывайте, какое наказание ожидает изменника. Оно отыщет его и под письменным столом

превосходительного. Что до меня, то я остаюсь на своем посту, пока эта рука (он поднял кулак своей мускулистой руки) в состоянии будет разить врагов моей отчизны и предателей ее. А чтобы проверить наши действительные силы, я, с позволения пана пулковника Стабровского (слово пулковника было произнесено с особенной иронией), приглашаю *верных* нашему делу прибыть к месту, где мы обыкновенно производим наши маневры.

— Согласен, — сказал Владислав.

— Согласны, — отвечало все собрание, многие из страха угрозы Волка.

— Мое дело и ваше, паны, собрать туда под предлогом охоты на медведя, — продолжал он, — всех, завербованных в наш жонд. Мы сосчитаем повстанцев, распределим их на разряды, косиньеров и других рукопашных бойцов, стрелков и кавалеристов. Кстати, сделаем учение. Не все говорить, пора и делать. А то дождемся, что *бабы русские* перевяжут нас по рукам и ногам.

Решено было завтра же исполнить предложение Волка.

— Кстати, — сказал потихоньку Владислав Волку, — осмотрим и местность, где хранится оружие. Мы давно туда не заглядывали.

— Я там был на днях, — сказал также тихо Волк, — все благополучно, впрочем, предосторожность ваша не лишняя, я к вашим услугам, пан пулковник.

Волк отвесил глубокий поклон.

Владислав, увлекаясь порывом доказать своим братьям, что красавица-жена его не только не опасна для польского дела, но еще сочувствует ему, дал слово заговорщикам представить им ее. Разве ему мало было, что он сам ходит по раскаленному железу, что каждая минута его жизни отравлена страхом быть открытым в предательстве, что он должен притворяться, обманывать, лукавить, играть тяжелую, двусмысленную роль, он еще привлекает в эту опасную игру женщину, им боготворимую. Но слово дано, его надо исполнить. Он знает, что Лиза из любви к нему и патриотизма готова на все жертвы (та, которую он от нее теперь требует,

должна быть последняя), и решился послать за женою своей Кирилла, преданного ему слугу, и бывшую свою няньку, старушку, любившую его как сына.

«Бесценная, дорогая моя Лиза! — писал он жене. — Я здоров и покоен, все здесь благополучно.

Но у меня есть до тебя жарчайшая просьба. Я должен исполнить желание моих собратьев, познакомить тебя с ними. Уверен, что ты приедешь и сумеешь быть приветливой, обворожительной хозяйкой. Не учиться тебе стать. За почтительное внимание к тебе моих гостей я ручаюсь. Посылаю за тобой преданных мне людей. Целую заочно тысячу раз твои ручки и ножки, пока не перецелую их в яве.

Горячо любящий тебя *В. С.*»

За Лизаветой Михайловной Стабровской отправлена легкая и покойная бричка, какие умеют только делать в Варшаве, на четверке бойких лошадок, с мужскою и женскою стражей, которая должна охранять в дороге свою госпожу. Что бы сказал Михайло Аполлоныч Ранеев, увидав дочь свою, паню Стабровскую, едущую в этом экипаже на свидание с польскими заговорщиками!

На другой день повстанцы по данной повестке собрались на назначенном месте. Их обещано было панней Эдвигой Стабровской несколько тысяч, оказалось налицо человек пятьсот. Все дробная шляхта, мелкие чиновники, экононы, псари, из хлопов гуляки и беглые, отчаянные бобыли, которым дома нечего было есть, а в жонде отпускались обильные порции хлеба, иногда мяса и вина, и обещана богатая добыча от неприятеля. Были тут и студенты, и мальчишки-гимназисты, настроенные матерями и сестрами к патриотическим подвигам. Вождями их большей частью назначены служившие в русской службе офицеры, изменившие своему законному знамени. Все-таки эта была сила, которая, если не могла бороться с русскими войсками, имела возможность в соединении с могилевскими и минскими бандами раздуть революционный пожар и озаботить русское правительство. Недаром же потребовало оно несколько полков из внутренних губерний.

Местность, где собралась банда, была глухая. Сосновый вековой лес, устланный засохшим папоротником, тянулся продольным островом на десяток верст. С одной стороны, огромное озеро, которому в нескольких местах не было дна. С другой стороны, непроходимое болото. Только с востока проходила каймой, на версту в длину и на десятки сажен в ширину, ровная возвышенность из твердого грунта, поросшая травой и образовавшая род плотины между озером и лесом. Здесь можно было ехать и возам. Но какой шальной не только на телеге, но и пеший пустился бы в путь, из которого не было исхода на торную дорогу! Деревушки из трех, четырех дворов мелькали за озером. По ту сторону его они имели свои надежные сообщения. На луговине этой расположилась банда. Офицеры разместили повстанцев, как сказано было на совещании, по разрядам. Им даны образцовые оружия из экономий панов до получения *казенных* из депо. Ряды стрелков должны были открыть атаку. Многие из них метко попадали в деревья, служившие мишенью. Учили их пользоваться каждым деревом, каждым пнем, холмом, камнем, чтобы из-за них поражать неприятеля, а самим быть под защитой, предлагаемую им местностью. И в этих маневрах показали многие свою сметливость и проворство. За стрелками должны были следовать ряды косиньеров, как напирющие гряды морских валов, одна за другой. Им наказано косить москалей не слишком низко, как траву, чтобы не подвергнуть головы ударам врагов, и не слишком высоко, чтобы не открыть им грудь, а вполчеловека, в разрезе живота. Затем хлынули ряды с вилами. Натиск трезубцев в руках избранных мощных повстанцев, похожих на мясников, должен был, казалось, произвести сильное опустошение в рядах неприятелей. Но это была только театральная сцена, на которой актеры не видели настоящего, вооруженного огнестрельным оружием, солдата, привыкшего бестрепетно встречать огонь и острие штыка, не слышали стога своих братьев, пожинаемых ядрами и картечью русской артиллерии. Для испытания кавалеристов были устроены плетни и вырыты канавы. Стреляли в цель на всем скаку. И тут, особенно псари,

показали свое искусство. Офицеры аплодировали ловким наездникам. По окончании маневров приготовлено раздольное угощение повстанцам, водка лилась, как будто из неисчерпаемых бочек Данаид. Во время маневров Волк и Владислав Стабровский ходили осматривать местность, где хранилось депо оружия. Ни одного человеческого следа не оказалось к ней, все найдено было на своем месте. Ни люди, ни лесные духи не выдали тайны. Довольные удачным учением повстанцев и успокоенные насчет сохранности оружейного депо, избранные члены жонда принялись также за закуску и осушение бутылок и в этом деле перещегооляли даже своих субалтернов. Сердца патриотов упивались торжеством будущих побед, но головы их преклонились перед торжеством Вакха. Развезли их по домам, как возят истомленных телят на рынки. Только Стабровский и Волк были довольно трезвы и не потеряли рассудка.

VI

Лиза оставалась одна со своим дедом. Тони не выдержала долго разлуки с ней и посетила ее. С обеих сторон отдан отчет в том, что с ними случилось с тех пор, как они не виделись. Не удивилась одна, узнав, что Сурмин сделал предложение ее подруге, она это предугадывала прежде; но изумилась и как бы испугалась другая, когда Лиза открыла ей тайну своего брака.

— Ты, Ранеева, теперь пани Стабровская? — едва не вскрикнула Тони. — Нет, это неправда, ты меня морочишь, повтори еще, расскажи, как это чудо совершилось.

И рассказала Лиза во второй раз и про любовь свою к Владиславу, с которой она до сих пор боролась, и патриотические побуждения, заставившие ее решиться на роковой шаг.

Тони, выслушав этот рассказ, горячо обняла ее, припала к ней на плечо и заплакала.

— Уж не хоронишь ли меня, живую? — сказала

Лиза, смущенная ее слезами,—напротив, радоваться должна ты моему счастью.

— Прости мне, мой друг, эти слезы, они невольные. Оттого ли они льются, что известие о твоем браке поразило меня своей нечаянностью, оттого ли, что вижу тебя такую радостною, счастливою после стольких страданий,—сама не знаю.

Тони, говоря это, слукавила. Какое-то грустное, щемящее сердце чувство охватило ее, она не в силах была его преодолеть.

— Да, я счастлива,—говорила Лиза,—как может быть только счастлива женщина на земле. Если б могло надо мною совершиться чудо, чтобы мне вновь начать жизнь, я не желала бы ей другого исхода. Чтобы со мной не случилось, какие бы несчастья меня впредь ни ожидали, я всегда буду благодарить Бога за то, что Он в это время послал мне. Десять дней блаженства, какое и не снилось мне в грезах, да за них разве не отдашь всю жизнь свою!

Расставаясь, подруги обещались чаще видеться и передавать друг другу, что с ними впредь могло случиться.

Прибыли за Лизой лошади и дворовая ее свита. Кирилл подал ей письмо своего пана. Оно не тревожило ее. Напротив того ее одушевляла мысль пожить несколько часов между заговорщиками, как бы в стане их, и испытать мучительное чувство, какое испытывает человек, около сердца которого шевелится холодное острие кинжала. Дрожь пробегает по всему телу, захватывает дух, смерть на одну линию, но кинжал исторгнут из руки врага и нанесен на него самого.

«Без борьбы нет победы»,—говорила она некогда, и готовится теперь вступить в эту борьбу и помериться силами с врагами ее отечества. И потом сладкое, высокое чувство торжества над ними, спасение любимого человека от позорной казни, возвращение блудного сына матери-России, о! с чем может сравниться наслаждение этим торжеством!

Дав лошадям отдохнуть и насытиться, она скоро собралась в дорогу и стала прощаться со своим дедом.

— Будет ли конец этим тревогам! — говорил с грустью Яскулка, провожая ее.

Он помышлял в это время уже не о дворянстве, а о внучках, Яскулках, которые должны были усладить последние дни его жизни. Когда кончилось прощание, он сунул ей в руку пакет, примолвив:

— Молодая пани должна угостить своих хлопов.

В пакет было вложено сто рублей — так расщедрился для своей дорогой внучки доселе скупой старик.

Лиза написала коротенькое письмо Евгении Сергеевне, другое, еще короче, Тони и пролетела через город на Двине, окутанный мраком ночи, не повидавшись ни с одной из них.

Верстах в десяти от имения Стабровского поднималась конусом высокая песчаная гора. У подножия ее была панская мыза.

— Это фольварк Волка, — сказал Лизе слуга Кирилл, — зlostливый человек, пану моему противник.

Въехали на гору. Было время восхождения солнца. Первые робкие лучи его пали на желтоватое темя ее, потом раскрыли перед нашими путешественниками ошестинившийся по ее склону сосновый лес, по которому взмах ветра гнал темнозеленые волны. Все кругом на низине казалось обширным озером, но это было не озеро, а мираж его, напушенный туманом. Мало-помалу лучи солнца разорвали сизую пелену, покрывавшую низменную окрестность, полетели в стороны и взвились дымчатые клочки. Скоро обозначились озера, словно серебряные блюда (по выражению поэта Некрасова), расставленные на зеленой скатерти лугов. Заискрился мохнатый ковер болота, затканый золотым утком солнечных лучей. Стаи диких уток, побрякивая и стуча крыльями, поднимались со своего ночлега и переносились с места на место. Начали слегка обрисовываться на горизонте деревушки, кое-где выступили и панские дома. Лиза не смыкала глаз и любовалась разостланной перед ней картиной. Вывел ее из этого приятного созерцания голос Кирилла.

— Здесь, барынька, — сказал он, обращаясь к ней с козел смесью языков русского, польского и белорусского, но все-таки, в угоду своей госпоже, с преобладанием первого, — на этой горе встречу делали панцир-

ные бояре панам крулям, коли они приезжали на ви-тебскую землю. Поэтому и гора прозывается стороже-вою. Вот граница отсюда видна,— прибавил он, указывая кнутом, взятым у кучера, на просеку, прорезанную в дальнем лесу,— то Могилевская за нею губерния. Там, чай, теперь идет смута и кровь течет, а у нас, храни нас Господь и Матка Божья, кажись, все смирно, лишь бы паны не сдуrowали.

Это замечание сильно кольнуло в сердце Лизы.

«Неужели,— думала она,— в Могилевской губернии начался открытый мятеж, а мой муж ничего не знает? Не готовятся ли здешние заговорщики к решительному удару? не ловушку ли ему ставят?»

— От кого ж ты эти вести слышал?— тревожно спросила она Кирилла.

— Народ говорит; а вы знаете, барынька, по русской пословице: «глас народа — глас Божий».

Дорога шла уж по песчаной отлогости горы, к тому ж лошади, чуя близость домашней конюшни, бежали и без понуждения. Но Лиза, в нетерпении увидеть скорее мужа и разрешить мучившую ее загадку, приказывала ехать шибче.

— Уж недалече наша мыза, вот видишь, барынька,— сказал Кирилл, указывая кнутом на выдвигающийся из-за березовой рощи господский дом.— А вот влево, в другую сторону, чуть видно вдали, экономия пана Сурмина. Богаче всех в здешнем краю. Две мельницы, винокуренный завод, да и хлопы его против других панских живут, як у Иезуса на плечике. Едят чистый русский хлеб без мякины, и хаты у них не курные.

— А у нас каково?

— При пани Эдвиге было даже погано, а как сделался хозяином пан Владислав, стало лепче.

Дорога пошла ровная и твердая, кучер, гикнув, пустил лошадей вскачь, будто в лад с сердцем пани, хотевшей бы перенестись к мужу на крыльях.

Когда они въехали на господский двор, вид запущенных служб и хозяйственных заведений сделал неприятное впечатление на Лизу, но оно тотчас изгладилось при виде Владислава, сбегавшего к ней с нару-

жного крыльца. Он принял ее в свои объятия. Лицо его было радостно.

— Ничего приятного? — был ее первый вопрос.

— Ничего, — отвечал он, — разве ты привезла худые вести?

Она рассказала ему, что слышала от Кирилла.

— Вздор! Я должен бы первый об этом знать, — сказал он, ведя ее в комнаты и расточая ей самые нежные ласки.

В комнатах сохранялись еще следы, хотя полинялые и потускневшие, прежнего богатства Стабровских, но Лиза ничего не видела, ни о чем не думала, как о желании доказать мужу свою любовь, угодить ему разумным приемом ожидаемых гостей и заставить их сознаться, что она достойна его выбора.

Она скидала свой глубокий траур по отцу только на время венчания и двух-трех следующих дней и решила явиться в нем и перед гостями своими. В этом был лукавый умысел показаться перед ними в одежде, которую носили тогда польки в знак скорби по угнетенной отчизне. Владислав одобрил ее намерение.

Было сделано угощение хлопам из денег, назначенных на этот предмет Яскулкой. Еще с раннего утра разосланы повестки панам с приглашением на обед.

Съехались гости, между ними не было Волка. Отсутствие его было замечено и истолковано не в пользу его. Все видели, что на завтраке после маневров повстанцев он и Владислав не проявляли друг к другу знаков неприязни.

— Злой человек! — слышалось между ними, — оскорбил безвинно человека и на него ж изволит гневаться. Хорошо, что не он избран нашим доводцем, а то бы наложил на всех свою волчью лапу.

Появление хозяйки было для нее блистательным торжеством. Восторженный шепот пробежал между панам. Всех очаровала она своей красотой, приветливостью, изяществом манер и умом.

— Счастливчик этот Владислав, — говорили они, — кто бы не желал быть на его месте! Сколько бы завистливых сердец заняло при виде ее в кругу наших панн!

И гости платили ей возможными любезностями,

приправленными искренним уважением, а любезными поляки, при своем образовании, умеют быть, когда не затемняют их рассудка сумасбродные мечтания. Траурная одежда ее бросилась им в глаза и польстила их легковерному патриотическому чувству. Лиза присоединялась в этом случае к их национальной скорби. Особенно Суздилович, закручивая свои усики, вертелся перед ней, как бес перед заутреней, и рассыпался в комплиментах, какие мог только исчерпать со дна своего умственного кладезя. Тут уж он не спорил с товарищами, а соглашался со всеми в похвалах пани Стабровской. Лиза извинялась перед ними, что не может говорить по-польски и принуждена изъясняться по-французски.

— Но,— прибавила она,— любя мужа, я постараюсь скоро выучиться родному его языку, языки же славянские так братски сродны, только латинское начертание букв мешают их согласию.

Первый тост провозгласила она за благоденствие Польши (в мыслях и сердце своем она прибавляла: «и только в слиянии с Россией под русскою державой»). Восторженный виват сопровождал этот тост.

— Полюбите, полюбите нашу отчизну,— говорили ей гости,— право она лучше, нежели описывают ее у вас.

— Я и так ее люблю, желаю ей всевозможного добра,— отвечала Лиза.

Тост за ее здоровье покрыли изъявления бешеного восторга виватами, стуком ножей и вилок, рукоплесканиями, огласившими даже дальние комнаты. Был тост и за успех *патриотического дела*. И за него осушила хозяйка бокальчик, не противореча своему чувству.

Оживился разговор, посыпались лукавые вопросы, какую страну предпочитает она в своем сердце: Россию или Польшу, на чью сторону она станет, если бы в здешнем краю возгорелась война между русскими и поляками.

— Предпочту страну, которой больше предан мой муж, стану на ту сторону, на которой он будет стоять,— были ее двусмысленные ответы.

Разъехались гости, радостно убежденные, что приобрели прекрасную соседку и горячую патриотку.

«Тяжело, ох, как тяжело,— думала Лиза — притворяться, обманывать, говорить не то, что в мыслях, что чувствуешь!» Но не сказала мужу, как трудна была игра, которую она в эти часы разыгрывала, и казалась веселою. Она знала, что ему труднее нести это бремя целые дни и недели. На третий день сам Владислав поторопил жену в город.

— Как ни жаль мне расстаться с тобою, милый друг, радость моя, божество мое,— говорил он,— но ты должна поспешить к Зарницыной и сказать ей только одно слово: *пора!* От этого слова зависит наша судьба.

В сладостном упоении от свидания с мужем, довольная, что успешно замаскировала перед заговорщиками двуличное поведение любимого человека, не изменив своему патриотическому лозунгу, Лиза не мешкая снарядилась в обратный путь.

— Что бы со мной не случилось,— говорил ей Владислав,— воспоминание блаженства, которое ты мне подарила, будет для меня отрадой и в последний час моей жизни.

— Не говори о последнем часе теперь, когда мы с тобой так счастливы, не гневи Бога,— произнесла Лиза, обвив крепко его шею своими белоснежными руками и на пламенные его поцелуи отвечая ему без счету такими же.

Стоя на крыльце, он долго провожал ее глазами, пока она не перестала махать ему платком и экипаж не скрылся у него из виду. Возвратившись домой, он бросился на диван и зарыдал, как слабонервная женщина.

По приезде в город, Лиза на этот раз заехала к Евгении Сергеевне, передала ей роковой пароль, завернула к Тони, расцеловала ее и поспешила к себе, в дом Яскулки, чтобы заключить себя в четырех стенах и там только думать и молиться о дорогом для нее существе.

Приказ от Сурмина к управляющему его витебским именем был уже в руках Евгении Сергеевны. Он дал его с величайшим удовольствием, прибавив в нем, чтобы солдат угостили как можно лучше и исполняли все

требования фельдфебеля, дворянина Застрембецкого, как бы господские.

— Готовы ли в экспедицию, которую сами же задумали? — спросила она Застрембецкого, явившегося к ней по ее приглашению.

— Мы выписались из лазарета, нужные бумаги, от кого следует, готовы, стоит только за ними сбегать в канцелярию.

— Так с Богом и вот вам на случай нужды вашей и вашей команды триста рублей и письмо к моему мужу. Не берите теперь казенных подвод, лучше наймите.

— Предосторожность не лишняя.

Получив свои бумаги и наняв подводы, Застрембецкий отправился ночью в путь со своей командой и был уже на рассвете в имении Сурмина под видом квартирьеров полка, который должен был прибыть туда же через два, три дня. Отдавая приказчику письмо Андрея Иваныча, он шепнул ему о цели своей поездки. Этот был человек сметливый, энергический, преданный своему доверителю, и не успело еще солнышко моргнуть своими подслеповатыми лучами, как двадцать парных подвод, с таким же числом возчиков и таким же числом рабочих при десяти бравых солдатах, с запасом заступов и веревок очутились, как лист перед травой, на местности, где хранилось оружие повстанцев. Означенная подробно в записной книжке Застрембецкого, она была найдена без затруднений. Русский любит удалые подвиги, недаром же пословица: «в одно ухо влез, в другое вылез». Работали живо, горячо, как будто на приступе крепости. Крестьяне соперничали с солдатами. Фельдфебель распорядился работами осмотрительно, осторожно, чтобы команда его не подверглась ушибу. С другой стороны, за тем же наблюдал приказчик над своими рабочими. Подсекли еще корни дерев, расширили главную лазейку, устроили новые. Песчаный грунт облегчал работу. Сердце Застрембецкого было, однако ж, не на месте. Что если кто из банды услышит стук в лесу, даст знать своим, начнется бой, и тогда фельдфебель — снова солдат навсегда. Но в этой глуши зловещих признаков ни откуда

не видно и не слышно, только птицы, испуганные стуком топоров, спешили отлететь в глубь леса. Через час с небольшим ящики, тюки, цибики уложены на подводы, свезены к озеру, скачены с берега и свалены в воду. Совершив этот подвиг, солдаты и за ними хлопы перекрестились, как-будто утопили нечистую силу. Застрембецкий взглянул на небо и благоговейно приложил руку к сердцу. Если кто и видел их с дальнего противоположного берега из деревушки, на нем засевавшей, так они показались шевелившеюся муравьиной кучей. С песнями возвратились солдаты домой. Сделано им и возчикам угощение, какого они не запомнили изо всей жизни своей. Строго были наказано хранить тайну экспедиции. «Были солдаты, квартирьеры, назначили квартиры для полка и уехали» — таков был наказ в деревне. Обедал Застрембецкий у приказчика. За столом вкусный рассольник из почек, молочный поросенок под хреном и сметаной, белый, нежный, тающий во рту, хоть бы в Троицком трактире, индейка, облитая жиром, как янтарем, поджаренная так, что кожа ее слегка хрустела на зубах, херес и шампанское из господского погреба. Выспавшись часика три, дав отдохнуть своей команде и поблагодарив за все про все усердного приказчика. Застрембецкий отправился к ночи в обратный путь. Между ним и Владиславом условлено было, чтобы на первую ночь после уничтожения оружейного депо приказчик дал весть об успехе зажженным в виде маяка снопом соломы. Высмотреть издали этот сигнал должен был нарочно посланный Кирилл. Но в ту ночь приказчик, боясь возбудить подозрение в усадьбах окружных панов, рассудил за лучшее сделать это на другой день во время всенощной по случаю какого-то наступающего годового праздника; кстати, надо было иллюминировать колокольню.

Застрембецкий к утру прибыл в город на Двине, остановился в предместье, в корчме, и на несколько минут завернул к Зарницыной, чтобы отрапортовать ей о благополучном совершении своей экспедиции. Только на третий день мог он выехать из города, его задержали *казенные* подводы, за которыми надо было посылать в уезд. Приехав в одно из местечек Виленской гу-

бернии, где был расположен штаб его полка, он явился к генералу Зарницыну, донес его превосходительству о благополучном прибытии своем с десятью выписанными из лазарета рядовыми, вручил ему свои бумаги и потом письмо от Евгении Сергеевны. Читая его, генерал усмехался и качал головой, вслед затем богатырскою рукою ласково потрепал фельдфебеля по плечу. Но вдруг в лице его сделалась перемена, брови его насупились: он успел в это время взглянуть в маршрут команды и в свидетельство гарнизонного начальника о времени отправки ее.

— Как ни жаль мне вас,— сказал он несколько строгим голосом,— я предлагаю вам отправиться на три дня на гауптвахту, вы просрочили три дня по маршруту.

— Евгения Сергеевна...— заикнулся было Застрембецкий.

— Бабам не след вмешиваться в дела службы, я не вмешиваюсь в ее дела. Дисциплина прежде всего.

— Слушаю, ваше превосходительство,— сказал только фельдфебель, знавший, что генерал в подобных случаях неумолим, и, выставив вперед правую ногу, повернулся налево кругом к двери.

По выходе его из комнаты генерал стал в раздумье ходить по ней. «Евгения огорчится за своего protégé», говорил он сам с собой. «Но мы поправим его. За отличие в первом деле я представляю его в офицеры».

Это задушевное обещание было вскоре исполнено. За отличную храбрость в двух, трех делах против мятежников Застрембецкому возвращен прежний его поручий чин.

Владислав в первую ночь после уничтожения оружейного депо посылал Кирилла посмотреть издали, зажжен ли вестовой маяк. Кирилл возвратился с известием, что ни одного огонька не видно на крышах в имении Сурмина. Сердце у Владислава замерло. «Неужели,— думал он,— не было Застрембецкому удачи? не помешало ли ему какое важное затруднение? В случае же ожидают его бедственные последствия, жонд восторжествует». Весь следующий день провел он в мучительной тревоге. Наступила ночь. Кирилл

был послан вновь на рекогносцировку. На этот раз ответ был благоприятен, посланный донес, что колокольня сильно освещена как люстра и на огромном шесте пылает огненный сноп. Владислав успокоился. Через два дня прискакал к нему тощий еврей на тощей лошаденке. Он барабанил голыми пятками по ребрам своей клячи и вдобавок выбивал из нее прыть обломком кнута. Пейсики его, прилипшие от пота ко лбу и к вискам, не развевались по обыкновению из-под ермолки. Он проворно соскочил с неоседланной лошади и подал письмо первому попавшемуся ему на глаза слуге, примовил только: «по еврейской почте, пану Стабровскому, из Горыгорецка». За доставление письма была выслана из панского дома щедрая награда. Письмо было от могилевского воеводы Жвирждовского, Топора. Он извещал только в нескольких иероглифических строках, к которым ключ имел Стабровский, что начинает свои действия с Горыгорецкого института и умоляет витебских доброжелателей *«быть немедленно готовыми»*.

Наступал роковой час для Владислава. Можно судить, что происходило в его душе. Игра шла на шах и мат. Он оповестил заговорщиков, чтобы они съехались к нему для выслушания важной вести. Во время его тревожного состояния носился перед ним образ Лизы в виде ангела-хранителя и утешителя его.

Съехались заговорщики. Решено было созвать тотчас повстанцев и распределить по ним оружие из депо.

Прибыли к назначенному месту.

Ужас овладел членами жонда, когда они увидели, что место это изрыто, кладовая, где хранились ящики и тюки, пусты.

Была минута оцепенелого молчания. Бледные, трясаясь от страха и бешенства, все озирали друг друга, как бы искали, не обнаружит ли чье лицо предателя.

— Измена! измена! — закричали заговорщики.

Но где было искать изменника, на кого было указать, кого обличить? Все лица были одинаково мертвенно-бледны, все они выражали одно чувство ужаса.

Таково состояние воинов перед сражением, когда у них не оказалось зарядов, таково оно у моряков, ког-

да на полном бегу парохода от сильнейшего неприятеля кочегар закричал: «нет больше топлива».

— Вы осматривали депо во время наших маневров,— с дерзким видом обратились офицеры к Владиславу и Волку.

— Осматривали,— отвечали они твердым голосом,— и нашли все в порядке, ни одного человеческого следа не было заметно.

— Судить Волка и Стабровского! — расстрелять их! — слышались голоса.

Волк был спокоен и только злобно усмехался; Владислав, мысленно призывая на помощь Лизу, старался не изменить себе. Но если бы приложить руку к его сердцу, которое то учащенно билось, то совсем замолкало, как у человека в предсмертной агонии, можно было бы судить, в каком состоянии находился. Однако ж, большинство собрания утишило поднимающуюся на них грозу, находя обвинение двух лучших членов своих вопиющею несправедливостью. Имя Стабровского чтили за великие жертвования, сделанные жонду его матерью; его лично любили за прекрасные душевные качества; Волка не любили, но знали, что он иступленный патриот и неспособен на измену. Положили осмотреть кругом местность, через которую можно было провезти ящики и тюки. Освидетельствовали твердый перешеек, отделявший лес от озера. Свежие следы множества колес и копыт лошадиных обозначались на нем, на берегу озера видны были прорезы от спуска в него тяжестей. Послали лазутчиков по корчмам и деревушкам. Посланные с западной стороны леса не добыли никаких сведений. Посланные с восточной стороны донесли, по сказанию евреев-корчмарей, что на днях приезжали в имение Сурмина несколько солдат назначили квартиры пехотному полку, который должен был вскоре прибыть туда, и оповестили, что вслед за ним придет целая кавалерийская дивизия со своею артиллерией из Тверской губернии *.

* Действительно, кавалерийская дивизия вскоре пришла из Тверской губернии и, простояв там несколько времени без дела, возвратилась на свои постоянные квартиры.

что квартирьеры ездили с крестьянами Сурмина на многих подводах, но куда, за чем — неизвестно. Остановились на том, что был изменник, но что на изменника нельзя было указать. Кто открыл тайну места, где было сложено оружие, кто провел к нему команду, в этом была загадка сфинкса. Кому было разгадать ее? Падало подозрение на евреев, возивших оружие в лес из недостроенного костела, на Жучка... Но Жучок сам доставлял оружие, станет ли он поднимать на себя руки?.. Жаловаться нельзя и некому, продолжать исследования опасно. Если изменник найдется, мщение, ужасное, примерное мщение должно пасть на его голову. Предлагали было спалить деревни Сурмина. «Жаль, что мы не убили его, когда он, больной, ехал с доктором Левенмаулем», говорили некоторые паны, сделавшие на его экипаж ночное нападение. Спалить деревни Сурмина было нелегко. Узнали, что приказчик его взял все меры предосторожности на случай неприятных действий со стороны жонда: усилены и вооружены караулы по деревням, две исправные пожарные трубы во всей готовности, бочки с водою припасены. К тому же весть о скором прибытии полка и затем кавалерийской дивизии озадачила членов жонда. Самые робкие из них, по ироническому совету Волка, или спрятались в своих норах, или отправились в губернский город показаться тамошнему начальству под личиной преданности русскому правительству. Первый из беглецов был Суздилович, обещавший проливать кровь свою за отечество. Оставшимися членами жонда решено было скрывать свое несчастье в глубине души, Волка и Стабровского не предавать суду, а наскоро собрать у панов огнестрельное и холодное оружие, какое могло у них только оказаться, отобрать волей и неволей у хлопов косы и вилы и вооружать ими повстанцев, оставшихся верными отчизне, и дожидаться дальнейших событий.

Прискакал опять еврей-почтарь с письмом к Стабровскому. Жвирждовский-Топор просил немедленной помощи. Вскоре узнали, что осада Горыгорецкого института не удалась, шайки могилевские рассеяны, воевода Топор и его сподвижники бежали, он сам пой-

ман и повешен на обгорелой перекладине ворот в Опатове, который он зажег собственной рукой. Так вымещал он на бедных своих соотечественниках горькие неудачи против русских. Товарищи его — кто повешен, кто расстрелян. Не только небольшие отряды войска, но исправники с крестьянами успешно действовали против мятежников. Героям жонда, мечтавшим водрузить польское знамя на колокольне Ивана Великого и даже на западном берегу Волги, неучтиво вязали руки назад и представляли законному начальству.

В Минской губернии организатором тамошней банды, капитан генерального штаба Машевский, также несчастно кончил свои подвиги*.

Услышав о неудачах своего собрата, могилевского воеводы, Машевский утек с всею бандой, довольно многочисленной, на запад. День был жаркий, повстанцы утомились усиленным походом. В нескольких верстах от местечка *Тимковичи* (Слуцкого уезда), по предложению одного из доводцев, хорошо знакомого с тамошнею местностью, назначен отдых в густом лесу. Среди его поляна, обнесенная древними дубами и березами, перерезанная ручьем, представляла приятный и надежный приют. Здесь расположилась банда. Сочная трава предлагала вкусный корм лошадям и под сенью тенистых деревьев, которых только верхушки затрогивали солнечные лучи, растилала свои цветные ковры усталым воинам. К водам ручья, чистым как хрусталь, холодным как лед, припали жаждущие. В банде было до 70 панов, большая часть их — люди богатые. Они совершали поход со всем комфортом роскошной жизни, какую привыкли вести у себя дома, и потому имели с собой экипажи, множество лошадей, поваров, многочисленную прислугу. Повстанцев — нижних чинов было, как говорили, близ тысячи. Все это расположилось на поляне. Задымился костер, началось стряпанье. Паны сели в свой кружок, военная челядь отделилась в свои. Во всех было сытно и весело. В дворянском кружке подавали изысканные кушанья, пили дорогие

* Рассказываю об этом событии со слов одного близкого мне человека, определенного в Слуцке из внутренних губерний России.

французские вина; в артелях довольствовались сытной похлебкой из круп, сухарями и водкой. Никто не ожидал невзгоды. Был у них слух, что, когда они снимались с ночлега, позади их, верст за 50, ночевать пришел русский небольшой отряд. Нужны были крылья, чтобы настичь их. Но у русских солдат, когда требует долг, есть духовные крылья, переносящие их через сказочные пространства. Отряд этот, восстановивший свои силы пищей и отдыхом, состоял из сотни казаков и двух батальонов пехоты. Он сделал 25 верст в одну ночь, отдохнул на заре и после нового 25-верстного перехода очутился близ упомянутого леса через час после прихода туда шайки Машевского. Тихо подошли батальоны к лесу, казаки тихо обогнули его. Лошади их, будто понимая мысли своих всадников, казалось, затаивали шаги свои. Шайка продолжала еще пировать или отдыхать. Среди леса завивался дымок и образовывал облачко на чистой лазури неба. На этот предательский дымок пошли русские. Только, когда беда была уже на носу мятежников, они встревожились и бросились к оружию. Но пули и штыки пехоты и пики казаков делали уже свое дело. Надо отдать справедливость находчивости и мужеству повстанцев и вождей их. Придя в себя, они сражались искусно и отчаянно. Во время самого разгара битвы прибегает к Машевскому мальчик-гимназист, лет 14—15, срезавший из охотничьего ружья русского солдата.

— Пулковник, я убил человека,— говорит он плаксивым голосом.

— Молодец! не жалей псов-москалей, бей их больше, завтра будешь офицером,— был ответ Машевского.

Но скоро он сам тяжело ранен. Истекая кровью, он дает знак рукой русскому солдату, который в него выстрелил, подойди к нему. Солдат, видя, что бессильный, распростертый на земле враг для него больше не опасен, подходит к начальнику банды.

— Дарю храброму воину это дорогое оружие,— сказал Машевский, указывая на богатое охотничье ружье, лежавшее у ног его.— Прими его от умирающего на память.

Простодушный солдат принимает подарок, но, тот,

собрав последние силы, схватывает револьвер, лежавший с другой стороны, и стреляет в него в упор.

— Вот вам, собакам-москалям, на память от умирающего поляка.

Надо ли говорить, что товарищи убитого солдата, свидетели этой предательской сцены, dokonчили несколькими штыками умирающего начальника банды и не давали панам пардона. Ценные вещи на них, деньги и заводские лошади достались большею частью казакам, экипажи разрешетены пулями. Съестное, оставшееся после роскошной трапезы довудцев, съедено, вина выпито на память усопших.

Что делалось в это время в среде витебских заговорщиков? Довудцы, — как мы сказали, — притаились в своих гнездах или уехали в город, иные пробирались лесами на запад. Повстанцев частью распустили, частью разбежались они сами. Только Волк удержал при себе самых отчаянных, человек до пятидесяти. Горя чувством мщенья за неудачи витебского жонда, он переносился с отдельным отрядом из потаенного места на другое, жил в лесах, скрывался у друзей соседей, у ксендзов, палил русские деревни, наводил страх на витебскую окраину. Это был уж не революционный вождь, а атаман разбойничьей шайки. Часть ее исправники с помощью крестьян переловили. Сам Волк с оставшимися при нем 20 человеками, решившимися идти напропалую, высматривал еще жертву позначительней. Изменник, выдавший тайну местности, где хранилось оружие, не выходил у него из головы ни днем ни ночью. То на одного, то на другого из своих товарищей, обращал он свои подозрения и нередко, по какому-то инстинкту, останавливал их на Владиславе, хотя не имел на то основательных доказательств. Мысль эта лишила его сна и пищи. Следя за своей жертвой, он не мог найти себе покоя до тех пор, пока не найдет предателя.

Владислав оставался еще у себя дома, наблюдая, не вспыхнет ли еще где в ближайшем крае искра из-под угасающего пепла революции. Он успокоился, когда переловили большую часть шайки Волка, и собирался ехать к жене, но его задерживали еще в имении некото-

рые домашние, не терпящие отлагательства, распоряжения. Он посылал по временам письма к Лизе и получал от нее ответы. Никто и ничто не тревожило гонца с этими письмами. До сих пор он ничего не писал ей о политических делах края. Между тем молва оповестила Лизу, что в Витебской губернии все успокоилось, она просила мужа прислать ей хоть *resumé* положения края. С новым письмом был послан Кирилл.

«Наконец, только теперь могу сказать тебе, мой друг», — писал он, — что все в крае спокойно. Воля твоя исполнена. Обезоруженный нами жонд не был в состоянии ничего предпринять. Кровь братьев не будет больше литься. Счастье наше обеспечено. Я остался здесь только на два дня по экстренным хозяйственным делам. Через 48 мучительных часов разлуки я, счастливейший из смертных, обнимаю тебя. Но, желая тебя успокоить на свой счет, посылаю с этим письмом нарочного. Да будет над тобою благословение Божье.

Твой до последней минуты моей жизни В. С.»

Письмо было написано в неосторожных выражениях в минуты безмятежного спокойствия, в чаду от блаженства, его ожидавшего. О Волке, которого он почитал своим врагом, ходили слухи, что он убежал в Царство Польское, знали, что окна в доме его заколочены наглухо, на дворе ни живой души; с других сторон не ожидалось опасности.

Кирилл делал прежние поездки свои к барыньке без всяких приключений. Он ехал верхом и ныне спокойный, довольный, что скоро переедет со своим панном к Яскулке, где не будут их пугать революционные затеи и заживут они, как у «Иезуса на плечике». По временам в религиозном настроении затягивал он духовные гимны. При спуске с сторожевой горы на окраине леса и в нескольких саженях от дороги показалась фигура Волка и с ним несколько всадников. При виде их Кирилл побледнел и вздрогнул.

— Стой! — закричал ему ужасным голосом Волк, высыпав со своей шайкой из леса и преграждая ему дорогу. — Куда и с чем едешь?

В это время он кивнул своим клевретам, те поняли

его — и несколько сильных рук остановили лошадь Кирилла за уздцы.

— Еду от пана в город, — отвечал твердым голосом Кирилл.

— Есть письмо к пани Стабровской?

— Послан со словесным приказанием, — был ответ слуги.

— Разденьте его, — закричал Волк, следя ястребиными глазами за всеми движениями.

Скинули с Кирилла шинель, сюртук, жилет, порылись в них, потрясли их, посыпались мелкие серебряные монеты. В это время он нагнулся, как бы для того, чтобы подобрать деньги. Письмо, сложенное вчетверо, было у него в маленьком кошельке за голенищем сапога. Достать его из кошелька, разжевать и проглотить было в это мгновение мыслью верного слуги. Но это могло бы удаться разве какому-нибудь Боско и то не в такие тревожные минуты. Он достал, однако ж, кошелек, сжал его в руки и силится стереть то, что в нем заключалось, в порошок. Волк, заметив это движение, приказал своим схватить его за руку и разнять пальцы. Кошелек был исторгнут с большими усилиями, так что на руке остались синяки и ссадины, и вручен начальнику шайки.

Волк вынул из кошелька скомканное письмецо, печать рассыпалась. Он старался разглядеть его и стал про себя читать с видимым затруднением, так как мелкие сгибы на нем мешали глазам свободно перебегать по строкам. Безобразное лицо его конвульсивно передернулось и приняло демоническое выражение, наконец он разразился диким хохотом.

— Так вот где изменник, — вскричал он и велел связать Кирилла руки назад, посадить его на лошадь и вести к себе на фольварок под сильным караулом.

Что делал Волк со своею шайкой в лесу? Не подждал ли кого? До этого дня он, действительно, скрывался у своих друзей, панов и ксендзов, но, получив тайное известие, что один из членов жонда, подозреваемый в измене, должен проезжать из города по дороге через лес сторожевой горы, стал со своею шайкой тут поджидать его. Подозрение падало на невинного —

судьба послала настоящего изменника. Смысл письма с некоторыми толкованиями был ясен, особенно выражения: *«воля твоя исполнена, обезоруженный нами жонд»*, не требовали перевода. Загадка сфинкса была разрешена.

VII

Через два дня Владислав отправился в своей варшавской бричке на четверике, при нем были кучер и слуга. К шести часам вечера он въезжал на песчаную сторожевую гору. Погода была пасмурная и ненастная. Порывистый ветер завывал в мрачном лесу, будто пел похоронную песню, деревья скрипели. Носились ли в мыслях Владислава ожидания скорого, сладкого свидания с обожаемою им женщиной, или природа настаивала его к тяжелому предчувствию, знал один Бог. Лошади шли медленно по глубокому песку в гору. Вдруг с криком, с двух сторон, из леса налетели на экипаж десяток молодцов и между ними Волк. Лошади остановлены, построжки, гужи и хомутины перерезаны. Увидав Волка и привязанного к дереву Кирилла, Владислав понял все, что его ожидало. Первым его движением было схватиться за револьвер, лежавший в сумке брички, и выстрелить в своего врага. Но удар, худо направленный неловким стрелком, владевшим, как он признавался матери, лучше пером, чем огнестрельным оружием, миновал цель. Минута, и человек шесть окружили экипаж, вскарабкались в него, один выхватил револьвер, другие силились вытащить Владислава из брички. Кучер и слуга слезли со своих мест и бросились помогать своему господину. Борьба была отчаянная. У слуги было охотничье ружье. Он выстрелил и свалил одного из шайки. Против него выступил с револьвером сам Волк, слуга заносит на него наотмашь приклад разряженного ружья, как попало. Удар приходится по колену и раздробляет чашку. Сгоряча Волк не чувствует боли. Наконец, сила превозмогла: Владислав, изнеможенный борьбою, испоргнуть из брички, связанный по рукам и ногам, в плену у разбойников; прислуга убита.

— Помнишь ли,— сказал Волк, у которого глаза горели, как раскаленные уголья,— помнишь ли клятву, данную тобою в Москве, когда поступал в жонд? Ты изменил ей. Помнишь ли, что завещала мне мать твоя, когда я говорил о кинжале, который ты мне подарил? Ты истоптал завет матери. Друг, брат!!.. А насмешки надо мною, над всеми нами? Хоть бы представление друзьям, братьям красавицы-патриотки Елизаветы! Недаром нарек ты меня палачом. Да, я избран совершить над тобою приговор нашего верховного трибунала. Видишь, вот роковой кинжал!

Он блеснул кинжалом, который вынул из ножен. На стали не было ни одного пятна, он не употребил его в кровавое дело с простыми смертными, берегая для высшего назначения.

— Тащите его в лес,— крикнул Волк своей шайке.— Пусть слуга его видит казнь его и передаст о ней прекрасной актрисе, достойной его подруге.

Владислава повлекли в лес и привязали к дереву против того, к которому был привязан Кирилл. Слуга, выбиваясь из своих уз, грыз их от чувства бессилия помочь своему господину.

— Скажи: «да здравствует Польша и погибнут враги ее», и я облегчу тебе переход в вечность.

Владислав молчал.

— Так разденьте его.

Раздели.

— В этом виде лучше почуют мертвечину дикие звери и разнесут ее на части. Теперь готовься, отступник, читай себе отходную.

Владислав взглянул на пасмурное небо, едва видное между верхушками деревьев, и благоговейно, со слезами на глазах, произнес молитву, потом, обратясь к верному слуге своему, завещал передать Лизе, что в последние минуты его жизни дорогое имя ее было последним словом, которое уста и сердце его сказали на земле.

Волк поднял кинжал и утопил его в груди несчастной жертвы. Розовая кровь брызнула на руку убийцы и забила ключом на белой, высокой груди мученика. Трава под ним далеко окрасилась. Скоро прекрасное, цветущее лицо Владислава подернулось белым покровом смерти.

К дереву, к которому привязано было тело его, прибили дощечку, заранее припасенную, с надписью: «*Так карают изменников отчизны*». В этом положении оно оставлено на съедение волкам. Убитые слуга и кучер брошены далеко от дороги в чаще леса. Бричка разрублена на мелкие части, их также разбросили по лесу. Лошади уведены в фольварк Волка, вещи поценнее и деньги разобраны шайкой, по дороге не осталось следов от разбоя.

Бедный Кирилл, привязанный к дереву и осужденный смотреть целые часы на труп любимого господина, пробыл в этом положении весь день. В ночь озарился лес заревом. То горел дом Волка, службы и хозяйственные заведения, подожженные собственной его рукой.

Тело Владислава не было, однако ж, тронуто волками оттого ли, что они удовлетворялись снедью кучера и слуги, или испуганные заревом пожара, может быть и стрельбою, бывшею накануне. Смертные останки его также пощажены были смертью, так как вся кровь его уж истекла, а кто не знает, что такие трупы сохраняются долее трупов людей, умерших естественною смертью.

Утром следующего дня ехавший на возу по дороге через лес еврей услышал крики. Испуганный, он долго был в раздумье, идти ли на них, наконец решился. Ужасное зрелище представилось ему. Он хотел было бежать к своему возу и уехать, но, склонясь на жалобные просьбы узника, развязал на нем веревки и, прельщенный обещанием щедрой награды, отвез его в стан. Здесь рассказано было Кириллом все, что с ним и его паном случилось. Началось следствие, похоронили Владислава на кладбище ближайшего костела, сделаны поиски за убийцей и его шайкой. Шайка была распущена Волком, но вскоре большую часть ее переловила местная полиция с крестьянами. Сам он с двумя преданными ему сообщниками, не хотевшими с ним расстаться стал пробираться на обетованный запад. Раздробленное колено его сильно разболелось, мучения стали нестерпимы. Идти пешком сделалось невозможным, на лошади сидел он с величайшим трудом. Так скитались они несколько суток как бродяги, где

день, где ночь, большей частью в лесах. Взятými из дому в изобилии съестными припасами утоляли они голод. Револьвер украли у Волка приставшие к ним новые бродяги, беглецы из разных банд. Оставшиеся при нем товарищи, узнав, что за ними послана погоня, и наскучив его стопами и скрежетом зубов, бросили его на волю судьбы. Наконец, самого Волка выследили полиция и крестьяне на границе Витебской и Минской губерний у какого-то болота. Ему оставалось отдаться в руки преследовавших его или попытаться переехать через болото и, если не удастся, погибнуть в нем. Потеряв голову, он бросился в болото. Некоторое расстояние проехал он благополучно по кочкам и через кусты, жестоко хлеставшие его по лицу, только в одном месте, казавшемся ему надежным, лошадь его завязла. Трясина начала всасывать ее в себя. Чем более лошадь билась, тем более погружалась вглубь. Волк благословил бы судьбу свою, если б мог с нею утопиться. Но его не теряли из вида крестьяне, хорошо знавшие местность. Им велено было достать его живьем. Они обошли болото с другой стороны и, перескакивая с кочки на кочку, цепляясь за сучья кустов, подкладывая под себя жерди, приближались к своей добыче. Раздаются крики: «лови, лови его!» В них слышит он свой приговор. Несмотря на мучительную боль в ноге, он слезает с лошади. То в безумном отчаянии, будто вполне владея здоровыми силами, шагает по болоту, то падает, изнемогая от страданий, едва ползет, как жаба, которую мальчишки пришибли камнем и у которой внутренности выходят уже наружу. Он выбирает самые опасные места трясины. Тень руки блуждает около него, она кажется ему рукою баснословного исполина. Какие-то тиски схватывают его, он чувствует на шее своей мокрую, холодную веревку. Как бы затянуть ее? — думает он, но у него недостает уже сил, он теряет, наконец, сознание окружающих его предметов. С разных сторон схватывают его, кладут на веревочные носилки. Его приводят в чувство, его берегут, как драгоценный субъект, как знатного заложника. Он отвезен в ближайший городок, посажен за железную решетку. Над ним наряжен военный суд. Собственное признание, приправленное

ругательствами насчет русских и сожалением, что он не мог сделать им более вреда, довершает улики свидетелей.

В один день, на позорной колеснице, в позорной одежде преступника, он приближается к месту казни. Толпа глядит на него бесчувственно, иные даже насмеются над его дикообразной физиономией. Он честит народ именем рабов, себя превозносит героем-мучеником за свободу отчизны.

— Убийца своего брата, — брошен ему из толпы громовый упрек.

Только пани и паненки со слезами на глазах простирают к нему руки и благословляют его. Столб поставлен на торговой площади, обряды исполнены, Волк повешен.

Остается мне исполнить тяжкий долг — отдать отчет в тех проявлениях ужасного состояния Лизы, когда она получила через Кирилла и Евгению Сергеевну роковую весть о смерти Владислава. Постараюсь сократить описание грустных, раздирающих душу сцен. Кирилл, исхудалый, постаревший в несколько дней, явился сначала к Зарницыной и рассказал ей о своем плене и разбойническом убийстве своего господина. Зарницына, как можно судить, была поражена этим известием. Со всеми предосторожностями, со всею горячностью материнской любви передано оно Лизе. Были часы, в которые боялись за ее рассудок. Несчастная совершенно упала духом, проклинала себя за то, что погубила страстно любимого ею человека, сурово выговаривала своей второй матери, что вовлекла ее в *преступление*. Потеря ее преобладала в ее сердце и мыслях над убеждением, что она совершила подвиг за дело отечества, что избавила край от многих бедствий. Молитва образумила ее. Она поспешила на могилу мужа и на ней выплакала свою молодую жизнь, все свои земные радости. С этого времени горечь ее не проявлялась более наружу, но тем сильнее сосредоточилась в груди ее. Яскулку тоже поразила весть об ужасной смерти Владислава, им искренно любимого. Он стал со дня на день сильно хиреть. Евгения Сергеевна, представив администрации все доказательства преданности Вла-

дислава России, спасла имя его от нареканий и осуждений. Имя это осталось без пятна. Впоследствии над могилой его был поставлен памятник с простою надписью: *«такой-то, таких-то лет, погиб мученическою смертью от руки убийцы за дело русское»*. Подвиг двух женщин остался тайною для всех, кроме самых близких им. Нужно ли говорить о том, сколько нежных, горячих забот и утешений посвятили Тони и Сурмин несчастной вдове.

Лиза Стабровская осталась жить при своем деде и отказалась от света. Через несколько месяцев он умер на руках ее, завещав ей все свое состояние. Но для чего было ей теперь богатство? Она продала имение, дав себе слово, вырученные за него деньги употребить на бедных и на обновление православных церквей в Белоруссии. Только неважную сумму предназначила себе. Была у нее еще затаенная мысль, которую подкреплял по временам вид фарфоровой статуэтки — *сестры милосердия*, подаренной ей отцом ее. «Это было его назначение, его завещание, — говорила она про себя, — это была воля Провидения, и я *хоть* этот завет свято исполню».

Совестно мне вслед за рассказом о печальной участи моей героини перенестись тотчас к лицу, погрязшему в омуте бесчестных дел, с клеймом преступника, и между тем довольному своею судьбою, счастливому. Но не так ли на сцене, где вращается жизнь человечества, стоят рядом добродетельный человек и злодей, люди с разными оттенками — беленький, черненький и серенький. А роман есть отражение, копия этой жизни. С такою оговоркою приступаю к последнему сказанию о Киноварове-Жучке.

Вечером летнего дня шел он по главной улице города на Двине. Он в этот день обходил своих должников, так как в следующее утро собирался отправиться во свояси, в Динабург. Только что кончил он свои расчеты с Зарницыной и погоревал с ней о смерти Владислава. Довольный, счастливый, что обделал делишки, так что остриг овечек и снял шкурку с волков, Жучок мечтал дорогой, как заживет в своем домике, будет продолжать свою торговлю и идти с нею в гору. Мало ли

какие мечты роились в голове его. И садик-то нужно бы спустить по отлогости горы к Двине, китайскую беседку в нем устроить, где бы в ней соснуть после сытного обеда, не худо бы и купаленку на реке поставить. А то, когда он сходит в привольные для всех воды, не убережешься от нахальных взглядов прачек, моющих поблизости грязное белье. Пуше всего надоедает ему бинокль, наводимый на него соседкой, вдовушкой гарнизонного офицера, когда он пробирается по берегу к вожделенным струям. Чего ей?

По пути его была гостиница, которую содержал поляк Бршепршедецкий. Кстати, нужно было завернуть к нему, чтобы очистить счета за забранный кяхтинский чай, спрашиваемый прихотливыми русскими офицерами полка Зарницына, незадолго стоявшего в городе, и отчасти поляками. Был счетец и по векселю. Боковой карман его кафтана вмещал уже в своей утробе три тысячи рублей, почему ж бы не прибавить в нее нового слоя кредиток. Содержателя гостиницы не было ни в конторе, ни в его семейном отделении. Он находился в одном из номеров у своего постояльца, белорусского помещика, промышленявшего более карточной игрой, чем сельским хозяйством. Здесь собралось человек с десять разнородных личностей. На зеленом поле ломберного стола лежали стопы колод и другие принадлежности карточной игры, красовались пачки кредиток разного цвета и среди их кучка золота в ожидании, что в турнире, предложенном банкометом, рьяные рыцари присовокупят к ним новые вклады. Понтеры сидели за столом или стояли подле него. На доклад номерного содержателя гостиницы, что пришел такой-то и желает его видеть, Бршепршедецкий попросил хозяина номера позволить Жучку войти, предупредив, что он человек неопасный, да и некоторые из игроков ручались за его скромность. Позволение охотно дано. Трактирщик, любивший сам играть в карты, в этом случае рассчитывал, что на несколько часов задержит в номере кредитора и оттянет свой долг до другого дня. А кто знает? Судьба-индейка не нанесет ли ему в этот вечер золотых яиц? Тогда и квит с долгом.

Вошел Жучок, не перекрестясь, как это обыкновен-

но делал, когда входил к русским, но только низко поклонился и пожелал честной кампании здравия. Трактирщик отрекомендовал вошедшего банкometу, хозяину номера; тот, занятый игрою, довольно небрежно кивнул Жучку.

— Извините, пан добродзей,— сказал своему посетителю трактирщик, загибая угол на выигранной им карте,— видите, в ходу, наверно, принесли мне счастье. Успеем еще поговорить о деле, а вы покуда присядьте да поучитесь в отгадку.

— Подожду,— отвечал смиренно Жучок.

Содержатель гостиницы мимолетно указал глазами молодому человеку, лет двадцати, стоявшему недалеко от него (это был его сын), на нового посетителя и на бутылки, стоявшие на подоконнике. Молодой человек понял взгляд отца, раскупорил бутылку шампанского и, налив из нее огромный стакан, предложил его Жучку.

Этому отказываться было совестно, бутылка ведь для него начата. В давнопрошедшее время он пивал водку стаканами, чтобы заморить в груди угрызения совести, и не бывал, как говорят, ни в одном глазе, и теперь от нескольких глотков искрометного затуманило у него в голове.

Никто из игроков не обращал на него внимания; знали, что купец Жучок не умеет и карт держать в руках и потому в обществе их человек посторонний.

Между тем глаза его разгорались более и более, перебегая от карт банкometа и понтеров на пачки кредиток и особенно на кучку золота, игравшего своими искрометными лучами. Давно отрекся он от карт, погубивших его, и твердо держался обета — не прикасаться к ним, словно к огню. Однако ж, какая-то невидимая сила притягивала его к столу, он к нему подошел.

На этот раз демон-искуситель стоял за ним и нашептывал ему то насмешливые, то обольстительные речи:

— Посмотри,— говорил лукавый голос,— как тебя оскорбляют здесь. Тебя, мизерного купчишку, выталкивают, как пария, из среды благородного общества, хоть бы из учтивости предложили принять участие

в игре. И не с такою шляхтою играл ты, генералы не гнушались перекинуться с тобою. А куш-то порядочный, едва ли не десять тысяч; банкромет богат, не постоит и за большую сумму. Проигрывал ты прежде. Что ж? Может быть, судьба ждала тебя в этот час, отыграешься, да еще разбогатеешь. Поверь мне, сорвешь банк. А удовольствие поразит неожиданным торжеством победы людей, которые тебя ни во что считают, с чем можно сравнить? Рискни.

Пыхтел, боролся Жучок со своим искусителем до поту лица и — рискнул.

— Позвольте ли мне, сиволапу, поставить карточку? — сказал он, обратясь к банкромету.

— Не имею права отказывать здесь никому, — отвечал этот, несколько поморщившись, воображая, что ставка такой мизерной личности будет ничтожна и только задержит игру.

— Помните, — сказал насмешливо банкромет, — что правая сторона моя, а левая ваша, и расплата должна быть немедленная.

— Смекаю. И я играю ведь не на щепки, — отозвался Жучок.

— Я ручаюсь за него в тысяче, — сказал хозяин гостиницы, мигнув банкромету, — авось, дескать, молодец попадет на удочку.

Карта Жучка пошла и взяла сто рублей.

Он поставил ее на транспорт, загнув по правилам игры.

Взяла.

— Угодно получить деньги? — спросил его банкромет уже голосом серьезным и вежливым.

— Атанде — идет на пе.

Карта взяла восемьсот рублей серебром.

Измученные игроки переглянулись. Тот, кто не умел брать карты в руки, преобразился в искусного и отважного карточного бойца. Сам банкромет, хотя и испытанный в боях подобного рода, внутренне признал его за опасного противника, но не обнаружив и тени смущения, спросил его, «какими деньгами желает он получить выигрыш, кредитками или золотом».

— И тем и другим, винегретец, — отвечал Жучок,

смотря свысока на игроков и вздернув рукою свою тощую с проседью бородку.— Вот вам и сиволап,— говорили его глаза.

Деньги были отсчитаны золотом и кредитками разной масти.

В Жучке ожил прежний Киноваров.

— Прикажете подать бутылочки две *отборной* шипучки,— сказал банкомет хозяину гостиницы, зачесывая пятерней свою прическу.

— Позвольте и мне на выигрыш поставить полдюжины,— предложил Жучок.

— Почему ж не так,— отозвался хозяин номера.

Трактирщик вышел из комнаты, чтобы распорядиться насчет вина.

Жучок-Киноваров написал мелом на столе 1000 рублей и закрыл цифры картою.

Карты в талии ложились направо и налево.

— Атанде,— закричал герой-понтер,— 600 рублей приписываю.— Взяла,— промолвил он немного погодя и вскрыл карту.

Банкомета подернуло, он отсчитал 1600 рублей. Было заметно, что он нетерпеливо посматривал на дверь. Наконец, вошел хозяин гостиницы, за ним несли корзину с бутылками. Он сам откупорил их.

— Пожалуйста, без пальбы,— заметил банкомет.

— Как удастся, будут с пальбою и без нее,— сказал хозяин гостиницы.

Налили стаканы. Зоркий, наблюдательный глаз высмотрел бы, что Жучку наливали из одной бутылки, прочим игрокам из других. Жучок, упоенный и без вина своим выигрышем, не заметил этой мошеннической проделки и выпил поднесенный ему стакан. Он, однако ж, поставил новую карту на малый куш и выиграл, но вскоре голова его стала кружиться, в глазах запрыгали темные пятна.

— Что, уже оробели?— сказал иронически банкомет,— пошли упражняться к меледу.

— Оробел?!— крикнул обиженный Жучок и поставил карту на три тысячи.

Карта была убита. Он не заметил, как тот передернул карту в талии. Горячась больше и больше, наш

понтер удвоил куши, держался прежних рутерок. Противник его клал их все на правую сторону.

Выиграл было Жучок пятьсот рублей на одну карту, банкомет забастовал. Стали рассчитывать. Все выигранные Жучком деньги были возвращены прежнему их обладателю; три тысячи, хранившиеся в боковом кармане купеческого кафтана, перешли к нему же вместе с векселем трактирщика в 1000 рублей, да сверх того взята с несчастной жертвы сохранная расписка задним числом в 5000 рублей золотой монетою. Перо в руке, и расписка написана и подписана. Он попросил стакан воды, выпил и, казалось, несколько отрезвился. Наняли извозчика, дали Жучку выпить другой стакан воды, поднесли спирту к носу и отправили домой, наказав возничему сесть с ним рядом на дрожки и поберегать его дорогой. Игроки разошлись. Хозяину гостиницы за бутылку *отборного* шампанского возвращен его вексель с надранием. Прислуга была щедро оделена. Дорогой Жучок смутно припомнил все, что с ним случилось в этот вечер. Привезенный извозчиком домой, он был сдан прислуге. К утру он совершенно пришел в себя. Трех тысяч, лежавших у него в кармане, не оказалось налицо, так же, как и векселя от имени Бршепршедецкого. В полдень пришел к нему квартальный и предъявил сохранную расписку, данную, за несколько дней назад.

— Рука ваша? — спросил его полицейский чиновник.

— Рука моя, — сказал оторопевший Жучок, — но я писал расписку в пьяном виде. Меня опоили зельем, обыграли, я не помнил, что делал.

Справилась полиция в гостинице, допрашивала ее содержателя, прислугу. Жучок не знал имен игроков кроме имени банкомета и то по сохранной расписке, ему предъявленной. Все спрошенные показали, что указанного господина, будто обыгравшего его, не было в прошедший вечер дома в гостинице, что Жучок действительно был там, потребовал водки, закуску и бутылку шампанского, угощал им хозяина и пьяный отвезен домой. Показания его, как ложные, не были приняты, в уважение. Полиция распорядилась отобрать у него паспорт до уплаты долга, обязала хозяина его квартиры

скать со двора его экипажа и лошадей и сверх того приставила к дверям его полицейского унтер-офицера, который должен был, если он выйдет со двора, ходить по его пятам. Жучок в этот день ничего не ел, черные мысли начали бродить у него в голове.

Предстал перед ним, как живой, бывший его начальник, Ранеев, с его ясными, ласковыми глазами. Совесть развернула перед ним свиток его преступлений. И видел он себя под уголовным судом, потом за железной решеткой, иногда проходящего по городу для допросов, в сопровождении военного конвоя, под перекрестным огнем взглядов, исполненных злобы и презрения. Видел он себя в бегах, скрывающимся по лесам, когда собственная тень пугала его. Наконец выступил перед ним добродушный лик умирающего праведника, он слышал его евангельские слова прощения, и слезы закапали из его глаз. Позади его был мрак, впереди то же.

— Есть ли Бог? — спросил он своего сторожа.

— Что ты брешешь, — сказал ему тот, — не рехнулся ли?

— Есть, мой друг, и суд Его рано или поздно карает преступника, сколько бы он от него не отвертывался, — оговорился Жучок.

Потом он начал ласково беседовать с унтер-офицером, спрашивал, есть ли у него жена и дети, и на ответ, что есть жена и трое детей, дал ему два полуимпериала, присовокупив, чтобы помолился за раба Божия *Александра*. Немного погодя, он просил его идти с ним купаться.

— Надо мне освежиться, — говорил он, — в прошедший вечер я был сильно хмелен.

Полицейский служитель, обольщенный его ласковою речью и золотыми, согласился на его просьбу. В данной ему квартальным словесной инструкции было сказано только, чтобы «не выпускал заложника из вида», а о том, чтобы ему не позволять купаться ничего упомянуто не было.

Пошли на реку.

Жучок разделся на берегу и просил поберечь его белье и платье, сам же побрел в воду.

— Смотри только, далеко не ходи, не то набредешь на омут. А плавать умеешь?

— Как утка.

Ночь была тихая с нерешительным светом двух зорь. Одна, вечерняя, уже погасала; другая, утренняя, только что проглядывала. Черной каймой отражались берега в реке, в вороненой стали ее вод дрожали звезды, чешуйчатые волны робко набегали на берег и монотонным плеском своим наводили дремоту на вежды полицейского служителя. Посреди реки горел огненный сноп, он отражался в ней от пучка лучины, зажженной на корме челнока, и едва двигался по водам вместе с ним. Было видно, что в челноке сидел человек, наклонял по временам голову и быстро вонзал какое-то орудие в глубь реки. Рыбак *лучил* налимов, которыми Двина была изобильна, бил и ловко поднимал острогой извивающуюся, как змею, рыбу.

В это время Жучок отдалялся все более и более от берега. Сначала шел он по грунту реки, потом, потеряв его под собою, погрузился, вынырнул, опять погрузился и исчез. Что-то в воде забурчало. Минута, и все затихло, только в том месте, где он в последний раз погрузился и исчез, образовался водяной круг, и тот скоро сгладился. Так покончил с собой Киноваров. Если бы он тонул по неосторожности, то, наверно, боролся бы с водою и успел бы крикнуть.

Между тем полицейский служитель, клюнув два раза носом, вышел из своей дремоты и стал любоваться огненным снопом, ползущим по реке, и ловкими движениями рыбака. Вскоре он вспомнил о своем пленнике и оторвался от зрелища, так сильно его занимавшего. Осмотрелся, приложил руку над глазами, чтобы лучше видеть — никого на водах кроме рыбака в челноке.

— Приятель, а приятель! — закричал он ему.

Рыбак, занятый своим делом, ничего не слышал или не хотел слышать.

— Эй! Холоп! Бисов сын! — закричал унтер-офицер командирским голосом так, что звуки его ударились в противоположный берег и раскатились по водам.

— Что тебе надо? И так по твоей милости сорвалась важная рыба.

— Не видал ли человека, что купался тут?

— Мало ли тут купаются, мне-то что.

Бедный сторож сильно растерялся. «Не переплыл ли Жучок через реку, не сбежал ли? — думал он. — Если бы переправлялся вплавь через реку, увидал бы все-таки рыбак. Да и как бежать без белья и платья?»

Побродил по берегу — не видать никого. Оставалось донести обо всем начальству, что он тотчас и исполнил, не забыв захватить с собою белье и платье Жучка.

Собрался народ, стали сновать лодки по течению реки, закинули невод. Все напрасно, ни живого, ни мертвого Жучка не нашли. Только через дня два, за несколько верст от города усмотрен труп его, прибитый к берегу волнами; раки успели уж полакомиться им.

Когда делали опись его движимого имущества для продажи с аукциона в уплату долга по сохранный расписке, нашли под чернильницей на столе записку, в которой он объявлял, что мучения совести за совершенное им несколько лет преступление делают для него невыносимы, и он решился на самоубийство. Записка была подписана: *«Коллежский советник и кавалер Александр Никаноров Киноваров, именуемый Жучком»*. Недоумевали следователи, каким образом купец из Динабурга Жучок превратился вдруг в коллежского советника и кавалера Александра Никанорова Киноварова.

Когда Сурмин, посвященный в историю жизни Ранеева, узнал о самоубийстве Жучка, он разъяснил Зарницыной смысл загадки, затруднявшей следователей. Так и осталась она неразгаданною для них.

VIII

По письму Сурмина к матери она приехала с двойниками своими в город на Двине и остановилась в номерах той же гостиницы, куда незадолго до того переехал ее сын из квартиры Зарницыной. Она с радостью

благословила его на брак, желанный ею с того дня, как узнала Тони.

— Ты с нынешнего дня — третья моя дочь, — сказала Настасья Александровна, обнимая ее, — и поэтому скажу тебе как мать: ты всегда во всем поручала себя Богу, а я каждый день молила Его, чтобы Он исполнил лучшие мои надежды видеть тебя моей невесткой. Ты не искала высоких подвигов, на них избираются Провидением немногие. Честь им, любовь и поклонение общества, народа! Но помни, душа моя, что и без этих подвигов женщина, свято исполнившая обязанности дочери, супруги, матери, исполнила свое высокое призвание, угодила Богу и достойна общего уважения. Она сама счастлива и разливает счастье на тот кружок, которому себя посвятила.

Дочери Сурминой были в восторге, что приобрели новую сестру по выбору их сердца. Положено было с общего согласия жениха и невесты отвезти пока Тони Лорину в Москву к братьям и Даше, а уж потом Антонину Павловну Сурмину — хозяйкою в приреченское имение, доставшееся после дяди. Прощание Лизы и Тони было самое трогательное, они расставались, как будто не надеялись больше свидеться.

Свадьба была в Москве, здесь провели *молодые* свой медовый месяц. Родные остались для Тони теми же дорогими друзьями, какими были прежде. Она приглашала Крошку Дорит к себе на житье в деревню, но та, пожелав ей всевозможного счастья, не хотела расставаться со своими братьями и скромной долей, которой лучше не желала. Тони распределила свой денежный капитал, доставшийся ей после смерти ее благодетельницы, братьям и сестре, только переслала к себе в деревню свой любимый рояль, с которым не могла расстаться.

Знали, что Лиза переехала в усадьбу Зарницыной, находившуюся в одной из великороссийских губерний, где Евгения Сергеевна проводила каждое лето и осень для наблюдения за сельским хозяйством. С того времени о Стабровской не было слуха, ни с кем она не переписывалась.

В один из благодатных летних дней прошлого года

в шестом часу вечера пробирались между памятниками кладбища *** девичьего монастыря красивый, статный мужчина, по виду лет тридцати с небольшим и молоденькая дама, блондинка очень привлекательной наружности. Они шли рука об руку. Можно было засмотреться на эту парочку. Позади их бежал хорошенький, едва ли не двухлетний мальчик, по пятам которого шла нянька, русская, судя по темному шелковому платочку, повязанному на голове. Интересная парочка, вероятно, муж и жена, не останавливалась около великолепных памятников. Ребенок, попрыгивая, засматривался на улыбающихся ему изваянных ангелов и на золотые кресты, искрившиеся под лучами солнца. Иногда вбегал он в часовеньки. Зарождающаяся жизнь играла в жилище смерти. Так мотылек порхает над черепом мертвеца. Молодые мужчина и дама остановились у одной скромной могилы. На ней была положена гладкая гранитная плита с надписью выпуклыми бронзовыми буквами, утонувшая в цветах свежих, благоухающих, вероятно лелеемых рукою любящего человека. Молодой мужчина скинул шляпу, перекрестился и положил земной поклон; дама также перекрестилась и преклонила голову, на глазах их навернулись слезы.

— Миша,— сказал мужчина,— взяв мальчика за руку,— скинь картуз, поклонись могилке и поцелуй ее. Здесь похоронен *честный* человек, друг твоего папаша и мамаша. Желал бы видеть тебя таким же честным, когда ты будешь большой.

Дитя не понимало многого, что говорил отец под впечатлением душевного настроения, но исполнило, однако ж, в точности, что ему было приказано, хотя глазенки его бегали по красивым цветочкам.

В нескольких шагах от них, около входа в одну из монастырских келий, сидела освещенная косыми лучами вечернего солнца, на плетеных креслах, молодая монахиня. Лицо ее, несмотря что было мертвенно-бледным, еще сохранило отпечаток прежней красоты. Она по временам кашляла зловещим кашлем. Около нее сидели две молоденькие девочки, то глядели ей в глаза с трогательным участием, то беседовали с ней. Монахиня при виде группы, посетившей скромную могилу

и почтившей ее горячими изъявлениями любви и уважения к почившему в ней, всплеснула руками:

— Тони, Андрей Иванович! — вскрикнула она.

— Лиза! — отозвалась молодая дама и бросилась обнимать монахиню.

— Уже не Лиза, милый друг, а сестра Агнеса, — сказала монахиня, и слезы заструились по бледным, исхудалым щекам.

Она дружески протянула руку Сурмину.

— Когда я увидела вас у могилы моего отца, сердце сказало мне, что это люди, горячо его любившие.

— И ты в продолжение почти трех лет не хотела уведомить нас о себе хоть одной строчкой, — упрекнула ее Тони.

— Боялась соблазниться убеждениями дружбы. Я хотела прервать все свои связи с миром, даже с теми, кто мне, как вы, был дорог в нем; но, увидев вас, чувствуя, что еще не оторвалась от земли.

Все было забыли о мальчике, сыне Сурминых; сестра Агнеса взглянула на него и спросила:

— Сын ваш?

— Миша, — сказала Тони, — подойди к сестре Агнесе и попроси у нее благословения.

— Имя отца моего, благодарю вас, друзья мои, — произнесла с чувством монахиня.

Мальчик пугливо подошел под благословение молодой женщины, одетой во все черное, не так, как одевались его мать и другие женщины, которых он видел у себя дома, но вскоре побежденный ее ласковой речью, нежными поцелуями, приманкой блестящих четок, сел на ее коленях.

Она попросила одну из девочек принести из ее кельи золотой образок Михаила Архангела и, когда его принесли, благословила им дитя.

Когда они прощались, два розовых пятна горели на щеках сестры Агнесы.

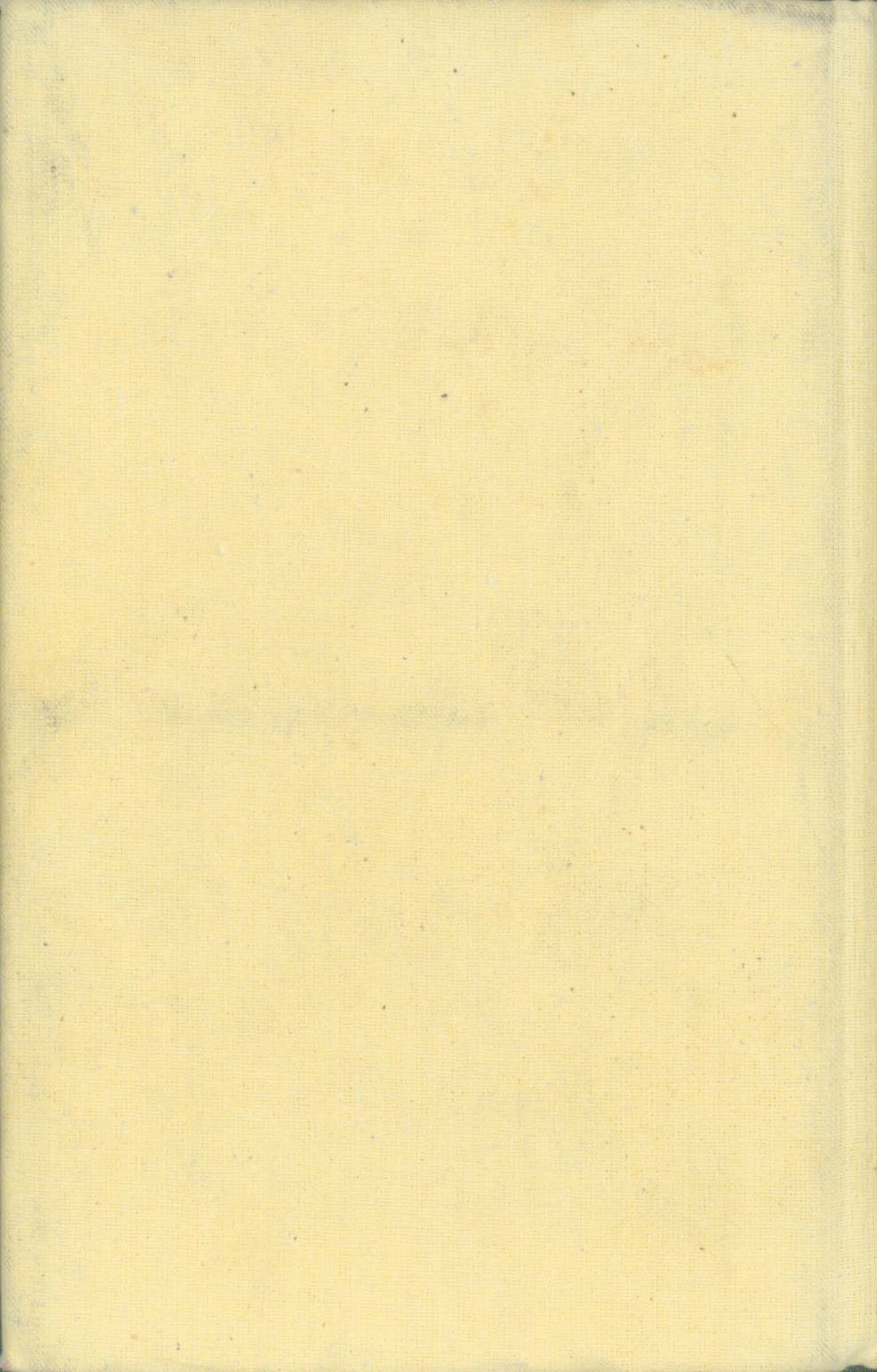
— Знаете ли, — сказала она со слезами на глазах, — вы задержали меня на время на земле. По крайней мере умру со сладкими воспоминаниями о вашей дружбе, о кратких днях моего счастья и с убеждением, что я не бесследно жила в здешнем свете. Там я их увижу.

В следующем году Сурмины посетили монастырь и спросили, как пройти им к сестре Агнесе. Им указали на свежую могилу возле могилы Ранеева.

Говорить ли об участии третьестепенных лицах моего романа. Может быть, мой читатель захочет узнать, что сделалось с ними. Удовлетворю его любопытство, посвятив этим лицам несколько слов на прощанье. Вот что рассказал о них Сурмину бывший адвокат, его Пржшедиловский: он продолжал с успехом свои занятия. Счастье, которым он наслаждался в своем русском семействе, не мешаясь в политические дрязги, было долго отравлено известием об ужасной смерти друга его, Владислава. Маврушкина законно ограничена в пользовании своим наследством. Распоряжениями тех, кому о том ведать надлежало, образование и воспитание детей ее поручены благонадежному надзору умного, ученого и честного русского педагога. Сети, которыми спутывали их польские гувернеры и наставники, навсегда разорваны. Детские сердца, еще не успевшие напитаться отравой их ложных внушений, еще неиспорченные, обновились в купели нового учения. Можно надеяться, что из них выйдут добрые, верные сыны отечества, образованные, полезные себе и обществу граждане. Людвинович после погрома польского мятежа едва ли образумился. Он спокойно поживал в полном довольстве и комфорте. Недавно слышал, что он отправился подышать более свободным воздухом. Бой-баба Левкоева странствует по Европе при какой-то богатой барыне в виде компаньонки, болтает ей собственного сочинения и чужие анекдоты, питается крупичами от ее трапезы, жуирует и благословляет свою судьбу. Куда девался сынок ее,— Сурмин не попытывался узнать. Студентик Лидин с честью подвизается в одном из новых судебных мест. Я слышал еще в прошедшем году, что Застрембецкий, оставшийся верным своему обету, пошел по службе в гору.

СОДЕРЖАНИЕ

Критико-биографический очерк С. А. Венгерова	5
Беленькие, черненькие и серенькие	113
В старом доме	115
Замечательные городские личности	151
Соленой пристав и его дочь	189
Новобранец 1812 года	259
Знакомство мое с Пушкиным	275
Гримаса моего доктора	297
Некоторые поверья Мордвы	339
Отрывок из романа «Колдун на Сухаревой башне»	343
Внучка панцирного боярина	351



1

И. И. ЛАЖЕЧНИКОВ

И. И. ЛАЖЕЧНИКОВ

СОБРАНИЕ
СОЧИНЕНИЙ

